ISSN 0130 – 6545

12. 1979

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ДАНИЕЛЬ БУР.
Франция.

Иллюстрация к книге «Зима в жизни Толстого Медведя» Ж.-К. Бривиля

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ГОД РЕБЕНКА. 1979

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА.

12 Декабрь 1979

Содержание

ДОНАТ ШАЙНЕР — Только о тебе *(Вольный перевод с чешского Вл. Солоухина)* 3

ЭМИЛИЯН СТАНЕВ — Тихик и Назарий *(Повесть. Перевод с болгарского М. Михелевич. Послесловие А. Зверева)* 8

К. С. ПРИЧАРД — Сеяла Хэн лебеду... *(Повесть. Перевод с английского И. Багрова)* 52

МАРИО ВАРГАС ЛЬОСА — Тетушка Хулия и писака *(Роман. Окончание. Перевод с испанского Л. Новиковой. Послесловие Юрия Дашкевича)* 119

Литературное наследие

МИГЕЛЬ ДЕ УНАМУНО — Стихи из книги «Поэтический дневник» *(Перевод с испанского и вступление Сергея Гончаренко)* 203

Критика

Сказать «добрый день» — значит сказать сущую правду (Несколько мнений о португальской литературе сегодня. *Перевод с португальского, вступительное слово и составление Т. Коробкиной)* 208

Писатель и время

ДЮЛА ИЙЕШ — Проявитель памяти (К восьмидесятилетию Антала Гидаша. *Перевод с венгерского Агнессы Кун. Переводы стихов Натэллы Горской)* 216

Интервью

Ат-Тахир Ваттар: «Жизнь ставит новые задачи...» (Беседу ведет Роберт Ланда) 223

Культура и современность

Заметки на полях

Н. Матяш — Пора размышлений и надежд (Испанская литература в зеркале критики) 226

Публицистика

Н. ФЕДОРЕНКО — Ангола: форум писателей 230

Детям будущего (Из книги, изданной в дни Международной писательской встречи 1979 года) 245

ПЬЕР-ЖАКЕЗ ЭЛИАС — Конь моей гордости (Воспоминания бретонца из Бигуденского края. Фрагменты книги. *Вступление Пьера Гамарра. Перевод с французского Н. Николаевой)* 249

Из нашей почты 262

Наши гости

Евг. Солонович — Тонино Гуэрра (Италия) 266

Среди книг

Издано в СССР

В. Седых — «Он сберег лучезарный лик Франции». ✦ В. Пронин — Похороны эпохи 268

Издано за рубежом

Игорь Золотусский — Кредо критика ✦ Вацлав Садковский — Новое о Бруно Ясенском ✦ Педро Корреа Васкес — «Последняя игра», или Начало пути 271

Из месяца в месяц 275

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА» за 1979 г. (№ 1—12) 282

На обложке: иллюстрация японского художника МИЁСИ АКАСАКА к книге РЮСКЭ САИТО «Снежный дом».

© «Иностранная литература», 1979.

ДОНАТ ШАЙНЕР

Только о тебе

■

Вольный перевод с чешского ВЛ. СОЛОУХИНА

Встречи

...Да, встретились они.
Тот миг, тот случай будь благословен.
Где точка для паденья метеора?
И точка, где опустится пылинка?
Пять тысяч ЭВМ не смогут рассчитать
То место, тот момент, то счастье совпаденья.

...Вот встретились они.
Нет, не вчера (кто скажет почему?),
А лишь сегодня (почему, кто скажет?),
Он и Она.
А не другие Он и Она — кто скажет почему?
Нет, почему же именно сегодня,
И — вы?
Сто тысяч ЭВМ
Бессильны были б вычислить ту встречу,
Но вот мы встретились.

...Итак, мы встретились.
Скорей найдет песчинка
В песках свою другую половинку,
Скорее две замеченных дождинки
В одно и то же место упадут,
Чем снова повторится тот же случай.

ДОНАТ ШАЙНЕР — DONÁT ŠAJNER (род. в 1914 г.).
Чешский поэт и прозаик, лауреат литературных премий. Родился на юге Чехии, в рабочей семье. Его первый поэтический сборник «Красная карусель» («Červený kolotoč») появился в 1935 г. С тех пор вышло много книг его стихов, в том числе «Язык земли» («Řeči země», 1941), «День у источника» («Den u pramene», 1944), «Куда уходят дни» («Kudy chodí dny», 1965), «Напоминания» («Upamatování», 1970), «Что сказало солнце» («Co řeklo slunce», 1975) и др., романы «Ветвь добра» («Větev dobra», 1944), «Минувшее» («Minulý čas», 1947), книги для детей, пьесы для радио и телевидения.
В русском переводе издана его автобиографическая повесть о детстве «Сорванец» и сборник стихов «Горизонты», в который включены лирические стихотворения поэта 40—70-х годов.
Публикуемые стихи взяты из сборника Доната Шайнера «Только о тебе» («Já jenom o tobě». Praha, Československý spisovatel, 1977).

Вот миллиарды сыплются дождинок,
Вот тысячи тропинок и дорог,
Вот Млечный Путь, сияющий на небе,
Но Дафнис Хлое руку протянул,
И встретились они...

Благословенно будь
То чудо из чудес,
Тот час, тот миг, тот случай.

...Так встретились они.

Придумал кто-то фразу...

Дома молчат. Мосты молчат. Скала молчит.
Придумал кто-то фразу —
«Нем как рыба».
Но можно ли молчанье рыбы
Сравнить с молчанием скалы?
Вдруг рыбы счастливы, хоть не умеют петь?
Страдают, мучатся, хоть не кричат от боли?
Что память их хранит?
Пугающие вспышки света? Блики тени?
Да, солнце их — вода,
Да, время их — вода,
Любовь — вода.
В глубинах рек, в морских глубинах темных
Слеза не навернется никогда.
Что память их хранит?
Быть может, половодье,
Широкие разливы по лугам?
Когда ж луга благоухают летом,
Когда они цветут июльским ярким цветом,
Их вспоминают ли в речных глубинах, там?
Вот ночь осенняя — она темна.
Для нас она от глади вод до звезд,
Для них плотнее и темней она —
От звезд до дна.
Во время свадеб воспевают камни?
И водоросли? И коряги? И песок?
Родных порогов нет.
Ни матери не знают, ни отца.
Есть лунный свет,
В котором рыбы трепетно мерцают,
Как если б драгоценные каменья,
И так из века в век,
От поколений к новым поколеньям.
Придумал кто-то фразу — «Нем как рыба».

Всегда

Быть частицей всего, во всем, всегда.
Частицей колокола,
Частицей огня,
Частицей корня,

Ищущего в земле свои пути,
Частицей золы от костра,
Отпылавшего в древних тысячелетиях.
Частицей всего,
Что призвано возникнуть и уйти.

Быть шагом, смехом, плачем,
Запахом, страданьем, болью,
Металлом,
Что заброшен к звездам,
Лекарством,
От которого проходит головная боль,
Дорогой к дому,
Зернышком средь пашни,
Водой,
Смертельной жаждой,
Тем, что на языке людей зовется — сладость,
И тем, что люди называют — соль.

Быть цветом кожи
Красавиц с океанских атоллов,
Быть яркими сновидениями
Мирно спящих людей,
Быть руками, которые гладят
Бока, спину и груди любимой,
Быть словами, которыми клянутся,
И словами, которыми проклинают,
Быть решительным «нет»
И тихим, обещающим «да».
Быть всем. Во всем. Всегда.

Все, все иметь в себе —
Глаза детей,
Желанья женщин,
Глаза пророков.
Нарастанье любви, молчанье скал,
Брожение древесных соков.

Иметь в себе жемчужину,
Как раковина-жемчужница в море,
Иметь в себе
Змеящиеся молнии, плывущие облака,
Ослепительное сверкание росистого утра.
Иметь в себе проповедника,
Рассуждающего любовно и мудро,
Носить в себе яростную ненависть Спартака.

Быть всем. Во всем. И все в себе иметь,
И пусть через тебя
Текут века.

Почему?..

Вопросы «почему» рождают завтра,
Так ночь рождает солнце,
А туча — дождь.
Любовь рождает жизнь.

Но все же почему похожи ты и роза?
Но все же почему на стебле — колос?
А песнь дрозда в лесу?
А Млечный Путь на небе?

Вопросы «почему» рождают завтра,
Но никто
Не знает ничего о том, что будет завтра.

Пчела спросила у пчелы — не знает ничего,
Ветла спросила у ветлы — не знает ничего,
Спросила даль у высоты — не знает ничего,
Спросил ребенок у отца — не знает ничего.

Как если бы испорчена пластинка,
Ответ один и тот же надоевший:
Не знаем ничего, не знаем ничего,
Не знаем...

И все же
Не перестану спрашивать у мира
И у тебя,
Ну почему, скажи мне, почему
Одна лишь ты
В моих глазах и сердце?
А бабочка? А счастье? А весна?
А немота? А песня? А Помпея?
А эта гусеница на листе
И у нее семь крапинок зеленых
Почему?

Пусть ничего не знает дождь,
Но он поит растенья.
Пусть ничего не знает дуб,
Но он дарит нас тенью.
Пусть ничего не знаешь ты,
Но взгляд твой страстен,
Пусть ничего не знает мир,
Но он прекрасен.

Все — снизу вверх...

Все — снизу вверх,
И взлет мечты и взлеты мыслей.
Преодолев
Земное притяжение,
Все — наши голоса и наши песни,
Мечты, молитвы, мысли, упованье,
Все — снизу вверх.

Вон, погляди:
Деревья кроны кверху поднимают,
И ветви, как зеленые фонтаны,
Взмывают вверх.
Из черной почвы кверху
Стремятся соки, достигая самых
Последних листьев.

Вон — тяжелый колос
Стрелой звенящей в небо устремлен,
Вон — бьет родник
Из глубины подземной тоже кверху.

Вон, распрямясь и разминая спину,
Поднялся с четверенек человек.
Взлетает птица,
Вверх ползет опара,
В бокале светлом закипает пена
И нарастает страсть...

Дом и гора,
Огонь костра,
Уверенность, надежда, вера в завтра,
Все — снизу вверх.

Признанье

Люблю я осень,
Свет уходит, цвет уходит, но
Крепчает в бочках терпкое вино.

Люблю я осень,
Дни короче, жизнь короче, но
Видны плоды: стихи, поступки, яблоки, зерно.

Люблю я осень,
Выловлена рыба, сушим сети, но
Сияньем чешуи подлунной светит дно.

Люблю я осень,
Гуси тянут к югу, холод, но
Все, что созрело, щедро нам дано.

■

СОЛОУХИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ (род. в 1924 г.)

Советский поэт и прозаик. Печатается с 1945 г. Автор многих книг стихов и прозы, в том числе поэтических сборников «Дождь в степи» (1953), «Журавлиха» (1959), «Жить на земле» (1965), «Аргумент» (1972), «Седина» (1975), романа «Мать-мачеха» (1964), книг очерков «Владимирские проселки» (1957), «Капля росы» (1960), «Третья охота» (1967) и других произведений. Многие книги В. Солоухина переведены на иностранные языки.

ЭМИЛИЯН СТАНЕВ

Тихик и Назарий

ПОВЕСТЬ

Перевод с болгарского М. МИХЕЛЕВИЧ

И если сатана сатану изгоняет,
то он разделился сам с собою:
как же устоит царство его?

(Евангелие от Матфея, глава 12)

1

Препоясавшись поясом познания, Тихик приказал закрасить в молельне таро [1] и написать там Страшный суд. «Ибо,— говорил бывший раб, набравшись мудрости в той же мере, что и недоверия к человеку,— меч, вонзенный в раскрытую книгу, хлеб, чаша с вином, человек о трех рогах и прочее — это Сатанаиловы знаки, измысленные слугою дьявола Сильвестром, и я диву даюсь, как могли мы столь долго терпеть их. Они рождают смуту от неведения и устремляют мысль к Рогатому и царству его. Все уже сказано в Тайной книге, нет надобности ни изымать что-либо, ни добавлять, ни толковать иначе, чем общепринято, ибо всякое новое толкование рушит понятия и грозит добродетелям. А добродетели тем истинней, чем они неизменней и долговечнее, чем более подобны золоту».

Многие настаивали, чтобы деревянные стены были побелены, ибо белизна способствует благочестивым помыслам и вызывает в воображении одежды ангельские, но Тихик не согласился с этим, заключив, что вместо белой стены человеку лучше иметь перед глазами и перед мысленным взором некий образ, дабы посредством его соединяться с себе подобными. Ибо свойственно всем нам через образы, звуки и краски тешить себя загадкой мирозданья и собственной нашей души. Однако не следует забывать, что земля есть творение дьявола, посему пусть каждый зрит Страшный суд и стремится спасти свою душу.

[1] Символические изображения оккультного характера. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

ЭМИЛИЯН СТАНЕВ — (1907—1979).
Болгарский писатель; лауреат Димитровской премии, Герой Социалистического Труда. Советские читатели знакомы с его творчеством по переведенным на русский язык романам «Иван Кондарев», «Антихрист», повестям «Тихим вечером», «Похититель персиков», «Чернушка», «Легенда о Сибине, князе преславском» («ИЛ» № 5, 1970).
Предлагаемая вниманию читателя повесть Эмилияна Станева «Тихик и Назарий» печатается по первому тому избранных произведений писателя (София, Български писател, 1977).

Но не только по этой причине следовало заменить таро. Прежние понятия еретиков были поколеблены и запутаны учением апостола Сильвестра, а земная сладость беснований, равно как и муки, испытанные беженцами, рождали в умах новые искушения и склонность к бунту. Тихик страшился тайной этой заразы, которую его паства вряд ли осознавала. Нужно было вернуть людей к добрым старым понятиям о том и этом свете, изложенным в Тайной книге, чтобы навсегда забыли они о князе Сибине, Каломеле и, главное, о мудрствованиях Сильвестра. А дабы свершилось сие, нужно, чтобы владел ими страх, ибо страх есть преграда греху.

Поразмыслив, Тихик пришел к убеждению, что помимо Страшного суда и кары божьей не меньший страх должен внушать людям и он сам. Для этого требовалось, чтобы все позабыли, каким он был прежде, до той поры, когда препоясался поясом познания. Ему следует изменить походку свою и речь, приобрести господскую осанку, пусть не такую, как у князя Сибина, но все же владыческую. Долго предавался он таким раздумьям, а под конец поразился тому, что осанка образуется как бы сама собой, ибо за короткие, считанные дни владычества у него и походка изменилась. Хоть и был он убежден, что прогнал сатану и по праву надел на себя пояс познания, в недоверчивом его уме неожиданно возникали сомнения, страхи и тревога. Помимо боязни, что князю удалось выбраться из пещеры, терзала его мысль об опасности, которая грозила ему от приближенных и верных, посланных апостолом Сильвестром сеять семена нового учения. Если те праведники вернутся в общину целы и невредимы, вновь в умах может начаться брожение. Тихик надеялся, что царские люди переловят их на дорогах и перебьют, тем избавив его от нового раскола и борьбы. «Неужто я должен желать смерти заблудших братьев моих, господи? — вопрошал он бога, мысленно творя при этом молитвы.— Но ведь зло, которое причинят они, будет злом и для тебя, и для всей общины. Да падет грех на голову того, кто сбил их с пути истинного». Так отстранял он от себя злонамеренный помысел и предавал прежнего Совершенного суду божью, полагая себя слугой, который умывает руки и предоставляет господину карать виновного, ибо сказано: «Мне отмщение, и аз воздам». С другой стороны, земля полнится ересями, заблуждениями, всяческими соблазнами, и те, кто скитается по ней, разносят плевелы греха, как зачумленные разносят болезнь. Добродетели, подобно цветам, цветут лишь на родной почве и вянут, будучи сорванными. Вот отчего не следует христианам покидать общину, дабы не соблазниться мирскими кознями, и ко всякому, вновь прибывающему к нам, надлежит пристально приглядываться.

Так рассуждал Тихик в первые дни своего властвования, еще не распознав опасности, какие проистекают отсюда, и не успев еще свыкнуться с черным покрывалом. Однако наибольшей его заботой оставалось пропавшее Сильвестрово евангелие. Требовалось отыскать его и как можно скорее предать огню, дабы не смущало оно умы паствы.

В напряженные те дни, поглощенный событиями, он совсем упустил из виду послание Совершенного, где тот писал, что оставляет братьям список евангелия. Из этого следовало, что существуют две книги. Теперь, перечитав послание, Тихик встревожился. Он обшарил пропахшие целебными травами и восковыми свечами шкафы, где хранились орлиные перья и чернила из бузины, но нигде не обнаружил опасных книг. Взмокнув от волнения, он облазил все уголки и укромные места, заглянул под половицы, даже глиняную посуду в кухне не оставил без внимания. Еще более встревоженный, он

сел и стал думать, где же еще могут быть проклятые евангелия. Не унес ли окаянный Сильвестр их с собой? Быть может, они где-то в лесу? Или из любви к Каломеле он отдал их ей, чтобы она восхитилась глубиной его разума?.. Ломать над этим голову не имело смысла, и Тихик, привыкший за свою жизнь действовать не откладывая дела в долгий ящик, опустил на лицо покрывало и крадучись вышел из селения.

Тишина леса оскорбила его. Творение дьявола безмолвствовало, словно и не было свидетелем тех страшных событий, что разыгрались здесь тому несколько дней. Неужто вовсе безразлично Рогатому, что трое его сподвижников нашли здесь смерть? Ни единого следа не осталось на той поляне, где князь убил Совершенного. Ветерок снова трепал мягкую травку, будто ласкал ее; как и всегда, жужжали букашки, и это жужжание говорило об упоении жизнью; нежились на солнце дубы. Дьявол, мерзостный создатель всего этого, молчал, будто погруженный в сон с самого сотворения мира, притворно-кроткий, равнодушный ко злу, искушая покоем и суля блаженство и благоденствие. И был этот лживый мир столь прельстителен, что и сам Тихик наслаждался, вдыхая ароматы дубовой рощи, хотя, будь то в его власти, он уничтожил бы эти ароматы, эти травы, зверей и птиц — дьяволовы творения. Возле дерева, к которому была тогда привязана обнаженная Каломела, он увидел обрывки веревок и ощутил у себя в крови жало похоти. Чтобы вытеснить из памяти сладостную белизну девичьего тела, в ярости против нечистого, который и тут вмешался, желая унизить достоинство пастыря божья, Тихик стал вслух читать «Смилуйся, владыка...» и, присовокупив к молитве проклятья сатане, поспешил убраться из леса. Он шагал, путаясь в полах рясы, и отгонял от себя образ Каломелы. Отчего неотступно пребывала она в его мыслях, оттого ли, что он испытывал к ней жалость? «Спаси и помилуй, господи, избавь от образа ее!» — шептал Тихик, негодуя на себя, но утешаясь тем, что никто не видит недостойного его смятения.

В таком состоянии духа вошел он в свой покой, с силой ударил кулаком по столу, сколоченному из неструганых досок липы, надеясь этим прогнать из головы Каломелу, и предался раздумью. Он уверил себя, что если князь и впрямь отыскал те вредоносные книги и спрятал в пещере, то они погибли вместе со слугами Сатанаиловыми и тревожиться не о чем. Но поскольку он все еще чувствовал похоть и хотел найти оправдание своей беспомощности перед ней, то стал корить господа, что не лишил он человека воображения, которое и влечет к дьяволу. «Отнял бы язык у нас или хоть иные словеса, дабы недоступны были мы искушению. Отчего не сделал ты так?» — вопрошал он, а под конец, убедившись, что разум бессилен дать ответ, вспомнил, что, когда Каломела бежала из селения, Сильвестр призвал одного из братьев, по имени Назарий, чтобы тот украсил его сочинения. Ныне Назарий писал в молельне новое таро.

Тихик имел свое суждение об этом брате — считал его чудным и никчемным, коему не уготован престол ангельский. Назарий был светловолос и худощав, с редкой бородкой и рыжеватыми усами. Был он нездешний, пришел в селение вскоре вслед за беженцами, поселился в самой убогой землянке, но, несмотря на окружающую грязь, казался необычно опрятным, словно никакая нечистота не могла пристать ни к его одежде, ни к нежной его белой коже. Он не участвовал ни в беснованиях, охвативших общину, ни в расправе над князем, держался всегда в стороне, и Тихик не считал его истинным христианином, но, поскольку тот оказался богомазом, принял в общину.

Тихик послал мальца сказать брату Никифору, по прозвищу Быкоглавый, который был ныне экономом вместо него и на ком лежала забота о хлебе, чтобы тот велел Назарию прийти. «Он мог утащить ту скверность к себе, дорожа тем, что́ намалевал на ее страницах. Вот так вместе с художеством приемлет человек и змея»,— подумал Тихик, садясь за стол.

Несколько минут спустя Назарий постучался в дверь покоя, поклонился и смиренно встал на пороге. Сквозь отверстия в покрывале Тихик всмотрелся в него, как всматривался во всех братьев, оценивая их с высоты своего нового положения.

Волосы у богомаза ниспадали на плечи шелковыми прядями, концы их завивались и блестели. Глаза под высоким, выпуклым лбом излучали лазурный свет. Казалось, этот свет струился из самой его души, прозрачной и лучезарной. Взгляд у Назария был кроткий, но зоркий, и Тихик еще пристальнее вгляделся в этого человека. У него мелькнула мысль, что эта лучезарность — словно стеклянный щит, за которым скрывается либо скудоумие, либо какое-то особое помешательство.

— Ты украшал богомерзкие сочинения того грешника, брат,— сказал Тихик.— Это великий грех, за который нам надобно молить небесного отца о прощении. Раскаиваешься ли ты в сердце своем?

— Отчего же? В чем мне раскаиваться, владыка? Он повелел мне украсить книги, и я сделал это с тем тщанием и любовью, с какими сейчас пишу новое таро,— спокойно отвечал Назарий.

— Разве безразлично тебе, что́ ты пишешь,— внушено ли оно духом святым или то враг человеческий ослепляет тебя?

— Я изобразил то, чего желал он, изобразил так, как виделось мне сердцем, владыка. Не есть ли художество сила божья, дарованная нам для того, чтобы вести к истине?

— Замолчи! Ко греху ведет оно, ибо искушает подобием истины. Принеси мне эти твои рисунки. Я должен посмотреть их, прежде чем определить меру твоего прегрешения,— сказал Тихик.

Назарий ушел, и Тихик подумал, что он вернется с одной из тех вредоносных книг. Однако вместо книги Назарий протянул ему выделанную заячью кожу с узором виньеток, перенесенных потом на страницы Сильвестрова евангелия. Как Тихик ни расспрашивал, он так и не выведал, где же находятся книги. Художник уверял, что не видел их с того самого дня, когда передал их прежнему Совершенному, и Тихик не мог понять, ложь это или нет.

— Гляжу я, брат, как сверкают твои глаза, и спрашиваю себя: божественный ли то свет или отражение дьявольской силы, что сидит в тебе? Глаза христианина должны смотреть смиренно, а у тебя глаза расширены, словно видят они не то, что рядом, а глубоко сокрытое в твоей душе, и невдомек мне, что́ же это. Поразмысли, ибо никому не должно отличаться от прочих, дабы не рождалось ни зависти, ни соблазнов. А теперь ступай и моли господа даровать тебе разум и смирение,— сказал Тихик и, оставшись один, развернул на столе заячью кожу. Он размышлял, что́ за человек этот Назарий, и тщетно силился впустить его в свое сердце. Художник был ему чужд во всем, зоркость Назария внушала страх, и Тихику вспомнилось, что точно так же был ему чужд и Сильвестр. «Вот она, самая великая пакость сатаны — не схож человек с человеком, оттого-то так трудно править людьми. О господи, разноязыко стадо твое и разночинно! Назарий и тот волхв Сильвестр схожи между собой. У Назария в глазах тот же пламень и та же зоркость. Надобно быть с этим чужаком настороже, мало ли что у него в голове... Но если тех книг он не брал, значит, унес их князь...» Успокоившись, Тихик стал раз-

мышлять о том, как поправить в общине пошатнувшиеся дела и ввести повседневную жизнь паствы в прежнее русло.

2

Если б он мог поглубже вникнуть в суть своей власти, то убедился бы, что всякая власть есть борение с господом, ибо человек носит в себе дух богоборчества.

Но Тихик не понимал того, да и не согласился бы принять за истину, потому что бог был до крайности необходим ему, чтобы править паствой. Хотя и смутно, он сознавал, что никакая власть не может существовать, если не опирается на нечто более возвышенное, чем она сама.

Вечером, после разговора с Назарием, он заперся у себя в покое, но, сидя в темноте и прислушиваясь к возне мышей на чердаке, так и не сумел сосредоточиться — ему все время чудилось, что из угла устремил на него свой страшный взгляд отец Сильвестр и, посмеиваясь, читает его мысли. Тихик понял, что тут он не сможет обдумать, как быть дальше, вышел из покоя и направился к землянке, где жил прежде. Там, под толстой балкой, что поддерживала кровлю, с которой клоками свисала солома, среди запаха папоротника и гнили, к которому примешивался запах и собственного его тела, он лег на топчан и вздохнул с облегчением. Теперь, наедине с собой и своим прошлым, он мог без помехи размышлять, не смущаемый сатанинскими очами того, кто помутил людской разум. Здесь он чувствовал себя отъединенным от других обитателей спящего селения не только потому, что был их владыкой и носил пояс познания, но и потому, что здесь Тихик был Тихиком и нынешним, и прежним — княжеским рабом, преданным и добрым экономом, спасителем, а под конец владыкой, накопившим житейской мудрости и недоверия. Лежа на спине, он вверил себя своему земному, трезвому рассудку. Мысль его блуждала от хижины к хижине, от лица к лицу и силилась проникнуть в душу каждого из его паствы. С какими думами, с какими надеждами отошли эти люди ко сну после изнурительных дневных трудов? Молились ли они с усердием этой непроглядной ночью, когда даже собаки примолкли и слышатся лишь стенания ночных птиц? Либо завтра в молельне будут лгать, что исполнили свой долг перед господом? Чем помогла им молитва? Побуждала ли чувствовать себя слабыми и виновными, покорными и смиренными? Не поверяли ли они друг другу нечестивые помыслы, которые овладевают ими во время бунта и беснований? Не сохранились ли в их сердцах корни дьявольских искушений, а те, у кого были жены, не предавались ли плотским утехам? Как вознамерились поступить те, кто лишился волов и жалкого скарба,— не готовились ли похитить у соседей недостающее? Сколь многосложно царство дьявола, какая тьма окутывает его и что за существо есть человек?

Такие мысли заставляли его вглядываться и в себя — выходило, что все известное ему о человеке он знает через самого себя. Тихик почувствовал, что его бросает в жар, и воскликнул: «Нет, нет, не я это! Это дьявол! Изыди, сатана!». И, отогнав сомнения и недоверие к человеку, обратив их против дьявола, Тихик испытал облегчение, подобно страннику, преодолевшему препятствия долгого пути. Он отдувался, сопел, закидывал ногу на ногу, ворочался на лежанке и, ожесточив свою волю для борьбы со злом, пришел к заключению: надо переписать всех христиан — и прежних, и тех, что прибыли в общину недавно, вместе с беженцами, отделить от них верных, приблизить к себе и велеть им доносить обо всем, что происходит в се-

лении. Он рассудил: чтобы управлять людьми, надобно знать не только их дела, но и сокровенные помыслы, их тайны, даже сновидения, ведь человек подобен подземным ключам — никто не ведает заранее, когда и где они забьют.

Он решил завести строгий учет зерна и плодов, следить, кто исправно посещает моления и все ли молятся семижды в сутки, решил самолично изучить пороки каждого брата и сестры и безжалостно изгонять из общины неисправимых. Имея привычку всякую работу делать усердно, Тихик вслед за каждым принятым решением загибал свои толстые пальцы и под конец заключил, что покамест это меры наиболее разумные, а затем незаметно погрузился в мечтанья, как бывает с хозяином уже засеянной нивы.

Ему представилась благоденствующая, мирная община, с новыми жилищами, новыми нивами, отвоеванными у леса, он видел себя меж братьев и сестер, из благоговейного страха перед черным его облачением они уступают ему дорогу и следуют за ним, счастливые, в ожидании чистой радости от общей молитвы. «Братья,— шептал Тихик, упоенный и растроганный будущими своими деяниями,— как отрадно, что меж нами царит любовь и каждый из нас на пути к престолу ангельскому! Мы с вами — твердыня божья, и дьявол противу нас бессилен.... О, не благодарите меня, благодарите всепобеждающего господа, что дарует нам просветление и блага, я лишь слуга его...» Столь трогательным предстало перед ним будущее, что слезы умиления навернулись на его глаза, а грудь распирало от любви к пастве. Он поклялся перед богом, что будет радеть людям, не щадя себя, и любовь боролась в нем с ожесточением против грехов их и несовершенства, а мысль о грядущих трудах возвеличивала его в собственных глазах как страстотерпца. Под конец успокоенный, убежденный в верности своих заключений и стойкости собственной воли, он покинул землянку, решив приходить сюда всякий раз, когда понадобится принять важные решения.

Он не хотел быть замеченным и точно тень проскользнул между лачугами, откуда доносился храп спящих людей. Голодные псы погнались за ним, летучие мыши ткали свои незримые сети, ночная птица пролетела, как нечистый дух, над самой его головой. Страшно было творение сатаны, но Тихик был крепок в вере. Ноги сами несли его к покою Совершенного, мысль о предстоящей схватке с дьяволом наполняла сердце мужеством, и ему казалось, что он шагает в саму преисподнюю, неколебимый и недоступный злому духу.

Он уже видел впереди неясные очертания своего обиталища, как вдруг раздался шум шагов. Тихик поспешно опустил на лицо покрывало. Из темноты вынырнул какой-то человек, поравнялся с ним и слабеющим голосом стал читать молитву. Был он огромным, оборванным и страшным. Опирался на длинную палку, торчавшую у него над плечом. Сбоку что-то топырилось, и Тихик догадался, что это торба. Совершенный ответил на молитву незнакомого, дважды прочитав «Отче наш». Оба отбивали поклоны и повторили молитву еще несколько раз.

— Кто ты, брат? Зачем бродишь во тьме, точно призрак? Чего ищешь? — спросил Тихик.

— Тебя ли я вижу, владыка? Я Радул,— хриплым голосом произнес тот в ответ. Он задыхался, Тихик слышал тяжелое его дыхание.

— Радул?.. Откуда идешь?

— Издалека, из-за Искыра, владыка. Искал тебя, стучался в дверь твоего покоя... Ноги, ноги больше не держат...

— Отчего ты один, где остальные?

— Души — у отца небесного, а тела погребены неведомо где людьми Сатанаилова царя Борила.

— Слава всевышнему! — воскликнул Тихик, невольно возблагодарив Бориловых слуг.— Ступай за мной!

Они вошли в покой Совершенного.

— Зажги свечу, владыка... Душа жаждет хоть искорки света... Вовсе ослаб, говорить — и то нет мочи...

Тихик высек огнивом искру, поднес к пучку соломы и засветил свечу.

Теперь он мог рассмотреть верного. Тот был без башлыка. Из-под рваной шапки выбивались грязные пряди волос. Ветхая, заплатанная ряса висела на тощем теле, как на пугале. Несчастное, отупелое от перенесенных страданий лицо заросло густой черной бородой, глаза алчно блестели, как у человека, которого давно терзает голод.

— Садись и рассказывай, что приключилось,— приказал Тихик.

— Дай поесть, владыка... Душа с телом расстается, слово произнести невмочь.— Верный прислонил посох к стене и тяжело рухнул на пол.

— Сказано: «Не хлебом единым жив человек!» Какой же ты верный, коли не можешь голод вытерпеть?

Заметив, что Радул всматривается в него, Тихик добавил:

— За кого принимаешь меня?

— Ты стал ниже ростом, владыка, и вроде бы раздался вширь. Отец Сильвестр ты или предо мной его подобие?

— Не поминай имя врага сего! Я брат Тихик, коего просветил господь, дабы спасти общину от сатаны. Что у тебя в мешке?

— Новое евангелие, владыка. Едва удалось спасти... Значит, ты удостоен теперь, ты новый наш...

— Дай сюда эту скверность! — закричал Тихик и нетерпеливо стянул мешок с плеч Радула.— А теперь слушай про то, что здесь сталось,— и он поведал о том, как при посредстве князя, Каломелы и прежнего Совершенного дьявол завладел христианами. Он говорил степенно, как и подобает владыке, препоясанному поясом познания, но вскоре заметил, что Радул, потрясенный сначала, теперь равнодушно внимает ему. Голова его клонилась на грудь, веки смыкались, и, если бы не муки голода, он бы уснул.— Веруешь ли в сие евангелие? — произнес Тихик с отвращением.— Отвечай, веруешь ли еще в него?

— Владыка, дай поесть мне, попить...

— О, несчастная плоть, сотворенная для греха и страданий, враг духа светлого! Веруешь ли, что он существует?

— Кто?

— Рогатый!

— Как же не существует! Существует, еще как существует...

— Он — в тебе и в этой книге, что в своем ослеплении ты таскал с собой и проповедовал заключенную в ней ложь. Как не уразумел ты лживости ее?

— Не мучай, владыка. Разумом сомневался я в ней, но душа, проклятая, склоняется...

— Сомнение подобно незакрепленным чашам весов. Таков же и сам сатана. Ты заражен ложью, и я прогоню тебя из общины.

— Смилуйся, владыка. Страдания помутили мой разум, голод оттеснил все мысли. Я сейчас подобен голодному зверю...

— Если завтра во время общей молитвы отречешься при всех братьях и сестрах от Сильвестровых заблуждений, оставлю тебя в общине. Пообещаешь сие — тогда накормлю досыта и напою, потому что господь запрещает мне кормить врагов его.

— Как повелишь, владыка, только накорми. С великой радостью отрекусь, отрину все сомнения, поскольку у тебя теперь пояс познания...

Тихик вынул из шкафа хлеб, преломил его, семь раз вместе с Радулом прочли они «Отче наш», и лишь тогда он подал хлеб Радулу и позволил есть.

— Вот тебе кувшин с водой. Спать ляжешь в сенях,— сказал Тихик.

Оставшись один, он зашвырнул измятое, грязное евангелие в угол и лег на топчан, возблагодарив господа за то, что отдал ему одну из двух опасных книг. Уже засыпая, он вдруг подумал, не скверно ли поступил с братом Радулом. Не убеждением, а голодом и жаждой подчинил он его воле своей. «Но как быть уверенным в том, что, накорми я его заранее, он все равно отрекся бы от лжеучения? Мне нужны послушливые, иначе не будет в общине благочестия, порядка и веры. Непокорный отстаивает свое непокорство свободомыслием и тем, что искушает других. Завтра увидим, исполнит ли он свое обещание. Подл человек, от слабости своей подл! А коли так, насилуй его ради его же блага и ради всеобщего... Моя ли вина, господи, коли ты создал его таким?..»

С этими мыслями Тихик уснул, не приметив того, что с первого же дня своего владычества сам впустил в общину ложь и насилие...

3

Тот, кто правит людьми, должен решить, что́ есть для человека добро и как сделать людей добрыми.

В это октябрьское утро, когда клепало еще не возвестило новый день трудов, Тихик опять погрузился в чтение Сильвестрова евангелия, но кто-то постучал в дверь, и Тихик спрятал книгу в шкаф. Косматый, в огромной бараньей шапке, в ноговицах и постолах, вошел Быкоглавый, и в покое разнесся запах хлева.

— Владыка,— сказал он с порога,— худо с корчевкой. Топоров и заступов всего восемь штук, а волов только пять.

— Что ты хочешь сказать этим? — спросил Тихик, потому что заметил в выпученных глазах Быкоглавого злонамеренную мысль, та же мысль была написана и на его бычьем лбу.

— За советом пришел. Волы надобны, волы и орудия. А где их взять? Новые беженцы понашли с пустыми руками да голодным брюхом.

— Не кричи, ты не в лесу. Я поставил тебя, брат, на прежнее мое место, взяв на себя заботу о душах. Господь вразумит тебя, как поступить.

Быкоглавый наследил на полу, и теперь его огромные, обутые в постолы ноги размазывали грязь. Он потупился, его толстая шея налилась кровью. Не подымая косматой головы — густые волнистые волосы придавали ему сходство с лесным зверем,— он сказал:

— К греху дело идет, владыка!

Совершенный промолчал, догадываясь, что́ надумал его преемник.

— Положись на господа, говорю тебе! — в сердцах произнес он.— Перед ним будешь держать ответ за свои деяния.

— Вот оно как? Разве не отпустишь грехи мои, если я сотворю их, чтобы люди не околели с голоду?

— Не всякий грех может проститься, брат,— проговорил Тихик.— Пораскинь умом, ответ держать будешь там,— он указал на потолок.

— Ты вот что... Освобождай меня от должности... Коль не берешь грех на себя...

— Не передо мною одним, перед братьями рукоположил я тебя именем отца небесного. Освободить тебя не могу. Ступай и поразмысли над тем, как надлежит тебе действовать.

— Ах, не можешь? Ну, коль не можешь, буду сам держать ответ, да только и ты в ответе. Ладно, будь по-твоему, но ты меня еще вспомнишь! — Быкоглавый исподлобья взглянул на него и ушел, хлопнув дверью.

— Вот бестолочь! Какое счастье, что я сейчас не на его месте! — И Тихик с облегчением вздохнул.

Но чуть только он задумался и представил себе последствия грабежа — а у него не оставалось сомнений, что Быкоглавый надумал украсть волов и орудия в соседних селах,— Тихик испугался. Согласно святому учению воровство есть грех, а разве отдаст кто по доброй воле свой топор или вола? Не прольется ли кровь, не будут ли загублены души? «Этот болван, считай, ничего мне не сказал, и мое дело сторона,— рассуждал Тихик.— О господи, зачем не сотворил ты меня глупцом, чтобы я мог лгать и себе, и тебе! Если прольется кровь, слух о том дойдет до царских людей и я лишусь престола ангельского и надежды увидеть Каломелу в вечном огне, изобличить ее, позлорадствовать.... Но сказано: нужда и закон ломает. Если я запрещу ему красть, может распасться община, ведь когда христианам нечего есть, голод побудит их предаться дьяволу. Тогда и смысл моей жизни, и мои небесные упования, и ты сам, господи, оставите меня...»

Тихик вышел, чтобы послать кого-нибудь за Быкоглавым, но в селении не было ни души. Настойчиво било деревянное клепало, люди столпились на опушке леса, и Тихику было видно — Быкоглавый им что-то говорит.

Опустив на лицо покрывало, он медленно зашагал к лесу. Он шел, склонив голову так, что покрывало свисало до земли, и приходилось придерживать его рукой. Он перенял у князя эту грозно-неторопливую поступь, которая повергала людей в недоумение. Ничто так не смущает нижестоящих, как молчание господина и неизвестность относительно его намерений. При виде Тихика люди испытывали подавленность и страх, но это входило в его расчеты, поскольку уважение, к коему примешан страх, равносильно благоговению. Женщины смущенно скрестили руки на животе, мужчины выпрямились. Все расступились, впуская его в свой круг, но Совершенный, не проронив ни единого слова, дал Быкоглавому знак приблизиться, отвел его в сторону и шепнул, что, если тот вздумает воровать, гореть ему в вечном огне. Быкоглавый пробормотал что-то, а Тихик повернул к молельне, посмотреть, что там нарисовал Назарий. Пройдя десяток шагов, он вздрогнул, вспомнив, что припугнул своего преемника не изгнанием из общины, а вечным огнем, и завтра Быкоглавый вправе заявить, что пожертвовал собственной душой ради спасения христиан... «Ты смотри, что получается! — со стоном проговорил Тихик.— Этот болван из грабителя может превратиться в святого. Кто знает, как посмотрят на это там, в небесах. Глядишь, еще возведут его на золотой престол... Научи меня, господи, понимать промысел твой...» И он принялся читать молитвы.

Сердито стуча деревянными подошвами, он ступил в молельню как раз в ту минуту, когда художник завершал образ грешницы —

ввергнутая по грудь в алые языки пламени, она молитвенно вздымала белые руки. Страдальческие глаза на дивно прекрасном лице, залитом слезами раскаяния, искали бога, нежные губы были полуоткрыты, и виделось, что адская пытка огнем вызвала в ее душе страстный порыв к небу и глубочайшее раскаянье.

Тихик вгляделся в грешницу и узнал Каломелу.

— Несчастный, что ты нарисовал?! — вскричал он.

Назарий обернулся, посмотрел на него вдохновенным взглядом.

— Грешницу, владыка. В чем винишь меня?

— Да ведь это Каломела, невеста дьяволова!.. И ты изобразил ее красавицей, нагою, во искушение христианам и в поминание!.. Ты и князя нарисовал там! — И Тихик указал на человека, как дьявол черного, но прекрасного. Человек горел в пекле, однако лицо его выражало надменность и презрение, словно пламя бессильно было причинить ему малейшую боль.

— Как ты посмел, злосчастный! — вне себя от гнева возопил Тихик.

Назарий по-прежнему спокойно смотрел на него, нежные черты даже не дрогнули.

— Они ведь меж грешников, владыка. А разве нет меж грешников наделенных телесною красотой? Господь не даровал мне способности рисовать душу без тела, ибо не дозволил глазам нашим зрить бесплотное. И, глядя на тела и лица, я пытаюсь распознать души.

— Кто ты есть, чтобы распознавать человека, безумец? Разве владыка ты, разве тебе отвечать перед господом за человеческие души, разве ты, а не я препоясан поясом познания? Или не понимаешь, что если нечестивые красотою своей будят сострадание, то тем самым искушают верующих, умаляя их любовь к господу? Изобразив грешников столь прекрасными и страждущими, не побуждаешь ли подражать им, ибо человек гордится и мукой своей, облекает ее в красоту и любит ее, как любит себя самого. Подобная красота есть враг красоты небесной, заблудшая ты душа, она не ведет к истине. Грешникам назначено мучиться, страдать... Кого любишь ты более — грешника или господа?

— Но ведь и господь любит нас, владыка, сынов своих...

— А ты разве господь, что ставишь себя на его место? Искушаешь людей обманчивой красотой и полагаешь, будто творишь это с любовью к богу, а на деле ослеплен ты сатаною, говорящим посредством руки твоей! Уничтожь слуг дьяволовых или изобрази их мерзкими и уродливыми!—закричал Тихик, и голос его колокольным гулом прокатился меж деревянных стен.

Художник сокрушенно уронил руки. Он стоял потупив глаза в земляной пол.

— Быть может, твоя правда, владыка,— негромко, задумчиво проговорил он.— Но если нет у меня в сердце любви и сострадания, кисть моя бессильна. Ненависть сковывает руку и отнимает зрение. Ненависть уродлива, и с ней я не смогу быть художником.

— Значит, твое художество не научит человека добру, а будет лишь искушать его и развращать, ибо ты изображаешь то, чего не познал!

— Я обдумаю твои слова, владыка, издавна уже ломаю себе голову над пользой художества. Но коль угодно тебе, чтобы уничтожил я эти образы, я их замажу красной краской, и тогда будет казаться, что они потонули в геенне огненной, лишь кое-где из пламени будут торчать руки.

— Значит, ты разумнее, чем я предполагал,— сказал Тихик, удивленный рассудительностью Назария.— Подумай, брат, о том, что́ на пользу христианам, что́ есть для них добро.

Назарий ничего не ответил, но бледное лицо его стало еще бескровней и печальней. Рука, задрожав, выронила кисть. Он смежил веки и, казалось, погрузился в сон.

«Несчастный,— подумалось Тихику,— дьявол посредством художества вселился в него и сделал его опасным. Чем малевать, пусть лучше корчует деревья, коль скоро его художество не поспешествует христианскому делу».

Из молельни Тихик вышел до крайности довольный собой. Сколь он умен стал и прозорлив! Пояс познания ли просветил его разум или же опытность, приобретенная в ту пору, когда он был княжеским слугой и экономом, придала ему мудрость? Он сам дивился тем словам, которыми принудил этого странноватого человека смириться. Чьи то были слова — его ли собственные или внушены ему небесным отцом? «Благодарю тебя, господи!» — прошептал Тихик и, возгордясь, тяжело, степенно ступая, вернулся к себе, чтобы вновь заглянуть в опасное евангелие, прежде чем предать его огню.

4

Силен верующий, который не сомневается в том, что ему ведома истина.

Три дня читал он и перечитывал Сильвестрово евангелие в своем полутемном покое, пропахшем горелым воском и постной пищей, непрестанно отирая пот со лба. Дверь он запер на засов и отрывался от чтения, лишь когда бабушка Каля приносила ему миску чечевичной похлебки. Каждая строка смущала его сердце, вливала в него презрение и гнев. Новое учение ему было известно, он слышал его от самого Сильвестра, но теперь, когда он глубже вникал в него, оно казалось ему и наивным, и лживым.

Книга изобиловала смутными и противоречивыми мыслями. К примеру, коль не существует ни бога, ни дьявола, кому же подвластны тогда сила разрушения и сила сотворения? Не подменялись ли здесь одни слова другими во погубление душ и заблуждение умов? Конечно, если отринуть бога, тогда люди суть богочеловеки и должны стать совершенными, но как — про то не говорилось. И неба уже не было, оно лишалось всякого смысла, и антихрист этот Сильвестр ничего не говорил о небе, он желал, чтобы человек сам был мерилом своих деяний, свободный в выборе добра и зла... Воистину Христос сказал: «Будьте совершенны», но добавил, однако: «Как отец наш небесный!» Ему ли, Тихику, прослужившему всю жизнь в княжеском доме, где непонятно было, какому господу молятся, рабу, чьи глаза навидались всякого, чья шкура испытала плеть, палку и насилие и чья утроба никогда не знала сытости, ему ли внушать подобную ложь! Мыслимо ли совершенство без бога и как его достичь, коли человека не ждет впереди седьмое небо и коли бог не есть возмездие? Как ему без этого терпеть муку, как жить на сатанинской земле? Отчается человек, измыслит всякую дикость о себе и о мироздании, посчитает себя ничтожеством, а жизнь бессмыслицей и станет уповать на смерть как на избавление... О неразумный, неужто не понял ты, что, если предоставить человеку выбирать меж добром и злом, он запутается, плюнет на твое совершенство и заживет жизнью скотской. Каждый пожелает возвыситься — и блудник, и убийца, и богохульник,— и, лишившись веры в Отца, уверует человек лишь в свою силу... И чем обольщаешь ты

его? Обещаньем свободы... Бунт творишь, а обещаешь освобождение...

К исходу третьего дня, припомнив также все те опровергательные доводы, что пришли ему в голову, когда он впервые прочел Сильвестрово послание, Тихик развел в закопченном очаге огонь и принялся жечь евангелие. Страницу за страницей вырывал он, с наслаждением бросал в огонь и наблюдал, как они корчатся в языках пламени, подобно грешникам в преисподней, а на стенах покоя так же корчились желтые и красные злые духи. Он воображал, что сжигает самого дьявола, и был убежден, что тем просветляет свой разум. «Сатана обольщает и любовью. Так обольщает он и несчастного Назария. Берегись, Тихик, такой любви и оберегай свою паству»,— говорил он себе, шагая из угла в угол и вслушиваясь в стук топоров, треск деревьев и торжествующие людские крики, когда дерево валилось наземь.

Клепало положило конец дневным трудам. Еретики возвращались в свои убогие лачуги. Селение затянуло сетью дыма, и вскоре наступил тихий и печальный богомильский вечер. Из бездонных, задумчивых лесов прихлынула тьма, и Тихик, дождавшись, пока все сойдутся для общей молитвы, вошел в молельню.

Народ сгрудился перед высоким таро, дивясь красоте образов и богатству красок. В ослепительно сияющем свете Назарий представил седьмое небо, где восседал на золотом троне Саваоф, спокойный и грозный в своем величии. Сонм ангелов окружал его и пел ему хвалу. Вкруг него витали шестикрылые серафимы, а перед ним «толпилось огненное воинство из великих архангелов, священнослужителей, власть предержащих, херувимов и светлостоящих, размещенных по десяти степеням», и у Тихика невольно возник вопрос, к какой же из степеней принадлежит он сам, и это усилило его уважение к себе как владыке.

Внизу, под семью небесами, косматый и могучий сатана, серовато-зеленый, с серебряными рогами, властно указывал на потонувшую в пучине Землю, повелевая ангелу воды извлечь ее. Ниже трубящих архангелов восседали праведники в блистающих одеждах и с золотыми нимбами вкруг головы. Они пели, восхваляя господа. Рогатые чертенята кололи трезубцами грешников, в чьих душах копошились черепахи, змеи, свиньи и козлы.

Плененные красотой красок и образов, еретики обращали восхищенные взоры то к седьмому небу, то к Страшному суду, и Тихик не мог разгадать, что же сильней всего привлекает их, однако заметил, что женщины больше поглядывают на змей и козлов. Оборванные, жалкие — рядом с великолепием нового таро,— эти люди вызвали у Совершенного жалость, но немой восторг в их глазах насторожил его. «Вот так и прельщается человек. Отчего, господи, внушил ты ему эту слабость? Не след ему прельщаться красками и вяческими образами, ибо тогда каждый пожелает облачиться в дорогие и яркие одежды, каждый будет тщиться блеснуть внешней красотой»,— подумал Тихик.

— Братья и сестры,— начал он, когда еретики, заметив его, отошли от таро,— да не соблазнит вас искусность, с коей брат Назарий написал эти картины. Опасайтесь художественности, если чувствуете влечение к внешней красоте или же владеет вами стремление к господству. Всякое зло начинается с желания возвыситься над себе подобными. К такому обольщению вели и дьявольские проповеди Сильвестра, желавшего посредством красоты возвыситься над дьяволом и богом и отрицавшего существование их. Под конец лишился он разума, как лишается его каждый, кого пьянит красота, и обрел

позорную смерть от руки черного князя Сибина. Пусть брат Радул расскажет вам, что претерпел он из-за злотворного учения богоотрицателя. Сатана погубил его сотоварищей, но господь уберег его и вернул к нам, дабы отрекся он ото лжи. Говори, брат Радул! — приказал Тихик.

Кто-то внес зажженную лучину, и в зловеще мерцающем свете собравшиеся увидели, как выступил вперед брат Радул. Высокий, отощалый, с устрашающей улыбкой, обнажившей его крупные зубы, он поведал о своих злоключениях, о мытарствах своих несчастных сотоварищей, проклял новое евангелие и под конец при гробовом молчании слушателей воскликнул:

— Не променяю я своей ветхой рясы на царское облачение, а голодное брюхо свое на царский ужин! — и, бия себя в грудь, поклонился в ноги Совершенному.

Женщины зарыдали, мужчины запели «Пощади нас, владыка», и от их голосов, как от звериного рыка, заколебались деревянные стены. Все исступленно пели и молились, возгордясь тем, что они бедны и голодны, потому что у нищих зависть обращается в гордость, а бедность в благочестие. Один только Назарий не пел. Задумчивый и печальный, стоял он в глубине молельни, куда не достигал свет лучины.

В тот вечер молитва была задушевной и жаркой, однако в уме Совершенного проносились тревожные мысли. Задерживая взгляд на лицах молящихся, он спрашивал себя, не потому ли столь усердно молятся эти люди, что в их сердцах живет грех. Праведникам надлежит молиться смиренно, без исступления и рыданий, поклоны бить низкие, но не колотиться лбом об пол. А может, эта страстная молитва вдохновлена картинами седьмого неба, где они надеялись занять престолы праведников?

Так терзал себя Тихик, потому что жаждал от своей паствы кротости, веры в учение и, главное, в него самого, Тихика. При этом он невольно поглядывал на сестер Ивсулу и Благуну — обе они были девственницами. Благуна, крепкая, дородная, молилась лениво и равнодушно. Видно, что простая душа — либо вовсе безгрешна, либо не сознает, что и в ней дремлет дьявол. Тонкая, стройная Ивсула, освещенная лучиной, повторяла слова общей молитвы страстно, настойчиво, словно повелевала самому господу. «С Каломелой схожа, и как складно произносит всякое слово, только чересчур громко иной раз, и все на меня посматривает»,— думал Тихик, прислушиваясь к ее молитве. Он вспомнил о своем намерении приблизить к себе одну из сестер — так же, как прежний Совершенный приблизил Каломелу,— провозгласить ее верной, чтобы помогала ему и стряпала.

«Та не сильна разумом и будет покорна, делай с ней что хочешь, но вот эта мне больше по душе»,— думал Тихик, вглядываясь в нежное лицо Ивсулы — красивое лицо с резкими чертами, длинноватым, прямым носом и чуть заостренным подбородком. Ему почудилось, что ее пестрые, как у козочки, глаза ищут его взгляд. Он был совершенно убежден, что им движет лишь желание снять с себя мирские заботы, потому что бабушка Каля неряшлива и нерасторопна, однако в памяти неожиданно возникли белые, точеные щиколотки Ивсулы. Он увидал их однажды, когда она стирала, склонившись над корытом. Это так живо всплыло сейчас в его воображении, что у него забилось сердце и по ногам поползли мурашки. «Может, не только потому, что схожа она с Каломелой, но также из-за ее белых, точеных ног я предпочитаю ее другой сестре? Не лицо ее, не глаза, а ноги могут погубить меня»,— мелькнуло у него в голове, и

он принялся усердно творить молитву, испугавшись недостойных мыслей.

Преломив хлеб и благословив трапезу, Тихик удалился в свой покой, чтобы поужинать в одиночестве, как того требовал заведенный порядок. Тут его одолели новые сомнения, так что кусок не шел в горло и постная похлебка долго оставалась нетронутой вместе с ломтем просяного хлеба и деревянной ложкой. Он поразился, что не познал самого себя. Правда, и прежде — до того, как он препоясался поясом познания,— ему случалось ощутить дьявола и в уме, и в сердце своем, но только лишь на мгновение, поскольку весь день он сновал туда-сюда и работал наравне с прочими, а вечером от усталости вмиг забывался сном. Кроме того, возвышенные мечтанья, в которых ему и Каломеле предстояло наслаждаться вечной любовью на небесах, несовместны с плотскими желаниями. Да и некому было тогда взять на себя заботу о спасении душ. Ныне же он в ответе за их спасение, а коль скоро он взял это на себя, значит, он должен бдеть и над собственной душой. И поскольку он более не изнуряет свое тело трудом, а оно молодо и полно сил, вот дьявол и обольщает его.

«Пост надобен, строжайший пост! — говорил он себе, облокотясь о стол и обхватив ладонями взлохмаченную голову.— Однако поможет ли пост?.. Господи, только в проклятии твоем все спасение, но ведь Совершенный я ныне, не подобает мне трудиться в поле. И еще спасение — в неведении, но для меня уже поздно, поздно! Не просвещен я обучением, еле-еле разбираю по слогам, но благодаря службе моей и тяготам, испытанным подле князя, благодаря прежним обязанностям в общине и прирожденному недоверию и хитрости многое я успел узнать о человеке, и есть опасность, что знание и собьет меня с панталыку...»

Чувствуя, что в этот вечер он столкнулся с чем-то неодолимым, угнетавшим его разум, Тихик попробовал взглянуть на себя со стороны, глазами своей паствы, но тщетно. Он видел себя то рабом князя, то верным, услужающим другом, а едва обращался он к новому своему обличью, как его вытеснял образ князя. Отчего же проклятый Сибин не выходит из головы? Оттого ли, что в сердце затаилась похоть, а образ черного князя вызывает мысль о дьяволе? Или же представление о Совершенном и владыке неминуемо связывается с бывшим его господином, которого он ненавидел, но страшится еще и теперь?

«Спаси и помилуй мя, господи!» — воскликнул Тихик и преклонил колена для молитвы, но разверстые уста не издали ни единого звука. В памяти вновь всплыла Ивсула. Она смотрела на него своими козьими глазами, на губах играла манящая улыбка, и он опять ощутил прикосновение ее тонких пальцев, как это было во время моленья, когда все брались за руки. Ее образ и это ощущение слились в нечто сладостно-нежное, ангельское, так что уже и не разобрать было, где тут дьявол и где ангел.

«Сгинь, сатана!» — простонал Тихик, но сатана не исчезал. Он заменил образ Ивсулы образом Благуны, а затем перед Тихиком возник отец Сильвестр. Покойный владыка с презрением смотрел на него и смеялся. У Тихика блеснула мысль, что следует оскопить себя. С давних пор помышлял он об этом средстве побороть дьявола, но, по слухам, многие после оскопления впадают в слабоумие. И разве господь вознаградит такого скопца наравне с неоскопленным христианином, который устоял перед искушением? Быть может, вместо престола уготован скопцам обычный стул или осуждены они только на перерождения, всегда бесплодные...

Впервые за тридцать лет жизни Тихик уразумел, что существуют запутаннейшие вопросы и что дьявол могуществен. Он долго молился, прочел вслух все молитвы одну за другой (если кто пройдет мимо покоя, пусть слышит, чем занят Совершенный) и лишь на рассвете, истощив последние силы, отринул всякий помысел об оскоплении, отложил на другой раз заботу о спасении своей души, взял палку, поставил перед собой и, начав с самого низу, стал перехватывать ее то левой, то правой рукой, каждый раз произнося имя то Благуны, то Ивсулы. Отождествив палку с волей божией, он ей передоверил решение — кого из сестер приблизить к себе. И хотя остался еще свободный кончик, который можно было перехватить, Тихик не стал этого делать, сочтя, что места недостаточно, но еще и потому, что в таком случае ему бы вышло приблизить Благуну...

5

Тому, кто созерцает красоту, кто неустанно ищет ее, невозможно избежать опасностей, из нее проистекающих.

(Из письма патриарха Фотия царю Борису I)

Выдавались у Назария счастливые часы, когда земля представлялась ему дивной картиной, а небо — исполненным великих чудес, непостижных разуму. Тогда ему казалось, что глаза его различают в природе богоосиянные зори, душа ощущает присутствие бога, а мысль объемлет все мироздание. Обостренным слухом Назарий улавливал тайну и в реве диких зверей, и в песне птиц, и во всем проницал он глубоко скрытый смысл.

Вечерами, лежа в своей убогой землянке, прислушиваясь к голосам и смеху, которые разносились по селению, или же к шепоту ветра, Назарий предавался мечтаниям, бледные губы его улыбались, рука тянулась за кистью, и он в темноте мысленно писал что-то, зримое только ему самому.

Вселенная была океаном красок и звуков, и Назарий словно бы плыл в этом океане, всегда настороже, чтобы не пропустить ни одно из тех чудес, которые совершались вокруг. Голубой простор и снежные шапки горных вершин, тени, менявшиеся от движения солнца, вселяли в его сердце нежную радость и побуждали молитвенно склонять голову. За смешением страстей, недовольства, пороков и злобы, что читал он на лицах, Назарий видел живой трепет души, измученной и жаждущей любви. И тот, на ком останавливался его взор, уносил в себе улыбку художника и долго не мог забыть его глаз. Худой и бледный, Назарий излучал кроткий свет, он сопутствовал ему подобно тени, и кое-кто смутно догадывался, что художник наделен скрытой внутренней силой, которой нет названия. И злыдари, и страдальцы рады были повстречать его, увидать его ласковую улыбку, потому что она вливала в душу радость и всепрощение. Даже Быкоглавый, всегда суровый и насупленный, не мог устоять перед искушением повидать Назария, услышать его приветствие. А еретик с рваной губой не опасался, что Назария отвратит безобразная усмешка на его изуродованном лице.

Назария любили, как любят незлобивое дитя, и никто не сознавал, сколько силы в такой любви. Подобно Тихику, все полагали, что Назарий лишен той грубой силы, которой они привычно противостояли изо дня в день, чтобы в борении с ней победить или покориться.

На взгляд женщин, Назарию недоставало мужественности, нежная его красота не привлекала их, и они улыбались ему, не вкладывая в улыбку любовных желаний и не испытывая стыдливости. Только старухи прислушивались к его словам и озабоченно качали седыми головами, потому что женщины задумываются о душе и смерти лишь после того, как увянет тело.

Всякий день, пока он писал таро, мужчины и женщины приходили смотреть, как возникают на стене дивные образы архангелов, серафимов и грешников, седьмое небо, Страшный суд — все, что они смутно представляли себе по еретическим книгам и проповедям. Под завораживающим действием красок и Красоты с ее тайнами в их представлениях стерлось различие меж седьмым небом и адом. Озаренное славой Саваофовой, седьмое небо было не более притягательно, чем огненные краски Страшного суда и зеленовато-серые отсветы на могучей фигуре Сатанаила. Седьмое небо внушало страх образом бородатого, величественного Саваофа, на чей суд человеку предстояло явиться, а преисподняя ужасала рогатыми чертями, змеями, свиньями, козлами и черепахами в душах грешников. Поразмыслив над этими изображениями, человек чувствовал, что ум у него раздваивается, и бог уже представлялся таким же насильником и тираном, что и дьявол. Сердце мучительно сжималось, потому что каждый ощущал и сладость греха и влечение к добродетельному покою души. Так не погибло, а дало росток семя сомнения, богоборчества и бунта, ибо всякое раздвоение в человеке есть боль...

Желая проверить действие своего искусства, Назарий зорко всматривался в еретиков, и такие же, как у них, мысли и чувства мучили и его...

Многие просили Назария написать образ богородицы, и он изображал ее прекрасной и юной, похожей на Ивсулу. И когда еретик уносил образ к себе в лачугу и сравнивал с ним свою некрасивую, измученную жену, то предавался дурным помышлениям. Другие хотели иметь изображение Евноха, где он говорит с господом, а один малорослый, тщедушный еретик попросил даже нарисовать самого дьявола. После, когда Назарий пас волов, он видел, что этот еретик прислонил доску с изображением дьявола к дереву и яростно хулит его. Он угрожал ему, ругал самыми скверными словами, тем самым хуля дьявола в себе, испытывая при этом радость и усладу, потому что всякая молитва есть искупление и радостное облегчение. Так благодаря своему искусству Назарий, как и всякий художник, носивший в своей душе образ мироздания, стал чаще и чаще задумываться о пользе искусства вообще.

Все думали, что знают прошлую его жизнь, он сам охотно рассказывал, что делал до того, как пришел к ним в богомильское селение. Сын па́рика[1], он юношей поступил в учение к богомазу. Когда он изучил ремесло, болярин поручил ему расписать церковь в крепости. Назарий расписал, но болярин, по наущению местного священника, повелел выдрать его плетьми за то, что он изобразил Иисуса и святых обыкновенными людьми, несообразно канону. Однако больше всего прогневили болярина портреты ктиторов: Назарий написал болярина и его семейство такими, какими видел, в надежде, что, взглянув на себя его глазами, они станут лучше и справедливее. О своем учителе-иконописце Назарий ничего не рассказывал. Был тот безбожником, гулякой и пьяницей, потрошил живьем лягушек, крыс и прочих животных, чтобы проникнуть в тайны живой плоти и, как он выражался, «поглядеть, кто ее терзает и мучит». Человек

[1] Экономически независимый крестьянин в феодальной Болгарии.

этот, хотя и хороший художник, был богохульником и бесстыдником, не признавал ни причастия, ни просфоры, под своды церкви входил единственно, когда расписывал ее; он глумился над святыми, над господом и с самых ранних лет влил в душу Назария этот яд. Был он с козлиной бородкой, красноносый, как всякий отпетый пьяница. Он внушал Назарию сомнения в смысле искусства, насиловал неокрепший юный разум мучительными раздумьями. «Эх, малый,— восклицал он,— обманываем мы людей нашими иконами, пугаем ликами святых, бога и дьявола! Проклятая ложь, а без нее чадо Христово и вовсе обезумеет». Назарий не хотел вспоминать об учителе, размышлять над его внушениями, однако они крепко засели у него в голове, и никто не подозревал, какие мрачные мысли частенько терзают его, потому что ничем не выдавал он себя, будучи кроток и видом, и обращением.

Из-за телесной слабости Назария Быкоглавый отрядил его пасти волов, и, завершив таро, Назарий с охотой приступил к своим новым обязанностям. Дни были теплые, осенние. Скинув свое заштопанное верхнее платье, босой, он часами недвижно стоял, опершись на кизиловую палку, устремив взор на голубой простор и на гору, купавшуюся в этом обилии воздуха, любовался лесными цветами, и каждый цветок будил в душе музыку и пьянил ее тихим восторгом. Он забывал все свои горестные думы, блаженно улыбался и, переступая красивыми, мокрыми от росы ногами, брел к ручью, где неумолчно журчала вода. Волы подходили к нему, смотрели своими большими, кроткими глазами, дышали ему в лицо влажными ноздрями. Теплое дыхание животных, в котором Назарий угадывал чистоту их души, умиляло его. В голове роились дивные мысли, и они уносили его, как уносит ручей упавшие в воду осенние листья. Душа угадывала присутствие чего-то, властно объявшего землю от края до края, и было в этом Зло и Добро, Красота и Уродство, и ему казалось, что он ощущает, как все это исчезает в бесконечности времени и рождается снова и снова, обещая вечную жизнь. Радость и скорбь чередовались у Назария, он всем своим существом отдавался мирозданию, и его дыхание сливалось с дыханием всего живого вокруг.

Однако Назарий едва ли сознавал, что это ведет также и к смерти, ибо постигающий вечность приемлет и смерть. Зато он отлично помнил те дни, когда, униженный, избитый по велению болярина, он задумал повеситься. С той поры запало в него сомнение, благо ли для человека художество, и мысль эта терзала его денно и нощно. «Ведь посредством художества,— говорил он себе,— раскрываются тайны, но они суетны, ибо неведома мне суть изображаемого. Художество опьяняет человеческую душу, побуждая устремляться и к небесам, и к пеклу. Бескрайна его дорога и напрасно тщится оно изречь то, чего не в силах изречь. Оно обожествляет Красоту, верит, будто в ней — истина и благо, а видит ее и в основе греха и порока, потому что для Красоты нет различия между наслаждением и радостью».

Так размышление приводило его к отрицанию пользы искусства, ибо совершенство изображения оказывается ложью, за которой кроется то, что выразить невозможно. В этом самообмане дьявол и бог перевоплощаются один в другого, а любовь — без которой немыслимо никакое искусство — от слияния с воображаемым миром превращается в утеху и умиротворение. «Становятся ли люди лучше благодаря искусству?» — спрашивал себя Назарий. «Человек не терпит истины, тем паче — истины о себе самом, но вечно домогается ее, и это — одна из его странностей,— рассуждал он.— Болярин приказал избить меня за то, что я изобразил злобными и его и все се-

мейство, а они таковы и есть. Каждому в глубине души хочется быть красивым, благородным и добрым, даже разбойнику... Надо ли искать другую истину, как искал ее отец Сильвестр, кроме той, какую знает душа благодаря вере в бога, истины, невыразимой словом, но умиротворяющей дух? Чем соблазняться суетными образами и лживыми внушениями, в которые ты и сам не веришь, не лучше ли светиться чистой любовью и примером собственной жизни укреплять человека на страшном его пути меж Добром и Злом?..»

Еще более мучительные сомнения овладели Назарием после раздумий над новым учением и в особенности, когда, завершив новое таро, он воочию увидел, как воздействует его искусство на простых, исстрадавшихся людей. Однако он не сознавал, что стремится скинуть с себя ношу, которая бременит художника, стоящего перед загадкой мироздания, что он попросту жаждет душевного покоя и избавления от сомнений, помрачающих его разум. К этому толкала его и любовь, переполнявшая сердце наряду с благочестием и жалостью ко всему живому. Ибо, проникая в глубину того, что он хотел запечатлеть, Назарий страдал, поскольку выступала наружу оборотная сторона явлений, притаившийся дьявол высовывал свою хитрую морду и, пытаясь опорочить божий промысел, отрицал и смысл самой Красоты.

Назарий не остался бы в богомильском селении, не будь оно единственным его приютом и если бы он не увидал Ивсулу. Не верил он в небесные престолы и не ждал для себя никакой награды. Много раз писал он Ивсулу по памяти, разглядев в этой пригожей девушке демона гордыни и тщеславия. Он часто проходил мимо землянки ее отца в сопровождении собак, которые следовали за ним по пятам и лизали ему ноги. Каждый раз, когда он встречался глазами с Ивсулой, она отвечала ему враждебным взглядом и быстро скрывалась в землянке, потому что страшилась его проницательности и ненавидела его, думая, что он прознал ее тайну. «Как мне хотелось бы помочь ей освободиться от демонов! — мысленно восклицал Назарий.— Бедная, как она боится, что я затрону ее душу. Она точно дитя, которое не дает вытащить из пятки колючку». И он продолжал путь, улыбаясь своей тонкой, всепонимающей улыбкой, в которой Ивсуле чудилась насмешка.

Всю осень она упорно избегала бесед с Назарием, а на вечерней молитве никогда не брала его за руку. Так сложились меж ними отношения, исполненные глубокого молчания, но, подобно жару, сокрытому под пеплом, за этим таилась любовь. И ангел их стоял опечаленный, измученный сомнениями, придет ли для них когда-нибудь день любви...

6

Созерцать грех — опасно...

Быкоглавый сумел угнать из дальних сел волов и унести топоры, стадо умножилось, и Назария обременили заботы. Однажды, когда уже выпал снег и селение примолкло, он узнал, что Ивсула стала приближенной Совершенного и что Тихик готовится провозгласить ее верной. Тогда Назарий понял, что демоны одержали верх прежде, чем он и она вступили с ними в борьбу, и всякая надежда на спасение Ивсулы исчезла.

Всю долгую, снежную зиму он был в селении самым одиноким — не потому, что сторонился людей, а потому, что и душой, и мыслями был иной, чем они, и чужд еретикам. Он запасся красками, липовыми досками и утром, накормив скотину, садился писать

в своей землянке, где только от снега и было светло. Он писал еретиков — полуголодных, озябших, но терпеливо переносящих все невзгоды. В бородатых лицах мужчин, в злом блеске их глаз, в твердом, строгом, постоянно озабоченном взгляде женщин, чьи закопченные дымом лица редко озарялись скупой улыбкой, Назарий угадывал то могущество заблуждений, без которого человек не перенес бы земную свою долю. Эти мрачные, фанатичные люди были несчастны. Они сохли от ненависти к «творению дьяволову», и если все же была в них какая-то любовь, это была эгоистическая любовь озлобленных бедняков. Бог нужен им был для того, чтобы ненавидеть и судить других людей. Ненависть сопутствовала всякому возвышенному представлению об истине и справедливости, и коварный дьявол, которого они особенно яростно ненавидели, вливал в них злобу к каждому, кто не признавал их учения, а равно к тем, кто наслаждается земными утехами и благами. Дьявол распалял огонь их гордыни, уверенность в том, что только они одни — на верном пути и как истинные христиане терпят муки ради отца небесного и пособляют ему в борьбе с сатаной. Они находили усладу в своем мученичестве, веруя, что унаследуют блаженства вечной жизни и удостоятся лицезреть господа. Назарий убеждался в том, что людей соединяет не только общность представлений о мире и смысле существования, но и ненависть ко всем, кто не разделяет их воззрений, и что человек пребывает в вечном разладе с собой и богом.

Каждый вечер Назарий наблюдал в молельне, как проясняются суровые лица еретиков. Когда они пели общую молитву, когда кланялись друг другу и брались за руки, в уголках рта у них появлялась улыбка. И они еще больше утверждались в истинности учения, поскольку в толпе человек теряет способность рассуждать. Со страстью и увлечением внимали они проповеди Совершенного, преклоняли перед ним колена, чтобы он возложил руки на их взлохмаченные головы, очистил от каждодневных грехов, плотского вожделения и вражьих наущений.

— Бог ниспослал нам волов и орудия труда,— внушал им Тихик, и, хотя все знали о кражах, совершенных Быкоглавым, они верили словам владыки, ибо существовал бог, дававший им право присваивать чужое.

— Ваши богатства в сердцах ваших,— говорил Тихик, и они верили, что под их лохмотьями, под их фанатизмом сокрыто истинное богатство.

— Не поддавайтесь словам искушения, что нашептывает вам Лукавый, предатели души они.— И еретики воображали, будто и впрямь отвратятся от дьявола.

— Молите отца своего небесного о пощаде! — восклицал Тихик, и они хором восклицали: «Пощади нас, владыка!» — уверенные в том, что их посредник в силах испросить милосердие у самого господа, потому что нет более удобного способа просить господа как прибегая к посреднику.

Многим таким молитвам бывал свидетелем Назарий, когда по памяти писал лики еретиков. Сырые стены землянки постепенно украсились портретами, со всех сторон смотрели на него измученные лица мужчин и женщин, где были запечатлены различные состояния души — боль, угнетенность, надежда, злоба, тоска, но главным, общим для всех был страх и скорбь...

Назарий размышлял о душах этих людей, пытался разгадать их и обнаруживал в себе самом корни таких же чувств и наклонностей. «Коли я понимаю, что они прячут в душе своей, и способен изобразить это, значит, во мне самом — те же пороки, хоть я и творю с

любовью и состраданием. Чем более я причастен к ним, тем больше сокрушаюсь над собой. Мое искусство сжигает меня огнем самопознания».

В такие мучительные дни Назарий молился о том, чтобы не иссяк в его сердце родник любви, придающий крылья духу, и чтобы разум его не переступил за те пределы, за которыми творение божье теряет смысл. «О двойственность природы человеческой! — восклицал он.— Воспринимая чувственно мир и различая в нем вещественное и невещественное, откуда же знаешь ты о невещественном? Не свыше ли дано тебе это знание?»

Так терзался Назарий, видя, что с каждым днем ложь свивает в общине все больше новых гнезд и Совершенный в своем стремлении дать всем счастье и благоденствие вступает в союз с дьяволом.

Однажды, когда он сидел у себя в землянке, созерцая лики на стенах, на пороге вырос Тихик. Назарий ощутил его тень — она заслонила в землянке свет — и, обернувшись, увидел, что владыка стоит у него за спиной, похожий на ствол черного дерева. Крепкий, располневший, в длинной черной рясе, Тихик сквозь отверстия в покрывале смотрел на него, и Назарий представил себе его недоверчивые глаза, треугольный лоб и пышущее здоровьем лицо.

— Да пребудет во всех нас благодать господа нашего! — сказал Совершенный.

Назарий поклонился и произнес: «Аминь».

Совершенный рассматривал развешанные по стенам картины и, теребя полы рясы, бормотал что-то.

— Что изобразил ты, брат? — сдерживая гнев, спросил он.— Это ли мои христиане? Неужто они столь неприглядны и греховны? Чьими очами смотрел ты на них?

— Очами души моей, владыка,— кротко отвечал Назарий.

— Настолько нечестива она?

— Через их души познал я и свою собственную, владыка.

Совершенный тяжело дышал, по-прежнему теребя рясу.

— В их ликах изобразил ты себя, несчастный! Неужто забыл, что обещал поразмыслить над художеством, служит ли оно спасению человека и будет ли благом такое познание. Вместо того чтобы направить умы ко господу и предоставить ему исправление человеков, ты обращаешь их к отчаянию и мраку!

— Но как я стану бороться с грехом, владыка, если он мне неведом?

Тихик сердито замахал руками.

— Разве ты не уразумел, что опасно созерцать грех, ибо начнешь боготворить и его и самого сатану? Показывал ли ты кому эти образы?

— Никому, владыка. Я пишу по памяти.

— Разведи огонь в очаге и брось в него это глумление над господом и человеком! И помни: не на тебе, а на мне лежит забота о душах христианских!

— Но как мне забыть те знания, что я приобрел? — смиренно спросил Назарий.

— Знания твои ложны, ибо они преходящи, как преходяще царство дьявола. Истина воссияет после Страшного суда, когда предстанет человек в истинном своем обличье, очищенный от праха земного,— сказал Тихик и перешагнул порог землянки.

В это мгновение солнце разорвало пелену облаков, россыпью алмазов заблистал снег, заснеженная вершина вдали окуталась голубоватыми тенями и, казалось, трепетала в небесной лазури. Лицо Назария просияло, он наслаждался открывшейся взору картиной.

— Чем ты любуешься, брат? — спросил Тихик.— Разведи-ка огонь!

— Светом, владыка, его игрою..

Совершенный обернулся и тоже взглянул на горную вершину.

— Да-а, свет...— проговорил он.— Гм, уверен ли ты, что не есть он также заблуждение, что не обманывает он разум, представляя нам дьявольский этот мир прекрасным? Он прельщает взор и мешает нам различать бога и дьявола.

Назарий молчал, и Тихик принялся срывать со стен липовые доски и швырять в очаг, но вдруг увидал портрет Ивсулы. Он взял его и вышел за порог, чтобы получше рассмотреть.

— Я унесу этот лик. Прежде чем провозгласить ее верной, поразмыслю над тем, что углядел ты в нашей сестре,— произнес он, а когда Назарий развел в очаге огонь и липовые доски вспыхнули, тотчас же удалился.

Назарий был убежден, что Совершенный тайком улыбается под своим покрывалом и что в улыбке его скрыто довольство. Поймет ли Тихик, что Ивсула по воле демонов пришла к нему? И неужели он никогда не догадается, что и еретиками он правит через сокрытых в них демонов? Праведники, те не нуждаются ни в правителях, ни во владыках... И если свет есть заблуждение, тогда человек — лишь несчастная тень на сей земле...

Липовые доски трещали, языки пламени лизали сырые стены, в землянке стало теплее. Назарий опять пребывал в одиночестве, охваченный новыми думами.

«У каждого свой бог, и это разъединяет людей не в меньшей мере, чем дьявол. У меня был свой бог. Тоже художник, как и я. Но может ли мой бог быть истинным богом или всего ближе стоять к нему? — размышлял он.— Как знать... Если я излишне усердствую, чтобы художеством глубже проникнуть в суть истинного бога, он покарает меня безумием. Но кто остановит меня, если я сам не могу себя остановить?..— Жаль ему было своих творений, но, подумав, он сказал себе:— Я сжигаю свои прегрешения. Пусть они навсегда умрут в моей душе, испепеленные живущей во мне любовью».

7

Сколь хитро поступил всевышний, лишив нас возможности познать самих себя.

При каждой встрече с Назарием Тихик заглядывал в иной, мерзкий мир, где обитал дьявол. Правда, Тихик ощущал его и в себе самом, но противоборствовал ему, а Назарий, хотя и признавал свои заблуждения и обещал отказаться от художества, продолжал писать. Ему даже и на ум не приходило изменить свое художество так, чтобы оно служило поощрению христиан и спасению души их. Можно ли ожидать от человека, ищущего красоту даже и в самой преисподней, что он станет истинным христианином? «Делает вид, будто соглашается со мной, а людей изобразил скотоподобными»,— размышлял Тихик по дороге в свой покой. Липовая доска, спрятанная под рясой, смягчала его негодование. Тихик горел желанием поскорее вглядеться в девичий образ: еще в землянке, едва только взглянув на него, он уловил в этом лице нечто новое и тревожащее. Всякий раз, когда он видел хлопотавшую у него в покое Ивсулу, сердце его сжималось, и Тихик говорил себе, что ее пребывание здесь рано или поздно окончится грехопадением. Словно сам дьявол засел в его душе для того, чтобы жечь ее пламенем сладострастия. Опасность была явной, Совершенный видел ее, сознавал, что ему следует отослать

Ивсулу, но медлил с этим, потому что она не подавала к тому повода. Ивсула усердно заботилась о пропитании Тихика, подметала и мыла полы, следовала за ним повсюду, гордясь тем, что удостоена такого доверия и чести, исполненная величайшего почтения к его особе.

По утрам, прежде чем взяться за дела, она опускалась перед ним на колени, чтобы он благословил ее и очистил от ночных помыслов. Тихик возлагал на девичью голову руки, ощущал пушистые, мягкие как шелк волосы, умилявший его круглый, как у ребенка, затылок, и его пальцы с трепетом гладили ее волосы, воровски сбегали к щекам и ласково касались их. Ивсула наклоняла голову, благоговея перед этим священнодействием, и, когда руки Совершенного прикасались к ее мягкой шее, терпеливо ждала ниспослания благодати. Тихик намеренно читал молитвы не торопясь, чтобы продлить очищение, напряженно вслушивался в исповедь своей приближенной, с жадностью ожидая ее греховных признаний.

Он брал ее за руки, помогал подняться, и ее озаренное счастьем лицо было так близко от его лица, что он чувствовал ее дыхание. Но когда она видела сквозь отверстия в покрывале горящий пламень его глаз, на щеках у нее выступал румянец — то была стыдливость женщины, оставшейся наедине с мужчиной, и Тихик укреплялся в мысли, что неминуем день, когда Ивсула, отделив в своем сознании Совершенного от мужчины, будет его...

Он сел за стол, и пока его приближенная гремела горшками и мисками в тесной пристройке, отведенной для стряпни, он вынул из-под рясы портрет и при первом же взгляде сердце у него оборвалось, дыхание замерло. Ивсула на портрете была не такой, какою он знал ее и ежедневно видел. Назарий изобразил ее с широко открытыми глазами, тревожно устремленными в глубь себя самой. В их зеленовато-сером сиянии витала незримая тень, придавая им выражение страдальческое и непреклонное. Из-под темных бровей посверкивали жестокие искорки, женственный рот плотно сомкнут, в уголках затаилась гордыня.

«Этот богомаз видит в человеке одну лишь греховность. Ивсулу тоже не пощадил, сын дьяволов,— подумал Тихик, столь же возмущенный, сколь и обрадованный, ибо, если Ивсула и впрямь такова, она не устоит перед соблазном.— Не она это, незнакома мне эта женщина. Но отчего она так настаивает, чтобы каждое утро я ее исповедовал? Будь она непорочна, она бы не жаждала исповедей и очищения. Или, возможно, не поверяет мне всего, притворяется благочестивой, мечтая стать Совершенной, подобно Каломеле...»

Ему вспомнилось, что с того дня, как он приблизил Ивсулу, у нее изменилась походка — она ступала горделиво, чуть припрыгивая на ходу и поводя плечами так, что русые косы падали на плечи. Однако это свойственно любой пригожей девушке. «Прельстился Назарий ею и переусердствовал»,— продолжал лукавить Тихик, разглядывая портрет и борясь с сомнениями. Неужели дьявол снова устремляет к такой женщине его мужскую страсть? «Не допусти падения моего, господи, изгладь из памяти окаянную Каломелу, мою безрассудную любовь, вразуми слугу своего. Не подобает мне любить таких. Лучше полюбить ту толстуху, она из числа простых рабынь твоих. Изгони из меня дьявола, не то проклятый художник окажется прав»,— молился Тихик, прислушиваясь к тому, что происходит на кухне.

Ивсула развела огонь, собираясь печь хлеб и варить похлебку. В отворенную дверь доносились запахи лука и поднявшегося теста, огненными мечами поблескивали языки пламени. Побеленная печ-

ка излучала сладостное тепло. Солнце укрылось за тяжелыми снеговыми тучами. С неба повалили крупные белые хлопья, смеркалось, и сонная зимняя глушь погасила свет дня. Совершенный почувствовал, как по телу пробежала радостная дрожь, сердце наполнилось сладкой надеждой, ему припомнилось то ощущение чужого семейного счастья, которое некогда в княжеском доме вызывало в нем муки зависти. Он встал, бесшумно подошел к раскрытой двери и заглянул в кухню.

Ивсула скинула линялую рясу и осталась лишь в длинной холщовой рубахе. Раскрасневшаяся от жары, она вытирала печь мокрой тряпкой, намотанной на шест, ее тонкий девичий стан при этом вертко изгибался. На лбу у нее выступили капельки пота. В свете пламени догоравших головешек и угольев видно было сквозь рубаху ее тело. Оно казалось розовым, при каждом движении колеблющийся свет обрисовывал стройные ноги, тонкую талию, девичьи бедра и нежную спину. Совершенному казалось, что юную деву омывают зори летнего утра. Он поискал глазами белые, точеные щиколотки, смутные контуры подрагивающей груди, ноздри его расширились, жадно втягивая воздух, и какая-то сила пыталась оторвать его от земли.

«Это дьявол»,— подумал он, впервые усомнившись в том, что дьявол и впрямь существует, шагнул к двери и распахнул ее. Ивсула обратила к нему испуганный взгляд, выронила тяжелый шест и метнулась к брошенной на пол рясе. Оттуда выскочил огромный полчок, быстрый, как молния, и ткнулся ей в ноги. Ивсула взвизгнула, пошатнулась, и Тихик сам не понял, как она очутилась в его объятиях...

Так зверек, подосланный сатаной, уничтожил расстояние между Совершенным и его приближенной — расстояние, которое прежде казалось непреодолимым. Бросив полунагое девичье тело в его объятья, проклятый демон тем самым ввергнул девицу в огненную печь алчного и неутоленного сладострастия, что долгие годы зрело в душе бывшего раба. Дурманящее благоухание этого тела сулило блаженство, превосходящее все блаженства, обещанные Тайной книгой...

Черное покрывало сползло на пол, усатый рот впился в крепкие девичьи губы. Успокаивая свою приближенную, обещая провозгласить ее Совершенной, Тихик понес ее к лежанке и, невзирая на сопротивление, силой повалил ее. Она увидела, что ей ничто не поможет. Крик ее одиноко замер в тиши зимнего дня... А когда все было кончено и Совершенный погрузился в сладостную истому, с ужасом ожидая последствий содеянного, то не услышал ни проклятий, ни плача, в полуоткрытых ее глазах виделось удивление тем, что содеянное с нею было вовсе не так мучительно, как она ожидала. Ее глаза украдкой следили за ним отчужденно и холодно, и Тихик прочел в зеленовато-серых зрачках хитрую сметливость. Обнаженные руки, еще недавно отстранявшие его, медленно обвили его толстую шею, и он услыхал ее голос:

— Ты и вправду провозгласишь меня Совершенной?

Тихик вдруг вспомнил о портрете, поразившись проницательности художника, потрясенный тем, как внезапно, быстро и легко все свершилось...

8

О грехи мои, сокрытые от чужих глаз, вы понуждаете меня творить добро!

«Проклинаю тебя, сатана, проклинаю ублаготворение, радость и мужское тщеславие, испытываемые мною. Теперь и я, полагавший

себя недосягаемым для твоего внушения, оказался в лапах твоих. Кто возложит руки на мою голову, дабы снять с меня грех? Я даю отпущение людям, а кто даст отпущение мне?.. О низкая и смехотворная гордость тем, что ты мужчина!.. Где же всевышний? Зачем наслал он проклятого полчка, зачем она сняла рясу, зачем не кричит, не кусает, не пинает меня ногами, а глядит таким подлым глазом?.. Предстоит мне отныне жить в смущении и в страхе, как бы не дознались люди о моем падении...»

Наихудшим было не то, что недостоин он зваться владыкой и Совершенным, хуже всего было то, что сколько ни винил он себя, не мог смирить эту подлую радость и смехотворную мужскую гордость, фарисейскими были его раскаяние и все самообвинения.

Напрасно метался Тихик на жестком своем ложе. Бог не внимал его молитвам. Дьявол, принявший образ отца Сильвестра, с ухмылкой указывал на Ивсулу как на жертву: «Вот что ты сотворил». А Ивсула, лицемерно склонив голову, собиралась лить слезы. «Не плачь, мое падение побуждает меня любить тебя так, как я любил Каломелу. Любовь та была небесным блаженством, радостью и упованием, теперешняя же есть грех, сластолюбие и страх... Ныне я — страждущий и измученный — люблю тебя еще и оттого, что страшусь, не поведаешь ли ты моей пастве, сколь я грешен». Однако всего позорнее было то, что чем яростнее корил он себя и бил себя в грудь, тем сильнее оказывались воспоминания о сладости ее тела, и радость оттого, что она принадлежит ему, и желание опять испытать это...

В полночь, когда в углы покоя задувала вьюга, Тихик уже спал, бормоча во сне и причмокивая губами, а проснувшись белым зимним утром, он ощутил в себе как бы два существа. Одно — ныне омраченное и сникшее — было прежним Тихиком, с чистой душой, для которого все было ясно. То существо обладало волей, потому что его представления о мире вливали в него уверенность и силу. Оно верило в чистоту своих помыслов и не ведало противоречий и сомнений. Второе же — беспокойное и опасное — теперь заявляло о себе самым ощутительным образом, отрицало прежнего Тихика и боролось с ним. Оно советовало Тихику умалить значение случившегося и с нетерпением ожидало прихода Ивсулы.

Этим утром она замешкалась, а когда вошла, вся в снегу, разрумянившаяся от холода и воспоминаний о вчерашнем, он не посмел посмотреть ей в глаза, хмурился и глядел в сторону. После взгляды их встретились, она застенчиво улыбнулась ему, и эта улыбка его успокоила, он прочитал в ней преданность и соучастие, а сладостный свет в девичьих глазах, от свежей белизны снега казавшихся такими чистыми и покорными, наполнил его ликованием. Прежде чем взяться за домашние хлопоты, Ивсула, как всегда опустилась на колени, чтобы он благословил ее. Тихик смутился, не зная, должно ли ему сделать это, но она настояла. Он возложил руки на ее влажные от снега волосы и, ощущая в крови могущество дьявола, заключил молитву поцелуем, готовый снова отнести Ивсулу на свое ложе.

— Ведь тебе достаточно возложить руки мне на голову, чтобы очистилась я от всякого греха и удостоилась быть Совершенной? Когда же ты объявишь меня Совершенной? — ласково проговорила она, и он увидел в ее глазах затаенную мечту.

«Не от искренней любви ко мне, а ради того, чтобы провозгласил я ее Совершенной, чтобы власть обрести»,— заключил он, и эта мысль оскорбила его. Вечером, вновь овладев ею, Тихик понял, что под тягостным сознанием собственного падения в душе его прячется гордыня обреченного, вступившего в спор и единоборство с госпо-

дом. Он изумился этой гордыне, покаянно ударил себя в грудь и горестно прошептал: «Прибери меня поскорее в царство твое небесное, чтобы не впадал я более в грех, либо избавь сей мир от его сотворителя!»

Лежавшая подле Ивсула, полунагая, с обнаженной розовой грудью и влажными ногами, спросила:

— Что ты бормочешь, владыка?

— Не называй меня сейчас владыкой. Я говорю с небесным отцом. Через плотскую нашу связь соединяет он наши души в грядущей жизни. Там...— И Тихик указал на потолок.

Поймет ли его Ивсула, если он откроет ей свои душевные муки? А вдруг ей станет ясно, что он не менее грешен, чем все, и что он лжец? Страх перед этим и заставил Тихика полюбить ее — так любит свою жертву преступник. Он ревновал ее, хотел, чтобы она неотлучно была рядом и страстно молилась. Если ее отстранить и вернуть бабушку Калю, Ивсула озлобится и разгласит их отношения. Поздно! Да и какое имеет значение, совершается ли грех дважды или сотни раз? И Тихик перебирал в уме прегрешения, содеянные им с той минуты, когда он надел на себя пояс познания: насилие над Радулом, молчаливое одобрение грабительских действий Быкоглавого, сомнения в разумности господа и затаившееся в сердце богоборчество. Совесть укоряла его за смерть Каломелы, князя и отца Сильвестра, ведь если он отрицает бога, то, значит, он — их убийца. Так видел он себя опутанным грехами, которым нет прощения, и его молитвы уже не имели ни смысла, ни силы. Как полагалось по обряду. Тихик по-прежнему преломлял хлеб и благословлял общую трапезу, но не вкладывал души в эти святые действия. Он похудел, стал еще старательнее прятать лицо под покрывалом, был хмур и необщителен.

Утешал он себя единственно тем, что страдает ради блага ближних своих, несет крест грешника ради их достатка, ради того благоденствия, коим человек тешит свою плоть, дабы затем предаться богу и своей душе. С подобными мыслями и упованиями Тихик, сам того не заметив, вновь сделался тем Тихиком, которого занимали вопросы хлеба насущного, потому что они просты и доступны разуму, не терзают человека — в отличие от божьих тайн о потустороннем мире, о добре, об истине и справедливости...

Судя по всему, община близилась к такому благоденствию. Осенью в амбары засыпали много пшеницы и проса, через год отвоюют у леса новую пашню, многие уже тесали бревна для новых домов, люди выглядели довольными, по вечерам молельня бывала переполнена. Однако зима затянулась, к началу апреля запасы пшеницы и проса иссякли. Наступил голод. Селение затихло, лишь детский плач оглашал его, лица еретиков исхудали, неспокойно блуждали мрачно сверкавшие глаза, все меньше мужчин приходило по вечерам на общую молитву, и Совершенный делал вид, будто не замечает, что Быкоглавый под покровом темноты отправляется с целой дружиной в отдаленные села и пропадает по нескольку дней подряд. Люди Быкоглавого прятали под тулупами ножи и топоры, кое-кто смастерил себе копья, другие вооружались дубинами, а сам он — луком, мечом и копьем князя Сибина. Дружина пригоняла чужую скотину, притаскивала мешки с просом и рожью. Обозленные, преследуемые крестьянами, точно стая волков, люди Быкоглавого и слышать не хотели о запретах на мясо и огрызались на укоры Совершенного. Быкоглавый стал видной особой, все уповали на то, что он избавит их от голода, и смиренно сносили его своеволие, потому что одни святые не склоняются перед голодом и грубой силой.

— Братья и сестры, не оскверняйте божие в вас непокорством и скоромной пищей. Спасение ваше требует от вас послушания. Тот, кто служит двум господам, осужден на вечные муки, — проповедовал Тихик, вздыхая под покрывалом, потому что и сам он теперь служил двум господам.

Его выслушивали молча, понурив головы, а Быкоглавый, окруженный своей дружиной, стоял как столб и смотрел исподлобья.

Тихик утешался надеждой, что, когда кончится голод, придет конец и власти Быкоглавого, и заблаговременно приказал продолжать рубку леса. День и ночь пылали огромные костры, и вместе с дымом в селение наплывали горячие волны. Вечерами костры освещали землянки и народ усаживался вокруг огня. Женщины стирали, дети с визгом и воплями гонялись друг за дружкой, мужчины обсуждали предстоящие дела.

Из покоя Совершенного было видно, как лес мало-помалу уступает людям обгоревшую землю. Торчали почернелые стволы, похожие на монахов, пораженных божьим гневом и проклятьем, но зато под пеплом был жирный чернозем. В этот год больше посеют и больше сожнут, только вот семян для сева не было. Пришлось опять прибегнуть к грабежу, и Тихик принудил себя молчать, покуда община не отсеется, покуда не минуют голодные дни.

К его страхам, терзаниям и надеждам добавлялись еще и другие опасения: проклятый художник своими картинами поколебал веру в учение. Они искушали людей, направляя их помыслы не к грядущей жизни, а к жизни на дьявольской сей земле, их красота соблазняла так же, как Сильвестрово евангелие, и пробуждала смутные мечтанья и представления, противные богомильскому учению. И не только за это ненавидел Тихик художника, он опасался, что, будучи наделен даром проникать в души человеческие, Назарий сумел разгадать и его связь с Ивсулой, его ложь и преступления. Назарий очень исхудал, целыми днями не выходил из землянки, но, когда наступила весна и проглянула молодая крапива, он быстро поздоровел. Опрятная золотистая бородка отросла, только вот глаза смотрели невесело, когда он шел по голодному и грязному селению. «Может, ополоумеет и уберется отсюда»,— думал Тихик. Он внушил себе, что Назарий написал его портрет, но потом спрятал. Несколько раз он обшаривал землянку художника, но там ничего не было, кроме рваных овчин, служивших постелью.

Совершенный замкнулся в себе. В его сердце все длилась жестокая, мучительная борьба. И чем недостойнее он себе казался, тем сильнее разгоралось желание сделать свою паству счастливой. Будучи сам грешен, он стал снисходительней к чужим прегрешениям и уже не был прежним, непримиримым Тихиком, ревностным хранителем догмата. Тем не менее он твердой рукой подгонял корчевку леса, чтобы поскорее наступило довольство, ибо в этом видел единственное спасение — неоспоримое благо для человека, без чего не достичь счастья и благоденствия...

9

Ох, не выразить словами то, что ведомо умному...

Крапива, рыба и награбленное спасли еретиков от голода, а там подошло лето и созрели первые плоды. На засеянных полях буйно взошли хлеба, колосья сгибались под тяжестью зерен, дикие фруктовые деревья — под тяжестью плодов, река кишела рыбой, даже и малые ребята могли ловить ее, а грибов народилось такое множе-

ство, что их набирали большие корзины и сушили на зиму. В изумрудном великолепии лета с благодатным дождем и теплыми солнечными днями все рождалось и цвело, и даже в песнях птиц, в жужжании пчел и букашек слышались радость и наслаждение.

Обмолоченный хлеб не вместился в общем амбаре, и каждый еретик унес к себе долю пшеницы и проса. Тихик уверовал, что изобилие положит конец кражам и Быкоглавый укротится, ведь люди уже довольны и теперь их помыслы устремятся к богу. Он радовался этому, однако вскоре заметил, что его паства с алчностью собирает блага земли, а не помышляет о молитве. По вечерам в молитвенный дом сходились неохотно, многие и вовсе не показывались, некоторые своевольничали и спешили укрыть в тайниках зерно и плоды. Все поправились, повеселели. Вместо прежних мрачных и постных лиц Тихик видел загорелых, крепких мужчин и краснощеких женщин, в чьих плотных телах вили гнездо похоть и соблазн. В селении часто раздавались смех и песни, дети резвились в буйных играх. Тихику доносили, что молодые женщины и девушки водят в лесу хороводы и многие мужчины впали в соблазн. Однажды в селении раздались отчаянные крики — несколько семейств подрались из-за украденной пшеницы; некоторые напивались допьяна медовухой, которую варил из меда диких пчел еретик с распоротой губой. Непокорство ширилось день ото дня, и в душу Совершенного запало подозрение, что плодородие послано дьяволом, чтобы разобщить паству. Нищета связала этих людей, не голод, а изобилие отчуждало их друг от друга. Каждый хотел избавиться от обязанностей к своему ближнему, потому что блага, которыми он обладал, придавали ему чувство независимости. Все чаще обращались они к Назарию, чтобы он написал для них картины, где было бы изобилие плодов, различных яств, земных утех, и от Тихика этих картин не прятали.

Но не одна лишь эта напасть потрясла Совершенного. Грабительские набеги Быкоглавого и его дружины не только не прекратились, но стали еще чаще. Дружина выросла числом, каждый гарцевал на угнанной лошади, держались они как хозяева и не признавали никого, кроме своего предводителя. Стремление к богатству породило зависть. Люди Быкоглавого были подпоясаны крепкими шерстяными кушаками, носили яркую одежду, в хижинах у них появились домотканые ковры и покрывала, красивые ткани, невиданная утварь. Женщины слали им обещающие улыбки, дети вертелись вокруг них, слушались охотнее, чем родных отцов, и смотрели на них с восхищением, потому что сила — это одновременно и красота. Вооружены они были не деревянными копьями и дубинами, как прежде, а настоящими копьями, луками, мечами и палицами. У пояса носили колчаны со стрелами, а на Быкоглавом была плетеная кольчуга, снятая с царского воина. Они пропадали где-то по многу дней подряд, иные возвращались раненые, а трое из них однажды не вернулись вовсе; они заставляли других заготавливать им тес для будущих жилищ, а расплачивались краденым. Все реже приходили они на вечернюю молитву, и однажды Тихику стало известно, что они вознамерились построить себе дома в стороне от селения, а Быкоглавый надумал возвести там башню. Совершенный испугался и призвал Быкоглавого к себе.

Быкоглавый толкнул дверь плечом, не потрудился закрыть ее за собой, не снял с головы болярскую шапку, украденную где-то, встал, заложив руки за кожаный солдатский пояс. Он был в пунцовой безрукавке, расшитой на груди серебряными нитями и белым шнуром, обут в добротные сапоги. Голову он держал надменно, чуть набок, и Тихику показалось, что Быкоглавый в новой этой одежде стал строй-

нее и по-господски внушительнее. «Сознает свою силу»,— со страхом подумал Тихик.

— Брат, я все знаю и вижу и читаю мысли твои,— начал он наставительно, как и подобает владыке.— Довольно молчал я и молился, замаливая твои грехи. Ты первым принялся за воровство, прогневил отца небесного, и он, в наказание, наслал на нас голод. Я ожидал, что ныне, когда бог дарит нам изобилие, ты распустишь свою дружину, а что я слышу? Вы вознамерились отделиться, построить башню, основать новое селение. Отчего позабыл ты о Страшном суде и жизни вечной? Вот, обрядился в Сатанаилово платье, возгордился и забыл о господе.

Толстые губы Быкоглавого расплылись в наглой ухмылке, и Тихика поразило хитрое выражение его глаз.

— Ты для того призвал меня, чтобы выставить дураком? Кабы я не накормил людей, все бы с голоду перемерли, и какая уж там была бы община, какой ты был бы владыка и над кем? Чем укорять, лучше бы похвалил меня,— сказал он.— Разве воровство — грех? Я ворую болярское, царское, поповское. А что до платья, так я тебе скажу: ты устрашаешь людей черной рясой и поясом познания. Я тоже должен чем-то страшить их, чтобы они мне покорялись.

«Лукавым подучен он. Как припугнуть его?» — спрашивал себя Тихик, покрываясь испариной.

— Не лукавь, брат, и не мешайся в божьи деяния. Господь наслал на нас голод, дабы искупили мы твое воровство и спасли свои души!

Быкоглавый усмехнулся:

— Ты сам говорил, что волов и топоры послал нам господь. Или забыл? И сам разве не ел краденого? Кто дал нам хлеб — господь или дьявол? Не дьявол ли заставил землю рождать животных и растения? Я ли должен напоминать тебе слова нашего учения?

— Брат,— внушительно произнес Тихик, вспомнив при этом, что и его самого преследовали подобные мысли,— не подобает разуму человеческому рассуждать о деяниях божьих. Ты на пути в преисподнюю и туда же ведешь людей. Опомнись!

Быкоглавый вынул руку из-за пояса.

— Пусть меня судит кто угодно! Я делаю людям добро, я накормил их и одел. Однако и ты в ответе, потому — ты владыка, ведь ты надел на себя пояс познания.

«Возгордился он, подобно мне, грехами своими. И об этом подумал тоже...» — горестно отметил Тихик.

— Слушай, что я скажу тебе, брат. Не избежишь ты божьего суда. Оставь разбойничество, распусти дружину и вели подчиняться мне. Коль послушаетесь меня — сниму с вас грехи ваши.

Быкоглавый грозно поднял бровь.

— А-а, да уж друг другу-то врать не надо! И скинь ты с себя это покрывало, чего от самого себя прячешься? Мы с тобой знаем друг дружку, да и все знают, кто ты есть и кем был, пока не удрал от князя. Как может простолюдин прощать грехи? — сказал он, и его толстые губы растянулись в насмешливой улыбке.

Тихику почудилось, что перед ним стоит сам Сатана.

— Святость, она в душе и в долге, не в теле и не в роду человека. Ты почитал и слушал того волхва, Сильвестра! — закричал Тихик в изумлении.

— Отец Сильвестр был совсем другой человек, а ты такой, как и все мы, только похитрее. Вмешался в небесные дела, чтобы завладеть его поясом. Пояс-то у тебя, а вот ума недостает.

— Я выгоню тебя из общины! Сатана внушил тебе эти мысли!

— Кто хлопочет о земном, имеет дело с дьяволом. И ты имел с ним дело, покуда не спихнул отца Сильвестра. И сейчас на него же уповаешь, чтобы люди стали добродетельными. И знаешь что? Не стращай меня. Я ведь могу тебя одолеть, как ты одолел его, стоит мне только шепнуть людям, что ты желаешь им смерти и потому запрещаешь мне воровать...

— Замолчи, брат, замолчи! — со стоном проговорил Тихик и схватился за голову.— Да падут все прегрешения на нас с тобой! Коли есть в тебе разум, молчи, и да рассудит нас господь.

— А вот это другой разговор,— засмеялся Быкоглавый.— Пускай стадо идет за нами, а уж мы с тобой будем знать, что и как. Я ведь еще тогда говорил тебе: буду держать ответ, но вместе с тобой, так что не миновать тебе встречи с дьяволом...

— Вижу я, умен ты, брат. А умный тем и отличается от глупого, что знает. Про что он знает, не до́лжно говорить вслух, да и невозможно даже,— в голосе Совершенного звучали слезы.— Поклянись, что будешь молчать, что сохранишь тайну.

— А зачем клясться? Что есть — то есть. Моя сила — в хлебе насущном, твоя — в мире небесном. Небось и мне и моим людям охота блаженствовать на седьмом небе, хоть мы и недостойны его.

— Тогда молчи и заставь их участвовать в общей молитве. Скажи, что я отпущу им грехи. Надо, чтобы они смирились, это и тебе на пользу, чтобы не бунтовали. Тогда придет к ним сознание своей греховности и они покорятся нам обоим. Потому что, брат, двойственно устроен человек. Помести его в рай, он отправится в ад — разнообразия ради. И коль не верует он в небесного отца, то не захочет покоряться никакой власти. Власть же есть тайна, а человек без тайны не может...

— Тайна? Какая еще тайна? Одно вранье, вранье да страх! — Быкоглавый громко захохотал и ушел, не отвесив поклона.

«Ох, зачем я поставил его моим преемником! Он построит башню и будет властвовать, обладая земными благами и силой. И волей-неволей придется мне разделить власть с этим диким человеком, коего я считал глупцом... Он способен поступить со мной так, как я — с князем, Каломелой и Сильвестром. Господи, отчего повторяется все на этом свете?» — Тихик стиснул ладонями голову и зашагал по своему покою, не заметив того, что Ивсула притаилась за дверью кухни...

10

Ты будешь ложью, как и я...

Он услышал, что кто-то яростно застучал ногами, потом раздался стон, и, прежде чем он сообразил, кто находится в кухне, дверь распахнулась и на пороге встала Ивсула. Глаза ее, расширенные от возмущения и гнева, напоминали кусочки льда. Смущенный Тихик опустил покрывало. Этот бессмысленный жест только усугубил его растерянность.

— Значит, вот ты кто! Недостойный обманщик! Ты убил отца Сильвестра, чтобы отнять у него пояс и сам себя провозгласил Совершенным! Вы с этим разбойником обманываете всех... Негодяй, не можешь ты сделать меня Совершенной! — крикнула она и, схватив глиняный горшок, грохнула им об пол.— Как я мучилась! Ядовитые травы ела, чтобы выкинуть, а ты, подлец, заставлял меня совокупляться с тобой, чтобы, мол, души наши соединились на небе... Обманщик, грязный козел! Как могла я поверить, что ты Совершенный, когда своими глазами видела, как князь тогда ухватил тебя за воло-

ся и поднял, как собаку! — Ивсула повалилась на пол и стала срывать с себя рясу.

Тихик оторопел, но лишь на мгновение. Привыкший к душевным потрясениям, он тут же опомнился. Лютая ненависть брызнула из его глаз, но он овладел собою. Жизнь в княжеском доме приучила его к хладнокровному и расчетливому притворству. Он закрыл дверь покоя, подхватил Ивсулу под руки, поднял с пола и, зажав ей рот, изрыгавший вопли и проклятия, впился в нее пылающим взглядом.

— Молчи! — властно прошипел он.— Молчи и слушай, что я скажу тебе! Послушаешься меня — и все образуется, а если не послушаешься, то нынче же вечером объявлю, что ты колдунья и ведешь беседы с демонами! Хочешь ли, чтобы я провозгласил тебя Совершенной, или хочешь сложить голову? Отдам тебя Быкоглавому и его дружине, будешь при них блудницей.

Ивсула не понимала, что́ он говорит ей. Взгляд у нее был оцепенелый, и Тихику вспомнилось, что вот так же смотрела она, когда он впервые овладел ею.

— Объявлю, что ты ведьма, и тогда, сколько ни клянись, никто тебе не поверит. Скажу людям, что ты колдунья, они возрадуются и поверят, что это ты накликала на общину голод! Понимаешь ли, что я говорю тебе?

Она опять затряслась от рыданий.

— Кто тогда защитит тебя, несчастная? — продолжал Тихик.— А если будешь послушна, если умолчишь, завтра же станешь Совершенной. Тебя будут почитать, будут служить тебе, ты будешь властвовать над ними.— Он отпустил ее, и она сползла на пол, растрепанная, похожая на безумную.

— Какой же Совершенной я буду? — со стоном произнесла она.

— Ты будешь ложью, как и я! Слушай, отныне нас будет трое— да, ничего не поделаешь,— я, ты и Быкоглавый. Я засвидетельствую, что ты беседуешь с ангелами, что ты пророчица и святая. Тебе построят отдельный покой, у тебя будет прислужница или прислужник, и ничей чужой глаз не заглянет более в твою душу. Наденешь покрывало, будешь облечена тайной и тем обретешь свободу.

— А как же бог? — спросила она, отирая слезы грязным рукавом рясы.

— Бог?.. Бог простит нам наши грехи, потому что они — во благо христианам. Я приму на себя твои прегрешения. Встань и помолимся вместе — так, будто ты уже провозглашена Совершенной,— благостно произнес он, помог ей подняться и отвел в свой покой. Страх и ненависть уступили место состраданию и нежности, которые он равно испытывал и к ней и к себе. В эти минуты он верил, что любит Ивсулу, потому, что любил свои страдания, и еще потому, что презирал ее...

Гладя ее волосы, ощущая нежное тепло ее тела, Тихик утешал ее и обольщал своими сомнениями.

— Как я несчастен, Ивсула! Дьявол во мне изрекает двойственные мысли, денно и нощно терзает меня, потому что проклятая земля — дело его рук и человек уязвлен им... Богу ведомо это, но и он не в силах одолеть своего врага... Ах, отчего низшее всегда побеждает высшее?..

Он открывал сокровенные свои помыслы, своей исповедью делал ее соучастницей своих прегрешений и в то же время любовался ее нежной белой шеей, линией бедер под рясой. Он и сам не мог бы сказать, притворяется он или искренне страдает. Со стоном опустил лохматую голову ей на колени и обнял ее тонкий стан.

— Как я страдаю! — шептал Тихик.— Как я мучился, с каких пор желал довериться тебе, потому что кто мне ближе тебя? Я был одинок и опасался, что ты не поймешь меня.

Он не лгал, Ивсула и вправду была ему ближе всех, поскольку их связывали общие грехи...

Тогда-то дьявол, невидимый обоим, решил, что пора утешить их, и заставил позабыть о муках и ненависти. Чтобы умолкли души, он подсказал телесную утеху — гораздо более сладостную, чем прежде, ибо она была смешением любви, страдания и жажды искупления...

11

Но что есть благо для человека?

Быкоглавый возводил свою башню, а его люди строили подле нее селение. Многие еретики уходили теперь из общины, а кое-кто подрядился работать на людей Быкоглавого, получая в уплату краденое. Из нового селения доносились песни, смех, запахи жирной пищи, на закате бил барабан и играли волынки. Эхо откликалось на эти звуки, лес словно бы спешил оттолкнуть их от себя, по вечерам свет костров озарял каменные стены башни и свежие ямы для новых домов.

Тихик держал яростные речи, грозил Страшным судом, но тщетно. Он сажал провинившихся под замок, на хлеб и воду, отлучал от общины, но проку от наказаний не было — наказанные бежали к Быкоглавому, унося с собой свой скарб. Женщины сбрасывали рясы, надевали расшитые сукманы[1], повязывались алыми платками.

В разбойничьем селении принялись ткать узорчатые рядна и ткани, возникли мастерские, лавки с невиданными товарами. Назарий был нужен всем. У него просили совета, как украсить жилье, наперегонки заказывали ему портреты, потому что, обретя гордость и себялюбие, люди пожелали увековечить себя. Землянка художника была забита разными вещами и припасами. Жизнь в разбойничьем селении била ключом, тогда как в старом селении она с каждым днем замирала. Даже кое-кто из верных — те, на кого Тихик полагался,— переселился к Быкоглавому.

Неведомо откуда распространилось среди разбойников Сильвестрово евангелие, а поскольку оно освобождало их от тяжести десницы божьей, все приняли его с великой радостью. Тихик узнал, что Быкоглавый приблизил к себе Радула, провозгласил его философом и теперь Радул читал проповеди, ел и пил с разбойниками и потешал их. Он убеждал воздвигнуть храм Красоты и Свободы, ибо невозможно человеку не поклоняться чему бы то ни было.

Участились случаи хищений из общего амбара — каждый, кто убегал из селения, что-то уносил с собой. В брошенных землянках селились изгнанные Быкоглавым, увечные и убогие, раскаявшиеся лукавцы и расслабленные души, над которыми поиздевались разбойники. Они взывали к справедливости, братской любви и правде и убеждали Тихика вмешаться. Добрые христиане, сохранившие верность своему владыке, не желали соседствовать с отступниками, и в общине вспыхнули новые крамолы. Женщины вспомнили догмат об Адаме и Еве и, возгордясь, перестали покоряться мужьям. Уже нельзя было понять, что происходит; бесполезны стали проповеди, никого не страшили наказания. Вера в богомильское учение сгинула, к нему примешалось искаженное евангелие отца Сильвестра, и это совсем сбило с толку людей...

[1] Женское платье без рукавов, из тяжелой домотканой шерсти.

«Чем это кончится? — горестно спрашивал себя Тихик.— Никто ни во что не верует, никто никого не почитает, каждый предается наслаждению земными благами, а земля не только не перестает кормить их, а в изобилии рождает плоды. И христиане устремляются искать свободы у того разбойника, именуя его благодетелем и спасителем... Бессилен я, господи! Дьявол соткал игру умнее, чем ткал ее я лукавством и мнимой прозорливостью, и моя власть обратилась в паутину... Хоть в петлю лезь, но и для этого потребна вера. Без веры как явлюсь я к престолу твоему, чтобы ты дал мне ответ и чтобы я держал ответ перед тобой? Жизнь моя оказалась собачьей и собачьей будет смерть... Но как знать, не было ли так извечно? Может, я просто вымыслил себе человека в согласии с учением, а человек, он всегда одинаков — и когда покорен, и когда мятежен, и подл...»

Совершенный задыхался от ненависти к роду человеческому. Прежде зло казалось ему преходящим, коль скоро есть утешение, что ты жертвуешь собой ради блага ближнего, теперь же все представлялось нелепым и безнадежным. Возникала мысль: чья в том вина? Не проистекало ли зло из стремления ко всеобщему благу? Но что же тогда есть благо для человека?..

Все чаще приходил Тихику на память князь. Ведь и сам он, подобно князю Сибину, искал такого бога, который спас бы его от противоречий и оправдал его поступки. Он желал, чтобы бог возвратил ему пастырскую власть как своему наместнику на земле, а для оправдания своих грехов приходилось отрицать бога... С презрением к самому себе Тихик вспоминал те недели беснований, когда он провел резкую черту между земными нуждами человека и божественными. Вспоминал те проповеди, в которых он изобличал господарей: верят, будто служат богу тем, что ищут его, говорят, будто ищут истину, а того не видят, что дьявол кружит их на своем колесе и это ведет к разрухе и смерти... «Через господарей властвует бес над миром, но когда уничтожаем мы их, он берется за нас... Все мы подвержены соблазну господарского высокомерия и господарских пороков!» И он вопрошал себя, посредством чего управлял паствой прежний Совершенный. Не тешил ли он людей соблазняющими душу словами и не обманывал ли себя сам? Человек, обольщенный возвышенностью своих чувствований, неминуемо отринет то, что накануне почитал истиной...

Но если бог существует, для чего он — раз он не есть возмездие, раз возмездие не карает тотчас же грех? Когда-то Тихик был убежден, что ему ведома истина, теперь он доискивался ее, подобно князю преславскому. Он усомнился в существовании бога, а без бога он не мог быть пастырем и не хотел веровать в престолы небесные, ибо, если они существуют, он недостоин их...

Сокрушенный и павший духом, Тихик избегал ходить по обезлюдевшему селению, опасался встречи с Назарием. Он узнал о том, что художник куда-то исчез после того, как написал портрет Быкоглавого во весь рост, одетого в кольчугу и увешанного оружием. Разбойники уже называли Быкоглавого светлостью и готовились провозгласить его деспотом.

Отношения с Ивсулой стали тягостными — ложь стояла меж ними, рождая неприязнь. Ивсула не хотела носить покрывало. «Никто не увидит моего лица,— говорила она,— оно красиво, а люди слушаются меня и покорствуют только ради моей красоты. Не умею я лгать, как ты, и притворяться чистой. Ты влил в мою душу грех, я стыжусь и мучаюсь...» Тихик понимал, что с самого начала она любила не его, а свою мечту стать Совершенной и, став ею, сделалась равнодушной, а теперь исполнилась уже ненависти и презрения.

Однажды утром он встал с постели мрачный и злой. Когда Ивсула вошла к нему, он прочел в ее взгляде неприкрытую враждебность. На этот раз она не преклонила колен, чтобы получить благословение, а, взяв метлу, скрылась в кухне. Тихик видел в дверную щель, что она стоит у открытого окна. Уронив руки, Ивсула с тоской и грустью смотрела в сторону разбойничьего селения, откуда доносились перестук ткацких станков и веселый гомон детворы.

Совершенный в гневе распахнул дверь.

— Я вижу, тебе хочется туда,— произнес он.

Ивсула не повернула головы:

— Да, хочется! Здесь остались одни нищие. Не желаю я быть Совершенной над нищим сбродом. Да и какая я Совершенная? Не лучше тебя.

— Дьявол давно уже оседлал тебя!

— Это ты — дьявол! Врал людям, что, как наполнится общий амбар, все станут добрыми и покорными. И меня принуждал врать...

— Задумала погубить себя!

Ивсула рассмеялась злым, сухим смехом.

— Ты погубил меня! Завтра же уйду из твоей мерзкой общины. Отец с матерью тоже решили переселиться туда. Люди там словно заново родились...

— Не уйдешь! — закричал Тихик, подступив к ней.— Если уйдешь туда, к тому...— Он не договорил, вдруг представив себе, что будет, если она исполнит свое намерение.— Они сделают тебя блудницей, Ивсула! — Он попытался обнять ее, но она вырвалась, ударила его метлой и убежала.

Изумленный, растерянный, он не посмел пуститься вдогонку. В дверь покоя было видно, как она бежит к родительской землянке, а на пороге ее ожидает отец, ладонью заслонив глаза от утреннего солнца...

12

Многие меня обманывали, но никто не обманывал меня так, как я сам...

На другой день перед покоем Совершенного собралась толпа. Предводительствовала Юрдана, жена Быкоглавого. Дебелая, чернявая, она привела с собой из разбойничьего селения двух плачущих детей — Быкоглавый выгнал ее. Ему нравилась убежавшая из общины Ивсула, и он вознамерился взять ее в жены. Юрдана осыпáла их страшными проклятьями.

— Владыка,— вопила она,— как это твоя Совершенная превратилась в суку и отняла у меня мужа? Кто послал ее — ты или дьявол? Забирай свою мерзавку и возврати мне хозяина!

Толпа сочувствовала ей и требовала, чтобы Тихик вступился, разогнал разбойников и вернул беглецов в общину. Даже верные роптали и винили его в том, что он стал затворником и отъединился от них.

— Может, господь оставил тебя и теперь ты оставил нас, владыка? — спрашивали они, толпясь у двери покоя.

В Тихике всколыхнулись презрение, злоба. Глядя на этих взбунтовавшихся людей, в которых зависть и греховные помыслы крылись под завесой учения и словами о справедливости божьей, он вспомнил отца Сильвестра и увидел себя на его месте. Они не испытали тех душевных терзаний, что испытывал он, Тихик, не поняли и не простили бы его, вздумай он раскрыть им душу. Покойный Силь-

вестр написал в своем послании, что трудно возлюбить человека, если в тебе живет мечта о человеке без изъяна.

— Уходите! — крикнул он.— Многие из вас бежали к Быкоглавому, соблазнившись свободой, а ныне хотят, чтобы я уничтожил то, чего домогались сами. И ты, женщина, отчего просишь у меня помощи? Взгляни — разве одежда на тебе не краденая? Разве не делила ты с нечестивым своим супругом его прегрешения?.. Проклинаешь его, смерти ему желаешь, а сама вожделеешь его! Лицемеры, взоры ваши устремлены к разбойникам, а уста проклинают их! Демон разноязычия овладел вами, и, что бы ни делалось ради вашего блага, вы, насытившись, следуете за сатаной!

Хлопнув дверью, Тихик скрылся в своем покое.

— Боже! — со стоном воскликнул он.— Они тоже ищут справедливости и возмездия, тоже взывают к тебе, как взываю я. Вправе ли я судить их и напутствовать, когда нечестивей я, чем они. Владыка — а оказался рабом этих несчастных, скован одною с ними цепью. Ох, многие меня обманывали, но никто не обманывал меня так, как я сам...

Следовало что-то предпринять или покинуть общину, объявив, что отец Сильвестр был прав, перейти к разбойникам и стать разбойником самому. Но поступи он так, ему пришлось бы признаться в убийстве князя, Каломелы и в подстрекательстве других к этим преступлениям...

К прежним терзаниям прибавился и ужас перед грядущим. Воздев руки горе, он закричал: «Сатана ты или бог, ответь мне, отчего мои дела, устремленные к всеобщему благу, обернулись против меня? Кто ты, отчего ты терзаешь души и искушаешь плоть?»

Когда смерклось, Тихик пришел к заключению, что ничего иного не остается, как идти к Быкоглавому и, напомнив о былом уговоре, поделить с ним власть, обо всем столковаться. Мысль о том, что Ивсула успела все рассказать, его не тревожила больше, поскольку и Быкоглавый — соучастник их общей лжи. Тихик нарочно надел пояс познания поверх рясы — пусть все видят медные бляшки — и пошел через селение, чтобы все поняли, куда он держит путь. Опираясь на деревянный посох, он ступал с достоинством, как и подобает владыке, плотный, тяжелый, как сама земля, черный, как сам грех, и с душой темной, как темна бескрайная лесная чаща...

Возле недостроенной башни горели костры, паслись лошади, дружно пели женщины. Лягушачье кваканье прорезало июльский вечер и, подобно исо [1], вторило пенью женщин. Тихик прошел мимо поющих, те смолкли, дивясь тому, что он не благословил их. В свете костров белели свежеотесанные камни недостроенной башни, толстую дубовую дверь не успели навесить на петли, она была прислонена к стене у входа, и Тихик в проем увидал Быкоглавого с дружиной. Разбойники пировали, Быкоглавый сидел посередине стола, разгоряченный медовухой и вином. Одной рукой он обнимал за плечи Ивсулу. Тихик с трудом узнал ее — вчерашняя Совершенная была разодета в красное болярское платье с ожерельем. Ивсула хохотала и льнула к Быкоглавому, одесную от него сидел Радул, тоже красный, потный и блудливый. Он смешил сотрапезников, все глядели на него. Под столом собаки грызли кости. Пахло жареным мясом, вился голубоватый дымок, но Тихик сквозь него разглядел на непросохшей стене огромный портрет Быкоглавого. Назарий изобразил его во весь рост, тот стоял с гордым и властным видом, опираясь на ру-

[1] Музыкальное сопровождение в церковном пении.

коять длинного меча. Голову венчал шлем, из-под которого выбивались буйные кудри.

Этих некогда кротких и покорных людей теперь было не узнать. Они громко и бесстыдно смеялись, довольные собой и делами своими, напоминая перевоплощенных демонов. Ноги у Тихика подкосились, хотелось уйти прочь, но он пересилил себя и решительно вступил под каменный свод.

Первым его заметил разбойник по имени Желю. Пораженные внезапным появлением того, над кем они так часто насмехались, но коего все же побаивались, памятуя о своих грехах, все разом смолкли. Однако смущение их было недолгим. Ивсула коротко вскрикнула — с удивлением и торжеством. Быкоглавый пробормотал что-то, и вокруг стола, залитого медовухой и вином, поднялся гомон.

— Э, гляди — наш владыка, тот самый, что хотел нас голодом уморить!.. Эй ты, чернокнижник, скинь свое покрывало, покажи рога!

— Бросил, знать, тех остолопов...

— А теперь пришел нас учить уму-разуму...

— Отче, иди сюда, оскоромься! Попостился — и будет!

Тихик молча стоял у порога.

Быкоглавый взмахнул рукой, и разбойники смолкли.

— Зачем пожаловал? — спросил он.— Если проповедовать думаешь, так ступай к бабам. А может, ты из-за нее? А? — Быкоглавый тряхнул Ивсулу за плечо.

— Я пришел напомнить тебе о нашем уговоре,— проговорил Тихик.

— Каком еще уговоре? Может ли ложь о чем уговариваться с ложью? Братцы, он пришел пугать нас господом, чтобы ослабли наши руки, когда мы пускаем в ход меч или насилуем молодух! — Быкоглавый захохотал, вслед за ним покатилась со смеху вся дружина.— Но если уж ты проповедовать пришел, валяй!.. Приятно послушать проповедь на сытое брюхо, даже если она — сущее вранье.

— Братья, посредством рук наших и познаний дьявол создает в мире многосложность вещей и богатство и тем самым делает нас рабами наших же творений. Откажитесь от воровства, оно уводит вас к собственности! Откажитесь — и станете свободны и чисты духом. Разбойничаете, а того не видите, что всякая вещь порабощает вас. Отступники и неверующие, служите сатане, а для счастья надобна бедность, бедность! — кричал Тихик с порога.

Громовой и наглый смех был ответом на его наставление.

— Каков обманщик! — визжала Ивсула.— Я слышала из-за двери, как твоя светлость изобличил его. Уж и врал он нам, врал, сулил престолы небесные...

— Молчи! — цыкнул на нее Быкоглавый.— Как знать, может, ты и от меня сбежишь. Смотри, полетит с плеч твоя красивая головушка!

— Человек, твоя светлость, словно конь на привязи: как выщиплет траву, рвет повод и в другое место идет пастись,— мудро рассудил Радул.— А хитрец этот сперва меня мучил, чтобы я отрекся от истинной веры, а теперь вот от нас покаяния требует, подчинения, значит. Покойный отец Сильвестр понял, что нету ни бога, ни дьявола, а этот осел знай старую погудку твердит. Убил вышнего человека, чтобы отнять у него пояс познания, князя убил и красавицу Каломелу, подговорил вас уморить их голодом в пещере. Поглядите на него, он и есть сам дьявол, а выдает себя за святого и владыку. А ну, тащите сюда рядно, я вам скажу, что мы сделаем...

Тихик кинулся бежать, но было поздно. Двое людей Быкоглавого настигли его на поляне и привели назад, в башню. Его завернули в рогожу и принялись подбрасывать кверху.

— Вознесись, вознесись на седьмое небо, к престолу ангельскому! — орали разбойники, хлопая в ладоши.

Ошеломленный, изнемогший Тихик и не помнил, как с него сорвали покрывало, пояс познания и вытолкали из башни. Очувствовался он, лишь когда толпа преследователей осталась далеко позади. Боль унижения раздирала его сердце, и, пав ничком на землю, он истошно закричал:

— Боже, спаси человека, отведи от него погибель! Да поразит меня твоя карающая десница, но спаси человека! Ох! — простонал он.— Но как ты спасешь его, чем? Он отречется от тебя, коль муки его остаются безответными, и не укротится, покуда не постигнет твои тайны. Презрит он и тебя, и себя!..

На его страдальческий крик из лесу тоненько, как дети, заскулили волчата, женским смехом визгливо отозвались шакалы, словно и звери обращали к богу те же вопросы, и только филин уныло заухал: угу, угу...

13

Итак, смотри: свет, который в тебе, не есть ли тьма?

(Евангелие от Луки, глава 11)

Ни среди отчаяния и нищеты богомильской общины, ни среди богохульств, побоищ и разврата в разбойничьем селении Назарий писать не мог. Пресытясь всем и ото всего отвратясь, понял он, что своим художеством тоже способствовал разрушению общины, прельщая людей иным, обманчивым миром, вольной и гордой жизнью. Он пребывал в угнетенном состоянии духа, размышления все чаще склоняли его к отрицанию искусства, в котором бог и дьявол перевоплощались один в другого.

Чем упорнее пытался он проникнуть в эту загадку, тем более впадал в отчаяние. Любовь к человеку привела прежнего Совершенного к отступничеству от бога, а Назария — к отрицанию самой любви. Мир перестал быть океаном красок, звуков и чудес, которые делали Назария веселым и любящим. Он казался себе ничтожнее самого жалкого еретика. Низменные порывы, презрение и ненависть теснились в его душе, точно теперь это в нем самом обрели жизнь все страсти, пороки и страдания, кои он ранее изображал. Осунувшийся и подурневший, Назарий прятал глаза от сторонних взглядов, зная, что он уже не прежний, не лучезарный.

Все чаще помышлял он об Ивсуле и каждый вечер отправлялся в разбойничье селение, надеясь повидать ее хотя бы издали. Любовь к этой женщине, некогда «напиток медовый для души», возродилась любовью плотской, он желал ее, быть может, единственно потому, что Быкоглавый, как он прослышал, отказался взять ее в жены и теперь Ивсула блудодействует с его приближенными...

В один из вечеров, когда закат обагрил каменные стены башни, Назарий повстречал ее. Расцветшая и наглая, с распущенными волосами, в красном болярском платье и в ожерелье из жемчугов, она была еще прельстительнее и, подобно всем блудницам, загадочна. Ивсула с презрением взглянула на него и не ответила на его приветствие. Назарий возвратился в богомильское селение и ночь провел без сна. Если красота есть добро и совершенство, тогда отчего же Ивсула-блудница красивее прежней девственницы и отчего подавляемая любовь к ней превратилась в сладострастие?..

Как-то бессонной ночью, когда отчаяние и отвращение опять навели Назария на мысль о петле, вдруг послышался голос, взывавший к нему в убогой землянке: «Встань, юноша, час пробил!» Чей был тот голос, он не знал, но, поразмыслив в темноте, уверовал, что это в нем заговорил его собственный голос, который только ждал срока, как ожидает весны посеянное зерно. Он соскочил с лежанки и, окрыленный надеждой, порываясь к спасению, воскликнул: «Иду! Иду!»

Весь остаток ночи Назарий не сомкнул глаз, а наутро отправился к Быкоглавому. Он потребовал в уплату за портрет кожух, постолы, топор и ком соли. Получив это, Назарий тронулся в путь, в горы. Неведомый голос все звучал в душе, и Назарий уже готов был поверить, что теперь развяжется узел его мучительных раздумий. «Потому что,— говорил он себе,— если мой разум не в силах отделить ложь от истины, а глаза и уши не показывают мне подлинной сущности мира, я должен довериться чему-то иному во мне, тому, чей голос ночью возвестил, что пробил час моего спасения. Я не ведаю, в чем оно, но ощущаю его в своем сердце и должен вникнуть, не есть ли это новое самообольщение».

Он поднялся высоко, до голых полян под самой вершиной, где уплывающие облака расчленяются на прозрачные пряди, и поразился покою и безмолвию сверкающих снежных вершин. Они говорили ему о подвиге и вместе с тем показывали, как он мал и ничтожен. Их могущество угнетало, и, когда наступил снежный полдень, Назарий спросил себя, ради чего он забрел в это безлюдье и глушь. Куда бы он ни пошел, разве он не останется одиноким в своей немощи и бесплодных раздумьях? Разве мир не враждебен человеку, разве должно человеку враждовать с тем, что его сотворило?..

Печальный и понурый, он скитался без всякой цели, смотрел, как в пенящихся потоках тенью мелькают форели, видел черных гадюк, что выползали из-под камней, обросших бархатным мхом, видел рослые травы на горных лугах, колдовские хороводы ядовитых грибов, желто-коричневые вешенки, подобные бусам, на стволах поваленных буков, плоды диких яблонь и слив. Все замерло в созерцании под нависшим полуденным солнцем. Старые сосны с обломанными бурей ветвями и леса, укрывшие зверей в синеватой своей тиши, терпеливо ждали, когда нечто неведомое сорвет покрывало с их тайны. Утомленный этим многообразием, от которого дурманило голову, Назарий, поев хлеба, прилег на поляне и вскоре забылся сном... И приснилось ему, будто некто подошел к нему и сказал: «Если хочешь опять стать светлым, не пытайся уравнивать светлое с темным, зло с добром, уродливое с прекрасным. Истина расколота на множество истин, и никогда твой разум не соединит их в одну...»

Невидимый гот исчез, как исчезает горный ветерок — неслышно, но осязаемо. Назарий пробудился и увидел, как орлы опоясывают незримыми путами скалистую вершину вдали, услышал, как в однообразном реве вод уходит в бездонность столетий время, и припомнились ему счастливые часы, когда он пас волов, когда ощущал в себе присутствие этой силы, властно объявшей землю от края до края. Не лживы ли те слова, подобные нежному шепоту, которые он только что слышал? Кто же хотел обмануть его — тот, кто привел его сюда, или его ночные раздумья и смутные надежды, отринутые им и забытые? Мог ли он быть добрым и прекрасным, когда из-под прекрасного выглядывала ложь?

Новая волна отчаяния придавила Назария и наполнила его сердце злобой.

Он сплел себе шалаш из ветвей и папоротника и проводил там теплые августовские ночи. Вспоминал богомаза, у которого учился когда-то, являлся ему и покойный отец — псаломщик, и набожная, всегда суровая мать, болярин со всем семейством, распутная Ивсула, ставшая еще красивее, несчастные еретики, разбойники, истомленный княжеский раб, что во имя блага общины завладел поясом познания и совершил убийство князя, Каломелы и апостола Сильвестра... И эти воспоминания представали как бы вневременными, словно они не имели касательства к нынешнему Назарию. Разве не были ложью и самообманом духа те часы, когда он с колотящимся сердцем брал в руки кисть или кусок угля, чтобы изобразить чудеса, окружавшие его, либо демона, проглянувшего в чьем-то лице? Когда он упивался музыкой красок, каждым лесным цветком, оперением птиц и самими птицами, коих он щедро наделял ласковейшими именами, исполненный восторга и радости оттого, что их видит? Холодными горными ночами, под небом, отягощенным звездами, готовым осыпать звездной пылью страшную, загадочную землю, рыдания теснились в измученной душе Назария.

За те дни, что провел он в отшельничестве, лицо у него округлилось, волосы отросли, борода закурчавилась, он возмужал и окреп. Глаза, жестокие, как у языческого божества, уподобились озерам, в глубине которых зло сражалось с добром. Даже походка стала иной — тяжелой, грозной, неуступчивой. Птицы, которые прежде доверчиво ждали, когда он подойдет ближе, теперь улетали от него прочь, как от ястреба. Гадюки шипели и пытались ужалить его в босые ступни, цветы незаметно отклоняли чашечки, полные росы, орлы посылали ему проклятья. Однажды ночью к шалашу подошел громадный медведь и долго рассматривал Назария свирепыми глазами, потом взревел и убежал в испуге. Другой раз повстречалась Назарию рысь. Она стояла на тропинке, по которой он ходил за водой. «Отчего ты тоже красива? Прочь с моей дороги!» — вскричал Назарий. Рысь убежала на своих длинных ногах, а Назарий продолжал путь, возгордясь, что внушает страх всему живому. «Не сейчас ли, когда зло и добро утеряли свои границы и мир обрел единство, стал я самим собой? Мне дарована власть над животными и птицами, и я подобен сотворившему меня, я добр и зол. Разум мой успокаивается, меня не терзает ни моя собственная тайна, ни загадка мироздания. Богу — богово, дьяволу — дьяволово. Оба они во мне, ибо я человек...»

Он не верил внушениям невидимого — счел их пустыми сновидениями и не желал о них думать. Но самонадеянность обрекала его на одиночество, и, как только ему вспоминался прежний Назарий, томила тоска и мучительно сжималось сердце. Когда у него кончился хлеб, он спустился с гор, ибо не находил уже смысла в своем отшельничестве. «Мироздание находится вне меня, и то, что рядом со мною, отделяется от чего-то во мне самом. Я ощущаю это в себе, но назвать не могу,— думал он.— Оно жаждало Красоты, и я самообольщался, будто мне открыта возвышенная тайна творения божьего. А начав изображать несчастье, стал и сам несчастен. Каждый губит себя делами своими, и все страдают от них. Страдает Тихик от владыческой своей власти, апостол Сильвестр погубил себя новым своим учением, Ивсула — демонами тщеславия и гордыни, Быкоглавый погубит себя разбоем, а я — своим художеством...»

Назарий не хотел возвращаться ни в жалкую богомильскую общину, ни в разбойничье селение. Он вспомнил о князе, и ему пришло на ум построить хижину и поселиться подле пещеры. Минувшей весной он побывал там, видел огромные камни, завалившие

вход. Он решил наведаться в свою прежнюю землянку и взять овчины, служившие ему постелью. Богомильская община пришла в запустение, молитвенный дом разорили, балки и кирпичи унесли в разбойничье селение. Возле башни стояла стража, наверху развевался флаг. Неподалеку возводили новый дом для Быкоглавого. Назарий пришел в ту минуту, когда Быкоглавый, богато разодетый, верхом на белом коне, отправлялся со своей дружиной на очередной грабеж.

— Ты где пропадал? — спросил он Назария.— Мои люди с каких пор тебя разыскивают. Хочу я, чтобы ты нарисовал мне на флаге герб и расписал мой новый дом. Ты знаешь, как выглядят боярские хоромы и как все надо разукрасить. Неси сюда свои кисти и краски, поселишься здесь. Получишь самый хороший дом и все, что надобно.— И, не дожидаясь ответа, Быкоглавый поскакал во главе дружины устраивать на дорогах засады и грабить купцов и боляр. Огромная толпа провожала его радостными криками.

Назарий ко всему приглядывался, желая понять, что тут произошло за время его отсутствия. К нему подошел еретик с распоротой губой, подошли и другие, рассказали, что тому два дня Радул повел народ к покоям Совершенного, размахивая поясом познания, и после краткой речи потребовал, чтобы Тихик был предан суду за то, что сулил небесные престолы и блаженство, а сам заставлял их страдать, ходить нищими, оборванными. Радул убедил и остальных приверженцев учения отказаться от богомильства, и они кинулись, чтобы схватить Тихика. Тот, однако, успел вовремя скрыться, и неизвестно, где он теперь — быть может, подался в Преслав либо его разорвали лесные звери.

Назарий забрел на торжище. Там шла бойкая торговля, многие открыли лавки и корчмы. Посреди торжища, стоя на камне, Радул проповедовал новое учение о власти, в коем мир уравнивался с богом.

Назарий намерился было идти к пещере, думая поселиться в ней, но тут кто-то потянул его за рукав. Он обернулся и увидел Ивсулу.

— Как ты переменился, Назарий,— сказала она, когда их глаза встретились.— О, да ты теперь настоящий мужчина. Но не гляди на меня так, как все они!

— Да, я уже не тот,— проговорил он, чувствуя, как заколотилось сердце.— Но и ты переменилась тоже. Истерзали тебя твои демоны, Ивсула?

— Про каких ты демонов говоришь? Демонов нету, наш учитель Радул тебе растолкует это, я не сумею. Знаешь, я вот к тебе зачем, хочу, чтобы ты нарисовал меня. Очень мне хочется, чтобы нарисовал, — томно сказала она.— В самых лучших моих уборах. Я надену их, когда ты велишь.

— Нет надобности надевать красивые уборы, я и так нарисую тебя красивой. Но ты заплатишь мне тем, что отдашься мне. Я хочу тебя, Ивсула...

— Ого, ты тоже стал как все.— Она засмеялась, и Назарий заметил в ее глазах сладострастные огоньки.— Столкуемся!— Она ласково провела рукой по его бороде и убежала, а ее смех еще долго звучал у него в ушах.

«Вот это и есть истина, и сколь же она проста! Сколь земна и отвратительна! Двойственна она и погубляет всякого, чей ум потонет в ней, а между тем человек непрестанно и вечно домогается чего-то, пока живет на земле. Я тоже погубил себя, когда понял, что истина раздроблена на множество противоречивых истин и что над миром властвует неведомая сила. Мой бог умер, а с ним умерла и вера в мое искусство». При этой мысли Назарий почувствовал, что

дьявол завладел им и влил в него свою желчную мудрость. Засмеявшись, он потащил овчины к пещере.

В лесу он выбрал место для своей будущей хижины, перенес туда краски, кисти, нашлась в землянке и чистая липовая доска, и тогда он попробовал написать Ивсулу по памяти — такой, какой он увидел ее в то утро. Однако рука изменила ему. Страсть бушевала в его груди, сокровенная тайна красок, их песни не пробуждали отзвука в его сердце, и Назарий отшвырнул доску. Отчаявшись, он решил раскидать камни, что преграждали вход в пещеру, и омыть себя в роднике. Подойдя ближе, он заметил, что вход наполовину свободен — кто-то сдвинул камни в сторону. Назарий проник в пещеру и увидел рясу апостола, на которой засохшая кровь Каломелы казалась пятнами ржавчины. Каменные недра земли представились Назарию схожими с его собственной душой: свет и тьма боролись там, как и у него в душе. Однако чудесный родник, голубовато-прозрачный, дымящийся, и широкий поток света, низвергавшийся сверху неземным сиянием, говорили о том неведомом, что Назарий считал ныне ложью...

Он стал раздеваться, но вдруг услыхал стон и, обернувшись, увидел в темном углу устремленные на него глаза — похоже, звериные. Вглядевшись пристальнее, Назарий узнал Тихика. Совершенный держал в руке нож и что-то сжимал под мышкой.

— Не выдавай меня, брат,— шепотом проговорил Тихик.— Они убьют меня.

— Почему ты здесь? — спросил Назарий.

— Укрылся от них, уже два дня прячусь, не знаю, куда идти... О, они злые, брат, в точности такие, какими ты изобразил их. Злые и неблагодарные. Ради их блага я обманывал самого себя, а теперь сатана ополчился против деяний, кои мне сам внушил.

Тихик вышел из угла на свет, падавший сверху. Он исхудал, его била дрожь, беспокойными глазами он оглядел Назария.

— Что с тобой сталось? Ты не такой, как прежде,— произнес он, пораженный происшедшей в Назарии переменой.

Назарий улыбнулся беглой, усталой улыбкой.

— Ты не вини меня, Назарий, не знаешь ты моих мук. Человек пашет и сеет беды — себе и другим. Меня разыскивают, чтобы убить. Быкоглавый, изменник, взбунтовал их. Подай мне совет, ты знаешь их лучше, чем я. Как быть мне, куда бежать? Хлеб у меня на исходе. Остался один ломоть.

Назарий молчал, глядя на воду.

— Хорошо,— проговорил он после долгого молчания.— Коль думаешь, что я знаю их лучше, чем ты, я дам тебе совет. Стань святым, тогда победишь их и сам спасешься.— По лицу у него вновь скользнула улыбка, но теперь в ней была злая насмешка над самим собой, потому что ему вспомнилась былая его мечта.

Тихик смотрел на него в изумлении:

— Мне, погрязшему в грехах, стать святым?

— Ты же верил, что ты служитель божий, владыка, что обладаешь истинной мудростью, дабы вести людей к счастью и благоденствию. Ты измыслил и самого себя, и человека, вообразив, будто знаешь его. Сказано же: дьявол назначил слуг своих по порядку, установленному всевышним. Неужто забыл? — Назарий хохотнул, и Тихик увидел, что глаза у него жестокие, совсем как у мертвого Сильвестра.

— Послушай, кто ты и зачем шутишь так? Ты, верно, не Назарий, ты другой! Но кто бы ты ни был, скажи, отчего все, что я делал во их благо, обернулось злом? Скажи, как быть мне дальше?

— Иного совета я тебе дать не могу. Скрывайся в лесу, чтобы люди поверили, будто ты страждал и страждешь ради их блага. Тогда они сами придут поклониться тебе и молить о прощении. Но это станет позднее, когда Быкоглавый измучит их своей властью, как измучил их ты. Он их прельщает свободой, как ты — небесными престолами, и свободой поработит их...— сказал Назарий.

— Откуда ты знаешь, кто внушил тебе это? Ты лукав, а был иным... Как это возможно? — с возрастающим страхом смотрел на него Тихик, отступая к стене.

— Ты же сам признал, что я их лучше знаю, чем ты. Когда разнесется молва о том, что ты святой, они взбунтуются и против Быкоглавого, и он придет к тебе просить помощи. Хоть вы и враги, вы будете властвовать вдвоем, он — именем кесаря, ты — божьим именем, пусть даже ты и не веруешь в бога.— Назарий громко рассмеялся, и смех его коротким эхом прокатился под мрачными сводами пещеры.— Вот тебе еще один совет на будущее: когда они успокоятся и вы с Быкоглавым станете править ими — повесьте трех невинных, потому что повинны все...

— Как? — воскликнул в ужасе Тихик, сжимая в руке нож.— Ты даешь мне такой совет, ты?! Нет, ты не Назарий. Он был глуповат... Ты — тот, кто обитает здесь. Он принял твой образ и наущает мучить меня и смеяться надо мной!

— Он во мне, как и в тебе. Он — в каждом, чтобы продолжилось царство его. И ради той цели он ополчается против себя самого.

Назарий повернулся, вознамерясь уйти.

— Постой! — вскричал Тихик.— Если ты — Он, я не устрашусь! Я был твоим слугою, и ты должен ответить мне, отчего все так сталось. Я верил, что правлю по божьему соизволению, а оказалось — по твоему. Неужели только ты и существуешь, неужели нет над тобой господина, чтобы судить тебя и карать? Я хочу получить ответ — за муки мои, за осмеянные тобой надежды и мечтания, за страдания тех несчастных, что хотят судить меня вместо того, чтобы судить тебя. Стой! — закричал Тихик в исступлении и устремился к Назарию.

— Я Назарий, художник, которого ты называл глуповатым оттого, что не знал меня. Теперь мы с тобой сблизились. Коль ты веришь, что я — дьявол, ты должен верить и в бога,— не оборачиваясь сказал Назарий.

— Не лукавь! Ты сатана! Ты вселился в безумца художника и через искусство взбунтовал всех! Ты и меня погубил! — неистово взревел Тихик и вонзил нож в спину Назария.

Художник упал навзничь и долго бился в корчах, пока не наступила смерть. Обезумелый Тихик неподвижным взглядом смотрел на него. Потом оглянулся и увидел призрак князя. Князь Сибин подступал к нему ближе и ближе. Черные соколиные глаза не отрывались от Тихика, они чудовищно ширились, была в них та самая жестокость, что и в глазах Назария, и Тихик стал пятиться к бездне, где ревел и дымился подземный поток.

■

МИХЕЛЕВИЧ МАРИЯ ЕФИМОВНА

Советский переводчик с болгарского. В ее переводе печатались рассказы Н. Хайтова («ИЛ» № 2, 1969), повести Э. Станева «Легенда о Сибине, князе преславском» («ИЛ» № 5, 1970), «Похититель персиков», «Тихим вечером», исторический роман «Антихрист», роман В. Мутафчиевой «Дело султана Джема» и др.

История, с которой познакомился читатель «Тихика и Назария», начинается в другой книге выдающегося болгарского прозаика Эмилияна Станева — «Легенда о Сибине, князе преславском». Прошло девять лет со дня публикации «Сибина» в «ИЛ» (№ 5, 1970), и есть смысл напомнить об основных конфликтах этой повести.

Время ее действия, как и в «Тихике и Назарии»,— начало XIII века, эпоха Второго болгарского царства, достигшего апогея своего могущества (оно простиралось от Черного до Адриатического моря), однако уже подтачиваемого изнутри как феодальной смутой, так и недовольством, которое вызывал в народе гнет царя Борила, князей и византийской церкви. Это недовольство выразилось в форме религиозной ереси — богомильства. Последователи попа Богомила, объявившегося в болгарской земле еще где-то в середине X столетия, проповедовали, что и мир, и человек двойственны по своей природе: физически они сотворены Сатанаилом, низвергнутым с небес за гордыню, духовно же являются творением вседержителя. Согласно учению богомилов, в обществе и в самом человеке происходит непрестанная борьба добрых и злых начал.

В современности им виделось торжество зла, но то была временная победа, потому что богомильство должно было в конечном итоге восстановить царство справедливости и истинно христианскую целостность человека. Для этого требовалось опрощение и покаяние. В глухих местах богомилы создавали свои общины, организованные на принципах равенства, жесткого самоограничения и нравственной чистоты.

Однако, уйдя в непролазные леса и неприступные горы, они вовсе не выключались из борьбы идей своего времени. Богомильское влияние в народе быстро нарастало; позже оно шагнет с Балканского полуострова, распространившись на Италию и Прованс, где альбигойцы излагали те же идеи, что и богомилы. И уже первый автор, который упоминает о богомилах — враждебно к ним настроенный пресвитер Козьма, живший на рубеже X—XI веков,— с возмущением и тревогой писал о том, сколь многих обольстили «лукавые речи» учеников этого Богомила, что «поистине Богу не мил». Для тревоги были причины: как свидетельствует Козьма, еретики «поносят святую церковь... хулят богатых и учат христиан не слушать господарей, царя ненавидят, старейших ругают, бояр укоряют».

То, что мы теперь назвали бы стихийным демократизмом богомилов, не укрылось от власть предержащих. На единомудренников «прескверного попа» посыпались гонения и расправы. В «Сибине» Станев описывает собор против богомилов, созванный Борилом в 1211 г. Собор завершился казнями и насильственным постригом в монастыри, но богомильство продолжало жить.

Преславский князь, один из наиболее образованных и думающих людей той эпохи, конечно, был хорошо знаком с богомильской космогонией и этикой. К богомилам бежал раб Тихик, служивший у него экономом. Из богомилов происходит и Каломела — девушка, покорившая его сердце. Сибин — язычник, бунтарь, отвергающий и церковное учение, и противостоящую ему ересь во имя торжества свободного человеческого духа. Ради Каломелы он отказывается от богатства и власти, поселившись с возлюбленной в лесной пещере.

Но недолгим оказывается расцвет этой любви, которая победила кастовые предрассудки и фанатичный аскетизм богомилов. Финал повести жесток. Став руководителем общины — Совершенным, Тихик поднимает свою паству против Сибина и беглянки, которая бросила вызов сковывающим личность догматам. Изувеченные толпой, забаррикадированные в своей пещере, герои Станева бросаются в воды подземной реки — не погибают, а исчезают, словно персонажи сказки. Фактически Тихик повинен и в смерти Совершенного Сильвестра, который в своих размышлениях о мире пришел к непризнанию Творца и Дьявола. Тихик объявил его вероотступником и изгнал из селения — под нож обезумевшего Сибина.

Повествование в «Тихике и Назарии» развертывается вслед за этими трагическими событиями, к которым не раз вернется памятью центральный герой. И круг проблем, волнующих Станева, здесь по сути не изменился, хотя с Назарием в новую повесть вошла столь важная для писателя тема искусства, призвания художника во времена, когда особенно велик накал противоречий — общественных, этических, духовных.

Что побудило Эмилияна Станева посвятить последние свои книги по преимуществу истории, обращаясь к событиям отделенным от нас без малого восемью веками? Ведь, казалось бы, теология богомилов, их суровый ригоризм, оказавшийся бессильным и бесплодным перед логикой исторических законов, их нравственное борение, не увенчанное желанной гармонией духа и бытия,— все это сегодня способно интересовать одних лишь историков-профессионалов да любителей болгарской старины.

А впрочем, только ли их? Ведь в духовной истории, уже не замкнутой рамками религиозных споров, отчетливый след богомильского искания правды тянется через столетия вплоть до нашего времени. Свидетельств этому немало, ограничимся одним. «Тело. Плоть. Воодушевлена, но — не одухотворена — вот! — рассуждает в «Жизни Клима Самгина» самгинский письмоводитель Кумов.— Учение богомилов — знаете? Бог дал форму — сатана душу. Страшно верно! Вот почему в народе — нет духа. Дух создается избранными».

Здесь важно, разумеется, не то, что Кумов с его дилетантской начитанностью многое путает, а то, что в момент крутого исторического перелома, когда совсем близка первая русская революция, покрытое пылью веков богомильское учение оживает, входя в пеструю идейную атмосферу кануна 1905 года и — главное — заставляя мысль обратиться к вопросам сложнейшим, а вместе с тем злободневным. Ведь у Горького богомилов вспоминают, полемизируя об «избранных» и народной массе, о том, считать ли определяющим свойством рядового человека бездуховность или гуманность, в конечном счете — о движущих силах общественности.

Для Станева богомильство представляло интерес тем, что в нем заостренно выступили и существенные проблемы национальной истории, и «вечные» этические противоречия. Они ясно обозначились в «Сибине», а в повести о Тихике и Назарии писатель продолжает размышление над истинными и ложными нравственными ориентирами, анализируя конкретный смысл и историческую динамику таких масштабных категорий, как власть, справедливость, общественное благо.

Станев не принадлежал к тем художникам, которые легко манипулируют фактами, чтобы, осовременивая минувшее, искусственно выделить созвучный нашей эпохе конфликт. Напротив, в его исторических повестях поражает необыкновенная пластичность и объемность изображения давнишнего, достигнутая за счет предельной тщательности отбора каждой подробности, подчиненной задаче органично донести не только быт, но и строй мышления, мироощущение, понятия, язык людей XIII столетия.

Уже после смерти писателя появился в печати дневник его вдовы, Надежды Таневой. На страницах дневника много раз речь заходит о «Тихике и Назарии» и отчетливо видно, какого громадного труда потребовала от автора эта небольшая повесть. Станев годами обживал избранную им историческую территорию. Когда дело шло о точности картины далекого времени, для него не существовало мелочей.

Но он не был и реставратором, он позволял себе отступления от летописи, когда они были художественно необходимы. Такие отступления немногочисленны, и каждый раз они помогают увидеть скрытый «нерв» произведения, центр его содержания. Так, в «Сибине» протоболгарский миф, существенный для характеристики героя, который, в отличие от Каломелы, не чувствует себя славянином, представлен еще не отошедшим в прошлое, как было по хронологии,— и это осознанное допущение: Станеву было важно показать князя язычником. А в новой повести таким анахронизмом оказываются мысли Назария о художестве, мучительные для него сомнения в том, что его искусство, вынужденное подчиняться грубо практицистским запросам Тихика и Быкоглавого, действительно утверждает истину. Заставляя разум своего богомаза биться над проблемами, которые не могли — во всяком случае, подобным образом сформулированными — присутствовать в сознании человека той эпохи, Станев проявляет подлинную творческую смелость. Она оправдана философской емкостью содержания, достигнутой в «Тихике и Назарии».

При всей своей многоплановости это содержание в конечном итоге определяется конфликтом между властью, основанной на нравственной лжи, и духовной свободой, теснимой и ущемляемой подобной властью, а все-таки упорно защищающей свою высшую надутилитарную ценность. Два заглавных героя — это два полярно противоположных понимания человеческой сущности, долга и назначения.

Удел Тихика жалок: он становится жертвой и своих земных страстей, упрямо не подчиняющихся фанатичным требованиям богомильского благочестия, и того неостановимого процесса распада, которым охвачена его община. Амбары награбленного Быкоглавым добра оказываются куда более весомым аргументом, чем та отвлеченность потустороннего вознаграждения, которой тщится Совершенный завоевать души голодных, измучавшихся людей. Давление живой жизни во всей грубости и вместе с тем естественности ее побуждений слишком велико, чтобы его могла выдержать исповедуемая Тихиком этика. Ведь для этой этики дьяволовым искушением выглядят даже ароматы и краски земли, а человек прежде всего подл от своей слабости, так что насилие над ним оправдано неким условным всеобщим благом.

Не Быкоглавый с его цинизмом атамана разбойничьей дружины, а сама жизнь побеждает идею, которой по-своему исступленно служит Тихик, с содроганием наблюдающий, как бежит от него паства. В его собственной душе разыгрывается тот же конфликт: не совпадают абстрактный идеал добра и реальные поступки, к которым раз за разом конкретные условия бытия вынуждают этого паладина богомильского духовного кредо. Тихик поступается принципами во имя мечты о власти, владеющей им безраздельно.

Здесь-то и получает объективное разрешение коллизия «избранника» и «толпы», взволновавшая запоздалого почитателя богомильства из «Жизни Клима Самгина». Тихик возвышается над своим окружением напряженностью, неподдельной мукой искания гармонии идей и поступков, но гармония невозможна, потому что «избранником» он стал ценою преступления, толкающего на новые сделки с совестью и демагогические оправдания. «Толпа», отвергшая его поучения, вправе отнестись к нему хотя бы как к равному себе — в слабости духа, в разладе слова и дела, в причастности к кровавому поруганию священных для богомила нравственных основ. А истинный суд над Тихиком

вершат, разумеется, не Быкоглавый с его приспешниками — это делает Станев, выступая с позиций подлинного гуманизма.

Назарий близок автору своей творческой одаренностью, незамутненным чувством нравственной правды и стремлением сохранить для себя свободу если не во внешних формах жизни, то в ее духовном наполнении. Он антипод Тихика не только по характеру, отличающемуся доверчивостью и незлобивостью, но прежде всего по убеждениям, которые заставляют Назария искать и выражать истину независимо от того, как к ней отнесутся сильные мира сего. Ему органически чужды фанатизм и ненависть, его взгляд открыт миру, а талант добр, потому что крепится любовью и состраданием к людям вокруг него.

А с другой стороны, Назарий неотделим от Тихика, и это исключительно важно для понимания образа, который, по словам самого Станева, «вобрал все мои сомнения по поводу судьбы художника в определенных общественных условиях и пользы, приносимой искусством». В своем изуверстве Тихик велел богомазу закрасить дивные лики, написанные им на липовых досках, потому что в их несхожести Совершенный узрел козни дьявола. Знакомый ход мысли фанатика догмы: «его художество не способствует христианскому делу», так пусть Назарий займется корчеванием пней. Последующая судьба Назария — это тяжкий спор с самим собой, непрекращающееся противоборство смирения и неприятия, творчество вопреки запретам и страх растратить свое дарование, уступая требованиям, далеким от его кредо чистой истины, которую должен выразить художник.

Объективно это путь уступок и компромиссов, растлевающих душу Назария, иссушающих его искусство крепнущими сомнениями в том, что истина вообще достижима и что художество необходимо, нравственно, благотворно. В этой мученической борьбе, изображенной Станевым с беспощадной откровенностью, едва ли все сводится к драме художника, который задохнулся под гнетом изуверских понятий времени. Назарий сломлен Тихиком, и духовные итоги в данном случае по-своему не менее удручающи, чем финал, ожидающий Совершенного. А ответственность за них лежит и на самом Назарии, слишком нестойком, лишенном той чепоколебимой внутренней силы, которая в общественных условиях, показанных в повести Станева, остается единственной порукой верности великому делу искусства — добывать истину о мире и людях.

Погружаясь в историю, Эмилиян Станев воспринимал ее как человек нашей современности. Пафосом его повестей закономерно стал органичный для сегодняшней болгарской литературы дух непримиримости ко всевозможным преградам на пути гуманного и полноценного развития человеческой личности — возникают ли такие преграды в ходе общественной жизни или в сознании самого человека. Как ни далека от нас описываемая Станевым эпоха, те конфликты, которыми заполнены его исторические произведения, остаются остроактуальными. Писатель поднял их на уровень исследования коренных этических вопросов, не исчезающих со временем, это придало особое значение книгам, созданным им в последние годы творчества.

А. ЗВЕРЕВ

■

К. С. ПРИЧАРД

Сеяла Хэн лебеду...

ПОВЕСТЬ

Перевод с английского И. БАГРОВА

Глава первая

Ни один зверек в окрестных холмах не смог бы тягаться с Хэн — такая она шустрая, неумная. Ее соломенная шляпка вечно разодрана, черное платье и чулки на длинных худых ногах — в дырках.

Веснушек на лице — что крапинок на перепелином яйце, непослушные волосы «торчат фитильками», как говаривала бабушка. Хэн не понимала, как это прямые каштановые волосы могут походить на фитильки.

С фотографии той поры из-под раскидистого тенистого дерева серьезно смотрит маленькая фея. На обратной стороне рядом с адресом фотографа каллиграфическим почерком Розамунд Мэри красной, поблекшей от времени тушью выведено: «Хэн восемь лет. У нее в глазах то играет солнце, то собираются тучи, а порой сверкает и молния. Не угадать, какие слова сорвутся сейчас с плотно сжатых губ».

О своей жизни Хэн задумывалась не больше, чем птица или опоссум на большом серебристом эвкалипте. Дни бежали беззаботно и радостно. Глядит Хэн: зайка, который по утрам на пригорке умывается росой, спит в норе, а она, Хэн,— в постели под белой простыней, шерстяным одеялом и покрывалом, расшитым розами. Ага, все понятно: вокруг все так, как и должно быть. Например, у нее есть папа, мама, двое младших братьев, две бабушки, тетушки, дядюшки, двоюродные, троюродные и прочие родственники. И у других мальчиков и девочек, наверное, тоже.

Хэн еще не понимала, что ХОРОШО, а что ПЛОХО. Все, что она делала, делилось надвое: ЗА ЧТО НАКАЗЫВАЮТ — самое приятное и интересное, но почему-то считающееся дурным, и ЗА ЧТО НЕ НАКАЗЫВАЮТ — самое скучное и унылое.

КАТАРИНА СУСАННА ПРИЧАРД — *KATHARINE SUSANNAH PRICHARD* (1883—1969). Австралийская писательница и общественный деятель. Автор романов «Пионеры» («The Pioneers», 1915,— премия конкурса на лучшую книгу Австралии), «Черный опал» («Black Opal», 1921), «Рабочие волы» («Working Bullocks», 1926), «Кунарду» («Coonardoo», 1929) и др. На русский язык переведены трилогия о возникновении и росте рабочего движения в Западной Австралии — «Девяностые годы», «Золотые мили», «Крылатые семена»,— а также ее автобиографическая повесть «Дитя урагана», сборник рассказов «Рождественские деревья», романы «Кунарду», «Погонщик волов», «Потаенный огонь» («ИЛ» № 3, 4, 1971), рассказы.

Повесть «Сеяла Хэн лебеду...» («The Wild Oats of Han») печатается по изданию — Melbourne, Lansdowne Press, 1968.

Лазать по деревьям, рвать без спроса зеленые яблоки, выпускать цикад в воскресной школе, дразнить мальчишек, отбежав, конечно, подальше,— вот что было по душе Хэн, то есть ЗА ЧТО НАКАЗЫВАЮТ, она убедилась на собственном опыте, но исправляться и не думала.

Зато сидеть и часами выводить крючочки, палочки, кружочки, читать, подметать и убирать комнаты, вышивать, играть в «пятнашки», но так, чтобы не шуметь, или в прятки, но так, чтобы не порвать платье,— вот ЗА ЧТО НЕ НАКАЗЫВАЮТ.

Сюда же относилось заучивание и повторение псалмов по воскресеньям. А почему — Хэн было невдомек. Для нее всякий день — игра, будь то воскресенье, когда приходится вести себя чинно, или будни, когда, переодевшись в сарае в старое платье, она изображала миссис Монморанси Смит. Хэн не слыла послушной, для нее и послушание было вроде игры, хотя и не самой любимой. Разве сравнишь с тем, ЗА ЧТО НАКАЗЫВАЮТ!

Несешься по холмам, все тело поет, радуется, прямо дрожь пробирает — до того хорошо! Смеешься, а смех перед тобой словно клоун прыгает, кувыркается. А как стрекочут цикады! Принесешь их в воскресную школу, духота — дощатые стены, оцинкованная крыша, все обмахиваются платками, а цикады знай себе стрекочут, заглушая скрипучий голос проповедника.

А какое наслаждение рвать без спроса зеленые яблоки! Нет, не для того, чтобы съесть — «Упаси господь!» — воскликнула бы Джесси,— просто лазать за ними и страшно и приятно. Крадешься по высокой траве, перебегаешь от дерева к дереву, каждое обвязано, словно старушка при ревматизме,— это чтобы гусеницы не завелись. Ничем не выдает себя Хэн, разве что иногда мелькнет платье или соломенная шляпка. Ну, еще немного — и яблоко в руках! Но тут в окно кухни выглядывает Джесси и поднимает крик — от неожиданности Хэн чуть не роняет яблоко.

— Ага, мисс Хэн! Вот я вашему отцу-то нажалуюсь!

У ног заливается лаем дворняжка Джерри, а с дальнего конца сада, бросив все дела, спешит садовник Джош — никак кто в сад забрался? Но трое пострелят — Хэн, Тедди и Том — уже удирают со всех ног. Следом с лаем несется Джерри. Добежав до изгороди хлева, они останавливаются, здесь безопасно. А еще лучше залезть на старый эвкалипт, что на пригорке, и оттуда втроем дразнить Джоша. Послушать ребят — словно воробьи чирикают.

Эй, Джош, ротозей,
Поищи-ка нам червей,
Гусениц, да бабочек,
Да зеленых яблочек.

А Джерри радостно прыгает вокруг и неистово лает. Но вот терпению Джоша приходит конец, он швыряет лопату и идет жаловаться Джесси:

— Никакого сладу с этими пострелятами! С меня хватит! Пусть хозяин другого садовника ищет. Не дети, а исчадье ада!

Но ребятам уже надоело дразнить Джоша, и, спрыгнув с дерева, они бегут дальше к новым приключениям.

Лишь об одном задумывалась Хэн — о своем злосчастном имени. Ее назвали Ханна Фрэнсис, в честь двоюродной бабушки, которая в семье считалась чуть ли не святой. Всю жизнь она творила добро. С ранних лет, вступив в благотворительное общество, она целыми днями шила уродливую одежду для убогих и невежественных аборигенов. Хэн назвали в ее честь, надеясь, что с именем к девочке перейдут

и добродетели бабушки. Чтобы быть похожей на нее, девочке приходилось погожими воскресными днями сидеть дома и вышивать бесчисленные салфетки. Понятно, что Хэн с неприязнью смотрела на красивое печальное лицо двоюродной бабушки на портрете.

Взрослые, сокрушенно вздыхая, без конца твердили:

— Твоя любимая бабушка Ханна Фрэнсис так никогда не делала!

Она никогда не досаждала младшим братьям.

Она никогда не лазала по деревьям и не рвала одежду.

Она никогда не съедала вишню, которую ей велели собрать на варенье.

Она никогда не валялась в спелой ржи.

Она никогда не рвала без спроса яблоки, да к тому же зеленые, никогда не бросала их, надкусив лишь раз.

Она никогда не грубила, не перечила взрослым.

А Хэн всем этим похвастать не могла. Видно, никогда ей не стать такой, как двоюродная бабушка Ханна Фрэнсис.

Глава вторая

Выводить палочки и крючочки, читать, подшивать салфетки приучила Хэн бабушка Сараги. От нее Хэн безропотно сносила все.

Лицо у бабушки доброе-доброе, говорит она всегда ласково, не бранит. При ней Хэн сразу становилась смирной, чем бы та ни занималась: вышивала ли, хлопотала ли на кухне или степенно прогуливалась по садовой аллее, беседуя с Джошем о видах на урожай.

На щеках у бабушки всегда легкий румянец, седые волосы расчесаны на пробор, из-под маленькой гладкой шляпки крылышками спускаются на виски серебристые пряди. К бабушке Хэн относилась с благоговением. Лишь послышится шорох широких, послуживших на своем веку юбок черного шелка, сразу становится спокойно и уютно. Даже тощая, серая в полоску кошка-дикарка, все лето кормившаяся только ящерицами, терлась у ее ног, греясь на солнце, и мурлыкала.

Что бы ни делала бабушка, все восхищало Хэн. Как изящно она приподнимала на ходу подол платья! При этом чуть виднелись белые чулки и башмаки с резинками по бокам. Чудо, а не башмаки! Ни шнурков, ни кнопок, раз — и надела! Ни у кого таких нет.

Бабушка очень любила псалмы, Хэн даже выучила кое-какие на слух. Фамилия бабушки была Спенсер, она утверждала, что является «прямым потомком Эдмунда Спенсера, перу которого принадлежит лучшая поэма, когда-либо написанная на английском языке».

Хэн отлично помнила книгу с «лучшей поэмой». Бабушка Сараги то и дело цитировала из нее. Называлась она «Королева фей», обложка потерлась и обтрепалась — бабушка почти не расставалась с книгой. Хэн любила смотреть картинки и, еще не умея читать, к великому удовольствию бабушки, запомнила целую строфу из одного стихотворения:

На лугу, там, где тихая речка течет,
Затаившись, увидел я нимф хоровод.
Кудри — что изумруд, о вы, дочери вод,
Красота ваша дивная так и влечет
И наряд, что одним лишь невестам идет.
По корзине плетеной у каждой в руках,
Все затейливым, тонким узором пестрят
И цветами полны, что растут на лугах.

Были у семьи и тяжелые времена, но вот они миновали, рассеялись черные тучи. Питер Бэрри взошел на холм, у подножия которого дремал городок Лонстон, и на самой вершине выбрал дом для Розамунд Мэри, бабушки Сараги и Хэн, та даже под стол пешком не ходила, а только ползала.

Питер арендовал его, даже не поинтересовавшись, есть ли канализация и водопровод, печи и ванны, его прямо заворожил вид, открывавшийся от калитки и с веранды. Бабушка шутливо журила его: простофиля, за год вперед аренду заплатил, да еще за посадки на огороде сколько выложил. Но Питер лишь радостно смеялся: все бы до последнего пенни отдал, только бы здесь жить. Дом стоял на самой вершине. Питер Бэрри смотрел на городок в долине, и гордость наполняла душу — он одолел свою вершину, победил все невзгоды.

После работы он устало поднимался на холм, останавливался у калитки и оглядывался: тропинка, круто сбегающая с холма, внизу — плоские белые квадратики домов, словно в этот предзакатный час в долине собралось стадо овец. Потом он снимал шляпу, вытирал со лба пот, подставлял голову и плечи лучам уходящего солнца, вбирая несуетную красоту вечерних холмов. На душе спокойно и радостно. Слезы счастья наворачиваются на глаза. Немного постояв, он шел через сад к дому.

Неудивительно, что Питер полюбил этот старый дом. Затерявшись в дебрях сада, он словно звал к уединению и покою. Весной сад стоял кипенно-белый — цвели вишни и круглый год — розы-центифолии, наполняя воздух ароматом. Как и все дома на холме, с фасада и по бокам он держался на столбиках, а задняя веранда была вровень с землей. С трех сторон пространство под домом было забрано решетками, вдоль веранды шли низкие перила. Давным-давно дом покрасили в темно-желтый цвет, столбы и перила — в белый. Но со временем краска поблекла, и, когда семейство Бэрри въехало в дом, их встретили бурые облупленные стены.

Владелица, мисс Примавера Уитлер, сперва хотела продать дом. Ведь он деревянный, с каждым годом ветшает, скоро за него и гроша не дадут, сетовала она, да и сад без хозяина в запустение приходит. Но такая покупка была Питеру Бэрри не по карману, и он уговорил мисс Уитлер сдать дом в аренду — по его словам, так ему еще никогда не везло.

Каждый день Хэн видела, как отец, уходя на работу, гладил маму по лицу, целовал и говорил:

— Розамунд Мэри, ты самая красивая, самая замечательная женщина на свете.

А Розамунд Мэри была уже не первой молодости, да и красотой не отличалась. Когда Хэн исполнилось восемь, ей шел тридцать девятый год. Шелковистые каштановые волосы тронуты сединой, зеленовато-серые глаза, хорошо очерченный рот, нежное, чуть капризное лицо. Кумушки на холме поговаривали, что хозяйка она никудышная, что, если бы не бабушка Сараги, весь дом бы прахом пошел. Все сплетни приносила в семью мисс Примми Уитлер, взявшая на себя роль глашатая. Может, в чем-то кумушки и были правы.

Розамунд Мэри не следила, чисто ли вытерта полка над камином. Она садилась у себя в комнате за фортепьяно и начинала играть легкие пьесы, они будто сами сбегали с пальцев. Еще она чертила на плотной линованной бумаге непонятные кружочки с хвостиками, похожие на паучков с тонкими ножками.

Когда Хэн была совсем маленькая, она тоже рисовала паучков. Розамунд Мэри давала ей обрывки нотной бумаги, чтобы чем-то занять, и с улыбкой смотрела, как Хэн чертит каракули, подражая ей. Но когда Хэн подросла, то заметила, что в отличие от ее собственных, в паучках Розамунд Мэри таился какой-то смысл, и перестала их рисовать.

Вначале Хэн не понимала, почему в доме две мамы. Розамунд Мэри называла бабушку Сараги мамой, а Хэн велели называть мамой

самое Роззмунд Мэри, хотя больше ее так никто не называл. Бабушка Сараги пыталась объяснить. Она — мама мамы Хэн и приходится ей бабушкой, но для Хэн это было слишком сложно, и она упорно называла мать по имени — Розамунд Мэри, то есть как и все остальные. Соседям же подобные нововведения казались кощунством. Еще Хэн никак не могла разобраться в бабушках. Одна — папина мама, другая — мама Розамунд Мэри. Бабушка Бэрри жила в красном кирпичном доме на Ривер Роуд среди сосен. Она была очень дружна с бабушкой Сараги, звала ее просто Сара, та же величала бабушку Бэрри Шарлотта-Елизавета.

Как-то за чаем у Бэрри Хэн с помощью бабушки Сараги тоже научилась называть бабушек по именам. Хотя бабушка Сараги больше любила, когда ее называли «бабуля». А бабушка Шарлотта-Елизавета, наоборот, сердилась, когда кто-либо из детей по ошибке так ее называл.

— Зовите меня «бабушка»! — поправляла она. Запомнить Хэн, Тедди и Тому было нетрудно: одна — «бабуля», другая — «бабушка».

Никто никогда не заставлял Розамунд Мэри заниматься хозяйством. Она сочиняла песни. Даже ее дорогой супруг признавал, что они удаются ей куда лучше, чем супы и жаркое. И невытертые каминные полки не мешали друзьям любить Розамунд Мэри. А хозяйством ведала бабушка Сараги. Составляла меню, штопала, шила, варила варенье. Лишь в редких случаях, когда в Розамунд Мэри, по ее собственным словам, просыпалась совесть, она делала кое-что вместо бабушки.

Мама и папа Хэн крепко любили друг друга. Казалось, что дети появились на свет по воле случая, впрочем отнюдь не несчастного, а как нечто второстепенное, сопутствующее их любви. Они заботились о детях, были с ними ласковы, но сами жили своей жизнью, безраздельно отдавая свою любовь друг другу.

Будто только вчера поселились они на Холме, а сегодня, оказывается, у них уже большая семья. В них ненадолго пробудилась родительская ответственность, и они принялись без устали, часами напролет поучать детей, наставлять их на путь истинный. Хэн и ее младшие братья, явившиеся в этот мир, чтобы вместе с сестрой радоваться беспечной жизни в холмах, терпеливо выслушивали родителей, но пропускали все наставления мимо ушей. Они росли сами по себе, свободные и безнадзорные, забавляясь и резвясь вовсю.

Глава третья

За домом начинались темные, поросшие лесом овраги и лощины, а за ними новые холмы — есть где разгуляться Хэн. Каждая тропа, каждый укромный уголок знаком ей, она знала, где стоят хижины лесорубов, знала, где они обычно работают. Заслышав стук топора, она пробиралась сквозь заросли к Сэму, тот либо валил дерево, либо рубил сучья. Хэн знала, где складывают только что заготовленные, грубо обтесанные, терпко пахнущие смолой бревна — обычно в самой чаще. Сэм жил в холмах, в маленьком домике и уже много лет валил лес. Бабушка Сараги недолюбливала Сэма, но для Хэн не было человека замечательней. Сколько он рассказал ей о холмах, о цветах, о зверушках, что живут в их краях.

Не успеет Сэм свалить дерево, а Хэн, Тедди и Том уже тут как тут. Забравшись на поверженного великана, они обшаривали каждое дупло, каждую выемку — искали гнезда. Наверняка в каком-нибудь потайном дупле, выложенном хворостом и листьями, живет опоссум, а в ветвистой кроне поселились птицы. Непросто усмотреть гнездо

среди блестящих глянцевитых листьев, трепещущих, когда нападет ветер.

А как приятно гонять ярких, точно радуга, попугаев, они кружатся над деревом, громко сокрушаясь о потерянном доме. А что может быть вкуснее молодых желудей или кремовых соцветий на концах ветвей. Они распускаются на самом верху, не свалишь дерево — не достанешь. Хэн любила украшать шляпу белыми цветами эвкалипта и часто превращалась в ходячий улей: пчелам, видно, цветы тоже пришлись по вкусу. Пчелы роились вокруг, бережно, точно рачительные хозяева, собирая нектар с каждого нежно-зеленого с красной каймой пестика. Разве можно допустить, чтобы эти сладости вместо того, чтобы попасть в кладовые дремучего леса, достались какой-то девчонке-попрыгунье. Хэн ничуть не боялась пчел, лишь беспечно смеялась, убегая от жужжащих преследователей.

Скорей бы осень! Встанешь спозаранку и помчишься вместе с братьями по не просохшим после вчерашнего дождя лугам за грибами. По сырой земле стелется туман. Бурые поганки ехидно выглядывают из-под низко надвинутых шляпок, на лугу их видимо-невидимо, меж камней семьями гнездятся дождевики, ткнешь их — и они выпускают облако коричневатой пыли. Съедобные грибы от их ядовитых собратьев ребята отличали безошибочно. Сорвут молодой гриб и смотрят, розовые ли у него пластинки под шляпкой, пахнет ли он свежей землей, если нет, то выбрасывают.

Хэн очень радовалась, когда находила большие старые грибы, они таились под эвкалиптами, маскируясь под цвет коры. Шляпки — точно тарелки, приподнимешь, а под ней полно всяких червячков и букашек. Бабушка не велела приносить такие грибы домой, но что поделать, если искать их приятнее всего. Они как живые: кожица шершавая, морщинистая, шляпка набекрень, на ножке — оборка, словно у девочек на панталончиках, Хэн видела их на старых фотографиях. Она жестоко расправлялась со старыми грибами, разламывала, чтобы посмотреть, как живут их бесчисленные обитатели-букашки.

Самым удачливым грибником был Том. Тедди и Хэн больше смотрели по сторонам, чем под ноги. Вон заяц умывается росой, вон кормятся птицы, а там пощипывает свежую траву кенгуру, почуял людей, скакнул в сторону — только его и видели. Зато Том собирал грибы серьезно, будто это было делом всей жизни. Всегда корзина у него полна молодыми, атласными на ощупь грибами, бабушка Сараги любила такие больше всего, а у Хэн — только чуть на дне. Бежишь домой к завтраку, а грибы почему-то выпрыгивают, падают на землю и крошатся. Джесси лишь руками всплескивала, отмывая ее грибы от налипших блестящих песчинок. Добычи Тома хватало на завтрак всем. Грибы томили в сотейнике с молоком на хлебных корочках, перчили, солили и подавали к столу.

Весной холмы покрывались ковром нежно-лиловых фиалок, будто тысячи фей в капорах собрались на лугу; поведи рукой — все исчезнет. Хэн поднималась еще затемно и бежала за фиалками. Срывала их с коротких стебельков, набирала целые пригоршни, стряхивала серебряные бусинки росы на траву, росшую прядями, точно волосы. Фиалки на длинных стеблях росли обычно под большими эвкалиптами, но отыскать их было совсем непросто. Приходилось шарить в траве, раздвигать мелкий кустарник, отбрасывать попадавшиеся под руку куски коры. Вывозившись в земле, промочив ноги, она на ходу перевязывала букет травинкой и неслась домой. Нарочно пробегала под окнами комнат бабушки Сараги, Розамунд Мэри и отца и кричала, подражая уличным торговкам: «Фиалки! А вот чудные фиалки!»

Отец встречал чумазую промокшую дочь, и в глазах у него прыгали веселые огоньки, зато Розамунд Мэри каждый раз огорченно вздыхала: «Беда мне с тобой, Хэн, опять, наверное, ноги промочила».

Бегая ни свет ни заря за цветами, Хэн невольно подмечала красоту утра: запахи сырой земли, мхов, диких фиалок; алмазные росинки в лучах солнца сверкали так, что даже зайцы, умывавшиеся росой, жмурились. В долине за пеленой тумана перекликались сороки. Природа словно посвящала Хэн в свои таинства. Голова шла кру́гом, и жить было очень радостно.

Весь мир еще спит, а она уже на ногах, так зачем же вести себя послушно и смирно? Ведь, как и любого зверька, ее тянуло бегать, прыгать, озорничать. И целый день она носилась по холмам — только ветер свистел в ушах,— радуясь голубому небу, лесной чаще, запаху цветов, пенью птиц, жужжанью пчел, жукам, змеям, серебристым игуанам. Лишь к вечеру усталые ноги приносили ее домой. Она засыпала прямо на ходу, какой уж там ужин!

В голове у Хэн роилось множество самых разных мыслей. Сэм рассказывал ей сказки и поверья островитян, и вскоре Хэн, как и аборигены, стала принимать холмы вокруг за могилы великанов. Потому что однажды, в минуту отдыха, Сэм поглядел на три огромных лесистых холма — вершины подернулись дымкой, внизу стеклянная гладь озера — и сказал:

— Говорят, жили когда-то в долине два племени, сражались не на жизнь, а на смерть, великаны все, один выше другого, в этих холмах их вожди похоронены.— И он кивнул в сторону озера.

Лежал он прямо на траве, рядом с бревнами, которые обтесывал; на них, застыв, точно маленький пугливый жучок, золотящийся на солнце, сидела и слушала, раскрыв рот, Хэн, слушала, не пропуская ни слова. Сэм вытащил трубку и продолжал:

— Вождей, значит, перебили, народу сколько покалечили, могилы насыпали высокие, видишь, сейчас холмы выросли, а в озере не вода, а слезы вдов, что погибших оплакивали. Местные говорят, у них тут вроде как святилище было. Рыбу не ловили, даже воды не пили из озера.

Озеро лежало меж холмами, прозрачное, сверкающее на солнце. Вроде ничего особенного, но Сэм сказал, что оно глубокое, заглянешь, а под водой тени играют, точно змеи сплетаются и расплетаются подводные течения. Тоненький ручеек бежал из озера меж холмов, натыкался на острые камни, сердился, плевался и падал вниз, в реку, которая лениво несла свои воды мимо городка, по зеленым, спокойным лугам и пастбищам прямо в море.

Летом горожане иногда купались в озере, порой даже тонули. А как же иначе, думала Хэн, вспоминая слова Сэма:

— Вот каково во вдовьих слезах купаться!

Еще он много рассказывал о чернокожих косматых людях с горящими свирепыми глазами, у них были каменные топоры и деревянные копья, они охотились в холмах, пока не пришли белые, захватившие все земли и богатства. А чернокожих дикарей согнали в дальний конец острова, и они все вымерли в нищете за несколько лет; Сэм рассказал также и о тех страшных временах, когда на их остров — Землю Ван-Димена — свозили преступников.

Он поведал ей и о том, как живут деревья, какие повадки у разных птиц, кенгуру, бандикутов, о том, какой непонятный и таинственный мир лежит за горами.

Хэн представляла этот мир по-своему: огромный волшебный остров, вокруг — бескрайние голубые и зеленые моря, по ним «быст-

рее самого ветра», как говорил Сэм, несутся бриги, барки, джонки, кечи. А небо там такое же, как и над их островом, это Хэн знала, хотя и не очень-то понимала. Вообще небо — самое чудесное из всех чудес. Вот бы узнать, из чего оно сделано и где начинается. Почему меняется, а вместе с ним и моря и реки, почему ночью оно темное и усыпано звездами, а днем — голубое и без звезд. Наверное, бог нарочно так создал небо, чтобы люди не видели, как и что он там делает.

Сэм когда-то плавал плотником на паруснике. Он рассказывал об островах, которые как прекрасные цветы распускаются среди океана, о даякских пиратах, об акулах, о чернокожих людях, не знающих одежды, и о тех, чья одежда похожа на оперенье попугая и расшита удивительными узорами.

Хэн часто сидела подле бабушки Сараги в саду на обломке валуна и по слогам читала книгу в алой матерчатой обложке — «Историю Англии для малышей». А по воскресеньям, особенно если стояла дождливая погода, Розамунд Мэри читала вслух сказки братьев Гримм или другие занимательные истории. Хэн просила читать одни и те же сказки и каждый раз плакала и радовалась, словно слышала впервые. Тедди и Том равнялись на сестру.

Но был у Розамунд Мэри один недостаток: она быстро уставала и бросала читать, а Хэн не терпелось узнать еще об Улиссе, Пандоре, о циклопах, прекрасных принцессах и злых колдуньях.

И мир настоящий стал неотличим от мира сказочного. В голове Хэн они слились воедино.

Глава четвертая

Хэн с братьями вздумали охотиться за гоанами, хотелось посмотреть, как те будут «извергать пламя».

Тедди окликал дворняжку Джерри, и все вместе неслись по холмам. Крутые, лесистые склоны, у подножия — огромные валуны, меж ними — кусты дикой малины, а расщелины поросли папоротником и адиантумом. Джерри, принюхиваясь и фыркая, рыскал вокруг, наконец, находил гоану и с радостным лаем бросался к хозяевам.

Взрослые называли эту серую, длинную, как змея, ящерицу игуаной, а Сэм да и другие лесорубы — просто гоаной, Тедди, Том и Хэн — разумеется, тоже.

Лесорубы говорили, что гоаны «извергают пламя», рассказывали истории об их схватках со змеями. Змеиный яд гоанам не страшен, сразу после битвы они раскапывают и съедают какой-то корень, он вроде противоядия. Среди лесорубов ходило поверье: кто отыщет этот корень, тот разбогатеет. Некоторые, затаившись, наблюдали за поединком, а потом шли по пятам за раненой гоаной, но ни разу не видели, чтобы та ела какие-нибудь листья или корни. Однако Сэм говорил, что знает точно: противоядие гоаны — в толстых узловатых корнях тростника, разные его виды попадались повсюду — и в холмах, и в долинах, и на северном, и на южном, и на западном, и на восточном побережье.

Сами гоаны считались неядовитыми, хотя от их укуса рука опухала порой на месяц. Тедди, Том и Хэн их не боялись, зато к змеям не решались подходить. Когда Джерри принимался лаять, завидев на валуне греющуюся на солнце гоану, дети окружали ее, начинали прыгать, кричать, швырять в гоану камнями, палками. Изредка в глазах гоаны загоралась ярость, она открывала пасть, и молнией мелькал зеленовато-голубой, с вороненым отливом язык. Цветом он напоминал и павлинье перо, и бабушкины украшения из бирюзы, доставшиеся ей, как она сама говорила, еще от прабабушки. Однажды Хэн заявила,

что видела, как из пасти гоаны вырвался дым и мелькнуло пламя. Братья поверили, но когда рассказали отцу, тот назвал это сущей ахинеей. А Хэн подумала, что не очень-то отец разбирается в огнедышащих гоанах.

Часто толстое серебристое тело гоаны сплошь покрывалось кровавыми ранами, а порой дети забивали ее до смерти.

Как-то утром Тедди и Том забавлялись, швыряя в большую красивую игуану щепками и мелкими камнями, и Хэн вдруг словно прозрела. Увидела две алые раны на серебристом боку и поняла, как мучается живое существо — совсем как человек, увидела бессильную ярость и боль.

— Стойте! — крикнула она, не спуская глаз с игуаны. Как же она сразу не догадалась — ведь это же совсем не гоана, это заколдованный принц!

Братья так и замерли с камнями и палками в руках, уставившись на ящерицу. Враз оробели и присмирели.

— А почем ты знаешь? — спросил Том.

— Знаю,— прошептала Хэн,— смотри, как он на нас глядит.

Далеко за холмами ударили в колокол — полдень, пора обедать. Мальчики понеслись к дому, следом — Хэн. За столом она отложила ломоть черного хлеба с маслом, несколько вишен.

— Это принцу,— пояснила она.

Пообедав, они побежали через сад на холмы. Хэн оставила хлеб и вишни на валуне, на котором утром грелась гоана и где ее обнаружил Джерри. Целую неделю после этого ребята ежедневно оставляли воду, фрукты, куски пирога — для принца. И каждый раз все исчезало. Хэн сказала, что принц не умер от ран, она видела след, ведущий в расщелину под валуном.

Наверное, он и съедал все, что они приносили, хотя от таких даров не отказались бы и мириады черных муравьев, кишащих вокруг, а как-то Тедди заметил птицу с вишней в клюве.

Когда гоана еще раз увидела Хэн, то поспешила убраться восвояси. Очень, конечно, невоспитанно с ее стороны, ведь Хэн столько ей добра сделала. С тех пор все гоаны стали для Хэн очарованными принцами. Всякий раз, завидев ящерицу, она останавливалась и, не отрываясь, смотрела. Вот сейчас превратится гоана в сказочного принца, опустится он перед Хэн на колени и скажет: «Красавица, стань моею суженой!» Тут, откуда ни возьмись, появится вороной конь и умчит их за облака в замок принца. «Знать бы мне волшебное слово или до колдуньи добраться, я б тотчас его снова в принца превратила и жили б мы с ним, не тужили»,— думала Хэн. Но заколдованный принц так и оставался толстой серебристой ящерицей с голубым переливчатым языком и не торопился превращаться в благородного рыцаря, хотя серебристое облачение и поблескивало на солнце, словно латы. Напротив, принц стал источником многих бед Хэн, именно из-за него ее и отправили в школу.

Глава пятая

Бабушка Сараги сушила лепестки роз, пересыпала их солью, добавляла еще что-то, и получались сухие духи. За розами никто не ухаживал, они росли, отгораживая двор от вишневого сада. Узкая песчаная дорожка шла вдоль кустов, от калитки к белокаменному крыльцу боковой веранды. Розы были и алые и бордовые, меж лепестков жужжали золотистые пчелы. Земля была усыпана чуть поблекшими, опавшими лепестками, издававшими тонкий аромат.

Как-то утром Хэн собирала лепестки, пригоршнями отправляя их в корзину. Благоуханный воздух, казалось, дрожал от жужжания пчел. Солнце — добрый волшебник — позолотило все вокруг, и Хэн замечталась. Рядом, прикрыв глаза, нежился заколдованный принц. Хэн не спускала с него взгляда и изредка, будто кто под руку толкал, бросала в него пригоршни лепестков. Они рассыпались над ним, не долетая, не нарушая его покой.

На дороге показалась голубая тележка. Дэн Джеймсон вез огромную тыкву. Он приметил шляпу Хэн и справедливо рассудил: где шляпа — там и хозяйка. Прильнул к щели в заборе и крикнул:

— Эй, куропатка — яйцо всмятку, чё это ты там делаешь?

Дэн был долговязый, неуклюжий мальчишка, куда более веснушчатый, чем Хэн. Он уже ходил в школу. Каждая их встреча неизменно кончалась стычкой. Но в то утро Хэн была настроена миролюбиво.

— Розы для бабушки собираю,— спокойно ответила она.

— Розы для бабушки! — передразнил Дэн.— Смотри, гоана! — Он вмиг перемахнул через забор, отломил ветку с куста жасмина и наклонился над гоаной.

Разъяренная Хэн вихрем налетела на него.

— Не смей! — крикнула она.— Это околдованный принц!

Дэн рассмеялся и оттолкнул ее.

— Принц, говоришь? Сейчас от него мокрое место останется!

И ткнул ящерицу прутом.

Хэн бросилась на него, больно царапнув щеку — вспыхнули красные полосы. Дэн заорал и припустил так, словно за ним гнались с ножом.

Белый деревянный дом Джеймсонов виднелся из-за деревьев, он стоял на другой стороне улицы, чуть ниже по склону, чем дом Бэрри. Дэн даже тележку с тыквой бросил на дороге. А гоана, пока шел горячий спор, благополучно добралась до своей норы.

Хэн с минуту постояла, как бы заново переживая все случившееся. Потом побежала к калитке — вдруг Дэн снова явится? Нет, не видно, только слышен рев. А по дороге брела лишь одна корова.

Хэн снова принялась собирать лепестки, но вскоре до нее донесся голос матери Дэна:

— До чего ж противная девчонка, эта Ханна Фрэнсис! Ни за что ни про что обидела бедняжку Дэна!

Хэн выглянула на улицу. Миссис Джеймсон решительно направлялась к их дому, следом едва поспевал Дэн. Вот они вышли со своего двора, перешли улицу. Хэн тут же спряталась в кустах.

Дэн с матерью подошли к белому крыльцу, постучали в парадную дверь. Дэн все ревел и тер лицо носовым платком.

Вот они зашли в дом. Но очень скоро вышли, теперь с ними была и бабушка. Она извинялась, но как всегда спокойно, с достоинством.

— Я прошу прощения,— сказала она,— а с Хэн поговорю.

— Мало поговорить! — миссис Джеймсон возмущенно фыркнула.— Выпороть бы ее как следует!

— А вы не допускаете мысли, что Дэн мог чем-нибудь вызвать грубость со стороны Хэн?

— Бедный мальчик увидел на тропе гоану и хотел ее убить, только и всего. Правда ведь, Дэн?

— У-гу,— всхлипнул Дэн.

— А зачем тебе ее убивать? — спросила бабушка Сараги.

— Для коллекции.

— А ты Хэн объяснил?

— Она говорит, гоана — околодомный принц.— Дэн все еще хныкал.

— Так,— бабушка улыбнулась,— по правде говоря, не нужна тебе гоана для коллекции. Ты ее просто так решил убить.

— Ага,— согласился Дэн.

— Отдали б вы, миссис Спенсер, Хэн в школу. Там ее уму-разуму научат,— с важным видом посоветовала миссис Джеймсон,— а то дикарка дикаркой, даже играть-то не умеет с детьми из приличных семей.

Миссис Джеймсон с Дэном спустились с крыльца и по песчаной тропинке пошли к калитке. Вот она щелкнула и закрылась за ними. И тут же поднялся страшный крик.

Тележка с тыквой, брошенная Дэном на дороге, съехала чуть вниз и опрокинулась. Тыква разбилась вдребезги.

— Это все она! Мне назло! За то, что я сказал! — вопил Дэн.— Ой, что будет, когда папа узнает! Ой, что будет!

Он громко и протяжно завыл.

— Жаль, что это не я,— с сожалением прошептала Хэн и обернулась — далеко ли ушла корова?

Миссис Джеймсон пошла домой, а Дэн стал собирать остатки тыквы на тележку. Недавно это была самая большая тыква в округе, а теперь — корки и красновато-желтое месиво. Отец Дэна — заядлый огородник — очень гордился этой тыквой. Дэну было поручено отвезти ее взвесить. Да, не поздоровится ему, когда мистер Джеймсон узнает, это уж точно. Хэн взобралась на самую высокую иву и победоносно прокричала:

Дэн, Дэн, дуралей,
Ходит злой, как сто чертей!

А Дэн катил домой тележку с остатками тыквы и плакал: ни за что ее не простит!

Глава шестая

Все же Хэн отдали в школу. Разве бабушка Сараги могла смириться с тем, что ее маленькая внучка даже играть не умеет с детьми из приличных семей?!

Поначалу Хэн и не возражала, все равно когда-нибудь придется учиться, даже интересно.

На семейном совете решили, что Хэн пойдет в смешанную — для мальчиков и девочек — школу мисс Мартин на Нижней Дороге.

Класс помещался прямо у нее дома, в большой комнате с окнами на реку. Детям разрешалось играть в запущенном саду, только чтобы они не лазали по деревьям, не топтали клубничные грядки, не рвали цветы. Однако ребята с превеликим удовольствием и лазали, и топтали, и рвали.

Никто никогда не интересовался, на каком основании мисс Мартин занимается обучением детей. Все отлично знали ее: любезная, уже в годах женщина, живет с матерью-вдовой только на свой заработок. Поэтому все добродетельные обитатели Холма отправляли детей к ней в школу. Другой школы они себе не представляли, а те, которые не очень-то верили в педагогические способности мисс Мартин, все равно отдавали туда детей, «чтобы не вертелись целый день под ногами да не озорничали», как они обычно оправдывали свое решение.

В то утро, когда Хэн впервые переступила порог большой, неуютной и неприбранной классной комнаты, она вела себя очень смирно. Бабушка пришла вместе с ней, чтобы, как она объяснила, «представить» внучку мисс Элизабет Мартин, хотя Хэн видела ее едва ли не чаще, чем бабушку.

Дорогой бабушка Сараги назидательно рассказывала, как сама в первый раз пришла в школу, как примерно вела себя в тот день.

Мысль о школе целиком захватила Хэн. Будто интересная сказка. Хэн робко оглядела себя: новое шерстяное платье с кружевным воротничком, новый фартук, расшитый самой Розамунд Мэри,— какая-то она стала опрятная, чужая, не похожая на себя.

В коричневом кожаном портфеле уже дожидались своего часа «История Англии», тетрадь, псалтырь, два карандаша в ярком пенале, грифельная доска с грифелем.

Она старшая, а старших всегда первыми в школу посылают, думала Хэн. У калитки братья провожали ее завистливыми взглядами. Джерри, виляя хвостом, увязался было следом, как же в школу без него? Но бабушка наотрез отказалась взять его, даже проводить до школы не разрешила. Братья с трудом удержали пса — он отчаянно лаял и вырывался.

Какая ж она, эта школа, думала Хэн, переступая порог класса и с любопытством оглядываясь. За узкими партами и низкими столиками сидело человек двадцать, девочки и мальчики разного возраста, старшим лет по тринадцать, они сидели за столиками, младшие — за партами. На подставке в углу стояла большая квадратная доска, черная, с белыми надписями. На стенах развешаны пожелтевшие от времени карты. В ближнем к двери углу стоял маленький мальчишка, на шее у него висело ожерелье из ниточных катушек. Мальчишка все время вертелся и, когда мисс Мартин отворачивалась, строил гримасы. Это — неслух, объяснила она, стоит в углу в наказание, а катушечное ожерелье — знак позора.

Все вокруг занимало Хэн, все было в новинку. Как-то школа примет ее? Утро тянулось бесконечно. Интересно, что сейчас Тедди и Том делают? Небось завидуют ей страшно. А может, и думать забыли? Не понять им еще, какое это важное событие — первый раз в школу пойти. Наверное, лихо скачут на палках, что вчера на Лысой горе подобрали, там Сэм дерево свалил.

Чтобы подготовиться к школе, по утрам Хэн занималась с бабушкой чтением и письмом. Но цифры, эти непонятные цифры, которые нужно было зачем-то складывать и вычитать, чертиками прыгали по грифельной доске и никак не давались Хэн. Хуже всего, когда они собирались вместе, получались большие числа, вот и все, что усвоила Хэн. Она составляла цифры парами, тройками, целыми отрядами, армиями, но единого целого не получалось. Цифры шагали вразнобой. Как найти в них смысл? Хэн не знала и приходила в полное отчаяние.

— Когда учительница пишет на доске примеры, а в учебнике их нету, мне их решает Джек. А я потом всем девочкам передаю,— поделилась с ней Минни,— конечно, экзамен только он и сдаст, но мне-то что! Ведь без обеда не оставят, если экзамен не сдашь.

— Минни Симпсон! Пятьдесят строк! — крикнула мисс Мартин, она стояла около малышей, и те по ветхим зеленым букварям читали по складам.

— У-у, ведьма! — прошептала Минни.— Сиди теперь после уроков, пиши.

— Получишь еще пятьдесят, если не закроешь рот! — грозно предупредила мисс Мартин.— Ханна Фрэнсис, наверное, еще не знает, что на занятиях разговаривать не разрешается. Болтуны остаются без обеда и после уроков занимаются чистописанием и арифметикой.

Словно бездонная пропасть разверзлась перед Хэн. Неделями, месяцами сидеть, точно воды в рот набрав, писать в строчку, решать примеры!

Но мисс Мартин оказалась грозной лишь на словах. Разве уследишь за двумя десятками разных по возрасту ребят, да и подготовлены они неодинаково. Пока она занималась одними, другим давалось

задание по арифметике или разрешалось делать домашнюю работу. Но ученики себя особо не переутруждали, играли в «крестики и нолики», в «окончания», сосали леденцы, ириски, грызли яблоки, айву.

Точно пчелиный рой гудел в классе. Дисциплину мисс Мартин поддерживать не умела, а знаниями, которых у самой-то было не так много, оделяла учеников скупо, и нрав у нее, как нетрудно догадаться, оказался отнюдь не добрый.

Так проходили дни, недели. Разве усидишь столько часов за партой? Хэн тянуло на волю, на солнце, хотелось побегать по холмам, поиграть. Так тянет истомившегося от жажды к ручью. Но уроки тяжелой цепью приковали Хэн к мисс Мартин, и надежд на освобождение не было.

Хэн с жаром доказывала бабушке Сараги, отцу, Розамунд Мэри, что ходить в школу незачем, но убедить никого не могла. Она просила, умоляла, плакала, грозила, улещивала. Все вокруг вдруг стали черствыми и бессердечными. Раз решили, что Хэн надлежит ходить в школу — быть посему! Хэн проклинала свою участь, но все же подчинялась. Неделя шла за неделей. А потом...

Глава седьмая

Придорожные акации распушились нежным цветом. В то утро Хэн решила, что нужно жить не по законам взрослых, а по своим. То ли акации, сочувственно кивавшие на ветру, придали Хэн смелости, то ли сам ветер, прилетевший с холмов,— трудно сказать. Только дойдя до поворота, за которым дорога, лениво извиваясь, спускалась к школе, Хэн вдруг остановилась. В облаках золотистого пуха жужжали пчелы, далеко в лесу кричали попугаи. Вот над головой радугой мелькнули красно-сине-желтые крылья и исчезли в густой листве. Все вокруг пело, манило, нашептывало, звало за собой:

Пойдем, Хэн!
Скорей, Хэн!
Мы ждем, Хэн!

Книжки в ранце словно свинцом налились. Тропинка меж деревьев изогнулась, точно скрюченный палец гнома: ну, пойдем же! Хэн бросила ранец в пустой, трухлявый пенек и побежала по тропинке.

Забыть бы поскорее школу, примеры, запах грифельной доски, скрип грифеля, круглое толстое лицо мисс Мартин, ее выцветшие волосы, блеклые глаза. Но ведь накажут, посадят под замок в ясный, солнечный день. Прочь страх! Прочь обман! Деревья надежно спрячут ее.

Сегодня она свободна. Каждый шаг по холмам — радость. Будто видишь все в первый раз. Хэн побежала к Крутым Горам полюбоваться на пруд.

Холмы вокруг — это могилы великанов. Поднимаясь по склону, она зацепилась платьем за куст дикой малины, резко потянула на себя, не удержалась на ногах и покатилась вниз.

Со смехом поднялась — ее задержал большой валун. Раньше она бы испугалась, а сегодня это просто новая игра. Она посмотрела на валун. Вот сейчас выглянет крошечный старичок с веселым лицом и лукавыми глазами. Но огромный, замшелый от старости валун лишь подслеповато мигал черными и серебряными блестками на изломах.

Вверх по склону карабкалось стадо коз с резвыми козлятами. Косматый вожак с гнутыми рогами пристально посмотрел на Хэн, поравнявшись с ней. Ей почудилось, что он легонько боднул ее и подмигнул блестящим карим глазом, словно дразнил. Хэн чуть было не спросила

вслух: «Это ты меня толкнул?» Но козел как ни в чем ни бывало уже шел дальше, мирно пощипывая траву.

Хэн прокатилась по склону довольно далеко, знакомой тропы уже не было. Лишь следы коз среди камней. Хватаясь за траву, которая пучками росла по склону, Хэн полезла вверх. Из-под ног сыпались камни, падали с крутого обрыва в ущелье и цокали, ударяясь о дно.

Она присела на большой плоский валун и стала забавляться: подталкивала ногой камешки и смотрела, как все быстрее и быстрее они несутся к обрыву. Потом прислушивалась: если цокнет — значит, упал на землю, если раздастся всплеск — значит, в воду.

Над холмами носились вороны, то удаляясь, становясь черными точками, то приближаясь, тогда было видно каждое, блестевшее на солнце перышко. Все машут и машут не знающие устали крылья. «А почему я не умею летать?» — подумала Хэн. Она долго лежала на спине и не отрываясь смотрела в небо. Какое ж оно глубокое и далекое! Ей ужасно хотелось рассмотреть царствие небесное — сверкающие башни и шпили, улицы, вымощенные золотом. Но долго вглядываться трудно. Глаза сами собой опускались.

И тут Хэн увидела пещеру. Сперва только вал из камней, поросших папоротником. Здесь он редкий гость, чаще встречается в горах за рекой.

Хэн подбежала ближе. Папоротник высоко — не достать. Увлекшись, она сперва даже не обратила внимание, что это не просто вал, а целый каменный дом, отгороженный с трех сторон, чуть ниже еще один спрятался — не заметишь. Вот здорово здесь играть! Нужно привести братьев и Джерри. Так Хэн нашла пещеру. В полу зияла дыра. Хэн нагнулась: бездонная тьма, далеко внизу белеют чьи-то кости.

Вдруг земля под ногами заколыхалась. Может, померещилось? Но она в ужасе, дрожа всем телом, уже бежала прочь. Ноги сами несли домой, но ведь ей сейчас положено быть в школе. Она повернулась, побежала в лес, разыскала Сэма и тут же выпалила, что нашла пещеру.

— Может, туземцы там умерших хоронили,— предположил он,— или еще слух шел, сбежали из порта двое каторжан, скрылись, в холмах у них логово было. Вот ты на это «историческое место» и набрела.

Он пошел вместе с ней. Но Хэн никак не могла отыскать пещеру. Коз на прежнем месте не было. Несколько часов бродили они с Сэмом меж валунов, но нигде не было видно ни плоского камня, ни вала, поросшего папоротником.

На следующий день Хэн пошла в школу. Но запах холмов не отпускал. Он щекотал в носу, першил в горле. И мысли были все о пещере... Низко-низко наклонившись над отверстием, видит она огромный подземный зал, а на черном полу белеют кости...

И, дойдя до поворота, вместо того чтобы спуститься к школе, Хэн побежала вверх. Так случилось и на следующий день, и через день, и через два. В поисках пещеры она облазила все Крутые Горы. Но пещера бесследно исчезла. Хэн одолели сомнения: может, ей приснилось?

Как-то утром она вдруг увидела, что на нее смотрит старый козел-вожак. Курчавая, черная с проседью шерсть, в завитках застряли колючки, репьи. И все тот же насмешливый взгляд блестящих карих глаз. Казалось, он узнал ее. По глазам видно. У диких зверей они особенно выразительные. Он признал в ней родственную вольную и непокорную душу, и она поняла его.

Память вдруг прояснилась. Хэн огляделась: вон наверху заросли дикой малины, ниже — одинокий валун и примятая трава, сюда она и скатилась в тот день. Где вприпрыжку, где цепляясь за кусты, она

забралась наверх. Вот и плоский камень, папоротник, вал, только сейчас он кажется ниже, чем в первый раз.

Удивительно, снизу этот вал и не разглядеть, другие камни мешают. Нужно запомнить, где подниматься, какое небо над головой, какие деревья кругом, как идти назад.

Больших деревьев на склоне мало, в основном кусты: дикая белая сирень, колючий малинник, папоротник да пучки тонкой, как волосы, травы. Изредка попадется пахучая дикая герань, обычно она растет в самых труднодоступных местах. Летом распускаются нежно-розовые цветы на высоких ножках, и стоит крепкий, напоминающий мускусный аромат.

Хэн очень обрадовалась, что нашла пещеру. Да и герань там вдобавок цветет. Она бросилась разыскивать Сэма.

Но дома его не было. Хэн прислушалась — может, где стучит его топор. Но кругом — тишина. Она в нетерпении прождала почти до вечера. И лишь когда домашний колокол позвал к ужину, пошла прочь.

Назавтра была суббота. Когда Хэн рассказала Сэму, что все-таки отыскала пещеру, он отложил топор и пошел за ней. И снова они проплутали без толку. Сэм взялся за работу и сказал с улыбкой:

— Ты, поди, как спать ложишься, так сразу пещеру и находишь.

Хэн обиделась и пошла искать одна. Устала, присела отдохнуть. Трава упругая, блестящая, золотом отливает, словно осенью. Намаялась Хэн и не заметила, как сморили ее запахи травы и земли. Очнулась она оттого, что на нее смотрел козел-вожак. Наверное, я еще сплю, подумала Хэн и протерла глаза. Козел стоял на гребне холма, и силуэт его четко вырисовывался на фоне неба. В недобрых блестящих глазах прежнее выражение: «Ага, снова пришла! Интересно, что будешь делать? А вот на траве напрасно спала. Не хуже меня знаешь, что кругом змеи, гоаны, упыри, а то вдруг орел с вышины камнем упадет да глаза выклюет».

Очень выразительно он смотрел, Хэн невольно спросила вслух:

— Где моя пещера?

Козел, очевидно, понял, потому что не успела Хэн встать, как он пошел по тропинке, протоптанной его родичами. Хэн — следом. Вот и дикий малинник, листья уже тронуты желтизной, примятая трава, вал из камней.

Хэн снова нашла пещеру; на этот раз, поднимаясь, она оставляла отметины — кусочки похожей на пергамент коры, а там, где тропка сбегала с холма, воткнула длинную палку.

Сколько раз потом приходила она в свою крепость, сколько раз заглядывала в таинственную черную дыру. Но Сэму так ничего и не рассказала, пусть не смеется. Она водила к пещере братьев и Джерри. В школе, чтобы поразить Минни и Джека, она похвасталась:

— А я знаю пещеру в холмах!

Глава восьмая

— Уж очень ваша девочка болезненная,— услышала Хэн слова мисс Уитлер.

У бабушки Сараги в тот день собрались званые гости, к Розамунд Мэри званые гости не ходили, хотя сама она иной раз появлялась на бабушкиных обедах. Бабушка надевала выходное шелковое платье, кружевную накидку с большой топазовой брошью в оправе старого золота, голову она тоже повязывала полоской кружев — получалось что-то вроде чепца. Она выходила к гостям — кумушкам с Холма, и начиналась беседа.

Мисс Уитлер заговорила с Розамунд Мэри. А Хэн все слышала, она пряталась под окном гостиной в кустах жасмина от братьев, а те искали ее по всему саду.

Увидев мисс Примми Уитлер, Розамунд Мэри шепнула бабушке, что та воспользовалась приглашением, чтобы проверить, все ли в порядке в доме. Мисс Уитлер была моложе бабушки, высокая, худая, вся какая-то иссохшая. Темно-карие глаза смотрят остро, беспокойно, как у птицы. Она всегда ходила в поношенных темных платьях со множеством рюшей, оборок, меры она им не знала. Шляпы самых допотопных фасонов, хотя украшения—булавки или искусственные цветы — менялись каждое рождество, пасху, к чьей-нибудь свадьбе или другому знаменательному событию. Руки в сморщенных и пожелтевших от времени засаленных лайковых перчатках были похожи на цепкие клешни. На Холме она слыла рачительной хозяйкой и очень гордилась своей репутацией. Вот такой она была, мисс Примми.

...Бабушка Сараги удивилась:

— Хэн? Болезненная? Что-то я вас не понимаю.

— Никогда она ни на что не жаловалась, по-моему, даже голова у нее ни разу не болела.— Розамунд Мэри не понимала, как такая мысль могла прийти кому-то в голову.

— А вот Элизабет Мартин говорит, она почти целую неделю в школу не ходила из-за головной боли.

— Ах, вот оно что! — шутливого добродушия в голосе бабушки как не бывало.— Кажется, я понимаю, в чем дело.

— Порхает себе, точно пташка вольная,— вставила мать Дэна Джеймсона,— пора бы крылышки-то подрезать.

И крылышки подрезали. В субботу Хэн не велели вставать с постели, и она поняла, что это — расплата за те дни, когда она вместо школы гуляла в холмах. Теперь она поняла смысл фразы Сэма: «Игра не стоит свеч», а мисс Уитлер стала заклятым врагом.

Школа, общение с ребятами очень помогли Хэн в развитии. В ней проснулся неведомый доселе инстинкт.

Раньше она знала лишь то, ЗА ЧТО НАКАЗЫВАЮТ, и то, ЗА ЧТО НЕ НАКАЗЫВАЮТ. Хэн предпочитала первое, и ее наказывали — не очень, правда, строго,— это было естественным следствием почти всех ее поступков. Совесть ее не мучила, ведь она не знала, что хорошо, а что плохо. Она даже не знала, почему ей так нравится делать то, ЗА ЧТО НАКАЗЫВАЮТ. Просто все кругом так интересно, на каждом шагу — приключения, а в тебе словно чертик сидит и подзуживает.

Но, начав ходить в школу, Хэн мало-помалу стала понимать, что можно делать все, что вздумается, но избегать наказания. Не перечесть, на какие хитрости и уловки она пускалась! Кто бы мог подумать, что в этой веснушчатой девочке-мечтательнице с невинными глазами столько изощренной и тонкой хитрости.

Одно время Хэн считалась в семье вундеркиндом. Взрослые стали относиться к ней с повышенным интересом и скрытым уважением, Хэн тут же это почувствовала.

А началось все так. Как-то раз ее застали в кабинете отца, куда вход был всем строго-настрого запрещен. Она лежала на полу перед томом Шекспира. Зашла она, очевидно, с задней веранды.

— Папин кабинет для него святая святых,— когда-то говорила бабушка Сараги,— ему там хорошо думается и работается. И входить можно только с его разрешения.

Но что такое «святая святых» по сравнению с любопытством Хэн! И в один прекрасный день она повернула бронзовую ручку двери. Веранда была залита солнцем, и бронзовая ручка тоже горела, словно маленькое светило. Она-то и привлекла внимание Хэн. Схватившись,

чуть не обожгла руку, но не отдернула: вдруг в запретной комнате живут джинны или какие-нибудь привидения.

Войдя в комнату, она закрыла за собой дверь и огляделась. Какие новые приключения ждут ее здесь? Поначалу от волнения она ничего не могла рассмотреть, глаза словно туманом заволокло. Комната не торопилась раскрывать свои тайны. Но вот туман рассеялся — чуда не случилось. Перед ней была обычная комната, разве что крыша, как и на веранде, была из рифленого железа, да повсюду книжные полки, уставленные книгами.

За окном напротив двери виднелась сосна, посаженная еще отцом мисс Уитлер, за ней — лужайка, сбегавшая с холма. Мисс Уитлер говорила, что ее отец много путешествовал. В открытое окно заглядывала ветка груши, вся в цвету, наполняя комнату ароматом.

В комнате было полно пчел. Они жужжали среди книг, на столе, под окном. Там лежали какие-то бумаги. У стола — большое кресло с круглым сиденьем и подлокотниками на столбиках, точно полукруглый забор. Над столом висела единственная картина — фотографический портрет Розамунд Мэри в молодости. Она улыбалась сидящему за столом и каждому, кто переступал порог.

Хэн, как и пчелы, всегда появлялась в кабинете внезапно и бесцеремонно. Рылась в книгах и уходила. Но как-то раз она увидела на столе огромный том в кожаном переплете — точь-в-точь семейная Библия,— и золотыми буквами было вырезано: «Пьесы Вильяма Шекспира». Попадались и картинки, Хэн даже пыталась разобрать мелкие надписи под ними.

С тех пор, каждый раз забираясь в комнату, она с превеликим трудом стаскивала с полки тяжелый том прямо на пол и, растянувшись подле него, смотрела картинки. Часто она не понимала их смысла и сочиняла к каждой свою собственную историю. Однажды она так увлеклась, что не услышала, как открылась дверь.

Увидев на пороге отца, Розамунд Мэри и бабушку, она поняла, что ее злодеяние раскрыто. Но взрослые были скорее приятно удивлены, чем рассержены. Питер Бэрри светился радостью, бабушка улыбалась, Розамунд Мэри смотрела с трепетным изумлением.

Хэн виновато потупилась, но отец неожиданно взял ее на руки и поцеловал. Почему у всех такое приподнятое и торжественное настроение, Хэн не понимала. Она ждала, что ее станут бранить, но Питер Бэрри, даже заметив, что переплет помят — тяжелая книга порой вырывалась из рук,— лишь весело спросил:

— Трудно было доставать, а?

Хэн только тряхнула головой — ну уж сейчас-то бури не миновать, но отец неожиданно рассмеялся.

— Знаешь, дорогая,— обратился он к Розамунд Мэри,— пройдет время, и мы будем гордиться нашей егозой. Гениальные дети всегда что-нибудь вытворяют. Подожди, вот станет она знаменитой, тебя попросят рассказать о ее детстве, а ты скажешь: «Необычайный ум пробудился у нее очень рано. В девять лет уже читала Шекспира. Правда, родителям порой бывало с ней нелегко».

А, вон оно что, сказала про себя Хэн, они думают, что я читала книгу. Ну и пусть думают.

Отец, мать и бабушка не могли нарадоваться, глядя, как Хэн листает «Пьесы Вильяма Шекспира», растянувшись прямо на полу. Поэтому Хэн всегда просила именно эту книгу, шевелила губами, будто читает, а все вокруг умиленно вздыхали. На самом деле она только рассматривала картинки и придумывала каждой свое объяснение.

Но когда она, подражая капитану Флуэлену, стала называть братьев «подлым хамским отродьем», бабушка Сараги засомневалась:

— Может, ей еще все-таки рано читать Шекспира?

Но Питер Бэрри убедил ее, что общение с Великим принесет одно Добро. А Розамунд Мэри окончательно развеяла бабушкины опасения:

— Мама, ведь у ребенка такая чистая душа, Хэн неведомо зло. Вот станет постарше, тогда и из книг дурного может набраться.

Но когда Хэн променяла Шекспира на «Словарь античных авторов» без единой картинки, не выдержал сам Питер Бэрри:

— Боже мой! Тебе еще рано читать такие книги!

И он положил книгу на самую верхнюю полку, откуда, по его разумению, Хэн было ее не достать.

Но любопытство взяло верх, почему это «Словарь античных авторов» ей читать рано? Граблями стащив книгу с полки, она просмотрела ее от корки до корки, но так и не поняла, почему ей «рано читать такие книги». Но обиду затаила надолго и, назло домашней цензуре, больше не прикасалась ни к пьесам Вильяма Шекспира, ни к другим книгам.

Глава девятая

Хэн была уверена, что таких малышей, как Тедди и Том, больше нигде нет.

Тедди лишь на год моложе, поэтому Хэн почти всегда было с кем играть, не пришлось долго ждать, пока он вырастет. Пухлый, веселый мальчуган, переваливаясь, бегал по дому, отец прозвал его медвежонком. А смеялся он всегда так, будто его щекотали. Покажи ему палец, а он уже заливается, держась за живот, согнувшись в три погибели.

Когда Хэн пошла в школу, Тедди еще донашивал заштопанные и заплатанные матросские костюмчики, но был у него и выходной костюм: голубые брюки из сержа, куртка с белым крахмальным воротником, который пристегивался к рубашке и туго охватывал шею. Как Тедди ненавидел этот воротничок!

Как-то раз Розамунд Мэри, отчаявшись застегнуть его — Тедди особенно упирался и брыкался,— не вытерпела:

— Ну и неслух же ты!

Сердитый голос оказался сильнее упрямства, и Тедди покорно подставил шею, хотя терпеть не мог, когда на горло что-то давило.

— Мама, может, я вовсе не твой сынок, а чужой? — вдруг задумчиво спросил он. Розамунд Мэри обняла его: бедный мальчик, как огорчило его вдруг вспыхнувшее сомнение.

— Ну что ты! — успокоила она его.— Конечно же ты мой, и только мой, хоть порой и упрямишься, не даешь воротничок застегнуть.

Она прижала его к груди, поцеловала, погладила по голове, Тедди успокоился и убежал. И подобные сцены Хэн видела не раз. Бабушка говорила, что Тедди для Розамунд Мэри — «свет в окошке». Хэн не понимала, зачем Розамунд Мэри свет, да еще в окошке, и как это Тедди может светить. Впрочем, в душе она чувствовала, что Розамунд Мэри крепко любит сына, а он — ее. И удивлялась, почему сама не любит мать так же.

Тедди и внешне очень походил на Розамунд Мэри: серо-зеленые глаза, темные волосы, кожа розовая, чистая, не то что у Хэн — вся в веснушках. А на одной щеке — ямочка.

Том уродился еще розовее, еще пухлее, и ямочек у него было две, по одной на каждой щеке. Волосы отливали медью, цветом точь-в-точь новенькая монетка. Глаза карие, блестящие, один слегка косил, и Том очень гордился этим, говорил, что он «кругом видит».

Его вечно просили показать, как это он «кругом видит», и вскоре он уже носил очки, как бабушка Сараги. Долгое время он рос неулыбой и врединой: вцепится Хэн или Тедди в волосы и не отпускает, пока те пощады не попросят. А потом научился смеяться как Тедди, взахлеб, да так заразительно, что смешил всех. Рос он очень долго. Прошла вечность, прежде чем он начал семенить следом за старшими на своих толстых, непослушных ножках. То и дело падал и вскрикивал «Оп-ля!» как ни в чем ни бывало.

Тедди никак не мог дождаться, когда же с брата, наконец, снимут платьица, слюнявчики, бархатные пальтишки и тот сможет бегать наравне с ним. Конечно, за Хэн им не угнаться, но ничего, вот они подрастут, тоже пойдут в школу, тогда...

Том рос защитником семьи. Если кто спорил с Хэн или Тедди или ругал их, он налетал на обидчика, кто бы то ни был, и молотил маленькими толстыми кулачками что было мочи.

Когда Хэн исполнилось девять лет, ей выделили отдельную комнату, а братья (Тедди было восемь, а Тому шесть лет) остались в старой. Хэн была несказанно рада собственной комнате. На окнах — зеленые ставни, запиравшиеся на ночь на железный крючок, утром одно удовольствие их отпирать и распахивать настежь. С одной стороны у стены на шпалере рос абрикос, с другой — чайная роза, пахла она почему-то касторкой. Хэн всех водила нюхать ее, чтобы убедились сами. Другие розы в саду интересовали ее куда меньше, кроме, пожалуй, розы Филберта, бутоны на ней походили на орехи.

Но чайная персидская роза все же оставалась загадкой. Может, и она заколдованная, думала Хэн. Иначе откуда у нее такой запах, не похожий на запах роз, что росли у калитки. Наверное, она за что-нибудь наказана либо ее околдовал злой волшебник.

Пока Хэн не отправили в школу, она была неразлучна с братьями. Они вместе играли, носились по холмам, вместе озорничали, вместе их и наказывали, заставляя целыми днями лежать в постелях, вместе они собирались за столом, их даже купали вместе.

Самое обидное было то, что когда Хэн пошла в школу, то очень скоро выяснила, что и без нее они находят себе занятия, даже те, ЗА ЧТО НАКАЗЫВАЮТ. Например, случай с зеленым горошком.

Питер был заядлым огородником, мог часами полоть грядки, среди ночи со свечой пойти проверять, не наползли ли улитки. Посадил он зеленый горошек. Вытянулись длинные стебли с крошечными острыми листьями, появились белые цветы, каждый словно маленький детский чепчик. Хэн с братьями все подмечали. Осыпались чепчики, на их месте оказались длинные толстые стручки.

Не кто иной, как Дэн Джеймсон, сказал им, что горох вкусный, вот и нарвали, не скупясь, стручков, да так незрелый горох и съели. А Питер прямо молился на этот горох, месяцами счищал с него слизняков. И вот в один прекрасный день он пообещал Джесси принести на обед корзину молодого гороха и, гордо подняв голову, пошел собирать. Но стручков почти не осталось, лишь шелуха на земле напоминала о ребячьем пиршестве.

Питер собрал пустые стручки, положил их на блюдо и оставил на обеденном столе, и когда его спрашивали зачем, он объяснял:

— У моих жадных сыновей терпения не хватило подождать, пока горошек, который я вырастил, приготовят, они пошли в огород и весь съели, а на обед только пустые стручки и достались.

Хэн знала, что на этот раз ее ругать не будут, хотя радости это не приносило. Еще ни разу братья не попадали в беду без нее, а теперь их накажут, а ее — нет. И от этого на душе становилось совсем пако-

стно. Она не рвала стручки вместе со всеми, не «провинилась», но лучше бы совершила какой-нибудь самый страшный проступок.

Когда несведущие люди спрашивали за столом о стручках, мальчики краснели и опускали глаза, а Хэн хотелось крикнуть:

— Я тоже рвала!

Как стыдно и некрасиво, что она не вместе с ними, но совсем плохо стало, когда у Тедди и Тома появились свои мальчишечьи дела, недоступные Хэн. Они приносили Джесси щепу и хворост и каждое утро с удовольствием помогали ей топить плиту.

Когда Тедди исполнилось восемь лет и он стал совсем взрослым, Питер подарил ему топорик — рубить сучья.

А Хэн в жизни никто топорика не дарил. Почему, спросила она Питера; он ответил, что она же не мальчик. Мальчиком быть куда лучше, решила Хэн. Ведь тогда дарят топорик.

Но Тедди не только сучья рубил. Он очень гордился и тем, что у него есть топор, и тем, что он мальчик. Как-то взялся разрубить бревно вдвое толще себя и каждое утро рубил и рубил. Когда его труды заметил Питер, то сказал:

— Уж больно за трудную работу ты взялся, сынок. Тут и взрослому мудрено справиться.

Тедди внимательно осмотрел бревно, лицо стало серьезным и уверенным, как всегда, когда он что-нибудь задумывал.

— Буду каждый день рубить, вот и справлюсь,— ответил он и вновь принялся за работу.

Несколько месяцев рубил он бревно, и лицо у него каждый день бывало таким же серьезным и уверенным. Хэн не раз замечала, как у дверей кухни собирались папа, мама и бабушка и наблюдали за ним. Улыбались, перешептывались. Постояв немного, расходились. Тедди был слишком увлечен и не замечал их. Старался он вовсю.

Когда же наконец разрубил бревно пополам, то не стал бегать и хвастаться, а вот Хэн, пожалуй, стала бы. Бабушка Сараги и Розамунд Мэри радовались больше, чем он сам. Тедди же считал, что иначе и быть не могло, раз задумал.

По натуре он был таким же неуемным, как и Хэн. Любил носиться по холмам, смеяться, кричать, слушая, как голос разносится высоко над деревьями. Он бегал наперегонки с Джерри, дразнил Джоша, таскал яблоки, но когда брался за что-нибудь важное, лицо сразу становилось серьезным и уверенным.

Пока Хэн не отдали в школу, их троица была неразлучной. А потом братья стали играть одни, без Хэн. Тедди научил Тома пользоваться топором, и тот первым делом прорубил дыру в большом баке для дождевой воды, и мальчиков едва не затопило. Тедди, конечно, взял вину на себя, хотя Хэн знала, что он ни при чем, да к тому же всем было ясно, что он уже большой и такого не сделает.

Крепко дружили Тедди с Томом. Питер и Розамунд Мэри верили в самовоспитание детей, хотя Питер и ставил два непременных условия: говорить только правду и беспрекословно слушаться. Хэн, Тедди и Том их отлично знали.

Как-то вечером Питер сказал:

— Том, сбегай-ка к мистеру Джеймсону, попроси зайти ко мне сегодня.

Том медленно вышел — видно, просьба пришлась не по душе. Появилась Розамунд Мэри и спросила, где мальчики.

— Я послал Тома с поручением к Джеймсонам,— ответил Питер,— мальчонка боится темноты, это никуда не годится.

— Ой, так у него ж большущая заноза в пятке. Послал бы Тедди.

О занозе Питер, конечно, ничего не знал и страшно расстроился.

Когда Том вернулся, Питер спросил:

— Что ж ты не сказал, глупыш, что нога болит? Если бы я знал, не послал бы.

— Да ничего страшного, папа,— ответил за брата Тедди.

— Так ты вместо Тома ходил? — удивился отец. Тедди затряс головой.

— Ты же велел Тому,— ответил он,— а я только тащил его на спине.

Глава десятая

Мисс Уитлер не упускала случая прийти и проверить, обрезаны ли сухие ветви, обвязаны ли яблони, чтобы не завелись гусеницы-плодожорки, точнее, чтобы самки плодожорок отложили там яйца, из которых впоследствии появляется новое поколение, а повязки в этот момент снимают и сжигают.

В конце зимы она пришла с огромными садовыми ножницами — подрезать крыжовник. Хэн часто помогала ей собирать колючие золотистые и густо-красные ягоды, чистила их, выбирала красную смородину с маленьких зеленых кисточек, руки становились красными от сока — здорово! На свет ягоды были прозрачными, с крупинками семян — точно пузырьки воздуха в стекле.

После того как мисс Уитлер обрезала крыжовник, Хэн, как всегда, вызвалась помочь бабушке собрать ягоды. Но бабушка сказала, что колючек хоть отбавляй, а ягод не видно. Лишь несколько стыдливо спрятались в густой листве.

— Не понимаю, почему крыжовник не уродился, ведь мисс Уитлер его подрезала,— недоумевала Розамунд Мэри, когда узнала, что джема в этом году не будет.

— Заколдовала она его, что ли? — с досадой воскликнула бабушка Сараги.

От удивления Хэн даже слова не могла вымолвить. Вот это да! Спросить бы у бабушки, в чем колдовство мисс Уитлер, да язык не слушается, так ошеломили Хэн бабушкины слова.

Ведь это мисс Уитлер нажаловалась, что Хэн вместо школы бегала по холмам, это мисс Уитлер — Хэн точно помнила — запретила ей и братьям лазать по деревьям, чтобы не ломать ветки. Это мисс Уитлер настояла, чтобы за непослушание их целый день держали в постели.

А тут бабушка вдруг говорит, что мисс Уитлер заколдовала крыжовник, значит, она злая ведьма, о которых Хэн в сказках слышала. И страшно и любопытно. Неужели среди ее пока немногочисленных знакомых есть настоящая ведьма?

Раз, когда она с братьями, Минни и Джек, набегавшись и наигравшись в прятки, сели отдохнуть на склоне, она не утерпела:

— А что я знаю! А что я знаю!

Солнце еще не зашло, но в чаще уже притаился ночной мрак, по холмам поползли длинные тени.

— У нас ведьма живет! — выпалила она, глаза сделались круглыми, как у совы.

Тедди и Том так рты и открыли. Минни и Джек тоже притихли. Хэн, кажется, не шутит. Не стоит забывать, что хотя Джек Эндрюс и решал сложные примеры на умножение, ему было лишь десять лет.

— Ведьм не бывает, они только в девчачьих книжках да сказках!

— Еще как бывает! Раз я знаю! Бабушка сказала, что она заколдовала крыжовник, поэтому в этом году на нем ни ягодки.

Эти слова озадачили Джека.

— А кто это, Хэн, ну скажи уж,— попросила Минни.

— Мисс Примми Уитлер, вот кто!

— Не может быть!

Все так и ахнули.

— Кто знает? — даже Джек согласился, что вреднее мисс Уитлер не сыскать.

— И черная кошка у нее живет,— вспомнила Хэн,— у всех ведьм черные.

— И у нас,— робко вставила Минни.

— Но ведь не такая же, как у мисс Уитлер,— успокоила Хэн.— Ее кошка за ней по пятам ходит, даже в церковь. А еще любит ей об ноги тереться, хвост трубой и мурлычет. На других кошек шипит. А глазищи у нее... а глазищи... зеленые, вот!

Она остановилась и перевела дух.

— Мисс Уитлер тоже, наверное, в темноте видит. А руки у нее как клешни!

— Чушь все это! — заявил Джек.

Но ребята видели, что не такая уж это для него чушь.

— Не веришь, пойди посмотри, настоящая она ведьма, как в книжке.

И они понеслись в надвигающихся сумерках по выщипанному лугу вниз по склону, где темнел сад мисс Уитлер.

Вечер выдался тихий, мглистый. Жара еще не спала. Джек и Хэн с трудом перелезли через забор, следом — остальные. Скрипнула доска под ногой Минни, незваные гости замерли — вдруг мисс Уитлер услышит. Но кругом — тишина, они осторожно, ползком стали пробираться по узкой утоптанной тропинке, вокруг рос малинник, капуста, репа с нежными белыми и желтыми соцветьями. В углу сада на деревянном сите были посажены турецкие бобы, цветы у них — точно огненные пчелки.

Сюда-то они и приползли, поминутно оглядываясь на дом, видневшийся из-за кустов. Хорошо ухоженный квадратный двор. Ни листочка, ни соринки. У стены — большая метла, рядом аккуратными горками сложены пиленые и колотые дрова. Тут же чинно стояли мусорные ведра. Вьюнок, забравшийся на стену над дверью, рос словно по линейке, а маленькие треугольные листья располагались с математической точностью на равном расстоянии друг от друга.

Крыльцо, сложенное из красного кирпича, было застелено ковриком. Не вытрешь ноги — не попадешь на кухню мисс Уитлер. Дверь во двор была открыта. В комнате горел камин, на стенах играли отблески пламени. Прячась за вьющейся на шестах фасолью, дети подобрались к самой двери. Совсем стемнело, однако мисс Уитлер лампу не зажигала. Она стояла у очага и помешивала что-то на огромной закопченной сковороде.

— Варенье варит,— прошептала Минни.

— Скажешь тоже, варенье! — фыркнула Хэн.

— А что ж, по-твоему? — спросил Джек.

— Почем я знаю? — так же шепотом ответила Хэн.— Ведьмы всегда колдовское зелье варят. Пошепчут, поплюют, помешают. А людям потом беды всякие. А вон...

Но тут какое-то вредное ночное насекомое, ползущее своей дорогой через кусты, вдруг наткнулось на маленький мальчишечий кулачок и больно кусануло его. Том завопил от ужаса.

Разбираться, что к чему, было некогда. Сад мисс Уитлер был окружен живой изгородью, и единственным выходом с чужой, да к тому же заколдованной, земли оказалась калитка, белевшая в темноте. К ней-то со всех ног и припустили ребята. За ней — свобода, дорога, по которой дозволено ходить всякому. Мисс Уитлер подбежала к две-

ри, но увидела лишь мелькавшие в темноте белые фартуки да серые штанишки.

Том на своих толстых, неуклюжих ножках несся впереди всех, последней бежала Минни.

— Все твоей бабушке расскажу, Том Бэрри, и твоим родителям, Минни Симпсон... Вот увидите,— грозила им вслед мисс Уитлер.

Хэн стрелой слетела с холма.

— Ведьма! Ведьма! — крикнула она, обернувшись, когда ребята добежали до развилки дорог.

— Так и скажу твоему отцу, Ханна Фрэнсис, и твоему, Джек Эндрюс, что вечером ко мне в сад за малиной лазали.

Глава одиннадцатая

Слово свое мисс Уитлер сдержала; Хэн не сомневалась, что сдержит.

На следующее утро она увидела, как мисс Уитлер вышла из дому одетая по-воскресному и под зонтиком, точно лил дождь. Руки ее спрятались в черные лайковые перчатки, вытертые, с залысинами, точно их поразила парша. Зонт она прихватила, очевидно как орудие возмездия.

Хэн с братьями решила спастись бегством, и целый день они пробыли в холмах с Сэмом. Сидели у костра, пили чай из закопченного котелка, ели лепешки с изюмом, он называл их «золушками», потому что пек в золе.

Когда он узнал, что Хэн, Тедди и Том пришли «в гости» на целый день, то лишь рассмеялся — и раньше такое случалось. Конечно, от наказаний их спасать ему еще не доводилось, ведь ребят могли на целый день уложить в постель. Он принес из дома банку малинового варенья, и все, устроившись прямо на траве рядом с поленницей, начали пировать: не скупясь, мазали лепешки вареньем, пили вдоволь чай без надоевшего молока, правда много им не выпить. Сэм отхлебывал из жестяной кружки и каждый раз восклицал:

— За наше здоровье! Чтоб вовек не стариться!

Потом закуривал трубку и заводил рассказ. Хэн слышала его истории и раньше, но с каждым разом они нравились ей все больше. Часто, рассказав о каком-нибудь приключении из своей жизни, он приговаривал:

— Я тогда еще лебеду на берегу сеял.

— А зачем тебе лебеда? — недоумевала Хэн.— У нас на холме растет рожь, а, например, внизу у реки, где живет бабушка Шарлотта-Елизавета, каждый год сеют пшеницу. А лебеду Джош как завидит, так выдирает с корнем.

Сэм смеялся так, что ему начали вторить холмы. Он сказал, что был беглым матросом, поваренком на камбузе, корабельным плотником, проповедником методистской церкви, солдатом в заморских краях, а вот землепашцем быть не доводилось.

— А лебеду на берегу мы все сеем, пока из детства не выйдем,— продолжал он.— Говорят, что посеешь, то и пожнешь, да только я не припомню, чтобы кто урожай лебеды собирал... Конечно, в поле лебеда — бурьян, одни хлопоты с ней. Но чаще растет она на почве еще нетронутой, будто говорит: смотри, мол, земля добрая, и полезное на ней посеять можно... Так что не спеши лебеду ругать...

Сэм отрезал от темного, словно из дерева, брусочка табаку, накрошил. Прочистил глиняную трубку, обожженную под цвет имбирного пряника. Смешал остатки старого табака с новым. Набил трубку, разровнял сверху большим пальцем. Чиркнул спичкой о подошву. Затя-

нулся, заслонив рукой слабый огонек. Лицо сразу окуталось дымом.

Хэн до мельчайших подробностей знала ритуал раскуривания трубки. За ним обычно следовали увлекательные истории. Хэн ревностно следила, не погасла ли трубка, как однажды зимой. Какое это наслаждение — сидеть рядом с Сэмом, а он дымит как паровоз и рассказывает, рассказывает...

— Вот ты живешь как сердце велит, так, конечно, больше шишек нахватаешь, зато разум скорее пробудится, а все твои шалости да грехи детские как сон уйдут. Это главное. А ведь сколько людей так и не проснулось; сердцу-то своему верить их не научили, мысли и чувства так и не распустились. Так и живут — ни радости, ни горя. А разве это жизнь?

— Как это: ни радости, ни горя? — Хэн ужасно хотелось понять, о чем говорит Сэм, но слова ускользали.

— Дай срок, проснешься и ты, и расцветет все хорошее, что в душе у тебя есть, тогда ты меня лучше поймешь.

— А почему... почему не сейчас? — прошептала Хэн.

Но Сэм уже рассказывал о даякских пиратах, о матросах с потерпевшего крушение корабля, об острове, который назвали Рубашечным, потому что вместо флага на дереве развевалась рубашка капитана Уильяма Кодрингтона Крофорда, ее заметили с проходившего мимо корабля и спасли Сэма, капитана и всю команду от голодной смерти и ножей даяков.

Курится трубка, стелется дым, обволакивает серебристые кроны и стволы эвкалиптов, а может, это легкий туман окутал деревья? У подножия холма сквозь шепот леса слышится звонкая скороговорка ручья. И больше ни звука, лишь стрекочут кузнечики да сверчки под высоким солнцем. И птички, как говаривала бабушка, «прикорнули» после обеда.

Но вот Сэм снова берется за работу, и стук топора будит лес. Встрепенулись и испуганно закричали птицы, но вскоре успокоились:

— Не бойтесь, это всего лишь старый Сэм лес валит.

Домой Хэн с братьями вернулись поздно, пора было спать. Постели разобраны, ждут.

Хэн возмутилась, когда ее обвинили в том, что она лазала к мисс Уитлер за малиной. Верно, и она, и братья, и Джек Эндрюс, и Минни играли в чужом саду — что было, то было. Сломали деревянное сито с фасолью. Мисс Уитлер требовала, чтобы детей наказали. И Хэн, Тедди и Тома на целый день уложили в постель. Мисс Уитлер просила, чтобы их и не кормили, но бабушка согласиться на такое никак не могла. Она принесла детям хлеба с молоком в маленьких китайских чашечках — их подарил капитан Крофорд на бабушкину свадьбу. Будто и не совершали ребята тягчайших проступков. Разве плохо пить молоко из тонкой чашки, рассматривать на ней рисунки: румяный человечек обмахивается веером и смотрит на птицу, любуется цветами, дамы в зеленых, голубых, красных и желтых платьях ведут изысканную беседу. Хэн смотрела и сочиняла разные истории.

Братья послушали и попросили сочинить что-нибудь и о рисунках на их чашках. И Хэн с радостью дала волю своему воображению. Потом пришла бабушка проведать перед сном своих «милых ягняток», поцеловала каждого, они обещали «всегда-всегда слушаться», она забрала свечи и ушла, хотя уходить ей совсем не хотелось.

Глава двенадцатая

Бабушка Сараги решила поговорить с Сэмом. Впрочем, даже самой себе она не хотела в этом признаться, а внучке сказала, что идет в

холмы за травами, которые, по словам мисс Уитлер, помогают от ревматизма. А у бабушки с возрастом появилась боль в суставах. Но, сорвав для отвода глаз несколько стебельков и выкопав пару корней, она, будто невзначай, спросила Хэн, где живет Сэм.

А когда они почти дошли до его лубяного домика, она вдруг попросила Хэн не ходить дальше, а ждать ее в лесу и собирать цветы. Бабушка Сараги хотела поговорить с Сэмом с глазу на глаз.

Сэм стоял на повозке рядом с поленницей и грузил дрова, а старая белая лошадь пощипывала листья с дерева. Сэм был в светлых молескиновых штанах и старой, застиранной рубашке, его костлявая фигура отчетливо выделялась на фоне темных деревьев.

Хэн смотрела, как он работает, и ей ужасно хотелось подойти и спросить, что это за дрова и куда он их повезет. Если бы не бабушка, залезла бы Хэн в повозку и Сэм ее прокатил.

А сейчас стой и смотри: вот он сухими, узловатыми, точно канаты, руками достает полено, бросает в повозку, и так споро все у него получается! Остановился, выпрямился, снял старую шляпу, вытер пот со лба, и Хэн увидела, что волосы у него совсем седые, по рыжеватой бороде ни за что не скажешь, да и работает он как молодой. Правда, походка стариковская, ходит волоча ноги, в тяжелых, неуклюжих сапогах парной кожи. Гвозди на подошвах сверкали серебряными звездочками, Хэн с них глаз не спускала, когда Сэм ставил ногу на бревно или растягивался во весь рост на траве. Все в Сэме удивительно, и эти гвозди-звездочки тоже. Сколько раз Хэн просила Розамунд Мэри купить ей такие же сапоги.

Сэм увидел бабушку Сараги и слез с повозки. Бабушка раскраснелась и никак не могла перевести дух. Сэм, сняв шапку, стоял рядом. Потом сходил в дом, принес стул — сам сделал из ветвей и ствола молодого деревца. Шляпу он так и не надел. Молча стоял около бабушки, смотрел на нее и улыбался, видно не знал, что сказать.

Еще бы! У бабушки такой вид — всякий себя не в своей тарелке почувствует. Сидит среди серебристых эвкалиптов в черном шелковом платье, величественно расправив длинный широкий подол, будто на обед к кому пришла. А сказала, что за травами идет.

— Мистер Сэм, я хотела бы попросить вас не потворствовать Хэн в ее... в ее... — Она запнулась.

Хэн, конечно, собирала цветы не там, где ее оставила бабушка — издалека разве что услышишь? — а в двух шагах от нее и Сэма: любопытно, зачем это бабушка пришла к нему.

Бабушка с укоризной посмотрела на Сэма, и их взгляды встретились. Он улыбнулся, но перевел взгляд на соседний, круто вздыбившийся холм, словно увидел что-то интересное. Ветер шевелил его седые пряди, все морщинки на лице — отметины времени и судьбы, казалось, разгладились.

— Так в чем же я ей потворствую? — мягко спросил он.

К бабушке Сараги вернулась решимость «серьезно поговорить» с Сэмом.

— Видите ли, мистер Сэм, Хэн — девочка незаурядная, с ней трудно. Порой не знаешь, что и делать. Очень уж она своевольна. И мы с ее матерью боимся, что вы это своеволие поощряете. Не нарочно, конечно... Она, например, прогуливает уроки и идет к вам. И еще... еще... вы рассказываете ей разные небылицы, но она же современная девочка. Придет домой, ошарашит какой-нибудь фразой, и на все — одно объяснение: «Так Сэм говорил».

Бабушка Сараги замолчала, но в глазах уже бегали веселые искорки, на губах играла улыбка. Сэм молчал, что он мог ответить? Бабушка заговорила вновь:

— К тому же, мистер Сэм, вы — неверующий, отношение к жизни у вас непонятное, все-то вам переделать хочется. Вы рассказывали Хэн о прежних порядках на острове; возможно, они и впрямь были далеки от совершенства, но согласитесь, слушать об избиении заключенных, о тяжкой судьбе аборигенов... Хэн еще рано.

Сэм промолчал и на этот раз, хотя Хэн показалось, что, оглядывая окрестные холмы, он собирается с мыслями. Бабушка чувствовала, что Сэма ранят ее слова, но, уверовав в свою правоту, не могла остановиться:

— Конечно, я понимаю, у нее еще и характер упрямый, непокорный, и ее прогулы — вина не только ваша. Не сомневаюсь, вы к ней очень привязаны. И она вас дома то и дело вспоминает и послушается вас скорее, чем даже меня. Поэтому-то я и...

— Ох, как вы ошибаетесь! Как вы ошибаетесь! — перебил ее Сэм.— Хэн вовсе не упрямая. Просто она еще не все понимает. И наказывать детей за такое «упрямство» — сущее варварство. В чем их вина? В том, что не ведут себя тихо и смирно, как маленькие старики и старушки. Но ведь они молодые, им не сидится, хочется бегать, смеяться... — Он перевел дыхание и продолжал: — Вот Хэн и делает то, что хочется, не мытьем, так катаньем своего добьется. И вовсе это не упрямство, а характер. Не может она иначе. Не побороть ей себя, а нам и подавно. Такая уж у нее натура. Хоть сто раз скажите ей, что можно, а что нельзя, все равно в голове это не отложится. По одним словам худа от добра не отличишь, до всего сами должны дойти, не сразу ж мы умными на свет появляемся. Тут вина не наша, а природы. Но дайте срок — Хэн во всем разберется! Вот увидите! А пока не ломайте вы ее, не делайте покорной овечкой, пусть растет непоседой, шалуньей. Из таких только и вырастают великие люди, повстанцы, герои, борцы. Потому что в детстве их душу никто не коверкал, росла она привольно, а настал час — и распустилась дивным цветом. А ваши покорные овечки бредут по жизни тихими тропками и всего страшатся: солнца ли, ветра ли, дождя. Всего страшатся. И хорошо, если хоть в старости душа их встрепенется, а то ведь так и сходят в могилу, души своей не раскрыв. И вместо цветка — либо бутон засохший, либо гниль какая.

Бабушка как зачарованная слушала Сэма, на лице — изумление и ужас.

— Горько думать мне, что я зло Хэн чиню. Хотя какое ж это зло! О жизни ей рассказываю, о несправедливости... Пусть сама задумается. А то нам уже с детства думать не дают.— Голос его зазвучал гневно: — Пичкают готовыми мыслями, точно это суп или хлеб. И собственные мысли к нам все реже приходят. Понял я это, так аж страшно стало. Всю жизнь за меня кто-то думал, решал. А до чего ж приятно самому, пусть хоть до пустяковины какой, дойти. Думать тоже нужно учиться сызмальства, думать так, чтобы всегда честным перед самим собой оставаться. Впрочем, вы, может, и не хотите, чтобы у Хэн свои мысли были.

Бабушка Сараги готова была уши заткнуть: неприлично слушать столь чудовищные обвинения.

— В конце концов привыкаешь, что за тебя думают, но уж у самого мозги не работают.

Бабушка Сараги решительно поднялась со стула — с нее хватит!

— Простите меня, бога ради,— в глазах Сэма было раскаяние,— лишнего я наговорил. Да только душа у меня болит за Хэн. Помочь хочется, сделать что в силах моих. Ведь вы все там,— он махнул в сторону вьющейся меж деревьев тропинки, по которой пришла бабушка,— ее совсем не понимаете, вот она ко мне и идет. Ей и нужно-то

всего ничего: чтобы ругали поменьше да рассказывали побольше,— словно оправдываясь, сказал он.— Разум у нее сейчас — что земля непаханая, одна лебеда растет. Знаете поговорку: «Сеять лебеду на берегу»,— вот пока Хэн ее и сеет; все, что ни делает, по-вашему, глупо и неразумно. А понять ее не хотите. Пока она бегает, прыгает, озорничает, но подождите немного, пробудится ее разум, тогда...

— Так вы обещаете, что не станете больше поощрять ее прогулы и непослушание? — не дала договорить ему бабушка Сараги. От волнения мысли у нее путались, подходящие слова разбегались.

— Господь с вами! — негодующе воскликнул Сэм.

Но бабушка Сараги, подобрав подол платья, уже осторожно спускалась с холма. Слова Сэма ошеломили ее, словно буря пронеслась и до основания потрясла ее взгляды, жизненные устои, напугала и лишила покоя. Нужно учиться думать сызмальства... Она прожила добрых восемьдесят лет, прожила спокойно и благополучно, хотя своих мыслей у нее никогда не было. Ей и в голову не приходило, что можно жить по-другому. С детства, когда она еще носила фартучки с голубыми бантами на плечах, она беспрекословно слушалась «дорогую мамочку» и осталась верна ее заветам на всю жизнь. Розамунд Мэри, в свою очередь, тоже почти все переняла у матери, а теперь вдруг выясняется, что Хэн наплевать на взгляды трех поколений, она, видите ли, не хочет, чтобы за нее думали!

Бабушка Сараги спустилась по ступенькам возле сливы в свой сад, вид у нее и впрямь был как после бури: волосы растрепались, парусиновые туфли запылились, к ним пристали травинки, она шла, высоко поднимая подол платья, так что виднелась нижняя юбка, в руках держала букетик лесных цветов и пучок трав, поэтому никто не спросил, где она была.

Вот уж не ожидала Хэн, что из-за нее такой разговор выйдет! И ей было ни капельки не стыдно, что она все слышала, хотя бабушка и оставила ее поодаль. В голове кружились, словно тополиный пух, отдельные фразы:

— ...нам с детства думать не дают...

— Разум у нее сейчас — что земля непаханая, одна лебеда растет...

— Ей-то и нужно всего ничего: чтобы ругали поменьше да рассказывали побольше...

— ...избиение заключенных... тяжкая судьба аборигенов... слушать ей еще рано.

Что бы все это значило и почему бабушку и Сэма так волнует ее дальнейшая жизнь, Хэн не понимала.

Глава тринадцатая

На следующее утро, чуть свет, тишину разорвали пронзительные крики. Хэн лежала в постели и слушала. Все ясно: мисс Уитлер сдержала слово, нажаловалась, и теперь Джека наказывают.

Отец обычно привязывал его к столу на заднем дворе и нещадно порол кожаным ремнем. Раз Хэн довелось увидеть самой. А сейчас она лежит в постели, каждый крик врезается в душу. Какая ж она трусиха — побежать бы сейчас к мистеру Эндрюсу, рассказать, что это она подговорила Джека полезть в сад. Но она лишь лежала и слушала.

Но скоро стало совсем невтерпеж, она вскочила и бросилась в комнату бабушки Сараги.

— Слышишь! — дрожа всем телом, крикнула она.— Слышишь! Джека бьют!

Бабушка прислушалась.

— Некоторые считают, что пороть детей иногда полезно,— сказала она, но в глазах мелькнула тревога.

— Сэм говорит — это жестоко! — в сердцах крикнула Хэн.— А еще жестоко — вешать человека за убийство. Будто два убийства лучше одного!

Бабушка Сараги только ахнула от ужаса. Слышать подобное из детских уст — из уст ее собственной внучки, ее Ханны Фрэнсис! Она стала торопливо одеваться: должно быть, еще не успев прийти в себя, надела корсаж наизнанку, но, опасаясь дурной приметы, переодевать не стала. Помолилась, хотя в ту минуту все мысли ее были об этом ужасном слове «убийство», которое произнесла ее внучка.

Вечером бабушка Сараги и Хэн пошли к мистеру Эндрюсу. Ни ветерка, по саду разлился аромат лаванды, меж лугов серебристой змейкой вьется речка.

Мистер Эндрюс любил свой сад. Он стоял на тропинке с трубкой в зубах и с отеческой гордостью любовался цветами. Наверное, думал о том, что на будущий год нужно посадить еще больше, вывести новые прекрасные сорта.

Завидев бабушку Сараги, он пошел навстречу, ничуть не удивившись, будто знал, зачем она пришла. Бабушка стояла, гордо подняв голову, стройная, изящная. Даже старое платье черного шелка притихло, не шуршало, разве можно мешать важному разговору? Какое красивое у бабушки лицо, обрамленное кружевами чепчика. Казалось, даже сам суровый хозяин вот-вот улыбнется ей. Он пригласил ее в дом, но она отказалась.

— Мистер Эндрюс, вы, очевидно, догадываетесь, по какому поводу я пришла.

— Догадываюсь,— кивнул он.

— Я столько раз просила вас...

— Я имею право наказывать своего ребенка так, как считаю нужным,— грубо перебил ее Джон Джеймс Эндрюс.

— Но этим правом нужно уметь пользоваться,— мягко возразила бабушка,— умоляю, не бейте так мальчика, мистер Эндрюс.

— Кабы меня в детстве больше лупили, я, глядишь, сейчас еще лучше был бы.

— Да вы и так неплохой человек,— в серых глазах бабушки появилась улыбка,— вам только помягче быть да научиться детей понимать, ими ведь не командовать нужно, а умело направлять. Джек не хуже...

— Не знаете вы его,— сразу помрачнел Джон Джеймс.

— Да не хуже других он,— продолжала бабушка,— может, озорной немного. Но ведь все здоровые дети такие... И это к лучшему, как мне теперь думается... зачем сдерживать детские порывы... ведь их шалости очень редко вредны и бессмысленны. Поговорите с ребенком, объясните, что к чему. Не беда, если он не все сразу поймет, порой и мы, взрослые, не понимаем...— Она вздохнула, подбирая нужные слова, Джон Джеймс Эндрюс внимательно слушал.— Не понимаем, если Всевышний не удосужится нам, простым смертным, все растолковать. Я все-таки считаю, что детей нельзя бить ни в коем случае. Мои дети не знали порки, сейчас выросли, и я на них не нарадуюсь. А ведь и Розамунд Мэри, и ее братья были точь-в-точь такими же озорниками, как Хэн, Тедди и Том. Они шалят и играют, без этого ж нельзя, козлята малые и те резвятся: прыгают, бодаются.— И указала на двух малышей, их мамы спокойно паслись при дороге.

— Я хочу, чтобы мой сын вырос человеком, а не козлом,— возразил мистер Эндрюс.

— Но животные своих детенышей не бьют. А вы унижаете ребенка и тем самым подрываете его уважение к вам! И признаете свое бессилие.

Мистер Эндрюс лишь повел головой:

— Ну и пусть! Наказывал и буду наказывать сына, как считаю нужным.

— Нет, не будете, Джон Джеймс Эндрюс! — сердито воскликнула бабушка Сараги, приподняла подол платья, собираясь уходить.— Если еще хоть раз руку на мальчика поднимете, я заявлю на вас в полицию. После вашего изуверства у него следы надолго остаются. Сама видела, когда утром перевязывала. У нас в стране жестокое обращение с детьми преследуется законом. И если я узнаю, что вы продолжаете пороть Джека, я посажу вас в тюрьму.

И она стала спускаться по тропинке, раздвигая благоухающие кусты бурачка, жимолости, герани. Белый чепчик словно парус плыл над цветами. Мистер Эндрюс был так ошарашен, что даже не открыл им калитку.

Почти стемнело, когда Хэн снова выбежала из дома — бабушка обронила где-то платок. Она с удивлением увидела, что мистер Эндрюс все еще стоит на прежнем месте.

Глава четырнадцатая

Когда поспевала малина и клубника, Хэн с братьями иногда ходили за ягодами прямо на ферму за холмами в пяти милях от дома. Дорога — обычная тележная колея — шла лесом.

Джесси укладывала в корзину толстые ломти хлеба с вареньем и бутылку молока. На прощание она строго-настрого наказывала идти с ягодами прямо домой, ни одной не съедать. Том лишь смеялся взахлеб, а Тедди говорил, как взрослый:

— Все будет в порядке, Джесси,— и твердым шагом шел к калитке.

А когда Джесси поворачивалась к Хэн, той уже не было рядом — перепрыгнув через забор, она мчалась по лугу вниз. А вслед ей неслось:

— Вы уж, мисс Хэн, братьев на озорство не подбивайте! Будьте умницей хоть разок! И поскорее оборачивайтесь! Да с этим супостатом Сэмом Уилсоном тары-бары не разводите! Ягод из корзины не ешьте — я все равно узнаю! Скажите Мэри Триггс, я забегу к ней в воскресенье, если к вашему отцу не съедутся на обед эти зануды-проповедники. Да не забудьте...

Долго еще кричала Джесси, хотя ребята были уже далеко и ничего не слышали. Невдалеке от дома Мэри Триггс протекал ручей, его нужно было переходить. А на берегу, где рос замшелый лептоспермум, вили гнезда птицы — как тут не свернуть с дороги. Пробегая по галечному дну от валуна к валуну, ручей мурлыкал свою песенку. В чаще леса о чем-то оживленно судачили камышовки, а вечерней порой, говорил Сэм, нет-нет да и мелькнет над ручьем синее крыло зимородка. И каждый раз, проходя мимо, ребята ждали, затаившись, когда прилетит зимородок. Но он все не прилетал. Эта голубая, с зеленым отливом птица стала для ребят чем-то нереальным, как сказка. Хэн с братьями выискивали мягкие, устланные мхом и пухом гнезда грачей, камышовок, а старые, покинутые хозяевами, брали с собой, чтобы показать Сэму или бабушке Сараги.

Сэм строго-настрого запретил трогать гнезда, если там яйца или птенцы. Но раз Хэн вместе с Дэном Джеймсоном вытащили из гнезда яйца, проделали дырочки и выпили. Сэм сказал им так:

— Только самые подлые и трусливые могут воровать у птиц. Это куда хуже, чем воровать у человека. Тот свое добро убережет, а как защитить птице свой дом, своих детей от врага, что в десять раз больше, ведь для грача ты, Хэн, — великанша, а Тедди с Томом — страшнее зверя дикого.

Конечно, еще не дойдя до дома Триггсов, троица управлялась со всеми бутербродами, и, проходя гуськом по бревенчатому мостику через ручей, каждый думал: что бы сейчас съесть?

На темно-пурпурном фоне гор отчетливо вырисовывался беленый деревянный дом. Сзади и по бокам притулились всевозможные сараи, амбары, загоны, конюшня. Дом стоял среди деревьев, меж ними росла малина, клубника. У калитки копошились куры с цыплятами. Несколько рыжих, словно плюшевых, телят с блестящими, навыкате глазами паслись на привязи у калитки. Увидев юных Бэрри, они негромко замычали, словно приветствуя их.

Хэн, Тедди и Том всегда были желанными гостями у мистера и миссис Триггс. Миссис Триггс звала их «ягнятками» и «ангелочками». Всем троим это ужасно нравилось. Как миссис Триггс с ними носилась! Возьмет каждого на руки, прижмет к груди, к пухлому розовому лицу, потом спешит на кухню, несет каждому по кружке молока и по огромному ломтю непропеченного на вид пирога, зато изюмин в нем не счесть. А как она сокрушалась, когда в доме не находилось ни пирога, ни пшеничных лепешек.

Мистер Триггс был на редкость худой и черный, будто его долго сушили и коптили. Он смотрел, как потчуют ребят, а в глазах прыгали смешинки, и губы так и норовили улыбнуться.

Тедди и Том сидели в креслах с высокими спинками на блестящих, как шелк, подушках конского волоса. Хэн вела себя очень чинно, боясь откинуться на спинку дивана, чтобы не помять и не уронить вышитые салфеточки. Мистер Триггс говорил обычно:

— Ну, мать, вижу, гости у тебя сегодня дорогие.

На что миссис Триггс неизменно отвечала:

— И верно, отец, дорогие.

Они почему-то называли друг друга «отец» и «мать», хотя своих детей у них не было. Может, поэтому миссис Триггс вечно пестовала какую-нибудь тварь божью: то больного ягненка с фермы, то телку, то курицу.

Лучше комнаты, чем в доме миссис Триггс, на всем свете не сыскать, думала Хэн. Маленькая, заставленная мебелью, посередине — круглый стол, застеленный красной скатертью с крупным орнаментом из черных листьев, на ней островком — шерстяная, расшитая бисером салфетка, в голубом фарфоровом блюде стояла бронзовая лампа, увитая красно-желтыми листьями.

Чуть не на каждом стуле — салфетка, а на диване, кроме того,— две шерстяные подушки, на одной вышит букет голубых, красных, розовых, фиолетовых цветов, на другой — лиса выглядывает из-за куста роз. Миссис Триггс еще до замужества любила вышивать.

На камине стояли две вазы — «вазоны», как называла их хозяйка, в них — пучки подкрашенной травы, золотистые и медно-красные листья — подарки уходящего лета. Стены сплошь увешаны фотографиями: портреты родственников в золоченых и плюшевых рамках, а свадебная фотография мистера и миссис Триггс — в рамке, оклеенной перламутровыми ракушками. Вид у молодоженов был чрезвычайно довольный. На мистере Триггсе — очень тесный костюм, а на миссис Триггс — подвенечное платье с фатой. Руку она держала на плече мужа, словно говорила: «Ну, теперь попался!» А мистер Триггс, казалось, был этому несказанно рад.

Но вот молоко выпито, пирог съеден. Ребята берут корзинки и идут собирать клубнику.

Миссис Триггс всегда говорила им с порога:

— Сперва поешьте вдосталь, а потом уж собирайте. Чтобы полные корзины домой папе с мамой принести, да не забудьте от меня привет передать.

Как-то раз (Хэн в то лето закончила первый класс) ребята, попрощавшись с мистером и миссис Триггс, шли домой. Корзины были полны ягод, а сверху прикрыты капустными листьями. Ягод они съели столько, что таскать из корзины уже не хотелось. Хэн о чем-то задумалась, братья спокойно шагали рядом.

День выдался жаркий, Хэн подумала, что неплохо бы сделать привал. Над головой — чистое небо, впереди — длинная пыльная дорога. Никогда никого солнце не жгло так нещадно, как сейчас троих маленьких путников у обочины с бесценным грузом в руках — корзинами со спелой клубникой. Каждый дал клятву, что умрет, но донесет все ягоды до одной до дому.

Джерри лежал в пыли у их ног и тяжело дышал. Потом учуял невдалеке воду. В нескольких метрах от дороги за поляной слышалось журчание ручья. Наверное, там прохладно, мелко, вода ласково журчит, бежит-бежит по камням. Он встал и, умильно виляя упрямым дворняжьим хвостом, побежал через поляну. Хэн и не заметила, как он исчез. Она рассматривала цветы в золотых шапочках, что росли на поляне, и траву — длинную, шелковистую. Деревья — все в белом пуху, легкие белые гирлянды тянулись к земле.

От нечего делать Хэн стала срывать белые, в крапинку цветы и втыкать их за ленту шляпы. Тедди первым увидел, как из-под тенистых деревьев выбежал Джерри, мокрый, в блестящих капельках воды, и стал отряхиваться.

— Хэн, глянь-ка!

Хэн взглянула на Джерри, потом на Тедди и Тома, те на нее, и все стало ясно без слов.

— А где сушиться будем? — только и спросила Хэн, дрожа от нетерпения.

А Джерри с наслаждением катался по траве.

Братья полезли в воду, Хэн немного замешкалась — ведь у нее больше пуговиц да завязок, чем у мальчишек. Вскоре на берегу ручья лежала, сложенная тремя кучками, одежда, а вокруг с восторженным лаем прыгал Джерри: надо ж, какие сообразительные хозяева, сразу взяли с него пример.

Холодная вода обожгла, ребята завизжали, стали брызгаться, шлепать ногами и руками. Джерри бросился в воду вслед за Хэн и отрывисто залаял.

Выйдя из воды, Тедди стал отряхиваться, как Джерри, а потом тоже принялся кататься по траве. Том и Хэн решили не отставать. Но трава — не полотенце, досуха не вытрешься, а такой шубы, как у Джерри, на которой ни пыль, ни вода не держатся, у них не было, и скоро они выпачкались с ног до головы. Пришлось снова лезть в воду. Хэн предложила вытираться ветками акации. Пока Тэдди и Том бегали за ветками, они высохли под жарким солнцем. Тогда они, нацепив ветки на плечи, стали гоняться друг за другом, а Хэн пустилась в пляс, стараясь обмануть собственную тень, при этом она напевала:

На лугу, там, где тихая речка течет,
Затаившись, увидел я нимф хоровод.
Кудри — что изумруд, о вы, дочери вод,
Красота ваша дивная так и влечет.

— Слушай-ка, Хэн! — крикнул Тедди, ему вдруг стало завидно.— Давай мы тоже будем как будто «нимф хоровод»!

Хэн поймала Тома, нацепила ему на голову ветку акации, так что листья закрыли лоб, и получились «кудри — что изумруд», Тедди тоже свернул ветку венком и надел на голову. Крича и смеясь, они вприпрыжку понеслись вслед за Хэн. Джерри прыгал кругом, хватал их за «кудри — что изумруд». Хэн уже казалось, что они — взаправдашние нимфы, а Джерри — нимфопес «красоты дивной», ведь она украсила его тоже. Но нимфопес неожиданно стал срывать с себя все украшения, пришлось Хэн пригрозить, что она превратит его в свинью. Но Джерри не слушался. Тогда она взмахнула листом папоротника — сейчас на глазах он станет толстым розовым поросенком, но, увы, он оставался все той же довольной жизнью дворнягой, не знакомой с хорошими манерами.

По корзине плетеной у каждой в руках,
Все затейливым, тонким узором пестрят
И цветами полны, что растут на лугах.

— И клубникой, что мы собирали в садах,— засмеявшись, срифмовал Тедди. Тут Хэн сразу вспомнила о корзинах, брошенных при дороге. Оттуда послышался скрип колес и цокот копыт — кто-то едет.

С минуту Хэн колебалась: то ли спрятаться подальше, то ли выбежать на дорогу, спасать корзины. Потом шепотом позвала братьев:

— Давайте выскочим на дорогу, взмахнем волшебными палочками, они подумают, что мы — феи!

— Вот здорово! — разом воскликнули Тедди и Том. Они притаились за большим кустом у обочины. Показалась повозка, запряженная белой лошадью, неторопливо трусившей по дороге. В повозке под ярко-красным зонтом сидела женщина, впереди, на козлах,— старик, он клевал носом, а экипаж медленно двигался вперед.

С криками и смехом выскочили дети на дорогу, размахивая ветками, листьями папоротника. Вот сейчас Хэн заколдует старую кобылу, только произнесет заклинание, которое полагается произносить феям в подобных случаях. Но вдруг зонтик дернулся вбок, и показалось лицо мисс Уитлер.

— Ах ты, бесстыдница! Все тебе неймется, Ханна Фрэнсис! Совсем стыд потеряла!

Столько изумления и ужаса было во взгляде мисс Уитлер. «Наверное, я что-то особо дурное совершила»,— подумала Хэн, но лишь звонко засмеялась. Словно бесенок какой-то в душе проснулся. Она не знала, что такое «преступить все границы приличия», поэтому лишь покатывалась со смеху, глядя на оцепеневшую мисс Уитлер. Потом до нее дошло, что на козлах — Сэм. Но он не закатывал в ужасе глаза, а тоже хохотал вовсю. И старую кобылу Хэн признала — это лошадь Сэма.

Мисс Уитлер пользовалась экипажем раз или два в год, когда наносила визиты далеко живущим родственникам или ездила на усадьбу к семейству Муров. Экипаж достался ей вместе с остальным имуществом по наследству от отца. Но ни лошади, ни кучера у нее не было, и приходилось в таких случаях просить Сэма.

— Ханна Фрэнсис, сейчас же пойди и оденься! — дрожащим от возмущения голосом приказала мисс Уитлер.

Хэн повернулась и побежала прочь, братья — за ней.

— Трогай, Сэмюэл! — сказала мисс Уитлер, и тот свистнул старой кобыле.

У дома, арендованного у нее Питером Бэрри, она велела остановиться. Вылезла из экипажа, оставив Сэма пугалом сидеть на козлах, его увидела Джесси, открывшая мисс Уитлер, и принялась насмехаться. Проводив гостью в дом, она высунулась из окна на кухне и спросила, как ему на такой высоте живется, не слишком ли высоко вознесся, уж не гордыня ли одолела?

Сэм держался как заправский кучер, на выпады Джесси не отвечал, потом грустно сказал:

— Беда с этими пострелятами, вечно в переплет попадают. Сейчас, поди, эта сорока старая про них такого наговорит...

Джесси, оказывается, уже была в курсе дела:

— Так им и надо! Совсем стыд потеряли!

Сэм отвез мисс Уитлер домой, выпряг лошадь, поставил экипаж в сарай и подошел к заднему крыльцу. Снял шляпу, вытер лоб. Когда вышла хозяйка, он сказал:

— Мисс Уитлер, я вот что, пожалуй, больше возить вас не буду.

— То есть как? — опешила мисс Уитлер. Высокомерной она была с Сэмом лишь в дороге, когда ехала в экипаже и чувствовала себя настоящей дамой. И называла она его Сэмюэл, только чтобы казаться более значительной и величавой. На самом же деле она была очень признательна Сэму, только благодаря ему она могла с таким шиком появиться на людях.

— Видите ли,— сказал Сэм,— я люблю этих детишек, а сегодня вышло, что я против них, раз вам помогаю. А помогать сводить счеты с детьми противно, да и вообще сводить счеты с кем-либо — не по мне. Негоже это, я так думаю.

Он повернулся и зашагал по узкой дорожке к себе в домик, затерявшийся в лесу среди холмов.

Глава пятнадцатая

Дня через три мисс Уитлер собирала травы в холмах. А Хэн с братьями, Минни и Джек, притаившись за кустами, следили за каждым ее шагом.

— Вот взять бы да связать ей вместе руки с ногами да бросить в чаще, как принц — колдунью в «Желтом гноме»,— зло прошептала Хэн, не спуская глаз с высокой фигуры мисс Уитлер, вот она нагнулась, сорвала что-то.

«Нимф хоровод» обернулся для ребят еще одним днем в постели.

— Как страшно ты говоришь! — испугалась Минни.

Джек ковырял палкой землю, он не очень-то верил в сказки, но слишком уж хорошо помнил последнюю порку, да и Хэн, видать, сейчас не шутит.

— А что, давайте! — расхрабрился он.

— Только вот как? — прошептала Хэн.

Джеку предложить было нечего. Он следил за мисс Уитлер, вот она раздвигает кусты, шарит в траве, ищет нужную для одного из своих «испытанных целебных средств». Сейчас остановилась — отцепить колючку от юбки.

— Придумала! — чуть не закричала от радости Хэн.— Давайте заведем ее туда, где чертополоха много, у него семечки колючие — замучается вытаскивать.

— Вот здорово! — Джек даже подпрыгнул.

Кое-где склоны сплошь поросли чертополохом. Пройдешь два шага — и вся юбка изукрашена мелкими темными колючками. Сколько терпения и труда нужно, чтобы вытащить все и не уколоться.

— Давайте скажем, что знаем, где растет нужная трава,— предложил Джек.

— Она меня как-то спрашивала, где растут «голубые ежики»,— вспомнила Хэн. Так называла голубые бархатистые цветы с золотистыми тычинками бабушка Сараги. Но зачем они понадобились мисс Уитлер для ее снадобий, Хэн было невдомек.

— Заведем ее вон туда,— Джек махнул рукой в сторону крутого склона.

— Она чертополох не заметит, пока не влезет в него.

— А мы ее будто потеряем, кусты-то там густые,— предложил Джек. Хэн кивнула.

— Сама ни за что не выберется, а мы скажем, что это ей наказание за то, что нас из-за нее наказывали.— Тедди и Том ликовали.

Через минуту вокруг мисс Уитлер запорхали ситцевые платьица, штанишки, замелькали босые ноги, зазвенели проказливые ребячьи голоса:

— Здрасте!

— Добрый день, мисс Уитлер!

— Как поживаете, мисс Уитлер?

Мисс Уитлер подняла голову и недоверчиво огляделась. На носу у нее красовались очки, хотя, судя по всему, не очень-то ей помогали — нужную траву она так и не нашла.

— А я знаю, где «голубые ежики» растут,— выкрикнула Хэн.

— Да неужели? — бросила мисс Уитлер, даже не остановившись.

— Хотите — покажем,— предложила Хэн.

— А далеко? — не очень-то любезно спросила мисс Уитлер.

— Да здесь, рядом.

И Хэн, приплясывая, понеслась по склону холма, вспрыгивая на пни, валуны, упавшие деревья, на секунду замирала и летела дальше. Джек, Минни, Тедди и Том мчались следом. Мисс Уитлер шла медленно, спотыкаясь, оступалась, осторожно прокладывая путь в безбрежном море чертополоха. Все платье уже покрылось ненавистными колючками. Она огляделась, но ее провожатые исчезли, лишь вдали слышался звонкий смех. Поляну — царство чертополоха — со всех сторон окружал лес: черная, непроходимая чаща. Даже в полдень сюда не проникало солнце, а сейчас время предзакатное. Окрестности мисс Уитлер знала лишь по тому виду, что открывался с заднего крыльца, и, отправляясь за травами, она никогда не теряла из виду свой единственный ориентир. Но куда же идти сейчас? Вдруг она заблудится и не сможет выбраться из этой чащи? Стало страшно. Она окликнула ребят, сначала сердито, потом испуганно. С вершины холма жутким эхом разнеслось:

— Что случилось, мисс Уитлер? Вы заблудились?

— Ничего подобного! — ветер подхватил ее слова и унес ввысь.— Ну, Ханна Фрэнсис, и попадет же тебе за это, попомни мое слово! И твоему отцу, Джек Эндрюс, все будет известно, и к твоей матери, Минни Симпсон, наведаюсь, так и знай.

— Идите сюда, мисс Уитлер! — позвала Хэн и показалась из-за деревьев, следом — Джек, Минни, Тедди и Том. Прыгая, как козлята, с камня на камень, они поднимались, то и дело оборачиваясь — поспевает ли мисс Уитлер? Так быстро она еще никогда не ходила, чуть не бегом, корзина на руке подпрыгивала, половина собранных трав и корней высыпалась. Но она думала только об одном — как бы не потерять из виду своих быстроногих, проворных спасителей.

Добрались до вершины, заходящее солнце позолотило уже слегка пожухлую траву. Оказывается, они забрались на Крутые Горы, вон и речка бурлит в глубоком ущелье, рычит, стонет. Мисс Уитлер охватил

ужас, она карабкалась по склону, цепляясь за траву, и чуть не плакала,— уж она им покажет, отомстит за все. Она сама не заметила, как оказалась будто в каменном мешке, и не видно, как выбраться. Она все время отставала от ребят, поэтому Хэн без труда заманила ее в эту ловушку, а сама убежала. И теперь, стоя вместе с другими заговорщиками на краю ямы, она отплясывала дикарский танец.

— Ведьма! Ведьма! — кричали все хором. А Хэн произнесла целую речь:

— Сколько раз нас наказывали из-за вас, а теперь — это вам наказание. Вам отсюда ни за что не выбраться, только я знаю ход. Пообещайте, что не будете о нас враки рассказывать, что Джека пороть не будут, тогда покажем отсюда дорогу. Вы сказали, что утром пойдете жаловаться его отцу, а вот и не пойдете, вы же отсюда не вылезете...

— Так и надо! — ликовал Тедди.

— Ведьма! Ведьма! — не унимался Том.

А Джек наклонился над ямой и зловеще захохотал. Никогда еще с мисс Уитлер так не обращались.

— Безобразие! Возмутительно! — всхлипывала она в бессильной ярости.— Ну, Ханна Фрэнсис, доберусь я до твоих родителей.

— Ну как, нравится, когда наказывают, а? Не очень? Вот и нам не очень! Это вам... возмездие.

Мисс Уитлер пыталась забраться наверх по камням, но, к своему отчаянию, сорвалась. Минни каждый раз радостно вскрикивала:

— Дайте слово, что не будете жаловаться, что нас больше не накажут!

— Дать слово? Да я велю вас выпороть, негодники, каждого, каждого! Надолго запомните. Да я вас...

— Тогда спокойной ночи! — крикнула Хэн.

Ребята нестройным хором пожелали ей приятных снов, помахали на прощание, и вскоре на фоне заходящего солнца замелькали их голые ноги. Мстители ушли.

Хэн с братьями побежали домой, Джек с Минни расстались с ними на верхних лугах.

Некоторое время мисс Уитлер не подавала голоса, наверное думала, что за ней придут. Потом заплакала. Ей было и досадно и страшно. Видно, мстители привели свою угрозу в исполнение: на ее крики в вечерней тишине никто не отозвался.

Хэн знала, как становится тоскливо и одиноко в холмах, когда спрячется последний луч солнца. Днем и то было жутковато слушать перекличку птиц, а сейчас, когда стемнело, до мисс Уитлер доносились лишь тяжкие вздохи и стоны реки. Хэн представила: сидит мисс Уитлер у каменной стены, плачет, зовет. Ей даже почудилось, что она слышит ее голос.

Лежа в постели, она все думала о мисс Уитлер. Закрывала глаза, пыталась уснуть, но видела лишь мисс Уитлер, обезумевшую от ужаса, волосы растрепаны, платье разорвано. И глаза: злые и испуганные.

Вдруг на Хэн нашла такая тоска, будто она сама сидела среди валунов, слышала ночные голоса в ущелье, видела зловещие лунные тени на камнях, на колючих кустах дикой сирени с узкими листьями. Она соскочила с кровати, запахнулась в серый теплый халат, сунула ноги в шлепанцы и, еще не отдавая себе отчета, побежала в лес.

Холмы, такие знакомые днем, сейчас окунулись в полупрозрачную серебристую дымку. По небу быстро бежали облака, иногда выглядывала луна. Деревья отбрасывали длинные причудливые тени. Но Хэн не было страшно. Хотя порой казалось, что тени гонятся за ней, деревья протягивают когтистые лапы — вот-вот схватят.

Лес стоял черной стеной на фоне перламутрового неба. Хэн с трудом находила путь. Останавливалась, озиралась — вдруг не туда идет? Но инстинкт привел ее к валуну, вон торчит воткнутая ею палка, здесь тропинка сбегает к каменному мешку, где сидит мисс Уитлер. Хэн остановилась, прислушалась — только стонет зажатая холмами речка да шелестят листья на ветру. Хэн подползла к крутому обрыву. Осторожнее, еще осторожнее, иначе оступишься в темноте и полетишь в реку, разобьешься.

Через минуту она стала различать и другие звуки: ночь вздыхала, звенела. А мисс Уитлер не слышно.

Вот и каменная стена; луна словно срезала верхушку, оставив низ в тени. Хэн взобралась на нее и заглянула вниз: кромешная темнота. Может, мисс Уитлер сама выбралась, нашла тропинку, а может, пытаясь залезть на стену, упала и убилась. Вот в углу мелькнуло что-то белое, Хэн окликнула:

— Мисс Уитлер! Это я, Хэн! Я пришла показать вам дорогу.

Мисс Уитлер ответила не сразу, должно быть забылась тревожным сном. Цепляясь за камни, Хэн спустилась к ней.

— Пойдемте! — Она взяла мисс Уитлер за руку и помогла встать.

Та заплакала:

— Хэн, выведи меня скорее из этой ужасной западни! Боже, как мне страшно! Ах, Хэн, Хэн! Веди же меня скорее отсюда!

Дрожа всем телом и стуча зубами, она всхлипывала и все просила вывести ее.

Хэн полезла наверх. Мисс Уитлер раза два чуть не свалилась со стены, она вскрикивала и шарахалась от каждой тени — на них волшебница-луна не скупилась. Хэн шла впереди и как могла успокаивала мисс Уитлер: той всюду мерещились злые, согбенные старики. Хэн, как маленькой, объясняла: вовсе это не старик, а пенек, а там — большой валун. Наконец, они дошли до забора, за которым начинался сад мисс Уитлер. Хэн проводила ее до самого дома...

— Так Джека больше не будут пороть из-за вас? — спросила она.— Когда мы решили вас наказать, то не думали, что вы так перепугаетесь. Это я виновата. Но знаете...

Мисс Уитлер пулей влетела в дом и захлопнула дверь.

Хэн пошла к калитке и лугами добежала до дома. Неслышно прокралась в комнату. Все спали. Было тихо и темно.

Как хорошо, подумала она, что мисс Уитлер оказалась не ведьмой, а просто несчастной больной старухой, которая собственной тени боится. Хэн даже пожалела ее, так порой становится жалко детей-несмышленышей. Разве ведьмы такие бывают, ведь Хэн всерьез-то и не верила. Она это понарошку придумала, в шутку, чтобы поразить братьев да Минни с Джеком.

Глава шестнадцатая

На следующее утро еще до завтрака Хэн все рассказала Сэму.

— Надо бы к ней зайти, она просила дров наколоть,— вспомнил он.

Хэн шла за ним почти до самого дома мисс Уитлер. Сэм поговорит с ней и все уладит. Вот он медленно, ссутулившись идет по дорожке, словно плывет над низкими кустами, вот скрылся за кроной алычи, вот снова показался.

На заднее крыльцо вышла мисс Уитлер, одета она была так, словно собиралась в гости.

— Доброе утро, Сэм! — и пошла дальше к калитке.

Сэм окликнул:

— Мисс Уитлер!

— Что тебе? — Она остановилась и обернулась.

— Вы ведь не станете жаловаться на ребят за вчерашнее? — спросил он.— Я их, конечно, не оправдываю,— он запнулся,— хотя, по-моему, вы это заслужили.

— Спасибо, Сэмюэл! Но пока держи свое мнение при себе, нужно будет — сама спрошу.— И пошла дальше. Но Сэм не отставал.

— Послушайте, когда я в первый раз вас увидел, вы еще девочкой были, своевольной, с характером. Тогда я подумал: вырастет, замуж выйдет, хорошей матерью станет. А вы вот так и не вышли... и детьми не обзавелись.

— Ты совершенно прав, уж матерью я была бы хорошей, воспитала бы детей куда лучше, чем некоторые родители,— сухо сказала мисс Уитлер.

Сэм не ожидал, что все так обернется. Он улыбнулся и продолжал:

— Так все думают, у кого своих детей нет, вроде нас с вами. С детьми надо по справедливости. Докажите ж им, что и вы можете справедливой быть. И не угрозами, запретами да окриками. Сегодня как раз такой случай выпал. Может, у ребят и так на душе кошки скребут, поняли, что слишком жестоко поступили. А если вы еще и мстить им не станете, совесть их совсем заест. И мне кажется, о вас они будут думать куда лучше.

— Меня не интересует, что вам кажется, Сэм Уилсон.— Мисс Уитлер открыла калитку и вышла на дорогу. Быстрыми мелкими шажками она стала удаляться, прижав одну руку к боку, в другой держа зонт, ни дать ни взять — черный восклицательный знак, неумолимый и непреклонный, неизвестно как выросший под солнцем. Сэм подумал, что ее плотно сомкнутые губы — точь-в-точь капкан для зайцев, который он, Сэм, поставил сегодня утром.

Он подошел к поленнице, поднял с земли топор и принялся колоть дрова. Сколько уж лет он делает тысячи мелочей по хозяйству, до которых у мисс Уитлер никогда бы руки не дошли.

Какая муха укусила в то утро лошадь бакалейщика, никто так и не узнал. Рассыльный — тщедушный белесый парнишка с большим носом и прыщавым лицом — оставил ее у обочины, а сам пошел по домам. Обычно он привязывал поводья к колесу, а сам обходил своих покупателей, крича нараспев: «Кому чай, кофе, какао, муку, рис, саго, гвозди, шпильки, свечи!» Любил перекинуться парой словечек с Джесси и другими кухарками, делился последними сплетнями.

Но в то утро он то ли заболтался с Джесси, то ли поводья плохо привязал — трудно сказать. Только когда, насвистывая, он подошел к калитке, собираясь уходить, то увидел: его лошадь вместе с тележкой несется во весь опор по улице.

— Стой! Стой! — закричал он и опрометью бросился следом.

Но не успел он добежать и до поворота, как услышал страшный крик. Ни тележки, ни лошади не видно — пыль стоит столбом. Подбежав поближе, он увидел, что на дороге лежит мисс Уитлер в обмороке. Он приподнял ее голову, продолжая растерянно кричать: «Стой!», «Стой!» — то ли приводить ее в чувство, то ли бежать за лошадью. На крик сбежались люди из соседних домов. Первым на месте происшествия оказался Джош. Не раздумывая, он сразу бросился за доктором. Джесси — за бабушкой Сараги. Тем временем с окна почты сняли ставень и возложили на него мисс Уитлер. Она пришла в себя и заплакала. Лицо и волосы покрылись серым слоем пыли. Дорожные рабочие, прибежавшие на крик, взяли ставень за углы, и процессия сочувствующих и просто любопытных двинулась к дому мисс Уитлер.

После обеда Сэм и Хэн вспоминали это происшествие со всеми подробностями.

— Наверное, это... предорп... предопределение Судьбы,— сказала Хэн, стараясь произнести трудное слово точь-в-точь как бабушка Сараги. Да, крепко досталось бы Джеку, случись мисс Уитлер рассказать его отцу.

— Да уж сама она себе такого б не пожелала,— согласился Сэм.

Жизнь мисс Уитлер висела на волоске. Долго ее состояние не улучшалось, каждое воскресенье в церкви молились за ее здоровье. И она выжила.

Примавера Уитлер в свое время гордилась тем, что может говорить людям в глаза «правду, какой бы горькой она ни была». Снисхождения ни к кому она не знала. Но сейчас соседи, казалось, забыли, какой у нее характер. Помогали по дому, в саду. Бабушка Сараги взяла на себя обязанности главной сиделки, сестра Джесси приходила делать уборку, когда у других не было времени.

Когда мисс Уитлер стала поправляться, соседи, навещая ее, приносили фрукты, цветы, и больная с присущим ей тактом и чувством благодарности принимала их.

— Раз у вас столько цветов, что девать некуда, приносите почаще,— обращалась она, например, к мисс Бэрроуз (ее брат — врач и вылечил мисс Уитлер), когда та подарила ей скромный букетик белых и нежно-алых роз.

— Этими вашими бульонами я скоро торговать начну! — воскликнула она, когда кто-то опрометчиво упомянул о нем в разговоре.— Почему-то все воображают, что больной только и мечтает о бульоне.

Или:

— Да что ж я, нищая какая, столько всякой снеди натаскали! — когда хромая сестра миссис Джеймсон осмелилась предложить крем из взбитых яичных белков на стеклянной тарелке.

Конечно, мисс Уитлер радовалась вниманию, ей это льстило. Но она старалась и виду не показать. Многие гости уходили разобиженные грубым приемом.

— Боже правый! — возопила она, когда однажды днем ее пришли проведать (из самых добрых побуждений) три соседки.— Да что ж я — уродец с ярмарки, каждый взглянуть норовит! А глазеть не на меня надо, а на этого придурка Грогана, что лошадь упустил, она у него, видать, тоже полоумная. Нормальная лошадь не будет носиться по дороге и давить честных людей.

После обеда миссис Джеймсон приносила молитвенник и читала вслух. Ее скрипучий голос страшно раздражал больную. Наконец, она взорвалась:

— Кто вас просит читать молитвы у моей постели? Я еще не умерла. А когда придет мой час, спасением моей души займется преподобный Артур Прайс, но уж никак не вы! Это его прямая обязанность, и прежде, чем навсегда закрыть глаза, я ему напомню: раз деньги получаешь — изволь поработать. А то в нашем приходе некому людей отвращать от греха.

— Кое-кто поговаривает, вы на ладан дышите,— спокойно возразила миссис Джеймсон.— Разве знаешь наперед, как все обернется после такого... вдруг кровотечение откроется или внутри что откажет, и глазом моргнуть не успеете, как на том свете окажетесь.

— Кое-кто болтает слишком много, вместо того чтобы молиться,— позеленев от злости, ответила страдалица.— Думаю, что в Судный день, Мэри, моя душа почище вашей окажется.

— Не о моей душе сейчас речь,— отпарировала миссис Джеймсон.

Бабушка Сараги считала, что Хэн сделает доброе дело, если навестит мисс Уитлер, почитает ей вслух. И через несколько дней отношение девочки к мисс Примми изменилось. Вспоминая ту ночь на холме, Хэн теперь чувствовала себя мудрее и старше мисс Уитлер, хотя той, по словам Джесси, до пятидесяти — рукой подать, да и голова вся седая. И сама мисс Уитлер разговаривала с ней словно с бабушкой Сараги или со своей ровесницей — просто и доверительно. Хэн чувствовала себя очень взрослой.

— Видишь ли, Ханна Фрэнсис, за время болезни я научилась не трепать нервы по пустякам. Не все ли равно, поставит сестра Джесси белую кастрюлю на место синей или наоборот,— сказала она однажды.

Но только она поднялась и вновь стала мерить холмистые дороги длинными, точно ходули, ногами, выяснилось, что все осталось по-старому, ничему-то ее болезнь не научила.

Глава семнадцатая

Странные отношения сложились у Джесси с Джошем, а в чем дело, Хэн не понимала.

Иначе как «ох уж мне этот Джош!» она его не называла и без устали рассказывала о его «проделках», вечно поддевала: мол, увалень и недотепа, хотя и за девушками бегает. Ругала, называла дураком, болваном. Джош — парень добродушный, но после насмешек Джесси мрачнел. Сколько раз он заходил на кухню с улыбкой, а выходил сам не свой.

Раз Хэн увидела, как он выскочил с пустой корзиной. Джесси же смеялась до слез.

— Ох уж мне этот Джош! Приходит и сует мне свою фотографию, вот дурак-то! С таким-то лицом у фотографа и делать нечего!

Тем не менее она распевала целый день.

Дня через два она подозрительно долго болтала с разносчиком из мясной лавки и потом смеялась, а почему — Хэн было невдомек.

— Ох уж мне этот Джош! — на весь дом говорила она.— Ходит сейчас с Рози Филипс. Их в воскресенье видел Бен Томсон, они гуляли по кладбищу.

Хэн поняла: раз Джош гуляет с девушкой по кладби́щу, значит, собирается жениться. Но неужели это настолько важная новость, что нужно рассказывать всем. На этот раз Джесси не пела. Дня два она ходила злая-презлая, оживляясь, лишь когда Джош приносил овощи, и опять дразнила его.

— Ну, как поживает наша Рози? — вопрошала она, упиваясь смущением Джоша, тот стоял красный как рак.— Ведь вы уж давно вместе. Пора бы мисс Филипс и день свадьбы назначать. Где венчаетесь-то? А фотографию свою ты ей не забыл подарить? С таким лицом ты ее сердце враз завоюешь. Хотя лучше не дари пока, а то она как подумает, что такая физиономия всю жизнь будет рядом маячить, откажет, чего доброго. Она, говорят, девушка из пугливых.

Долго она еще говорила, и все в том же духе. Джош молча, будто и не слышал ничего, выложил овощи на кухонный стол и, тяжело ступая, вышел.

Потом Джесси все реже стала нападать на Джоша, бросит две-три колючие фразы, и все. На кухне она больше не пела. Зато Джош по дороге из сада в дом и обратно начал насвистывать, свистел он плохо, прерывисто. Джесси совсем поникла, настроение у нее менялось каждую минуту, она стала хуже стряпать.

Каждое воскресенье Джош в выходном костюме с цветком, а то и двумя в петлице шествовал с мисс Филипс на традиционную прогулку по кладбищу. Одевалась она тоже нарядно: белое кисейное платье с кружевами, шляпка с бледно- и ярко-красными розами. У молодежи с Холма было заведено гулять по воскресеньям на кладбище и «общаться».

В будние дни Джош встречался с Джесси на кухне за обедом. Раньше за столом не умолкал смех, теперь же — угрюмое молчание. Хотя, как заметила Розамунд Мэри, из всей семьи лишь Джошу ни разу не достался остывший суп или подгоревшая картошка.

Однажды Хэн услышала в саду разговор бабушки и Джоша:

— Джош, что случилось у вас с Джесси?

— Ничего не случилось.

— И все-таки что-то произошло.

— Это как сказать.

— Я слышала, ты женишься на Рози Филипс.

— Собака лает — ветер носит. Я с ней об этом не говорил.

— Но ведь хочешь жениться?

— Хочу. И никто мне в этом не помеха.

— Она нравится тебе больше Джесси?

— Нравится не нравится, не в этом дело.

Джош бросил мотыгу, выпрямился, из-под нависших полей видавшей виды шляпы сверкнули голубые глаза.

— Вы посмотрите, как она со мной обходится! Смеется, издевается. Мне перед ребятишками и то стыдно. Сколько мог — терпел. А потом плюнул: что, на ней свет клином сошелся, что ли? Но предложение все-таки сделал. А она — мне: «Не родилась еще дура, что за тебя пойдет!» Я и решил: докажу, что дур таких — хоть отбавляй, только пальцем помани.

— Ах, Джош, Джош! — улыбнулась бабушка Сараги.— Неужели ты не понимаешь, девушки так себя часто ведут, когда парень очень приглянулся. Боятся свои чувства показывать, вдруг им от ворот поворот дадут. А Джесси любит тебя. Сама не своя с тех пор, как ты с Рози Филипс связался.—Бабушка задумалась о чем-то, потом продолжала:— Женщину хлебом не корми, дай только власть над любимым показать. Вот Джесси и дразнит тебя, видит, что настроением твоим управлять может... Но я уверена, она любит тебя... И если ты любишь ее, будь умником, иди к ней. А то из-за грошового самолюбия ты и ей и себе жизнь испортишь.

Джош даже не знал, что сказать — до того поразили его слова бабушки. Снял шляпу, наморщил лоб, почесал затылок:

— Что-то не верится...

Но кое-какие выводы он для себя сделал, потому что в следующее воскресенье он уже не «общался» с Рози Филипс на кладбище, подобно другим молодым парочкам.

Глава восемнадцатая

Каждый год первый пароход на реке — большое событие. Сначала видны лишь дымки, потом можно различить, какого цвета трубы, вот пароход проходит мимо, причаливает у старого пирса — сваи покрыты толстым слоем ила.

Как-то по дороге в школу Хэн увидела: вверх по реке медленно идет пароход, на палубе играет оркестр. Она остановилась посмотреть, как он будет лавировать на обмелевшей реке, был отлив, и глинистые берега подступали совсем близко. Почему играет музыка, Хэн не понимала.

А в школе все прыгали, кричали, смеялись...

— К нам приехал цирк! — воскликнула Минни.— Он приплыл на пароходе «Гнилой банан»! И днем будет шествие. Джеку один человек сказал.

— Слоны, львы, тигры, клоуны! — завизжал кто-то из ребят. И тут же раздались унылые голоса:

— А мисс Элизабет возьмет и не пустит!

— Тот, что афиши расклеивал, сказал: шествие начнется в одиннадцать тридцать, циркачи пройдут по Центральной, а представление будет завтра в восемь вечера,— внес точность Джек, взглянув на Хэн.— Непременно пойду смотреть шествие,— сказал он.

— И я! — Хэн не колебалась ни минуты.

Когда звонок позвал с утренней перемены, в класс никто не вернулся. Все как один побежали с Холма вниз — в городок.

Мисс Мартин взяла бронзовый колокольчик, вышла в сад, позвонила. Но не слышно ребячьих голосов, нет привычной толкотни у калитки, а ведь обычно она чуть с петель не слетает.

Наконец, мисс Мартин поняла, что случилось, и побрела в пустой класс. Ветер шевелил засаленные страницы тетрадей, со строчек ей подмигивали вкривь и вкось написанные с нажимом слова. На доске теснились числа с крутобокими нулями — точно открытые в немом изумлении рты. Она села и стала ждать, сжимая в руке трость.

Хэн и Джек прибежали первыми, за ними — остальные ребята. Как раз вовремя: циркачи вышли на Центральную улицу. Собрались не только горожане, но и деревенский люд — сегодня был базарный день. Все выстроились в ряд вдоль обочины. Маленьких беглецов встретили шутками, улыбками. Взрослые потеснились, пусть ребята как следует разглядят яркие волшебные фургоны.

А рядом на пегих пони ехали дамы и господа в роскошных бархатных костюмах, расшитых золотом,— такие носили в былые времена. Вот верхом на неоседланной вороной лошади едет сказочная фея. Промелькнул клоун с выбеленным лицом и лихо подведенными бровями, на нем — белый ситцевый балахон, широченные штаны и бумажный колпак, такие иногда надевают в школе на лентяев. Медленно идет слон, на спине — старая бархатная попона с золотой бахромой, на ней сидит чернокожий погонщик. Две лошади тянут клетку с тигром, тот беспокойно ходит из угла в угол. В других клетках — крупные обезьяны, попугаи всех цветов радуги на золоченых жердочках, они что-то бормочут, кричат.

Хэн стояла и слова вымолвить не могла — цирк ее заворожил. Как в сказке: кругом феи, волшебники. Казалось, сейчас на узких улочках города Лонстона среди белых домов, где все знакомое-презнакомое, вдруг начнутся удивительные приключения.

Дома, строенные еще каторжанами, стояли неприступные и грозные, точно средневековые замки, Хэн виделись даже башни и зубчатые стены.

На обратном пути она никак не могла успокоиться, все вздыхала и ахала, вспоминая шествие. Как бы попасть на завтрашнее представление, что бы придумать?

Лишь у школьной калитки кто-то вспомнил:

— Ой, а что мисс Мартин скажет?

Но это мало кого волновало. Ведь утром они видели столько чудес. Но смех и шутки обернулись слезами, когда открылась классная дверь и показалась мисс Мартин с тростью в руке: пришлось ее отведать тем, кто не успел отскочить. Особенно досталось малышам, они, не в пример Хэн и Джеку, покорно сносили побои.

После уроков, возвращаясь домой на обед, Джек спросил таинственно:

— А ты ЕЕ видела?

Хэн сразу поняла, о ком идет речь, и кивнула. Когда утром они сбегали с холма, то увидели, как по Центральной улице ковыляет мисс Уитлер.

Но разве сейчас до нее! Хэн замечталась... Кругом доблестные рыцари, их прекрасные дамы верхом, вон на спине вороной лошади стоит, вытянувшись в струнку, маленькая девочка, сверкают глаза хищных зверей, переливается роскошное оперенье птиц.

Дома она рассказала о цирке братьям и стала приставать к старшим — к отцу, матери, бабушке Сараги, даже к Джошу,— чтобы ее отпустили на представление.

— Все пойдут, и Минни, и Сим, и Досс,— канючила она.— Можно и нам с Тедди и Томом? Ужасно хочется! Больше всего на свете! Ну, можно уж?

Ведь цирк — самое главное, он открыл для Хэн совсем иной мир.

В конце концов бабушка Сараги заявила Питеру и Розамунд Мэри, что просто не в силах отказать детям в столь невинном развлечении, ведь другим-то оно доступно. И в глазах промелькнула лукавинка. Она покраснела и улыбнулась. Питер и Розамунд Мэри уступили не сразу, поддразнивая бабушку: мол, она «портит детей, балует их». Бабушка рассмеялась и призналась, что и сама «не прочь на клоуна взглянуть».

Итак, решено: завтра вечером бабушка ведет Хэн с братьями в цирк.

— Пожалуй, мы и Джека с собой возьмем,— решила она.

О таком Хэн и мечтать не могла! Вот радость-то! Побежала, рассказала Джеку, он сперва даже не поверил, а потом подумал, что семейство Бэрри, поселившись на Холме, приносит ему удачу. Особенно бабушка Сараги.

Но в бочке меда могла оказаться и ложка дегтя. Ведь мисс Уитлер видела их во время шествия и, конечно, поняла, что они сбежали с уроков. В страхе ждали они: вот-вот придет и все расскажет бабушке Сараги или мистеру Эндрюсу. Обязательно придет!

— И никуда нас тогда не пустят,— приуныл Джек.— Хуже всякой порки!

Но в тот день мисс Уитлер не пришла. И вот, наконец, долгожданный вечер. Бабушка Сараги, Тедди, Том, Хэн и Джек Эндрюс отправились в цирк. До центра они ехали на омнибусе, представление начиналось через полчаса, но каждая оставшаяся минута несла что-то новое и интересное.

После представления Хэн не спала всю ночь, во всяком случае ей казалось, что она и глаз не сомкнула.

...Забил барабан, заиграла музыка и унесла Хэн с собой, заворожила. В цирке пахло свежими опилками. Перед глазами на стройных лошадях проносились сказочные принцы и принцессы в чудесных бархатных костюмах, расшитых золотом. Огромный шатер под ясным звездным небом, звери, птицы, клоун со смешной гримасой — впечатления вечера захлестнули Хэн огромной волной, а на ее гребне — фея в розовом платье, усыпанном блестками, словно капельками росы. Она то парила в воздухе, то устремлялась к звездам по серебристой дорожке лунного света.

Джек и Хэн никак не могли вдоволь наговориться после представления.

— Знаешь, а ОНА нас все-таки не видела,— решил Джек. У него не укладывалось в голове, как это мисс Уитлер до сих пор не нажа-

ловалась. Хэн промолчала. Она-то прекрасно знала, что от проницательного взгляда мисс Уитлер ничто не укроется.

— А может, она больше вообще не будет ходить жаловаться,— сказала она с надеждой, все-таки мисс Уитлер столько пережила, да и вроде стала добрее к ней.

Джек лишь покачал головой. Не верилось, что мисс Уитлер может исправиться. Просто по счастливой случайности она не заметила прогульщиков, а вовсе не благородство заговорило.

Несколько дней Хэн жила своей сказкой, все мысли, все разговоры — только о цирке. По ночам она слышала рычание хищников в клетках. Палаточный городок разбили прямо у подножия холма, смотришь с веранды вниз — будто разноцветные грибы выросли на городских улицах. А по вечерам там загорались яркие огни, выходили эльфы и феи. Играл оркестр, музыку было слышно даже на вершине Холма.

Как-то раз во время завтрака Хэн заявила, что твердо решила стать циркачкой. Розамунд Мэри так и ахнула. Бабушка лишь посмотрела с укоризной, а отец рассмеялся. Братья уставились на нее с изумлением.

А днем она рассказала по секрету и Сэму о своих планах. Он выслушал серьезно, хотя в глазах прыгали смешинки.

Следующие два дня Хэн не появлялась на холмах. Она устроила цирк в саду, в дальнем конце, где росла вишня и где обнимали друг друга тонкими ветвями ивы. Правда, по лужайке проходила сточная канава, но это не беда.

Хэн с удивлением обнаружила, что воздушные прыжки, такие легкие на вид, никак не удаются, когда пробуешь сама. Руки и ноги не слушаются.

Трапецией ей служила нижняя ветвь самой высокой ивы. Не зная ни страха, ни усталости, два дня она училась делать сальто. Несколько раз падала, больно ушибалась. Но не отступала.

Любимый ее номер — прыжок с дровяника в стог сена. Падать мягко — не ушибешься. Еще она научилась ходить по узкому оцинкованному краю большой бочки, и та не переворачивалась.

— Шею себе свернешь! — в отчаянии закричала Розамунд Мэри, увидев раз этот «номер».

Но Хэн лишь засмеялась и, лихо размахивая руками, чтобы сохранить равновесие, прошла весь круг до конца.

Однажды за этим занятием ее застал Дэн.

— Эй ты, веснушка-конопушка!

— А ты так не сможешь, вот! — с гордостью сказала Хэн.

— Запросто смогу!

Но он оказался слишком тяжелым. Поставил одну ногу на край, занес другую, тут-то бочка и перевернулась, царапнув его по лицу ободом.

Дэн заорал и помчался домой.

— Ма-ма! Смотри, что Ханна Фрэнсис сделала!

А вдогонку ему несся победный клич:

Дэн, Дэн, дуралей,
Ходит злой, как сто чертей!

Хэн мечтала о цирковом трико. Просила, умоляла, требовала, чтобы ей купили. Неужто в жизни можно желать еще что-то кроме костюма как у мадемуазель Делиции: будто длинные шелковые чулки телесного цвета, сшитые вместе. Хэн страшно мучилась от несбыточности своего желания. Разве можно стать настоящей акробаткой без трико, а этот волшебный костюм ей, видно, никогда не носить.

Она упросила Розамунд Мэри покопаться в комоде, может найдутся старые чулки. В «мусорной яме», как называла комод Розамунд Мэри, попадались удивительные вещи: атласные и парчовые лоскутки, старые карнавальные платья. Хэн была уверена: стоит Розамунд Мэри захотеть — и она что угодно выудит из «мусорной ямы».

Но та сказала, что ни чулок, ни трико в комоде нет и быть не может. И нечего весь хлам ворошить. А для Хэн — первое удовольствие смотреть, как мать разбирает какой-нибудь ящик, таскать сломанные брошки, выцветшие ленты, вуальки, бумажные цветы, кружева, которые мать собиралась выбрасывать.

Конечно, и речи не могло быть о том, чтобы самой покопаться в ящиках комода. Но однажды дома никого не было и соблазн взял верх — а вдруг что-нибудь найдется? И она открыла огромный комод камфарного дерева, он стоял у двери в комнате родителей.

Комод дохнул на нее увядшими розами, камфарой, затхлостью лежалой одежды. Все было аккуратно разложено, Хэн боязливо дотронулась до стопок, а вдруг комод живой?

Но она сказала самой себе: стыдно бояться запаха камфарного дерева и старой одежды. И запустила руки в ящик.

Сверху лежало подвенечное платье Розамунд Мэри, мягкая тяжелая ткань пожелтела от времени. Дальше — пачки писем, перевязанные белой лентой, меж ними — засушенные цветы. На пол упал старомодный башмачок с металлической пряжкой. Тоже лежит со времени маминой свадьбы. Перебирая вещи, Хэн добралась до платья, в котором крестили и Розамунд Мэри, и бабушку, и бабушкину мать. Совсем ветхое, красивая вышивка — в паутинке штопки. А вот другие старомодные детские платьица, такие смешные. Капоры, пеленки тончайшего полотна, пуховые одеяльца, отделанные самодельными кружевами. Все это Хэн отбрасывала в сторону и продолжала нетерпеливо искать.

Она уже почти что отчаялась найти, но любопытные руки продолжали копаться в ящиках. Вот из недр комода явился узел, из него торчат концы светло-сиреневых бумажных чулок. Хэн внимательнейшим образом осмотрела их. Ишь какие длинные, почти как трико.

Она даже вскрикнула от радости и тут же натянула чулки. Среди писем она нашла фотографию отца в причудливом театральном костюме. Эти чулки он, наверное, надевал, когда играл в спектаклях и водевилях.

Сбылась мечта! А сколько было уговоров, слез, отчаяния. Страшно довольная, Хэн подошла к трюмо. Конечно, трико должно обтягивать, а не собираться складками и морщинами на тощих ногах. Но разве это главное? Что чулки длинны и велики — пустяк! Что неуклюже заправленное платье топорщится — тоже не беда! Главное, чтобы костюм был как у циркачки, и Хэн замирала от восторга, глядя на себя в зеркало.

Довершил костюм очень кстати попавший под руку старый корсет Розамунд Мэри с красным поясом — отметкой, до каких пределов затягиваться.

Хэн плясала перед зеркалом, осыпала свое отражение воздушными поцелуями, не забывая поглядывать по сторонам. Вскоре она рассталась с драгоценным одеянием, спрятала все в свой шкафчик, кое-как затолкала раскиданные вещи в комод и, безмерно счастливая, побежала к Сэму рассказать о своих находках.

Дома в тот день не было ни души. Лишь Джесси варила на кухне варенье из малины, но отлучиться никуда не могла — вдруг убежит ароматная пена и зальет огонь. Поэтому никто не видел, как Хэн спустилась с парадного крыльца в сад, на ней были светло-сиреневые

чулки и серый корсет Розамунд Мэри, перетянутый красным поясом. Ее свадебные туфли тоже пригодились. Хэн горделиво (насколько позволяли высокие каблуки, то и дело норовившие подвернуться) прошествовала к ивам. Она также позаимствовала у Розамунд Мэри вечернюю бархатную накидку, отороченную мехом,— она тянулась по траве длинным шлейфом.

Хэн раздвинула ветки плакучих ив, зрители — Сэм и братья — были уже в сборе. Мальчики вытаращили глаза от изумления. Неужели эта юная, столь шикарно одетая особа — их Хэн! Сэм захлопал в ладоши и захохотал так, что слезы на глазах выступили.

Хэн сбросила свою (или почти что свою) накидку, церемонно поклонилась, улыбнулась зрителям, особенно Сэму, послала им воздушные поцелуи.

За неимением конферансье ей пришлось самой объявлять свой выход.

— Мадемуазель Делиция покажет свое всемирно известное сальто. Его наблюдали августейшие особы Европы, германский император потерял дар речи, а русский царь чуть не упал в обморок.

Сэм снова захлопал в ладоши, а Хэн проворно забралась на дерево. Уцепившись ногами за верхнюю ветвь, она повисла вниз головой. Чулки сползли, красный пояс оказался уже не на талии, а на груди. Мадемуазель Делиция безуспешно пыталась исправить положение, но, отчаявшись, прошипела: «Да провались ты!» — и пояс полетел вниз, зацепился за ветку и остался немым свидетелем трюков отважной акробатки.

Немного погодя мадемуазель объявила, что «совершит небывалый полет из-под купола цирка, прославивший ее на всех континентах». И выпрямилась во весь рост, наполовину скрытая листвой.

— Смотри, Хэн, глупостей не натвори! — озабоченно крикнул Сэм.

Но что ей до криков публики! К тому же программой совсем не предусмотрено, чтобы мадемуазель Делицию называли Хэн. «Небывалый полет» раньше она не совершала, но сейчас была уверена, что Сэм и братья ахнут от восторга и удивления, когда она пролетит по воздуху, плавно приземлится и грациозно, на цыпочках убежит за кулисы.

Она прыгнула и камнем полетела вниз — только листья зашуршали. Сэм вскочил на ноги, но подхватить ее не успел. Мадемуазель Делиция с глухим стуком ударилась о землю — словно мешок сбросили — и осталась неподвижно лежать.

Мальчики повскакали с мест, не сводя с сестры полных ужаса глаз. Сэм смочил руки в воде и приложил к лицу Хэн. Потом набрал воды в пригоршню и хотел побрызгать, но тут мадемуазель открыла глаза и огляделась.

— А почему... — начала она, еще не понимая, что случилось, почему у братьев и Сэма такие испуганные лица. Потом, шатаясь, встала на ноги.— Мне совсем не больно, Сэм! — Она даже рассмеялась, хотя впору было плакать.— Ничуть не больно! — И убежала.

Сэм снял старую фетровую шляпу и вытер пот со лба.

— Я уж думал, она руки-ноги переломала.— И облегченно вздохнул.

После падения мадемуазель Делиции никто не слышал больше о ее намерении стать циркачкой. Не боль и не страх были тому причиной. Наверное, Хэн поняла, что одного трико мало, чтобы стать акробаткой; задетое самолюбие подсказывало, что воздушные прыжки и полеты, как и арифметика, требуют особого, детям неведомого, волшебства.

Дня два спустя бабушка Сараги повела ее в церковь напротив на собрание миссионеров. Хэн слушала, как преподобный Перси Пейтон рассказывал о миссионерах-мучениках, и об ужасах, подстерегавших их, и о «закосневших в своем невежестве» китайцах.

— Знаешь, Сэм,— сказала она несколько дней спустя,— я буду миссионером.

— Да что ты говоришь! — В глазах Сэма снова мелькнула улыбка.

— Да, да! — Хэн смотрела серьезно и задумчиво.— Буду обращать в святую веру «закосневших в невежестве». Пусть мудрость Библии познают и в далеком Китае. Буду благородной. Буду мученицей. И погибну от меча желтолицего варвара.

— Да что ты говоришь! — удивился Сэм.

Глава девятнадцатая

Утром Хэн пришла в комнату к бабушке, чтобы поцеловать ее и пожелать доброго утра, и увидела, что та необычайно взволнована.

— Сегодня к нам приедет мой старый добрый друг капитан Крофорд! — воскликнула она.

Щеки у нее порозовели, глаза сияли, голос звучал молодо, задорно.

— Уильям Кодрингтон Крофорд, — прочитала она на письме, которое держала в руках, они слегка дрожали.— Он и сейчас подписывается как прежде, а ведь он капитан третьего ранга морского флота, капитан М. Ф. Уильям Кодрингтон Крофорд! Это звучит! Только подумать — мы росли вместе! Мы играли в саду у его бабушки в Плимуте, недалеко от верфи, я тогда не старше тебя была, выросли... он ушел в море. Но мы друг друга не потеряли. После долгих странствий он часто заезжал ко мне, а когда дедушка и я переехали из Англии сюда, Уильям и здесь меня навещал. Но последний раз это так давно было...

Хэн не знала, что сказать. Она была почти так же взволнована, как и бабушка. Сколько помнила себя, столько слышала в доме имя капитана. Бабушка десятки раз рассказывала ей, как они с ним играли в детстве под соснами у его бабушки в Плимуте, что отец его служил флаг-адъютантом у Нельсона, именно он дал сигнал, ставший потом знаменитым: «Англия ждет, что каждый ее сын исполнит свой долг!» О том, как в двенадцать лет он убежал из дома и не счесть сколько раз плавал вокруг света. Он помогал первым поселенцам составлять карту их острова — Земли Ван-Димена.

Плавал он на «Быстром», а как говорил Сэм, лучше корабля не сыскать. Сам он еще мальчишкой служил там на камбузе и исходил с капитаном вдоль и поперек все южные моря, как свои пять пальцев знал северо-западное побережье Австралии.

Сэм рассказывал, как у Малайского архипелага их чуть не сожрали акулы, как вместе с капитаном он гонялся за шхунами работорговцев, участвовал в племенных междоусобицах на Фиджи, терпел кораблекрушение у острова Ширт.

— И вот сегодня капитан приезжает,— повторила бабушка,— попроси, пожалуйста, Джесси, пусть поскорее принесет мне теплой воды. Пора подниматься. А на обед приготовим молодую баранину с зеленым горошком. Уильям очень ее любит. Запеку в тесте яблоки. Он всегда говорит: «Только лицемер может от них отказаться». А ты, Хэн, после обеда можешь не ходить в школу.

Довольная, Хэн понеслась на кухню к Джесси, пусть поскорее принесет бабушке теплой воды, а то совсем скоро приедет капитан Крофорд. По пути поделилась замечательной новостью с братьями, разбудила Розамунд Мэри и Питера, похвасталась, что ей разрешили не хо-

дить в школу после обеда и вместе с братьями отмечать приезд капитана Крофорда.

Конечно, на уроках ее мысли занимал лишь Кэп, как его величал Сэм. Она без умолку рассказывала Джеку и Минни, где побывал капитан, о его приключениях и подвигах. Неужели совсем скоро она своими глазами увидит капитана третьего ранга М. Ф. Уильяма Кодрингтона Крофорда? Для Хэн он был словно Улисс или король Альфред, о них только слышишь, но увидеть не удается.

Вернувшись в полдень из школы, Хэн с братьями уже застала капитана дома. Он сидел с бабушкой под большой сосной на лужайке, их кресла стояли друг против друга. Вокруг прыгали солнечные зайчики, пробравшиеся сквозь густые ветви. Старые друзья не спускали друг с друга глаз — не могли нарадоваться встрече — и вели тихий разговор.

Хэн, Тедди и Том остановились чуть поодаль, жадно разглядывая капитана.

Был он еще старше бабушки Сараги, белоснежная курчавая борода отливала серебром. Волосы тоже седые, а глаза — голубые, иногда они искрились, точно море в солнечный день. Голос густой и звучный, как удар гонга, смех — как приглушенный рокот волн. Одет капитан был в грубый темно-синий матросский костюм.

Разговаривая с бабушкой, он подался вперед, в волнении сжимая колючую ветку терновника. Ни за что не скажешь, что он несколько раз вокруг света обошел, за работорговцами гонялся, чуть в пасть акулы не угодил, с туземцами воевал, подумала Хэн.

Бабушка Сараги заметила детей и подозвала. Они подошли, тихие, присмиревшие, и любопытно им, и боязно.

— Это, Уильям, дети Розамунд Мэри,— сказала бабушка.

— Ну-ка, ну-ка! — И голубые глаза с искорками обратились на юных Бэрри.

— Ханна Фрэнсис,— представила бабушка Сараги. Хэн протянула руку, и капитан сжал ее в своей — кожа темная, морщинистая, дряблая, будто слишком большую перчатку надел.

— А это Тедди, ну и малыш Том, кстати, учти, второе его имя — Крофорд,— продолжала бабушка.

— Ладные ребята, Сара!

— Нравятся? — улыбнулась бабушка.

— А ведь они вполне могли бы быть не только твоими, но и моими внучатами.

— Ну что ты говоришь, Уильям! — На щеках и даже на шее у бабушки появился легкий румянец.

Хэн не поняла, как это они вполне могли бы быть не только внучатами бабушки, но и капитана. Но тот лишь засмеялся, и смех его не очень-то понравился Хэн. А может, я — подкидыш, подумала она. Всю жизнь она мечтала быть подкидышем. С ними всегда происходит самое удивительное. Вдруг в один прекрасный день окажется, что она — принцесса или что ей досталось богатое наследство. Куда лучше, чем быть просто Хэн Бэрри. Но капитан имел в виду и братьев, а как-то не верится, что Розамунд Мэри и Питер усыновили еще двух подкидышей.

— Ну, как у вас с географией, все в порядке? — спросил капитан Крофорд, повернувшись к ребятам.

— В порядке,— охотно откликнулась Хэн, географию она любила больше всех предметов.

— Ну, тогда скажи: где Килиманджаро?

Хэн лишь рот открыла — ну и ну!

На помощь пришла бабушка:

— Это нечестно, Уильям. Сам-то ты знал в ее возрасте? Лучше таких вопросов не задавай, а то скажу Хэн, пусть спросит, сколько будет, если 456 полупенсов помножить на два.

Капитан Крофорд захохотал, запрокинув голову.

— Да я никогда толком не знал, сколько будет дважды два,— признался он Хэн и подмигнул, искорки в голубых глазах так и заплясали.

— Расскажите, как вас чуть акулы не съели,— пропищал Том.

— Про кораблекрушение,— вставил Тедди.

— Про даякских пиратов,— попросила Хэн.

— И расскажи уж, как юнгой на мачте сидел, а то ведь они не уймутся, замучают.

— Что, все подряд?

— Конечно! — кивнула бабушка, и все рассмеялись.

Капитан Крофорд глубоко вздохнул:

— Подряд так подряд. Только начнем с конца. Кажется, от перемены слагаемых сумма не меняется? Так вот... на мачте я сидел в наказание за то, что стравил свой завтрак.

— А кого вы стравили своим завтраком? — не утерпел Том.

— Ну, как бы тебе объяснить... Когда первый раз в море выходишь, что ни съешь — все рыбам достается. А я тогда только что ступил на борт сторожевика «Кент», и было мне двенадцать годков. Вышли мы из бухты, и в первую же ночь — штормяга. У вахтенных в те времена работы было хоть отбавляй. Только и слышишь: «Бросай лаг!», «Эй, там, на марсе, не зевать!», «Риф взять!», «Парус убрать!». А первый помощник на старом «Кенте» нрава был крутого, салаг и за моряков не считал. Крепко мутило меня в тот день, и надо же, застал он меня на корме с подветренной стороны, перегнулся я через борт... волнами любуюсь...

Все слушали капитана, уже не перебивая, и он продолжал:

— Как заорет: «Крофорд, бери подзорную трубу и мигом на стеньгу!» Каким жалким и ничтожным я сам себе тогда казался, знали б вы, мои дорогие. Полез, до верхнего салинга добрался, обвязался веревкой, тут меня как мотнет к фор-марсу, расшибет, думаю, и, верите ли, нет, в ту минуту я последний раз в море стравил. Посидел на верхушке мачты в бурном море и враз от морской болезни избавился. Да, мистер Куинси, старпом, был мне другом отменным, только я этого тогда не понимал. Еще раз погнал он меня на мачту, когда мы огибали мыс Горн, холод, вьюга, салинг весь в сосульках.

— Даже слушать спокойно не могу, каков негодяй этот офицер! — не выдержала бабушка.— Попробовал бы он сейчас так с ребенком обращаться! Да он просто зверь, Уильям! Не ухватись ты тогда, падая, за веревку...

— Врезался бы в пузо паруса, и вниз — в штормящее море.— Капитан посмотрел ей в глаза и улыбнулся.— Ты не меняешься, Сара. Помнишь, как ты плакала, когда я тебе об этом в первый раз рассказал?

— Что было, то было...

— А ведь тогда ты была маленькой девчушкой в белом платьице с нарядным пояском.

Бабушка улыбнулась, и снова они окунулись в воспоминания. Вскоре Джесси крикнула с крыльца, что обед готов, и все пошли в дом.

За столом разговор не умолкал, бабушка и капитан шутили, смеялись, а потом, когда они снова сидели под сосной, к ним присоединилась и Розамунд Мэри. Капитан рассказал, как их корабль «За короля»

потерпел крушение, как сам он чуть не попал в пасть акулы, как едва спасся бегством от даякских пиратов, а потом подружился с ними.

В радостной суматохе никто не вспомнил, что о приезде капитана нужно известить Сэма. Поэтому вечером капитан Крофорд решил сам пойти к нему. В провожатые выбрали Хэн, она была и горда и счастлива, что идет рядом с капитаном.

— Кэп! — радостно крикнул Сэм, разглядев получше спутника Хэн. Они крепко пожали друг другу руки, с минуту молча смотрели, и в глазах у них стояли слезы.

Потом капитан уселся на бревно, они с Сэмом закурили, и потянулся разговор о былых временах, кораблях, старых товарищах. Хэн сидела и молча слушала. Вот бы Дэна сюда! Он читал только пестрые засаленные книжки, в которых рассказывалось о кораблекрушениях, пиратах. Хотя ни капитан, ни Сэм не обращали на Хэн внимания, ей было не скучно сидеть и слушать. Но вот пришло время прощаться.

Капитан Крофорд поднялся. Сэм снова крепко пожал ему руку.

— Был рад снова повидать вас, сэр,— сказал он.

— Я тоже,— ответил капитан.

На небе уже загорались звезды, словно кто сыпал серебряные блестки. Хэн и капитан стали спускаться с холма.

В темноте дорогу было плохо видно, и старик держался за руку Хэн, то и дело под ноги попадали камни. Хэн чувствовала себя сильной и большой, ведь сейчас этот старый человек, совершивший на своем веку столько подвигов, идет рядом, опираясь на ее руку, дышит с трудом, и чем ближе к подножию холма, тем тяжелее шаг, тем прерывистее дыхание. Впервые в жизни Хэн остро ощутила всем своим молодым существом, что такое старость, словно вдохнула запах увядающей жизни, увидела, как безвозвратно уходят силы... А капитан говорил о звездах:

— Небо — это книга, нам ее и за всю жизнь не прочитать. Ты, голубушка, Ханна Фрэнсис, уж сколько учебников перелистала, а я даже одной страницы из книги небесной не выучил. Сколько лет прожил, а мало что знаю. Смотри, вон Млечный Путь! — И показал рукой. Хэн подняла голову — на юге по небу тянулась полоска алмазной пыли.— Да, голубушка моя, именно там!

Хэн пристально вглядывалась в звезды.

— Там миллионы других миров, Ханна Фрэнсис. А за ними еще миллионы, тех звезд и не увидишь. Знаешь, как-то небо взялись в глубину измерить, совсем как море, и подсчитали: звезд пятьсот в глубину будет, а то и больше.

Так вот, оказывается, какие они, звезды, ошеломленно думала Хэн, слова капитана доносились как в полусне:

— А некоторые так далеко, что их свет десять лет до Земли идет, а ведь он двенадцать миллионов миль в минуту проходит.

Цифры не произвели никакого впечатления на Хэн. Она лишь внезапно увидела себя и капитана крошечными муравьями, беспомощно ползущими по склону холма. В голове фейерверком вспыхивали только что услышанные слова. Раньше ей даже мысль не приходила, что есть другие звездные миры, и это открытие целиком захватило ее. Звездные миры... Звездная жизнь... звездные люди в алмазных и серебряных блестках...

Хэн присмирела. Капитан удивленно посмотрел на нее и, усмехнувшись, погладил по руке:

— Видишь, прямо над головой стоит Орион? Проведи линию от той звезды вниз и сразу его найдешь. Нет, не там. Сколько раз мы со старым другом Орионом встречались, сколько раз он ненастье пред-

вещал. Следи за моим пальцем. Вон те звезды — их семнадцать — будто силуэт человека, а в руке меч, пояс как из бриллиантов.

— Вижу! — обрадовалась Хэн.

— У моряков даже поговорка есть: кто по морю пройдет, ног не замочив? Конечно, Орион! А вот там Южный Крест. Ну и вызвездило сеогдня! А на Млечном Пути рядом с Угольком — так мы, голубушка моя, зовем то темное пятно, видишь, ни одной звезды нет.

Хэн отыскала и Уголек. Потом капитан показал ей Южный Крест.

— И там тоже вроде крест, да не тот,— он показал пальцем.— Созвездие Кентавра, есть в нем звезда Альфа, самая моя любимая. Чуть ниже Южного Креста. Я ее «голубым алмазом» прозвал. Где бы я ни был, всегда она мне путь домой указывала.

Хэн была очень довольна прогулкой, но бабушка, увидев, как устал капитан, встревожилась:

— Ишь как намаялся, нельзя же так!

Снова в глазах капитана заплясали голубые искорки.

— Ерунда, голубушка моя! Сил у меня хоть отбавляй — прямо сейчас на корабль да в море. Говорю Ханне Фрэнсис — засиделся я что-то на суше.

Дышал он хоть и часто, но уже не так тяжело.

— Душа-то у меня, Сара, по-прежнему молодая, а вот шпангоут да и другие снасти скрипят, сдают помаленьку.

Бабушка Сараги сделала ему яичный коктейль, но какой же это коктейль, если самого главного — рому — она не добавила.

— А я все-таки считаю, спиртное — наш главный помощник,— сказал капитан.— Помнишь, как я на собрании трезвенников выступал: «Опрокиньте стаканчик... не в глотку, конечно, а в сапоги, и вам любой мороз нипочем».

Пришел Питер, сказал, что экипаж ждет у калитки — он отвезет капитана в город. Немного отдохнув, капитан стал прощаться. У порога бабушка Сараги и капитан третьего ранга М. Ф. Уильям Кодрингтон Крофорд остановились, держась за руки.

— Мы часто были в разлуке, Сара, но эта, видать, будет самая долгая.

— Пожалуй, да,— проговорила бабушка.

— Как мы были дружны, Сара, как дружны!

— Уильям, дорогой мой!

— Сара, дорогая моя! — Он наклонился и поцеловал бабушке руку, повернулся и пошел, а бабушка, так и не опуская руки, смотрела ему вслед, в бледно-голубых глазах — нежность и тревога. Потом подошла к окну, отдернула штору: экипаж тронулся. Она провожала его взглядом, пока не исчез из виду желтый глазок фонаря на задке.

Глава двадцатая

— Хэн, а у тебя есть дружок? — набив рот малиновыми ирисками, спросила Минни Симпсон. Шел урок, им задали разобрать по частям речи строки:

Я встретил девочку в селе,
Ей восемь лет от роду.

На лбу Минни пролегла морщинка — чем-то озабочена. Худенькое личико, острый подбородок, светло-серые глаза, русые волосы — на ночь они завязывались скрученными прядками, тогда утром слегка вились.

— Без дружка никак нельзя! — убежденно продолжала она.— У всех девочек, если они не уродины, есть дружки. Только у тети Мег

нет, так она старая, Дорри говорит, ей скоро тридцать. А у самой Дорри целых три дружка. А если у тебя нет, все подумают, что ты уродина. У меня — Джордж Марсден, он уже в старшем классе учится.

Дорис Симпсон была для Хэн идеалом взрослой девушки. Красивая, нарядная, веселая, хорошо поет и танцует. Даже ходит словно пританцовывая. Однажды мисс Уитлер сказала миссис Джеймсон — Хэн сама слышала:

— В жизни таких кокеток, как Дорри Симпсон, не видела!

Что такое «кокетка», Хэн не поняла, но решила, что непременно ею станет, чтобы походить на Дорри. Будет так же причесывать волосы, носить белые фартуки, туфли и чулки, ходить с ярко-красным зонтиком. А как Дорри смеется! А как ходит — залюбуешься! Особенно летом: нарядное белое платье, зонтик, что маков цвет, мелькает меж деревьев, изящные парусиновые туфельки под цвет платья, без единого пятнышка.

— А я знаю, кто подошел бы тебе,— не унималась Минни.

— Кто? — Хэн даже дыхание затаила, интересно.

— У нас живет один мальчик, Фред Смит, тоже старшеклассник, он в другую школу ходит,— объяснила Минни.— Пожалуй, если ты напишешь ему письмо и попросишь стать твоим дружком, он согласится. У меня дома есть розовая бумага и конверт, после обеда принесу.

...За полчаса до начала дневных уроков она положила на парту Хэн сложенный вчетверо листок почтовой бумаги и розовый конверт — цветом что сосулька на рождественском пироге. И Хэн принялась за письмо.

— А о чем писать? — спросила она, уставившись на листок, както неловко, не знаешь с чего начать.

— Ты что, никогда любовных писем не писала?— удивилась многоопытная Минни.

— Никогда,— сконфузилась Хэн.

Минни стала диктовать, а Хэн, старательно выводя каждую буковку, записывала.

— Желчный, раздражительный тип,— Минни словно по книжке читала.— Но ты это не пиши. Лучше так: «Надеюсь, вы лучше, чем кажетесь».

Хэн выводила: «...желтый, раздражительный тип, надеюсь...»

— Вот глупая!— воскликнула Минни.— Про типа не надо! Зачеркни! Оставь «надеюсь, что вы лучше, чем кажетесь».

Она объяснила, что о желчности и раздражительности в любовных письмах упоминать не принято.

Ну, вот и готово. Хэн с гордостью смотрела на плоды своего тяжкого труда. В письме говорилось:

«Мой дорогой Фред!

Вы мне очень нраветесь. Хотите быть моим дружком?

Надеюсь, что ваша школа выиграет ригату.

Надеюсь, что вы лучше, чем кажетесь.

Обожающая вас Хэн.

P. S. Очень жду ответа».

— Дорри всегда пишет в конце: «Обожающая вас Дорри»,— со знанием дела сказала Минни,— а потом уж как полагается — P. S. Ну, давай сюда.

Минни решила лично доставить письмо, видно, дело нешуточное, подумала Хэн.

— Ну, что он сказал?— в нетерпении спросила она на следующее утро.

— Ничего не сказал,— ответила Минни и презрительно фыркнула.— В таких случаях не говорят, а пишут.

Но шли дни, а Фред не торопился отвечать.

— Стесняется, наверное,— предположила Минни,— мальчишки вечно стесняются. Я попрошу маму, пусть позовет тебя к нам в субботу на чай. Вы встретитесь, и он объяснится.

Наступила суббота, Хэн пришла в гости к Минни. Целый день они помогали варить повидло из малины и абрикосов, а когда позвали к столу, на веранде появился долговязый, неуклюжий парень.

— Это он,— шепнула Минни, и Хэн уставилась на него.— Пойдем на веранду, я вас познакомлю, а потом уйду. Так всегда делается.

— Привет, Фред!— крикнула она, когда они с Хэн подошли к веранде.— Познакомься: Хэн,— и легонько подтолкнула подругу.

Хэн даже не поздоровалась, она во все глаза смотрела на мальчишку: худой, землистое лицо, редкие волосы, бесцветные глаза.

Он стоял прислонившись к столбу, словно его ноги не держали. Короткие, до щиколоток, брюки свободно болтались на тощих ногах. Зубы наполовину «съедены», наполовину гнилые, с темным налетом. В петлице розетка с тремя ленточками: бордовой, желтой и голубой — цветами его школы.

Минни церемонно осведомилась о регате, в которой он участвовал, и собралась уходить. Хэн схватила ее за руку, но Минни сердито отдернула ее, и Хэн решила остаться, а то подруга еще больше рассердится.

Они с Фредом остались наедине. Тягостное молчание. Никогда еще Хэн не чувствовала себя так неловко. Наконец по круглому лицу Фреда побежали морщинки — предвестник улыбки. Он вытащил из кармана замусоленный клочок розовой бумаги. Хэн едва узнала свое письмо. Она смотрела на него и слова вымолвить не могла. Уж больно он застенчивый.

— Очень милое... письмецо,— сказал он и помахал листком.

Хэн стремглав выбежала с веранды.

Минни была на нее страшно зла. Разве так себя ведут? Она, Минни, как лучшую подругу учила ее, как себя вести с достоинством, а та взяла и опозорила ее. Больше разговор о дружках не заходил.

Но у Хэн нашлось утешение — новый сказочный принц. Минни она не стала о нем рассказывать. На этот раз принцем стал кузнечик-богомол, цветом точно засохшая ветка. Маленькие черные глаза-бусинки, длинные нескладные лапки.

То она находила его на стебле вереска, то — на кусте фуксии, где он охотился на еще более мелких насекомых. Обычно он сидел сложив передние лапки, точно в молитве, поэтому его и прозвали богомолом. Он словно взывал к небу, к высоким, стройным деревцам, ко всему живому на лесистых холмах — к кустам, букашкам, змеям, птицам, пчелам, мухам, цикадам, бабочкам: умоляю, помогите избавиться от моего уродливого обличья. Хэн увидела, как он молится, и поняла, что это заколдованный принц. Среди насекомых у него было много родственников, ярко-зеленых, тоже с глазами-бусинками, кое-кто с прозрачными крылышками. Но их Хэн не жалела. Они копошились в своем маленьком мирке, занятые своими маленькими делами, и были вполне довольны и своим видом и цветом.

Хэн сказала, что лучше дружить с заколдованными принцами.

Однажды, завидев ее в саду, Дэн Джеймсон крикнул:

— А я знаю, кто твой дружок!

Ведь вот сам лезет, никто его не задевает! Но Хэн было любопытно послушать про собственного дружка, и она приняла вызов.

Джейми Дэн, дуралей,
Кто, скажи-ка поскорей? —

насмешливо выкрикнула она.

— Джек Эндрюс, вот кто! Я точно знаю!

Вот тебе на! Хэн даже не нашла что ответить. Она скользнула с дерева вниз, чтобы расспросить Дэна, но тот, заподозрив какой-то подвох, исчез.

Хэн в голову не приходило, что Джек Эндрюс может быть ее дружком. Из мальчишек она знала его лучше всех, вместе всегда носились по холмам. Ну, а раз уж без дружка не обойтись, почему бы ей не выбрать Джека. Куда лучше, чем Фред Смит.

На следующий день Джек, Тедди, Том, Минни и Хэн играли в «охоту». Джек и Хэн были охотниками, остальные — зайцами. Джек и Хэн лежали уткнувшись лицом в траву — нужно сосчитать до ста и только потом гнаться за «зайцем» Джек жульничал — подглядывал, куда побегут зайцы, а Хэн была слишком занята своими мыслями и лишь ковыряла землю палкой.

— Джек, ты, наверное, женишься на мне, когда мы вырастем,— задумчиво сказала она. Джек поднял на нее глаза. Мальчишка он был коренастый, круглоголовый, на макушке — шапка, нос пуговкой, лицо веснушчатое, загорелое.

— С чего ты взяла?— спокойно спросил он, царственно раскинувшись на траве.— Вырасту, выберу жену красивую, вроде Минни.— Он снова принялся считать и подглядывать за «зайцами», которые не по заячьи, а скорее по-козьи прыгали с камня на камень далеко меж деревьями.

Хэн в ужасе уставилась на него.

— А я, по-твоему, уродина, да?

Раньше она никогда не задумывалась о своей внешности.

— Да уж не красавица!— с легким сердцем сказал Джек.

— Почему ж ты тогда никогда не берешь Минни в «охотники»?— воскликнула Хэн. Раз не хочет на ней жениться, нужно хоть узнать почему.

— Бегает она плохо,— признался Джек.— Но все равно, вырасту — женюсь на ней... Восемьдесят пять, девяносто, сто! Бежим!

И они понеслись по следам «зайцев». Ни один не ушел. Хэн поймала Минни и Тома, а Джек выследил Тедди. Увлекшись игрой, Хэн забыла, что ей говорил Джек. Только причесываясь перед ужином, она увидела свое лицо в зеркале и сразу вспомнила.

Подняла свечу, в зеркале сразу запрыгали тени, отблески пламени, но Хэн все же рассмотрела худое темное лицо, в глазах — нетерпение и страх, как у вспугнутого зверька. Брови подняты, рот приоткрыт, темные волосы сливаются с тенями. Хэн вспомнила Минни: у той лицо розовое, не знающее загара, волосы золотистые, глаза нежно-голубые.

«Я — уродина»,— решила Хэн про себя и поставила свечу на место.

На следующий день она, разумеется, пошла со своей бедой к Сэму. Он только что закончил складывать поленницу на просеке. Дерево еще жило, истекая душистой смолой. Весь склон усыпан щепками, бурой корой, пожухлыми листьями с уже мертвых деревьев. Стрекотали цикады, невидимые в густых, темных кронах эвкалиптов. Когда ветер шевелил блестящие, точно маленькие зеркала, листья, они отбрасывали солнечные зайчики.

— Сэм, а плохо быть уродиной?— спросила Хэн.

Тот выпрямился и задумался.

— Красота ведь от нашего взгляда зависит. Одно и то же можно и красивым и уродливым увидеть... Бывает, заглянешь в глаза, да так и застынешь — красота, или поймаешь улыбку и уже молиться на нее готов — красота. Во всем она: и в крылышке пчелы, в глазах птицы, в деревьях, холмах, в мужчинах, женщинах, детях. Но красота без любви — пустое. Любовь ее как солнце озаряет, солнце, что в нашей душе живет. Коли любишь, значит, и уродства нет никакого... Приглядись... красоту еще надо уметь замечать...

— А я красивая?— умоляюще спросила Хэн.

— Ты?— Сэм взглянул на нее и слегка улыбнулся.— Ты?— переспросил он.— Кто его знает. Для меня ты просто Хэн.

— Ну, а лицо, Сэм, лицо?— нетерпеливо выкрикнула она.

— Забавная закопченная мордочка...— начал было он.

Но Хэн уже и след простыл — невмоготу такое слушать.

Хэн знала, что мама Минни всегда закручивает той на ночь волосы, чтобы вились, и решила попробовать сама. Но Розамунд Мэри, увидев, что из этого вышло, велела ей расчесать торчащие клочьями пряди мокрой щеткой. И добавила, что если Хэн по утрам и вечерам станет расчесывать волосы, то они будут шелковистыми и блестящими. Но Хэн не верила — разве ее прямые каштановые волосы могут быть красивыми?

Минни говорила, что Дорри иногда мажет чем-то щеки, чтобы были румянее. Вот бы узнать чем! Однажды она увидела, как Джесси окунула старое хлопчатое платье в розовый крахмал и оно стало как новое. Хэн стащила комочек крахмала, пока весь не растворился. Цветом он напоминал школьную промокашку, но не беда. Хэн натерла на щеках два круглых пятна. Как у куклы, подумала она. Но зато теперь каждый скажет, что она — красавица.

— Что это у тебя на лице, Ханна Фрэнсис?— сурово спросила мисс Мартин, когда Хэн вернулась в школу с обеда.— Сейчас же пойди и умойся.

И Хэн пошла в сад к водопроводу, а вслед ей неслись насмешки ребят. Вернувшись в класс, она стала с тяжелым сердцем размышлять, за сколько же дней 10 пахарей вспашут поле в семьдесят акров, если известно, что 7 пахарям нужно пять дней на поле в 50 акров.

Кто ж это может знать, удивлялась Хэн. Наверное, в ответе надо написать, что все зависит от того, сильные ли пахари, хорошая ли земля. Если сильные — управятся быстро, если слабые — времени больше уйдет.

Но мисс Мартин сказала, что это не ответ, велела написать в цифрах. Хэн стала спорить: разве по цифрам определишь, какие пахари и что за поле. Мисс Мартин сказала, что у всех людей сила одинакова и каждый акр в поле похож на другой. До чего ж глупая наука, эта арифметика, в сотый раз подумала Хэн. Все семнадцать пахарей разные. Сэм говорил, что двух одинаковых людей не сыскать, а земля в холмах такая, что акр акру рознь, в этом Хэн была уверена.

Глава двадцать первая

Каждый год жители Холма устраивали выставку цветов и фруктов. Она проходила в деревянном с оцинкованной крышей доме за мостом. Как-то раз объявили: лучший букет лесных или полевых цветов, собранный детьми с Холма, будет отмечен призом.

В день открытия выставки Хэн поднялась чуть свет и побежала собирать цветы. Она рвала их с непокорных колючих веток вереска, что рос среди кустов папоротника, целые охапки — с кустов белой

сирени, срывала гирлянды белых и бордовых цветов ломоноса. Но особенно ей хотелось найти красный вереск — редкость в этих краях. Но попадались лишь стелющиеся по земле цветы огненной фасоли да мелкие, с розовыми бутонами «хлебные крошки», как их называли в этих местах,— тоже разновидность вереска. От них так вкусно пахло миндалем, надышишься в жаркий день — и клонит ко сну; бабушка Сараги говорила, что они дурманят, и не разрешала приносить домой.

Маленькими семьями росли разные орхидеи. Как они называются, Хэн не знала и давала им свои прозвища. В кустах, где рос ольховый молодняк, попадались «пауки» — зеленовато-белые орхидеи с длинными, нежных тонов лепестками-щупальцами. «Пауки» бывали и красными, но они прятались подальше от глаз. Правда, Хэн знала целое гнездо красных «пауков» вдалеке от дома.

Бледно-розовые орхидеи с бархатистыми рожками и красными язычками росли только на заливных лугах по берегам рек.

Зеленые, круглощекие, с матовым оттенком «гномы» жили среди мхов и папоротников. Стоило на них посмотреть, как сразу вспоминались сказки. А на полянах и меж деревьев на длинных ножках важно кивали своими плюмажами пурпурные «короли», а более скромные и мелкие орхидеи, растущие только поблизости от королей, она окрестила «королевами» — хитрые, знают, кого держаться.

Самые разные орхидеи попали к ней в букет: и длинные розовые «жирафы», и бледно-желтые, с тугими бутонами, распускавшиеся только в самый жаркий день, пахнущие розовой водой, и золотистые, с коричневыми крапинками, и обычные желтые, с плоской головкой «змеи», и «голубые дьяволята», которые внезапно появлялись, покрывая холмы голубым ковром, и так же внезапно исчезали.

Она срывала с деревьев и кустов длинные пряди сарсапарели, а рядом свисали гирлянды мелких темно-красных цветов гороха. С бездумной жадностью она ломала колючие ветки шафрана с оранжевыми и золотистыми цветами, досталось и лептоспермуму, пахнущему весной и свежестью, и цветам-мухоловкам с длинными мелкими лепестками; сотни обитателей цветочного царства лишились в то утро своего пристанища.

Хэн собрала целую охапку. «Медовые» цветки с коричневыми тычинками; «голубые ежики» — сами словно бархатные, в них — золотые иглы; были и похожие на блестящие пуговки на длинных стеблях; и мелкие голубые и желтые полевые цветы с остроконечными лепестками — они обычно появляются в конце весны, Хэн называла их «звездочки», потому что Розамунд Мэри всегда, когда видела их, тихонько декламировала:

Велеречивый рыцарь в замке рейнском цветы мне показал,—
В них злата блеск и неба синь, поверьте.
Хозяин замка те цветы назвал
Звездами, что в земной сияют тверди.

На время завтрака Хэн положила цветы в блюдо с водой. На лепестках застыли росинки, нежный аромат наполнил воздух, цветы будто дышали. До чего ж они красивы! Хэн даже о завтраке забыла. А за столом все рассказывала, где и какие цветы нашла.

Букет она составляла несколько часов. В центре — царственная семья орхидей, кругом — придворные, остальные цветы, по краям — стража; ветки папоротника. А каких только лиц нет при дворе—честные, высокомерные, бледные, изящные, застенчивые, стыдливые, наглые, хитрые.

Все в доме — Розамунд Мэри, бабушка Сараги, даже Джош с Джесси — восхищались букетом Хэн. Да и сама она прямо влюбилась в свое творение.

Прижать бы к груди всех столь милых ее сердцу, скромных жителей цветочного царства, так они сейчас хороши. Но Хэн даже не дотронулась до букета.

Она что-то шептала цветам, ласковые слова точно бабочки порхали над букетом.

Мисс Мартин сказала, чтобы Хэн с братьями в половине двенадцатого ждала ее у лестницы — вереницы шатких, старых ступенек, сбегавших с Холма,— она поведет их на выставку.

День выдался жаркий, на небе — ни облачка. У подножия Холма вся троица дожидалась мисс Мартин.

Вот, вихляясь и насвистывая, прошел Дэн Джеймсон. Увидел Хэн с букетом и засмеялся.

— Ну и веник!— крикнул он.— Получше ничего не могла найти! У Минни букет в сто раз лучше!

Хэн казалось, что она ждет мисс Элизабет Мартин уже целую вечность. Наконец та пришла. На ней было легкое белое платье, в руках — охапка цветов, завернутых в целлофан. Она сказала, что уже почти час и Хэн могла бы идти одна, не дожидаясь. Хэн взглянула на свои цветы: они безжизненно поникли. Первый раз решила быть послушной — и вот расплата!

— Не беда,— сказала мисс Мартин, посмотрев на цветы.— В воде оживут.

Хэн не очень-то поверила, но приободрилась, как-никак мисс Элизабет учительница, все знает.

Войдя в зал, где проходила выставка, Хэн поставила букет в припасенную ржавую жестянку из-под варенья, напоила цветы и побежала домой.

За обедом она говорила только о выставке Потом нарядилась в новое розовое платье из простой льняной ткани, волосы повязала лентой в тон платью. Братья надели белые матросские костюмчики с новыми голубыми воротниками, и все втроем отправились на выставку. Шагали они осторожно, чтобы не запачкать свои наряды — а ими ребята гордились чрезвычайно. А то придут на выставку грязные да чумазые.

Хэн не очень-то надеялась получить приз. Хорошо, если ее букет вообще заметят и похвалят, впрочем, на этот счет у Хэн сомнений не было. Когда она с братьями вошла в переполненный зал, то первым делом посмотрела, нет ли рядом с ее букетом красного или синего жетона, каким отмечаются лучшие. Нет. В зале было еще жарче, чем на улице, и цветы в ее букете, конечно, не ожили. Так и стояли они, на глазах у всех, поникшие и безжизненные, головки опущены, точно от стыда и горя: вот, оторвали нас от семей, от родных лесов, поставили в ржавую банку. Вокруг ходят чужие, неприветливые люди, глазеют.

Хэн тоже стало стыдно и больно за свои цветы. Из-за нее они сейчас терпят такое унижение. А призовой жетон лежал около букета Минни: редкие в этих краях алые цветы с западного побережья и золотисто-красные, что растут на заливных лугах да в низинах. Кузены Минни жили у реки. Вот и прислали ей целую корзину.

А над жалкими, увядшими цветами лишь посмеивались.

— Небось с прошлого года букетик-то стоит,— язвительно сказала какая-то женщина и засмеялась, не замечая Хэн.

Хэн возмущенно обернулась — это была миссис Джеймсон. Тогда она схватила свои милые, любимые цветы, ради которых поднялась

так рано, выскочила из зала и побежала вверх по Холму к Сэму. Нечего выставлять их на посмешище.

— Ну, посмотри,— чуть не плача от досады и горя, она протянула ему охапку увядших цветов.— Утром был такой красивый букет... Наверное, самый лучший... пока ждали-ждали мисс Элизабет у лестницы... Она опоздала... Жара страшная, вот цветы и умерли. А на выставке все смеются, я их и забрала.

Хэн бросилась ничком на траву и горько заплакала. Сэм немного помолчал, потом подсел к ней.

— Понимаю,— сказал он.— Отлично тебя понимаю. Очень обидно получать незаслуженные тычки и затрещины. Ты впервой с этим столкнулась. Но нужно смело встречать любые невзгоды и... побеждать их, не сгибаться, не раскисать. Только так, Хэн. Погрози жизни кулаком, скажи: «Тебе меня не одолеть! Ни за что!» Побьет, побьет тебя жизнь, да и отступится. Вот увидишь!

Но Хэн была безутешна, оплакивая всю королевскую цветочную семью, и придворных, и стражу, которые умирали у ее ног.

Глава двадцать вторая

Каждой зимой выдавалось несколько дней, когда природа буйствовала: дождь лил как из ведра, река взбухала, над холмами нависали низкие тучи. По вечерам по реке, крадучись, подбирался туман и обнимал город длинными молочно-белыми руками.

До вершины Холма туман обычно не доходил, он укутывал белым покрывалом лишь подножие. Хэн знала, что зима — это дождь, это когда не пускают гулять несколько дней подряд. Она любила дождь и прозрачные лужи на дорогах. В них отражалось небо, солнце, облака, высокая придорожная трава. А иногда в лужице можно было увидеть и лицо самой Хэн. Как-то даже не по себе. Смотришь, а на тебя из воды собственное лицо глядит, будто спрашивает: «А, это ты, Хэн? Чем занимаешься? Какого ты роду-племени? Далеко ли собралась?»

Хэн не любила разглядывать свое лицо и убегала, может, не хотелось на эти вопросы отвечать, а может, понимала, что у нее и ответов-то нет.

Пришла, уже в который раз, зима, подул страшный ветер, пошли дожди. С побережья стали доходить слухи о кораблекрушениях. Бабушка Сараги рассказывала, как рыбачьи лодки разбивались о скалы. Налетали ураганные волны, и причитали женщины и дети, оплакивая утонувших отцов, мужей, братьев.

А потом пошел снег, одел пурпурно-голубые горы в белое, чернели лишь перевалы, ведущие к долине Эск. Пушистый белый снег выпал и на Холме. Хэн с братьями прыгали от радости. Раньше они его никогда не видели, знали лишь по рассказам да книжкам. Они бросались пригоршнями снега, ели его, визжа от восторга, он холодил рот.

Сэм сказал, такой зимы на острове еще не бывало, а он жил в холмах не первый год. Долго не таял снег. Каждый день вьюжило. Маленькие шахтерские поселки совсем занесло, на лошадях не добраться.

Однако Сэму в его домишке жилось недурно. Он ходил по лесу в высоких рыбацких сапогах и непромокаемой куртке. Тряхнешь ветку — и тебя обдаст ледяными брызгами. Жухлая трава и папоротник почернели от влаги. Птиц почти не слышно, разве что на рассвете да на закате. Лишь сороки кричали в долинах, они появлялись сразу после дождя или снегопада.

— Ох и разольется же река!— сказал как-то Сэм, они с Хэн стояли на крутом берегу и смотрели на противоположный, пологий.— Помню, раз все луга на том берегу затопило. А людей сейчас не предупредишь. Так и будут сидеть до последнего по домам. А вода до крыш дойдет, сколько народу потонет!

...Спросонья Хэн услышала: звонят в колокол. Наверное, пожар приснился, подумала она. За рекой в деревянных домах пожары случались часто, и жители Холма не очень-то удивлялись, когда слышали колокол. Но утром к Хэн в комнату ввалились Тедди и Том.

— Хэн! Хэн!— кричали они.— Наводнение из берегов вышло!

Хэн вместе с ними бросилась на веранду. Там уже была Джесси, она-то и рассказала мальчикам о наводнении. А на другом берегу реки вместо привычных зеленых лугов и белых домиков — одна вода. Мутная, грязная вода, ни конца, ни краю, Хэн глазам своим не поверила.

— А где же дома?...— начала было она, но тут же вспомнила слова Сэма: «Вода до крыш дойдет, сколько народу потонет!»

Джесси накрывала на стол и плакала. В поселке Эск у нее было много знакомых. Там жили ее мать и сестра. Она собиралась сбегать узнать хоть что-нибудь об их судьбе, но тут в сад вошел Сэм, на руках он держал ребенка, закутанного в одеяло, и множество всяких коробок и свертков, рядом шли мать и сестра Джесси.

Джесси бросилась к ним, обняла мать. Та, рыдая, стала рассказывать, как им удалось спастись, как едва не утонули соседи. Сестра то и дело перебивала ее, и они, рассказывая, то смеялись, то плакали.

— ...У Эллен Росон ребенок утонул,— сказала миссис Бенсон.— Хороший такой мальчик, копия — отец, того опять ревматизм скрючил. Так малыша прямо из кроватки потоком унесло...

— Оглянуться не успели, а вода уж по шейку,— прогудела сестра.— Стоит Эллен, кричит как сумасшедшая. Тут ее и нашли.

— Только и спасли музыкальную шкатулку, что ваш дядюшка Джордж на рождество подарил, да новую подушку плюшевую.

— Из одежды ничего. Все, что есть, все на нас, Джесси!

— Курицу жалко, молодая такая, неслась хорошо. Вся птица пропала, а мне нужно яйца разносить — люди на полтора месяца вперед заказали.

— Господи, да скажи спасибо, что сама-то жива осталась!

— Люди на крышах сидели, молились, ждали лодок.

Лиззи, сестра Джесси, все время плакала и причитала. Ребенок непрерывно кричал. Бабушка Сараги сказала, что ему нужно поесть, да и миссис Бенсон с Лиззи неплохо бы подкрепиться. Джесси отвела их на кухню.

— Неужели все на самом деле так ужасно? — спросила бабушка Сэма. Тот лишь кивнул, потом сказал:

— Мне сказали, двадцать человек утонуло. В основном женщины да старики, кому с постели уже трудно подниматься. А сколько людей крова лишились... Ведь многие даже одеться не успели, и денег ни гроша. У старого Тома Стори жена утонула... Он все твердит, как маленький: «Ведь вот только что была здесь, и раз — исчезла куда-то... Я говорю: поторапливайся, мать, а то не успеем на лодку. А ее уж нет. Наверное за шкатулкой с деньгами под кровать полезла». Едва самого спасли. Вода уж по грудь была, когда мы его вытаскивали. А жену, говорим, может, другая лодка подобрала, может, уж ждет давно на другом берегу... Одна лодка с людьми перевернулась... Все потонули.

— Сэм, как же ты там оказался?— поинтересовалась Хэн.

— Я эту реку, как никто, знаю,— ответил Сэм.— Еще когда снег только начал таять, я уже неладное почуял. Спустился вчера вечером, сказал людям, что не нравится мне река, так надо мной только посмеялись.

— Это надо же! — сочувственно воскликнула бабушка Сараги.

— Давно уж наша река не разливалась,— продолжал Сэм.— А мне говорят: мы, мол, посты расставили, в случае чего в колокол ударим. А я сам стал следить за рекой с Крутых Гор. Заслышал, как она рокочет, увидел, столы да стулья несутся, живность всякая, так мигом — к мосту, давай в колокол звонить. Да еще не всякий из дому-то выйдет, откуда им знать, к чему весь этот звон. Все уж забыли, когда река последний раз из берегов выходила, вот и думали, что пожар где-то...

— Какой ужас!— ахнула бабушка Сараги. Сэм продолжал:

— Хорошо, что кто-то по улицам стал бегать, кричать: «Вода поднимается! Вода поднимается! Спасайтесь!» Лодки приготовили. Всех бы удалось спасти, если б старики за добро не цеплялись. Река ведь не ждет, враз поднялась. Оглянуться не успели, как лодки пригодились. Часть, правда, затонула, поток ведь целые деревья несет, ударит в борт — сразу пробоина...

Сэма била дрожь, он охрип и вымотался.

— Так вы не спали всю ночь!— воскликнула бабушка.— Сейчас же идите отдыхать,— и повела его, грязного и промокшего, прямо в свою комнату, велела снять куртку и сапоги. Потом сходила на кухню и принесла завтрак, который готовила Джесси. Заставила Сэма выпить большую чашку кофе, съесть тарелку каши и яичницу с ветчиной.

— Не беспокойтесь, право,— отнекивался Сэм, видя, как хлопочет бабушка, но сил у него осталось так мало, что даже говорить было тяжело.

Хэн сидела и во все глаза смотрела на него. Ведь Сэм — «герой дня».

Из своей спальни вышли Розамунд Мэри с Питером узнать в чем дело, и Сэм, а за ним и Джесси с миссис Бенсон и Лиззи поведали о случившемся.

Сэм пошел переодеваться, а бабушка Сараги позвала Хэн и попросила помочь ей.

Она собрала две корзины с хлебом, вареньем, бутербродами, сахаром, чаем, печеньем. Потом заглянула в комод, перебрала все белье и старую одежду, откладывая чулки, юбки, платья, шали, кое-что из теплых вещей. Хэн все старательно сложила и связала в узел.

Потом бабушка сняла с вешалки порыжелую от времени шелковую пелерину на теплой подкладке, накинула на плечи, застегнула пуговки на груди. Надела один из лучших своих чепцов — правда, Хэн его не любила,— завязала тесемки под подбородком. Руки у нее слегка дрожали.

— Надевай, Хэн, теплое пальто и красную шапочку,— сказала она.— Мы идем раздавать одежду и пищу пострадавшим от наводнения.

Глава двадцать третья

Мост между Холмом и Лонстоном был высокий, крепкий. Никакие наводнения не страшны, не то что раньше. Но когда Хэн с бабушкой переходили на другую сторону, вода стояла прямо под самым мостом, такого Хэн еще не видела. Мутная, коричнево-желтая, неистовая и сердитая, река мчала трупы утонувших животных, столы, телеграфные столбы, деревья.

Одну корзину несла бабушка, другую — Хэн.

За мостом они сели на омнибус и доехали до окраины, дома там стояли в низине. Прокатиться на омнибусе — всегда радость, в Лонстоне их мало, захочешь, так иной раз не дождешься. Хэн устраивалась у окошечка чуть ниже сиденья возницы, передавала ему деньги за проезд, смотрела, как меж крупов лениво трусивших откормленных лошадей мелькают дома, магазины. Лошади были в основном чалые и гнедые. Приятно сидеть на тряской деревянной скамье, покрытой красно-желтым ковриком, впрочем бабушке это удовольствия не доставляло.

Она вежливо здоровалась с пассажирами, беседовала о погоде, здоровье, о том, как все-таки ужасно трясет в омнибусе. Права Розамунд Мэри, она говорила, что каждая поездка с бабушкой — это «урок общения».

Хэн нравилось, что люди всегда охотно отвечали бабушке, делились с ней новостями. А крыша омнибуса вся была оклеена рекламными плакатами, Хэн всегда читала их, интересно, чей же чай «всегда к ее услугам» и должна ли она по-прежнему «пользоваться только мылом Пиэра»? Наверное, все эти предписания исходят от Самого Главного, непонятно, почему иногда взрослые не подчиняются?

...Они вышли из омнибуса и увидели, что в конце улицы, в низине, вода еще не сошла, хотя полностью затопило лишь дома на другом берегу. Улочка была узкая, «вымощенная», как говорила бабушка, камнем, белые покосившиеся дома жались друг к другу, точно старые гнилые зубы. Тут и нашли убежище люди из затопленных кварталов, у кого здесь жили друзья, у кого дом стоял неподалеку, люди надеялись, что скоро вода спадет.

Бабушка Сараги заходила в каждый дом, а Хэн ждала ее у порога. Из-за дверей доносился плач, возбужденные голоса. В одном доме Хэн увидела женщину, она лежала с ребенком на руках, прямо на полу, подстелив простыню. В другом — кашлял и без умолку говорил и говорил какой-то старик. Женщина укачивала мальчика — наверное, ровесник Тома, подумала Хэн. Он все время плакал, бабушка сказала, что он очень плох и вряд ли поправится.

Переходя из дома в дом, бабушка и сама уже едва сдерживала слезы. Вот обняла какую-то женщину, приговаривая:

— Бедная ты моя, бедная!

Хэн хотелось домой. Ей было не по себе среди этих переживших наводнение людей. Она представляла их совсем другими. Ведь наводнение случается в жизни раз, ну два, и этим нужно гордиться, а они почему-то плачут и сокрушаются о потерянном добре.

В полдень бабушка дала Хэн бутерброд, та сказала, что устала и хочет домой, но бабушке было не до нее, она лишь бросила:

— Не время еще. Дел много.— И пошла дальше.

Ребята из соседних домов окружили Хэн, стали разглядывать, дразнить, ведь она — чужак. Показывали пальцем на ее красное пальто и шапочку, смеялись. Обычно Хэн не смущалась в любой компании, а тут вдруг оробела.

Потом ее позвали играть в «салки» и в «классы», и таким образом все разногласия разрешились мирным путем. Хэн часто видела, как девочки на городских улицах играют в «классы», и ей не терпелось разгадать тайну начерченных мелом квадратов, для чего они вообще, почему нужно прыгать точно в центр? Розамунд Мэри пыталась охладить ее интерес. «Ну что это за игра, только башмаки рвать»,— говорила она. Но Хэн не успокоилась и сейчас решила не упускать случая.

Близился вечер, а она все прыгала, с упоением подталкивая ногой фаянсовый черепок, получалось уже хорошо, но тут пришла бабушка Сараги и сказала, что пора домой.

Корзины стали совсем легкими, но до Холма далеко.

— Когда нужно, никогда омнибуса не дождешься,— на удивление сердито сказала бабушка Сараги.

Добрались до моста. Бабушка присела на придорожный камень и развязала чепец.

— В жизни так не уставала,— призналась она и заплакала.

Немного отдохнув, бабушка Сараги встала и пошла дальше. Она опиралась на руку Хэн — тяжело взбираться на Холм,— и та была очень горда этим. Медленно поднимались они по извилистой нескончаемой дороге.

У калитки уже поджидала встревоженная Розамунд Мэри.

— Мамочка, дорогая! Ну куда же вы пропали? Мы с Питером уж собирались идти искать, страшно волновались.

Бабушка засмеялась, но голос у нее дрогнул:

— Что за ерунда! Будто я до города дойти не могу. Ходила же всегда, и ничего. Да и Хэн сейчас со мной, чего ж бояться?

Но видно было, как она с трудом, дрожа всем телом, опираясь на руку Розамунд Мэри, поднималась на крыльцо.

На следующее утро она снова хотела идти в город. Но едва держалась на ногах. Щеки жарко разрумянились, ее била дрожь, и хотя она чуть не поругалась с Розамунд Мэри, та ее никуда не пустила и не разрешила вставать с постели.

А еще через день послали за доктором. Он стал наведываться утром и вечером, высокий, худой, говорил — словно каркал и вообще был похож на птицу, фалды фрака напоминали ласточкин хвост. Сколько людей приходило проведать бабушку! Дверной молоточек обвязали старым чулком, чтобы не так громко стучал. В доме пахло льняным маслом и зеленым мылом.

Розамунд Мэри была сама не своя, тревожилась. Она неотлучно дежурила подле бабушки, потом пришла сестра-сиделка в белом накрахмаленном платье, переднике, в шапочке с длинными белыми крыльями и стала ухаживать за бабушкой. А Розамунд Мэри беспокойно ходила взад-вперед по коридорам, стояла под окнами бабушкиной комнаты.

Прошло три дня. И Хэн сказали, что бабушка Сараги умерла. Хэн не поняла. Слова прозвучали как-то обыденно. Джесси ходила по дому заплаканная, глаза у нее покраснели и опухли. В доме было тихо, все шторы опущены. Розамунд Мэри рыдала у себя в комнате, рядом на коленях стоял Питер, что-то ласково нашептывал, но и он не мог сдержать слез. И братья плакали. Одна Хэн лишь смотрела на всех широко раскрытыми глазами.

— Ну неужели ты не понимаешь — умерла бабушка! — сквозь слезы восклицала Розамунд Мэри.

— Что за ребенок, ни слезинки, разве такое может быть? — обратилась она к Питеру.— Мама так ее любила, и мне казалось, что для нее бабушка дороже всех! Неужели тебе все равно, Хэн? Неужели все равно? Пойми, наша дорогая бабушка ушла от нас насовсем... не вернется никогда, слышишь?

— А я не видела, как она уходила,— ответила Хэн.

— Завтра увидишь — мы проводим ее в последний путь,— сквозь слезы сказала Розамунд Мэри. Она прижала к себе мальчиков.— Питер, уведи ее и объясни как следует.

Отец взял Хэн за руку и повел в сад.

— Хэн,— ласково спросил он,— ты видела когда-нибудь подстреленную птичку на земле... То порхает, поет, а то лежит на земле. И ни летать, ни петь больше не может. Положишь ее на ладонь, а она не шелохнется... Мы говорим: умерла, потому что ни петь, ни летать она уже не может. Так и с нашей дорогой бабушкой.

Хэн недоверчиво взглянула на него. Отец встретил ее взгляд и смутился: не верит, по упрямому лицу видно, что не верит.

— Все живое смертно. И ты, и я, и братики, и мама — мы все когда-нибудь умрем. Только,— мягко добавил он,— если мы прожили жизнь как бабушка, праведно, то мы будем на небе, с ангелами, а птичка так и остается на земле.

— А разве не на небе?

— Нет.

— А почему?

— Потому что у нее нет души.

— А почему нет души?

— Бог не наделил.

— Почему?

— Не знаю. Наверное... потому что... Нет, не знаю. Не следует задавать таких вопросов. Пути господни неисповедимы. И спрашивать, откуда что, мы не вправе. Нужно просто верить, что все — для нашего блага. Понимаешь?

— Да,— кивнула Хэн, хотя в голове у нее вертелись тысячи вопросов. «Эх, папа, не под силу тебе, видно, на все ответить либо просто не хочешь. Ладно уж, так и быть, не стану тебя мучить».

Отец пошел к дому, Хэн не спеша — следом.

Джесси рыдала, уронив голову на кухонный стол.

Хэн зашла на кухню. Единственное место в доме, куда прорывался солнечный свет, здесь хорошо, а повсюду полумрак и тишина, лишь слышны легкие шаги, прерывистое дыхание да сдавленные рыдания.

Вот на пол упала тень, в дверях появился Джош. Нескладный, расстроенный, опухший от слез, они так и катились по щекам.

— Вот беда-то... Вот беда-то, Джесс.— Голос у него сорвался.

Джесси взглянула на него. В глазах — слезы, мольба и отчаяние, и в помине нет былой своенравной и ехидной Джесси.

Джош неуклюже тронул ее за руку. Она не шевельнулась. Он нерешительно привлек ее к себе, обнял. И Джесси зарыдала у него на груди, от его зеленой куртки пахло землей, овощами и табаком, в ней же он обычно гулял с бабушкой по саду.

Глава двадцать четвертая

Четыре дня Хэн ждала бабушку, вот-вот раздастся ее голос, задорный, молодой смех, шорох ее платья; вот-вот появится в коридоре, кладовке или в саду около роз.

А может, она за домом, как всегда, сидит, вяжет, посмотрит на Хэн лучистыми глазами и скажет:

— Ну, как дела, моя ягодка? — Или: — Чем-то сейчас моя кисонька занимается?

Вот найдет она бабушку, уж тогда посмеется и над Питером, и над Розамунд Мэри. Но шли дни, недели, а бабушка не находилась, не видно, не слышно ее, хотя иногда Хэн была почти уверена: вот она в соседней комнате, или за дверью, или у окна.

Розамунд Мэри, вспоминая бабушку, всегда говорила «была». А ведь так говорят о том, что прошло, неужели папа с мамой правы? Она ушла, или, как они говорили, «умерла». На сказку, которой пугают детей, не похоже. Бабушка ушла и больше не вернется, но ведь

всегда возвращалась, когда уезжала в гости к друзьям или бабушке Шарлотте-Елизавете.

Смерть, ее тайны, траур, скорбь, белые, сладко пахнущие цветы, рассказы о загробной жизни, о светлом небесном царствии после мрачной жизни земной — все это промелькнуло перед Хэн как картинки в книжке. Розамунд Мэри показывала ей нарисованных ангелов с большими крыльями и молитвенно сложенными руками. Они летели, точно балерины, вытягивая стопы, а по бокам у врат небесных витали другие ангелы. Розамунд Мэри объяснила, что бабушка, покинув землю, тоже преступит эти врата, о них часто пела Джесси.

Хэн сказка понравилась. Но что такое смерть, она все же не поняла.

Несчастье, постигшее семью, на ней, казалось, не отразилось. Все так же, как и при бабушке, она смеялась, будто та никуда и не уходила. Конечно, Хэн не хватало бабушки, она тосковала по ней, мечтала увидеть и поговорить. Причем тоска ее оказалась долговечнее траура Розамунд Мэри.

Хэн всегда вспоминала ЖИВУЮ бабушку, порой мы говорим об умерших как о чужих или едва знакомых людях. А в душе Хэн бабушка так и продолжала жить, как и в те времена, когда учила внучку вышивать, выводить палочки и крючочки, читать на память стихи ее любимого Спенсера.

Ну как могла бабушка уйти и не проститься с ней! Хоть бы сказала, куда уходит. Все думали, что Хэн легко перенесла это горе, а она страдала, да еще как! Неясные, тревожные мысли бередили ее детскую душу, а взрослые были уверены, что она забыла бабушку.

Глава двадцать пятая

Когда погожим, солнечным утром родители сами предложили Хэн и братьям отправиться вместо школы на пикник к ручью, детям и в голову не пришло, что делается это не для их забавы, а по необходимости, просто Питеру и Розамунд Мэри нужно, чтобы детей дома не было.

Непонятно, почему Джесси намазывает хлеб вареньем, кладет в корзину и при этом тяжело вздыхает. Хэн взяла один бутерброд, с одного бока он пропитался влагой — может, это слезы Джесси, а может, просто вода с салатных листьев — в них заворачивали бутерброды.

Но Джесси и впрямь плакала, а когда на прощанье поцеловала детей, то — случай небывалый — сказала: «Играйте вволю, домой особо не торопитесь».

В школу разрешали не ходить разве что в самый дождливый день или когда простудишься, что с юными Бэрри случалось нечасто. А сейчас... Наверное, думала Хэн, Розамунд Мэри и Питер решили «начать новую жизнь», и отношение к школе переменилось. Родители часто говорили, что ей пора «начать новую жизнь», но Хэн никак не думала, что и взрослые играют в эту игру.

Лишь к вечеру дети устало побрели домой — набегались за день. Вдруг Хэн увидела, как под гору спускается бакалейщик, а на тележке у него — кресло, обитое малиновым плюшем, из комнаты Розамунд Мэри, она им очень гордилась. Сама вышила на спинке узор: по белому шелку — пурпурные страстоцветы, зеленые листья и красивые завитки.

Для детей это кресло было святыней. Садиться на него не разрешалось, а когда несведущий гость удобно располагался в нем, попирая страстоцветы и листья, дети не могли спокойно смотреть на такое святотатство. Том раз даже не разрешил сесть миссис Джеймсон, он

объяснил ей, что это кресло — лучшее в доме и сидеть на нем достойны лишь люди вроде бабушки Сараги или капитана Крофорда.

Хэн терялась в догадках, как малиновое плюшевое кресло очутилось на тележке бакалейщика. Ребята заторопились домой. Нужно рассказать Розамунд Мэри. Не верилось, что у кого-то еще на Холме могло появиться такое же замечательное кресло.

Но вот мимо проехала еще одна тележка. Джордж Смидерс — он служил у мясника — понукал рыжего ослика, придерживая одной рукой шифоньер, дети привыкли видеть его в столовой у стены. За шифоньером виднелись стулья, тоже из столовой, они подпрыгивали на ухабах, а Джордж Смидерс лишь лихо насвистывал, и тележка катилась вниз.

Все ясно: пока их не было, дом ограбили. И все трое что было духу понеслись домой. Они были так взволнованы, что не заметили беспорядка в саду, красного флага у калитки. Первым делом нужно разыскать Розамунд Мэри. Хэн нашла ее в опустевшей гостиной. Она сидела на колченогом тростниковом стуле, закрыв лицо руками.

— Мам, не волнуйся,— радостно закричала Хэн, наверное, та расстроена из-за того, что грабители унесли почти всю мебель.— Мы их видели! Эдди Гроган увез красное кресло на тележке.

— А еще... а еще...— начал было Том.

— Смидерсы украли шифоньер и стулья,— закончил Тедди.

Розамунд Мэри опустила руки, в глазах мелькнула улыбка. Она переводила взгляд с Хэн на Тедди, с Тедди на Тома, видно не знала, что сказать.

На пороге появилась суровая Джесси.

— Мисс Хэн, ужин готов! — сказала она.— Ну-ка, марш за стол!

— Мам, давай я схожу к мистеру Долану, он сразу же велит Эдди и Джорджу все вернуть,— шепнула Хэн.

— Хэн, доченька, никто нас не грабил,— ответила Розамунд Мэри.— Мы продали мебель. Это называется аукцион.

Хэн непонимающе смотрела на нее во все глаза. Братья рты пораскрывали от удивления.

Джесси поспешила спровадить их на кухню.

— Какао остынет,— проворчала она.— Ни за что разогревать не буду!

Хэн неотрывно глядела на мать. Значит, она сама отдала и кресло и шифоньер, то есть вещи, любимые и дорогие сердцу.

— Неужели и красное кресло отдала?— не поверила Хэн.

Розамунд Мэри лишь кивнула. Она не стала объяснять, что «продать» и «отдать» — совсем не одно и то же и почему пришлось расстаться с мебелью.

А Хэн уже представляла, как детишки Гроганов, толстые, круглые, как поросята, вечно сопливые — она всегда недолюбливала их,— забравшись с ногами на плюшевое кресло, трогают пурпурные цветы на белом шелке, забавляются. А ведь ни самой Хэн, ни Тедди так и не довелось посидеть в этом чудесном кресле. Тому, в виде исключения, разрешили один раз, когда он болел.

— Зачем?! Ведь хорошее кресла не бывает! — разъяренно прошептала Хэн.

— Ну что ты, Хэн! — Розамунд Мэри удивилась гневу дочки.

— Не хочу, чтобы оно было у Гроганов! — крикнула Хэн.— Не хочу, чтобы его продавали! Это наше кресло!

— Ну, успокойся, доченька,— вздохнула Розамунд Мэри и устало откинула со лба волосы.— Я тоже не хочу, чтобы оно было у Гроганов! Мне и так больно, а ты делаешь еще больнее.

Глава двадцать шестая

Дня через три Розамунд Мэри уложила всю одежду в ящики, сняла картины, свернула ковры — обнажились безобразные стены. В тот день Хэн услышала в саду разговор матери с мистером Эндрюсом.

Мистер Эндрюс, бывало, приносил ей семена, черенки роз, и они склонялись над кустами, о чем-то советовались, но на этот раз они стояли около сирени, будто о ней и шла речь. Предзакатное небо окрасилось в желто-зеленоватый цвет, точно недозрелый лимон. Отчетливо вырисовывалась каждая кисть сирени, каждая звездочка.

Мистер Эндрюс смотрел на Розамунд Мэри, так же как в свое время на бабушку Сараги, когда та просила не бить Джека. Хэн тихо, бочком, подошла поближе к матери и остановилась.

Розамунд Мэри улыбалась мистеру Эндрюсу, хотя в глазах стояли слезы.

— Не знаю, как и благодарить вас, мистер Эндрюс,— услышала Хэн,— за вашу заботу. К кому бы еще я обратилась в трудную минуту.

— Какая там к черту забота,— грубо перебил мистер Эндрюс.— Вы ведь и представить не можете, что мне давало общение с вами... с вашей матерью... да и сынишке тоже. Иной раз крепко себя ругаю, что не слушал ее, сколько раз она просила меня быть добрее.

— Да, я знаю,— пробормотала Розамунд Мэри. Хэн подалась вперед, пытаясь лучше разобрать слова. Наверное, мистер Эндрюс вспоминает, как бабушка умоляла его не бить Джека.

— Я за вашего мужа как за брата родного переживаю,— продолжал мистер Эндрюс,— особенно сейчас, когда он в беде.

— Спасибо,— тихо сказала Розамунд Мэри.

— Вот еще что... — замялся было мистер Эндрюс, но потом, видно, решился: — К сожалению, я связан делами с фирмой, которая так обошлась с вашим мужем, и я... и я... знаю о вашем положении, пожалуй, больше, чем следовало бы. И хочу предложить вам одну сделку.

— Сделку? — удивилась Розамунд Мэри.

— Да, того требует совесть.

Розамунд Мэри всматривалась в грубое лицо, стараясь понять мистера Эндрюса, а он продолжал:

— Со своей стороны я обязуюсь не подвергать сына телесным наказаниям, но за это вы должны... оказать мне честь... и в знак искренней дружбы... принять пару сотен фунтов... Они хоть немного помогут... Я ведь знаю, как вам сейчас несладко... а у мистера Бэрри и других забот хватает...

— Что вы, мистер Эндрюс! — Мать поправила волосы, и Хэн увидела, как дрожит ее рука. Но в голосе уже слышались веселые нотки: — Разве можно отказаться от такой сделки?

— Пожалуй, что нет,— кивнул мистер Эндрюс.

Розамунд Мэри помолчала, потом заговорила вновь:

— Но я внесу дополнение. Не скрою, сейчас деньги — основной источник наших бед. Но пока мы кое-как перебиваемся. А в Мельбурне мужу обещали хорошую работу. Но если... вы выполните свое обязательство, то я обещаю в крайнем случае — например, муж заболеет — обратиться к вам за помощью как к близкому другу.

— Я тронут! — Мистер Эндрюс протянул руку, и Хэн почувствовала, как вздрогнула мама от крепкого рукопожатия.

Калитка за ним захлопнулась, сухо щелкнула щеколда, и вскоре массивную фигуру мистера Эндрюса было уже не различить в надвигающихся сумерках.

Хэн никак не могла понять, что к чему. Мистер Эндрюс говорил так, словно жалел Розамунд Мэри, а та почему-то благодарила его.

Потом она пересказала их разговор Питеру и о «двух сотнях фунтов» упомянула. Хэн видела, как они улыбнулись друг другу.

Все, что поняла Хэн из беседы: Джека больше не будут лупить.

— Мама была бы очень рада,— воскликнула Розамунд Мэри.

На следующее утро Хэн рассказала Джеку, что его отец заключил с Розамунд Мэри сделку и что Джека больше не будут лупить. Джек не поверил. Так только в сказке бывает, решил он.

А Хэн вспомнила и куст сирени, и желто-зеленоватое небо с отблесками заходящего солнца. Вон стоит мистер Эндрюс и ее мать, две фигуры на садовой дорожке у калитки.

— Это не сказка, это все взаправду,— сказала она, словно думая вслух.— Только не знаю почему.

Глава двадцать седьмая

Заботы у отца с матерью, видать, и впрямь были нешуточные. После аукциона оба ходили задумчивые, на лицах появились горькие морщины — как справиться с бедой? Мебель с аукциона продали не всю, только лучшую, даже пианино Розамунд Мэри пошло с молотка.

Легкомысленное и довольное выражение у нее на лице исчезло. Она больше не сочиняла песенки в своем музыкальном уголке на веранде. И у Питера лицо было усталым и измученным, настроение — подавленным.

— И не стыдно тебе так огорчать меня? — в отчаянии крикнула как-то Розамунд Мэри, когда Хэн заупрямилась из-за пустяка.— Неужели ты не видишь, как нам с папой сейчас тяжело? Скоро нам придется отсюда уезжать. Папа потерял работу... не по своей вине, конечно... Наоборот, из-за честности и благородства... И вот приходится уезжать... — Она дрожала всем телом, голос прерывался.— Денег нет. А когда папа найдет работу — неизвестно. Нам даже жить негде... А ведь скоро у тебя еще сестричка появится... А мы голодные, холодные... — Она не договорила и горько, по-детски заплакала. Хэн изумленно смотрела на нее и чувствовала себя очень взрослой. Она вдруг впервые поняла, что горячо любит мать, ее лицо, шелковистые волосы, тронутые сединой...

Она обняла Розамунд Мэри и попросила:

— Ну не плачь! — Невыносимо смотреть, как она плачет, лучше самой шишек нахватать, и то не так больно будет. В глазах у Розамунд Мэри было отчаяние.

— А ты будешь всегда послушной? Нам ведь и так тяжело. А когда мы все вместе: папа, я, ты, Тедди и Том — нам никакая беда не страшна. Главное, чтобы мы любили друг друга, в этом — счастье...

Голос ее дрогнул, она замолчала.

— Но не дай бог, заболеет папа... И мы потеряем его, как бабушку... — Она взяла Хэн на руки и тихо заплакала.

Нет, такого просто не может быть! Хэн даже мысли не допускала, что то, что случилось с бабушкой, может произойти с кем-то еще. Ведь у папы нет седых волос, и он не такой старенький. Она наморщила лоб, Розамунд Мэри разгладила ее морщинки и спустила на пол.

— Иди, доченька, играй. И не думай о том, что я сказала. От таких мыслей быстро старишься, а я хочу, чтобы моя маленькая Хэн всегда была молодой... Хотя порой мне бывает одиноко; с тех пор как бабушка ушла, мне не с кем поговорить по душам.— Она ласково улыбнулась — исчезли тучи, дождь прошел, выглянуло солнышко. Хэн выбежала из комнаты.

Но что-то в ней изменилось. Словно спала завеса, и Хэн увидела длинную дорогу лет, а по обочинам густой лес — большие и малые события, наполнявшие эти годы, теперь все они ожили, заговорили. Хэн казалось, что голова вот-вот лопнет от нахлынувших мыслей. Она сейчас и себя видела будто со стороны, как давнюю-давнюю подружку. Слова Розамунд Мэри снова и снова вспыхивали в мозгу: «Денег нет... жить негде... сестричка появится...»

Неожиданно для себя она оказалась у домика Сэма. Но не застала его. Она забралась на поленницу и стала ждать. На нее вдруг накатила огромная волна — любовь и нежность к своим домашним. Только «появление сестрички» немного пугало.

Что бы для них всех сделать — для папы с мамой, братьев, будущей сестренки. Хэн двенадцать лет. Чем может помочь двенадцатилетний человек взрослым? Ничем. Ее охватил страх и отчаяние. Она вдруг ощутила, какое это бремя — ответственность за близких.

Обдумав, казалось, все, она пришла к выводу: нужно ждать, пока вырастешь, нужно учиться, нужно много знать, чтобы помогать Розамунд Мэри, Питеру, братьям, сестричке.

Сэм пришел лишь к закату. Видно, очень устал. Хэн поняла, что сейчас не время для разговора, незаметно слезла с поленницы и побежала домой.

Наутро она пришла снова. Мысли в голове бродили, словно молодое вино. Долго она смотрела, как Сэм работает. Наконец, окликнула.

— Знаешь, Сэм, а мы уезжаем! — сказала она.

— Да вроде бы знаю,— неторопливо ответил тот.

— Мы уезжаем,— повторила Хэн, разве может что быть важнее! — Мы уезжаем... У нас нет денег... нам негде жить и... — Столько мыслей нахлынуло разом, не знаешь, что сперва сказать.— И... я уже больше не сею лебеду на берегу, как ты говорил,— вдруг выкрикнула она; словно раскрылся кокон и из него вылетела бабочка — так же внезапно повзрослела и Хэн, сбросила с себя кокон детства.— Я раньше жила, ни о чем не думала, не беспокоилась... просто жила... делала только себе приятное... а сейчас я хочу другим помогать. Хочу...

— Ты сама до всего этого дошла?— спросил Сэм. Хэн кивнула.

— Я все думала, думала,— стала рассказывать она,— ну что я сейчас могу? Нужно много знать, выучусь, вот тогда...

— Это верно,— согласился Сэм.

И наступила тишина, лишь шептались листья да ворковал ручей.

— Я... проснулась! — крикнула Хэн.

Она стояла и внимательно, чуть застенчиво смотрела на Сэма: вот она новая Хэн, вот она Я. Потом побежала с Холма вниз.

В низине собрался туман. Сэм проводил девочку взглядом. Она обернулась: стоит Сэм в выгоревших брюках, словно сухое дерево на фоне темного леса. Она знала, о чем он думает: бежит с холма девочка, бежит в огромный незнакомый мир, о котором они столько беседовали. И все ее радости, заботы и горести — впереди.

■

БАГРОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1946 г.).

Советский переводчик с английского. Переводил произведения Юдж. Нелсона, Карсон Маккаллерс, Уильяма Сарояна, Скотта Фицджеральда, Трумена Капоте, новозеландского писателя Вити Ихимаэры («ИЛ» № 9, 1977).

МАРИО ВАРГАС ЛЬОСА

Тетушка Хулия и писака

РОМАН

Перевод с испанского Л. НОВИКОВОЙ

X

Трагедия Лучо Абриля Маррокина, молодого коммивояжера, рекламирующего медицинские препараты, которому все предрекало обнадеживающее будущее, началась в солнечное утро в окрестностях истоического городка Писко [1]. Юноша только что закончил свои визиты. Вот уже десять лет — с тех пор, как им была избрана эта бродяжная профессия,— он объезжал города и селения Перу, посещая врачебные кабинеты и аптеки, вручая образцы лекарств и проспекты «Лаборатории Байер». Лучо Абриль Маррокин собирался вернуться в Лиму. Посещение медиков и провизоров городка заняло у него около трех часов. И хотя в авиагруппе № 9, в Сан-Андресе, служил школьный друг, ныне капитан, в доме которого юноша обычно обедал, приезжая в Писко, на этот раз Лучо решил незамедлительно поехать в столицу. Он был женат на белокожей девице с французской фамилией, и его горячая кровь и влюбленное сердце толкали к скорейшему возвращению в объятия жены.

Было чуть за полдень. Новенький «фольксваген», приобретенный в кредит одновременно с брачными узами — это было три месяца назад,— ждал юношу на площади под развесистым эвкалиптом. Лучо спрятал чемоданчик с образцами и проспектами, снял галстук и пиджак (согласно швейцарским нормам фирмы, коммивояжеры обязаны ходить в пиджаке и при галстуке, дабы создавать впечатление респектабельности) и окончательно решил не заглядывать к другу-капитану. Вместо обеда он предпочел перекусить чего-нибудь полегче, а то с перегруженным желудком можно задремать, пока целых три часа едешь по пустыне.

Лучо пересек площадь, направляясь к кафе-мороженому «Пиаве», заказал итальянцу бутылку кока-колы и персиковое мороженое. Глотая спартанскую закуску, он вовсе не думал о прошлом этого южного порта страны, не вспоминал о высадке героя Сан-Мартина и его Освободительной армии. Он думал (о, эгоизм и чувственность распаленного мужчины!) лишь о своей нежной женушке, почти что девочке, белокожей, с голубыми глазами и золотыми локонами, и о том, как под романтическим покровом ночи она умела вызывать в нем трепет наслаждения, достойного Нерона, напевая на ушко со стонами томной кошечки песенку под названием «Мертвые листья» на сугубо эротическом языке (французский язык чем менее понятен, тем более возбуждает). Почувствовав, что брачные воспоминания начинают нервировать его, Лучо стал думать о другом, расплатился и вышел.

На ближайшей бензоколонке он заправился горючим, залил в радиатор воды и поехал. Несмотря на то что в этот час солнце уже палило и улицы были пустынны, Лучо вел машину медленно и осторожно, думая не столько о безопасности пешеходов, сколько о собственном желтом «фольксвагене»: после блондинистой француженки светом его очей был автомобиль. Мысленно он проследовал по пути своей жизни. Ему уже двадцать восемь лет. По окончании колледжа он решил работать — слишком непоседлив был для университетских занятий. Лучо поступил в «Лабораторию», сдав только один экзамен. За десять лет он преуспел и по службе и в окладе, да и работа была не скучной. Он предпочитал действовать на свободе, а не корпеть за письменным столом. Однако теперь уже невозможно проводить всю жизнь на колесах, оставляя нежный цветок Франции в одиночестве в Лиме. Известно, что столица кишит акулами, которые всю свою жизнь охотятся за сиренами. Лучо Абриль Маррокин переговорил со своими патронами. Они ценили его и поддержали просьбу: ему пред-

---

Окончание. Начало см. в № 11.

[1] Высадившись на перуанскую территорию близ этого тихоокеанского портового городка в сентябре 1820 г., вождь национально-освободительного движения в Южной Америке, аргентинский генерал Хосе де Сан-Мартин начал военные действия против испанских роялистов, завершившиеся провозглашением независимости Перу в 1822 году.

стояло провести в разъездах еще лишь несколько месяцев и в начале будущего года получить место где-нибудь в провинции. Доктор Швальб, немногословный швейцарец, уточнил: «Место, которое явится продвижением по службе». Лучо Абриль Маррокин не мог отказаться от мысли, что, возможно, ему предложат возглавить филиал фирмы в одном из таких городов, как Трухильо, Арекипа или Чиклайо. О чем еще можно мечтать?

Лучо выезжал из города по шоссе. Столько раз он уже ездил по этому пути — и на автобусах, и в маршрутках, и сидя за рулем, и в качестве пассажира,— что знал его наизусть. Черная лента асфальта терялась вдалеке, среди лысых холмов и песчаных отмелей, на ней не было видно ни единого сверкающего пятнышка, свидетельствующего о наличии средства передвижения. Перед Лучо катился старый и дребезжащий грузовик. Коммивояжер уже собирался обогнать драндулет, когда различил мост и перекресток, где Южное шоссе, раздваиваясь, прощается с другой дорогой, направляющейся к горной цепи, к отливающему металлом хребту Кастровиррейны. Из осторожности, присущей человеку, обожающему машину и уважающему закон, Лучо решил повременить с обгоном грузовика до развилки. Грузовик шел со скоростью не более пятидесяти километров в час, и Лучо Абриль Маррокин, смирившись, сбросил скорость и установил между двумя машинами дистанцию метров в десять. Приближаясь, он уже различил мост, развилку, хилые строения вокруг — киоски с напитками, сигаретами, дорожный пост, силуэты людей (лица их он не разглядел против света), бродивших вокруг хижин.

Девочка появилась внезапно. Она будто вынырнула из-под грузовика в тот момент, когда «фольксваген» только что пересек мост. В памяти Лучо Абриля Маррокина навсегда запечатлелась фигурка, вдруг возникшая перед ним на дороге,— испуганное личико, взметнувшиеся руки. Как брошенный камень, тело девочки врезалось в капот машины. Все случилось столь неожиданно, что Лучо не успел ни затормозить, ни свернуть в сторону. Все это было уже после (вернее, в начале) катастрофы. В полном оцепенении, испытывая странное ощущение, будто это происходит с кем-то другим, Лучо услышал глухой удар тела о бампер, увидел, как оно взлетело, описало кривую и упало метров за восемь — десять от машины. Лишь тогда он затормозил, причем так резко, что руль ударил ему в грудь. В растерянности, бледный до синевы, оглохший от шума в ушах, он быстро вылез из «фольксвагена» и побежал, спотыкаясь и думая: «Мерзавец! Я — мерзавец! Я убил ребенка!» Добежав до жертвы, он поднял тельце девочки на руки. Ей было лет пять-шесть, босая, плохо одетая, руки и колени покрыты струпьями от грязи. Крови не видно, но глаза девочки закрыты, и казалось, она уже не дышала. Лучо Абриль Маррокин, покачиваясь, будто пьяный, осматривал место несчастья, поворачиваясь то вправо, то влево, и кричал, обращаясь к пескам, к ветру, к далеким волнам: «Скорую помощь! Врача!» Как во сне он смотрел, что по дороге с горы мчится вниз грузовик, и еще подумал: машина превышает скорость, а перед ней — перекресток. И тут же Лучо увидел, что, отделившись от хижин, к нему бежит полицейский. Потный и задыхающийся, блюститель порядка спросил, глядя на девочку: «Без памяти или уже мертвая?»

Лучо Абриль Маррокин до конца своих дней будет спрашивать себя: что же он ответил тогда? Девочка была тяжело ранена или уже скончалась?.. Он ничего не успел сказать полицейскому, потому что тот, едва задав вопрос, вдруг изменился в лице от ужаса, и Лучо Абриль Маррокин оглянулся. Ему едва хватило времени, чтобы уяснить себе: спускающийся с горы грузовик, безумно ревя, несется прямо на них. Он закрыл глаза. Резкий удар вырвал из рук Лучо девочку, а самого его погрузил в звездную темень. Пребывая в каком-то мистическом оцепенении, он еще слышал жуткий рев, крики, рыдания.

Много времени спустя Лучо узнал: он был сбит грузовиком не потому, что существует извечная справедливость, неотвратимое торжество которой отражено в верной пословице «око за око, зуб за зуб», нет — у машины, спускавшейся от горных разработок, отказали тормоза. Лучо узнал также, что полицейский погиб на месте от перелома шейных позвонков, а бедная девочка — истинная дочь Софокла — во второй катастрофе (будто ей первой было недостаточно) не только умерла, но была буквально раздавлена (к удовольствию демонов и сатаны) двойными задними колесами грузовика.

Однако с течением времени Лучо Абриль Маррокин скажет: из всего поучительного опыта того утра самым незабываемым была не первая и не вторая катастрофа, но то, что наступило потом. Ведь, как это ни странно, несмотря на силу удара, из-за которого Лучо долгие недели пробыл в больнице для служащих, где восстановили его кости, изуродованные бесчисленными переломами, разрывами, вывихами и смещениями, коммивояжер не потерял сознания, разве что на несколько секунд. Открыв глаза, он понял: все случившееся действительно произошло, только потому, что от хижин — опять-таки против света — бежали десять-двенадцать, а то и пятнадцать юбок и брюк. Он не мог двигаться, но не ощущал и боли, только облегчающий душу покой. Лучо подумал о том, о чем уже незачем было думать: о карете «скорой помощи», о врачах, о сестрах милосердия. Все они были здесь, он даже пытался улыбнуться склонившимся над ним лицам. Но по ударам, уколам, тычкам и затрещинам он понял, что прибывшие к месту происшествия не стремились оказать ему пер-

вую помощь: с него сорвали часы, обчистили карманы, вытащили в драке бумажник, сорвали с шеи образок Пречистого Христа, который он носил со дня первого причастия. И тогда, полный изумления перед родом человеческим, Лучо Абриль Маррокин погрузился в ночь.

Эта ночь, несмотря на все принятые меры, была длиною в год. Вначале казалось, что катастрофа имела лишь физические последствия. Лучо Абриль Маррокин очнулся уже в Лиме, в крохотной больничной палате, перебинтованный с ног до головы и привязанный к спинкам кровати. Около него, как ангелы-спасители, несущие покой страждущему, стояли блондинистая землячка Жюльетт Греко и доктор Швальб из «Лаборатории Байер». Опьяневший от запаха хлороформа, Лучо почувствовал прилив умиления, и по его щекам побежали слезы, когда через марлевую повязку, покрывавшую лоб, он ощутил прикосновение губ супруги.

Сращивание костей, возвращение связок и мышц в надлежащие места, рубцевание ран — короче, восстановление того, что можно назвать телесной оболочкой,— заняло несколько относительно длительных недель, благодаря искусным врачам, исполнительным сестрам, преданной, как Мария Магдалина, супруге и солидарности патронов «Лаборатории Байер»; последние, кстати, проявили себя безупречно и с точки зрения участия, и в денежных пособиях. В больнице Лучо Абриль Маррокин, уже выздоравливая, узнал радостную новость: француженка зачала и через семь месяцев должна будет стать матерью его сына. Только после того, как он, покинув больницу, вернулся в свой домик в столичном районе Сан-Мигель и вышел на службу, обнаружились скрытые и тяжелые травмы, нанесенные автомобильной катастрофой его духу. Бессонница была самым легким из зол, одолевших его. Лучо проводил ночи без сна, бродил в потемках по дому, с сигаретой в губах, не в силах унять возбуждение. Он бормотал какие-то отрывочные фразы, в которых удивленная супруга различала неизменно слово «Ирод». Наконец бессонница была побеждена с помощью снотворного, но стало еще хуже: сон Лучо Абриля Маррокина то и дело посещали кошмары — он видел себя разрывающим на части свою еще не родившуюся дочь. Жуткие завывания Лучо вначале лишь пугали его жену, но дело кончилось тем, что у нее случился выкидыш. Возможно, плод был женского рода. «Сны сбылись, я убил собственную дочь. Я уеду в Буэнос-Айрес», — день и ночь мрачно твердил детоубийца.

Но и это не было самым страшным. После бессонных кошмарных ночей наступали жуткие дни. Со дня катастрофы в Лучо Абриле Маррокине зародилась животная ненависть ко всему, что снабжено колесами; он не выносил машину — ни как пассажир, ни как водитель, у него немедленно начиналось головокружение, рвота, он обливался потом, и голос его переходил в крик. Все попытки преодолеть эти симптомы оказались бесполезными, и вот в середине двадцатого века он вынужден был вернуться к образу жизни инкского периода, когда люди еще не знали колеса. Если бы речь шла только о пятикилометровом расстоянии, отделявшем его дом от «Лаборатории Байер», дело не было бы столь безнадежным — для измученного духа двухчасовые утренние и вечерние прогулки, возможно, принесли бы успокоение. Но ведь речь шла о коммивояжере медицинских товаров, деловые операции которого распространялись на всю обширную территорию Перу, поэтому отвращение к колесам возымело трагические последствия. Для Лучо Абриля Маррокина не оставалось ни малейшей надежды на возвращение к эпохе передвижения на шасси, и профессиональное будущее его оказалось под серьезной угрозой. Патроны «Лаборатории» пошли на то, что предоставили ему сидячую работу в конторе фирмы в Лиме, и, хотя жалованье оставалось прежним, с моральной и психологической точки зрения эта перемена означала деградацию. Теперь Лучо занимался инвентаризацией образцов. В довершение всех несчастий француженка — достойная соотечественница Орлеанской Девы, прежде мужественно переносившая нервное расстройство супруга, — также впала в истерию, особенно после выкидыша плода от семени Лучо Абриля. Между супругами была достигнута договоренность о разрыве отношений — до лучших времен, — и девица, бледностью напоминавшая антарктические зори, отправилась во Францию искать утешение в замке своих родителей.

Вот каким стал Лучо Абриль Маррокин через год после катастрофы: покинутый женушкой, сном и покоем, ненавидящий когеса, обреченный на вечную ходьбу по жизни пешком (sensu stricto[1]) — без единого друга, кроме тоски. (Желтый «фольксваген» покрылся паутиной, зарос было вьюнком, потом его продали, чтоб оплатить проезд златокудрой до Франции.) Друзья и знакомые Лучо толковали, что у него не остается иного выхода, как дом для умалишенных — в лучшем случае — или самоубийство как крайность. Но в этот момент, словно манна небесная или целительный дождь в пустыне, до молодого человека дошла весть о существовании некоей личности, которая, не будучи ни священником, ни знахарем, тем не менее исцеляла души,— докторше Люсии Асемиле.

Женщина выдающаяся и без комплексов, она приблизилась к возрасту, который наука считает идеальным: ей было пятьдесят. Широкий лоб, орлиный нос, пронизывающий взгляд, праведность и доброжелательность — доктор Асемила являла

[1] В узком смысле слова (*лат.*).

собою живое отрицание собственной фамилии[1] (она очень гордилась ею и всегда подчеркивала на визитных карточках и на бланках своей консультации как личное достижение — в глазах смертных). Разум ее являл собой нечто материальное, доступное слуху, зрению и обонянию пациентов, которых она предпочитала называть «друзьями». Она обладала многочисленными дипломами с отличием, полученными в крупнейших центрах знания: тевтонском Берлине, флегматичном Лондоне, греховном Париже. Но главным университетом, где она изучила то, что ей стало известно о человеческом несчастье и мерах против него, была, разумеется, жизнь. Как всякое существо, возвысившееся над обыденностью, она являлась объектом критики: ее осуждали, ее поносили коллеги-врачи, все эти психиатры и психологи, неспособные — в отличие от нее — творить чудеса. Доктора Асемилу не задевало, что ее называют «знахаркой», «нечистой силой», «растлительницей растленных», «отчужденной» и прочими мерзкими кличками. Ей достаточно было уверенности в своей правоте, в том, что «друзья» благодарны ей — все эти шизофреники, отцеубийцы, параноики, поджигатели, маньяки, задавленные депрессией, очанисты, сомнамбулы, лица, склонные к преступлению, мистики и заики, которые, пройдя через ее руки и уверовав в ее лечение (она предпочла бы слово «советы»), вернулись к жизни любвеобильными родителями, послушными детьми, добродетельными женами, честными тружениками, прекрасными собеседниками и гражданами, неукоснительно уважающими закон.

Именно доктор Швальб посоветовал Лучо Абрилю Маррокину обратиться к докторше и сам со швейцарской пунктуальностью, породившей наиточнейшие часы в мире, устроил свидание. Скорее смирившись, чем поверив, страдающий в назначенный час стоял перед большим домом, покрашенным в розовый цвет и окруженным садом с флорипондиос[2], в богатом квартале вилл Сан-Фелипе. Здесь находилась консультация (точнее, храм, исповедальня, лаборатория духа) Люсии Асемилы. Опрятно одетая сестра милосердия записала некоторые данные о Лучо и затем провела его в кабинет доктора — салон с высоким потолком, уставленный полками с книгами в кожаных переплетах, с письменным столом из каобы, с мягкими коврами и бархатным, под цвет листьев мяты, диваном.

— Отбросьте всякие предубеждения, с которыми вы сюда пришли, расслабьтесь, скиньте пиджак и развяжите галстук, — приказала с обезоруживающей прямотой доктор Люсия Асемила и, показывая на диван, добавила: — Лягте здесь, на спину или живот. Нет, это не фрейдистское ханжество, просто мне нужно, чтобы вы чувствовали себя свободно. Не рассказывайте мне своих снов и не говорите, что влюблены в собственную маму. Расскажите-ка лучше поподробнее, как работает ваш желудок.

Лежа на диване, коммивояжер медицинских препаратов робко возразил, что его привела в данную консультацию отнюдь не болезнь желудка, а духа: он решил, что доктор перепутала больных.

— Это не имеет значения, — поставила его на место доктор. — Своевременные и завершенные отправления желудка просветляют разум и успокаивают душу. И напротив: вялый, плохо переваривающий пищу желудок порождает грустные мысли, портит характер, вызывает комплексы и половые извращения, толкает на преступные деяния и в результате провоцирует необходимость выместить на других свои муки из-за неспособности освободить кишечник.

После подобного разъяснения Лучо Абриль Маррокин признался, что временами страдал поносами, иногда — запорами, что желудок у него действовал нерегулярно, а экскременты различались по окраске и объему, а также, несомненно, по консистенции и температуре (правда, он не помнил, осматривал ли их в последние недели). Докторша одобрительно кивала, бормоча: «Я так и знала». Потом она велела ему вплоть до новых указаний ежедневно натощак есть полдюжины чернослив.

— Разрешив первую проблему, перейдем к другим, — добавила философ в юбке. — Можете рассказать мне обо всем, что вас беспокоит. Но учтите — я не избавлю вас от мучений. Я научу вас любить их и даже гордиться своей ущербностью, как Сервантес гордился отсутствием руки или Бетховен своей глухотой. Итак, рассказывайте.

Лучо Абриль Маррокин с легкостью, приобретенной за десятилетнюю практику общения с врачами и провизорами, откровенно изложил всю свою историю, начиная с ужасного случая в Писко и кончая последними ночными кошмарами. Он включил в рассказ и апокалипсические последствия автомобильной драмы для его семьи. Заканчивая свою исповедь, он почувствовал к самому себе глубокую жалость, разрыдался и с отчаянием, способным разбередить душу любого, кроме доктора Люсии Асемилы, воскликнул: «Доктор, помогите мне!»

— Ваша история нисколько не поразила меня, скорее утомила, настолько она скучна и тривиальна,— ласково поддержала больного исследовательница человеческих душ. — Вытрите нос и утешьтесь. Поверьте, в границах вашего духа, если соотнести их с границами вашей телесной оболочки, такая болезнь сравнима разве что с заусеницей. А теперь слушайте меня.

---

[1] Асемила — мул; фигурально — неотесанный, грубый человек.
[2] Дерево с большими белыми и душистыми цветами, произрастающее в Перу.

Сопровождая свою речь жестами великосветской дамы, доктор Люсия Асемила объяснила: гибель мужчин коренится в их страхе перед правдой и в присущем им духе противоречия. Что касается первого, то доктор просветила мозги измученного бессонницей Лучо, заявив, что случайностей, так называемых катастроф, на самом деле не было, все это — просто уловки мужчин, пытающихся скрыть свое коварство.

— В результате — вы хотели убить девочку, и вы убили ее, — подвела итог своим рассуждениям доктор. — А затем, испугавшись содеянного, преследования полиции и кары всевышнего, вы постарались, чтобы вас сбил грузовик. Этим вы хотели одновременно как-то искупить свою вину и доказать свое алиби.

— Но позвольте, — пробормотал коммивояжер, у которого глаза вылезли из орбит, а по лбу струился пот — первые признаки крайнего отчаяния. — А полицейский? Его тоже убил я?

— Кто же не убивал полицейских? — раздумчиво произнесла ученая дама. — Возможно, убийцей были вы, может быть — грузовик, а может. это было самоубийство. Но в данном случае мы с вами толкуем не о мошеннической уловке, когда по одному билету проходят двое. Займемся лучше вами.

Доктор разъяснила, что, подавляя свои подспудные инстинкты, мужчины тем самым ущемляют свой дух, и он мстит за это, порождая кошмары, ненависть, комплексы, тоску и депрессию.

— Нельзя бороться с самим собой, ибо в таком сражении не бывает победителя,— изрек апостол в юбке.— Не стыдитесь себя, утешайтесь, думая, что все мужчины — гиены и быть хорошим означает умение хорошо притворяться. Посмотрите на себя в зеркало и скажите себе: «Я — детоубийца, я боюсь скоростей». Довольно иносказаний. Я не хочу больше слышать ни о катастрофах, ни о синдроме колеса.

Затем доктор перешла к примерам. Она рассказала, что онанистам, на коленях молившим ее об излечении, она дарила порнографические журналы; наркоманам — этим конченым людям, которые в отчаянии рвут на себе волосы, — она предлагала сигареты с марихуаной и пригоршни сухих листьев коки.

— Выходит, вы мне предлагаете и впредь убивать детей? — зарычал, превращаясь из ягненка в тигра, коммивояжер.

— Почему бы и нет, если вам это нравится?! — холодно ответствовала психолог. — И, пожалуйста, не повышайте на меня голос. Я не из тех торговок, у которых клиент всегда прав.

Лучо Абриль Маррокин вновь разразился рыданиями. Докторша Люсия Асемила в течение десяти минут безучастно выводила что-то на листках бумаги. Объединив написанное заголовком «Упражнения, чтобы научиться жить откровенно», она вручила Лучо эти листки и назначила ему свидание через восемь недель. Пожимая руку Лучо при прощании, доктор напомнила, чтобы он не забывал об утреннем приеме чернослива.

Как и большинство пациентов доктора Люсии Асемилы, Лучо Абриль Маррокин покинул ее консультацию, чувствуя себя жертвой психической ловушки и уверенный, что попал в сети экстравагантной психопатки, которая лишь усугубит недуг, если последовать ее советам. Он был полон решимости спустить в унитаз «Упражнения», даже не заглянув в них. Но в ту же ночь, ослабев от бессонницы, всегда толкающей к крайностям, он прочел листки. Они показались ему настолько нелепыми, что он хохотал до икоты (от нее он избавился, выпив стакан воды, как его учила мать); потом его обуяло жгучее любопытство. Чтобы скоротать бессонную ночь и как-то развлечься, Лучо решил испытать на практике эффективность «Упражнений», не веря в их терапевтическое свойство.

Ему не составило труда отыскать в отделе игрушек универмага «Сирс» легковой автомобильчик, грузовик номер один, грузовик номер два, необходимые для воссоздания картины происшествия, а также кукол, которые должны были изображать девочку, полицейского, жуликов и самого Лучо. Согласно инструкции, он выкрасил автомобильчики в подлинные цвета разбившихся тогда в катастрофе, то же самое он проделал и с кукольными платьями (у него были способности к рисованию, так что мундир полицейского, лохмотья на девочке и даже грязь у нее на теле получились как настоящие). Для изображения песчаных отмелей близ города Писко он использовал кусок оберточной бумаги, на котором, стараясь придерживаться максимальной достоверности, нарисовал голубую полосу Тихого океана с каймой пены. В первый раз, когда, стоя на коленях у себя в гостиной, Лучо образно воссоздавал события недавнего прошлого, он потратил на это час; когда он в своей игре дошел до нападения жуликов на поверженного коммивояжера, Лучо испытал такой же страх и боль, как и в день события; он упал как подкошенный, весь в холодном поту, и разрыдался.

Однако в последующие дни нервное напряжение спало, игра постепенно обрела спортивный характер; эти занятия возвращали его к детству и занимали часы, которые раньше он не знал, чем заполнить, лишившись жены и не умея развлечься, поскольку не был ни книголюбом, ни меломаном. Для него это было все равно что складывать кубики, решать головоломку или кроссворд. Иногда, работая на складе «Лаборатории Байер», где он выдавал коммивояжерам образцы препаратов, Лучо ловил себя на мысли о новых деталях происшествия, его мотивах, которые позволяли бы

ему разнообразить и продлить свою игру предстоящей ночью. Женщина, приходившая убирать дом, обнаружив на полу в гостиной деревянные куклы и пластиковые машинки, спросила, не собирается ли он усыновить мальчика, и предупредила, что в таком случае потребует повысить жалованье за свои услуги. Согласно инструкции, данной в «Упражнениях», Лучо теперь каждую ночь разыгрывал по шестнадцать мини-представлений случайной (?) трагедии.

Часть «Упражнений, чтобы научиться жить откровенно», где говорилось о детях, показалась ему совершенно абсурдной, но — то ли из греховных побуждений, то ли из любознательности, которая, как известно, движет вперед науку, — он выполнил и ее. Эта часть состояла из двух маленьких глав: «Теоретические упражнения» и «Практические упражнения», причем доктор Люсия Асемила подчеркивала, что первые непременно должны предварять вторые; разве человек не является разумным существом, у которого мысль предшествует поступку? Теоретическая часть представляла широкие возможности для наблюдательности и изобретательности коммивояжера. Она ограничивалась единственным указанием: «Ежедневно размышляйте о несчастьях, которые несут человечеству дети». Этим размышлениям Лучо следовало предаваться систематически, в любой час и в любом месте.

Какое же зло приносили человечеству невинные создания? Разве не были они счастьем, целомудренным светом, самой жизнью? — спрашивал себя Лучо Абриль Маррокин в день первых теоретических занятий, отмеряя пять километров пути до лаборатории. Скорее поддавшись врачебным наставлениям, чем уверовав лично, он допустил, что дети могут быть шумными. Действительно, они часто плачут в любое время и по любому поводу, а так как разум у них отсутствует, им и не понять, какие они приносят огорчения, и их невозможно *убедить* в преимуществе тишины. Лучо припомнил случай, происшедший с неким рабочим: придя из шахты домой, тот никак не мог уснуть из-за захлебывавшегося плачем новорожденного, которого в результате и прикончил. Сколько миллионов подобных случаев происходит на земном шаре? Сколько рабочих, крестьян, мелких торговцев и служащих, страдающих от дороговизны, низкой зарплаты, ютящихся ввиду отсутствия жилья в крохотных комнатенках вместе с ребятишками, не могут воспользоваться заслуженным отдыхом из-за криков малыша, который сам не способен пояснить, вызваны ли его вопли резью в желудке или желанием приникнуть к материнской груди.

В тот же вечер, вышагивая пять километров обратного пути, Лучо Абриль Маррокин изыскал новые поводы для обвинения и нашел, что детям можно поставить в вину страсть к разрушению. В отличие от животных они слишком задерживаются в своем развитии, и скольких разрушений стоит это запаздывание. Дети все рвут и ломают, будь то художественное полотно или ваза из горного хрусталя, они обрывают портьеры, которые хозяйка дома шила до боли в глазах, и без малейшего зазрения совести хватаются грязными руками за крахмальную скатерть или кружевную накидку, купленные с любовью и ценою немалых лишений. Но это еще не все. Чего стоят их милые привычки совать пальцы в розетки для электроприборов, вызывая короткое замыкание или нелепую смерть от удара током, что означает для семейства приобретение белого гробика, ниши на кладбище, поминальную службу в церкви, объявление в газете «Комерсио» и траур.

У Лучо появилась привычка заниматься подобной умственной гимнастикой по дороге в «Лабораторию» и обратно — до Сан-Мигеля. Чтобы не повторяться, он начинал с беглого обзора детских преступлений, обобщенных им во время предыдущих размышлений, а затем переходил к новым тезисам. Темы легко переплетались, поэтому аргументы у Лучо всегда были наготове.

Так, например, экономические преступления детей дали ему пищу для размышлений на тридцать километров пути. Разве дети не подрывали семейный бюджет самым варварским образом? Отцовские доходы сокращались прямо пропорционально возрасту детей, и не только из-за неуемного аппетита и привередливых желудков, этих созданий, требовавших особой пищи. Речь шла о бесчисленных учреждениях, порожденных *ими*,— обо всех этих няньках, детских яслях и садах, кормилицах, цирках, прогулочных площадках, утренниках, магазинах игрушек, судах для несовершеннолетних, исправительных колониях, не говоря уже о специалистах, что наподобие лиан-паразитов, которые опутывают и душат деревья, присосались к медицине, психологии, одонтологии и прочим наукам и представляют собой целую армию, которую должны одевать, кормить и обеспечивать в старости бедные *родители*.

Однажды Лучо Абриль Маррокин едва не разрыдался, подумав о юных матерях, ревностных хранительницах морали и жертвах пересудов, заживо погребенных в бесконечных хлопотах по уходу за своим потомством; бедняжки отказывают себе в посещении праздников, кино, в путешествиях, из-за чего их бросают мужья, которые от вынужденного одиночества неизбежно начинают грешить. А чем платят им наследники за все страдания и бессонные ночи? Вырастая и создавая собственный семейный очаг, они обрекают своих матерей на одинокую старость.

Следуя подобным размышлениям, Лучо невольно пришел к идее развенчания мифа о детской наивности и доброте. Пользуясь пресловутыми тезисами об отсутствии разума, дети обрывают крылья бабочкам, засовывают в печку живых цыплят,

переворачивают на спину черепах — пока те не сдохнут — и выдавливают глаза белкам. Разве рогатка для истребления птиц — оружие взрослых? И кто, как не дети, проявляет бессердечие к более слабым однокашникам? С другой стороны, можно ли считать «разумными» существа, которые в том возрасте, когда любой котенок сам находит себе пропитание, еще еле-еле передвигаются, натыкаясь на стены и набивая себе шишки?

У Лучо Абриля Маррокина было развито чувство прекрасного, делавшее более содержательным и его прогулки. Ему хотелось бы, чтобы все женщины сохраняли свежесть и упругость тела вплоть до наступления климакса, поэтому он с такой грустью отмечал урон, нанесенный матерям родами: осиные талии, которые можно было охватить пальцами, обезображивались складками жира, та же участь постигала грудь и бедра; плоские животы — дощечки из металла, на которых губы не оставляли следов,— обвисали, размягчались, оттопыривались, на них появлялись все те же складки, а иные женщины вследствие тяжелых родов и вовсе превращались в неуклюжих утиц. Вспоминая скульптурное тело носившей его фамилию француженки, Лучо Абриль Маррокин с облегчением подумал, что она родила не пухленькое существо — губителя ее красоты, а лишь крохотное подобие человеческое. Однажды, в момент отправления естественной нужды (чернослив заставлял его желудок действовать строго по установленному расписанию, не уступая в точности английскому поезду), Лучо почувствовал, что уже не содрогается при мысли об Ироде. Как-то утром он поймал себя на том, что пнул мальчишку-нищего. И Лучо уразумел, что не преднамеренно, а естественно и закономерно, как ночь сменяет день, он перешел к «Практическим упражнениям». Эту часть инструкции доктор Люсия Асемила озаглавила «Прямые действия», и Лучо казалось: перечитывая листки, он слышит ее наставления. Практические занятия в отличие от теоретических основывались на четких предписаниях. Уяснив себе суть всех несчастий, причиняемых *ими*, следовало перейти к индивидуальным репрессиям. Делать это надлежало осторожно, учитывая всевозможные демагогические постулаты вроде «беззащитных детишек», «ребенка нельзя ударить даже цветком розы» и «порка рождает комплексы».

Правда, вначале Лучо было нелегко. Встречая на улице одного из этих, он протягивал руку к детской головке, и ни он сам, ни ребенок не понимали, был этот жест угрожающим или означал грубоватую ласку. Но с уверенностью, рождаемой опытом, Лучо понемногу преодолевал застенчивость и извечные предубеждения, действовал смелее, отрабатывал технику, проявлял инициативу и через несколько недель, как и было указано в «Упражнениях», обнаружил, что щелчки, которые он щедро раздавал повсюду, пинки, заставлявшие реципиентов реветь во все горло, щипки, отмеченные синяками на теле, даже доставляют ему удовольствие. Лучо было приятно видеть слезы уличных продавцов-мальчишек, которые, предложив ему лотерейные билеты, вдруг получали пощечину; он возбуждался, как на корриде, когда поводырь слепого с медной плошкой в руках, звеневшей по утрам на улице, летел наземь от прицельного пинка, размазывая слезы и сопли. «Практические упражнения» были связаны с определенным риском, однако это не останавливало коммивояжера, хоть он и признавал за собой некоторую робость,— напротив, риск в этих обстоятельствах играл для него роль некоего стимулятора. Однажды он раздавил мяч, и на него бросилась, вооружась камнями и палками, целая стая пигмеев. Но и тогда Лучо не отступил от своих «Упражнений».

Пока продолжалось лечение, Лучо Абриль Маррокин совершил множество проступков, которые ленивый ум, доводящий человека до идиотизма, обычно квалифицирует как жестокость. Он отрезал головы куклам, которыми няньки в парках занимали девочек, отбирал у детей соски, погремушки и конфеты, топча их ногами или бросая собакам, часто ходил на цирковые и кукольные представления, на детские утренники, где дергал за косы и за уши, щипал ручки и ножки, пока у него самого не опухали пальцы. Естественно, не забывая и древнего обычая, он дразнил ребят, показывая им язык и корча гримасы; Лучо до хрипоты рассказывал о Черте, о Страшном Волке, о Полицейском, о Скелете, Ведьме и Вампире, а также других персонажах, придуманных взрослыми для запугивания детей.

Как снежный ком, падая с горы, вызывает обвал, так последние события в жизни Лучо Абриля Маррокина привели к тому, что однажды в смертельном испуге он примчался в консультацию доктора Асемилы на такси. Весь в холодном поту, он ворвался в строгий кабинет доктора и воскликнул дрожащим голосом:

— Я сейчас едва не столкнул девочку под колеса трамвая, идущего в Сан-Мигель. Удержался лишь в последний момент, увидав полицейского.— И, рыдая, как *ребенок,* он прокричал: — Я чуть не стал преступником, доктор!

— Вы уже были преступником, забывчивый юноша,— напомнила психолог, отчеканивая каждое слово. Оглядев его с ног до головы, она с удовлетворением произнесла: — Теперь вы здоровы.

И тогда мозг Лучо Абриля Маррокина, как луч в тумане, как звездный дождь над морем, пронзила мысль: да ведь я приехал на такси! Он уже собирался пасть на колени, но ученая дама остановила его:

— Мне лижет руки только мой дог. Довольно всплесков! Можете идти, а меня ждут новые друзья. В свое время вы получите счет.

«Меня вылечили»,— твердил счастливый коммивояжер; всю последнюю неделю он спал ежедневно по семь часов, и вместо кошмаров ему снились прекрасные сны: он загорал на каких-то экзотических пляжах под солнцем, напоминавшим футбольный мяч, вокруг него под перистыми пальмами ползали черепахи, а в голубых водах весело кувыркались в любовных играх дельфины. На этот раз, поверив в свое выздоровление, он снова, но уже намеренно взял такси, чтобы доехать до «Лаборатории». В машине он заплакал, убедившись, что езда не вызывает у него ни смертельного ужаса, ни космической тоски, а лишь легкое головокружение. Лучо прибежал к дону Федерико Тельесу Унсатеги, он целовал руки уроженца Амазонки, называл его «советником-спасителем и новым отцом». Его речи и поведение патрон воспринял благосклонно, так уважающий себя хозяин выслушивает раба. Но будучи в душе кальвинистом, патрон не признавал сантиментов и заметил, что Лучо, независимо от того, излечился он или нет от своего человеконенавистничества, должен под страхом штрафа аккуратно являться на службу в фирму «Антигрызуны».

Вот таким образом Лучо Абриль Маррокин вышел из тупика, в котором оказался после происшествия в пыльных окрестностях Писко. В тех пор все стало на свои места. Нежная дочь Франции, исцеленная от своих горестей родительской лаской, а также нормандской диетой, состоящей из ноздреватых сыров и студенистых улиток, вернулась на землю инков с розовыми щечками и сердцем, переполненным любовью. Возобновление брака превратилось в затянувшийся медовый месяц: погружающие в бездну поцелуи, судорожные объятия и прочие излишества довели влюбленных супругов чуть ли не до анемии. Коммивояжер, как змея, окрепшая после линьки, вскоре вновь занял ведущее место в «Лаборатории». Намереваясь доказать, что он таков же, как прежде, Лучо обратился с просьбой к доктору Швальбу доверить ему распространение среди врачей и аптекарей продукции фирмы Байер и предоставить возможность объезжать города и села Перу по суше, воздуху, рекам и морю. Доктор Швальб согласился. Благодаря бережливости супруги молодожены вскоре погасили все долги, возникшие за время болезни, и приобрели в рассрочку новый «фольксваген», разумеется желтого цвета.

На первый взгляд ничто не портило отношений между супругами Абриль Маррокин (хотя народная мудрость гласит, что первому взгляду не следует доверяться). Коммивояжер редко вспоминал о случившейся катастрофе, но если все-таки вспоминал, то вместо угрызений совести испытывал гордость и, как каждый средний буржуа, любящий общество, с удовольствием рассказывал свою историю.

Однако семейный очаг, напоминающий гнездо голубков, с уютно горящим под музыку Вивальди камином, в чем-то сохранил следы терапии профессорши Асемилы (как свет давно угасшей звезды, доносящийся сквозь далекие пространства, или растущие еще какое-то время волосы и ногти покойника). Это проявлялось в необычном — если учесть возраст Лучо Абриля Маррокина — пристрастии к играм с волчками, солдатиками, кубиками, игрушечными поездами. Квартира заполнилась игрушками, что приводило в замешательство и соседей, и прислугу. Первая тень пала на супружескую жизнь, когда француженка стала жаловаться, что ее супруг все праздники и воскресенья проводит в ванной, пуская бумажные кораблики, или на крыше — запуская змеев. Однако более опасной, чем эта склонность, была ненависть к детям, укоренившаяся в душе Лучо Абриля Маррокина со времени «Практических упражнений». Он не мог удержаться, чтобы, встретившись с одним из *них* на улице, в парке или на площади, не совершить того, что в простонародье именуют жестокостью. В разговорах с супругой он обычно давал детям презрительные клички вроде «зародыши» или «сосунки». Эта враждебность обернулась трагедией, когда блондинка вновь забеременела. С быстротой, которой страх придал крылья, супруги примчались просить моральной и научной поддержки у доктора Асемилы. Та хладнокровно выслушала их.

— Вы страдаете инфантилизмом и одновременно вновь становитесь потенциальным детоубийцей,— с протокольной краткостью установила она.— Это — пустяки, не заслуживающие внимания, мне вылечить их — раз плюнуть. Не бойтесь: вы поправитесь еще до того, как у плода вашего прорежутся глаза.

Вылечит ли она его? Освободит ли Лучо Абриля Маррокина от кошмаров? Будет ли лечение против детоненавистничества и «комплекса Ирода» столь же радикальным, как то, что избавило его от «комплекса колеса» и склонности к преступлению? Чем закончится эта психодрама в столичном районе Сан-Мигель?

XI

Приближалась зимняя сессия. С тех пор как начался мой роман с тетушкой Хулией, я меньше уделял внимания лекциям, больше — сочинению рассказов (пирровы победы), а потому был плохо подготовлен для такого испытания. Моим спасителем явился приятель с факультета, звали его Гильермо Веландо, родом из Каманы [1]. Парень жил в одном из пансионов центра столицы, на площади Второго Мая. Он был образ-

[1] Город в департаменте Арекипа.

цовым студентом: никогда не пропускал занятий, записывал все, каждый вздох преподавателя, и заучивал наизусть, как я стихи, главы из кодексов. Он часто рассказывал о своем родном городе, где у него была невеста, и только ждал момента, когда, получив диплом, уедет из опостылевшей Лимы и осядет в Камане, чтобы посвятить себя служению прогрессу. Гильермо Веландо давал мне свои записи, подсказывал на экзаменах, и перед началом сессии я обычно отправлялся к нему в пансион за чудодейственным экстрактом всего пройденного на лекциях.

В то воскресенье я как раз возвращался от него. Три часа провел в комнатушке Гильермо — голова моя была забита юридическими терминами, я был подавлен огромным количеством латинских цитат, которые мне предстояло выучить. В этот момент вдалеке, на свинцово-серсм фасаде «Радио Сентраль», я увидел раскрытое окошко конуры Педро Камачо. Конечно же, мне захотелось заглянуть к нему. Чем больше я общался с Педро Камачо, хотя это общение сводилось к непродолжительным беседам за столиком кафе, тем больше поддавался обаянию его личности, ума, его риторики. Пересекая площадь, я вновь подумал, какая железная воля движет этим маленьким аскетом с нечеловеческой работоспособностью, который с утра до ночи сочиняет многочисленные и самые невероятные истории. В любое время, вспоминая о Педро Камачо, я знал: он пишет; много раз я видел, как он делает это, стуча двумя резвыми пальчиками по клавишам «ремингтона», уставясь на валик горящими глазами, — и всегда я испытывал смешанное чувство жалости и зависти.

Оконце конуры было приоткрыто, оттуда слышалось ритмичное постукивание машинки. Оконные створки я распахнул с приветствием: «Добрый вечер, сеньор труженик» — и сперва подумал, что перепутал либо место, либо лицо. Только через несколько секунд, приглядевшись к белому халату, медицинской шапочке и длинной черной бороде раввина, я узнал боливийского писаку. Не обращая на меня внимания, он невозмутимо продолжал творить, слегка наклонившись над машинкой. И вдруг, будто сделав паузу для размышления, но не поворачивая ко мне головы, он произнес своим хорошо поставленным, мелодичным голосом:

— Только что гинеколог Альберто де Кинтерос принимал роды тройни у своей племянницы, но один из этих лягушат застрял. Не можете ли вы подождать меня минут пять? Я сделаю девушке кесарево сечение, а затем мы выпьем с вами отвара йербалуисы с мятой.

Усевшись на подоконник и покуривая сигарету, я подождал, пока писака не извлечет на свет божий тройняшек. Операция действительно отняла у него всего несколько минут. Пока он снимал свои одеяния и аккуратно убирал их вместе с накладными усами в пластиковый мешок, я сказал ему:

— Вам понадобилось на роды тройняшек при кесаревом сечении и прочих осложнениях всего пять минут! А я потратил три недели на рассказ о трех «летающих» мальчиках.

Пока мы шли в бар «Бранса», я рассказал Педро Камачо, что после многих неудавшихся рассказов сочинение о мальчиках показалось мне вполне приемлемым и что я отнес его в воскресное приложение газеты «Комерсио», хотя и дрожал от страха. Редактор при мне прочел рассказ и высказался довольно туманно: «Оставьте, посмотрим, что с этим можно сделать». С тех пор прошло два воскресенья, и каждый воскресный день я в нетерпении покупал газету, но пока — тщетно. Педро Камачо не тратил время на чужие проблемы.

— Давайте пожертвуем едой и пройдемся пешком,— сказал он, задержав меня за руку, когда я уже собирался усесться, и возвращая на авениду Кольмена. — У меня какой-то зуд в икрах, а это предвещает спазмы. Вот что значит сидячая жизнь. Мне не хватает физических упражнений.

Я знал, что он ответит, если я предложу ему последовать примеру Виктора Гюго и Хемингуэя: писать стоя. Но на этот раз я ошибся.

— В пансионе «Ла Тапада» случаются занятные вещи, — говорил он, даже не удостоив меня ответом (все это время он вынуждал меня чуть ли не вприпрыжку бегать вокруг памятника генералу Сан-Мартину). — В лунные ночи там плачет какой-то юноша.

Я редко бывал в центре по воскресеньям, и меня удивило, насколько отличается будничная публика от той, которую я увидел сейчас. Вместо обычных чиновников вся площадь была заполнена служанками — сегодня их день отдыха; здесь можно было встретить и молодых горцев с загаром на щеках, в неуклюжей обуви, и босоногих девушек с заплетенными косичками. В густой толпе мелькали бродячие фотографы и торговки съестным. Я заставил писаку остановиться перед бронзовой дамой в тунике в центре памятника, посвященного Родине. Надеясь развлечь его, я рассказал, почему у дамы на голове столь странный убор: здесь, в Лиме, отливая бронзу в формы, мастера перепутали указания скульптора и вместо пылающего пламени вокруг головы статуи, олицетворяющей Родину, изобразили ламу[1]. Как и следовало ожидать, Педро Камачо даже не улыбнулся. Он опять взял меня под руку и увлек за собой. То и дело

[1] Llama — по-испански означает и пламя и лама — жвачное животное.

натыкаясь на прохожих, он продолжал свой рассказ, безучастный ко всему окружающему, в том числе и ко мне:

— Никто не видел этого молодого человека, но есть основание предполагать, что это какое-то чудовище. Может быть, внебрачный сын хозяйки пансиона, горбун, карлик, урод о двух головах, которого донья Атанасия прячет днем, чтобы никого не пугать, а по ночам выпускает проветриться?

Педро Камачо говорил без всякого выражения, и это напоминало магнитофонную запись. Желая подзадорить его, я сказал, что такое предположение кажется мне маловероятным. А может, молодой человек оплакивает свою любовь?

— У влюбленного была бы гитара, скрипка, или он пел бы,— ответил Педро Камачо, глядя на меня с презрением, смешанным с состраданием.— А этот плачет, сколько потоков слез!..

Мне хотелось, чтобы писака рассказал все по порядку, но он не был собран и сосредоточен, как обычно. Я узнал лишь, что вот уж которую ночь в одном из закоулков пансиона слышен плач и жильцы «Ла Тапады» недовольны. Хозяйка, донья Атанасия, говорила, что ничего не знает, и, как выразился Педро Камачо, ссылалась на «вмешательство духов».

— Возможно, он оплакивает совершенное преступление,— предположил Педро Камачо тоном бухгалтера, вслух подводящего сальдо, и продолжал тащить меня за собой в направлении «Радио Сентраль» после того, как мы раз двенадцать обошли вокруг монумента. — Семейное преступление? А может, он отцеубийца, который в раскаянии рвет на себе волосы, истязает себя? А может, он — сын крысятника?

Педро Камачо отнюдь не был взволнован, однако я убедился, что на этот раз он более рассеян, чем прежде, и менее способен слушать, поддерживать разговор и помнить, что рядом с ним кто-то есть. Я был уверен, что он меня не замечает, и надеялся, что он продлит свой монолог: слушать Камачо означало наблюдать за полетом его фантазии. Однако столь же неожиданно, как заговорил он о невидимом плачущем, Педро Камачо замолчал. Он вошел в свою каморку, снял черный пиджак и галстук-бабочку, натянул на голову сетку для волос и надел дамский парик с пучком, вытащенный из другого пластикового пакета. Я не вытерпел и рассмеялся:

— С кем имею честь?

— Я должен давать советы одному сотруднику лаборатории, по убеждениям франкофилу, убившему собственного ребенка,— объяснил Педро Камачо со смешком, нацепив вместо прежней библейской бороды яркие серьги и наклеивая на щеку кокетливую мушку.— До свидания, дружище.

Я не успел сделать и шага к выходу, как услышал ровное, уверенное, быстрое, неизменное постукивание «ремингтона». В автобусе, направляясь в Мирафлорес, я размышлял о жизни Педро Камачо. Какая же социальная среда, какие личные связи, отношения, проблемы, случайности, факты породили это литературное призвание (Литературное ли? А если нет, тогда что же это?), которое претворилось в действие, вылилось в творческий труд и нашло своих почитателей? Как можно быть пародией на писателя и одновременно единственным человеком в Перу, достойным писательского звания по времени, отданному профессии, и по числу созданных произведений?.. Почему те, для кого литература была лишь предметом тщеславия или прихотью, считались более достойными именоваться писателями, чем Педро Камачо, который только и жил для того, чтобы писать? Не потому ли, что те читали (или, по крайней мере, знали, что должны были прочесть) Пруста, Фолкнера, Джойса, а Педро Камачо был почти малограмотен? Я размышлял об этом с грустью и горечью. Мне становилось все яснее, что единственно, кем я хочу быть, так это писателем, и каждый раз я убеждался, что достичь этого можно, если полностью — душой и телом — посвятишь себя литературе. Я не хотел стать полуписателем, писателишкой, я мечтал стать настоящим писателем, как... кто же?

Я знал лишь одного, кто целиком отдавался своему призванию с одержимостью и страстью, и это был боливийский радиодраматург — потому он так обворожил меня.

В доме стариков меня ждал сияющий счастьем Хавьер. Он придумал на воскресенье такую программу, что и мертвого можно было расшевелить. Хавьер как раз получил свою ежемесячную субсидию от родителей из Пиуры, да еще со щедрой прибавкой по случаю предстоящих национальных праздников. Он решил, что «лишние» соли мы истратим вчетвером.

— Специально для тебя я приготовил интеллектуально-космополитскую программу,— говорил Хавьер, покровительственно похлопывая меня по плечу.— Аргентинская труппа Франсиско Петроне, ужин по-немецки в ресторане «Ринкон Тони» и на французский манер завершение праздника в ночном клубе «Негро-Негро» с танцами болеро в полнейшей темноте.

Если Педро Камачо из всех, кого я знал за свою короткую жизнь, казался мне наиболее достойным звания писателя, то Хавьер, отличавшийся среди моих знакомых щедростью и склонностью к излишествам, напоминал вельможу эпохи Возрождения. Ко всему прочему он был необыкновенно энергичен: тетушка Хулия и Нанси были

уже осведомлены о предстоящих развлечениях. Мало того, билеты в театр лежали у Хавьера в кармане. Программа была более чем соблазнительна и сразу развеяла все мои мрачные размышления о призвании и нищенской судьбе литератора в Перу. Хавьер тоже был очень доволен: вот уже месяц, как он постоянно встречался с Нанси, и его настойчивое ухаживание приобретало свойства общепризнанного флирта. Ему помогло то, что он доверил кузине тайну моих отношений с тетушкой Хулией, и под предлогом пособничества нашим вылазкам из дома он теперь встречался с Нанси по нескольку раз на неделе. Кузина и тетушка Хулия стали неразлучны, они вместе ходили за покупками, в кино, делились секретами. Нанси превратилась в восторженную покровительницу нашего любовного романа. Однажды она меня порадовала, сказав: «Хулита обладает такими качествами, при которых возраст, кузен, уже не играет никакой роли».

Великолепная программа того памятного воскресенья (когда, как мне кажется, и решилось мое будущее) началась при самых благоприятных обстоятельствах. В 50-е годы в Лиме не часто можно было увидеть хороший спектакль; аргентинская труппа Франсиско Петроне привезла несколько современных постановок, до той поры неизвестных в Перу.

Нанси заехала к тетушке Ольге за Хулией, и в центр они отправились на такси. Мы с Хавьером ждали их у входа в театр «Сегура». Мой друг, который в подобных случаях имел обыкновение удариться в крайности, заказал целую ложу — кстати, только эта ложа и была занята, так что мы привлекали внимание не меньше, чем происходящее на сцене. Моя нечистая совесть наводила меня на мысль, что нас увидит кто-нибудь из родственников или знакомых и пойдут толки и сплетни. Но едва началось действие, я забыл о своих страхах. Играли «Смерть коммивояжера» Артура Миллера. То была первая из увиденных мною нетрадиционных пьес, где автор пренебрег принципами времени и места действия. Мои восторг и волнение были так необычны, что в антракте я без умолку говорил о пьесе, разглагольствовал об ее героях, об ее идеях. После театра, поглощая сосиски с пивом в «Ринкон Тони», я продолжал безудержно восхвалять спектакль. Позднее Хавьер уколол меня: «Ты напоминал попугая, проглотившего возбуждающую таблетку». Кузина Нанси, которой мои литературные занятия всегда казались экстравагантностью вроде той, что отличала дядюшку Эдуардо (у этого старичка, брата моего деда, судьи на пенсии, было весьма редкое хобби — он коллекционировал пауков), послушав меня, высказала предположение, что я плохо кончу: «Ты становишься психом, долговязый».

Хавьер остановил свой выбор на ночном клубе «Негро-Негро» для завершения нашей вечеринки, поскольку у этого заведения была своя особенность: считалось, что здесь собирается интеллектуальная богема; по четвергам играли небольшие спектакли — одноактные пьески, выступали с авторскими концертами музыканты и писатели, частенько сюда заходили художники, певцы, литераторы. Но не только это привлекло моего друга: «Негро-Негро» был самый темный ночной клуб во всей Лиме, на деле — подвал под аркой одного из домов на площади Сан-Мартина, где размещалось не более двадцати столиков. Мы считали, что оформление бара выдержано в экзистенциалистском духе. Я не часто бывал здесь, но когда переступал порог клуба, мне всегда казалось, будто я вхожу в один из подвальчиков на Сен-Жермен де Прэ. Нас усадили за столик у самой танцевальной площадки. Хавьер, который в этот вечер разошелся как никогда, заказал четыре виски. Они с Нанси сразу же пошли танцевать, а я, притиснутый толпой к столику, все говорил Хулии о театре и об Артуре Миллере. Мы сидели совсем близко, руки наши были сплетены, она мужественно слушала меня, а я утверждал, что в ту ночь открыл для себя театр, что пьеса может быть не менее сложной и глубокой, чем роман, и она — кусочек жизни, ибо ее представляют живые существа из плоти и крови, и в представлении участвуют и другие виды искусства — живопись и музыка, а потому драматургия превыше всего.

— Может, мне сменить жанр и вместо рассказов писать драмы? — спросил я с величайшим волнением. — Что ты посоветуешь?

— Что касается меня, препятствий не будет,— ответила, вставая, тетушка Хулия. — Но сейчас, Варгитас, веди меня танцевать и скажи что-нибудь на ушко. Между танцами, если хочешь, можешь говорить о литературе, разрешаю тебе.

Я выполнил ее указания буквально. Мы танцевали, тесно прижавшись друг к другу, целовались, и я говорил, что влюблен в нее, а она — что влюблена в меня; в тот вечер, взволнованный и возбужденный интимной обстановкой клуба и виски Хавьера, я впервые обнаружил желание, которое вызывала во мне Хулия: во время танца мои губы впивались в ее шею, я тесно прижимался к ней; за столиком, укрытый темнотой, я ласкал ее ноги. Мы сидели счастливые и смущенные, когда в перерыве между двумя болеро кузина Нанси окатила нас ушатом ледяной воды:

— Боже, вы только посмотрите, кто там сидит: это же дядя Хорхе!

Такой беды следовало ожидать. Дядя Хорхе — самый молодой из наших дядюшек — успешно совмещал напряженнейшую деловую и авантюрно-предпринимательскую деятельность с бурной ночной жизнью, заполненной флиртами, вечеринками и попойками. Рассказывали, что однажды с ним приключилось трагикомическое недо-

разумение в другом ночном клубе — «Эмбесси». Там только что началось шоу, и девица, которая должна была петь, никак не могла начать, потому что какой-то пьянчужка за одним из столиков наглыми репликами все время мешал ей. Тогда на глазах у публики дядюшка Хорхе поднялся и возопил, словно Дон Кихот: «Замолчи, несчастный, я научу тебя уважать даму!» Затем он, как боксер, готовый к бою, направился к столику оскорбителя, но через секунду понял, что попал в глупейшее положение, ибо выкрики псевдоклиента в адрес певицы были частью шоу.

Действительно, дядюшка Хорхе сидел неподалеку — за два столика от нас. Он выглядел как всегда элегантно; его лицо было едва видно, когда вспыхивали спички курильщиков или карманные фонарики официантов. Рядом с ним я узнал его жену — тетушку Габи. Они изо всех сил старались не смотреть в нашу сторону, хотя и находились в двух метрах от нас. Все было яснее ясного: они видели, как я целовал тетушку Хулию, все поняли и теперь деликатно делали вид, будто ничего не заметили. Хавьер попросил счет, и мы сразу же покинули «Негро-Негро». Дядюшка Хорхе и тетушка Габи проявили выдержку и не взглянули на нас, даже когда мы проходили мимо, почти касаясь их. В такси по дороге в Мирафлорес — мы вчетвером сидели молча с вытянутыми лицами — Худышка Нанси высказала то, о чем мы думали: «Все пропало! Ну и скандалище будет!»

Однако, как в хорошем фильме ужасов, в последующие дни ничего не произошло, не было никаких признаков, что дядюшка Хорхе и тетушка Габи всполошили наш семейный клан. Тетушка Ольга и дядюшка Лучо не сказали Хулии ни единого слова, которое позволило бы ей предположить, что они в курсе дела, и в следующий четверг, когда я храбро пришел к ним обедать, держались со мной как всегда непринужденно и приветливо. Лаура и дядя Хуан также не задавали коварных вопросов кузине Нанси. Мои старички пребывали в неведении и по-прежнему с ангельским выражением лица спрашивали, сопровождаю ли я в кино Хулиту,—«ведь она так любит кино». Прошло несколько тревожных дней. Прибегая к чрезвычайным мерам предосторожности, мы с тетушкой Хулией решили не встречаться даже тайком по крайней мере неделю. Зато мы постоянно общались по телефону. Тетушка Хулия звонила мне из магазина, что был на углу, по меньшей мере трижды в день. Мы обменивались мнениями по поводу беспокоившей нас реакции семейства и высказывали разные предположения. Возможно ли, что дядя Хорхе решил не выдавать нашей тайны? Исходя из традиций нашего клана, я понимал, что об этом нечего и думать. Значит?.. Хавьер сделал вывод, что тетушка Габи и дядя Хорхе, набравшись виски, ничего не поняли и в их сознании могло зародиться лишь смутное подозрение, но они не хотели поднимать скандал, поскольку еще не все ясно. Отчасти из любопытства, отчасти из мазохистских побуждений я объехал в течение недели все домашние очаги нашего семейного племени, чтобы знать, к чему готовиться. Ничего необычного я не заметил, если не считать одной любопытной детали, всколыхнувшей мои подозрения. Тетушка Ортенсия, пригласившая меня на чай с бисквитами, за два часа беседы ни разу не упомянула тетушку Хулию. «Они все знают и что-то уже придумывают»,— уверял я Хавьера, а он, обозленный тем, что я без конца говорю об одном и том же, отвечал: «В глубине души тебе до смерти хочется этого скандала, чтобы потом было о чем писать».

В ту неделю, столь богатую событиями, я случайно стал участником уличной драки и в некотором роде защитником Педро Камачо. Я как раз выходил из университета Сан-Маркос, терзаемый угрызениями совести после оглашения экзаменационных оценок по процессуальному праву: я получил более высокий балл, чем мой друг Веландо, который действительно знал материал. Пересекая Университетский парк, я столкнулся с Хенаро-отцом, патриархом собственников радиостанций «Панамерикана» и «Сентраль». Мы вместе дошли, беседуя, до улицы Белен. Хенаро-отец был истый джентльмен, одетый всегда во все темное и неизменно сохраняющий серьезный вид; боливийский писака окрестил его — нетрудно понять почему — Рабовладельцем.

— Ваш гениальный друг постоянно вызывает у меня головную боль,— пожаловался Хенаро-отец.— Я сыт им по горло. Не будь он таким плодовитым автором, я давно бы выставил его на улицу.

— Опять протест аргентинского посольства?— поинтересовался я.

— Трудно даже представить, какую неразбериху он вызвал,— продолжал Хенаро-отец.— Теперь он раздражает людей тем, что переводит своих героев из одной радиопостановки в другую, изменяя их имена и тем сбивая с толку слушателей. Меня уже предупреждала жена, потом стали звонить по телефону, а теперь пришли два письма. Жалуются, что священник из Мендоситы носит то же имя, что и «свидетель Иеговы», а тот назван, как священник. У меня нет времени прослушивать все радиопостановки. Вы когда-нибудь слушали их?

Мы как раз спускались по авениде Ла Кольмена к площади Сан-Мартина, лавируя между автобусами, отправляющимися за город, и обходя китайские лавчонки. Я вспомнил, что несколько дней назад в разговоре о Педро Камачо тетушка Хулия рассмешила меня, подтвердив мои догадки о том, что боливийский писака — великий юморист, хотя и скрывает это.

— Слушай, происходит нечто странное: у девушки родился малыш, который умер во время родов, его похоронили по всем правилам. А как ты объяснишь, что в сегод-

няшней вечерней передаче этого вновь объявившегося младенца уже крестят в соборе?

Я сказал Хенаро-отцу, что у меня тоже не было времени слушать радиодрамы и что, возможно, эти замены и путаница — оригинальный литературный прием писаки.

— Мы платим ему не за оригинальность, а за то, чтобы он развлекал людей,— ответил Хенаро-отец, который, как стало ясно, был не прогрессивным, а традиционным импресарио.— С этими его шуточками мы потеряем аудиторию, и коммерческие фирмы откажут нам в рекламе. Вы — его друг, так скажите ему, пусть откажется от своих модернистских находок, иначе он рискует остаться без работы.

Высказать это Педро Камачо я предложил самому Хенаро-отцу, ведь он был хозяином радиостанции и угроза в таком случае была бы более весомой. Но Хенаро-отец сокрушенно покачал головой (жест, унаследованный и Хенаро-сыном):

— Этому Педро Камачо нельзя и слова сказать. Успех очень повлиял на него, и, каждый раз, когда я пытаюсь поговорить с ним, он хамит.

Оказывается, владелец радиостанции со всей учтивостью сообщил писаке, что были телефонные звонки, и даже показал ему письма с протестами. Однако Педро Камачо, ни слова не говоря, схватил письма и не вскрывая разорвал в клочки и бросил в мусорную корзину. Затем он снова уселся за машинку, будто в комнатушке никого не было. Когда, близкий к апоплексическому удару, Хенаро-отец покидал негостеприимное обиталище писаки, он услышал, как тот пробурчал: «Сапожник, иди тачать сапоги!»

— Я не могу более рисковать и нарываться на подобную грубость. Мне пришлось бы выгнать его, а такой исход вряд ли будет разумным,— закончил Хенаро-отец с усталым жестом.— Но вам ведь нечего терять, вас он не оскорбит, вы тоже наполовину художник, не так ли? Помогите нам, сделайте это ради нашего предприятия, поговорите с ним.

Я сказал, что сделаю. Действительно, на свое несчастье, после передачи полуденной радиосводки «Панамерикана» я пригласил Педро Камачо выпить чашку йербалуисы с мятой. Мы выходили из здания радиостанции, когда два здоровенных типа преградили нам путь. Я сразу узнал их: то были два брата-усача из ресторана «Парижада Архентина», расположенного на нашей улице перед колледжем вифлеемских монашек. Оба брата — в белых передниках и высоких поварских колпаках — славились своим умением готовить жареное мясо с кровью и требуху. Они двинулись на боливийского писаку с видом наемных убийц, и старший, самый толстый из братьев, спросил:

— Так, значит, мы убиваем детей, Камачо — сукин сын. Ты уверен, нищий бродяга, что в этой стране нет никого, кто мог бы поучить тебя вежливости?

Аргентинец, все больше распаляясь, наливался кровью, и голос его прерывался. Младший брат согласно кивал головой и во время яростной паузы, сделанной старшим, подлил масла в огонь:

— А вши?! Значит, самое любимое лакомство жителей Буэнос-Айреса — твари, которых они вытаскивают из волос своих детей, сукин ты сын и мерзейший гад на свете?! Ты думаешь, я буду сидеть сложа руки, пока ты поносишь мою мать?!

Боливийский писака не отступил ни на шаг. Он слушал, переводя с одного на другого свои выпуклые глаза. Вид у него был внушительный. Вдруг, сделав свой обычный церемониймейстерский поклон, он торжественно задал самый обычный вопрос:

— Скажите, вы случайно не аргентинцы?

Толстый мясник, у которого даже пена на усах выступила (лицо его теперь было на расстоянии двадцати сантиметров от лица Педро Камачо, для чего аргентинцу пришлось наклониться), прорычал с патриотическим пафосом:

— Ды, мы — аргентинцы, подонок, и тем гордимся!

Подтверждение было излишним: достаточно одного их произношения, чтобы понять: да, они — аргентинцы. Однако боливийский писака тотчас побледнел, глаза его вспыхнули огнем, будто внутри у него что-то взорвалось, лицо приняло угрожающее выражение, и, проткнув воздух указательным пальцем, он сразил обоих:

— Я это почувствовал. Ну так идите же, идите, пойте свои танго!

Приказание было отдано не то чтобы веселым, скорее мрачным тоном. Рестораторы замерли на секунду, не зная, что ответить. Бесспорно, писака не шутил — он смотрел на них с яростью и презрением, хотя при своем маленьком росте и тщедушности был совершенно беззащитен.

— Что вы сказали?— наконец произнес в смятении и негодовании толстяк.— Что? Что вы сказали?

— Идите петь танго — и прочистите уши!— дополнил свое приказание Педро Камачо, поражая великолепной дикцией. После короткой паузы с ледяным спокойствием он отчеканил изысканную угрозу, которая и обрекла нас на погибель:— Если не хотите получить как следует по заднице.

На этот раз я был потрясен больше, чем аргентинцы. Мысль о том, что это крохотное создание ростом с ученика четвертого класса начальной школы сулило хорошую взбучку двум лбам по сто килограммов каждый, была не просто бредовой, она была самоубийственной. Но толстый ресторанщик уже опомнился — он ухватил писаку

за шиворот и под смех собравшихся зевак поднял его, словно перышко, в воздух, взревев:

— По заднице — мне?! Ну сейчас я тебе покажу, пигмей...

Увидев, что старший повар изготовился отправить в полет Педро Камачо с помощью одного удара правой, я понял: выхода нет, я обязан вступиться. Схватив аргентинца, я в то же время попытался освободить писаку, который, посинев, все еще болтался в воздухе, перебирая, как паук, ножками. Едва я успел пробормотать нечто вроде: «Послушайте, не нарушайте закона, отпустите его», как младший ресторанщик, недолго думая, так двинул меня кулачищем, что я рухнул наземь. С трудом поднимаясь и еще не оправившись от неожиданности, я решил применить на практике советы моего дедушки — кабальеро старой школы, который учил меня, что ни один уроженец города Арекипы, достойный своей земли, никогда не уклонится от вызова на драку (тем более что этот вызов — энергичный удар правой в подбородок). Я успел заметить, как аргентинец постарше буквально хлещет по щекам (он, видимо, предпочел пощечины ударам кулака, учитывая лилипутское сложение противника) моего артиста. И тут же был полностью поглощен обменом пинками и зуботычинами с младшим поваром («во имя защиты искусства», думал я) и многого дальше не видел. Драка длилась недолго, но когда, наконец, служащие «Радио Сентраль» вызволили нас из рук агрессоров, у меня на лице красовалось несколько синяков, а у писаки физиономия до того вздулась и посинела, что Хенаро-отец вынужден был отправить его в травматологический пункт. В тот же вечер, вместо благодарности за проявленное мужество и пренебрежение собственной безопасностью ради защиты его уникальной «звезды», Хенаро-сын отругал меня за сообщение, которое Паскуаль, пользуясь суматохой, пропустил в двух радиосводках и которое начиналось так (правда, здесь были допущены некоторые преувеличения): «Два бандита с берегов Ла-Платы совершили сегодня преступное нападение на руководителя нашей Информационной службы, известного журналиста» и т. д.

Вечером на крыше «Радио Панамерикана» появился Хавьер — он громко хохотал, слушая рассказ о боксерском матче, а потом спустился со мной к писаке узнать, как тот себя чувствует. На правом глазу Педро Камачо красовалась пиратская повязка, кроме того, у него были наклейки из пластыря на шее и под носом. Как он себя чувствует? Камачо ответил презрительным жестом — он не придавал значения инциденту и даже не поблагодарил меня за то, что я самоотверженно вмешался в драку. Единственный его комментарий привел Хавьера в восхищение:

— Разняв нас, спасли их. Если бы бой продлился еще пару минут, толпа бы узнала меня и плохо пришлось бы аргентинцам: их бы линчевали.

Мы отправились в бар «Бранса», и здесь писака рассказал нам, что однажды в Боливии некий футболист «из той же страны», слушавший его программы, явился на радиостанцию с револьвером в руке, но, к счастью, его вовремя заметила охрана.

— Вам придется соблюдать осторожность, — предупредил его Хавьер. — В Лиме сейчас полно аргентинцев.

— А впрочем, и вас, и меня рано или поздно съедят черви, — философски заметил Педро Камачо.

Затем он поведал нам о переселении душ, которое он воспринимал как символ веры. Он даже раскрыл свою тайну: имей он возможность выбора — кем стать в своем будущем телесном воплощении, то предпочел бы воплотиться в какое-нибудь морское животное, безмятежного долгожителя вроде черепахи или кита. Я воспользовался хорошим настроением Камачо, чтобы выполнить почетную миссию по «наведению мостов» между ним и обоими Хенаро, взятую мной на себя, и передал ему просьбу Хенаро-отца: мол, были и письма, и телефонные звонки по поводу непонятных слушателям эпизодов в радиопостановках. Старик просит Камачо не усложнять сценариев имея в виду, что уровень среднего слушателя довольно низкий. Я старался позолотить пилюлю, заявив, что полностью разделяю его — Камачо — позицию (в действительности так оно и было). Конечно, претензия владельца радиостанции абсурдна, поскольку каждый волен писать, как ему вздумается, и я, мол, передаю только то, о чем меня просили. Педро Камачо слушал молча, без всякого выражения, и мне стало неловко. Я замолк, он также не произнес ни слова. Выпив последний глоток отвара мяты с йербалуисой, он встал, пробормотал, что ему пора идти к себе в студию, и вышел, даже не сказав «до свидания». Возможно, он обиделся, что я сообщил о телефонных звонках в присутствии постороннего. Хавьер считал, что так и есть, и посоветовал извиниться перед писакой. Я поклялся впредь никогда не выступать посредником обоих Хенаро.

В ту неделю, когда мы не встречались с тетушкой Хулией, я провел несколько вечеров со своими приятелями из Мирафлореса, которых не видел с тех пор, как возникла моя тайная любовь. Одноклассники или соседи по кварталу, они продолжали учиться, как Салас-Негр, постигавший инженерное дело, или Рыженький Мольфино, посвятивший себя медицине. Некоторые пошли на службу, как Кокос-Ланьяс. С ними я еще в детстве делил чудесные забавы: футбол и плавание, субботние вечеринки, увлечения девушками и кино. Но сейчас, после долгой разлуки, я понял: что-то ушло из нашей дружбы. Между нами осталось мало общего. По ночам мы и теперь вытворяли старые проказы: лазали на заброшенное кладбище в Сурко, где

при свете луны обходили разрушенные землетрясением могилы, чтобы попытаться выкрасть из них черепа; купались нагишом в огромном бассейне пляжа Санта-Роса неподалеку от Анкона [1], который все еще строился; заглядывали в грязные бордели авениды Грау. Приятели оставались прежними, отпускали все те же шуточки, обсуждали все тех же девочек, но я уже не мог говорить о том, что волновало меня: о литературе и о тетушке Хулии. Сознайся я им, что пишу рассказы и мечтаю стать писателем, ребята решили бы, будто у меня с головой не все в порядке (так думала и Худышка Нанси). А если бы я рассказал им — как они выкладывали мне о своих победах, — что у меня связь с разведенной женщиной, которая даже не любовница моя, а только возлюбленная (в буквальном смысле этого слова, принятом в Мирафлоресе), то ребята назвали бы меня, пользуясь изящным и полным тайного смысла выражением, модным в те времена,— «жеребцом на привязи».

Я не презирал товарищей за то, что они не читают литературы, и не считал себя выше их, вступив в связь со зрелой женщиной, но, должен признаться, когда под эвкалиптами и молье[2] мы рылись в могилах на кладбище в Сурко, когда плескались под звездами в бассейне Санта-Росы, пили пиво или когда договаривались с проститутками из веселого дома «Нанетт», я скучал и больше думал о своем рассказе «Опасные игры» (его и на прошлой неделе не поместили в приложении к «Комерсио») и о тетушке Хулии, чем о друзьях.

Когда я рассказал Хавьеру о разочаровании, постигшем меня при встрече с однокашниками из моего квартала, он заявил, гордо выпятив грудь:

— Дело в том, что они еще сопляки, а мы с тобой мужчины, Варгитас.

XII

В пыльном центре города, если свернуть на улицу Ика, можно увидеть старый дом с балконами и жалюзи; на его стенах, пострадавших от времени и бескультурья прохожих (рукой сентиментального воздыхателя здесь были выведены стрелы и сердца вместе с мужскими и женскими именами, а пальцем озорника — неприличные рисунки и словечки), и сейчас издалека можно разглядеть остатки первоначальной краски небесно-голубого цвета, которым в колониальные времена покрывали особняки аристократов. Здание это — возможно, раньше здесь обитали маркизы? — сегодня частично занято захудалой мастерской, чудом противостоящей скромным ветрам и серой измороси Лимы, не говоря о землетрясениях. Сверху донизу изъеденный червями, полный крыс и пауков, дом был поделен и снова разделен, чтобы вместить как можно больше жильцов, и теперь его дворики и комнатушки напоминали улей. Между прогнившими досками пола и покосившимися потолками поселилось целое скопище обитателей со скромным достатком (похоже, здесь им уготован и вечный покой под собравшимися рухнуть сводами). На втором этаже полдюжины каморок, битком набитых стариками и инвалидами, быть может не очень опрятными, зато безупречными в нравственном отношении, занимает так называемый «Колониальный пансион».

Владельцами и администраторами пансиона были Бергуа — семья из трех человек, перебравшаяся сюда из Айякучо, города на горах с вымощенными камнем улицами и множеством церквей. Семья переехала в Лиму более тридцати лет назад и здесь — о, капризы судьбы! — совершенно опустилась физически, экономически, социально и даже психически. Не оставалось сомнений: все члены семейства отдадут богу душу именно здесь, в Городе Королей [3], и воплотятся в будущем своем существовании в рыб, птиц или насекомых.

«Колониальный пансион» переживал свой закат. Его клиентами ныне стали люди скромные и неприметные, в лучшем случае — провинциальные священники, приезжавшие в столицу похлопотать перед архиепископом, в худшем — крестьянки с обожженными солнцем щеками и глазами викуньи, прятавшие свои медяки в розовые платочки и молившиеся на языке индейцев кечуа. В пансионе служанок не было, и потому все заботы по уборке, закупке провизии, приготовлению обедов падали на плечи сеньоры Маргариты Бергуа и ее дочери, сорокалетней девицы, крещенной благоуханным именем Роза. Сеньора Маргарита Бергуа напоминала головастика: сама худенькая, лицо сморщенное, как печеное яблоко,— от нее, как ни странно, пахло кошками, хотя в пансионе они не водились. От зари до зари трудилась донья Маргарита, не зная отдыха; ее передвижения по дому — как поступь ее судьбы — поистине удивительны: одна нога хозяйки была на двадцать сантиметров короче другой, из-за чего ей приходилось носить особый башмак на деревянной платформе, похожий на ящичек-подставку у чистильщиков сапог, смастеречный для нее много лет назад талантливым богомазом из Айякучо. Когда донья Маргарита волочила свой башмак по деревянному полу, весь дом сотрясался. Она всегда была очень бережлива, однако с годами добродетель эта выродилась в манию, и теперь хозяйке пан-

[1] Курортная зона близ Лимы.

[2] Вечнозеленое, густолиственное дерево, растущее в Перу.

[3] Городом Королей назвал нынешнюю Лиму испанский конкистадор Франсиско Писарро (1475—1541), начавший в 1531 г. завоевание империи инков и в 1535 г. основавший этот город.

сиона более подходило другое, язвительное определение — скряга. Так, например, донья Маргарита позволяла жильцам мыться лишь по первым пятницам каждого месяца; она установила обычай спускать воду в унитазе только один раз в день (причем она делала это собственноручно, прежде чем лечь спать). Вот почему в «Колониальном пансионе» неизменно царило густое, теплое зловоние, вызывавшее — особенно вначале — у жильцов головокружение. Однако донья Маргарита с самомнением женщины, у которой всегда и на все имеется готовый ответ, утверждала, что благодаря этому амбре жильцы лучше спят.

У сеньориты Розы были (именно были, так как после великой ночной трагедии она изменилась и в этом) душа и персты искусницы. Еще девочкой в Айякучо, когда семейство процветало — три каменных дома, земелька, овечки, — она начала заниматься на фортепиано. Занятия проходили столь успешно, что сеньорита Роза даже дала сольный концерт в городском театре в присутствии самого алькальда и префекта полиции и где ее родители, услышав аплодисменты, разрыдались от полноты чувств. Вдохновленные этим славным днем (после концерта сеньориты Розы выступали с народными танцами индейцы), родители Бергуа решили продать все, что у них было, и переселиться в Лиму, дабы их дочь могла стать музыкантшей. Вот почему они приобрели этот домище, который впоследствии по частям продавали и сдавали в аренду; с той же целью Бергуа обзавелись пианино и записали свое талантливое дитя в Национальную консерваторию. Однако огромный город, этот омут разврата, быстро разрушил их провинциальные иллюзии. Очень скоро Бергуа открыли для себя нечто, о чем никогда не подозревали: оказывается, Лима была вместилищем миллионов грешников и все они без исключения старались совратить одаренную девицу из Айякучо. По крайней мере именно об этом с округлившимися от страха, полными слез глазами и утром, и днем, и вечером твердила девица: преподаватель сольфеджио с рычанием накинулся на нее, пытаясь совершить грех тут же, на кипах нот; привратник консерватории нагло предложил ей: «Хочешь стать моей любовницей?»; два молодых человека, тоже студенты, пригласили ее в уборную — посмотреть, как они делают пипи; полицейский на углу, когда она спросила у него адрес, видимо спутав ее с кем-то, захотел девушку обнять; кондуктор в автобусе, получая от Розы деньги, ущипнул ее за грудь... Полные решимости защитить девственность,— ее согласно морали жителей гор, где принципы тверды, как камень, юная пианистка должна была принести в дар своему будущему супругу и повелителю, — супруги Бергуа отказались от консерватории и пригласили преподавательницу музыки на дом, стали одевать Розу, как монашку, и запретили ей одной выходить из дома. Отныне она появлялась на улице только под конвоем родителей. С того дня прошло двадцать пять лет; девственность в самом деле оставалась нетронутой, на положенном ей месте, однако в нынешней ситуации это уже не имело большого значения, потому что за исключением упомянутого достоинства — которым, кстати, откровенно пренебрегает современная молодежь — бывшая пианистка (после пережитой трагедии от уроков музыки отказались, а инструмент продали в уплату за врачей и пребывание в больнице) была лишена каких-либо привлекательных качеств. Она постарела, растолстела, сгорбилась, стала меньше ростом. Облаченная в безобразные хламиды, которые она уже привыкла носить, и колпаки, скрывавшие ее волосы и лоб, сеньорита Роза стала более похожа на куль, чем на женщину. Она продолжала твердить, будто мужчины льнут к ней, пристают с наглыми предложениями, пытаются изнасиловать, но теперь даже родители ее вопрошали себя, а не было ли все это больной фантазией?

Однако са́мой запоминающейся и вызывающей жалость фигурой в «Колониальном пансионе» был дон Себастьян Бергуа, старик с широким лбом, орлиным носом и пронизывающим взглядом, отличавшийся прямотой и доброжелательностью. Дон Себастьян — человек старинной закалки; от своих далеких предков, испанских конкистадоров братьев Бергуа, уроженцев Кузнки, прибывших в Перу с отрядами Писарро, он унаследовал не столько склонность к излишествам, толкнувшую братьев на убиение сотен инков (это относится к каждому из братьев) и изнасилование соответствующего числа девственниц в Куско, сколько воинствующий католический дух и твердое убеждение в том, что благородные господа должны жить либо на ренту, либо эксплуатируя других, но никак не собственным трудом. Дон Себастьян с детства ежедневно посещал церковь, каждую пятницу причащался в честь чудотворца Лимпийского, истовым почитателем которого он был, и по меньшей мере трижды в месяц истязал себя плетью или носил власяницу. Его отвращение к труду — этому унизительному и грязному занятию, достойному лишь дикарей, — было столь велико, что он даже отказывался собирать с жильцов арендную плату, на которую, собственно, существовал. Обосновавшись в Лиме, дон Себастьян никогда не утруждал себя хождением в банк, чтоб получить проценты с акций, в которые были вложены его деньги. Эта обязанность, как, впрочем, и все остальные, лежала на вездесущей донье Маргарите, а когда подросла дочь, на донье Маргарите вместе с бывшей пианисткой.

До трагедии, ускорившей неотвратимый крах семейства Бергуа и ставшей проклятием рода, которому не суждено было оставить после себя даже имени, жизнь дона Себастьяна в столице протекала по канонам типичного буржуа-христианина. Вста-

вал он обычно поздно, не из лености, а лишь для того, чтобы не завтракать вместе с жильцами пансиона — он не то чтобы презирал простой люд, а просто твердо веровал в необходимость социальных и особенно расовых барьеров,— затем он выпивал стакан фруктового сока и шел к мессе. Отличаясь любознательностью и особым интересом к истории, дон Себастьян посещал всегда разные церкви — святого Агустина, святого Петра, святого Франциска, святого Доминика,— чтобы, воздавая должное богу, одновременно иметь возможность наслаждаться шедеврами церковного искусства колониальной эпохи; застывшие в камне свидетельства прошлого, кроме всего прочего, переносили его во времена покорения индейцев и завоеваний испанской короны — насколько ярче были те дни в сравнении с серењким настоящим! — когда он, будь у него выбор, предпочел бы жить, воображая себя наводящим страх капитаном конкистадоров или набожным борцом против идолопоклонства. Погруженный в мечты о прошлом, дон Себастьян возвращался по людным центральным улицам — прямой и подтянутый, в черном костюме, рубашке с жестким воротником и пристежными манжетами, с которых осыпался крахмал, в остроносых штиблетах конца прошлого века из лакированной кожи. Он шествовал в «Колониальный пансион» и там, усевшись в качалку на балконе с жалюзи, столь приятном его натуре, проводил остаток утра, читая вслух с пришепётыванием газеты, рекламные объявления, чтобы узнать о происходящем в мире. После обеда — дону Себастьяну волей-неволей приходилось разделять эту трапезу с жильцами, с которыми он все же был вежлив,— хозяин, соблюдая чисто испанский обычай, спал сиесту. Затем он вновь облачался в черную тройку, крахмальную сорочку, серую шляпу и не спеша отправлялся в клуб «Тамбо-Айякучо». В этом заведении, занимавшем верхние этажи здания на улице Каильома, собирались многие из тех, кого он знавал в своем прекрасном городе среди Анд. Здесь дон Себастьян играл в домино, в рокамбор [1], в рулетку, болтая о политике, иногда — ибо ничто человеческое ему не было чуждо — касался тем, неподходящих для нежных ушей сеньорит; в клубе его заставал вечер и ночь. Тогда он неторопливо возвращался в «Колониальный пансион»; в своей комнате, в одиночестве, съедал суп и жаркое, слушал радио и засыпал в мире с собственной совестью и господом богом.

Но так было раньше. Теперь дон Себастьян не показывается на улице; никогда не меняет своей одежды — и днем и ночью он ходит в пижаме кирпичного цвета, голубом халате, шерстяных чулках и вязанных из шерсти альпаки домашних туфлях. Со дня трагедии дон Себастьян не произнес ни единого слова. Он уже не посещает церкви, не интересуется газетами. Когда ему получше, старички — обитатели пансиона (надо заметить, как только Бергуа выяснили, что все мужчины на свете — гнусные сатиры, в «Колониальный пансион» стали принимать лишь особ женского пола либо мужчин-инвалидов, в половом бессилии которых по причине болезни или возраста можно было не сомневаться с первого взгляда) видят, как дон Себастьян с потерянным видом, небритый, взъерошенный, осыпанный перхотью, бродит будто привидение по темным, пустым и заброшенным комнатам или часами молчаливо и сосредоточенно покачивается в качалке. Он уже больше не обедает с жильцами; как ни странно, его поразил аристократический недуг, который нередко доводит человека до богадельни: дон Себастьян не может поднести ложку ко рту, и его кормит жена или дочь. Когда ему плохо, он не показывается неделями: благородный старик в это время лежит под замком в своей комнате. Однако жильцы слышат — до них доносятся его завывания, стенания, рев, от которых дрожат стекла. Вновь прибывшие постояльцы «Колониального пансиона» в такие моменты с удивлением смотрят на донью Маргариту и сеньориту Розу, которые под завывания потомка конкистадоров невозмутимо продолжают подметать, убирать, готовить еду, подавать ее на стол и разговаривать как ни в чем не бывало. Жильцы даже думают, что у обеих женщин — ледяное сердце, они не способны проявить любовь и сострадание к мужу и отцу. Особенно настойчивым жильцам, которые, показывая на запертую дверь, осмеливаются спрашивать: «Дону Себастьяну нездоровится?» — донья Маргарита неохотно отвечает: «Ничего страшного, просто — воспоминания о пережитом ужасе, скоро все пройдет». И действительно, через два-три дня кризис проходит, и дон Себастьян вновь бродит по захламленным закоулкам и коридорам «Колониального пансиона» — бледный, худой, с гримасой страха на лице.

Что же это за трагедия? Когда, где и при каких обстоятельствах она произошла?

Все началось лет двадцать назад с прибытием в «Колониальный пансион» некоего молодого человека с печальными глазами, одеяние которого свидетельствовало о его принадлежности к ордену господа Чудотворца. Уроженец Арекипы, коммивояжер по профессии, он носил имя пророка и фамилию морского животного — его звали Эсекиель Дельфин — и, кроме того, страдал хроническими запорами. Несмотря на юный возраст, его приняли в пансион, ибо одухотворенный облик — крайняя худоба, необыкновенная бледность, тонкая кость,— а также явная религиозность (кроме фиолетового галстука и платочка, в чемодане юноши лежала Библия, а под складками одеяния виднелся образок на ленте) казались прочной гарантией против всяких посягательств на вышеупомянутое целомудрие.

Вначале, действительно, юный Эсекиель Дельфин только радовал семью Бергуа. Он мало ел, был человеком образованным, аккуратно оплачивал счета и очень мило

[1] Карточная игра.

вел себя — так, например, время от времени он появлялся с фиалками для доньи Маргариты, с гвоздикой, предназначенной для лацкана пиджака дона Себастьяна, а сеньорите Розе подарил в день ее рождения ноты и метроном. Его застенчивость, не позволявшая ни к кому обращаться первым (да и, если приходилось, Эсекиель всегда говорил очень тихо, опустив глаза долу), а также хорошие манеры и приятные речи очень нравились семейству Бергуа. Они вскоре полюбили своего жильца и, видимо, в глубине души лелеяли мысль со временем сделать из него зятя: жизнь научила их простой философии — из всех зол выбирать меньшее.

Особой нежностью проникся к Эсекиелю дон Себастьян: может быть потому, что в субтильном коммивояжере он видел сына, которого расторопная хромоножка так и не сумела подарить мужу? Как-то декабрьским вечером дон Себастьян совершал прогулку с юношей до часовни святой Розы, покровительницы Лимы; здесь он увидел, что молодой человек бросил в колодец золотую монету и умолял святую оказать ему тайную милость. Жарким летним утром в воскресенье он пригласил коммивояжера отведать лимонного мороженого в кафе на площади Сан-Мартина. Молчаливый и меланхоличный юноша казался дону Себастьяну образцом элегантности. Может быть, он страдал какой-то таинственной болезнью души или тела, снедавшей его? Может быть, ему нанесла неизлечимую рану любовь? Эсекиель Дельфин молчал, как могила, и когда однажды, соблюдая все предосторожности, чета Бергуа предложила юноше «поплакаться им в жилетку» и спросила, как это он, такой молодой — и всегда один, почему он не ходит ни на вечеринки, ни в кино, почему не смеется и отчего постоянно вздыхает, уставясь в пространство, жилец покраснел и, пробормотав какое-то извинение, убежал и закрылся в туалете, где под предлогом своих запоров иногда сидел часами. Порой он уезжал в деловые поездки, возвращался, но попрежнему оставался загадочным сфинксом: семья Бергуа не могла даже выяснить, на какую фирму он работает и что продает. А оставаясь в Лиме, он целыми днями сидел взаперти в своей комнате — быть может, молился? Или предавался размышлениям? Жалея молодого человека, поддавшись к тому же соблазну сводничества, донья Маргарита и дон Себастьян всячески старались, чтобы он присутствовал на музыкальных занятиях Розиты: пусть немного развлечется Юноша подчинялся. Неподвижный и сосредоточенный, он слушал, забившись в угол, и под конец вежливо хлопал в ладоши.

Очень часто он сопровождал дона Себастьяна в церковь к утренней мессе, а на страстной неделе в тот памятный год вместе с Бергуа присутствовал на всех службах. К тому времени юноша, казалось, уже стал членом семейства.

Именно поэтому все трое Бергуа были очень обеспокоены, когда однажды Эсекиель, в этот день возвратившийся из поездки на север страны, вдруг неожиданно разрыдался во время обеда и, опрокинув тарелку с мизерной порцией только что поданной чечевичной похлебки, до смерти напугал других жильцов — судью из Анкаша, священника из Кахатамбо и двух девиц из Уануко, студенток фельдшерского училища. Бергуа отвели юношу в его комнату, дон Себастьян одолжил ему свой носовой платок, донья Маргарита приготовила отвар йербалуисы с мятой, а Роза укрыла ему ноги пледом. Через несколько минут Эсекиель Дельфин успокоился, извинился за «свою слабость» и пояснил, что в последнее время ощущает особую нервозность и сам не знает почему, у него то и дело непроизвольно льются слезы. Смущенно, почти шепотом он поведал Бергуа, что по ночам испытывает приступы страха, из-за которых не может уснуть до зари и лежит съежившись, с открытыми глазами, обливаясь холодным потом, думая при этом о призраках умерших, и страдает от одиночества. Его исповедь заставила сеньориту Розу прослезиться, а донью Маргариту осенить себя крестным знамением. Дон Себастьян тут же предложил перебраться спать в комнату к жильцу, дабы успокоить его, избавя от чувства страха. Юноша в приливе благодарности поцеловал у него руку.

В комнату постояльца немедленно притащили кровать, донья Маргарита с дочерью тотчас приготовили постель.

В то время дон Себастьян был в расцвете лет — ему стукнуло пятьдесят. Обычно перед сном дон Себастьян выполнял с полсотни гимнастических упражнений для живота (он делал гимнастику по ночам, а не утром, чтобы и в этом не походить на чернь), однако в ту ночь, не желая беспокоить Эсекиеля, он воздержался от зарядки. Нервный юноша улегся рано. До этого он поужинал любовно приготовленным из куриных потрохов бульончиком и заверил, что присутствие дона Себастьяна его успокоило заранее и он будет спать как сурок.

В памяти добропорядочного буржуа из Айякучо навеки запечатлелись подробности той ночи, и во сне и наяву они будут преследовать его до конца дней, и — кто знает? — возможно, эта мука продлится и когда он перейдет в иное жизненное измерение. Дон Себастьян рано потушил свет. С соседней кровати доносилось ровное дыхание нежного юноши, и он подумал: «Уснул». Дон Себастьян чувствовал, что сон одолевает и его, но все же разобрал звон колоколов кафедрального собора и далекий смех какого-то пьянчужки. Потом он уснул и увидел самый приятный и окрыляющий сон. Ему привиделся готический замок с гербами, со старинными пергаментами, геральдическими цветами и генеалогическим древом, согласно которому род его прослеживался вплоть до Адама; он видел себя Завоевателем, Властелином (да-да, это он!), принимающим многочисленные дары и горячее поклонение сонмищ

вшивых индейцев, наполнявших одновременно его сундуки деньгами, а его самого — тщеславием.

Вдруг (сколько времени прошло: пятнадцать минут или три часа?) ему почудилось нечто вроде легкого шума, будто пролетел дух. Дон Себастьян открыл глаза. В темноте — свет с улицы едва проникал сквозь гардину — он различил, как с соседней кровати поднялся силуэт и тихо поплыл к двери. Еще окончательно не проснувшись, дон Себастьян предположил, что юноша, страдавший запорами, спешит в туалет освободить желудок или ему опять стало плохо. Вполголоса он спросил: «Эсекиель, вам худо?» Вместо ответа он услышал, как щелкнул замок в двери (кстати, она была обита железом и скрипела). Дон Себастьян ничего не понял и, приподнявшись на постели, испуганно спросил: «Вам что-нибудь нужно, Эсекиель? Вам помочь?» Он скорее почувствовал, чем увидел, что юноша, гибкий, как кошка, вернулся от двери и стоял теперь рядом с ним, заслоняя лучик света из окна. «Да что с вами? Отвечайте, Эсекиель!» — пробормотал дон Себастьян, ощупью отыскивая выключатель. В этот момент ему была нанесена первая ножевая рана, самая глубокая и страшная. Нож вошел в тело, как в сливочное масло, и затем рассек ключицу. Дон Себастьян думал, что он кричит, громко взывает о помощи, и, пытаясь защититься и выбраться из опутавших ноги простынь, удивлялся, что к нему не бегут ни жена, ни дочь, ни жильцы. На самом же деле никто ничего не слышал. Позднее, когда полиция и судья восстанавливали картину этого кровавого происшествия, всех поражало, как это дон Себастьян, такой здоровяк, не смог разоружить хилого Эсекиеля. Но жильцы не подозревали, что в окровавленной тьме коммивояжер медицинских препаратов, казалось, обрел сверхчеловеческую силу, а дону Себастьяну пишь чудилось, будто он кричит, и он лишь пытался угадать, куда еще готов вонзиться нож, чтобы схватить лезвие руками.

Ему было нанесено не то четырнадцать, не то пятнадцать ножевых ран. Врачи считали, что распоротая правая ляжка — результат двух ранений в одно место (такие совпадения делают мужчин седыми за одну ночь и заставляют их поверить в бога). Раны равномерно распределялись по всему телу, нетронутым оказалось только лицо, на котором не было и царапины (донья Маргарита считала, что это чудо совершил господь Лимпийский, а сеньорита Роза полагала, что ее тезка, святая Роза). Как выяснилось впоследствии, нож принадлежал семейству Бергуа. То было острое лезвие длиной в пятнадцать сантиметров, таинственным образом исчезнувшее из кухни неделю назад и так обезобразившее бесчисленными шрамами тело уроженца Айякучо, что с ним не мог бы сравниться любой забияка-дуэлянт.

Чему же был обязан жизнью дон Себастьян? Случайности, милости божьей, но более всего — трагедии пострашней. Никто ничего не слышал, дон Себастьян с четырнадцатью (а может, и пятнадцатью?) ранами на теле потерял сознание и исходил в темноте кровью, так что безумец вполне мог выбежать на улицу и исчезнуть навсегда. Но, как и многих других известных безумцев, его погубил эстравагантный каприз. Когда жертва перестала сопротивляться, Эсекиель Дельфин отбросил нож и — вместо того чтобы одеться — разделся донага. Совершенно голый, в чем мать родила, он открыл дверь, пересек коридор и проник в комнату доньи Маргариты. Без слов он бросился к постели с явным намерением овладеть хозяйкой. Почему именно ею? Зачем он пытался совершить насилие над женщиной, правда благородного происхождения, но все же пятидесятилетней, да еще хромой, тощей, непривлекательной, короче, абсолютно безобразной с точки зрения любой из известных эстетических школ? Отчего бы ему не попытаться, напротив, вкусить запретного плода юной пианистки, этой девственницы, да еще со свежайшим дыханием, черными кудрями и белоснежной кожей? Почему бы, наконец, не попытаться отведать тайных прелестей будущих фельдшериц из Уануко, ведь им было по двадцать лет, и тела их, очевидно, были смуглы и соблазнительны? Именно эти низменные соображения заставили судебные власти принять аргументы защиты, согласно которым у Эсекиеля Дельфина была нарушена психика, в результате чего подсудимый вместо тюрьмы был отправлен в психиатрическую больницу имени Ларко Эрреры.

По неожиданному и галантному ночному визиту молодого человека донья Маргарита Бергуа поняла, что случилось нечто ужасное. Она была женщиной здравомыслящей и не строила иллюзий относительно своего обаяния. «Меня никому не изнасиловать даже во сне, я сразу поняла, что этот голозадый или псих, или бандит!» — вопила донья Маргарита. Она защищалась, как разъяренная львица (на суде она поклялась именем непорочной девы, что насильник ничего не смог добиться) и не только отстояла собственную честь, но и спасла жизнь своему мужу Кусаясь, царапаясь, отбиваясь руками и коленками, она сдерживала насильника, одновременно громко крича (она-то и впрямь кричала!), пока не проснулись ее дочь и жильцы. Роза, судья из Анкаша, священник из Кахатамбо и будущие фельдшерицы из Уануко одолели эксгибициониста, связали его и побежали к дону Себастьяну: жив ли он?

Потребовался чуть ли не час на вызов «скорой помощи», которая отвезла дона Себастьяна в больницу имени архиепископа Лоайса. И понадобилось около трех часов, чтобы спасти Лучо Абриля Маррокина от ногтей юной пианистки, которая, будучи вне себя, пыталась вырвать ему глаза и испить его крови, мстя, вероятно, за раны отца? Или за оскорбление, нанесенное матери? А может, ведь человеческая душа — потемки, за то, что коммивояжер пренебрег ею самою?

В полиции молодой человек вновь обрел присущую ему мягкость манер и речи. Заливаясь краской от смущения, он категорически отверг предъявленное ему обвинение. Семейство Бергуа и жильцы оклеветали его, он никогда ни на кого не нападал, никогда не пытался оскорбить женщину, тем более такую болезненную, как донья Маргарита; эту сеньору за ее добродетели и высочайшие качества он любил и уважал более всех на свете, конечно после своей жены, девицы с итальянскими глазами, прибывшей из страны песен и любви. Спокойствие молодого человека, его вежливость, покорность, отличные рекомендации хозяев и сотрудников «Лаборатории Байер», безупречность его полицейской карточки заставили стражей порядка призадуматься. А может — ведь внешность бывает порой так обманчива;— все это козни жены и дочери пострадавшего и их жильцов против столь деликатного юноши? Полицейские власти благосклонно приняли такой аргумент и согласились с ним.

Но, что самое обидное (и это обстоятельство взбудоражило весь город), объект нападения — дон Себастьян Бергуа — не мог помочь следствию, находясь на грани жизни и смерти в популярной лечебнице на авениде Альфонсо Угарте. Ему переливали огромные дозы крови, что едва не довело до чахотки его многочисленных земляков из клуба «Тамбо-Айякучо»: узнав о происшедшей трагедии, они примчались в больницу, предлагая свои услуги в качестве доноров. Переливания крови, инъекции, операции, дезинфицирующие и перевязочные средства, сестры милосердия и врачи, дежурившие у больного, сращивавшие кости, восстанавливавшие ткани, успокаивавшие нервную систему дона Себастьяна, — все это за несколько недель поглотило и без того подорванное (инфляцией и все растущей дороговизной) состояние семьи Бергуа. Им пришлось перезакладывать акции, перестраивать и сдавать по частям свою недвижимость, а самим ютиться на втором этаже дома, где они теперь и прозябали.

Дона Себастьяна удалось спасти, но он еще не был в состоянии отвечать на вопросы, чтобы прояснить подозрения полиции. В результате ножевых ран и перенесенного потрясения — а может быть, из-за того, что его супруге был нанесен моральный урон, — дон Себастьян онемел (поговаривали даже, что он стал идиотом). Теперь он не мог произнести ни слова, на все и всех смотрел сонной черепахой, и руки не повиновались ему. Он не смог — или не захотел — даже письменно ответить на вопросы следствия.

Процесс получил широкую огласку, и Город Королей — Лима — взволнованно обсуждал его. Вся столица, все Перу — может быть, даже вся Латинская Америка — напряженно следили за судебной процедурой, за вопросами следователя и ответами свидетелей, за выступлениями прокурора и речами защитника, знаменитого адвоката, специально прибывшего из мраморного города Рима защищать Лучо Абриля Маррокина, поскольку обвиняемый приходился супругом итальяночке, которая была не только соотечественницей, но и родной дочерью адвоката.

Вся страна разделилась на два лагеря. Сторонники невиновности коммивояжера медицинских препаратов — к ним относились все газеты — утверждали, что дон Себастьян чуть ли не является жертвой собственной жены и наследницы, спутавшихся с судьей из Анкаша, священником из Кахатамбо и будущими фельдшерицами из Уануко. Мотивом преступления, без сомнения, явилась борьба за наследство и стремление к наживе. Римский адвокат горячо отстаивал этот тезис, полагая, что, обнаружив признаки тихого помешательства у Лучо Абриля Маррокина, обе женщины и жильцы сговорились взвалить на него вину за преступление (а может, и толкнуть его на этот шаг). Адвокат приводил свои аргументы, а печать возносила их до небес, комментируя и подавая как бесспорные: может ли здравомыслящий человек поверить, что мужчина способен в благоговейном молчании перенести четырнадцать, а то и пятнадцать ударов ножом? А если, исходя из логики вещей, предположить, что дон Себастьян Бергуа вопил от боли, то какой же здравомыслящий человек поверит, что ни жена, ни дочь, ни судья, ни священник, ни фельдшерицы не слышали этих воплей, тем более что стены в «Колониальном пансионе» возведены из камыша, обмазанного глиной, сквозь которые проникает даже комариный звон и шорох скорпиона? Возможно ли, чтобы квартирантки из Уануко, примерные студентки, не оказали пострадавшему первую помощь и безучастно ожидали врача, в то время как сеньор Бергуа истекал кровью? И может ли быть, что никому из шести взрослых людей не пришла в голову мысль, до которой додумался бы даже кретин: если опаздывает «скорая помощь», нужно бежать за такси, тем более что стоянка находится прямо на углу у «Колониального пансиона»? Разве все это не странно? Не подозрительно? Не симптоматично?

Проведя три месяца в тюрьме предварительного заключения в Лиме, священник из Кахатамбо, приехавший в столицу всего на четыре дня, чтобы выпросить новую статую Христа для церквушки своего селения, потому что прежней хулиганы оторвали голову, и потрясенный перспективой быть обвиненным в покушении на убийство и провести остаток дней своих в тюрьме, не выдержал: сердце его разорвалось, и он скончался. Его смерть взбудоражила общественное мнение и имела губительные последствия для защиты. Теперь газеты отвернулись от импортированного адвоката, обвинив его в казуистике, мошенничестве, колонизаторских замашках, неуважении к стране пребывания. Мало того, ему приписали, будто он своими антихристианскими инсинуациями, достойными Сивиллы, довел до смерти доброго пастыря. Судьи же,

как гибкий тростник на ветру, склонились на сторону прессы; адвоката лишили права голоса, как иностранца, затем его лишили права выступать перед верховным судом, а затем последовало решение, принятое всей прессой под националистический трезвон: итальянец, как персона «нон грата», был выслан на родину.

Кончина священника из Кахатамбо спасла мать, дочь и постояльцев от угрозы обвинения в покушении на убийство и сокрытии преступления. Вслед за прессой и общественным мнением прокурор вдруг проникся симпатией и доверием к сеньорам Бергуа и принял, как было вначале, их версию события. Новый адвокат Лучо Абриля Маррокина, местный юрист, применил новую стратегию: он признал, что подзащитный совершил преступления, но настаивал на полнейшей безответственности его по причине врожденной паропсии и анемии, усугубленной шизофренией и другими отклонениями из области психопатологии, о чем известные специалисты уже высказали свое мнение. Как убедительное доказательство невменяемости был приведен тот факт, что обвиняемый среди четырех женщин, проживавших в «Колониальном пансионе», избрал самую старую и к тому же хромую. Во время заключительной речи прокурора, драматический эффект которой довел лицедеев этого спектакля до экстаза, а публику до исступления, дон Себастьян, прежде молчаливо и недвижно сидевший на стуле, как если бы суд совершенно его не касался, вдруг медленно поднял руку (глаза его покраснели — от усилия ли, от ярости или унижения?) и твердо указал на Лучо Абриля Маррокина. Он держал руку вытянутой ровно минуту, что было зафиксировано одним из журналистов с помощью хронометра. Жест был воспринят как нечто исключительное, как если бы конная статуя Симона Боливара[1] пустилась вскачь... Суд признал справедливыми доводы прокурора, и Лучо Абриль Маррокин был заключен в сумасшедший дом.

Семейство Бергуа уже не смогло оправиться. Отсюда началась его моральная и материальная деградация. Разоренные больницами и судами, Бергуа вынуждены были отказаться от уроков на фортепиано (а вместе с этим и от мечты увидеть когда-нибудь Розу артисткой с мировым именем). Затем им пришлось до минимума сократить свои расходы и во всем себе отказывать, они опустились. Старый дом постарел еще больше, его насквозь пропитала пыль, в нем поселились полчища пауков, его медленно пожирала моль. Жильцов стало меньше, и социальная категория их значительно снизилась: ныне здесь жили служанка и грузчик. Бергуа до дна испили чашу унижения в тот день, когда в дверь постучал нищий и сказал ужасную вещь: «Это здесь колониальная ночлежка?»

Итак, день за днем, месяц за месяцем, прошло тридцать лет.

Казалось, семейство Бергуа уже привыкло к своему нищенскому существованию, как внезапно что-то заставило его встряхнуться, будто и над ним, точно атомный взрыв над японскими городами, разразилось нечто. Вот уже много лет в доме не слышно было радио, столько же времени семейный бюджет не позволял покупать газеты. События, происходившие в мире, доходили до Бергуа очень редко, да и то в сплетнях и пересудах неграмотных жильцов.

Однако — какой случай! — в тот вечер водитель грузовика из городка Кастровиррейна вдруг расхохотался, грязно выругался и, сплюнув, пробормотал: «Опять этот псих! Укокошить бы его!» При этом он бросил на затянутый паутиной столик гостиной только что прочитанную газету «Ультима ора». Бывшая пианистка подняла ее и стала листать. Вдруг она побледнела, будто ее поцеловал вампир, и, громко зовя мать, выбежала из комнаты. Обе женщины читали и перечитывали крохотную заметку, а затем по очереди прокричали ее дону Себастьяну, который без сомнения все понял, ибо в тот же момент с ним случился один из его тяжелых припадков, когда он начинал икать, громко плакать, обливаться потом и метаться как одержимый.

Какая же новость вызвала такую тревогу в семействе, переживавшем свой закат?

На заре прошедшего дня в одном из переполненных больными покоев психиатрической лечебницы имени Виктора Ларко Эрреры, расположенной в районе Магдалена дель Мар, пациент, проведший в ее стенах достаточно времени, чтобы уже получать пенсию по старости, зарезал фельдшера ланцетом. Вслед за этим он задушил тихого старичка, спавшего на соседней постели, и убежал в город, ловко перебравшись через стену, отделявшую больницу от набережной. Его поступок всех удивил, потому что пациент этот был на редкость смирным, никто никогда не видал его в плохом настроении и не слышал, чтобы он повысил голос. Единственным его занятием за тридцать лет в больнице было отправление воображаемой церковной службы в честь господа Лимпийского и раздача несуществующих облаток для несуществующих причащающихся. Прежде чем убежать из больницы, Лучо Абриль Маррокин, только что достигший расцвета лет для мужчины — ему исполнилось пятьдесят, написал весьма вежливую прощальную записку: «Мне очень жаль, но я вынужден бежать. Меня ждет пожар в одном старом доме Лимы, где хромоножка, горячая как огонь, и ее семья наносят смертельную обиду богу. Я получил наказ погасить огонь».

---

[1] Симон Боливар (1783—1830) — выдающийся деятель национально-освободительного движения в Латинской Америке, возглавлявший борьбу против испанского господства.

Сделает ли он это? Погасит ли огонь? Возникнет ли он из забвения, чтобы снова ввергнуть семейство Бергуа в кошмар, как сейчас он поверг его в страх? Как закончит свои дни охваченная паникой семья из Айякучо?

XIII

Памятная неделя началась ярким событием, хотя и без эксцессов, отличавших нашу встречу с ресторанщиками. Я был свидетелем и даже участником этого события.

Хенаро-сын все свое время отдавал изобретению нововведений к нашим программам. Однажды он решил, что для того, чтобы сделать радиосводки более хлесткими, их следует сопровождать интервью. Он заставил заниматься этим и меня, и Паскуаля, и с тех пор мы начали ежедневно передавать в ночной сводке интервью на какую-нибудь актуальную тему. Для информационной службы это означало увеличение объема работы (хотя и без увеличения жалованья), но я не роптал, потому что брать интервью было довольно интересно. Задавая вопросы в студии на улице Белен или перед микрофоном танцовщице ночного кабаре, члену парламента, футболисту или одаренному дитяте, я понял: абсолютно все может стать темой для рассказа.

Еще до вышеупомянутого яркого события самым интересным типом, которого я интервьюировал, был тореро из Венесуэлы. В тот сезон он имел огромный успех, выступая на арене «Ачо». Уже после первой корриды он получил несколько почетных трофеев — бычьи уши, после второй — это было поистине фантастическое зрелище! — ему подарили ногу убитого им животного и толпа пронесла его на плечах от реки Римак до его отеля на площади Сан-Мартина. Однако в ходе третьего — и последнего — своего боя (входные билеты он сам перепродавал по астрономическим ценам) он практически и быков-то не видел: его охватил панический страх, и он бегал от рогатого противника все время своего выступления. Тореро не провел ни одного достойного «пасе» [1], а убил лишь немногих, так что на втором быке — бывает же! — получил четыре предупреждения. На трибунах разразился величайший скандал, зрители даже пытались поджечь арену и линчевать венесуэльца, которого под громкое улюлюканье и сквозь град пущенных в него подушек для сидения полицейским пришлось сопровождать до самой гостиницы. На следующее утро, за несколько часов до отлета, я встретился с ним в холле отеля «Боливар». Я совершенно растерялся, обнаружив, что тореро был намного глупее быков, против которых выступал, и обладал равными с ними способностями выражать свои мысли. Он просто не мог связать трех слов, путаясь во временах и глаголах, а его манера соотносить свои идеи заставляла меня вспомнить о мозговых опухолях, нарушениях речи и человекообезьянах. Форма изложения мысли была не менее удивительной, чем ее суть. Тореро говорил с кошмарным акцентом, постоянно употребляя уменьшительные слова и сокращения, а в минуты умственных провалов издавал какие-то зоологические урчания.

Мексиканец же, которого мне пришлось интервьюировать в понедельник памятной недели, был, напротив, незаурядной личностью и прекрасным собеседником. Он руководил журналом, написал книги о мексиканской революции, а сейчас возглавлял делегацию экономистов и проживал также в отеле «Боливар». Мексиканец согласился прийти на радио, и я сам отправился за ним. Это был высокий и стройный мужчина лет шестидесяти, с седыми волосами, очень хорошо одетый. Его сопровождала супруга — худенькая, с живыми глазами женщина, в шляпке из цветочков. Мы подготовили интервью по дороге от отеля до радиостанции и записали его за пятнадцать минут, к ужасу Хенаро-сына: в ответ на один из моих вопросов экономист и историк жестоко обрушился на военные диктатуры (в то время мы изнывали под диктатурой некоего Одриа [2]).

Все случилось, когда я возвращался вместе с супругами в отель «Боливар». Был полдень, и улица Белен, как и площадь Сан-Мартина, была заполнена людьми. Мексиканская дама шла ближе к домам, муж ее — посредине тротуара, а я — с краю. Мы только что миновали «Радио Сентраль», и, чтобы как-то нарушить молчание, я повторил именитому гостю, что интервью получилось прекрасное. В этот момент меня вдруг прервал голосок сеньоры мексиканки:

— Господи, я рассыпаюсь...

Я посмотрел на нее и увидел, что она мертвенно-бледна, глаза ее то открываются, то закрываются, рот странно сводит. Но самым удивительным была реакция экономиста и историка. Услышав это предупреждение, он бросил быстрый взгляд на супругу, затем на меня — причем как-то растерянно, потом оглядел улицу и, вместо того чтобы остановиться, ускорил шаг. Мексиканская дама стояла около меня и корчилась в судорогах. Я успел схватить ее под руку, когда она стала терять сознание. К счастью, она была очень хрупкой и я смог поддержать ее, а в это время именитый гость уда-

---

[1] Так называется маневр в корриде, когда тореро красным плащом вызывает быка на себя и пропускает его рядом, как можно ближе к себе, не нанося ему удара.

[2] Генерал Мануэль Аполинарио Одриа в 1948 г., возглавив государственный переворот, захватил власть в Перу и установил режим реакционной диктатуры (по 1956 г.).

лялся широким шагом, возложив на меня деликатную обязанность тащить его собственную жену. Люди расступались перед нами, оборачивались нам вслед. Когда мы подошли к кинотеатру «Колон», мексиканская дамочка, не переставая корчиться, начала пускать слюни, сопли и слезы, и я услышал, как уличный продавец сигарет сказал: «Она еще и мочится». Действительно, супруга экономиста и историка (он уже пересек авениду Ла Кольмена и исчез среди людей, собравшихся у входа в бар «Боливар») оставляла за собой желтый след... Дойдя до угла, я вынужден был взять ее на руки и таким необычным и галантным манером одолеть оставшиеся пятьдесят метров, лавируя среди гудящих автомашин, свистящих полицейских и тыкающих в нас пальцами прохожих. Женщина не переставая судорожно извивалась и гримасничала, а мои руки и нос убеждали меня, что кроме «пипи» она сделала еще кое-что, более существенное. Из горла мексиканки вырывались неясные, глухие звуки. При входе в отель «Боливар» я услышал отданное сухим тоном приказание: «Апартамент 301». Это оказался именитый гость, выглянувший из-за портьеры. Распорядившись, он быстрым шагом направился к лифту. Пока мы поднимались, он ни разу не взглянул ни на меня, ни на супругу, будто не желая показаться невежливым. Лифтер помог мне донести женщину до номера. Как только мы положили ее на постель, именитый гость буквально вытолкал нас за дверь, не сказав ни «спасибо», ни «до свидания», и захлопнул ее перед нашим носом. Выражение лица его было кислым.

— Нет, он неплохой муж,— объяснил мне позднее Педро Камачо.— Просто он — человек самолюбивый и к тому же с большой фанаберией.

Вечером я должен был читать тетушке Хулии и Хавьеру свой только что законченный рассказ «Тетя Элиана». Газета «Комерсио» так и не опубликовала рассказ о «летающих» мальчишках, и я утешился, написав другой, из жизни нашего семейства. Элиана была одной из многочисленных теток, посещавших наш дом, когда я был еще ребенком. Я предпочитал ее всем остальным, потому что она приносила конфеты и иногда водила меня в кафе-мороженое. Ее пристрастие к сладостям служило поводом для шуток на всех сборищах нашего клана. Говорили, что она тратит целиком свое жалованье секретарши на пирожные с кремом, хрустящие коржики, взбитые торты и шоколад в «Белой лавочке». Элиана была добрая толстушка, веселая и болтливая, и я всегда защищал ее, когда родственники судачили: ей, мол, только и остается наряжать изображения святых, а о замужестве и думать нечего. Однажды тетушка Элиана вдруг исчезла, и никто из семьи не упоминал о ней. Мне тогда было лет шесть-семь, и я очень недоверчиво относился к тому, что отвечали родители на мои вопросы о тетушке: то она путешествует, то болеет, то — «на днях зайдет». Лет пять спустя все наше семейство неожиданно оделось в траур. В доме дедушки и бабушки я узнал, что родственники присутствовали на похоронах тети Элианы, которая скончалась от рака. Только тогда и раскрылась тайна. Когда все были уверены, что тетушка Элиана обречена на одиночество, она вдруг выскочила замуж за некоего китайца, владельца винного подвала в районе Хесус-Мария. Вся семья, начиная с родителей тетки, в страхе перед скандалом (тогда я полагал, что скандальным в этом деле была национальная принадлежность супруга, теперь же думаю, основной его грех заключался в том, что он содержал питейное заведение) похоронила ее заживо. Никто никогда не посещал тетушку и не принимал у себя. Однако, как только Элиана умерла, ее простили (в глубине души мы были очень сентиментальны), родственники присутствовали на ее отпевании и похоронах и даже пролили над гробом немало слез.

Мой рассказ представлял собой монолог ребенка. Лежа в постели, мальчик размышляет над загадочным исчезновением своей тетки. В эпилоге были описаны похороны героини. То был «социальный» рассказ, исполненный протеста против предрассудков и лицемерия. Я написал его за две недели и столько говорил об этом тетушке Хулии и Хавьеру, что они сдались и попросили прочитать им. Но прежде чем сделать это, я рассказал им вечером в понедельник случай с мексиканской дамочкой и важным гостем и тем совершил ошибку, за которую дорого поплатился: происшествие показалось им намного забавнее моего рассказа.

Стало уже привычным, что тетушка Хулия приходит на радиостанцию. Мы поняли: это самое безопасное место, поскольку Паскуаль и Великий Паблито были нашими сообщниками и мы им доверяли. Хулия появлялась после пяти часов, когда наступал период затишья: оба Хенаро уходили, и редко кто посещал нашу будку. По молчаливой договоренности коллеги просили у меня разрешения уйти «выпить кофейку», так что мы наедине с тетушкой Хулией могли беседовать и целоваться. Иногда я писал, а она читала журналы или болтала с Хавьером, который неизменно присоединялся к нам часов в семь. У нас уже создалась неразлучная компания, и мои нежные отношения с тетушкой Хулией в этой дощатой комнатушке были удивительно непринужденными. Мы могли держаться за руки и целоваться, не привлекая к себе внимания. И это делало нас счастливыми. В пределах нашей крыши мы чувствовали себя свободными, полными хозяевами своих поступков, мы могли любить друг друга, говорить о том, что для нас было важно, и чувствовать: нас понимают. Покинуть эти пределы означало ступить на враждебную территорию, где необходимо лгать и скрываться.

— Правда, можно подумать, будто здесь — наше любовное гнездышко? — спрашивала тетушка Хулия.— Или это звучит вульгарно?

— Конечно вульгарно, и не надо так говорить,—отвечал я.—Но можно вообразить, что это Монмартр.

Мы играли в учителя и ученицу, и я объяснял ей: «вульгарно» означает то, что нельзя ни сделать, ни произнести. Я установил инквизиторскую цензуру над тем, что она читала, запретив всех ее любимых авторов, начиная с Франка Иерби и кончая Корин Тельядо [1]. Мы веселились, как дети. Иногда в «войне» против «вульгарности» со свойственным ему пылом принимал участие и Хавьер.

При чтении рассказа «Тетя Элиана» присутствовали также Паскуаль и Великий Паблито — они уже сидели в комнате, и я не решился их выгнать, именно это и обеспечило мое счастье, ибо только они и поздравили меня с успехом, хотя, поскольку они оба были моими подчиненными, энтузиазм их казался подозрительным. Хавьер нашел рассказ надуманным, никто, мол, не поверит, будто девушку можно подвергнуть остракизму за то, что она вышла замуж за китайца. Он уверял меня: если бы муж героини был негр или индеец, рассказ еще можно было бы спасти. Тетушка Хулия нанесла мне последний удар, заявив, что рассказ получился мелодраматичным, некоторые словечки, вроде «трепетавшая» и «стенающая», показались ей вульгарными. Я пытался защитить «Тетю Элиану», когда в дверях нашей клетушки увидел Худышку Нанси. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять, почему она прибежала.

— Вот сейчас-то и разразился великий скандал в нашем семействе,—выпалила она одним духом.

Паскуаль и Великий Паблито в предвкушении грандиозной сплетни навострили уши. Я остановил кузину, попросил Паскуаля подготовить радиосводку к девяти вечера, и мы спустились выпить кофе. В кафе «Бранса» Нанси подробно рассказала о случившемся. Она мыла голову, когда до нее донесся телефонный разговор ее матери с тетушкой Хесусой. У Нанси, по ее словам, мороз пробежал по коже, как только она услышала слово «парочка» и поняла, что речь идет о нас. Пока еще не всем и не все было ясно, но о нашей любви уже давно догадывались, потому что тетушка Лаура заявила по телефону: «Представляешь, даже Камунчита видела их: эти нахалы шли, взявшись за руки. И видела она их в Оливковом парке в Сан-Исидоро!» (Так оно и было, всего один раз, вечером, несколько месяцев назад.) Выходя из ванны, Нанси («дрожмя дрожа», как она выразилась) столкнулась с матерью и попыталась притвориться, будто из-за шума сушилки для волос она ничего не слышала, но тетка Лаура заставила ее замолчать и отругала, назвав «потворщицей этой пропащей женщины».

— Это я «пропащая»? — спросила тетушка Хулия скорее с любопытством, чем с негодованием.

— Да, ты,— ответила кузина, краснея. — Считают, что все это — дело твоих рук.

— Верно, я ведь несовершеннолетний, жил себе спокойно, изучал юриспруденцию, пока...— сказал я, но никто даже не улыбнулся.

— Если дома узнают, что я вам все рассказала, меня убьют,—проговорила Худышка Нанси.— Поклянитесь богом — никому ни слова.

Родители строго предупредили ее: если она хоть словечком проговорится, они на год запрут ее дома и даже к мессе не пустят. С ней говорили так внушительно, что Нанси заколебалась — следует ли ей сообщать обо всем нам. Родственники знали все и с самого начала, однако, заняли выжидательную позицию, считая, что пока нет ничего серьезного, так, мимолетный флирт дамочки, у которой «не все дома» и которая вознамерилась пополнить реестр своих поклонников экзотической победой — над юнцом. Но так как тетушка Хулия, не стесняясь, появлялась на людях в сопровождении сопляка и все большее число знакомых и родственников узнавало об этом романе (даже бабушке с дедушкой стало обо всем известно, им насплетничала тетка Селия), эта постыдная связь могла повредить «долговязому» (то есть мне), который с тех пор, как «разведенка» заморочила ему голову, видимо, не желает учиться, семейство решило вмешаться.

— И что же они будут делать, чтобы спасти меня?—спросил я, пока еще не очень напуганный.

— Они напишут твоим родителям,—ответила Худышка Нанси.—Уже написали старшие дяди — дядюшка Хорхе и дядюшка Лучо.

Мои родители тогда жили в Соединенных Штатах; отец был суровым человеком, и его я очень боялся. Я вырос вдали от него, с матерью и ее родственниками. Когда мои родители снова сошлись и мы стали жить вместе с отцом, я никогда с ним не ладил. Он был консервативен и властолюбив, непослушание вызывало в нем холодную ярость, а если правда, что ему уже написали обо мне, сообщение это произведет на него впечатление разорвавшейся бомбы, и реакция будет страшной. Тетушка Хулия сжала под столом мою руку.

— Ты побледнел, Варгитас. Вот теперь-то у тебя есть тема для прекрасного рассказа.

— Лучше всего сохранять трезвую голову и ровный пульс,— постарался поддержать меня Хавьер.— Не бойся, мы придумаем что-нибудь, чтоб устоять перед натиском.

— А на тебя тоже все разозлились, — предупредила его Нанси. — И тебя тоже назвали одним словечком.

[1] Авторы низкопробных произведений «масс-культуры», передаваемых также по радио и телевидению.

— «Сводником»? — улыбнулась тетушка Хулия. Повернувшись ко мне, она с грустью сказала: — Для меня самое главное, что нас заставят расстаться и я больше никогда не увижу тебя.

— Все это вульгарно, и не надо так говорить,— ответил я ей.

— Ловко же они притворялись! — сказала тетушка Хулия.— Ни моя сестра, ни зять, никто из твоих родственников не вызывал у меня подозрения, что они все знают и презирают меня. Ханжи! Они относились ко мне так сердечно!

— По крайней мере сейчас вам надо на время расстаться, —посоветовал Хавьер. — Пусть Хулия показывается на людях с кавалерами, а ты поухаживай за какой-нибудь девушкой. Пусть семейство подумает, что вы рассорились.

Удрученные, мы с тетушкой Хулией согласились: это — единственный выход. Однако после того как ушла Худышка Нанси (мы поклялись, что никогда не выдадим ее), а за ней и Хавьер, тетушка Хулия пошла проводить меня до радиостанции. Мы шли молча, опустив головы и взявшись за руки, по улице Белен, мокрой от дождя. Мы понимали, даже не обменявшись ни словом, что подобная тактика может обратить ложь в правду. Если мы не будем встречаться, если каждый из нас будет жить своей жизнью, рано или поздно наши чувства иссякнут. Мы условились говорить по телефону каждый день в определенные часы и распрощались долгим поцелуем.

Когда я поднимался к себе на крышу в дребезжащем подъемнике, мне, как и прежде, неудержимо захотелось рассказать о своих несчастьях Педро Камачо. Я будто предчувствовал: в комнатушке, занятые оживленным разговором с Великим Паблито, пока Паскуаль начинял сводку известиями о катастрофах (как и следовало ожидать, несмотря на мое приказание, он продолжал заполнять нашу информацию трагическими происшествиями со смертельным исходом), меня дожидались коллеги боливийского писаки — Лусиано Пандо, Хосефина Санчес и Батан. Они покорно ждали, пока я не проглядел последние известия, сочиненные Паскуалем; потом он и Великий Паблито ушли, пожелав нам доброй ночи. Когда мы остались в конурке вчетвером, актеры, прежде чем начать разговор, обменялись тревожными взглядами. Сомнений не было: дело касалось боливийского артиста.

— Вы — его лучший друг, поэтому мы и пришли к вам — пробормотал Лусиано Пандо. Это был скрюченный шестидесятилетний человек, зимой и летом, днем и ночью обмотанный засаленным шарфом. Я видел на нем только этот его костюм — коричневый в синюю полоску, превратившийся в лохмотья от многочисленных чисток и глаженья. На правом башмаке, около языка, красовалась заплата. — Речь идет о деликатнейшем деле. Вы, наверное, уже представляете себе...

— По правде сказать, не представляю, дон Лусиано, — проговорил я. — Речь идет о Педро Камачо? Да, мы действительно друзья, хотя вы знаете, это — человек, которого никому не под силу познать до конца. С ним что-нибудь случилось?

Лусиано Пандо кивнул головой, молча разглядывая свои башмаки, будто ему было тяжело произнести заранее подготовленную речь. Я взглядом спросил его соратницу и Батана — оба были серьезны и молчаливы.

— Мы делаем это из любви к нему и из чувства благодарности, — своим чудесным бархатным голосом проворковала Хосефина Санчес.— Никто даже не предполагает, чем обязаны Педро Камачо все, кто, подобно нам, занимается этим столь низко оплачиваемым трудом.

— Мы всегда были лишней спицей в колеснице, никто не обращал на нас внимания, и наши комплексы развились настолько, что мы уже сами себя стали считать хламом, — произнес Батан так проникновенно, что я подумал: речь идет о катастрофе. — Благодаря Педро Камачо мы заново открыли для себя свою работу, мы поняли: это — художественное творчество.

— Но вы говорите о нем так, будто он умер, — сказал я.

— «Что бы делал народ без нас?» — процитировала своего идола, не слушая меня, Хосефина Санчес.— Кто дарит людям мечты и переживания, которые помогают им жить?!

Прекрасный голос этой женщины в какой-то мере возмещал ее физическое уродство, так как она с головы до ног представляла собой невообразимое сочетание всевозможных отклонений от нормы. Установить ее возраст было невозможно, хотя скорее всего за плечами ее было уже полвека. Хосефина была смуглой, а волосы травила перекисью, соломенно-желтые пятна выбивались из-под тюрбана цвета граната и свисали на уши, хотя, к сожалению, никак не могли их закрыть, ибо уши актрисы были огромные, оттопыренные, будто жадно ловили все звуки на свете. Однако наибольшее внимание привлекал двойной подбородок Хосефины, этакий бурдюк, нависавший над цветастой блузкой. Над верхней губой актрисы виднелся пушок, можно даже сказать — усы, и она усвоила ужасную привычку облизывать их при разговоре. Ноги у нее были как у футболиста, к тому же обмотанные эластичными бинтами, ибо она страдала варикозом. В другое время ее визит возбудил бы мое любопытство, но в тот вечер я был слишком занят собственными проблемами.

— Конечно, я знаю, чем вы все обязаны Педро Камачо, — сказал я нетерпеливо. — Ведь не зря его радиопостановки — самые популярные в стране.

Они, я заметил, переглянулись и приободрились.

— Именно так, — выговорил, наконец, Лусиано Пандо с горечью и сожалением. — Вначале мы не придавали этому никакого значения. Думали, тут просто оплошность, пустяки, могущие случиться с каждым. Тем более с человеком, который трудится от зари до зари.

— Но что же все-таки происходит с Педро Камачо? — прервал я дона Лусиано. — Я ничего не понимаю.

— Дело в радиопостановках, молодой человек, — пробормотала Хосефина Санчес, будто совершая святотатство.— С каждым разом они становятся все более странными.

— Мы все — актеры и технический персонал — только и делаем, что дежурим у телефона «Радио Сентраль» и отвечаем на жалобы радиослушателей,— продолжил разговор Батан. Волосы его блестели и топорщились, как иглы дикобраза, будто он полил их бриллиантином; как всегда, на Батане был комбинезон грузчика, башмаки без шнурков, и казалось, он вот-вот заплачет. — Мы делаем все, чтобы отец и сын Хенаро не уволили его.

— Вы сами прекрасно знаете, Педро Камачо ничего не боится и живет с блохой в кармане и вошью на аркане, — добавил Лусиано Пандо. — Но что будет, если его выгонят? Он же умрет с голоду!

— А что станется с нами? — воскликнула горячо Хосефина Санчес. — Что станется с нами без него?

Перебивая друг друга, они подробно и обо всем мне рассказали. Несоответствие в текстах (или, как выразился Лусиано Пандо, «попадание пальцем в небо») впервые было замечено около двух месяцев назад, но вначале незначительное, и на него могли обратить внимание только актеры. Они ни слова не сказали Педро Камачо, ибо никто не осмелился этого сделать, зная его характер. Кроме того, первое время они думали, что несогласованности допущены намеренно, с целью запутать слушателя. Однако за последние три недели дело серьезно осложнилось.

— Вся беда в том, молодой человек, что в радиопьесах ужасная мешанина,— сказала опустошенно Хосефина Санчес.— Герои перепутаны так, что мы и сами не можем разобраться, кто откуда.

— Например, в утренних радиопередачах Иполито Литума всегда был сержантом, грозой всех преступников в Кальяо,— напомнил изменившимся голосом Лусиано Пандо.— Но вот уже три дня, как он вдруг стал судьей, это в передаче, которая транслируется в четыре часа дня. А судью прежде звали Педро Барреда. Вот вам пример.

— А теперь дон Педро Барреда уже собирается охотиться за крысами, потому что эти твари съели его дочку.— Глаза Хосефины Санчес налились слезами.— А девочку съели вовсе не у него, а у дона Федерико Тельеса Унсатеги.

— Представляете, что мы переживаем во время передач,— пробормотал Батан.— Говорим и записываем какую-то ересь.

— И нет никакой возможности выправить все эти несообразности,— прошептала Хосефина Санчес. — Вы сами видели, как сеньор Камачо контролирует запись. Он не разрешит, чтобы переставили хотя бы запятую. А если кто не слушает его, он впадает в дикую ярость.

— Он устал, этим все объясняется, — сказал, задумчиво покачивая головой, Лусиано Пандо. — Невозможно работать по двадцать часов в день, и чтобы голова не пошла кругом. Сеньору Камачо необходим отдых, чтобы он снова стал прежним.

— У вас хорошие отношения с обоими Хенаро,— подала мысль Хосефина Санчес. — Не смогли бы вы поговорить с ними? Скажите им только, что сеньор Камачо устал, пусть дадут ему пару недель на восстановление сил.

— Самое трудное убедить его самого, — продолжал Лусиано Пандо. — Но дальше так продолжаться не может. Кончится тем, что его рассчитают.

— На радио постоянно звонят,— сказал Батан,— приходится выкручиваться, чтобы сбить с толку слушателей.— А недавно в газете «Кроника» появилась заметка.

Я не сообщил им, что Хенаро-отец уже осведомлен о заметке и просил меня переговорить по этому поводу с Педро Камачо. Мы договорились с артистами, что я прозондирую почву у Хенаро-сына, и в зависимости от того, какова будет его реакция, мы решим, следует ли им самим идти к хозяину и вступиться за боливийского писаку. Я поблагодарил всех троих за оказанное мне доверие и попытался как-то ободрить их. Хенаро-сын был более современным и понимающим человеком, чем Хенаро-отец, скорее всего именно его можно уговорить предоставить Камачо отпуск. Мы продолжали разговаривать, а я в это время выключал свет и закрывал свою конуру. На улице Белен мы пожали друг другу руки. Я видел, как они растворились в пустынной улице за сеткой дождя — неказистые, жалкие, но с поистине благородным и щедрым сердцем.

Всю эту ночь я не спал. Как обычно, я нашел свой ужин в доме стариков уже накрытым, но не проглотил ни крошки (чтобы не огорчать бабушку, я выбросил хлебец и рис в мусорное ведро). Старики лежали в постели, но еще не спали. Войдя в их комнату, чтобы пожелать спокойной ночи, я испытующе уставился на них, стараясь обнаружить на лицах дедушки или бабушки беспокойство в связи с моей скандальной любовью. Ничего, никакого признака: как всегда, они были ласковы и внимательны, дедушка даже спросил меня о чем-то по кроссворду. Зато они сообщили

мне приятную весть: мама написала, что скоро они приедут в отпуск в Лиму, день прибытия сообщат дополнительно. Письма старики показать не могли, его взяла одна из тетушек. Сомнений не было — это результат доносов моим родителям. Отец, наверное, сказал: «Едем в Перу наводить порядок». А мать добавила: «Как Хулия могла так поступить!» (тетушка Хулия дружила с моей матерью еще в те годы, когда наша семья жила в Боливии, а я был ребенком).

Я спал в крохотной комнатке, заваленной книгами, чемоданами и баулами, хранившими воспоминания стариков: здесь были фото, свидетельствующие об их прежнем процветании, когда они владели хлопковой плантацией в Камане и когда дедушка еще был пионером-земледельцем в Санта-Крус-де-ла-Сьерра, и потом, когда он стал консулом в Кочабамбе, префектом полиции в Пиуре. Лежа на спине в постели, я долго думал о тетушке Хулии и о том, что, без сомнения, рано или поздно нас все-таки заставят расстаться. Меня это приводило в ярость, казалось глупостью и мещанством. Вдруг я вспомнил о Педро Камачо. Я размышлял о телефонных звонках моих тетушек и дядюшек, кузин и кузенов — все по поводу моих отношений с тетушкой Хулией, а потом мне чудились звонки обескураженных радиослушателей, запутавшихся в героях (которые меняли имена и перескакивали из передачи в три часа в передачу, транслируемую в пять) и событиях, переплетенных, как лианы: в сельве. Я старался понять, что же происходит в смятенной голове писаки, — все это отнюдь не смешило меня, напротив, меня растрогали актеры «Радио Сентраль», сговорившиеся с техниками по звуку, секретаршами, швейцарами, чтобы скрыть телефонные звонки и спасти от увольнения артиста. Меня взволновала и мысль о том, что в представлении Лусиано Пандо, Хосефины Санчес и Батана я, который на самом деле был лишней спицей в колеснице, мог повлиять на отца и сына Хенаро. Какими же ничтожными они себя ощущали, какие жалкие крохи они зарабатывали, если даже я казался им влиятельным человеком! Время от времени среди ночи я вдруг испытывал неудержимое желание увидеть, прикоснуться, поцеловать — и немедля — тетушку Хулию. Так я и встретил утреннюю зарю, услыхав на рассвете лай собак.

Я прибыл на свою верхотуру в «Панамерикана» раньше обычного. Когда пришли Паскуаль и Великий Паблито — в восемь часов утра, — у меня уже были приготовлены радиосводки, прочитаны и препарированы (с целью плагиата) все газеты. Делая это, я поглядывал на часы. Тетушка Хулия позвонила точно в назначенное время.

— Я ни на минуту не уснула ночью, — прошептала она терявшимся где-то голосом. — Я так люблю тебя, Варгитас.

— И я тоже, всем сердцем, — прошептал я, испытывая негодование при виде Паскуаля и Великого Паблито, придвинувшихся, чтобы лучше слышать.— Я тоже всю ночь не спал, думая о тебе.

— Ты даже не можешь себе представить, как со мной любезны сестра и зять, — сказала тетушка Хулия. — Мы всю ночь играли в карты. Трудно поверить, что они в заговоре против нас.

— Но они действительно в заговоре, — уточнил я. — Мои родители уведомили, что едут в Лиму, и единственная причина та, что им уже донесли. Родители никогда не приезжают в Лиму в это время.

Она замолчала, и даже на расстоянии я почувствовал, как изменилось выражение ее лица — в нем были и печаль, и гнев, и досада. Я повторил, что люблю ее.

— Я позвоню тебе в четыре часа, как договорились,— сказала она наконец.— Я говорю от продавца на углу, и около телефона очередь. Чао!

Я спустился к Хенаро-сыну, но его не оказалось на месте. Я просил передать, что мне срочно надо с ним переговорить, а потом, в надежде хоть чем-то заняться и избавиться от ощущения пустоты, отправился в университет. Я попал на лекцию по уголовному праву. Профессор, читавший ее, очень подходил для героя рассказа. В нем естественно сочетались сатир и пошляк; студенток он раздевал взглядом и пользовался любым поводом, чтобы сказать двусмысленность и скабрезность. Одной девушке, прекрасно ответившей на его вопрос, но чрезвычайно плоскогрудой, он заявил: «У вас, сеньорита, все очень хорошо, но не очень выпукло». В другой раз, комментируя какую-то главу кодекса, он пустился в разглагольствования на тему о венерических болезнях.

Вернувшись на радио, я узнал, что Хенаро-сын ждет меня в своем кабинете.

— Полагаю, ты пришел не за тем, чтобы просить надбавку к жалованью,— предупредил он меня еще у порога.— Мы почти разорены.

— Я хочу поговорить с тобой о Педро Камачо, — успокоил я его.

— Знаешь, какие фокусы он теперь выкидывает? — сказал Хенаро-сын, будто откликаясь на чью-то шутку. — Теперь он синтезирует персонажей из разных постановок, меняет им имена, запутывает сюжет и закручивает все эпизоды в единую историю. Разве не гений?

— В общем, я кое-что слышал,— сказал я, несколько ошеломленный его радостным настроением. — Как раз вчера я разговаривал с актерами, они все очень обеспокоены. Педро Камачо слишком много работает, и они считают, что он может свихнуться. И тогда ты потеряешь курочку, несущую золотые яйца. Почему бы тебе не дать ему отпуск, пусть немного придет в себя.

— Отпуск Камачо? — ужаснулся импресарио. — Он тебя просил об этом?

Я ответил, что нет, не просил, это, мол, было предложение коллег боливийца.

— Им надоело, что он их заставляет как следует работать, и они просто хотят избавиться от него хоть на несколько дней,— объяснил мне Хенаро-сын.— Было бы безумием дать ему отпуск именно сейчас. — Он взял какие-то бумаги и победоносно потряс ими. — Мы вновь побили все рекорды по числу слушателей в этом месяце. Таким образом, его идея — переплетать эпизоды — оказалась эффективной. Отец был несколько встревожен столь экзистенциалистскими приемами, но они пришлись кстати. Вот — результаты анкет. — Хенаро-сын вновь рассмеялся. — Короче, пока все это нравится слушателям, придется терпеть его эксцентрические выходки.

Я не стал настаивать на своем, чтобы не попасть впросак. В конце концов, может быть, прав Хенаро-сын? Почему все эти несообразности не могут быть частью великолепно задуманного плана боливийского писаки? Мне не хотелось идти домой, и я решил шикануть. Я упросил кассира радиостанции выдать мне аванс, а затем отправился в каморку к Педро Камачо пригласить его пообедать. Как и следовало ожидать, он строчил на машинке. Боливиец принял мое приглашение без особого восторга и предупредил, что у него мало времени.

Мы отправились в ресторан с криольской кухней, расположенный за колледжем Непорочной Девы, на улице Чанкай, где подавали типичные блюда Арекипы, которые, как я сказал писаке, возможно, напомнят ему знаменитые боливийские острые кушанья. Но артист, верный своей вегетарианской диете, ограничился бульоном с яйцом и вареной фасолью, к которой едва прикоснулся. Он отказался от сладкого и возмутился — причем в таких выражениях, что даже официант был шокирован,— когда ему не смогли приготовить отвара из листьев йербалуисы с мятой.

— У меня наступила черная полоса, — сказал я, как только мы заказали обед.— Мое семейство узнало, что я влюблен в вашу землячку, а так как она старше меня и к тому же разведена, все пришли в ярость. Они на все пойдут, чтобы разлучить нас, и мне так горько.

— Моя землячка? — удивился писака. — Вы влюблены в аргентинку, простите, в боливийку?

Я напомнил ему о его знакомстве с тетушкой Хулией, что однажды мы были с ней в его пансионе «Ла Тапада» и даже ужинали вместе, что я еще раньше рассказывал ему о своих любовных страданиях и он посоветовал излечиться от них с помощью чернослива натощак, а также анонимных писем. Я взывал к его памяти преднамеренно, настаивал на деталях, внимательно наблюдая за ним. Он слушал меня очень серьезно, даже не моргнув глазом.

— Полезно испытать такие перипетии, — сказал он, пригубив первую ложку супа.— Страдание закаляет.

После этого он сменил тему разговора, ударившись в рассуждения о кулинарном искусстве и о необходимости ограничивать себя, дабы сохранить здоровый дух. Затем он заверил меня: злоупотребление жирами, мучными блюдами и сахаром разрушает моральные устои и толкает людей на преступления и разврат.

— Присмотритесь хорошенько к своим знакомым,— посоветовал мне Педро Камачо,— вы убедитесь: извращенцы чаще всего бывают из толстяков. А вот среди худых, наоборот, вы не найдете человека с дурными наклонностями.

Было заметно: что-то его беспокоит, хотя он и пытается скрыть это. Он говорил не так искренне и убежденно, как прежде,— просто не хотел молчать. Дона Педро одолевали заботы, и он стремился этого не показывать. В его выпуклых глазках мелькала тень не то страха, не то стыда; время от времени он покусывает губы. Длинная грива писаки была сплошь усыпана перхотью; я заметил, что на шее, торчавшей из воротничка рубашки, у него висит образок, который он иногда поглаживал двумя пальцами. Показывая иконку, Камачо пояснил: «Святой чудотворец Лимпийский». Черный пиджачишко сполз у него с плеч, боливиец был бледен. Я вначале решил не упоминать о радиопостановках, но, отметив, что он совершенно забыл о существовании тетушки Хулии и наших разговорах о ней, проявил нездоровое любопытство. Мы только что покончили с бульоном и теперь ждали горячее, потягивая сливовую настойку.

— Сегодня утром я беседовал с Хенаро-сыном о вас,— сказал я самым естественным тоном.— Так вот, есть хорошие новости. Согласно результатам анкет, проведенных рекламными агентствами, ваши постановки расширили аудиторию радиостанции. Их слушают даже камни.

Я заметил, что он как-то выпрямился, отвел взгляд, начал крутить салфетку и быстро-быстро заморгал. Я заколебался, стоит ли продолжать этот разговор или изменить тему, но любопытство оказалось сильнее меня.

— Хенаро-сын считает, что увеличение числа слушателей было достигнуто за счет вашей идеи переводить героев из одной радиопостановки в другую, за счет сплетения отдельных эпизодов,— сказал я, увидев, как он выпустил салфетку и, побледнев, уставился мне в лицо.— Ему это показалось гениальным.

Так как Камачо ничего не сказал, а только смотрел на меня, я продолжал болтать, хотя и чувствовал, что язык у меня заплетается. Я говорил об авангардистском

искусстве, об экспериментаторстве, цитировал или выдумывал цитаты из авторов, вызвавших, как я уверял, сенсацию в Европе, так как они прибегали к нововведениям, похожим на его собственные: по ходу действия изменяли личность героя, вводили якобы несоответствия, чтобы держать читателя в напряжении. Нам принесли вареную фасоль, я сразу же приступил к еде, довольный, что могу помолчать и отвести взгляд, не замечая более подавленности боливийского писаки. Довольно долго мы молчали — я ел, а он ковырял вилкой в фасоли с отварным рисом.

— Со мной происходит что-то странное,— наконец услышал я его тихий голос, казалось, он говорил сам с собой.— Я не очень хорошо помню сценарии, начинаю сомневаться и допускаю ошибки.— Он недоверчиво посмотрел на меня.— Я знаю, вы лояльный человек, друг, которому можно довериться. Но ни слова торгашам!

Я притворился изумленным и поспешил заверить его в моем искреннем уважении. Он был не похож на себя: измученный, неуверенный, такой беззащитный, на бледном лбу выступили капли пота. Он потер себе виски.

— Здесь, как всегда, бурлит вулкан идей,— заявил он.— Но память подводит. В том, что касается имен, хочу я сказать. Но это сугубо между нами, мой друг. Не я их путаю, они сами путаются между собой, а когда я замечаю это — уже поздно. Нужны поистине акробатические трюки, чтобы вернуть героев туда, где им положено быть, и объяснить их превращения. Компас, путающий север с югом,— это серьезно, очень серьезно.

Я сказал ему, что он просто переутомился, что никто не может работать в таком темпе и без ущерба для себя и ему следовало бы взять отпуск.

— Отпуск? Только на том свете,— враждебным тоном возразил он, будто я его обидел.

Однако минуту спустя он робко поведал мне, что, обнаружив свою «забывчивость», пытался сделать картотеку. Но это оказалось совершенно невозможным — у него не было свободной минуты и на то, чтобы свериться с транслируемыми программами, все время уходило на создание новых сценариев. «Мир рухнет, если я остановлюсь»,— прошептал он. А почему бы его коллегам не помочь ему? Почему он не обращался к ним, когда у него возникали какие-либо сомнения?

— Никогда,— отрезал Камачо.— Они потеряют ко мне уважение. Актеры — только первичный продукт, это мои солдаты, и, если я ошибаюсь, их долг ошибаться вместе со мной.

Он резко оборвал разговор, дабы сурово упрекнуть официантов за приготовленный отвар йербалуисы с мятой, который показался ему недостаточно крепким. После этого мы бегом вернулись на радиостанцию — его ожидала передача, транслируемая в три часа. Прощаясь, я выразил готовность сделать все, чтобы помочь ему.

— Единственно, о чем я прошу вас, это молчание, — ответил он. И со своей привычной ледяной улыбочкой добавил: — Не беспокойтесь: против серьезных заболеваний существуют сильные средства.

У себя наверху я просмотрел вечерние газеты, отметил нужные сообщения, договорился об интервью на шесть часов с неким нейрохирургом, знатоком истории, который провел трепанацию черепа, пользуясь инструментами древних инков, предоставленными ему археологическим музеем. В полчетвертого я начал поглядывать то на часы, то на телефон. Тетушка Хулия позвонила ровно в четыре. Паскуаль и Великий Паблито еще не вернулись на работу.

— Сестра беседовала со мной за обедом, — мрачно сообщила тетушка Хулия. — Говорит, что скандал грандиозен и твои родители готовы выцарапать мне глаза. Она просила меня вернуться в Боливию. Что остается делать? Придется ехать, Варгитас.

— Хочешь выйти за меня замуж? — спросил я ее.

Она невесело рассмеялась.

— Я говорю вполне серьезно, — настаивал я.

— Ты серьезно просишь, чтобы я вышла за тебя замуж? — засмеялась вновь тетушка Хулия, но на этот раз веселее.

— Да или нет? — спросил я. — Торопись, сейчас придут Паскуаль и Великий Паблито.

— Ты просишь меня об этом, чтобы доказать своему семейству, что ты уже взрослый? — ласково спросила тетушка Хулия.

— И поэтому тоже, — признался я.

XIV

История преподобного падре дона Сеферино Уанки Лейвы, приходского священника из Мендосито, где разместилась свалка, по соседству с районом Ла Виктория, известным своим футбольным полем, началась полвека назад, в карнавальную ночь, когда некий молодой человек из приличной семьи, любитель пообщаться с народом, изнасиловал в тупике Чиримойо Тереситу, по прозвищу Негритянка, разбитную прачку.

Обнаружив, что она беременна, и учитывая, что у нее уже восемь детей, нет мужа и почти нет надежд, что с таким потомством ее кто-нибудь поведет к алтарю, Тересита немедленно обратилась за помощью к донье Анхелике. Старая знахарка

проживала у площади Инквизиции и обычно исполняла обязанности акушерки, но чаще изымала из утробы непрошеных гостей, попросту говоря, делала аборты. Несмотря на ядовитые зелья, которые донья Анхелика заставляла Тереситу пить (настоянные на собственной моче и давленых мышах), плод насилия проявлял упорство, давая возможность заранее предположить, каков будет его характер, и отказывался покинуть материнскую плоть. Он ввинтился в нее, как шурупчик, и здесь рос и формировался, пока, наконец, через девять месяцев после совершенного на карнавале насилия не захотел появиться на свет. У прачки не оставалось иного выхода, как родить его.

Его назвали Сеферино, чтобы доставить удовольствие крестному отцу, привратнику в здании конгресса, и записали фамилию матери. В детстве Сеферино не давал повода предполагать, что станет священником, ибо нравились ему отнюдь не богослужения, он предпочитал крутиться волчком и запускать воздушного змея. Но всегда — даже прежде, чем заговорил,— Сеферино проявлял свой характер. В воспитательной практике прачка Тересита интуитивно следовала спартанской школе или, скорее, учению Дарвина: ее жизненная философия выражалась в намерении внушить своим детям, что они, если хотят жить в этом мире, должны научиться получать и возвращать оплеухи и проблема поисков пропитания с трехлетнего возраста — их сугубо личное дело. Стирая белье по десять часов кряду и разнося его потом по всему городу — еще восемь часов,— она может заработать на жизнь только себе и немногим, кто еще не дорос до того возраста, когда каждый себе хозяин.

«Плод насилия» проявлял настойчивость и стремление выжить, дававшие о себе знать еще в утробе: он мог питаться чем угодно, любой дрянью, подобранной в мусорных баках, за которую дрался с нищими и бродячими псами. Пока его братья мерли, словно мухи, от туберкулеза или отравлений и в отличие от тех, кто, став взрослыми, все еще мучились от последствий рахита и страдали умственной неполноценностью, едва одолевая экзамены, Сеферино Уанка Лейва рос здоровым, сильным и достаточно смышленым. Когда прачка (у нее, возможно, развилась водобоязнь?) уже не смогла больше работать, ее кормил Сеферино, а пробил ее час, он, уже став приходским священником в Мендосите, устроил ей похороны по первому разряду через похоронное бюро «Гимет». Все обитатели Чиримойо считали, что то были лучшие похороны за всю историю квартала.

Мальчик брался за любое дело, и при этом довольно ловко. Он начал просить милостыню, едва выучился говорить. Придав своей рожице выражение глиняного ангелочка, он обращался к прохожим на авениде Абанкай, и важные дамы всегда выказывали ему благосклонность. Позднее Сеферино чистил обувь, сторожил автомобили, продавал газеты, мази, халву, показывал зрителям их места на стадионе, был старьевщиком. Кто бы мог сказать, что это существо с черными ногтями, грязными ногами, головой в лишаях, завернутое в рваную куртку, с годами станет самым красноречивым проповедником во всем Перу?

Осталось загадкой, каким образом Сеферино научился читать — ведь он никогда не ходил в школу. В Чиримойо говорили, что крестный мальчика, привратник конгресса, научил его разбирать буквы и складывать слоги, а все остальное, как это бывает с деревенскими парнями, которые своей настойчивостью добиваются чуть ли не Нобелевской премии, пришло потом благодаря его упорству.

Сеферино Уанке Лейве было двенадцать лет, когда он бродил по столице от одного богатого дома к другому, выпрашивая непригодную одежду и старые ботинки (потом продавал все это на окраинах). Тогда-то он и встретился с особой, благодаря которой смог стать священнослужителем. То была помещица баскского происхождения по имени Майте Унсатеги. Трудно сказать, чего у нее было больше — денег или набожности, что больше поражало — ее поместья или истовое поклонение чудотворцу Лимпийскому. Однажды эта сеньора выходила из своей резиденции мавританского стиля, что на авениде Сан-Фелипе, в квартале Оррантиа, и шофер уже открывал перед ней дверцу «кадиллака», как вдруг она увидела посреди улицы, у тележки со старьем, собранным этим утром, несчастного мальчишку — «плод насилия». Нищенский вид, умный взгляд, волевые черты маленького волчонка привлекли внимание сеньоры Унсатеги. Она сказала, что вечером навестит его.

Весь тупик Чиримойо покатывался со смеху, когда Сеферино Уанка Лейва объявил, что к нему в гости приедет сеньора на огромном автомобиле, которым правит шофер в синей форме. Но когда в шесть часов вечера у тупика затормозил «кадиллак» и донья Майте Унсатеги, элегантная, как герцогиня, вошла в переулок и спросила, где живет Тересита, все поверили (и разинули рты от удивления). Донья Майте была из тех деловых дам, которые даже естественные недомогания высчитывают с точностью до минуты, поэтому, не теряя времени, она сделала прачке предложение, вызвавшее у той крик радости. Заключалось оно в следующем: донья Майте оплатит образование Сеферино Уанки Лейвы и к тому же подарит его матери десять тысяч солей при условии, что мальчик станет священником.

Вот так «плод насилия» поступил в семинарию святого Торибио Могровехского в квартале Магдалена дель Мар. В отличие от других случаев, когда призвание предшествует его осознанию, Сеферино Уанка Лейва раскрыл свое призвание, лишь став

семинаристом. Он был богобоязненным и прилежным воспитанником, наставники хвалили его — и это наполняло гордостью Тереситу Негритянку и его покровительницу.

Однако по мере того, как Сеферино завоевывал высоты в изучении латыни, теологии, христианской доктрины и жития святых и укреплял свою веру, доказывая ее твердость как во время месс, молебствий, так и в самоистязаниях плоти, у юного семинариста стали отмечать первые симптомы того, что впоследствии — в ходе жестоких дискуссий, вызванных его оригинальными поступками, сторонники Сеферино называли проявлением «истовой набожности», а противники — «наследием Чиримойо», гнезда преступников и убийц. Так, еще до принятия сана, Сеферино начал распространять среди семинаристов идею о том, что следовало бы возродить крестовые походы, бороться против сатаны, используя не только дамские средства вроде молитв и пожертвований, но и мужское оружие — кулаки, удары головой (он считал все это более эффективным), а если позволят обстоятельства — нож и пулю. Обеспокоенные духовные пастыри попытались выбить из Сеферино столь экстравагантные мысли, но его горячо поддержала донья Майте Унсатеги, и, поскольку латифундистка-филантропка оплачивала содержание чуть ли не трети всех семинаристов, высокие духовные лица из материальных соображений скрепя сердце сделали вид, будто ничего не знают о теориях Сеферино Уанки Лейвы. Свои идеи он проверял на практике. Не было ни одного дня, свободного от занятий, чтобы юнец из Чиримойо вернулся в семинарию, не совершив того, что он называл «проповедью с помощью силы». Однажды в своем квартале Сеферино увидел, как пьяный муж избивал жену. Юноша вступился, переломал хаму ноги, а затем прочел проповедь о том, как должен вести себя супруг, если он добрый христианин. В другой раз он заметил в автобусе вора-карманника, еще неопытного в своем деле, пытавшегося обчистить какую-то пожилую даму. Ударом головы Сеферино сбил с ног парня (а потом сам отвел его в клинику, где воришке наложили на физиономию швы). И еще был случай: в высокой траве парка Матамула Сеферино застал парочку, занимавшуюся любовью не совсем обычным для людей способом, он до крови избил обоих и под угрозой нового наказания заставил их на коленях поклясться, что они поженятся в ближайшее время. Но самым невероятным из поступков Сеферино, связанных с его теорией «понятия нравственности, как и знания, постигаются человеком ценой крови» (ведь надо же как-то расценить эти действия), был удар кулаком, нанесенный не где-нибудь, а в семинарской часовне, и не кому-нибудь, а собственному наставнику и преподавателю томистской [1] философии — робкому падре Альберто де Кинтеросу, который в порыве то ли братской любви, то ли солидарности пытался поцеловать семинариста в губы. Священник был существом простым и незлобивым, сан принявшим поздно — до этого дон Альберто сколотил себе капиталец и завоевал славу как психолог, когда вылечил молодого врача, который помешался, сбив автомобилем — и убив — собственную дочь в окрестностях города Писко. Вернувшись из больницы, где дону Альберто зашили рану и вставили три зуба взамен выбитых, священник выступил против исключения Сеферино Уанки Лейвы из семинарии, и сам — о, благородство великих духом, которые при жизни, многократно подставляя для удара щеку, после смерти выбиваются в святые! — отслужил мессу, на которой «плод насилия» был посвящен в сан.

Однако не только убежденность семинариста Сеферино в том, будто церковь должна исправлять зло, применяя силу, тревожила его наставников. Беспокоила их и его вера (была ли она бескорыстной?) в то, что в длинном списке смертных грехов человеческих не должен значиться такой грех, как онанизм. Несмотря на увещевания учителей, пытавшихся цитатами из Библии и многочисленных папских булл, сражавших Онана, вывести юношу из заблуждения, жертва неудавшегося аборта доньи Анхелики, столь же упрямый, как и в материнской утробе, провоцировал по ночам своих товарищей, утверждая, что онанизм разрешен священнослужителям самим богом в вознаграждение за обет безбрачия и целомудрия. Грех, уверял Сеферино,— в наслаждении, скрываемом плотью женщины или (если подходить с более извращенных позиций) любой чужой плотью. В одном из своих рефератов, прочитанных на занятиях достопочтенного падре Леонсио Закариаса, Сеферино Уанка Лейва даже предположил, ссылаясь на двусмысленность неких эпизодов из Нового Завета, что есть все основания не отвергать как неприемлемую гипотезу о том, что иногда сам Иисус Христос (возможно, это произошло после его знакомства с Марией Магдалиной?) пытался, прибегая к мастурбации, устоять перед искушением и не утратить свою чистоту. Отец Леонсио Закариас упал в обморок, а протеже баскской пианистки чуть не выгнали из семинарии за святотатство. Сеферино раскаялся, просил прощения, выполнил все наложенные на него епитимьи и некоторое время воздерживался от пропаганды своих бредовых идей, доводивших его наставников до болезни, а семинаристов — до белого каления. Однако что касается его собственной персоны, то он продолжал заниматься прежней практикой, ибо вскоре его духовник услышал, как семинарист, стоя на коленях у скрипучей кабинки исповедальни, говорил: «На этой неделе, падре, я был возлюбленным царицы Савской, Далилы и супруги Олоферна». Именно эта склонность лишила Сеферино возможности отправиться в путешествие, которое, несомненно, духовно обогатило бы его.

[1] Схоластическая доктрина Фомы Аквинского (1225—1274), признаваемая католической церковью единственно истинной философией.

Он только что принял сан, и так как, несмотря на свои столкновения с католической церковью, отличался образцовым прилежанием и никто не подвергал сомнению остроту его ума, церковные иерархи решили отправить Сеферино в Григорианский университет в Риме писать диссертацию. Строптивый священник, в отличие от пустых эрудитов, ослепших над пыльными рукописями ватиканской библиотеки, немедленно представил тезисы к своей будущей теме, которая называлась «О грехе одиночества как методе сохранения непорочности священнослужителей». Проект был с негодованием отвергнут, после чего Сеферино Уанка Лейва отказался от поездки в Рим и похоронил себя в преисподней Мендоситы, откуда никогда никуда не выезжал.

Он сам выбрал Мендоситу, хотя знал, что священники бегут из этого квартала Лимы, и не только по причине скопления всевозможных микробов, превративших этот уголок в питомник, где можно было бы изучать самые удивительные инфекции и паразитов (топография квартала была начертана иероглифами пыльных тропинок и разномастных лачуг, слепленных из картона, жердей, цинковых банок, глины, тряпок и газет). Сеферино избрал полем своей деятельности Мендоситу из-за царившей здесь атмосферы насилия. Действительно, квартал в то время представлял университет преступности, где можно было изучать все специальности: ограбление с применением силы, проституцию, искусство владения ножом, мелкий шантаж, торговлю дешевыми наркотиками, сутенерство.

За пару дней падре Сеферино Уанка Лейва соорудил собственными руками из необожженного кирпича лачугу, но дверь не навесил, сюда же притащил подержанную кровать и соломенный матрац, купленные на барахолке, и объявил, что ежедневно в семь будет служить утреннюю мессу под открытым небом. Он также сообщил, что станет исповедовать с понедельника до субботы, причем женщин — с двух до шести пополудни, а мужчин — с семи вечера до полуночи, дабы не смешивать их. Кроме того, он предупредил, что по утрам — с восьми до двух часов — намерен заниматься с детьми квартала, которых будет учить грамоте, счету и катехизису. Однако его энтузиазм разбился о суровую действительность. На утренние службы пришли лишь несколько стариков и старушек — все инвалиды, с угасшими жизненными рефлексами, которые иногда отправляли свои естественные нужды прямо во время богослужения, не снимая штанов. Что же касается исповедей и утренних занятий, то на них не явился ни один человек, хотя бы из простого любопытства.

В чем же дело? Просто в квартале Мендосита проживал знахарь Хаиме Конча, здоровенный тип, бывший сержант полиции, снявший свою форму после того, как начальство заставило его прикончить из пистолета какого-то несчастного желтокожего типа, прибывшего зайцем в порт Кальяо из неизвестного восточного порта. С тех пор Хаиме Конча с таким успехом занимался народной медициной, что, можно сказать, прибрал к рукам сердца всего населения Мендоситы,— разумеется, он очень ревниво отнесся к появлению возможного конкурента и объявил падре Сеферино бойкот.

Последний, узнав об этом по доносу (бывшей местной колдуньи доньи Майте Унсатеги, дочери басков, женщины иссиня-голубой крови, бывшей королевы и хозяйки всей Мендоситы, выжитой отсюда Хаиме Кончей), затуманившимся от радости взором и горячим сердцем понял: вот он — подходящий момент для сочетания его теории вооруженной проповеди с практикой. Как цирковой зазывала, он обошел все кривые переулки, крича во весь голос, что в следующее воскресенье в одиннадцать утра на местном футбольном поле он с помощью кулаков намерен выяснить со знахарем, кто из них двоих настоящий мужчина. Когда мускулистый Хаиме Конча появился в глинобитной лачуге падре Сеферино и спросил, должен ли он считать его объявление вызовом сразиться или просто смазать друг друга для виду по физиономии, уроженец Чиримойо лишь холодно спросил знахаря: может быть, тот желает драться не на кулаках, а на ножах? Бывший сержант удалился, содрогаясь от смеха: он всем рассказывал, что, будучи полицейским, обычно убивал бешеных собак одним щелчком по голове.

Бой между знахарем и священником вызвал необыкновенный интерес, и посмотреть на него пришли не только обитатели Мендоситы, но и кварталов Ла Виктория, Порвенир, с холма Сан-Косме и Агустино. Падре Сеферино, появившийся в брюках и в майке, перед поединком осенил себя крестом. Сражение оказалось кратким, но увлекательным. Уроженец Чиримойо физически был слабее экс-полицейского, но лучше владел приемами. Он с ходу швырнул в глаза противнику горсть молотого перца, заранее припрятанного в кулаке (позднее он пояснил своим болельщикам: «В криольской борьбе все приемы хороши»). Как Голиаф, пошатнувшийся от коварного удара Давида, гигант экс-сержант, ослепнув, стал спотыкаться, и тут падре Сеферино еще наподдал ему ударами ногой в самые уязвимые у мужчины места. Экс-сержант согнулся пополам. Не давая ему передышки, священник пошел в открытую атаку, нанося прямые удары в лицо как правой, так и левой, потом изменил тактику: едва знахарь распростерся на земле, он закончил бой, поправ ногами грудь и живот бывшего полицейского. Хаиме Конча, рыча от боли и стыда, признал себя побежденным. Падре Сеферино Уанка Лейва, под бурные аплодисменты воздев очи к небесам и сложив руки крестом, пал на колени, истово молясь. Этот эпизод, отмеченный даже прессой и вызвавший раздражение архиепископа, обеспечил падре Сеферино симпатии его будущих прихожан. С тех пор на утренних мессах стало появляться больше народа, и несколько грешных

душ — главным образом женских — попросили об исповеди. Однако это не составило и десятой части обширного плана, задуманного оптимистом священником с учетом потенциальных грехов обитателей Мендоситы.

Еще один поступок падре Сеферино был благосклонно встречен в квартале и завоевал ему новых прихожан: его великодушие, проявленное к Хаиме Конче после унизительного поражения экс-полицейского. Священник сам помог обитательницам Мендоситы смазать раны знахаря зеленкой и арникой и объявил, что не изгоняет его из квартала, а, напротив (в данном случае священник был похож на одного из наполеонов, который великодушно угощает шампанским и выдает замуж свою дочь за генерала, чью армию только что разгромил), предлагает Хаиме Конче служить в церкви пономарем. Знахарю было позволено, как и прежде, снабжать обитателей квартала всевозможными приворотными зельями и талисманами, хранящими от недуга, от дурного глаза, ненависти и несчастья, но сбывать их по умеренным ценам, установленным самим священником. Хаиме Конче запрещено лишь было вторгаться в духовную сферу. Падре Сеферино разрешил бывшему сержанту по-прежнему заниматься ремеслом костоправа, но запретил трогать больных, страдающих другими недомоганиями, коим надлежало обращаться в больницу.

Методы, с помощью которых падре Сеферино Уанка Лейва привлек в свою приходскую школу ребят Мендоситы, слетевшихся сюда, словно мухи на мед или чайки на мелкую рыбу, были не совсем праведными и вызвали первое серьезное предупреждение церковных властей. Священник пообещал детям за каждую неделю занятий дарить по картинке-образку. Понятно, эта наживка не привлекла бы толпы нищих сорванцов, не будь сии «картинки-образки» на самом деле изображением голых девиц, весьма не похожих на непорочных дев. Матерей, удивленных педагогическими методами священника, он заверил, что хоть это и кажется странным, но картинки-образки спасут их детей от соблазна нечистой женской плоти, сделают их менее задиристыми, более послушными и мечтательными.

Для привлечения девочек из своего квартала он использовал природную женскую склонность, благодаря которой и появилась первая библейская грешница, а также прибегнул к содействию Майте Унсатеги как своей помощницы в приходских делах. Донья Майте обладала мудростью, какую можно нажить только двадцатилетним управлением публичными домами на авениде Тинго Мария. Она сумела завоевать симпатии девочек, обучая их тому, что им нравилось: красить губы, румянить щеки и подводить ресницы без покупной косметики; делать из ваты, из подушечек и даже просто из газет накладные груди, бедра и ягодицы; танцевать модные танцы вроде румбы, уарачи, порро и мамбо. Увидев в женском отделении школы рой сопливых девчонок, дерущихся из-за единственной на весь квартал пары туфель на высоких каблуках и выделывающих всякие па под придирчивым оком бывшей сводницы, церковный инспектор не поверил своим глазам. Наконец, обретя дар речи, он поинтересовался у падре Сеферино, не собирается ли тот учредить Академию проституции.

— Я отвечу положительно,— сказал сын Негритянки Тереситы, не боявшийся высказываться откровенно. — Раз у них нет иного пути, кроме этого ремесла, так пусть хоть занимаются им профессионально.— (За это он получил второе предупреждение от церковных властей.) Однако падре Сеферино вовсе не заслуживал титула Великого Сводника Мендоситы, каким его наградили недруги. Просто он был практичным человеком, хорошо знавшим жизнь. Он не поощрял развития древнейшей профессии, но лишь поставил ее на научную основу и принял жесткие меры, чтобы женщины, зарабатывавшие на жизнь таким образом (все обитательницы Мендоситы в возрасте от двенадцати до шестидесяти лет), не трудились в периоды естественного недомогания, дабы клиенты из-за этого не лишали их платы за труд. Изгнание из квартала двух десятков сутенеров (а также и их преемников) было воистину героическим трудом на благо общественного здравоохранения, за который падре Сеферино получил несколько ножевых ран и поздравление алькальда района Ла Виктория. В этой борьбе священник не раз прибегал к методу «вооруженной проповеди». С помощью Хаиме Кончи как уличного глашатая падре Сеферино объявил, что закон и религия запрещают мужчине жить трутнем за счет низших и более слабых существ и отныне каждый, кто осмелится эксплуатировать женщину, познакомится с его кулаками. Ему пришлось выбить челюсть Великому Маргарину Пачеко и глаз Папеньке, сделать импотентом Педрито Удавку и идиотом Самца Сампедри, а также наградить кровавыми синяками Хромулю из Уамбачо. В разгар этой кампании, достойной Дон Кихота, падре Сеферино однажды ночью попал в засаду и был исполосован ножами; преступники решили, что он мертв, и бросили его в грязи на растерзание псам. Однако жизнестойкость бывшего мальчугана, который вырос в соответствии с учением Дарвина об естественном отборе, оказалась сильнее ржавых лезвий — он выжил, хотя на теле и лице сохранились шрамы, сделавшие его, по мнению искушенных дам, еще привлекательнее. На теле его осталось полдюжины рубцов, а в памяти запечатлелось лицо главаря налетчиков, которого после суда направили, как безнадежно больного, в психиатрическую лечебницу. Главарь был из Арекипы и носил библейское имя и фамилию морского животного: его звали Эсекиель Дельфин.

Предпринятые Сеферино усилия и жертвы оказались не напрасны: квартал Мендосита, как ни странно, очистился от сутенеров. Падре стал любимцем всех женщин квартала; с тех пор они толпами ходили к мессе и каждую неделю исповедовались. Чтобы ремесло, кормившее их, приносило как можно меньше зла, священник пригласил в квартал врача из Католической ассоциации, который давал женщинам консультации по вопросам половой гигиены и практические советы по своевременному обнаружению у себя или у клиента признаков венерических болезней. Для тех случаев, когда методы контроля над рождаемостью — им обучала девочек Майте Унсатеги—не оправдывали себя, падре Сеферино перевел из Чиримойо в Мендоситу ученицу доньи Анхелики, чтобы та своевременно расправлялась с головастиком — результатом продажной любви. Тринадцатое предупреждение от церковных властей падре Сеферино получил, когда иерархам стало известно, что священник поощряет применение предохранительных средств и является убежденным сторонником абортов.

Четырнадцатое предупреждение поступило за так называемую Ремесленную школу, которую осмелился открыть падре Сеферино. В этой школе опытнейшие профессионалы квартала за увлекательными беседами (то один случай расскажут, то другой), когда и время-то проходит незаметно, без особых формальностей учили новичков различным способам зарабатывать себе на фасоль. Здесь, например, показывали упражнения, после которых пальцы становились умными и ловкими инструментами, способными проникнуть в любой карман, сумку, портфель, чемодан и среди множества предметов отыскать вожделенный кошелек. Здесь же объясняли, каким способом, имея немного терпения, можно простой проволочкой заменить самый хитрый ключ и открыть дверь и как завести мотор автомобиля любой марки, если ты случайно не его владелец. Еще в школе показывали, как вырвать сумочку на ходу и удрать — бегом или на велосипеде, как перелезать через стены и бесшумно выставлять оконные стекла, как делать предмет неузнаваемым, когда у него появился другой хозяин, и — исчезать из тюремного подвала без разрешения полицейского комиссара. В упомянутой школе мастерили ножи и даже (возможно, это были наговоры завистников?) изготовляли наркотики. Все это, в конце концов, завоевало падре Сеферино любовь и признательность мужчин Мендоситы и одновременно явилось причиной первого столкновения с полицией района Ла Виктория, куда Сеферино был доставлен однажды ночью и где ему угрожали судом и тюрьмой, поскольку для стражей порядка он стал олицетворением «мозгового центра» всего преступного мира. Как и следовало ожидать, падре Сеферино был спасен его влиятельной покровительницей.

К тому времени священник сделался популярной личностью, привлекшей внимание газет, журналов и радио. Его деятельность вызывала оживленные дискуссии. Некоторые считали Сеферино чем-то вроде святого, представителем передового отряда священнослужителей, который призван революционизировать церковь. Но были и другие, считавшие его «пятой колонной» сатаны, задача которого — изнутри подорвать обитель святого Петра. Благодаря падре Сеферино, или по его вине, Мендосита превратилась в туристский центр: исконный рай бандитов привлек любопытных, верующих, журналистов, просто снобов, которые стекались сюда, чтобы увидеть, потрогать священника, поговорить с ним или попросить у него автограф. Его популярность вызвала раскол местной церкви: один лагерь считал ее благотворной для дела религии, другой — вредоносной.

Однажды во время процессии в честь чудотворца Лимпийского — этот культ был привнесен в Мендоситу падре Сеферино и распространился по всему приходу, как огонь по сухой соломе,— священник победоносно объявил, что во всем приходе нет ни одного живого некрещеного ребенка, включая и тех, что родились в последние десять часов. Гордость переполняла сердца всех верующих, и впервые церковные власти направили священнику поздравления после столь многочисленных нареканий.

Скандал вспыхнул на празднике в честь патронессы Лимы, святой Розы, когда падре Сеферино Уанка Лейва заявил во всеуслышание, выступая на спортивной площадке Мендоситы, что среди его скромной паствы нет ни одной супружеской пары, чей союз не был бы освящен богом перед алтарем в глинобитной лачуге. Прелаты выслушали это заявление в полнейшем изумлении — они хорошо знали: в бывшей империи инков наиболее сильным и уважаемым социальным институтом, помимо церкви и армии, является проституция. Едва волоча ноги, прелаты явились самолично убедиться в достигнутых успехах. То, что они обнаружили, бродя по сросшимся между собой домишкам Мендоситы, повергло их в ужас и довело до тошноты. Объяснения падре Сеферино были слишком абстрактны и пестрели жаргонными словечками (уроженец Чиримойо, проведя много лет в этом квартале, забыл классический испанский, которому его обучали в семинарии, и воспринял все «варваризмы» и «идиотизмы» обитателей Мендоситы). Поэтому новую систему искоренения свободного сожительства прелатам разъяснил бывший знахарь и бывший сержант полиции Хаиме Конча. Система была святотатственно проста: перед тем как вступить в связь, каждая пара приходила к священнику, и тот благословлял ее. Таким образом, почувствовав первый укол желания, любовники спешили сочетаться законным браком перед господом, и падре Сеферино не утомлял их нескромными вопросами. В результате многие жители Мендоситы оказались женатыми дважды и трижды, ни разу не одовев, причем

пары сочетались, путались и распадались с космической скоростью; грехи, неизбежные в такой ситуации, падре Сеферино отпускал на очищающей исповеди. (Свои объяснения происходящему он обычно подкреплял поговоркой, которая была не только еретической, но и вульгарной: «Клин клином вышибают».) Униженный и оскорбленный, едва не получивший пощечину от самого архиепископа, падре Сеферино Уанка Лейва отметил юбилей: сотое предупреждение.

Вот так автор наводящих ужас прогрессивных начинаний и жертва строжайших взысканий, объект нескончаемой полемики, обожаемый одними и унижаемый другими, падре Сеферино Уанка Лейва достиг расцвета: ему исполнилось пятьдесят. Это был мужчина с широким лбом, орлиным носом, пронзительным взглядом, отличавшийся праведностью и добротой, который с юных лет в семинарии был убежден, что воображаемый акт любви — не грех, а, напротив, действенное средство защиты чистоты, что и помогло ему сохранить свою девственность. Тем временем в квартале Мендосита появилась некая искусительница по имени Майте Унсатеги, выдававшая себя за труженицу общественного здравоохранения (не была ли эта женщина, в конце концов, просто проституткой?). Она вползла в Мендоситу, подобно райскому змию, принимающему, как известно, сладострастные, неотразимые формы цветущей женственности.

Майте Унсатеги рассказывала, как она самоотверженно трудилась в сельве Тинго Марии, помогая индейцам освободить кишки от паразитов, и как бежала оттуда, сраженная горем, когда стая крыс сожрала ее сына. В жилах Майте Унсатеги текла кровь басков, следовательно — аристократов. Казалось бы, ее ослепительная внешность и гибкая походка должны насторожить падре Сеферино Уанку Лейву, но он совершил глупость, приняв ее в качестве помощницы и поверив, что призвание Майте, как она утверждала, — спасение душ и истребление паразитов (В глубокие пропасти не раз попадали добродетели, твердые как монолит.) На самом же деле Майте решила склонить священника к греху. К достижению этой цели она приступила, поселившись в лачуге священника и заняв кровать, отделенную от его ложа смехотворной занавесочкой, которая к тому же была совершенно прозрачной. По ночам при свете свечи соблазнительница — под предлогом того, что это улучшает сон и укрепляет здоровье, — делала гимнастические упражнения. Но разве можно назвать шведской гимнастикой танцы, напоминавшие о гаремах из «Тысячи и одной ночи», которые она исполняла стоя на месте? Она крутила бедрами, поводила плечами, дрыгала в воздухе ногами, раскидывала руки, а задыхающийся слуга божий смотрел на этот умопомрачительный спектакль, как на театр теней, сквозь освещенную тонкую занавеску. А затем, когда обитатели Мендоситы уже погружались в сон, Майте Унсатеги имела наглость спрашивать воркующим голоском, слыша скрип досок под соседним матрацем: «Вы еще не спите, падре?»

Надо признать, что, желая скрыть свои намерения, прекрасная соблазнительница работала по двенадцать часов в день, вводя вакцины, обрабатывая гнойники, дезинфицируя трущобы и вытаскивая на солнышко стариков. Но все это она делала, одетая лишь в шорты, с голыми ногами, руками, открытыми плечами и животом, так как, по ее словам, в сельве она привыкла трудиться именно в таком виде. Падре Сеферино продолжал свою бурную пастырскую деятельность, но худел час от часу, на лице обозначались синие подглазья, а взгляд его постоянно искал Майте Унсатеги: при виде ее у священника непроизвольно открывался рот и по губам стекала струйка слюны. В это время у него появилась привычка ходить, неизменно засунув руки в карманы сутаны, его пономариха — бывшая специалистка по абортам донья Анхелика — предсказывала, что в любой момент у падре может открыться кровохарканье.

Падет ли пастырь от злых чар труженицы общественного здравоохранения, или его изнуряющий метод противодействия поможет ему устоять? Не попадет ли он из-за этих методов в психолечебницу или даже в могилу? Охваченные спортивным азартом, прихожане Мендоситы, следившие за этой борьбой, начали было заключать пари, устанавливать сроки, высказывать самые невероятные предположения: дочь басков забеременеет от священника; уроженец Чиримойо убьет ее, чтобы покончить с искушением; он сложит с себя сан и женится на ней. Но, как это всегда бывает, жизнь одним махом опрокинула все предположения.

Выдвинув идею о необходимости возвращения к чистой и безыскусной вере библейских времен, когда все верующие жили сообща, падре Сеферино начал энергичную кампанию за возрождение в Мендосите общины, превратив таким образом район в подлинную лабораторию христианского эксперимента. Согласно указаниям священника, супружеские пары должны были раствориться в ячейках, состоявших из пятнадцати—двадцати членов, между которыми распределялись различные обязанности. Членам ячейки полагалось жить совместно в специально отведенных домиках и являть собой новую форму общественной жизни, которой суждено заменить классическую супружескую пару. Падре Сеферино первым подал пример: он расширил свою лачугу и поместил в ней кроме труженицы общественного здравоохранения двух своих помощников — бывшего сержанта Литуму и бывшую специалистку по абортам донью Анхелику. Эта микрообщина стала первой в Мендосите, по примеру которой должны были создаваться и другие.

Падре Сеферино провозгласил, что в каждой католической общине между представителями одного пола будет установлено подлинное, сверхдемократическое равенство. Женщины с женщинами и мужчины с мужчинами должны обращаться друг к другу на «ты», но, чтобы не забывать о различиях в физиологии и интеллекте, установленных господом богом, священник приказал женщинам величать мужчин «вы» и при разговоре не смотреть им прямо в глаза в знак уважения. Все обязанности по приготовлению пищи, уборке, снабжению водой из ручья, уничтожению тараканов и крыс, стирка и другие домашние дела распределялись поровну; заработанные — честным и нечестным путем — деньги полностью передавались в общину, которая после покрытия общих расходов распределяла остаток поровну между всеми. Стены в общинных домах были упразднены, чтобы покончить с греховной привычкой хранить семейные тайны, так что все жизненные процессы, начиная с отправления естественных надобностей и кончая интимнейшими отношениями, должны были проходить на виду у всех.

Еще до вторжения в Мендоситу военных и полицейских частей, осуществленного с поистине кинематографическим размахом — военные были вооружены карабинами, базуками и снабжены противогазами,—вторжения, закончившегося облавой, в результате которой многочисленные обитатели квартала, женщины и мужчины, были посажены в тюрьму, однако не за то, чем они стали или были в свое время (ворами, бандитами, проститутками), а по обвинению в «подрывных действиях» и до того, как падре Сеферино был доставлен в военный трибунал по обвинению в том, что, прикрываясь саном, он содействовал проникновению коммунизма (священника отпустили благодаря заступничеству его покровительницы, миллионерши Майте Унсатеги),— еще до всего этого эксперимент с возрождением первых христианских общин был обречен на провал.

Естественно, этот опыт был обречен на провал церковными властями (предупреждение номер двести тридцать три), которые нашли его сомнительным с точки зрения теоретической и нелепым — с практической (к сожалению, дальнейшие события — увы! — подтвердили правильность этой точки зрения): опыт был обречен в силу самой природы обитателей Мендоситы, проявивших полнейшее неприятие коллективного начала.

Проблемой номер один стали отношения полов. В общих спальнях с тесно поставленными матрацами под прикрытием темноты творилось нечто невообразимое, весьма похожее на содомский грех. Вполне понятно, росло не только число беременных, но и — как следствие — преступлений из ревности.

Проблемой номер два стали кражи: общинное сосуществование вместо того, чтобы искоренить в людях собственнические инстинкты, разожгло их до безумия. Жители общины воровали друг у друга абсолютно все, даже зловоние, которым они дышали. Вместо того чтобы сблизить и подружить людей, община сделала обитателей Мендоситы заклятыми врагами. В этот период растерянности и самовластия труженица социального здравоохранения (может, то была Майте Унсатеги?) объявила, что она беременна, и бывший сержант Литума признал: да, он — отец ребенка. Со слезами на глазах падре Сеферино благословил союз, явившийся результатом его социального эксперимента. (Говорят, с тех пор он рыдал по ночам, вознося элегические песнопения луне.)

Почти сразу после этого духовный пастырь был вынужден вступить в борьбу против катастрофы гораздо более значительной, чем потеря дочери басков, обладателем которой он так и не стал. В Мендоситу прибыл опасный соперник, евангелистский пастор дон Себастьян Бергуа. Он был еще молодым человеком, спортивной внешности и с развитыми мускулами, который сразу же по прибытии объявил, что за шесть месяцев намерен обратить всю Мендоситу в подлинную веру — реформистскую. И не только жителей, но и самого католического священника и трех его приспешников. Дон Себастьян (не тот ли, кто до посвящения в сан пастора был миллионером-гинекологом?) располагал всем необходимым, чтобы поразить воображение местных жителей: он выстроил себе кирпичный дом, по-царски оплатив работавших на стройке мендосийцев, и начал кампанию так называемых «религиозных завтраков», на которые бесплатно приглашались все, кто хотел послушать его беседы о библии и выучить некоторые псалмы. Соблазненные речистостью и прекрасным баритоном нового пастыря, равно как и кофе с молоком и жареной свининой, обитатели Мендоситы стали дезертировать, сменив глинобитную католическую обитель на евангелические кирпичи.

Как и следовало ожидать, падре Сеферино вновь прибегнул к тактике «вооруженной проповеди». Он вызвал дона Себастьяна, чтобы в бою доказать, кто из них подлинный посланец господа. Однако, ослабленный усиленными занятиями по Онану, позволившими ему устоять перед искушениями сатаны, уроженец Чиримойо пал в нокауте после второго удара дона Себастьяна Бергуа, который в течение двадцати лет ежедневно по часу занимался культуризмом и боксом (уж не в гимнастическом ли зале «Ремихиус» в Сан-Исидро?). Но не потеря двух передних зубов и не разбитый нос потрясли падре Сеферино. Его сломило унижение, сознание того, что он побежден своим собственным оружием, а также тот факт, что с каждым днем он терял все большее число своих прихожан, перебегавших в стан неприятеля.

Страшась грядущего и исходя из правила, что жестокий недуг требует еще более жестокого лечения, уроженец Чиримойо притащил однажды в свою глинобитную лачугу несколько цинковых банок с какой-то жидкостью, которые он спрятал от любопытных глаз (однако обоняние любого сведущего человека безошибочно могло бы установить, что это керосин). В ту же ночь, когда все спали, католический священник в сопровождении верного Литумы перепрыгнул через забор кирпичного дома и с помощью крепких гвоздей заколотил все окна и двери толстыми досками.

Дон Себастьян Бергуа спал сном праведника — ему снился племянник, который, раскаявшись в кровосмесительной связи с собственной сестрой, принял сан священника папистской церкви в одном из кварталов Лимы (может быть, в Мендосите?). Дон Себастьян Бергуа не слышал ударов молотка Литумы, превращавшего евангелический храм в мышеловку, потому что бывшая повивальная бабка донья Анхелика незадолго до этого, выполняя приказ падре Сеферино, подсунула евангелисту сильное снотворное. После того, как вражеская миссия была закупорена, уроженец Чиримойо самолично облил ее керосином. Потом перекрестился, зажег спичку и приготовился ее бросить. Но что-то удержало его. Бывший сержант полиции Литума, труженица общественного здравоохранения, бывшая специалистка по абортам и бродячие собаки Мендоситы видели, как падре Сеферино, длинный и худой, с мученическими глазами, стоял под звездами, держа горящую спичку и раздумывая, стоит ли зажарить живьем своего врага.

Сделает ли он это? Бросит ли горящую спичку в керосин? Отважится ли падре Сеферино Уанка Лейва превратить ночь Мендоситы в пылающий ад? И загубить жизнь, целиком отданную служению, вере и добру? Или, затоптав огонь, уже опаляющий его ноги, он откроет двери кирпичного дома и на коленях будет просить евангелиста о прощении? Чем разрешится эта парабола?

XV

Первым, кому я сказал, что сделал предложение тетушке Хулии, был не Хавьер, а кузина Нанси. После разговора с тетушкой Хулией я позвонил Худышке и пригласил ее в кино. Но мы пошли в кафе-бар «Патио», что на улице Сан-Мартина, в Мирафлоресе, где обычно собирались боксеры и борцы, которых Макс Агирре, владелец «Луна-парка», приглашал в Лиму. В одноэтажном домике, вначале предназначенном под квартиры людей среднего достатка — которых очень раздражало соседство с баром, — было пусто, и мы могли спокойно поговорить, пока я опустошал десятую чашку кофе за день, а Худышка Нанси — бутылку кока-колы.

Только мы сели, я лихорадочно начал соображать, как сообщить кузине такую весть. Но она сама обрушила на меня поток новостей. Накануне в доме тетушки Гортенсии состоялся семейный совет, на котором присутствовала дюжина родственников, собравшихся обсудить «дело». Там и решили, что дядя Лучо и тетя Ольга будут просить тетушку Хулию вернуться в Боливию.

— Они сделали это ради тебя, — объяснила мне Худышка Нанси. — Похоже, твой отец взбешен и написал ужасное письмо.

Дядя Хорхе и дядя Лучо, очень любившие меня, были обеспокоены: какое наказание придумает мне отец. Но они считали: если тетушка Хулия покинет Лиму к приезду отца, он смягчится.

— Все заключается в том, что сейчас это уже не имеет значения, — сказал я с достоинством.— Я просил тетушку Хулию стать моей женой.

Реакция Нанси была непосредственна и забавна. В этот момент она пила кока-колу, а услышав мои слова, поперхнулась и так закашлялась, что глаза ее наполнились слезами.

— Хватит тебе кривляться, глупышка, — отругал я ее в раздражении. — Мне необходима твоя помощь.

— Я поперхнулась не из-за твоей новости, просто вода попала не в то горло,— пробормотала кузина, вытирая глаза и откашливаясь, и спустя мгновение тихонько добавила: — Но ведь ты еще ребенок. Есть ли у тебя деньги, чтобы жениться? А твой отец? Он же убьет тебя!

И тут, охваченная жгучим любопытством, стала сыпать вопросами, над которыми мне некогда было и подумать: тетушка Хулита согласна? Мы скроемся? Кто будет свидетелем на бракосочетании? Мы не сможем венчаться в церкви, ведь тетушка разведена? И где мы будем жить?

— Бог мой, Марито! — повторила кузина, исчерпав запас своих вопросов и снова удивляясь. — Неужели ты не понимаешь, что тебе всего восемнадцать лет?

Она расхохоталась, я — тоже. Я согласился: возможно, она и права, но сейчас речь идет о том, чтобы помочь осуществлению моего замысла. Мы вместе росли, очень любили друг друга, и я знал: Нанси всегда будет на моей стороне.

— Конечно, если ты просишь, я помогу тебе, пусть меня даже убьют вместе с тобой, — наконец ответила кузина. — Кстати, а ты подумал, как будет реагировать все наше семейство, если ты в самом деле женишься?

Мы очень веселились, представляя, что скажут и сделают все тетушки и дядюшки, кузины и кузены, когда узнают эту новость. Тетушка Гортенсия заплачет, тетушка Хесуса отправится в церковь, дядюшка Хавьер произнесет свое классическое: «Какое бесстыдство!», Хаимито — самый младший кузен, ему всего три года и он еще шепелявит — спросит: «А сто такое «зениться», мамочка?» В конце концов мы так расхохотались, правда довольно нервически, что к нашему столу подбежали официанты узнать, в чем заключалась шутка. Когда мы наконец успокоились, кузина Нанси согласилась быть моим лазутчиком и сообщать о всех инициативах и интригах семейства. Я не представлял, сколько времени займут у меня приготовления к свадьбе, и должен был знать, что замышляют наши родственники. Кроме того, Нанси обещала быть связной между мною и тетушкой Хулией и время от времени приглашать ее на прогулки, чтобы мы могли видеться.

— О'кей, о'кей, — кивала Нанси. — Хорошо, я буду вашей крестной матерью. И если когда-нибудь мне понадобится услуга, надеюсь, вы оба будете так же вести себя по отношению ко мне.

Когда мы уже вышли на улицу и направились к дому Нанси, она схватилась за голову.

— Какой ты счастливчик! — вскричала она. — Я могу достать тебе именно то, что нужно: квартиру в доме на улице Порта. Однокомнатная, с кухонькой и туалетом, не квартира, а игрушка. И всего — пятьсот солей в месяц.

Квартира недавно освободилась, ее сдавала подруга кузины, и Нанси могла бы переговорить с ней. Я был поражен практичностью своей двоюродной сестры, которая в подобной ситуации могла думать о столь важных проблемах, как жилище, когда я сам витал в облаках. Пятьсот солей меня устраивали. Правда, теперь придется зарабатывать больше («на роскошества», как говорил дедушка). Не раздумывая далее, я попросил Нанси передать подруге: квартиросъемщик найден.

Проводив кузину, я побежал в пансион на авениде 28 Июля, где проживал Хавьер, но в доме уже погасили свет, и я не осмелился будить хозяйку, отличавшуюся к тому же скверным характером. Я был очень огорчен — мне так хотелось поделиться с лучшим другом моим великолепным планом и выслушать его ответы. И в ту ночь меня мучили во сне кошмары. Я встал вместе с дедушкой на заре, позавтракал и побежал в пансион. Хавьера я встретил, когда тот уже выходил из дома. Пошли пешком к авениде Ларко, чтобы сесть в автобус, направлявшийся к центру. Накануне вечером Хавьер впервые услышал — вместе с хозяйкой и другими жильцами — главу из радиопостановки Педро Камачо. Он был потрясен.

— Действительно твой приятель Камачо способен на многое,— сказал Хавьер. — Знаешь, что вчера было? Действие происходит в одном из старых пансионов Лимы, где проживает обедневшая, приехавшая с гор семья. Семейство обедает, идет беседа. И вдруг — землетрясение. Звон стекол, грохот, вопли и стоны были так переданы, что все мы вскочили, а сеньора Грасиа помчалась в сад.

Я представил себе гениального Батана, имитировавшего глубокий рык земных недр: с помощью пустых тыкв и стеклянных шариков, которые он тер друг о друга перед микрофоном, техник по звуку изображал пляску домов в Лиме; он давил ногами орехи и ударял камнем о камень, чтобы все слышали треск рушащихся потолков и стен, грохот падающих лестниц. А в это время Хосефина, Лусиано и другие актеры молились, завывали от боли и страха, взывали о помощи под требовательным взглядом Педро Камачо.

— Но не в землетрясении суть, — прервал меня Хавьер, когда я стал рассказывать о потрясающих способностях Батана.— Главное, что по ходу действия пансион рушится и все его обитатели погибают под развалинами. Никто не спасся, хоть и поверить трудно. Человек, способный умертвить всех героев за время одного лишь землетрясения, заслуживает уважения.

Мы как раз дошли до автобусной остановки, и я уже был не в силах сдержаться. В нескольких словах я рассказал обо всем случившемся перед этим и о принятом мною великом решении. Он сделал вид, будто вовсе не удивлен.

— Да, ты тоже способен на многое,— сказал Хавьер, с сожалением покачивая головой, и тут же добавил: — А ты уверен, что хочешь жениться?

— Никогда в жизни ни в чем я не был так уверен, — поклялся я.

В тот момент это была правда. Когда накануне я просил тетушку Хулио выйти за меня замуж, я чувствовал, что делал нечто необдуманное, говорю просто так, почти в шутку, но сейчас, после разговора с Нанси, я ощутил уверенность в себе. Мне казалось, я излагаю Хавьеру твердое, выношенное и продуманное решение.

— Твои безумные затеи в конце концов приведут меня в тюрьму,— заметил Хавьер с чувством обреченности, когда мы уже сидели в автобусе. Через несколько остановок, около авениды Прадо, мой друг добавил: — У тебя мало времени. Если родственники просили тетушку Хулио уехать, она не может оставаться у них. И дело должно быть сделано прежде, чем приедет злой гений — твой отец, при нем все будет сложнее.

Мы немного помолчали. Автобус полз по авениде Арекипа, подбирая и выса-

живая пассажиров. Перед колледжем Раймонди Хавьер вновь заговорил, теперь уже одержимый этой идеей:

— Тебе понадобятся деньги. Что будешь делать?

— Попрошу на радио вперед. Продам все, что у меня есть: костюмы, книги. Заложу пишущую машинку, часы, короче, все что можно. И буду искать как сумасшедший любую работу.

— Я тоже могу кое-что сдать в ломбард, например, радиоприемник, авторучки, золотые часы, — сказал Хавьер. Прикрыв глаза и прикидывая на пальцах, он подсчитал: — Думаю, тысячу солей смогу тебе одолжить.

Мы расстались на площади Сан-Мартина, договорившись встретиться в полдень у меня, на верхотуре «Панамерикана». Разговор с другом принес мне облегчение — я пришел на работу в радужном настроении, исполненный оптимизма. Я прочитал газеты, подобрал информационные сообщения, и второй раз в истории Паскуаль и Паблито, появившись в конторе, нашли радиосводки уже готовыми к выпуску. Как назло, оба они торчали здесь, когда позвонила тетушка Хулия, и наш разговор пришлось свести к минимуму. Однако я осмелился в их присутствии сказать ей, что переговорил с Нанси и Хавьером.

— Я должен обязательно увидеть тебя сегодня, хоть на несколько минут,— попросил я. — Все идет на лад.

— Ты знаешь, у меня душа — в пятках, — сказала мне тетушка Хулия. — Я всегда умела делать хорошую мину при плохой игре, а тут совсем скисла.

У нее был прекрасный предлог отправиться в центр Лимы, не вызывая подозрений: в компании «Ллойд-Аэрео Боливиано» она собиралась заказать билет на самолет в Ла-Пас. Поэтому ей удастся прийти ко мне около трех часов дня. Мы оба не касались в разговоре вопроса о нашем браке, но мне было горько слышать, что она говорит об отъезде. Повесив трубку, я немедленно отправился в городской муниципалитет — выяснить, какие документы нужны для регистрации гражданского брака. В муниципалитете работал один из моих друзей, который выяснил все необходимое, полагая, будто речь идет о моем родственнике, собравшемся жениться на разведенной иностранке. Требования были устрашающие. Тетушка Хулия должна была представить свидетельство о рождении, документ о разводе, заверенный министерствами иностранных дел Боливии и Перу. Я также должен был предъявить свидетельство о рождении, но, поскольку был еще несовершеннолетним, требовалось и нотариально заверенное разрешение родителей на вступление в брак или их заявление, что я уже совершеннолетний — «эмансипированный», — в суде по делам несовершеннолетних. Оба пути абсолютно исключались.

Я вышел из муниципалитета, занятый мысленными подсчетами: оформление документов тетушки Хулии, даже если они у нее с собой, в Лиме, займет несколько недель. Если этих документов у нее сейчас нет, то на оформление их в Боливии, затем в муниципалитете и нотариальной конторе уйдет месяц. Что же касается моего свидетельства о рождении, то, поскольку я родился в Арекипе, мне придется обратиться к какому-нибудь родственнику там с просьбой выслать документы, на что тоже потребуется время (кроме того, это было рискованно). Трудности, словно бросая вызов помериться с ними силой, возникали одна за другой, но не сразили меня, а лишь укрепили мою решимость (с детства я был очень упрямым). Уже на полдороге к радиостанции, около здания редакции «Пренса», меня вдруг осенило — я повернул в другую сторону и помчался весь в поту в университет. Сеньора Риофрио, секретарь юридического факультета, в обязанности которой входило ознакомление студентов с их оценками, приняла меня с извечным выражением материнской ласки на лице и участливо выслушала путаную историю о том, что необходимо как можно скорее совершить ряд юридических формальностей, иначе я могу потерять работу, которая поможет мне оплачивать занятия в университете.

— Официально это запрещается делать,— посетовала она, подымая безмятежное лицо от запыленного стола и направляясь вместе со мной к архивным полкам. — Вы злоупотребляете моей добротой. Когда-нибудь меня за это уволят со службы, и никто из вас не пошевелит пальцем, чтобы помочь мне.

Пока она копалась в папках с документами студентов, поднимая облачка пыли, от которой мы оба чихали, я заявил сеньоре Риофрио, что, если когда-нибудь и произойдет такое, весь наш факультет объявит забастовку. Наконец, сеньора нашла мои документы, среди которых действительно фигурировало свидетельство о рождении, и вручила его мне, предупредив, что дает всего на полчаса. Мне понадобилось пятнадцать минут, чтобы снять две фотокопии в книжной лавке на улице Асангаро и вернуть одну из них сеньоре Риофрио. На радиостанцию я прибыл, сияя от восторга и чувствуя себя способным стереть в порошок любых драконов, которые встанут на моем пути.

Я уже сидел за столом и разбирал бюрократические каракули на моем свидетельстве (выяснив, что родился на бульваре Парра, и это мой дедушка и дядя Александро засвидетельствовали в алькальдии), когда меня отвлекли вошедшие Паскуаль и Великий Паблито (я еще раньше приготовил две сводки и взял интервью для радио у Гаучо Герреро, аргентинского лавочника, ныне — гражданина Перу, который занимался тем, что побивал собственные рекорды: он дни и ночи бегал вокруг пло-

щади, причем ухитрялся на бегу есть, бриться, писать и даже спать). Паскуаль и Великий Паблито обменивались впечатлениями о пожаре и с хохотом вспоминали крики жертв, корчившихся в огне. Я пытался продолжать чтение неудобоваримого свидетельства о рождении, однако комментарии моих редакторов о том, как погибли полицейские комиссариата в Кальяо, подожженного с помощью бензина каким-то сумасшедшим (погибли все до единого — от комиссара и до последнего сыщика, включая собаку-ищейку), вновь отвлекли меня.

— Я просмотрел все газеты и не обнаружил информации о пожаре. Откуда вы узнали о нем? — спросил я. Потом обратился к Паскуалю: — И пожалуйста, не вздумай посвящать все сегодняшние радиосводки этому сообщению. — Затем приветствовал их обоих: — Привет, садисты!

— Это не сообщение, а содержание радиопостановки, которую передавали в одиннадцать часов, — объяснил мне Великий Паблито. — Она была посвящена сержанту Литуме, наводившему ужас на всех рецидивистов Кальяо.

— Сержант тоже превратился в кусок жареного мяса,— подхватил Паскуаль. — Он мог бы спастись, сержант как раз уходил на дежурство, но он вернулся, чтобы помочь капитану. Литуму погубило его доброе сердце.

— Он хотел спасти не капитана, а сучку Чоклиту,— поправил Великий Паблито.

— Это так и осталось неясным,— сказал Паскуаль.— На Литуму упала решетка в одной из камер. Если бы ты видел дона Педро Камачо в момент, когда он погибал в огне! Ну и актерище!

— Что же тогда говорить о Батане! — великодушно восхитился Великий Паблито. — Никогда бы не поверил, что можно лишь двумя пальцами имитировать гул пожара. Но я сам видел, дон Марио, сам видел, собственными глазами!

Эту беседу прервал приход Хавьера. Как обычно, мы отправились пить кофе в «Бранса», и здесь я рассказал другу о результатах моих расследований, а также с гордостью показал свидетельство о рождении.

— Я размышлял об этом и должен сказать: твое решение жениться — глупость, — заявил мне Хавьер с ходу. — И не только потому, что ты еще сопляк, но главное — из-за денег. Тебе придется надрываться на всякой паршивой работе, только бы не голодать.

— Короче, ты думаешь так же, как и мои папа с мамой, — сказал я насмешливо. — Что из-за женитьбы мне придется оставить университет и я никогда не стану знаменитым юристом...

— Да после женитьбы у тебя не будет времени даже на чтение, — заметил Хавьер. — Женившись, ты никогда не станешь писателем.

— Если ты не замолчишь, мы поссоримся,— заверил я.

— Хорошо, я умолкаю, — засмеялся Хавьер. — Я исполнил долг совести и предупредил, какое будущее тебя ждет. Но если уж на то пошло, пожелай Худышка Нанси, я бы хоть сегодня женился. Итак, с чего же мы начнем?

— Поскольку совершенно исключено, что родители дадут мне разрешение на брак или засвидетельствуют перед нотариусом, что я — совершеннолетний, и так как исключено, что у Хулии все бумаги в порядке, единственный выход — найти алькальда, хорошего человека.

— Ты хочешь сказать, которого можно подкупить, — поправил друг. Он долго рассматривал меня, как редкостное насекомое.— Но кого же ты можешь подкупить? Ты, подыхающий с голоду?!

— Ну, какого-нибудь не очень принципиального алькальда,— настаивал я,— кому можно было бы рассказать всякие небылицы.

— Ладно, займемся поисками пройдохи, согласного оформить твой брак вопреки всем существующим законам.— Хавьер снова засмеялся.— Как жаль, что Хулита разведена, иначе ты мог бы сочетаться церковным браком. Это так просто. Среди попов полно пройдох.

Хавьер всегда умел поднять настроение, и мы закончили разговор шутками по поводу моего медового месяца и платы, которую Хавьер потребовал бы за свои услуги (например, помочь ему в похищении Худышки Нанси). Мы посетовали, что живем не в Пиуре [1], где обычай бегства невесты и жениха настолько распространен, что никакой проблемы с алькальдом и не было бы. Мы попрощались, и Хавьер обещал разузнать насчет алькальда в тот же вечер и заложить в ломбард все свои ценные вещи.

Тетушка Хулия должна была прийти на свидание в три. В половине четвертого ее все еще не было, и я начал беспокоиться. В четыре пальцы мои уже путали клавиши машинки, и я беспрерывно курил. В половине пятого Великий Паблито осведомился о моем самочувствии: так я был бледен. В пять я заставил Паскуаля позвонить к дядюшке Лучо и спросить тетушку Хулию. Она еще не вернулась. Не вернулась она и через полчаса, не пришла ни в шесть, ни в семь часов вечера. После передачи последней радиосводки, вместо того чтобы идти домой к старикам, я проехал на автобусе до авениды Армендарис и там бродил вокруг дома дяди и тетки, не решаясь постучать. Через стекла я видел, как тетя Ольга меняла воду в вазе с цветами, как

[1] Департамент на севере Перу, граничащий с Эквадором.

дядя Лучо пошел гасить свет в столовой. Я кружил возле дома, обуреваемый самыми противоречивыми чувствами: беспокойством, яростью, томлением, то мне хотелось отхлестать Хулию по щекам, то нежно поцеловать ее. Только я завершил очередной круг, как увидел тетушку Хулию, выходящую из роскошного автомобиля с дипломатическим номером. В два прыжка я подлетел к ней, чувствуя, как от негодования и ревности у меня подкашиваются ноги, полный решимости дать сопернику по физиономии, кем бы он ни был. Из машины вышел седой сеньор, а в ней осталась какая-то дама. Тетушка Хулия представила меня как племянника своего зятя, а сеньора — как посла Боливии в Перу, в машине — супруга посла. Я понял, что попал в дурацкое положение, но с души моей спал тяжкий груз. Когда машина отъехала, я взял тетушку Хулию под руку и почти силком заставил пересечь улицу и выйти со мной на набережную.

— Ну и характерец,— услышал я, когда мы приблизились к морю.— Бедный доктор Гумусио, глядя на твою физиономию, решил, наверное, что ты душитель.

— Вот тебя-то мне и хочется задушить,— сказал я.— Я жду с трех часов дня, а сейчас уже одиннадцать ночи. Ты забыла, что назначила мне свидание?

— Нет, не забыла,— возразила она решительно.— Я нарочно тебя обманула.

В этот момент мы подошли к садику у семинарии иезуитов. Он был пуст. Хотя уже не моросило, но от сырости поблескивали трава, олеандры, кусты герани. Клочья тумана прозрачными тенями окружили уличные фонари, отбрасывавшие желтые конусы света.

— Давай отложим ссору на другой раз,— сказал я, заставив тетушку Хулию сесть на парапет, за которым слышалось глубокое и ровное дыхание моря.— У нас мало времени и много проблем. У тебя с собой свидетельства о рождении и о разводе?

— У меня с собой билет на самолет в Ла-Пас,— ответила она, трогая сумку. — Я улетаю в воскресенье, в десять утра. И я счастлива. Перу и перуанцы надоели мне до смерти.

— Мне жаль тебя, но пока у нас нет возможности переменить страну проживания, — сказал я, садясь рядом и обнимая ее за плечи.— Но обещаю тебе, что когда-нибудь мы уедем в Париж и будем жить в мансарде.

Несмотря на резкости, которые она выпалила, до этого момента тетушка Хулия была спокойна, слегка насмешлива и уверена в себе. Но вдруг на лице ее проступила горькая усмешка, и она сказала жестко, не глядя на меня:

— Не мешай мне, Варгитас. Я возвращаюсь в Боливию из-за твоих родственников. И еще потому, что наши отношения — величайшая глупость. Ты прекрасно знаешь, мы не можем пожениться.

— Нет, можем,— сказал я, целуя ее в щеку, в шею, крепко прижимая к себе, касаясь ее груди, жадно отыскивая ее губы.— Нам нужен сговорчивый алькальд. Хавьер поможет в этом. А Худышка Нанси уже нашла нам квартиру в Мирафлоресе. Поэтому нет повода для пессимизма.

Она покорялась поцелуям и ласкам, но оставалась где-то далеко от меня и была очень серьезна. Я рассказал ей о моих беседах с сестрой и Хавьером и о том, что мне ответили в муниципалитете, как я заполучил свидетельство о рождении; я говорил, что люблю ее всей душой и мы поженимся, даже если для этого мне придется сразиться с целым светом. Мы наслаждались поцелуями. Потом я почувствовал, как свободная рука тетушки Хулии обвилась вокруг моей шеи, она прильнула ко мне, горько рыдая. Я утешал ее, продолжая целовать.

— Ты еще соплячок,— шептала она, смеясь и всхлипывая, а я отвечал, не переводя дыхания, что она нужна мне, что я люблю ее и что никогда не позволю ей вернуться в Боливию и покончу с собой, если она уедет. Наконец Хулия заговорила, пытаясь шутить: — «Кто ляжет с младенцем в постель, мокрым проснется». Ты слышал эту поговорку?

— Это вульгарно, и не нужно так говорить,— ответил я, осушая ее слезы губами и кончиками пальцев.— Так у тебя с собой документы? Может ли их заверить твой друг посол?

Она уже почти пришла в себя, перестала плакать и смотрела на меня с нежностью.

— Как долго это продлится, Варгитас? — спросила она грустно.— Сколько пройдет времени, пока ты не устанешь от меня? Год, два, три? Разве это справедливо, если через два-три года ты сбежишь от меня и я вынуждена буду все начинать сначала?!

— Так сможет боливийский посол заверить твои бумаги? — настаивал я. — Если он сделает это как представитель своей страны, будет проще добиться, чтобы их заверили перуанские власти. Я найду в министерстве кого-нибудь, кто нам поможет.

С сожалением и нежностью смотрела она на меня. Потом улыбнулась.

— Если ты поклянешься, что будешь терпеть меня пять лет, ни на кого не посмотришь и будешь любить только меня, я согласна,— сказала она. — За пять лет счастья я пойду на это безумие.

— Так где твои документы? — продолжал я спрашивать, поправляя и целуя ее волосы. — Может ли посол их заверить?

Документы у тетушки Хулии были с собой, в конечном счете боливийский посол заверил их многочисленными разноцветными печатями и затейливыми подписями.

Процедура заняла не более получаса, ибо господин посол дипломатично проглотил сказочку тетушки Хулии: мол, документы нужны ей немедленно для получения разрешения на вывоз из Боливии ценностей, полученных при разводе. Добиться, чтобы министр иностранных дел Перу, со своей стороны, узаконил боливийские документы, было уже легче. В этом мне помог один из университетских преподавателей, консультант министерства иностранных дел, для него я вынужден был придумать нечто похожее на сюжет радиопостановки: речь шла о старушке, умирающей от рака, которая хотела немедленно оформить брак с человеком, в течение долгих лет бывшим ее — фактически, но не юридически — мужем; старушка хотела предстать перед господом со спокойной совестью.

В комнате, уставленной старинной колониальной мебелью, где столпились вылощенные юнцы дворца Торре Тагле[1], ожидая, пока чиновник, подстегнутый звонком моего преподавателя, поставит на документы тетушки Хулии энное количество печатей и соберет необходимые подписи, я услышал о новой катастрофе. Стоявший у пристани Кальяо итальянский пароход, полный пассажиров и провожающих, в нарушение всех законов физики и вопреки здравому смыслу вдруг закружился на месте, осел на левый борт и быстро погрузился в воды Тихого океана; в панике, от ушибов, при падении в воду, от акул погибли все, кто был на борту. Об этом говорили две дамы, сидевшие рядом со мной и тоже ожидавшие оформления каких-то бумаг. Судя по всему, они не шутили.

— Наверное, это произошло в одной из постановок Педро Камачо?—вмешался я.

— В четырехчасовой передаче, — сообщила старшая из дам, женщина костлявая и энергичная, с явным славянским акцентом. — Передача посвящена кардиологу Альберто де Кинтеросу.

— Тому самому, который в прошлом месяце был гинекологом,— добавила, улыбаясь, сидевшая за машинкой девушка. При этом она покрутила пальцем у лба, давая понять, что кто-то спятил с ума.

— А вы не слышали вчерашней программы? — с ласковым сожалением спросила сопровождавшая иностранку дама в очках, чье произношение свидетельствовало, что она не из Лимы.— Доктор Кинтерос как раз отправился на отдых в Чили со своей супругой и дочкой Чарито. И все трое утонули!

— Да, утонули, все без исключения, — уточнила иностранка. — В том числе и племянник доктора — Ричард, племянница Элианита, ее супруг — глупенький Рыжий Антунес и даже его неродной сын, сын Элианиты — Рубенсито. Они все пришли провожать доктора.

— Но интересней всего, что вместе со всеми утонул и лейтенант Хаиме Конча, а ведь он — совсем из другой пьесы, и к тому же он три дня назад погиб во время пожара в Кальяо, — снова вмешалась, корчась от смеха, машинистка, даже бросившая печатать.—Эти радиопьесы превратились в сущую белиберду, вам не кажется?

Девице благосклонно улыбнулся вылощенный, интеллектуального вида юнец (его специальность — границы нашего государства) и метнул на нас взгляд, который Педро Камачо с полным основанием назвал бы «аргентинским».

— Разве я не говорил тебе, что перемещение героев из одного романа в другой придумал еще Бальзак,— сказал юнец, напыжившись от самодовольства. Однако следующее высказывание выдало его с головой: — Если Бальзак уличит кое-кого в плагиате, он упечет этого типа в тюрьму.

— Дело не в переходе героев из пьесы в пьесу, а в том, что автор каждый раз оживляет их после смерти,— защищалась девица. — Лейтенант Конча погиб в огне, читая комиксы про Утенка Дональда. Когда же он успел ожить, чтобы иметь возможность утонуть?

— Просто лейтенанту не повезло, — предположил юнец, принесший мне бумаги.

Я ушел совершенно счастливый, прижимая к себе и чуть не целуя бесценные документы, оставив двух дам, машинистку и юных дипломатов занятыми оживленной беседой о боливийском писаке. Тетушка Хулия уже ждала меня в кафе и очень смеялась над рассказанной мною историей: она не слушала последних программ своего соотечественника.

За исключением оформления документов, прошедшего так гладко, все другие мои хлопоты на этой неделе, бесконечные поиски и хождения — иногда я отправлялся один, иногда вместе с Хавьером — по районным муниципалитетам Лимы оказались безуспешными и утомительными. На радио я бывал только по делам «Панамерикана» и разрешил Паскуалю составлять все сводки, дав ему таким образом возможность поразить воображение радиослушателей нескончаемым потоком катастроф, преступлений, насилий, похищений — таких же, как сочинял в соседней каморке мой друг Педро Камачо, систематически занимавшийся геноцидом, убивая своих героев.

Я начинал свою беготню очень рано. Сперва я отправлялся в самые бедные и отдаленные от центра Лимы муниципалитеты: в районы Римака, Порвенира, Витарте, Чоррильос. Пятьдесят один раз (сначала краснея, потом уже нахально) я излагал свою проблему алькальдам и вице-алькальдам, синдикам, секретарям, привратникам... даже

[1] Здание министерства иностранных дел Перу в Лиме.

портфелям, и всякий раз получал все более категорические отказы. Аргументация была одна и та же: я не могу жениться, пока родители не дадут заверенного нотариусом разрешения или судья не признает в юридическом порядке мою самостоятельность. Затем я попытал счастья в муниципалитетах центральной части города, за исключением районов Мирафлорес и Сан-Исидро, где можно было наткнуться на знакомых нашей семьи. Но результаты были такие же. Чиновники, ознакомившись с документами, обычно отпускали шуточки, которые для меня были вроде запрещенных ударов ниже пояса: «Ты что же, хочешь жениться на мамочке?» или: «Не дури, парень, зачем тебе жениться? Переспи — и хватит!» Свет надежды мелькнул только однажды — в муниципалитете района Сурко: толстенький, с нахмуренными бровями секретарь заявил нам, что дело можно было бы уладить за десять тысяч солей, ибо «придется многим заткнуть рот». Я пытался наскрести эту сумму, но смог предложить ему с великим трудом собранные только пять тысяч. Однако толстячок, будто испугавшись своей затеи, сделал обратный ход, и кончилось тем, что он выставил нас из алькальдии.

Я говорил с тетушкой Хулией по два раза в день и обманывал ее: все, мол, в порядке, пусть она держит наготове чемоданчик со всем необходимым, так как в любой момент я могу сказать «сделано»! Но сам я все больше и больше приходил в уныние. В пятницу вечером, вернувшись домой к старикам, я обнаружил телеграмму от родителей: «Прибываем понедельник, самолетом компании «Панагра», рейс 516».

В эту ночь — после мучительных раздумий и метаний по кровати — я зажег ночник и записал в тетрадку с темами для рассказов все, что мне предстоит сделать, располагая пункты по степени важности. Первое: я женюсь на тетушке Хулии и ставлю родных перед свершившимся фактом, тогда им поневоле придется смириться. Но оставалось мало времени, а сопротивление чиновников лимских муниципалитетов было упорным, в силу чего пункт первый становился все более утопическим. Во-вторых: надо бежать с тетушкой Хулией за границу. Но не в Боливию — сама мысль о необходимости жить там, где жила она без меня, где у нее столько знакомых и проживает ее бывший супруг, мне была неприятна. Наиболее подходящей страной представлялась Чили. Тетушка Хулия могла бы вылететь в Ла-Пас, чтобы обмануть родственников, а я бы поехал на автобусе до Такны. Можно было бы найти способ пересечь границу нелегально, добраться до Арики [1] и потом до Сантьяго, куда приедет ко мне тетушка Хулия или где она уже будет меня ждать. Путешествие и проживание без паспорта (для получения этого документа также требовалось разрешение родителей) не казались мне невозможными и даже увлекали своей романтикой. Бесспорно, родственники будут искать меня, непременно найдут и вернут на родину, но я снова убегу и буду убегать, пока мне не исполнится двадцать один год и я не стану свободным. Третий выход — самоубийство: умереть, оставив красивое письмо, которое заставит родственников страдать от угрызений совести.

На следующий день я побежал в пансион к Хавьеру. Каждое утро, пока он мылся и брился, мы обсуждали события, происшедшие накануне, и вырабатывали план действий на день. Сидя на стульчаке и глядя, как он намыливает физиономию, я прочел ему записи из своей тетрадки, где были изложены альтернативы моей судьбы, сопровождая чтение комментариями. Хавьер, вытираясь полотенцем, дружески посоветовал мне вынести пункт о самоубийстве на первое место:

— Если ты покончишь с собой, все глупости, которые ты писал до сих пор, немедленно вызовут интерес обывателей, они непременно захотят прочесть твои произведения, и их можно будет выпустить в свет отдельным изданием, — убеждал он меня, зверски растираясь.— И пусть посмертно, но ты станешь писателем.

— Из-за тебя я опоздаю к первой радиосводке,— торопил я Хавьера.— Перестань корчить из себя Кантинфласа [2], твой юмор мне уже осточертел.

— Если ты покончишь с собой, — продолжал он, одеваясь, — мне не придется пропускать столько занятий в университете и убегать с работы. Идеально, если бы ты совершил это сегодня утром, прямо сейчас. Ты освободил бы меня от необходимости закладывать вещи в ломбард — они, конечно, там пропадут, ведь ты все равно не отдашь мне денег, не так ли?

Уже на улице, пока мы бежали к автобусу, Хавьер добавил, воображая себя тонким юмористом:

— И наконец, если ты покончишь с собой и станешь знаменитым, у твоего лучшего друга, доверенного лица, свидетеля трагедии будут брать интервью и даже опубликуют его фотографию в газетах. Думаешь, твоя кузина Нанси устоит перед такой известностью?

В так называемой (и ужасно называемой!) ссудной кассе, что на Пласа де Армас, мы заложили мою пишущую машинку и его радиоприемник, мои часы и его авторучки, и в конце концов я убедил Хавьера заложить также и его часы. Несмотря на все наши поиски — а рыскали мы как волки, — нам удалось добыть только две тысячи солей. Накануне — так, чтобы не догадались мои старики,—я уже продал старьевщику с улицы Ла-Пас свои костюмы, ботинки, рубашки, галстуки, куртки и остался практически лишь

[1] Такна — город на юге Перу, близ границы с Чили. Арика — чилийский город близ перуанской границы.

[2] Марио Кантинфлас — популярный мексиканский комик.

в том, что было на мне. Однако распродажа гардероба принесла мне всего четыреста солей. Зато мне повезло у деятеля прогресса — хозяина «Радио Панамерикана», которого я за полчаса драматических объяснений убедил выплатить мне вперед четыре жалованья с вычетом в дальнейшем этой суммы в течение года. У разговора нашего был необычный финал. Я клялся, что деньги нужны мне на срочнейшую операцию: у старенькой моей бабушки обнаружена опухоль, но это нисколько не растрогало хозяина. Вдруг он сказал: «Ну, хорошо». И с дружеской улыбкой добавил: «Признайся, ведь деньги нужны на аборт какой-нибудь твоей девочке?» Я скромно опустил глаза и просил, чтобы он оставил это в тайне.

Увидев, как я расстроен столь малой суммой, полученной за заложенные вещи, Хавьер пошел проводить меня до радиостанции. Мы договорились, что отпросимся с работы и после полудня поедем в Уачо. Может быть, в провинции служащие муниципалитетов более склонны к сентиментальности. Я поднялся к себе на крышу в тот момент, когда зазвонил телефон. Тетушка Хулия была в ярости. Накануне к дяде Лучо пришли тетушка Гортенсия и дядя Алехандро, которые не ответили на ее приветствие.

— Они посмотрели на меня с олимпийским презрением, чуть-чуть не назвали меня...— рассказывала она, негодуя.— Я губы закусила, чтобы не послать их сам знаешь куда. Сдержалась из-за сестры и ради нас с тобой, зачем вызывать осложнения. Как дела, Варгитас?

— В понедельник, рано утром,— заверил я ее.— Ты должна сказать, что откладываешь на день отлет в Ла-Пас. У меня уже почти все готово.

— Не волнуйся, если не найдешь нужного алькальда,— сказала тетушка Хулия. — Я разозлилась, и меня теперь ничто не остановит. Так что, даже если не сыщешь, мы все равно улизнем.

— Почему бы вам не зарегистрироваться в Чинче[2], дон Марио? — услышал я голос Паскуаля, едва повесив телефонную трубку. Увидев мое замешательство, он растерялся. — Не подумайте, что я — сплетник и вмешиваюсь в чужие дела. Но, естественно, слушая вас, мы поняли, о чем идет речь. Я делаю это, чтобы вам помочь. Алькальд в Чинче — мой двоюродный брат и окрутит вас в один момент, не глядя, с документами или без документов, совершеннолетний вы или нет!

В тот же день все было улажено. Хавьер и Паскуаль вечером выехали в Чинчу на автобусе, захватив документы и поклявшись подготовить все к понедельнику. Я же отправился с кузиной Нанси снимать квартирку в Мирафлоресе, затем пошел договариваться о трехдневном отпуске (получив его после громогласной дискуссии с Хенаро-отцом, которому решительно грозил уволиться в случае отказа) и стал обдумывать бегство из Лимы.

Вечером в субботу вернулся Хавьер и привез хорошие вести. Алькальд оказался молодым и симпатичным парнем. Когда Хавьер и Паскуаль рассказали ему обо всем, он посмеялся и поздравил их с намерением похитить мою будущую супругу. «Как романтично!» — воскликнул он. Все документы остались у него, он уверял, что, поскольку имеет дело с друзьями, вполне можно обойти проблему публикации в газетах.

В воскресенье я предупредил тетушку Хулию, что нашел алькальда, что мы исчезнем на следующий день в восемь утра, а в полдень уже будем мужем и женой.

XVI

Хоакин Иностроса Бельмонт, некогда снискавший себе громкую славу на стадионах, но не голами и пенальти, а мастерским судейством, и чье пристрастие к алкогольным напиткам оставило по себе воспоминания и долги во всех барах Лимы, родился в одной из вилл, выстроенных сильными мира сего лет тридцать назад в кварталах Ла Перлы, когда была предпринята попытка превратить этот пустырь в своеобразную Копакабану[3] Лимы (осуществить подобное намерение было равносильно попыткам верблюда пролезть в игольное ушко, и перуанские аристократы поплатились за эту затею своими чувствительными бронхами, пострадавшими от царящей тут постоянной влажности).

Хоакин был единственным сыном не только обеспеченной, но и знатной семьи, гордившейся раскидистым генеалогическим древом, украшенным титулами и гербами, среди которых красовались титулы маркизов Испании и Франции. Однако отец будущего судьи и выпивохи отложил старинные пергаменты и взялся за более современное дело, а именно — приумножение своего состояния с помощью разного рода коммерческих операций и предпринимательства, начиная с производства шерстяных тканей и кончая внедрением в Амазонии огнедышащей культуры перца. Мать Хоакина — блеклая мадонна — страдала множеством аристократических недугов и всю свою жизнь самоотверженной супруги занималась тем, что тратила добытые мужем деньги на врачей и знахарей. Хоакин родился, когда супруги были уже не первой молодости и после того, как долгие годы они молили бога послать им наследника. Событие при-

[1] Городок на тихоокеанском побережье, неподалеку от Лимы.
[2] Город в департаменте Ика, южнее Лимы.
[3] Район Рио-де-Жанейро.

несло неописуемую радость родителям, которые, еще качая сына в колыбели, уже представляли его в будущем князем промышленности, королем сельского хозяйства, магом дипломатии или дьяволом в политике.

Почему же из ребенка получился футбольный арбитр? Отчего он изменил своей судьбе, отмеченной славными титулами и высокородством? Может быть, он сделался арбитром из-за умственной отсталости? Нет, Хоакин стал судьей по призванию. Как и полагается, от соски и до усиков у него сменилась вереница самых разнообразных воспитательниц, импортированных из далеких стран: из Франции и Англии. В лучших колледжах Лимы были наняты учителя, чтобы научить ребенка считать и читать. Но все педагоги один за другим, издерганные и отчаявшиеся, отказывались от завидного жалованья, убедившись в имманентном безразличии мальчика к каким бы то ни было наукам. В восемь лет Хоакин еще не ведал сложения, а из алфавита с великим трудом выучил только гласные. Он ограничивался односложными словами, был очень спокоен и целыми днями с выражением смертельной скуки бродил среди множества игрушек, приобретенных ему на забаву в разных концах света: конструкторы были немецкие, поезда — японские, головоломки — китайские, солдатики — австрийские, трехколесные велосипеды — американские. Единственное, что могло вывести мальчика на некоторое время из его браминской невозмутимости, были изображения футболистов, вложенные в шоколадки фирмы «Мар-дель-Сур»; эти картинки он вклеивал в тетради с атласными обложками и увлеченно созерцал часами.

В ужасе от мысли, что их чадо растет неполноценным и на нем пресечется их род, а в будущем сын может стать посмешищем для окружающих, родители прибегли к помощи науки. В Ла Перле появились светила медицины. Вначале сюда прибыл звезда педиатрии города, доктор Альберто де Кинтерос, успокоивший супругов совершенно поразительным заключением.

— Мальчик страдает так называемой «оранжерейной» болезнью,— объяснил врач. — Цветы, растущие не в саду — среди других цветов и бабочек, — становятся бесцветными и вместо аромата испускают зловоние. Он хиреет в золотой клетке. Всех нянек и гувернеров необходимо удалить, а ребенка отдать в колледж, где он сможет общаться со своими сверстниками. Мальчик станет вполне нормальным в тот день, когда приятель расквасит ему нос!

Готовая на любые жертвы ради того, чтобы ребенок не вырос дурнем, благородная чета решила дать возможность маленькому Хоакину окунуться в плебейскую внешнюю среду. Конечно, был избран самый дорогой колледж в Лиме — конгрегации святой Марии, дабы сохранить признаки высокого рода, форменный костюмчик мальчика был сшит из бархата, хотя и предписанного уставом колледжа цвета.

Советы знаменитого медика оказались весьма эффективными. Правда, Хоакин получал на редкость плохие отметки: чтобы он выдержал экзамены (предел мечтаний родителей, переживавших эти испытания как катаклизмы), родителям приходилось делать пожертвования (витражи в часовню колледжа, шерстяные ряски для церковных служек, здоровенные пюпитры для школы бедных и так далее), но мальчик и впрямь стал общительным, а иногда даже веселым. В этот момент был отмечен первый признак его гениальности (непонятливый отец Хоакина говорил — «бзика») — интерес к мячу. Родители очень обрадовались, узнав, что стоит их сыну надеть футбольные бутсы, как он тут же из вялого и неразговорчивого ребенка превращается в живое и болтливое существо. Они немедля приобрели соседний с их виллой в Ла Перле участок земли для устройства футбольного поля, где маленький Хоакин мог бы играть в свое удовольствие.

С тех пор на туманной авениде Пальмерас в Ла Перле каждый день можно было видеть, как — после окончания занятий — из автобуса колледжа конгрегации святой Марии выходят двадцать два школьника (менялись лица, но число всегда оставалось то же), приезжавшие сюда сыграть на футбольном поле Иностросы Бельмонта. После игры родители угощали учеников чаем с шоколадными конфетами, мармеладом, пирожными и мороженым. Богачи каждый вечер наслаждались видом своего счастливого и запыхавшегося Хоакинсито.

Лишь через несколько недель пионер по внедрению перца в Перу заподозрил что-то неладное. Он заметил: мальчик вот уже во второй, третий, десятый раз судит матч. Со свистком во рту, надвинув кепочку от солнца, он бегал за игроками, указывал нарушения, назначал пенальти. Было ясно: ребенок не страдает от того, что ему досталась такая роль, тем не менее миллионер рассердился. Он приводил мальчишек к себе домой, обкармливал их сластями, позволял им быть на равных с собственным сыном, а они, вконец обнаглев, заставляют Хоакина заниматься этим мерзким судейством? Миллионер чуть не спустил на ребят свору доберманов, чтобы как следует припугнуть наглецов, но потом ограничился внушением. К его удивлению, мальчишки поклялись, что Хоакин судил матчи, потому что ему самому так хотелось, и «потерпевший» именем бога и родной матери заверил: да, все это правда. Несколько месяцев спустя, сверившись со своей записной книжкой и донесениями мажордомов, отец сделал следующий вывод: в ста тридцати двух играх, проведенных на его частном футбольном поле, Хоакин Иностроса Бельмонт ни разу не выступал в качестве игрока,

зато судил все сто тридцать два матча. Родители в растерянности обменялись взглядами и подумали: дело плохо—разве это нормально? Вновь на помощь была призвана наука.

На вилле появился известнейший в городе астролог, человек, по звездам предсказывавший судьбу и беседовавший с духами своих клиентов (он предпочитал говорить — «с друзьями»), основываясь на знаках зодиака. Профессор Лусио Асемила, сверившись с многочисленными гороскопами, поговорив с небожителями и поразмыслив при луне, вынес решение, которое если и не целиком соответствовало истине, все же весьма польстило родителям.

— Ребенок всеми своими фибрами ощущает себя аристократом и, оставаясь верным этому чувству, даже мысленно не желает походить на других,— разъяснял профессор, снимая очки (вероятно, чтобы сделать более заметным огонек мудрости в своих глазах при постановке диагноза?).— Ребенок предпочитает быть на поле судьей, а не игроком, потому что кто судит, тот и командует. Вы полагали, будто на этом зеленом прямоугольнике Хоакинсито занимается спортом? О, какое заблуждение! Здесь проявляется его родовое стремление к власти, к необычному, к высоким идеалам, которое, без сомнения, у него в крови.

Всхлипывая от счастья, отец буквально задушил поцелуями своего сынка, объявил себя счастливейшим человеком на свете и добавил еще один ноль к числу, означавшему и без того королевский гонорар, выплаченный профессору Асемиле. Уверенный, что пристрастие к судейству шло от всепоглощающего стремления подчинять себе других, вознесшись над ними, и стремление это позднее сделает сына повелителем мира (или в худшем случае Перу), промышленник забросил свои многочисленные дела и, уподобившись старому льву, проливающему слезы при виде львенка, терзающего первую зарезанную им овечку, стал посещать свой частный стадион в Ла Перле, чтобы полюбоваться на Хоакина, одетого в красивую, только что подаренную форму, и слушать, как он свистит, управляя толпой мечущихся «приблудных» (так, видимо, папа называл игроков?).

Десять лет спустя смущенные родители вынуждены были признаться, что небесные предначертания весьма грешили оптимизмом. Восемнадцатилетний Хоакин Иностроса Бельмонт перешел в последний класс средней школы на несколько лет позже сверстников и то лишь с помощью родительской благотворительности. Гены покорителя мира, скрытое проявление которых Лусио Асемила усматривал в безобидном капризе — судейство футбольных матчей, ни в чем ином себя не показали: напротив, уже невозможно стало скрывать тот ужасный факт, что сын аристократов был абсолютной бездарью во всем, не относящемся к футболу. Интеллект Хоакина, если классифицировать его, исходя из учения Дарвина, ставил его где-то между олигофреном и обезьяной; отсутствие же у него чувства юмора и стремления к чему-либо, полное равнодушие ко всему, что не связано с беспокойной деятельностью арбитра на футбольном поле, делали юношу совершенно непривлекательным.

Однако во всем касавшемся его основного порока — другим был алкоголь — молодой человек проявлял качества, которые с полным основанием можно было назвать талантом. Его сверхъестественная беспристрастность (на священной площадке поля и в волшебные часы матча?) завоевала ему судейскую славу среди учеников и педагогов колледжа святой Марии; как коршун из-под облаков различает под каштаном мышку себе на завтрак, так и острый глаз Хоакина безошибочно — с любого расстояния и любого угла — замечал коварный удар защитника по берцовой кости центрфорварда или подлый толчок локтем левого крайнего, от которого рушился наземь игрок, подающий мяч, вместе с мячом. Вызывало удивление и доскональное знание всех правил игры, и блестящая интуиция, дающая ему возможность молниеносно принимать решение в непредусмотренных правилами случаях. Слава Хоакина перешагнула стены колледжа святой Марии, и аристократ из Ла Перлы стал судить межшкольные состязания, чемпионаты своего района, а однажды даже заменил (не на футбольном ли поле Потао?) судью в матче команд второй лиги.

После окончания Хоакином колледжа перед утомленными родителями встала проблема будущего их сына. Мысль о занятиях в университете была категорически отвергнута, дабы избавить юношу от лишних унижений и комплекса неполноценности, а семейное состояние — от бремени новых пожертвований. Попытка заставить его изучать иностранные языки провалилась. Год пребывания в Соединенных Штатах и еще год во Франции не научили Хоакина ни слову по-английски или по-французски, зато подорвали его и без того косноязычный испанский. По возвращении сына в Лиму фабриканту пришлось примириться с мыслью, что ученые звания — не для Хоакина, и тогда, разочаровавшись во всем, он решил пристроить сына к работе в сети предприятий, принадлежащих семейству. Результаты, как и следовало ожидать, были катастрофическими. За два года стараниями Хоакина были доведены до разорения две ниточные фабрики, вызван дефицит в балансе наиболее процветающего предприятия всего промышленного конгломерата — дорожно-строительной фирмы,— а плантации перца в сельве были уничтожены всевозможными эпидемиями, насекомыми и наводнениями (новое подтверждение того, что Хоакинсито был расточителем семейного состояния). Потрясенный полнейшей беспомощностью своего сына

в делах, отец, уязвленный в самое сердце, стал быстро стареть, превратился в нигилиста, забросил дело и перестал заниматься предприятиями, которые оказались в руках алчных администраторов. Позднее у него появилось нервное расстройство, выражавшееся в том, что старик высовывал язык (не нарочно ли?), пытаясь лизнуть себе ухо. Болезнь и бессонница толкнули фабриканта (здесь он последовал примеру супруги) в объятия психиатров и психоаналитиков (может быть, Альберто де Кинтероса? Или Лусио Асемилы?), которые быстро поняли: и разум, и деньги у старика на исходе.

Но экономический крах и умственное расстройство родителей не привели Хоакина Иностросу Бельмонта на грань самоубийства. Он по-прежнему жил в Ла Перле, на своей вилле, схожей с обиталищем Фантомаса; недвижимость эта все больше линяла, ржавела, приходила в запустение, обрастала грязью и паутиной, сады и футбольное поле были отобраны в уплату долгов.

Юноша проводил все дни за судейством матчей, которые устраивали бродяги на пустырях между Бельявистой и Ла Перлой. В одном из таких уличных состязаний, где пара камней обозначала ворота, а рама и телеграфный столб — границы поля, в матче, горячо обсуждавшемся беспризорниками и проведенном Хоакином (он и здесь напоминал элегантного сноба, надевающего смокинг перед ужином в глухом лесу) с таким же рвением, как если бы это был финальный матч чемпионата страны, сын аристократа познакомился с личностью, которая довела его до цирроза печени и сделала звездой футбола (возможно, с Саритой Уанкой Салаверриа?).

Он уже видел эту личность в уличных матчах и даже не раз штрафовал за агрессивность, с которой она набрасывалась на соперников. Ее называли Маримачо[1], однако даже это прозвище не навело Хоакина на мысль, что загорелый, обутый в старые кеды, одетый в рваные джинсы и куртку тип на самом деле — девушка. Он открыл этот факт эмпирически. Однажды он оштрафовал Маримачо и назначил пенальти, оно было бесспорным, в ответ на взыскание он услышал отборную брань с упоминанием матери.

— Что? — возмутился сын аристократа (возможно, в этот момент он вспомнил свою мать: глотает ли она таблетку, пьет капли или терпит укол?). — Повтори, если ты мужчина.

— Я не мужчина, но повторю, — ответила Маримачо и с достоинством спартанки, способной взойти на костер, но не признать себя побежденной, повторила затейливую брань, не стесняясь в выражениях и не скупясь на прилагательные.

Хоакин хотел ударить ее, но удар пришелся по воздуху — в тот же момент арбитр был повержен. Маримачо сбила его ударом головы, а затем девица перешла к рукопашной схватке: стала молотить его кулаками, ступнями, коленками и локтями. Во время борьбы (порой эти гимнастические упражнения напоминают любовные объятия) изумленный Хоакин убедился: его противник — женщина. Волнение, вызванное в нем соприкосновением в драке с неожиданными выпуклостями на теле врага, было столь велико, что это в корне изменило его жизнь. Здесь же на месте, помирившись и узнав ее имя — Сарита Уанка Салаверриа, он пригласил девицу в кино на фильм о Тарзане, а через неделю — к алтарю. Отказ Сариты стать его супругой или хотя бы поцеловать его, как и следовало ожидать, толкнул Хоакина в кабак. За короткий срок он из романтика, который пытается утопить свою горечь в виски, превратился в злостного алкоголика, способного утолять свою африканскую жажду даже керосином.

Что зажгло в Хоакине такую страсть к Сарите Уанке Салаверриа? Она была молода и стройна, как цапелька, лицо обветрено непогодой, на лбу прыгала челка — ну, и как футболист она была совсем недурна. Ее манера одеваться, ее поступки, ее окружение — все, казалось, противоречило женскому началу. А может быть, именно это порочное оригинальничание, экстравагантные выходки делали ее неотразимой в глазах аристократа? В первый же раз, когда он привел Маримачо в разрушающуюся виллу в Ла Перле, его родители, проводив взглядом парочку, переглянулись: их лица выражали отвращение. Бывший богач одной фразой выразил всю свою горечь: «Мы породили не только глупца, но и сексуального извращенца».

Сарита Уанка Салаверриа, однако, не только толкнула Хоакина к алкоголю, ее имя оказалось для него трамплином, с помощью которого юноша сумел подняться от уличных матчей с тряпичным мячом к состязаниям на Национальном стадионе.

Маримачо не удовлетворилась отказом утолить страсть аристократа — она наслаждалась, заставляя его страдать. Она охотно принимала приглашения в кино, на футбол, на бой быков, в рестораны, не отказывалась от дорогих подарков (вероятно, на них влюбленный судья тратил остатки семейного достояния?), но не позволяла Хоакину говорить о любви. Как только он, робкий — точно паж, всякий раз краснеющий, прежде чем сделать комплимент, — пытался, заикаясь, сказать, что он ее любит, Сарита Уанка Салаверриа вставала в негодовании, обрушивая на него поток оскорблений в стиле подзаборников и приказывая ему замолчать. В такие дни Хоакин начинал пить, переходя из бара в бар и мешая разные напитки, чтобы добиться скорейшего и более ощутимого эффекта. Родителям часто приходилось

[1] Фамильярное выражение, означающее «парень в юбке».

наблюдать его возвращение на рассвете — в часов, когда он брел по комнатам виллы, спотыкаясь и оставляя за собой следы рвоты. Казалось, он вот-вот растворится в спирте, но к жизни его возвращал телефонный звонок Сариты. У Хоакина вновь воскресала надежда, он снова вступал в адский круг. Сраженные горем, старик, страдающий нервным расстройством, и дама, страдающая ипохондрией, скончались почти одновременно и были похоронены в фамильном склепе на пресвитерианском кладбище. Еще ранее разваливающаяся вилла в Ла Перле, вместе с остальным уцелевшим имуществом, отошла к кредиторам или была реквизирована государством. Хоакину Иностросе Бельмонту пришлось зарабатывать на жизнь.

Зная Хоакина (его прошлое наводило на мысль, что он либо умрет от истощения, либо станет попрошайкой), надо признать: он вышел из положения наилучшим образом. Какую же он избрал профессию? Судья футбольных матчей! Подстегиваемый голодом и желанием умаслить ветреную Сариту, он начал с того, что потребовал за судейство матчей между командами уличных мальчишек несколько солей; скинувшись (два соля да еще два — четыре, да еща два — шесть), они вручили ему деньги; увидев это, Хоакин повысил тариф, и дела его пошли лучше. Так как его способности на футбольном поприще были широко известны, он получал контракты на судейство юношеских состязаний, а однажды явился в Ассоциацию судей и тренеров по футболу и решительно потребовал членского билета. Испытания в Ассоциации он выдержал блестяще, доведя до обморочного состояния тех, кого с той поры мог называть (не без тщеславия ли?) своими коллегами.

Появление Хоакина Иностросы Бельмонта на Национальном стадионе (черная форма с белой оторочкой, на лоб надвинуто зеленое кепи, во рту — посеребренный свисток) стало знаменательным событием в истории криольского футбола. Опытный спортивный комментатор сказал бы: «Вместе с ним на поле ступили безупречная справедливость и вдохновенный артистизм». Его учтивость, беспристрастность, способность мгновенно заметить нарушения правил, его деликатность к оштрафованным, его авторитет (игроки обращались к Хоакину не иначе, как опустив глаза и называя его «дон Хоакин») и физическая выносливость, позволявшая ему бегать все девяносто минут матча и не далее чем в десяти метрах от мяча, вскоре принесли молодому судье необычайную популярность. Как отмечалось в одной из речей, он был единственным рефери, которому беспрекословно подчинялись игроки и на кого никогда не нападали зрители, — единственный, кому после каждого матча аплодировали трибуны.

Было ли это результатом высокого профессионализма? Да, отчасти. Но главное заключалось не в нем, Хоакин Иностроса Бельмонт пытался своим волшебным талантом (как юноша, покоривший Европу, но мечтающий о славе в своей затерявшейся в Андах деревушке) завоевать Маримачо. Они по-прежнему встречались почти ежедневно, и злые языки называли их любовниками. На самом же деле, несмотря на постоянство своих чувств и многолетнюю преданность, судья не мог сломить сопротивление Сариты.

Однажды Маримачо, подобрав Хоакина, валявшегося на полу бара в Кальяо, привела его в пансион в центре города, где она жила, отмыла его, отчистила от плевков, грязи и, уложив в постель, поведала тайну своей жизни. Бледный, как после поцелуя вампира, Хоакин Иностроса Бельмонт узнал, что, будучи еще совсем юной, она уже была несчастлива в любви и браке. Сарита и ее брат (может быть, Ричард?) вступили в запретную связь, которая (да поразят гром и молнии все человечество!) завершилась беременностью. Сарита обманным путем вышла замуж за юношу, хотя раньше не желала замечать его (Рыжий Антунес? Луис Маррокин?), чтобы дитя греха обрело незапятнанное имя; однако молодой и счастливый супруг (видимо, в этот момент дьявол покрутил хвостом и испортил свадебный пирог) вовремя раскрыл ловушку и отказался от предприимчивой новобрачной, едва не навязавшей ему чужого сына. Сарита была вынуждена сделать аборт, после чего скрылась от своей великосветской семьи, покинула аристократический квартал, отказалась от громкого имени и, превратившись в бродяжку с пустырей меж Бельявистой и Ла Перлой, приняла обличье и прозвище Маримачо. С тех пор она поклялась никому не принадлежать и жить дальше как мужчина (только вот откуда взять мужское естество?).

Узнав о трагедии, в которой было замешано и святотатство, и нарушение вековых запретов, и попрание общественной морали, Хоакин Иностроса Бельмонт не только не отказался от своей любви к Сарите Уанке Салаверрриа, напротив, страсть его окрепла. Уроженец Ла Перлы стал подумывать о том, как излечить Маримачо от ее травм и примирить с обществом и мужчинами? Он решил снова превратить ее в типичную дочь Лимы — женственную, кокетливую, остроумную и с «изюминкой» (возможно, такую же, как и девица Перричоли?).

По мере того как росла слава Хоакина и спрос на него — его приглашали судить международные матчи в Лиме и за рубежом, предлагали работу в Мексике, Бразилии, Колумбии, Венесуэле (однако судья поступал как истинный ученый-патриот, отказывающийся от работы с новейшей электронной аппаратурой в Нью-Йорке ради примитивных опытов над туберкулезными белыми мышками на улице Сан-Фернандо), — атаки юноши на сердце греховодницы становились все настойчивее. Он пытался

отыскать, как дымок от костра индейцев апашей на холмах, как отзвук тамтама в африканских джунглях, хоть неприметные признаки того, что Сарита Уанка Салаверриа может уступить. Хоакину показалось, будто он их обнаружил. Однажды вечером, когда они выпили по чашке кофе с коржиками в ресторанчике «Гаити» на Пласа-де-Армас, Хоакину удалось задержать в своих руках правую руку девушки более чем на минуту (время отмечено совершенно точно: голова судьи работала, как хронометр). Несколько позднее состоялся матч между национальной сборной и бандой душегубов, прибывшей из страны с непонятным названием (то ли Аргентина, то ли что-то в этом роде). Иностранные футболисты играли в бутсах, усаженных гвоздями и шипами, такими же были наколенники и налокотники, так что обувь и защитные повязки служили скорее для нанесения травм противнику. Не прислушиваясь к доводам приезжих игроков (кстати, совершенно справедливо), что в их стране в футбол играют именно так (превращая игру в истязание вплоть до преступления?), Хоакин Иностроса Бельмонт удалял их с поля одного за другим, пока перуанская команда не одержала победу, так как практически ей не с кем стало сражаться. Как полагается, толпа вынесла судью на плечах, а Сарита Уанка Салаверриа, когда они остались вдвоем, обняла его за шею и поцеловала (в порыве патриотизма? Как спортсменка спортсмена?). Однажды Хоакин заболел — цирроз постепенно и неуклонно разъедал печень любимца стадионов и периодически повергал его в кризисное состояние. Целую неделю он провел в больнице Карриона, и Сарита не отходила от него, а однажды ночью он даже видел, как она пролила несколько слезинок (уж не над ним ли?). Все это вселяло в него надежду, и каждый день, прибегая к новым аргументам, он предлагал девушке вступить с ним в брак. Но бесполезно. Сарита Уанка Салаверриа присутствовала на всех его матчах (комментаторы сравнивали его искусное судейство с мастерством дирижера симфонического оркестра), она выезжала с ним за границу и даже перебралась в «Колониальный пансион», где Хоакин тогда жил со своей сестрой-пианисткой и престарелыми родителями. Однако девушка отказывалась от того, чтобы их братские отношения перешли в сожительство. Неуверенность (ромашка, лепестки которой бесконечно обрывает бедный влюбленный) усугубляла страсть Хоакина Иностросы Бельмонта к алкоголю. В конце концов он чаще бывал пьяным, чем трезвым.

Алкоголизм стал «ахиллесовой пятой» Хоакина, тем препятствием, которое — по словам понимающих людей — помешало ему судить матчи в Европе. А вместе с тем как объяснить тот факт, что человек, потреблявший такое количество спиртного, занимался профессией, требующей исключительного физического напряжения? Но факт остается фактом (история полна подобных загадок): судья увлекался и тем и другим, а когда ему исполнилось тридцать лет, отдавался своим увлечениям уже одновременно, то есть выходил на поле пьяным в стельку и мысленно судил матчи, сидя в баре.

Алкоголь не отразился на его таланте, не испортил зрения, не подорвал авторитета, не мешал его карьере. Правда, случалось, среди матча на него нападала икота, а однажды (клевета всегда отравляет воздух и ранит добродетель), как утверждают, одержимый жаждой, словно в пустыне Сахаре, судья вырвал из рук врача, спешившего на помощь игроку, бутылку с какой-то примочкой и одним залпом выпил жидкость, будто родниковую воду. Однако эти эпизоды — о гениях всегда ходят небылицы и анекдоты — не отразились на блестящей карьере Хоакина Иностросы Бельмонта.

Так, среди оглушительных оваций стадиона и тяжких запоев, которыми он пытался заглушить угрызения совести (словно щипцы инквизитора, вырывавшие куски мяса, или орудие пытки, ломающее кости) и успокоить свою душу миссионера, проповедовавшего истинную веру (уж не «свидетелей ли Иеговы»?), будучи виновным в том, что когда-то в юности безумной ночью он изнасиловал несовершеннолетнюю в Ла Виктории (Сариту Уанку Салаверриа?), Хоакин Иностроса Бельмонт достиг возраста расцвета: пятидесяти лет. Это был мужчина с широким лбом, орлиным носом, пронизывающим взглядом, добропорядочный и доброжелательный, в совершенстве владевший своей профессией.

Случилось так, что Лима стала ареной самого важного события в истории футбола середины века: здесь состоялся финал Южноамериканского чемпионата по футболу между командами, которые на отборочных играх нанесли позорные поражения своим противникам. Это были команды Боливии и Перу. Несмотря на то что по традиции такой матч должен судить представитель нейтральной страны, обе команды, особенно боливийская (здесь надо отметить благородство жителей Плоскогорья соседней страны, их андское великодушие и достоинство индейцев аймара), требовали, чтобы судьей был знаменитый Хоакин Иностроса Маррокин. И так как игроки, в том числе запасные, а также тренеры угрожали забастовкой, в случае если их требование не будет удовлетворено, федерация дала свое согласие, и «свидетель Иеговы» получил право судить матч, который, как все предсказывали, должен стать эпохальным.

В то воскресенье тяжелые серые облака над Лимой расступились, чтобы солнце своим теплом сделало спортивную встречу еще жарче. Сотни людей провели

ночь на холоде в надежде достать билеты, хотя было известно, что уже за месяц все места были раскуплены. На заре окрестности Национального стадиона заполнились бурлящим потоком зрителей, жаждущих перекупить билетик и способных на любое преступление, лишь бы попасть на матч. За два часа до начала на стадионе яблоку негде было упасть. На восточной трибуне собралось несколько сотен граждан великой южной страны (может быть, Боливии?), прибывших в Лиму с горных вершин на самолетах, в автомобилях и пешком. Возгласы и приветствия приезжих и местных болельщиков, вопли пищалок накаляли атмосферу перед выходом команд.

В связи с огромным скоплением народа власти приняли меры предосторожности. Чтобы гарантировать безопасность и мирное сосуществование граждан как на трибунах, так и на поле, в Лиму прибыла знаменитая полицейская бригада, та самая, что за несколько месяцев до славного события, проявив чудеса героизма и отваги, мужества и доблести, очистила от преступников и бродяг район Кальяо. Гордость бригады, прославленный капитан Литума — гроза преступников, возбужденно шагал по полю, обходил ворота стадиона и прилегающие к нему улочки, проверяя, на месте ли патрули, и отдавая взволнованные указания своему мужественному помощнику — сержанту Хаиме Конче.

На западной трибуне, стиснутые ревущей толпой и почти бездыханные к моменту первого судейского свистка, находились кроме Сариты Уанки Салаверриа (последняя, с мазохистским постоянством жертвы, неразлучной со своим мучителем, всегда присутствовала на матчах, которые судил Хоакин) уважаемый дон Себастьян Бергуа, недавно восставший со своего скорбного ложа, куда его повергли ножевые раны от руки коммивояжера медицинских препаратов Луиса Маррокина Бельмонта (уж не он ли сидел на северной трибуне по специальному разрешению тюремных властей?), Маргарита — супруга дона Себастьяна, и Роза — их дочь, почти исцелившаяся после нападения целой стаи крыс (о, жуткое утро в сельве!).

Ничто не предвещало трагедии, когда Хоакин Иностроса (Тельо? Дельфин?), который по традиции должен был совершить олимпийский круг почета в благодарность за овации — он шагал красивый, изящный,— дал знак начать игру. Более того: все происходило в обстановке энтузиазма и корректности, о чем свидетельствовали и действия игроков, и одобряющие аплодисменты трибун, и прыжки вратарей. С первого же момента стало ясно, что предсказания сбудутся: игра будет равной и хотя и благородной, но достаточно напряженной. Воодушевленный как никогда, Хоакин Иностроса (Абриль?) скользил по зеленому полю, не мешая при этом игрокам и всегда занимая наиболее выгодную позицию; его указания — суровые, но справедливые — не допускали, чтобы азарт превратил состязание в безобразную драку. Но у каждого человеческого существа есть свои границы возможного, и даже святейший «свидетель Иеговы» не мог помешать тому, что с бесстрастием факира и флегматичностью англичанина предрешил рок.

Дьявольский механизм неумолимо заработал во втором тайме, когда счет был один — один, а зрители уже оглохли от криков и отбили себе ладони. Про себя капитан Литума и сержант Конча удовлетворенно отметили, что все идет хорошо, никаких инцидентов — ни краж, ни драк, ни похищений детей. Ничто пока не отравляло вечера.

Но ровно в четыре часа тринадцать минут пятьдесят тысяч зрителей были потрясены неслыханным происшествием. Вдруг из дальнего угла южной трибуны появился человек — худой, высоченного роста зубастый негр; он легко перепрыгнул через сетку, отделявшую трибуны, и, издавая непонятные крики, вырвался на поле. Народ удивился не столько его наготе — на бедрах у него болталось нечто вроде повязки, сколько тому, что все тело негра с головы до ног было покрыто шрамами. Рокот прокатился по трибунам, все поняли: татуированный человек собрался прикончить судью. Сомнений не было: завывая, гигант мчался прямиком к идолу болельщиков (может, это Гумерсиндо Иностроса Дельфин?), а тот, увлеченный своим делом, не замечал негра и продолжал руководить матчем. Кто этот неудержимый насильник? Может быть, «заяц», загадочным путем прибывший в Кальяо и арестованный ночным патрулем? Тот самый несчастный, которого представители власти, не моргнув глазом, решили пристрелить и которому темной ночью сержант (Конча?) даровал жизнь? Ни у капитана Литумы, ни у сержанта Кончи не оставалось времени выяснить это. Понимая, что, если не принять срочных мер, слава национального футбола может стать жертвой покушения, капитан приказал сержанту действовать (надо отметить: между начальником и подчиненным существовало полное взаимопонимание, капитану достаточно было лишь повести бровью). Сержант Хаиме Конча, даже не привстав, вытащил свой пистолет и выпустил все двенадцать пуль, которые, пролетев пятьдесят метров, поразили голое тело негра в разных местах. Таким образом, сержант все же выполнил (согласно пословице «лучше поздно, чем никогда») отданный ему некогда приказ, потому что это действительно был «заяц» из Кальяо!

Но оказалось, зрелища продырявленного пулями тела потенциального убийцы — того, кто лишь мгновение назад вызывал всеобщую ненависть,— достаточно, чтобы толпа (о, прихоти непостоянства! О, кокетство легкомысленной особы!) немедленно прониклась к негру чувством солидарности, превратила его в жертву беззакония и

выступила против полиции. Птицы высоко в небе были оглушены свистом, которым трибуны, как солнечные, так и теневые, выражали свой протест против расправы над негром, истекавшим кровью через двенадцать дырок в теле и распростертым на земле. Выстрелы привели в замешательство игроков, но Великий Иностроса (Тельес Унсатеги?), верный себе, не позволил прервать праздник, он продолжал крутиться, прыгая вокруг трупа, не слыша свиста, к которому примешивались теперь восклицания, визг, оскорбления. Полетели разноцветные подушечки с сидений — первые ласточки, предвещавшие град подобных снарядов на подразделение капитана Литумы. Тот почувствовал, что близится буря, и решил: медлить нельзя! Литума приказал полицейским приготовить гранаты со слезоточивым газом. Капитану хотелось во что бы то ни стало избежать кровопролития. Несколько мгновений спустя, когда барьеры вокруг арены в нескольких местах были уже сметены и разгоряченные поклонники корриды воинственно устремились к стрелявшему, капитан приказал своим людям пустить в ход гранаты. Он полагал, что слезы и чихание успокоят разъяренных зрителей и на площади Ачо будет восстановлен мир, как только ветерок отнесет в сторону химические вещества. Он также приказал группе из четырех человек окружить сержанта Хаиме Кончу, к которому подбирались взбешенные зрители, вознамерившись, видимо, линчевать сержанта, даже если для этого им придется сразиться с быком.

Но капитан Литума забыл о главном: два часа назад, с целью воспрепятствовать безбилетным болельщикам силой проникнуть на трибуны, а взбудораженные толпы их по-прежнему бродили вокруг арены, он сам приказал опустить железные решетки, а также сетки, перекрывавшие вход. Когда полицейские, пунктуально выполнявшие распоряжения капитана, одарили зрителей букетом слезоточивых взрывов и в несколько секунд то тут, то там поднялись столбы удушливого дыма и газа, люди устремились к выходу. Сбивая друг друга, толкаясь, они прыгали по ступеням, закрывая лица платками, вытирая слезы. Вдруг людской поток уперся в железные решетки и замер. Но лишь на несколько секунд, которых вполне хватило, чтобы первые ряды каждой колонны, превращенные в таран под натиском напиравших сзади, смяли, сорвали, выдрали, раскрошили к чертям все преграды.

Обитатели домов по берегам реки Римак, случайно оказавшиеся в то воскресенье вблизи арены для боя быков, ровно в четыре часа тридцать минут пополудни могли наблюдать удивительнейшее зрелище: вдруг среди грозного гула ворота Ачо рассыпались, исторгнув раздавленные тела, по которым прошла в довершение всего обезумевшая толпа, устремившаяся к окровавленным проемам (недаром говорится, плохо тому, кто ходит один!). Среди первых жертв катастрофы в районе Нижних Мостов были проповедники секты «свидетелей Иеговы» в Перу: уроженец Мокегуа дон Себастьян Бергуа, его супруга Маргарита и их дочь Роза, несравненная исполнительница мелодий на флейте. Набожное семейство погубило то, что по идее должно было бы его спасти: предусмотрительность. Ибо, как только случился инцидент с внезапно появившимся рогатым каннибалом, дон Себастьян Бергуа, сдвинув брови и повелительно подняв палец, приказал своему клану: «Отступай!» Нет, это не был страх — подобное чувство проповеднику было неведомо. Дон Себастьян руководствовался здравым смыслом, мыслью о том, что ни он, ни его родственники не должны быть замешаны в скандале из опасения, как бы, воспользовавшись этим предлогом, враги не запятнали имя того, в кого свято верило семейство Бергуа. Поэтому оно поспешно покинуло трибуны (Бергуа занимали самые дешевые места на солнечной стороне) и стало спускаться по ступеням. В этот момент и взорвались гранаты со слезоточивым газом. Все трое в блаженном неведении стояли у выхода номер шесть, перед опущенной железной решеткой, когда услышали за спиной вопящую и рыдающую толпу. Бергуа не успели покаяться в своих несовершенных грехах, ибо их тотчас разнесли в ключья в буквальном смысле этого слова (что из них сделали — рагу? Суп из человечьего мяса?): потерявшие рассудок люди продавили всех троих сквозь металлическую решетку. Но за секунду перед тем, как уйти в другую, отвергаемую им жизнь, дону Себастьяну — упрямому фанатику и нигилисту — все же удалось прокричать: «Христос умер на дереве, а не на кресте!»

Смерть маньяка, ранившего дона Себастьяна Бергуа и насильника доньи Маргариты и дочери-музыкантши, была (подойдет ли это выражение?) не так уж несправедлива. Когда разыгралась трагедия, юноша Маррокин Дельфин решил, что пробил его час: пользуясь всеобщим смятением, он надеялся убежать от надзирателя, приставленного к нему по распоряжению тюремного начальства в качестве сопровождающего для посещения исторической корриды, скрыться из Лимы, из Перу и под другим именем начать за границей новую жизнь, полную безумств и жестокости. Но эти мечты через пять минут обратились в прах: у выхода номер пять Маррокину Дельфину (его звали Лучо? Или Эсекиель?) и тюремному надзирателю Чумпитасу, державшему юношу за руку, выпала сомнительная честь быть в первых рядах болельщиков боя быков, раздавленных напиравшей толпой. (Долго еще потом вспоминали, как переплелись пальцы у трупов полицейского надзирателя и коммивояжера медицинских препаратов.)

Кончина Сариты Уанки Салаверрриа была несколько изящнее и менее пошлой. Ее гибель явилась результатом роковой ошибки и неправильной оценки действий и намерений Сариты представителями власти. В момент катаклизма, увидев рогатого убийцу, дым от разорвавшихся гранат, услышав вопли пострадавших, девица из Тинго Мария решила (как всегда, когда страстный порыв оказывается сильнее страха смерти), что должна быть рядом с любимым. В отличие от остальных, она спустилась к ограждению арены, и людской поток не раздавил ее. Но она не укрылась от орлиного взора капитана Литумы. Среди облаков дыма и газа он различил неясную, торопливую фигурку, которая, перепрыгнув через поручни, бежала к тореро (тот, несмотря ни на что, стоя на коленях, продолжал поединок с быком). Уверенный, что его прямой долг — до последнего дыхания защищать тореро от нападения людей, капитан вынул пистолет и тремя быстрыми выстрелами оборвал жизнь и бег влюбленной: Сарита упала мертвой у самых ног Гумерсиндо Бельмонта.

Уроженец Ла Перлы был единственным среди жертв той поистине эллинской трагедии, кто скончался естественной смертью. Если только можно считать естественным факт, столь необычный в наши прозаические времена, когда мужчина, увидев у ног своих мертвую возлюбленную, погибает от разрыва сердца. Он упал рядом с Саритой — и с последним вздохом, прижавшись друг к другу, они вместе погрузились в ночь несчастных возлюбленных, как подлинные Ромео и Джульетта.

К тому времени страж порядка — с безупречным послужным списком — пришел к малоутешительному выводу, что, несмотря на его опыт и инициативность, был не только нарушен общественный порядок, но и арена для боя быков, и вся округа превратилась в кладбище. Как морской волк, сопровождающий свой корабль на дно океана, капитан использовал последнюю пулю: он пустил ее себе в лоб и таким манером покончил (по-мужски, но не очень удачно) со своей биографией. Моральный дух полицейских, едва они увидали гибель своего командира, пал. Забыв о дисциплине, о нравственном долге, о любви к порядку, они думали только о том, как бы сбросить форму, натянуть на себя штатские костюмы, сорванные с мертвецов, и исчезнуть. Кое-кому это удалось. Но не Хаиме Конче: оставшиеся в живых сначала кастрировали его, а потом повесили на собственном ремне в загончике, откуда выбегают на арену быки. Там и остался наивный любитель комиксов об Утенке Дональде, исполнительный центурион, качаться под небом Лимы, которое (видимо, в тон обстановке) стало затягиваться облаками. Зарядил нудный зимний дождь...

Неужто эта история так и завершится дантовым побоищем? А может, словно птица Феникс (или Курица?), она возродится из пепла, обогащенная новыми происшествиями и продолжающими действовать персонажами? Что будет после трагедии на арене боя быков?

XVII

В девять утра в Университетском парке мы сели в автобус и выехали из Лимы. Хулия вышла из дома моего дядюшки, сказав, что ей необходимо сделать последние покупки перед путешествием, а я — из дома своих стариков, якобы направляясь на радио. Она сунула в сумку ночную рубашку и смену белья, а у меня в карманах лежали зубная щетка, расческа и бритва, хотя, честно говоря, последняя не так уж и была мне нужна.

Паскуаль и Хавьер ждали нас в Университетском парке уже с билетами. К счастью, других пассажиров не было. Мои друзья, проявив деликатность, заняли передние места рядом с водителем, а мы с тетушкой Хулией устроились на заднем сиденье. Было типичное зимнее утро: небо затянуло серой пеленой, не переставая моросил дождь, сопровождавший нас добрую часть пути по пустыне. Почти всю дорогу мы с тетушкой Хулией страстно целовались, молча, держась за руки, прислушиваясь сквозь шум мотора к разговору между Паскуалем и Хавьером и отдельным репликам шофера. В одиннадцать тридцать прибыли в Чинчу — здесь ярко светило солнце и было тепло и приятно. Ясное небо, прозрачный воздух, на оживленных улицах толпы прохожих — все казалось нам доброй приметой. Тетушка Хулия, довольная, улыбалась.

Паскуаль и Хавьер отправились в муниципалитет проверить, все ли готово, а мы с тетушкой Хулией — в «Южноамериканский отель», чтобы снять номер. Это было старое одноэтажное строение из дерева и кирпича-сырца с дюжиной комнатушек по обе стороны длинного, выложенного плиткой коридора, с крытым внутренним двориком, где размещалась столовая. Человек за стойкой попросил у нас документы, моего журналистского удостоверения ему было достаточно, но когда я написал рядом со своей фамилией «с супругой», он бросил на тетушку Хулию насмешливый взгляд, хотя этим и ограничился. В комнате, предоставленной нам, плитка на полу была выбита и сквозь осколки виднелась земля; здесь стояла продавленная двуспальная кровать с одеялом в зеленую клетку и соломенный стульчик, в стену были вбиты здоровенные гвозди — для одежды. Едва переступив порог, мы пылко обнялись, целуя и лаская друг друга, пока тетушка Хулия не оттолкнула меня, смеясь:

— Подожди, Варгитас, сперва поженимся.

Она была возбуждена, глаза сияли радостью, и я почувствовал, что очень люблю ее и счастлив стать ее мужем. Когда она ушла мыть руки и причесываться в общем туалете где-то в коридоре, я поклялся себе: нет, наш брак не будет еще одним несчастьем, как все до сих пор известные мне браки, мы всегда будем любить друг друга, и женитьба не помешает мне со временем стать писателем. Наконец тетушка Хулия вернулась, и под руку мы пошли в муниципалитет.

Паскуаля и Хавьера мы нашли у входа в столовую — они пили лимонад. Алькальд ушел на открытие чего-то, но должен скоро вернуться. Я спросил друзей, уверены ли они, что родственник Паскуаля зарегистрирует нас в полдень, но они лишь посмеялись надо мной. Хавьер стал подшучивать по поводу нетерпения жениха и очень кстати привел поговорку: хуже нет — ждать да догонять. Чтобы как-то убить время, мы вчетвером отправились погулять под высокими дубами и эвкалиптами на главной площади. Здесь резвились мальчишки, а старики, пока им начищали ботинки, читали газеты, полученные из Лимы. Через полчаса мы опять пришли в муниципалитет. Секретарь — тщедушный человек в огромных очках — сообщил нам пренеприятное известие: алькальд, вернувшись после торжественного открытия, отправился обедать в ресторан «Солнце Чинчи».

— Разве вы не предупредили его, что мы ждем — у нас свадьба,— обрушился на секретаря Хавьер.

— Алькальда сопровождала свита, и не было подходящего момента, чтобы его предупредить,— ответил секретарь, желая показать себя тонким знатоком этикета.

— Пошли в ресторан и приведем алькальда сюда,— успокоил меня Паскуаль.— Не волнуйтесь, дон Марио.

Расспросив прохожих, мы нашли «Солнце Чинчи» рядом с площадью. Это был типичный криольский ресторан с кухней в глубине зала и со столиками без скатертей; плита пылала и чадила, а вокруг нее несколько женщин орудовали медными кастрюлями, половниками и банками со специями. Вовсю гремела радиола — исполнялся вальс, народу было много. Еще в дверях тетушка Хулия сказала, что лучше бы подождать, пока алькальд закончит свой обед, но в эту минуту он узнал Паскуаля и сам позвал его. Мы увидели, как редактор Информационной службы «Радио Панамерикана» обнимается с молодым светловолосым человеком, поднявшимся из-за стола, где его окружало полдюжины клевретов и не меньшее количество бутылок с пивом. Паскуаль знаками пригласил нас подойти ближе.

— Ах, да! Жених и невеста! Я совершенно забыл! — произнес алькальд, пожимая нам руки и окидывая взглядом тетушку Хулию с ног до головы. Затем он повернулся к своим спутникам, подобострастно следившим за ним, и громко, чтобы перекричать вальс, объяснил:— Эти двое только что удрали из Лимы, и я сейчас их обженю.

Послышался смех, аплодисменты, к нам протянулись чьи-то руки, алькальд потребовал, чтобы сели с ним за стол, и распорядился принести еще пива — поднять бокалы за наше счастье.

— Не вздумайте садиться рядом, для этого у вас вся жизнь впереди,— бойко сказал он и, взяв тетушку Хулию за руку, усадил подле себя.— Невеста — сюда, рядом со мной, к счастью, жены моей здесь нет.

Спутники алькальда громко приветствовали его слова. Все они были старше его, коммерсанты или мелкие землевладельцы, все были нарядно одеты и, казалось, столь же пьяны, как он. Некоторые знали Паскуаля и спрашивали, как он устроился в Лиме и скоро ли вернется к земле. Я сидел на уголке стола, рядом с Хавьером, пытался улыбаться, отпивая глотками теплое пиво, и считал минуты. Очень скоро алькальд и его приятели утратили к нам всякий интерес. Бутылки сменяли одна другую, вначале безо всякого сопровождения, потом в компании с маринованной, сырой и отварной рыбой, сдобными пончиками из юкки, а затем опять без закуски. Никто уже не вспоминал о нашем бракосочетании, даже Паскуаль, который с покрасневшими глазами сладким голосом распевал с алькальдом модные песенки. Алькальд же в течение всего обеда отпускал комплименты тетушке Хулии, а затем пытался обнять ее за плечи, склоняя к ней свою опухшую физиономию. Улыбаясь через силу, тетушка Хулия удерживала его на расстоянии и время от времени бросала на нас отчаянные взгляды.

— Спокойно, братец,— говорил мне Хавьер.— Думай только о женитьбе и ни о чем другом.

— Думаю, женитьба полетела к черту,— сказал я другу, услышав, как алькальд в довершение всего потребовал принести гитары, закрыть для посетителей «Солнце Чинчи» и предложил нам пуститься в пляс.— Кажется, я попаду за решетку, потому что набью морду этому прохвосту.

Я был в ярости. И впрямь я был готов разбить ему физиономию, если он и дальше будет так нагло вести себя; и тут же я встал и заявил тетушке Хулии, что мы уходим. Она с облегчением поднялась, алькальд не стал ее удерживать. Он продолжал распевать народные песни и, увидев, что мы уходим из ресторана, на прощание улыбнулся нам, как мне показалось, насмешливо. Шедший за нами Хавьер утверждал — улыбка, мол, была просто пьяной. Мы шли к «Южноамериканскому оте-

лю», а я метал громы и молнии в адрес Паскуаля, на которого неизвестно почему возлагал всю вину за этот дурацкий обед.

— Не капризничай, как малый ребенок, держи себя в руках,— увещевал меня Хавьер.— Этот тип нажрался и ничего не помнит. И не огорчайся, сегодня же он вас обженит. Ждите в гостинице, пока он сам не позовет.

Оставшись наедине в комнатке, мы с тетушкой Хулией бросились друг к другу в объятия и в каком-то отчаянии принялись целоваться. Мы не произнесли ни слова, но наши руки и губы красноречиво выражали переполнявшие нас чувства. Раньше мы целовались, стоя у двери, но потом начали медленно передвигаться к постели, затем сели на нее, легли не разжимая объятий. Полуослепший от счастья и желания, я жадными и неловкими руками ласкал тело тетушки Хулии сначала поверх платья, потом, расстегнув на ней блузку кирпичного цвета — блузка была уже смята,— стал целовать ее грудь, но вдруг кто-то постучал в дверь.

— Все готово, сластолюбцы,— услышали мы голос Хавьера.— Через пять минут надо быть в муниципалитете. Тип ждет нас.

Счастливые и растрепанные, мы вскочили с постели; тетушка Хулия, красная от смущения, оправляла платье, а я, как когда-то в детстве, закрыв глаза, попытался сосредоточиться мыслью на вещах абстрактных и почтенных: цифрах, треугольниках, окружностях, на бабушке, маме — все для того, чтобы подавить желание. В туалете сначала она, потом я привели себя в порядок, слегка причесались и пошли в муниципалитет так быстро, что даже запыхались. Секретарь немедленно провел нас в кабинет алькальда — просторную комнату, где над письменным столом, заваленным папками и флажками, висел государственный герб, а вдоль стен, наподобие школьных парт, вытянулось полдюжины скамеек. Умытый, с еще влажными волосами, но вполне овладевший собой белобрысый «отец города» из-за своего стола отвесил нам церемонный поклон. Теперь это был другой человек, исполненный сознания своей значимости и торжественности момента. По обе стороны стола стояли Хавьер и Паскуаль и лукаво нам улыбались.

— Ну что же, приступим,— сказал алькальд (голос выдавал его: он звучал глухо и неуверенно, казалось, слова застревали где-то в горле).— Где бумаги?

— Они у вас, господин алькальд,— очень вежливо ответил Хавьер.— Мы с Паскуалем доставили их вам в пятницу, чтобы избежать всяких хлопот, разве вы не помните?

— Ну и память у тебя, братец, все уже забыл,— хрипло засмеялся Паскуаль.— Ты еще сам просил, чтобы мы тебе их оставили.

— Значит, они у секретаря,— смущенно пробормотал алькальд и, недовольно глядя на Паскуаля, прокричал: — Секретарь!

Тщедушный, в огромных очках человечек несколько минут искал свидетельство о рождении и акт о разводе тетушки Хулии. Мы молча ждали, алькальд курил, зевал и нетерпеливо поглядывал на часы. Наконец секретарь принес документы и с брезгливой миной стал в них копаться. Складывая их на стол, он произнес чисто чиновничьим тоном:

— Вот они, господин алькальд. Как я вам и говорил, в связи с возрастом юноши возникает препятствие.

— А вас кто спрашивал? — сказал Паскуаль, делая шаг к секретарю, будто намереваясь его придушить.

— Я выполняю свой долг,— ответил человечек. И, повернувшись к алькальду, опять заладил свое, указывая на меня: — Ему только восемнадцать лет, и он не предъявил юридически оформленного разрешения на брак.

— И зачем только такой болван ходит у тебя в помощниках, братец? — взорвался Паскуаль.— Чего ты ждешь? Вышвырни его вон и возьми кого-нибудь, кто хоть что-то смыслит!

— Замолчи, тебе хмель ударил в голову, и ты становишься агрессивным,— сказал алькальд. Он почесал затылок — явно тянул время. Потом, скрестив руки, мрачно уставился на меня и тетушку Хулию.— Я был готов обойтись без сообщений в газетах, чтобы помочь вам. Но, оказывается, дело обстоит более серьезно. Очень сожалею.

— В чем дело? — спросил я растерянно.— Разве вы еще с пятницы не были в курсе относительно моего возраста?

— Что за фарс? — вмешался Хавьер.— Мы же с вами договорились, что вы их пожените без всяких проволочек.

— Вы хотите, чтобы я нарушил закон? — в свою очередь возмутился алькальд. И добавил обиженно:— И не повышайте на меня голос. Приличные люди могут договориться и без крика.

— Ну, братец, ты спятил! — кричал Паскуаль вне себя, молотя кулаком по столу.— Ты же был согласен, ты же знал его возраст, ты же сказал, что это не имеет значения. Не прикидывайся передо мной забывчивым и не строй из себя законника. Пожени их сейчас же и кончай свое дурацкое представление!

— Не хами в присутствии дамы и больше не накачивайся спиртным, а то ты теряешь голову,— спокойно произнес алькальд. Повернувшись к секретарю, он жестом отпустил его. Когда мы остались одни, он понизил голос и улыбнулся заговорщицки:

— Вы разве не понимаете, этот тип подослан моими врагами? Теперь, когда ему все известно, я уже не могу зарегистрировать вас. Он в такую историю меня втянет, что не дай бог!

Убедить алькальда не помогли никакие доводы. Я клялся, что мои родители проживают в Соединенных Штатах и потому я не могу представить юридическое разрешение, что никто из нашего семейства не будет поднимать скандала из-за этого брака, а как только поженимся, мы с тетушкой Хулией уедем за границу, и навсегда.

— Мы же договорились, вы не можете так по-свински поступить с нами,— твердил Хавьер.

— Не будь сукиным сыном, братец,— хватал алькальда за рукав Паскуаль.— Ты что, не понимаешь — мы ведь из Лимы приехали!

— Успокойся, не устраивайте здесь базара! Мне пришла в голову одна идея! Все будет в порядке! — наконец сказал алькальд и, встав, подмигнул нам: — Тамбо де Мора! Рыбак Мартин! Отправляйтесь немедленно! Скажите ему, что приехали от меня. Рыбак Мартин — симпатичнейший мулат. Он с удовольствием вас обженит. Так будет лучше — маленькая деревушка, никакого шума. Мартин, алькальд Мартин! Дадите ему на чай, и все будет в порядке! Он почти неграмотен и даже не посмотрит на эти документы.

Я пытался убедить его поехать вместе с нами, заискивал, льстил ему, умолял — ничего не помогало: у алькальда якобы были намечены какие-то встречи, работа, и, кроме того, его ждала семья. Он проводил нас до двери, заверив, что в Тамбо де Мора вопрос будет решен в два счета.

У ворот муниципалитета мы наняли старое, с залатанным кузовом такси до Тамбо де Мора. В пути Хавьер и Паскуаль судачили об алькальде: Хавьер говорил, что в жизни не видел большего циника, Паскуаль пытался свалить всю вину на секретаря. Неожиданно в разговор вмешался шофер и внес свою лепту, всячески поливая «отца города» и уверяя,— мол, тот всецело занят коммерцией и своими любовницами. Мы с тетушкой Хулией по-прежнему держались за руки, глядя друг другу в глаза, и я временами шептал ей на ушко, что люблю ее.

Мы прибыли в Тамбо де Мора в сумерки и увидели, как огненный шар тонет в море под безоблачным небом, на котором уже появились мириады звезд. Мы обежали две дюжины хижин из тростника и глины, составлявшие поселок, лавируя между трухлявыми лодками и рыбацкими сетями, развешенными на кольях в ожидании штопки. В нос ударял запах свежей рыбы и моря. Вокруг нас вертелись полуголые негритята, которым хотелось все знать: и кто мы, и откуда, и что хотим купить. Наконец мы отыскали домик алькальда. Его супруга — негритянка, раздувавшая огонь в очаге с помощью соломенного веера,— сказала нам, отирая пот со лба, что муж ее рыбачит. Потом она сверилась со звездами и добавила: он скоро должен вернуться. Мы отправились встречать его на берег, и целый час, сидя на поваленном дереве, наблюдали, как после дневного труда возвращаются рыбацкие баркасы, как нелегко тянуть их по песку. Мы смотрели на женщин: окруженные голодными псами, они ловко отсекали головы и вспарывали брюхо громадным рыбинам здесь же, на песке. Последним вернулся Мартин. Стемнело, взошла луна.

Мартин был седой, с огромным животом негр, шутник и балагур. Несмотря на свежий вечер на нем были только старые штаны, прилипшие к телу. Мы приветствовали его, как существо, спустившееся с небес, помогли ему вытащить баркас и проводили до хижины. Мы шли в колеблющемся свете очагов, падавшем из рыбацких лачуг (хижины были без дверей), и объяснили ему причину нашего визита. Обнажив огромные лошадиные зубы, Мартин расхохотался.

— Нет, друзья, и не просите! Ищите другого дурака, кто бы поджарил вам такое мясцо! — сказал алькальд певучим голосом.— Однажды я чуть было не получил пулю в лоб за подобную шутку.

Мартин рассказал нам, что несколько недель назад по просьбе алькальда из Чинчи он зарегистрировал брак одной парочки без объявлений в газетах. Через четыре дня перед ним предстал муж «невесты». «Девушка была родом из деревни Качиче, где женщины по ночам летают на метлах»,— рассказывал алькальд, и оказалось, она уже два года как замужем. Муж угрожал застрелить «сводника», посмевшего оформить брак двух блудников.

— Мой коллега из Чинчи все знает, он такой хитрый, что и под землей видит,— смеялся негр, похлопывая себя по огромному животу, усеянному капельками пота. — Каждый раз, как у него что прокиснет, он отправляет в подарок рыбаку Мартину, и пусть негр расхлебывает! Ну и хитер!

Уговорить его не было никакой возможности. Он даже не захотел взглянуть на наши документы, все доводы мои, Хавьера и Паскуаля (тетушка Хулия безмолвствовала, лишь изредка через силу улыбаясь завидному чувству юмора негра) Мартин парировал шутками, смеялся над алькальдом Чинчи или снова с хохотом принимался рассказывать историю о муже, который пытался убить его за то, что он, Мартин, зарегистрировал ведьму из Качиче с другим, хотя муж был в полном здравии и состоял с ней в законном браке. Нашей неожиданной союзницей стала жена алькальда, когда мы добрались до его дома. Он сам поведал ей, зачем мы приехали, пока вытирал лицо, руки, широкую грудь и с аппетитом принюхивался к ароматам из кипящей кастрюли.

— Обжени их, негр, без всяких проволочек,— сказала женщина, с состраданием указывая на тетушку Хулию.— Посмотри на бедняжку: ее похитили, а выйти замуж она не может, ведь как она мучается теперь! Тебе-то что? Или ты заважничал, как назначили алькальдом?

Мартин расхаживал по хижине, переставляя свои квадратные ступни по земляному полу, собирая стаканы и чашки, а мы продолжали упрашивать его, предлагая все что могли: от нашей вечной благодарности до вознаграждения, равного доходам за многие дни рыбной ловли. Негр был неумолим. В конце концов он посоветовал супруге не совать нос не в свое дело. Но через минуту к нему вернулось благодушное настроение, и он вручил каждому по стопке или стаканчику и налил писко.

— Это чтобы вы не напрасно ехали сюда, друзья,— утешил он нас без тени иронии, поднимая свою рюмку. Учитывая ситуацию, тост его звучал фатально: — За здоровье и за счастье жениха и невесты.

Прощаясь, Мартин сказал: мы совершили ошибку, приехав в Тамбо де Мора, ибо здесь только недавно вышла история с девицей из Качиче. Нам лучше было бы ехать в Нижнюю Чинчу, в деревушки Эль Кармен, Сунампе либо в Сан-Педро, любую в этой провинции, и нас оформят всюду в один момент.

— Там все алькальды — прощелыги и бездельники и, когда случается свадьба, рады напиться,— прокричал нам Мартин на прощание.

Мы вернулись к такси, не обменявшись ни словом. Шофер заявил, что, поскольку ему пришлось слишком долго ждать, придется снова договариваться о цене. По дороге в Чинчу мы условились на следующий день спозаранку поехать по поселкам и деревушкам, предлагая щедрое вознаграждение, пока не найдем проклятого алькальда.

— Сейчас почти девять вечера,— вдруг сказала тетушка Хулия.— Наверное, сестру уже оповестили?

Я заставил Великого Паблито десять раз повторить, чтобы затвердить все, что он должен сказать дяде Лучо или тете Ольге, и для большей уверенности в конце концов написал на листке бумаги: «Марио и Хулия поженились. Не беспокойтесь за них. У них все хорошо, и через несколько дней они вернутся в Лиму». Великий Паблито должен был ровно в девять вечера позвонить из телефона-автомата и, передав мое послание, немедленно повесить трубку. Я взглянул на часы при свете спички: да, семейство уже было в курсе событий.

— Наверное, Нанси замучили расспросами,— заметила тетушка Хулия, стараясь говорить непринужденно, будто речь шла о ком-то другом.— Все знают, что она — соучастница. Бедняжке достанется.

Древнее такси скрипело и тарахтело на проселочных дорогах, грозя вот-вот застрять, все его болты и железяки звякали. Мягкое сияние луны заливало песчаные дюны, иногда можно было различить темные пятна пальм, фиговых деревьев и акаций. Мерцали мириады звезд.

— Короче, твоему папаше уже сообщили новость,— произнес Хавьер.— Как только он сошел с самолета. Ничего себе встреча!

— Клянусь богом, найдем мы алькальда,— сказал Паскуаль.— Не будь я уроженцем Чинчи, если завтра мы вас не поженим на этой земле. Слово мужчины.

— Вам нужен алькальд, чтобы зарегистрировать брак? — вдруг заинтересовался водитель.— Вы похитили сеньориту? Что же вы мне раньше не сказали?! Напрасно не доверились мне! Я бы отвез вас в Гросио Прадо, там алькальд — мой кум, и он обженил бы вас на месте.

Я предложил немедленно ехать в Гросио Прадо, но шофер охладил мой пыл. В это время, по его словам, алькальд не бывает в деревне, а отправляется к себе на земельный участок, куда добирается целый час верхом на осле. Лучше подождать до завтра. Мы договорились, что таксист приедет за нами в восемь утра, и я пообещал щедро отблагодарить его, если он поможет уговорить своего кума.

— Ну, какие могут быть разговоры! — воодушевил нас шофер.— И просить не надо — поженитесь в деревушке Беата Мельчорита.

В «Южноамериканском отеле» уже закрывали столовую, но Хавьер уговорил официанта что-нибудь приготовить.

Подали кока-колу и яичницу с подогретым рисом, однако все едва притронулись к еде. Мы вдруг обнаружили, что разговариваем шепотом, как заговорщики, и это было очень смешно. Уже выходя из столовой и направляясь в номера (Паскуаль и Хавьер собирались вернуться в Лиму в тот же день, но, поскольку обстоятельства изменились, остались ночевать в отеле и в целях экономии сняли одну комнату на двоих), мы столкнулись с полдюжиной каких-то типов, часть была в сапогах и брюках для верховой езды, которые громко требовали пива. Из своего номера мы слышали их пьяные крики, хохот, звон стаканов, глупые шутки и вульгарные тосты, а позднее — как они давились рвотой и справляли нужду. Таков был музыкальный фон нашей брачной ночи. Несмотря на неудачи с муниципалитетами, ночь была прекрасна. Старая кровать, это обиталище блох, мяукала и стонала, как кошка, от наших поцелуев; с возрождающейся каждый раз страстью мы вновь и вновь смыкали объятия; наши руки и губы учились познавать друг друга, наслаждаться друг другом, и мы все повторяли, что любим, что никогда не будем лгать друг другу и никогда не расстанемся. Когда раздался стук в дверь — мы просили, чтобы нас разбудили в семь утра,— выпивохи только-

только угомонились, а мы еще не смыкали глаз и лежали, обнявшись, на одеяле в зеленую клетку, погруженные в дремотное блаженство и с благодарностью глядя друг на друга.

Умывание в общем туалете «Южноамериканского отеля» было настоящим подвигом. Похоже, душем здесь никогда не пользовались, струйки воды из проржавленной трубы текли в любых направлениях, кроме необходимого, и сначала пришлось облиться какой-то ржавой жижей, прежде чем потекла чистая вода. Полотенец не нашлось, висела только грязная тряпка для рук, так что мы вытирались простынями. Но нас, возбужденных от счастья, все недоразумения лишь веселили. В столовой нас ожидали Хавьер и Паскуаль. Бледные после тяжелой ночи, они с отвращением глядели, во что превратилась столовая после ночного кутежа: разбитые стаканы, окурки, следы рвоты, плевки и ужасающая вонь. Служащий отеля посыпал все это мокрыми опилками. Мы отправились на улицу выпить кофе с молоком и зашли в маленькое кафе, откуда виднелись развесистые, высокие деревья на площади. После вечной дымки над Лимой щедрое солнце и ясное небо зарождающегося дня казались нам странными. Вернувшись в отель, мы застали там нашего шофера.

По пути к Гросио Прадо, пробираясь среди виноградников и хлопковых полей по пыльной дороге, с которой за пустыней открывалась на горизонте панорама бурых Кордильер, шофер без умолку болтал о Благочестивой Мельчорите (в ответ на его болтовню мы упорно молчали). Выяснилось, что Мельчорита, в честь которой называлось селение, отдавала все, что у нее было, беднякам, заботилась о больных и стариках, утешала страждущих и при жизни стала столь знаменитой, что из всех деревушек департамента к ней стекались богомольцы. Шофер рассказал нам о нескольких сотворенных ею чудесах. Мельчорита спасала безнадежных, умирающих больных, беседовала со святыми, которые являлись ей, видела самого господа бога и заставила на камне расцвести розу.

— Ей больше поклоняются, чем святой из Умая и святому из Лурена. Вы бы видели, сколько народу ходит к ней в часовню и сопровождает в процессиях ее образ,— болтал шофер.— Поэтому ее обязательно должны объявить святой. Вот вы живете в Лиме, похлопотали бы и ускорили ее приобщение к лику святых. Поверьте, это было бы только справедливо.

Пропыленные с головы до ног, мы наконец въехали на обширную, квадратную, лишенную зелени площадь Гросио Прадо. И здесь убедились в популярности Благочестивой Мельчориты. Сотни ребятишек и женщин, крича и жестикулируя, окружили нашу машину, настойчиво предлагая показать часовню, дом, где родилась блаженная, где она занималась самоистязанием, где сотворяла чудеса и была похоронена. Нам предлагали образа, листки с молитвами, четки и медальоны с ее изображением. Шофер вынужден был объяснять, что мы не пилигримы и не туристы, чтобы нас оставили в покое.

Здание муниципалитета, под цинковой крышей, маленькое и обшарпанное, притулилось с краю площади. Оно было заперто.

Мы устроились в тени возле алькальдии. Отсюда мы видели, как в конце прямых улиц, метрах в пятидесяти от нас, где кончались хилые домишки и тростниковые хижины, начинались поля и пустыня. Тетушка Хулия сидела рядом со мной, положив мне голову на плечо и прикрыв глаза. Так мы просидели с полчаса, наблюдая за погонщиками ослов — верховыми или пешими, за женщинами, которые шли по воду к ручью, протекавшему рядом за углом. Наконец появился верхом на лошади старик.

— Вы ждете дона Хасинто? — спросил он, снимая огромную соломенную шляпу.— Он уехал в Ику поговорить с префектом, чтобы вызволить сына из казармы. Парня забрали в солдаты. Дон Хасинто до вечера не вернется.

Шофер убеждал нас подождать и осмотреть достопримечательности в Гросио Прадо, связанные с именем Мельчориты, но я решил попытать счастья в других деревушках. После долгих пререканий шофер согласился возить нас до полудня.

Было только девять утра, когда мы вновь отправились в путь. Взбираясь по тропинкам, доступным лишь ослам, застревая на дорогах, на которые сползали дюны, то выезжая на побережье, то прижимаясь к Кордильерам, водитель исколесил практически всю провинцию Чинча. При въезде в деревушку Эль Кармен у него лопнула шина, а так как домкрата не было, нам вчетвером пришлось поддерживать автомобиль на весу, пока он ставил запасное колесо. С десяти утра солнце жгло все нестерпимее, пока зной не превратился в сущую пытку: кузов накалился, и все мы потели, как в турецкой бане. Радиатор исходил паром — потребовалось возить с собой бидон с водой, чтобы то и дело охлаждать его.

Мы переговорили с тремя или четырьмя алькальдами районов, еще со столькими же помощниками алькальдов в поселках, где зачастую насчитывалось не более двадцати лачуг. Все это были земледельцы, нам приходилось искать их либо в поле, где они обрабатывали свой надел, либо в лавке, где они отпускали жителям оливковое масло и сигареты; а одного из них — хозяина Сунампе — нам пришлось растолкать и вытащить из канавы, где он отсыпался после попойки. Как только мы устанавливали местонахождение муниципальной власти, я выходил из такси, иногда в сопровождении Паскуаля, иногда — с водителем, иногда с Хавьером (опыт показал, что чем многочис-

леннее были визитеры, тем больше тушевался алькальд) и приступал к объяснениям. Какие бы я ни приводил доводы, я видел, как на лице крестьянина, рыбака или лавочника (алькальд из Нижней Чинчи представился нам как «знахарь») немедленно появлялось недоверие, а в глазах — тревога. Только двое отказали нам вполне откровенно: алькальд из Верхнего Ларана (пока я излагал суть дела, этот старичок нагружал своих ослов охапками клевера) ответил нам, что он женит только тех, кто живет в его деревне, а алькальд из Сан-Хуана де Янак — крестьянин-мулат, увидев нас, изрядно испугался, решив, что мы из полиции и явились к нему требовать в чем-то отчета. Узнав о нашей просьбе, алькальд рассердился: «Ни в коем разе! Видно, плохо дело, если беленькие приехали жениться в эту забытую богом деревушку». В других местах нам отказывали под теми же предлогами. Чаще всего говорили, что потерялась или заполнена книга регистрации браков и пока не пришлют из Чинчи новую, муниципалитет не может засвидетельствовать ни рождения, ни смерти, ни заключить брак. Самым изобретательным оказался алькальд из Чавин: он, видите ли, не может нас зарегистрировать — ему некогда, он должен выследить и пристрелить лису, которая каждую ночь крадет по две-три курицы в этой округе.

Мы были близки к своей цели лишь в Пуэбло Нуэво. Алькальд, внимательно выслушав нас, согласился и сказал, что регистрация брака, минуя обязательное объявление в газете, обойдется нам в пятьдесят фунтов [1]. Он не придал никакого значения моему возрасту и делал вид, будто верит, что совершеннолетними сейчас признают в восемнадцать, а не в двадцать один год. Мы уже уселись за доской, установленной на двух бочках и заменявшей письменный стол (помещение представляло глинобитную лачугу, сквозь дырявую крышу которой виднелось небо), когда алькальд принялся по буквам разбирать наши документы. Его насторожило, что тетушка Хулия — боливийка. Как мы ни убеждали его, говоря, что это не препятствие, что иностранцы тоже могут вступать в брак, и даже предлагали большие деньги — ничего не помогло. «Не хочу я связываться,— повторял алькальд,— раз сеньорита — боливийка, дело осложняется».

В Чинчу мы вернулись около трех часов пополудни, едва живые от зноя, пыли и неудач. При въезде в город тетушка Хулия расплакалась. Я обнимал ее, утешал, шепча на ухо, что люблю ее и мы поженимся, даже если для этого придется объехать все поселки Перу.

— Дело не в том, что мы не можем пожениться,— отвечала она, роняя крупные слезы и силясь улыбнуться,— а во всей этой нелепице.

В гостинице мы попросили водителя такси заехать за нами через час, чтобы отправиться в Гросио Прадо,— может быть, его кум уже вернулся.

Никто из нас четверых не хотел есть, так что весь свой обед — бутерброды с сыром и бутылку кока-колы — мы поглотили прямо у стойки. Вместо того чтобы присоединиться к друзьям в столовой, мы пошли к себе и тут же заснули. Снились кошмары. Когда мы рассказали друг другу о наших сновидениях, оказалось — обоим снились родственники, и тетушка Хулия засмеялась, когда я признался, что во сне пережил одну из последних трагедий Педро Камачо.

Нас разбудил стук в дверь. Было темно, сквозь оконце едва проникал свет уличного фонаря. Я прокричал: «Сейчас!» Еще окончательно не придя в себя, встряхнул головой, чтобы отогнать сон, потом зажег спичку и посмотрел на часы. Было семь вечера. Я почувствовал себя опустошенным: еще один день потерян, и самое ужасное — у меня уже истощились средства на поиски алькальдов. Я ощупью направился к двери, полуоткрыл ее и уже собирался отругать Хавьера, что не разбудил меня, когда увидел, как он улыбается во весь рот.

— Все готово, Варгитас,— объявил он, надуваясь от гордости как индюк.— Алькальд из Гросио Прадо уже готовит регистрацию и акт о браке. Хватит грешить, поторапливайтесь. Мы ждем в такси.

Он хлопнул дверью и ушел, беззаботно смеясь. Тетушка Хулия привстала на постели, протирая глаза. В сумраке я догадывался: выражение лица у нее сейчас удивленное и слегка недоверчивое.

— Этому шоферу я посвящу свою первую книгу,— говорил я, пока мы одевались.

— Не труби победу,— улыбалась тетушка Хулия.— Я не поверю, даже увидев свидетельство о браке.

Мы поспешно вышли. В столовой, где за пивом собралось уже много мужчин, кто-то сделал тонкий комплимент тетушке Хулии, что очень развеселило присутствующих. Паскуаль и Хавьер уже сидели в такси, но машина была не та, что утром, и водитель другой.

— Он хотел нас облапошить и получить вдвойне, пользуясь обстоятельствами,— объяснил Паскуаль.— Так что мы послали его куда следует и с божьей помощью наняли другого шофера.

Я встревожился, опасаясь, как бы смена водителя опять не провалила наше предприятие. Но Хавьер всех успокоил и рассказал как забавное приключение, что, решив дать нам возможность «отдохнуть» и освободить тетушку Хулию от лишних переживаний в случае отказа, они после обеда отправились хлопотать в Гросио Прадо самостоятельно уже с этим шофером.

[1] Фунт — перуанская золотая монета в десять солей.

— Умнейший метис, таких мужчин можно встретить только на земле Чинчи,— говорил Паскуаль.— Тебе придется отблагодарить Мельчориту и присоединиться к процессии в ее честь.

Алькальд в Гросио Прадо спокойно выслушал объяснения Хавера, неторопливо прочел все документы, поразмышлял порядочное время, после чего изложил свои условия: тысячу солей, но при условии, что в моем свидетельстве о рождении шестерка будет исправлена на тройку, будто я родился на три года раньше действительного.

— Вот мудрость простолюдина,— повторял Хавьер.— Ты убедишься, мы — деградирующий класс. Нам такое и в голову не пришло, а простой деревенский человек со своей смекалкой тут же сообразил. Все в порядке: ты уже совершеннолетний.

Там же, в муниципалитете, алькальд вместе с Хавьером от руки исправили цифру шесть на три, причем представитель власти заявил: неважно, что чернила разные, была бы суть ясна. Мы приехали в Гросио Прадо около восьми часов вечера. Была звездная ночь, теплая и тихая, во всех домишках и лачугах мигали фитильки коптилок. Одна из хижин освещена поярче: сквозь кусты мерцали свечи. Паскуаль, перекрестившись, сообщил нам: это — часовня, где в свое время жила Благочестивая Мельчорита.

Алькальд уже заканчивал заносить акт в толстенный фолиант с черным переплетом. Пол в единственной комнате муниципалитета был земляным, его недавно освежили водой, и от земли исходило влажное дыхание. На столе стояли три зажженные свечи, и в их тусклом свете на побеленных стенах можно было разглядеть национальный флаг, пришпиленный кнопками, и портретик президента республики. Алькальду было лет пятьдесят — человек толстый и флегматичный, он писал медленно, после каждой фразы обмакивая ручку с пером в узкогорлую чернильницу. Он с каким-то похоронным видом приветствовал меня и тетушку Хулию. Я подсчитал, что при его темпах понадобится более часа, чтобы составить акт. Закончив наконец писать и не двигаясь с места, алькальд произнес:

— Нужны двое свидетелей.

Паскуаль и Хавьер шагнули вперед, но алькальд согласился лишь с кандидатурой первого, ибо второй был еще несовершеннолетним. Я вышел переговорить с шофером, сидевшим в такси. Он согласился стать свидетелем за сто солей. Худой мулат с золотым зубом не выпускал изо рта сигареты и всю дорогу, пока мы ехали сюда, молчал. Когда алькальд указал ему, где следует поставить свою подпись, шофер огорченно покачал головой.

— Вот горе-то,— сказал он, будто сожалея о чем.— Где это видано, чтобы свадьба была без единой несчастной бутылки, чтобы не выпить за новобрачных? Я так не согласен быть посаженым отцом.— Он укоризненно взглянул на нас и уже в дверях добавил: — Подождите минуту.

Алькальд скрестил руки, закрыл глаза и, казалось, погрузился в сон. Тетушка Хулия, Паскуаль, Хавьер и я переглядывались между собой, не зная, как быть. В конце концов, я решил искать на улице другого свидетеля.

— Не надо, он вернется,— удержал меня Паскуаль.— Признаться, он абсолютно прав. Нам не мешало подумать о бутылке заранее. Мулат дал нам хороший урок.

— У меня нервы не выдерживают,— прошептала тетушка Хулия, хватая меня за руку.— Тебе не кажется, будто ты грабишь банк и вот-вот явится полиция?

Мулат отсутствовал десять минут, показавшиеся нам вечностью. Наконец он вернулся с двумя бутылками вина, и можно было продолжать церемонию. Сначала подписали свидетели, затем алькальд дал расписаться тетушке Хулии и мне, после чего он открыл кодекс и, пододвинув к нему свечу, так же медленно, как писал, стал читать нам параграфы о правах и обязанностях супругов. Затем он протянул нам свидетельство о браке и объявил, что отныне мы муж и жена. Мы поцеловались, потом нас обнимали свидетели и алькальд. Шофер зубами вытащил пробки из бутылок, а поскольку стаканов не было, мы пили прямо из горлышка, передавая бутылку по кругу. На обратном пути в Чинчу — на душе у нас было легко и весело — Хавьер, отчаянно фальшивя, пытался насвистывать «Свадебный марш».

Заплатив таксисту, мы отправились на Главную площадь, где Хавьер и Паскуаль собирались сесть на маршрутное такси в Лиму. Машина уходила через час, так что мы могли пообедать в ресторане «Солнце Чинчи». Там мы наметили план действий. По прибытии в Мирафлорес Хавьер отправится к дяде Лучо и тете Ольге выяснить, насколько накалена атмосфера в нашем семействе, а потом позвонит нам по телефону. Мы возвращаемся в Лиму на следующее утро. Что касается Паскуаля, то ему придется придумать убедительный предлог для оправдания своего более чем двухдневного отсутствия на радио.

Мы попрощались с друзьями на стоянке такси и вернулись в «Южноамериканский отель», спокойно беседуя, как старые супруги. Тетушка Хулия чувствовала себя неважно и полагала, будто причиной тому вино, выпитое в Гросио Прадо. Ну а мне оно показалось великолепным — я не признался ей, что это было первое вино в моей жизни.

XVIII

Бард Лимы — Крисанто Маравильяс — родился в центре города, в переулке у площади Санта-Аны, откуда с крыш запускались самые изящные воздушные змеи во

всем Перу — великолепные сооружения из папиросной бумаги, взмывавшие над районом Барриос Альтос, и тогда все монахини и послушницы монастыря ордена Босоножек подглядывали за ними через слуховые оконца.

Рождение ребенка, благодаря которому спустя годы вровень с воздушными змеями взметнулась слава криольского вальса, и польки, и «Маринеры» [1], совпало с запуском огромного змея. На этот праздник в переулок у Санта-Аны собрались лучшие гитаристы, контрабасисты и певцы всего квартала. Акушерка, открыв окошечко комнаты «Х», где произошло явление младенца на свет, доложила, что население этого уголка города увеличилось, и сделала такое заключение: «Если выживет, будет плясуном».

Выживет ли мальчик, было неясно: он весил меньше килограмма, и ножки его были так тонки, что невольно возникала мысль: а сможет ли он ходить. Отец ребенка, Валентин Маравильяс, поставил целью всей своей жизни привить в этом квартале города культ господа Лимпийского. В своей крохотной каморке он даже основал братство имени этого патрона и (то ли желая припугнуть кого-то, то ли хитростью пытаясь обеспечить себе долгую старость) поклялся, что пока не сойдет в могилу, будет добиваться, чтобы это братство превзошло своей численностью братство Святого Чудотворца. Покровитель его, заявил дон Валентин, сотворит чудо: спасет ему сына, и тот сможет ходить, как любой нормальный христианин. Мать ребенка, Мария Порталь, повариха-кудесница, никогда не болевшая и не страдавшая даже насморком, была так потрясена тем, что ее столь желанный, подаренный богом сын получился неизвестно кем (человекоподбной личинкой? Невызревшим зародышем?), что выгнала супруга из дома, объявив его перед всеми соседями недомужчиной по причине его набожности.

Но Крисанто Маравильяс тем не менее выжил и, несмотря на свои смешные ножки, даже стал ходить. Естественно, делал он это неизящно, скорее как деревянная кукла, каждый шаг которой состоит из трех фаз: поднять ногу, согнуть колено, опустить ногу. Причем брел ребенок так медленно, что каждому, кто шел рядом, казалось, будто он попал в крестный ход, угодивший в пробку на узких улочках. И все же, как говорили родители ребенка — уже помиревшиеся, Крисанто передвигался без костылей и по собственному усмотрению. Преклонив колена в церкви Святой Анны, дон Валентин со слезами на глазах благодарил господа Лимпийского, однако Мария Порталь утверждала: истинный автор чуда — знаменитейший врач города, специалист в области патологии двигательных функций, превративший множество паралитиков в велогонщиков. То был доктор Альберто де Кинтерос. Не раз в его доме Мария готовила роскошные обеды из криольских блюд, и ученый показывал ей всяческие массажи, упражнения и приемы, дабы конечности Крисанто, несмотря на их рахитичность и неполноценность, могли удержать ребенка вертикально и понести по белому свету.

Никто не скажет, что детство Крисанто Маравильяса было таким же, как у других детей бедняцкого квартала, где ему выпала судьба родиться. К несчастью — или к счастью,— хилый организм Крисанто не позволял ему заниматься тем, что обычно укрепляет дух и тело любого тамошнего мальчишки: он не играл в футбол тряпичным мячом, не мог заниматься боксом, не расквашивал носы в драках по углам; он никогда не участвовал в перестрелке из рогаток, не кидался камнями и не сумел бы поддать противнику ногой, когда против ребят с площади Санта-Аны выступали банды из кварталов Чиримойо, Качаркас и Синко Эскинос в районе Серкадо. Он не смог бы забраться со своими приятелями по школе на площади Санта-Клары (где его научили читать) в соседние сады — воровать фрукты, побоялся бы купаться голым в реке Римак или скакать на неоседланном осле в загонах Сантойо. Он был низеньким, почти карликом, худым, как палка, с шоколадным цветом кожи, унаследованным от отца, и гладкими волосами, унаследованными от матери. Издали внимательными, умными глазами наблюдал Крисанто за развлечениями, шалостями и жаркими схватками своих друзей, видел, как растут и крепнут они в недоступных ему играх, и лицо его постепенно принимало определенное выражение: то ли меланхолического смирения, то ли умиротворенной грусти.

Одно время казалось, мальчик вырастет таким же набожным, как и его отец (основным занятием которого, после поклонения господу Лимпийскому, было участие в процессиях, где он носил изображения всех святых без разбору, меняя лишь одеяния), так как долгое время Крисанто был добросовестнейшим служкой во всех церквах вокруг площади Санта-Аны. Он был очень исполнителен, до тонкостей знал всю процедуру службы, имел богобоязненный вид, а потому все священники округи прощали ему и медлительность, и неуклюжесть и часто звали отслужить мессу, звонить в колокола во время процессии на страстной неделе или кадить во время крестного хода. Мария Порталь, мечтавшая для своего сына о карьере военного, представлявшая его искателем приключений и неотразимым кавалером, только молча вздыхала, видя своего сына в одеянии церковного служки (которое всегда было ему велико) и слушая, как он читает молитвы на хорошей латыни с алтарей церквей Троицы, святого Андреаса, Кармен, Благой кончины и в том числе крохотной церквушки в Кочаркасе — мальчика приглашали даже в этот отдаленный квартал. Однако глава братства, Валентин Маравильяс, чувствовал, как сердце его переполняется гордостью — кровь от крови его станет священнослужителем.

Но все заблуждались. У мальчика не было религиозного призвания. Он жил на-

[1] Народный перуанский танец.

пряженной внутренней жизнью, и его эмоциональной натуре необходимо было как-то и в чем-то проявить себя. Сама атмосфера храма, трепещущее пламя свечей, благовония, молитвы, изображения святых, украшенные подношениями верующих, пришедших помянуть покойных, ритуал службы, распятия, коленопреклоненные молящиеся — все это утоляло его раннюю жажду поэзии, его духовный голод. Мария Порталь помогала монахиням Босоножкам в их кулинарных и домашних хлопотах и потому была одной из считанных женщин, кому дозволялось входить под суровые своды монастыря. Знаменитая кулинарка приводила с собой и Крисанто, и, когда мальчик подрос — по годам, но не стал выше ростом,— монахини настолько привыкли к нему (он был для них просто вещью, половой тряпкой, получеловеком, огрызком), что разрешали бродить по монастырю, пока Мария Порталь колдовала над воздушными тортами, трепещущими желе, белоснежными безе, готовила взбитые желтки с миндалем и сиропом, а также миндальные кексы (все это затем шло на продажу для сбора средств на религиозные миссии в Африке). Так получилось, что в десять лет Крисанто Маравильяс познал любовь...

Девочка, которая в одно мгновение завоевала его, звалась Фатима, она была ему повесницей и выполняла в мире Босоножек скромные обязанности служанки. Крисанто Маравильяс увидел ее впервые, когда малышка, только что вымыв коридоры, выложенные каменными плитами, собиралась поливать в саду розы и лилии. Хотя тело девочки скрывал мешок с дырками для рук, а волосы покрывала дерюжка, завязанная на манер косынки, происхождение Фатимы не вызывало сомнений: ее отличали кожа цвета слоновой кости, голубые глаза, гордый подбородок, изящные ноги. Речь шла о приемыше (и о трагедии благородного происхождения — голубой крови, которой так завидует простолюдин). Девочку подбросили однажды зимней ночью к тому крылу монастыря, что выходит на улицу Хунин. Ребенок был завернут в шаль небесного цвета, к ней была приколота душераздирающая записка: «Я — дочь несчастной любви, приведшей в отчаяние одно благородное семейство, и не смогу жить в обществе, ибо буду вечным осуждением греха тех, кто дал мне жизнь, кому, имея одних и тех же отца и мать, запрещено любить друг друга, родить и признать меня. Вы, благословенные Босоножки,— единственные, кто может вырастить меня, не стыдясь и меня не заставляя стыдиться. Мои измученные родители воздадут конгрегации Босоножек сторицей за доброе дело, что откроет перед вами врата рая».

Подле дитяти греха монашки нашли кошель с деньгами, который и убедил их в конце концов (ведь каннибалов-язычников надо как-то приводить в христианство, кормить и одевать!). Они решили: девочка будет служанкой, а позднее, если появится у нее призвание, они сделают из нее еще одну рабу божью — белую монахиню. Ее назвали Фатимой, так как она была подобрана в день явления божьей матери пастушкам в Португалии [1]. Так девочка и росла — вдали от мира, за девственно непорочными стенами монастыря Босоножек, в атмосфере целомудрия, не видя других мужчин (еще до Крисанто), кроме старого и шелудивого дона Себастьяна (может быть, Бергуа?), капеллана, приходившего раз в неделю отпускать (всегда мелкие) грешки монашек. Она росла милой, мягкой, послушной, и самые умные монахини говорили, что ее светлый разум, добрый взгляд, чистое дыхание были явными признаками святости.

Нечеловеческим усилием поборов робость, связавшую язык, Крисанто Маравильяс подошел к девочке и спросил, не может ли он помочь ей поливать цветы. Она согласилась, и с тех пор каждый раз, как Мария Порталь приходила в монастырь и занималась стряпней, Крисанто и Фатима вместе подметали кельи или мыли переходы и коридоры, вместе меняли цветы в вазах на алтаре, протирали окна, вощили каменные плиты двориков или вытряхивали пыль из молитвенников. Между некрасивым мальчиком и прелестной девочкой рождалась первая любовь, которая всегда потом вспоминается как самая большая, она подобна нити, которую может оборвать разве что смерть?

Полупарализованному мальчику едва исполнилось двенадцать лет, когда Валентин Маравильяс и Мария Порталь заметили первые признаки влечения, благодаря которому Крисанто вскоре превратился во вдохновенного поэта и прославленного композитора.

Это было на танцульках, куда по крайней мере раз в неделю собирались те, кто жил по соседству с площадью Санта-Аны. То ли по поводу рождения, то ли в связи со смертью — предлогов всегда хватало (отметить радость либо залечить горе?) — в сарайчике портного Чумпитаса, во дворе скобяных дел мастеров Ламы, в тупике, где жил Валентин, до рассвета веселились и плясали под переборы гитары и уханье контрабаса, слышались звонкие хлопки в ладоши и высокие голоса певцов. В то время как разгоряченные спиртным и ароматнейшими блюдами Марии Порталь танцоры с жаром выбивали искры из гранитных плит площади, Крисанто Маравильяс с таким восхищением смотрел на гитаристов, певцов и контрабасистов, словно они были чем-то сверхъестественным. Как только музыканты устраивали перерыв, чтобы выкурить сигарету или пропустить стаканчик, ребенок робко приближался к гитарам, осторожно, будто опасаясь испугать, гладил их, трогал струны, исторгая из них неясные аккорды...

Вскоре всем стало ясно, что у мальчика не просто способности, а выдающееся дарование. Маленький инвалид обладал прекрасным слухом, он мгновенно схватывал

[1] Фатима считается «покровительницей» Португалии.

и запоминал любой мотив и, хотя ручки его были слабы, вскоре с уверенностью взрослого мог сыграть на контрабасе любую народную мелодию. В перерывах, когда оркестранты выпивали и закусывали, мальчик самостоятельно постигал секреты музыки и особенно полюбил гитару. Соседи уже привыкли, что на праздниках он стал выступать как музыкант.

Ноги Крисанто не росли, ему было уже четырнадцать лет, а выглядел он восьмилетним ребенком. Он был очень худ (худоба — отличительная особенность одухотворенного существа и свидетельство артистичности натуры), так как страдал отсутствием аппетита, и, если бы Мария Порталь не проявила мужества и стойкости и не впихивала в него еду, юный бард улетучился бы в конце концов. Тем не менее, если речь шла о музыке, это хрупкое существо не ведало усталости. Гитаристы округи, бывало, после долгих часов игры и пения валились от усталости наземь, у них опухали от струн пальцы, и для окружающих было бы лучше, если б они умолкли, а не фальшивили, но инвалидик по-прежнему сидел на своем стульчике с соломенным сиденьем (ножки у него, как у японца, не доставали до земли), и его маленькие не знающие усталости пальцы извлекали из инструмента чарующие мелодии, при этом сам он напевал так, будто праздник только начинается. Голос у него был не сильный — конечно, он не смог бы соперничать со знаменитым Эсекиелем Дельфином, от голоса которого, когда он при исполнении некоторых вальсов брал верхнее соль, звенели стекла в окне напротив. Однако недостаток его силы возмещали неутомимость, фанатическая любовь к музыке, богатство оттенков в игре, когда каждая нота звучала должным образом.

Но прославился он не как исполнитель, а как композитор. То, что наполовину парализованный юноша из Барриос Альтос не только умеет играть и напевать народные мелодии, но и сочиняет их, стало известно в день ангела поварихи, когда веселый праздник с конфетти, серпантином и пищалками заполонил тупик Санта-Аны. В полночь музыканты удивили присутствующих неизвестной до той поры полькой, слова диалога в которой отличались своеобразием:

— Как?
— Любовно, любовно, любовно.
— Что?
— Принесу я цветок полевой.
— Где?
— А в петличке — так скромно, так скромно.
— Кому?
— Марии Порталь, Марии Порталь — дорогой...

Мелодия захватила людей безудержным желанием плясать и прыгать, а слова развеселили и растрогали их. Все в один голос спрашивали: кто же автор? Музыканты указали на Крисанто Маравильяса, который, как истинно великий талант, скромно потупил глаза. Мария Порталь чуть не задушила его поцелуями, брат Валентин вытер слезу, и вся округа приветствовала бурной овацией нового стихотворца. В городе неведомых, скрытых сокровищ родился музыкант.

Взлет карьеры Крисанто Маравильяса (если позволительно применять термины, напоминающие о спортивных состязаниях, к способностям, отмеченным свыше) был стремительным. Через несколько месяцев его песни пела вся Лима, а через несколько лет они завоевали умы и сердца всего Перу. Ему не исполнилось и двадцати, когда и авели и каины — друзья и враги — вынуждены были признать, что он самый популярный композитор в стране. Его вальсы развлекали на праздниках богатых, под них танцевали мещане на благотворительных вечерах, и популярны они были среди бедняков. Музыкальные ансамбли города соперничали между собой в исполнении музыки Крисанто, и не было юноши или девушки, кто, избрав тернистый путь вокала, не включил бы в свой репертуар чудесные пьесы Маравильяса. Были выпущены пластинки с его музыкой, переиздавались его партитуры; его мелодии звучали по радио; о нем писали журналы. Воображение народа, молва сделали колченогого композитора из Барриос Альтос легендой.

Слава и популярность не вскружили голову скромному юноше, воспринимавшему все почести с бесстрастностью и невозмутимостью лебедя. Учебу он оставил во втором классе средней школы, чтобы целиком отдаться искусству. На деньги, полученные за игру на праздниках, за исполнение серенад или сочинение акростихов, он купил себе гитару. В тот день он почувствовал себя счастливым: теперь у него появился духовник, которому он мог поверять свою печаль, товарищ по одиночеству, голос его вдохновения.

Крисанто не знал музыкальной грамоты. Он творил на слух, повинуясь интуиции. Заучив родившуюся в нем мелодию, юноша затем напевал ее местному учителю Бласу Санхинесу, метису, переселившемуся в город, тот и переводил мелодию в знаки на нотные линейки. Молодой человек никогда не стремился заработать на своем таланте: он не продавал своих сочинений, не заявлял об авторских правах на них, и когда друзья передавали ему, что посредственности из артистической богемы занимались плагиатом его сочинений — текстов и музыки,— Крисанто лишь отмахивался, делая вид, будто зевает. Несмотря на свое бескорыстие, музыкант все же получал кое-какие деньги, присылаемые ему фирмами граммофонной записи или радиостанциями, иногда деньги ему насильно вручали хозяева, в домах которых он играл на празднике.

Крисанто все отдавал родителям, а после того, как они умерли — ему тогда было тридцать лет,— тратил их в кругу друзей. У него никогда не появлялось желания покинуть свой родной квартал, комнату под номером «Х» в общем коридоре дома в тупике, где он родился. Чем это объяснить: верностью родному углу и сознанием скромности своего происхождения или просто тем, что он любил, например, ручей, протекающий рядом? Наверное, и тем и другим. Но главное, живя в этом узком пенале, Крисанто был рядом с девушкой голубой крови по имени Фатима, которую он увидел, когда та была служанкой, и которая ныне приняла постриг и дала обет послушания, нищеты и (увы!) девственности как Христова невеста.

Вот в чем заключалась тайна его жизни, вот причина его грусти, которую все вокруг (о, близорукость толпы, душа которой покрылась коростой!) относили всегда за счет его физической неполноценности — малоподвижных ног и искривленного тела. Однако именно по причине уродства, из-за которого Крисанто казался моложе своих лет, он мог сопровождать свою мать в крепость монашек Босоножек и хоть раз в неделю видеть девушку своих сновидений. Любила ли сестра Фатима инвалида так же, как он ее? Никто этого не знает. Тепличный цветок, которому неведома тайна опыления дикого растения, Фатима росла и превращалась из девочки в девушку и из девушки в женщину среди старух в мертвящей атмосфере монастыря. Все, что могло стать достоянием ее слуха, зрения или воображения, подвергалось суровой цензуре, установленной монашеской конгрегацией (видимо, строжайшей из строгих). Разве могла подумать эта воплощенная добродетель, что чувство, по ее мнению принадлежавшее только господу богу (любовь?), у людей могло стать предметом купли-продажи.

Но так же неосознанно, как ручьи сбегают с гор, устремляясь к реке, как ягненок, еще не открыв глаза, ищет материнский сосок с белым молоком, так и Фатима, возможно, любила музыканта. Во всяком случае, он был ее другом, единственным знакомым ей существом одного с нею возраста, единственным товарищем в игре, если можно назвать игрой работу, что они делили поровну, пока великая рукодельница Мария Порталь обучала монашек искусству вышивания. В это время дети мыли полы, протирали окна, поливали цветы, зажигали свечи.

Но и в детские годы, и повзрослев они часто беседовали друг с другом. Разговоры были целомудренными: девочка была непорочна, мальчик — робок, обоих отмечала чистота лилий и кроткий нрав, потому и говорили они о любви, не произнося этого слова, затрагивая совершенно посторонние темы вроде прекрасной коллекции разноцветных бумажных иконок сестры Фатимы. Или Крисанто рассказывал послушнице, какие из себя трамваи, автомобили, что такое кино. Обо всем этом говорилось и — легко было догадаться, о чем идет речь,— в песнях Маравильяса, посвященных безымянной таинственной женщине. Исключение составил знаменитый вальс, название которого вызывало жгучее любопытство у поклонников таланта композитора: «Фатима — это непорочная дева Фатима».

Крисанто Маравильяс знал: он никогда не сможет вызволить Фатиму из монастыря и сделать ее своей, но все равно был счастлив, видя свою музу лишь считанные часы в неделю. Эти мимолетные встречи питали его вдохновение и рождали песни о «жестокосердных красавицах йарави, фестехо и ресбалосо [1]. Вторая трагедия в его жизни (первой была инвалидность) случилась в день, когда мать настоятельница конгрегации Босоножек случайно застала его за отправлением нужды. Мать Литума несколько раз переменилась в лице и зашлась икотой. Она тут же побежала к Марии Порталь и спросила, сколько лет ее сыну, портниха ответила, что мальчику уже восемнадцать, хотя ростом и телосложением он может сойти за десятилетнего. Перекрестившись, мать настоятельница отныне запретила юноше переступать порог монастыря.

Для барда с площади Санта-Аны это был почти смертельный удар, он даже заболел непонятной болезнью на романтический манер. Много дней Крисанто провел в постели — у него была высокая температура, в бреду он напевал. И врачи и знахари пробовали всевозможные припарки и примочки, чтобы вернуть его к жизни. Поднявшись с постели, юноша больше походил на призрак и едва держался на ногах. Однако (могло ли быть иначе?) то, что у него отняли любимую, неожиданно благотворно сказалось на творчестве Крисанто: в его музыке слышались слезы, в стихах — мужественное страдание. Лучшие песни о любви Крисанто Маравильяса написаны именно в эту пору. Друзья Крисанто, слушая под грустную мелодию стихи о заточенной в темнице девушке, о жаворонке, томящемся в клетке, о пойманной в силки голубке, о цветке, выросшем и спрятанном в храме божьем, и юноше, страдающем и любящем на расстоянии безо всякой надежды, вопрошали друг друга: «Кто же она?» Снедаемые любопытством, которое в свое время погубило Еву, они пытались найти героиню среди девиц, осаждавших поэта и музыканта. Ибо несмотря на свою некрасивую внешность и телесную ущербность, Крисанто Маравильяс, как таинственный магнит, притягивал к себе дам Лимы. В скромную комнату под номером «Х», якобы с целью получить автограф, приходили блондинки с чековыми книжками, местные метисочки, выдававшие себя за светских дам, мулаточки — служанки из монастырей, девицы, которые делали первые шаги по жизни, и старухи, уже спотыкавшиеся на каждом шагу. Они строили композитору глазки, одаривали его, льстили ему, делали намеки, предлагали увидеть-

[1] Йарави — меланхоличные мелодии перуанских и боливийских индейцев. Фестехо и ресбалосо — народные танцы с песней.

ся или более откровенно — согрешить. Может быть, все эти женщины предпочитали увечных мужчин, глубоко веря в глупый предрассудок, будто как мужья такие мужчины лучше нормальных? Нет, в данном случае сыграло роль его творчество: оно окружило ореолом и превратило в покорителя сердец маленького человечка с площади Санта-Аны, искусство которого сделало не только незаметной, но даже привлекательной его физическую ущербность.

С томным видом больного, едва оправившегося после туберкулеза, Крисанто Маравильяс мягко и вежливо отклонял все дамские авансы, намекая претенденткам, что они зря теряют время. При этом он повторял бессмысленную на первый взгляд фразу, вызывавшую волну сплетен и слухов: «Я верю в верность, потому что я — пастушок из Португалии».

В то время он, цыган по духу, уже вел богемную жизнь. Вставал около полудня и обычно завтракал с приходским священником церкви Святой Анны, бывшим судьей первой инстанции, в кабинете которого некий сектант (уж не дон ли Педро Барреда-и-Сальдивар?) изуродовал себя, дабы доказать непричастность к приписываемому ему преступлению (возможно, его обвиняли в убийстве негра — «зайца», прибывшего из Бразилии в трюме трансатлантического корабля?). Глубоко потрясенный этим случаем, доктор дон Гумерсиндо Тельо сменил тогу судьи на рясу священника. Акт усекновения плоти нашел отражение в фестехо Крисанто Маравильяса «Кровь меня оправдывает», исполняемой в сопровождении кихады [1], гитары и контрабаса.

Бард и отец Гумерсиндо нередко вместе бродили по улицам Лимы, где Крисанто (наверное, все художники находят истоки своего творчества в самой жизни?) искал героев и темы для своих песен. Его искусство, в котором сочетались традиции, история, фольклор и народные поверья, обессмертило популярные персонажи и традиции Лимы. В загонах, что рядом с площадью Серкадо и в квартале Санто-Кристо, Маравильяс и отец Гумерсиндо наблюдали за подготовкой к петушиным боям, которые обычно проходили в колизее «Сандия»; там и родилась знаменитая мелодия маринеры «Будь осторожна с сухим перцем, мама». Отдыхая на площади около Кармен Альто, они смотрели, как кукольник Монлеон развлекает окрестных жителей своими тряпичными марионетками. Его представление подсказало Крисанто тему вальса «Девушка из Кармен Альто» (начинался он так: «У тебя проволочные пальчики и соломенное сердце, ах, моя любовь»). Без сомнения, во время этих прогулок по традиционным уголкам старой Лимы Крисанто повстречал старушек в черных платках, о которых рассказывает вальс «Богомолочка, разве не была ты женщиной когда-то?..» Наверное, здесь же он видел драки между подростками, о чем поведал в польке под названием «Уличные мальчишки».

Около шести часов вечера друзья расставались: священник возвращался в церковь — помолиться за упокой души каннибала, убитого в Кальяо, а композитор отправлялся в сарайчик портняжки Чумпитаса. Здесь в компании с самыми близкими друзьями — контрабасистом Сифуэнтесом, трещоточником Тибурсио, певицей Люсией Асемилой (?), гитаристами Фелипе и Хуаном Портокарреро — он репетировал новые песни, создавал аранжировки, а когда опускалась ночь, кто-нибудь доставал заветную бутылочку писко. За музыкой, разговорами и выпивкой проходили часы. Уже поздней ночью друзья шли обедать в какой-нибудь ресторан, где музыкант был непременным почетным гостем. Иногда его ждали на праздниках — днях рождения, обручениях, свадьбах — или на собраниях какого-либо клуба. Возвращались на заре, и друзья обычно прощались с композитором-инвалидом у ворот его дома. Как только они расходились по домам спать, в переулке вновь возникала маленькая искривленная тень и слышались шаркающие, неуклюжие шаги. Он шел в сырую ночь, таща за собой под зимним моросящим дождиком в предрассветном тумане свою гитару и усаживался на каменную скамью у пустынной площади Санта-Аны напротив монастыря Босоножек. И тогда бродящие на заре коты слышали самые нежные аккорды, когда-либо извлекавшиеся из земной гитары, самые пылкие песни, когда-либо созданные человеком в любовной музыке. Набожные прихожанки, нередко заставшие его на рассвете поющим и плачущим перед монастырем, пустили подлый слух, будто музыкант, опьяненный тщеславием, влюбился в Божью Матерь и поет ей на восходе серенады.

Шли недели, месяцы, годы. Слава Крисанто Маравильяса восходила, подобно солнечному диску над землей, вместе с его музыкой. Тем не менее никто, даже самый закадычный друг музыканта приходский священник Гумерсиндо Литума, бывший полицейский, зверски избитый собственной женой и детьми (вероятно потому, что он разводил крыс?), тот, который услышал глас божий, будучи на пути к выздоровлению от перенесенных побоев, не подозревал о неизбывной страсти барда к постриженной в монахини сестре Фатиме, которая все эти годы готовилась к святости. Целомудренная пара не могла сбменяться и словом со дня, когда мать настоятельница (сестра Люсия Асемила?) вдруг обнаружила, что бард обладает мужским естеством (и это несмотря на совершившееся однажды роковым утром в кабинете судьи первой инстанции?). Но на протяжении многих лет они были счастливы уже тем, что могли видеть друг друга, хотя и ценой больших усилий и лишь издалека. Став монашкой, сестра Фатима, как и ее подружки по монастырю, читала молитвы в церкви: монахини конгрегации Босоножек совершали службу все двадцать четыре часа в сутки, сменяясь попарно.

[1] Народный музыкальный инструмент из челюсти осла или мула.

Дежурные монахини были отделены от публики деревянной решеткой, но, несмотря на затейливую резьбу, сквозь нее все же можно было разглядеть друг друга. Это в значительной мере объясняет набожность барда Лимы, из-за которой тот нередко подвергался насмешкам соседей. На эти насмешки Маравильяс ответил заунывной песней «Да, верующий я...».

Действительно, Крисанто много времени в течение дня проводил в церкви монастыря Босоножек. Он, то и дело заходя сюда, крестился и бросал взгляды на решетку. Если — и тут сердце его сжималось, пульс учащался, и по спине бежали мурашки — через квадратные прорези деревянной ширмы на одной из ступеней он узнавал сестру Фатиму, всегда скрытую силуэтами в белых одеяниях, Маравильяс тут же преклонял колена на каменных плитах колониальных времен. Он слегка нагибался — при его внешности трудно было определить, стоит ли он лицом или в профиль,— и в этой позе казалось, что он погружен в созерцание алтаря. На самом же деле глаза его не отрывались от белоснежных хламид и накрахмаленных повязок и воротников, скрывавших его любимую. Иногда сестра Фатима прерывала молитву, переводя дух, словно спортсмен перед тем, как удвоить свои усилия, поднимала глаза к алтарю (будто на нем выведены кроссворды!) и тогда различала неясное отражение силуэта съежившегося Крисанто. Неуловимая улыбка появлялась на бледном лице монашки, и в сердце ее вспыхивало нежное чувство при виде друга своего детства. Их взгляды встречались, и в эти мгновения — сестра Фатима считала своим долгом опускать глаза — друг другу молча высказывалось многое (скорее всего, заставлявшее краснеть ангелов небесных). Да, да! Та самая девочка, чудом спасшаяся из-под колес автомобиля, ведомого коммивояжером медицинских препаратов Лучо Абрилем Маррокином (он сбил ее солнечным утром в окрестностях города Писко, тогда малютке не было еще и пяти лет), и из благодарности к святой деве Фатиме ставшая монахиней, когда пришло ее время, в одиночестве кельи почувствовала искреннюю любовь к барду из Барриос Альтос.

Крисанто Маравильяс смирился с тем, что не сможет обладать своей возлюбленной и их отношения навсегда останутся платоническими, поддерживаемые свиданиями в церкви. Но он не мог смириться с мыслью (она всегда мучительна для тех, чья красота заключена в таланте), что сестра Фатима никогда не услышит его музыки и песен, источником вдохновения которых она была, сама того не ведая. Бард предполагал (хотя для каждого, кто видел толщину монастырских стен, в том не было сомнения), что до слуха любимой не долетали серенады, исполняемые им на заре, несмотря на угрозу воспаления легких, вот уже на протяжении двадцати лет. Однажды Крисанто Маравильяс включил в свой репертуар песни на религиозно-мистические темы: о чудесах святой Розы, о подвигах (скорее всего зоологических?) святого Мартина Поррийского, легенды о мучениках и осуждения пилатов — все это исполнялось после народных песен. Нововведение нисколько не убавило популярности композитора, напротив, оно завоевало ему легион новых фанатичных поклонников — священников и монахов, монашек, членов организации «Католическое действие». Народная музыка, облагороженная новой — святой — тематикой, впитавшая в себя аромат ладана, перешагнула стены салонов и клубов и зазвучала там, где прежде ее невозможно было себе и представить — в церквах, во время крестного хода, в богодельнях, семинариях. Хитроумный план растянулся на десять лет, но увенчался успехом. Монастырь Босоножек не мог отвергнуть предложение, полученное от любимого композитора верующих, от поэта религиозных конгрегаций, певца крестных ходов,— предложение заключалось в том, чтобы дать концерт в монастырской часовне и внутренних залах в пользу миссионеров, проповедующих в Африке. Архиепископ Лимы — воплощенная мудрость в пурпурной мантии и великолепный музыкальный слух — сообщил, что дает согласие на проведение этого благочестивого акта и на несколько часов снимает обет уединения с сестер Босоножек, чтобы они могли насладиться музыкой. Он даже сам со свитой достойнейших прелатов намеревался посетить концерт.

Важнейшее из важных событие Города Вице-королей состоялось в день, когда Крисанто Маравильяс был в расцвете лет (пятидесяти?). Это был человек со лбом мыслителя, широким носом, орлиным взглядом; его отличали праведность и доброжелательность, в его физическом облике отражалась духовная красота.

Несмотря на то что заранее были розданы персональные приглашения и объявлено, что без них никто не сможет пройти на концерт любимца общества, действительность превзошла все ожидания: полицейский заслон под командованием знаменитого сержанта Литумы и его помощника капрала Хаиме Кончи был сметен толпой, как бумажка ветром. Собравшиеся накануне ночью люди вломились в монастырь и заполнили залы, прихожие, лестницы и вестибюли, но вели все себя уважительно. А приглашенные вынуждены были через потайную дверь проходить прямо на хоры, здесь, столпившись у древних перил, гости приготовились насладиться концертом.

В шесть часов вечера в сопровождении оркестрантов появился бард: улыбка конкистадора, темно-синий костюм, упругий шаг, золотистая шевелюра, развевающаяся на ветру. От овации содрогнулись своды монастыря Босоножек. Прекрасный баритон коленопреклоненного Гумерсиндо Маравильяса возносил «Отче наш» и «Аве Мария», а его медовые глаза искали среди собравшихся знакомые лица.

В первых рядах находился знаменитый астролог, профессор (уж не Эсекиель ли?) Дельфин Асемила, который, изучая небеса, вымерял уровни приливов и с помощью

каббалистических знаков предсказывал судьбы дамам с миллионным состоянием, а также (великие люди всегда отличаются каким-нибудь необычным хобби, вроде игры в стеклянные шарики) питал слабость к криольской музыке. Здесь же рядом, с уголком белоснежного платочка в нагрудном кармашке, с красной гвоздикой в петлице новенького костюма, стоял популярнейший негр Лимы, тот самый, что пересек «зайцем» океан в багажном отделении (самолета?) и начал в этой стране новую жизнь (возможно, подчиняясь гражданскому долгу уничтожения крыс с помощью ядов, обычно производимых людьми родного племени, что и сделало его богатым?). Совершенно случайно в зале находились (такие случайности бывают не то по воле дьявола, не то провидения), привлеченные единодушным преклонением перед музыкантом, «свидетель Иеговы» Лучо Абриль Маррокин, получивший прозвище «Бесхвостый» после совершенного им подвига (он сам себе отрезал то ли голову, то ли указательный палец правой руки и все это — ножом для разрезания бумаг?); а рядом — Сарита Уанка Салаверриа, красотка из Ла Виктории, капризная и изящная, потребовавшая у «свидетеля Иеговы» столь жестокого доказательства его любви. И как можно было не заметить среди нарядной толпы Ричарда Кинтероса из Мирафлореса? Понимая, что такое бывает раз в жизни и более никогда не откроются двери монастыря кармелиток, он пролез сюда, затерялся в толпе, чтобы хоть издали увидеть свою сестру (сестру Фатиму? Сестру Литуму? Сестру Люсию?), заточенную родителями в наказание за кровосмесительную любовь. Зараженные общим любопытством, охваченные желанием увидеть (а не услышать) идола Лимы, сюда прибыло семейство глухонемых Бергуа, никогда прежде не покидавших «Колониального пансиона», где они жили, посвятив себя благородному делу — обучению языку глухонемых нищих детей.

Апокалипсическая трагедия, повергшая город в траур, произошла, когда падре Гумерсиндо Тельо уже начал концерт. Лирический тенор в сопровождении органа выводил последние ноты прелестного кантика «Моя религия не продажна», и сотни людей словно загипнотизированные слушали певца, столпившись в прихожих, внутренних двориках, на лестницах и галереях. Овация, вознаградившая отца Гумерсиндо, погубила присутствующих — так всегда мешается добро со злом, вроде кофе с молоком. Слишком увлекшись пением, аплодисментами, криками «ура», поздравлениями, зрители спутали первые признаки землетрясения с потрясением, вызванным в них божьим кенаром. Люди не отреагировали на толчки в первые секунды, когда еще можно было бежать, вырваться, спастись. Под раскаты вулканического гула, от которого лопались барабанные перепонки, они поняли, что трясутся не сами по себе, а это дрожит земля,— но было уже поздно. Три выхода из монастыря (то ли совпадение, то ли божья воля, то ли недальновидность архитектора) были перекрыты первыми же обвалами; главные ворота были преграждены фигурсй каменного преогромного ангела, придавившего и тело сержанта Крисанто Маравильяса, который в сопровождении капрала Хаиме Кончи и полицейского Литумы при первых же признаках землетрясения пытался эвакуировать монастырь. Мужественный гражданин и два его помощника стали первыми жертвами подземного возмущения. Так и кончили свои жизни, как тараканы, раздавленные подошвой сапога, под безучастным гранитным персонажем у святых врат монастыря три мушкетера из пожарной команды Лимы (возможно, в ожидании Страшного суда?).

Тем временем верующие, привлеченные в монастырь музыкой и набожностью, умирали как мухи. За аплодисментами последовал единодушный вой, визг, стон. Благородные камни и могучие балки не устояли перед землетрясением — судорожным и бесконечным, исходящим из недр. Одна за другой трескались, осыпались и рушились стены, погребая под собой тех, кто пытался вскарабкаться на них и выползти на улицу. Так погибли знаменитые истребители крыс и мышей (видимо, семейство Бергуа?). Через несколько мгновений с адским грохотом, вздымая столбы пыли, рухнула галерея второго этажа; будто живые снаряды, будто ядра в человечьем образе летели люди, попадая в людей, сбившихся во внутреннем дворике, в тех, кто устроился там, повыше, чтобы лучше слышать мать Гумерсинду. Так — с расколовшимся от удара о плиты черепом — погиб лимский психолог Лучо Абриль Маррокин, вылечивший от неврастении половину города с помощью средства собственного изобретения (возможно, это средство заключалось в живой игре в палочку?). Но максимальное число жертв в минимальный срок повлекли за собой рухнувшие своды кармелитского монастыря. Так погибла вместе с другими мать Люсия Асемила, столь прославившаяся после того, как она дезертировала из своей прежней секты «свидетелей Иеговы», написав книгу, одобренную папой римским: «Осмеяние Ствола дерева во имя Креста»).

Смерть сестры Фатимы и Ричарда — порыв любви ведь не могут сдержать ни кровь, ни монашеское одеяние — была еще трагичнее. Огонь уже бушевал целую вечность, а они стояли, обнявшись, невредимые. Вокруг них от удушья, ударов, обвалов гибли люди. Пожар кончился. Двое любовников все продолжали целоваться среди головешек и густого дыма, в окружении смерти. Наступил момент, когда можно было бежать на свободу. Тогда Ричард, обняв за талию мать Фатиму, повлек ее к одному из боковых коридоров, разрушенных пожаром. Но любовники успели сделать лишь несколько шагов, как вдруг (что это было: подлость плотоядной земли? Небесное правосудие?) земля разверзлась у них под ногами. Огонь уничтожил крышку, скрывавшую ход в пещеру колониальных времен, где кармелитки хранили останки своих умерших.

Брат с сестрой (люциферово порождение?) упали в колодец, разбившись о слежавшиеся кости.

Дьявол ли их унес? Стал ли ад эпилогом их любви? А может быть, бог, сжалившись над роковой участью влюбленных, взял их на небеса? Завершилась или продолжится в ином мире эта история из крови, песен, мистики и огня?

XIX

Хавьер позвонил нам из Лимы в семь утра. Слышимость была ужасной, но ни гудение, ни жужжание, мешавшие телефонной связи, не могли заглушить тревогу, звучавшую в его голосе.

— Плохие вести,— сразу же сказал он.— Куча плохих новостей!

За пятьдесят километров от Лимы автобусик, в котором они с Паскуалем возвращались, вылетел с шоссе и сделал кульбит, рухнув на кучи песка. Оба они не пострадали, но водитель и четвертый пассажир получили серьезные травмы; нечего было и думать о том, чтобы остановить среди ночи какую-нибудь машину и просить о помощи. Хавьер добрался до своего пансиона, измочаленный усталостью. Здесь его ждало еще большее потрясение: в дверях стоял мой отец. Мертвенно-бледный, он подошел к Хавьеру, вынул пистолет и заявил, что влепит в него пулю, если Хавьер не признается, где находимся мы с тетушкой Хулией. Помертвев от страха («До сих пор я видел пистолеты только в кино, братец!»), мой друг крестился и клялся именем матери и всех святых, что ничего не знает и не видел меня уже неделю. В конце концов отец немного успокоился и дал ему письмо, чтобы Хавьер вручил его лично мне. Еще не придя в себя от происшедшего («Ну и ночка, Варгитас!»), Хавьер, как только удалился мой отец, решил немедленно переговорить с дядей Лучо и выяснить, до какой степени остервенения дошли мои родственники и по материнской линии. Дядюшка Лучо принял его в халате, они проговорили почти час. Дядюшка не был зол, скорее огорчен, встревожен, растерян. Хавьер подтвердил: да, мы состоим в законном браке, и добавил, что он тоже пытался отговорить меня от этого шага, но все было напрасно. Дядюшка Лучо советовал нам как можно скорее вернуться в Лиму и, взяв быка за рога, попытаться урегулировать наше дело.

— Самая тяжелая проблема — это твой отец, Варгитас,— закончил свое сообщение Хавьер.— Прочие члены семьи постепенно свыкнутся. Но родитель прямо-таки мечет молнии! Ты даже не представляешь, какое письмо он тебе оставил!

Я отругал Хавьера за то, что он читает чужие письма, и заявил: мы немедленно возвращаемся в Лиму, и в полдень я зайду к нему на работу или позвоню по телефону. Я рассказал обо всем тетушке Хулии — она в это время одевалась,— ничего от нее не скрывая, стараясь лишь, чтобы все выглядело не так драматично.

— Вот уж что мне совсем не нравится, так это пистолет,— откомментировала тетушка Хулия.— Думаю, первой, в кого твой папа захочет влепить пулю, буду я. Послушай, Варгитас, неужели свекор прикончит меня в самый разгар медового месяца? Господи, и еще это дорожное происшествие! Бедный Хавьер! Бедняга Паскуаль! В какие истории они угодили из-за нашего безумства!

Тетушка Хулия ничуть не испугалась, не огорчилась, вид у нее был очень довольный и подтверждавший готовность встретить любые испытания. Мы расплатились в отеле, выпили кофе с молоком и через полчаса вновь отправились в путь: старое маршрутное такси везло нас в Лиму. Почти всю дорогу наши губы, щеки, руки не знали отдыха от поцелуев, мы шептали на ухо друг другу, как мы любим, и смеялись над неспокойными взглядами пассажиров и водителя, следившего за нами в зеркало заднего обзора.

Мы прибыли в Лиму в десять утра. Стоял серый день, туман придавал улицам и людям призрачный вид, все было мокрым, и казалось, что ты даже вдыхаешь влагу. Мы вышли из машины у дома дяди Лучо и тети Ольги. Прежде чем постучать, мы крепко взялись за руки — чтобы было не так страшно. Тетушка Хулия стала серьезной, я почувствовал, как забилось мое сердце.

Нам открыл сам дядюшка Лучо. Он изобразил улыбку, которая получилась довольно вымученной, поцеловал тетушку Хулию в щеку, потом поцеловал и меня.

— Твоя сестра проснулась, но еще в постели,— сказал он Хулии, указывая на спальню.— Проходи.

Мы с ним вошли в маленькую гостиную, откуда в ясный день были видны семинария иезуитов, набережная и море. Сейчас виднелись размытые очертания семинарской стены и крыши, крытой красной черепицей.

— Я не буду драть тебя за уши, ведь ты уже вышел из этого возраста,— пробормотал дядя Лучо; было видно, что он действительно расстроен и провел бессонную ночь.— Ты понимаешь, по крайней мере, во что ты впутался?

— Это был единственный способ не допустить, чтобы нас разлучили,— ответил я заранее заготовленной фразой.— Мы с Хулией любим друг друга. Мы не сделали никакой глупости. Мы все продумали и вполне уверены в правильности своего поступка. Я обещаю тебе, что мы настоим на своем.

— Ты — сопляк, у тебя нет не только специальности, нет даже клочка земли для могилы. Тебе придется бросить университет и лезть из кожи вон, чтобы содержать

жену,— бормотал дядя Лучо, зажигая сигарету и покачивая головой.— Ты сам себе надел петлю на шею. Никто с этим не смирится. Вся наша семья надеялась, что ты кем-нибудь станешь. Больно сознавать: из-за какого-то каприза ты обречен на прозябание.

— Я не брошу занятий, я закончу университет. Я сделаю все, что сделал бы, не женившись,— заявил я горячо.— Ты должен мне поверить и убедить родственников — и пусть и они поверят. Хулия с удовольствием будет помогать мне.

— Во всяком случае первое, что надо сделать, это успокоить твоего отца: он вне себя,— сказал дядя Лучо, мгновенно смягчаясь. Он уже выполнил свой долг — «надрал уши» и, казалось, теперь был склонен помочь мне.— Отец ничего не хочет слушать, угрожает выдать Хулию полиции и еще черт знает чем.

Я обещал поговорить с отцом и попытаться примирить его с фактом. Дядюшка Лучо осмотрел меня с ног до головы: негоже свежеиспеченному супругу ходить в грязной рубашке, мне следовало немедленно искупаться и переодеться, а потом успокоить моих старичков, очень волновавшихся из-за меня. Мы еще немного поговорили и даже выпили кофе, а тетушка Хулия по-прежнему не выходила из комнаты тети Ольги. Я напрягал слух: не доносится ли плач, крики и споры? Нет, ни звука не долетало из-за двери. Наконец, появилась тетушка Хулия. Она вышла одна, раскрасневшаяся, как после солнечной ванны, но уже улыбающаяся.

— По крайней мере, ты хоть жива и невредима,— сказал дядя Лучо.— Я уж решил, что твоя сестрица тебя за волосы таскает.

— Вначале чуть не залепила мне пощечину,— призналась тетушка Хулия, садясь около нас.— Конечно, наговорила мне ужасных вещей. Но, кажется, несмотря ни на что, я смогу пожить в вашем доме, пока не прояснится обстановка.

Я встал и сказал, что мне надо идти на радио: было бы ужасно именно в это время потерять работу. Дядя Лучо проводил меня до дверей, сказал, чтобы я приходил обедать, и когда, прощаясь, я поцеловал тетушку Хулию, я заметил, что он улыбается.

Я помчался в магазинчик на углу позвонить кузине Нанси. Мне повезло: она сама взяла трубку. Услышав меня, она онемела. Мы договорились встретиться через десять минут в парке Саласар. Когда я примчался, она уже была на месте, сгорая от любопытства. Прежде чем она мне что-либо рассказала, я вынужден был описать ей все наше приключение в Чинче и ответить на бесчисленные совершенно пустячные вопросы — в каком, например, платье была тетушка Хулия на свадьбе? Что Нанси очень понравилось и над чем она хохотала до упаду (хотя и не поверила мне), была слегка измененная мною версия о том, что зарегистрировавший нас алькальд был негр-рыбак, полуголый и босой. После этого я, наконец, добился, чтобы она сообщила мне, как встретила новость вся наша семья. Произошло то, чего и следовало ожидать: беготня из дома в дом, бурные семейные совещания, бесконечные телефонные звонки, потоки слез. По всему было видно: мою мать успокаивали, навещали и выражали ей сочувствие так, будто она потеряла своего единственного сына. Ну, а саму Нанси затравили расспросами и угрозами, полагая, что она — наша сообщница, и требовали, чтобы она сказала, где мы находимся. Но Худышка уперлась и категорически от всего отказалась, она даже пролила немало крокодиловых слез, и это заставило родню засомневаться в ее соучастии. Нанси тоже была обеспокоена поведением моего отца.

— И не вздумай встречаться с ним, пока он не отойдет,— предупредила она.— Он в такой ярости, что готов стереть тебя в порошок.

Я спросил ее относительно квартирки, снятой мною, и опять поразился ее практичности. Сегодня утром она уже говорила с хозяйкой квартиры, там надо было отремонтировать душ, поменять и покрасить двери, так что раньше чем через десять дней помещение не будет пригодно для жилья. У меня упало сердце. По дороге к дому стариков я думал, где же мы, черт возьми, будем скрываться целых две недели.

Так и не решив этой проблемы, я пришел к дедушке и бабушке и застал у них мать. Она сидела в гостиной и, увидев меня, картинно зарыдала. Она крепко обняла меня и, целуя в глаза, щеки, теребя пальцами мои волосы, полуохрипшая от слез, все повторяла с безграничной жалостью: «Сыночек, мальчик мой, солнышко мое. Что они с тобой сделали? Что с тобой сделала эта женщина?» Я не видел ее почти год и, несмотря на слезы, отметил, она помолодела и похорошела. Я сделал все возможное, чтобы успокоить ее, и заверил, что со мной никто ничего не делал, а сам я по собственной воле решил жениться. Она и слышать не могла имени своей столь неожиданной невестки, при одном упоминании которого рыдания становились еще безутешнее. Временами на мать находили приступы ярости, и тогда она называла тетушку Хулию «эта старуха», «нахалка», «разведенка». Глядя на эту сцену, я вдруг понял одну вещь, которая прежде не приходила мне в голову: гораздо больше, чем сплетни, мать огорчал религиозный вопрос. Она была ревностной католичкой, и ее не столько волновал возраст тетушки Хулии, сколько то, что она была разведена (стало быть, ей запрещалось вторично вступать в церковный брак).

Наконец, с помощью дедушки и бабушки мне удалось успокоить мать. Старички были на редкость участливы, доброжелательны и скромны. Дедушка ограничился

тем, что сказал, целуя меня, как обычно, в лоб: «Ну, поэт, наконец-то ты явился, а мы уже беспокоились». А бабушка после долгих объятий и поцелуев спросила меня на ухо с хитрецой: «А Хулита здорова?»

Приняв душ и сменив белье — какое облегчение сбросить одежду, в которой щеголял не один день! — я смог поговорить с матерью. Она перестала плакать и уже пила чай, приготовленный бабушкой. Старушка сидела возле нее на подлокотнике кресла и гладила по голове, будто маленькую девочку. Я попытался вызвать у матери улыбку шуткой, правда весьма дурного вкуса («Мамочка, но ведь ты же должна быть довольна — я женился на твоей давнишней приятельнице!»), потом коснулся самых тонких струн, поклявшись, что не брошу занятий и защищу диплом юриста, а возможно, даже изменю свое мнение относительно перуанских дипломатов («Те, кто не идиоты,— гомики, мамочка!») и пойду работать в министерство иностранных дел, о чем она всегда мечтала. Постепенно мать оттаивала и, хотя лицо ее сохраняло скорбное выражение, стала спрашивать меня об университете, о моих отметках, о работе на радио, даже пожурила меня за неблагодарность, ведь я так редко ей писал. Отцу, сказала она, я нанес ужасный удар: он тоже мечтал о великих моих свершениях в будущем и потому не позволит, чтобы «эта женщина» разбила мне жизнь. Он уже советовался с адвокатами: брак не считается действительным, он может быть расторгнут. А тетушку Хулию могут обвинить в растлении малолетних. Мой отец был в такой ярости, что отказался от встречи со мной, иначе произойдет «что-нибудь ужасное». Он требует, чтобы тетушка Хулия немедленно покинула страну, в противном случае ее ждут неприятности.

Мы с тетушкой Хулией, отвечал я, поженились именно для того, чтобы не расставаться, и нелегко ему будет отправить за границу мою жену через каких-то два дня после свадьбы. Но мама не хотела со мной спорить: «Ты же знаешь отца, знаешь его характер, надо послушаться его, иначе...» — здесь мать в ужасе закатывала глаза. В конце концов я сказал, что опоздаю на работу и мы договорим потом. Перед тем как проститься, я снова коснулся своего будущего и попытался успокоить мать, обещая, что получу диплом адвоката.

В автобусе, по дороге к центру Лимы, меня охватили мрачные предчувствия: что, если я уже кого-то обнаружу за своим письменным столом? Меня не было на работе три дня, кроме того, последние три недели, в связи с брачными предприятиями, я совершенно забросил радиосводки, и, наверное, Паскуаль и Великий Паблито натворили там нечто невообразимое. Все тревожнее думал я о том, что означала для меня, помимо других осложнений личного плана, потеря места. И стал сочинять доводы, способные растрогать Хенаро-сына и Хенаро-отца. Войдя (с душой в пятках) в здание «Панамерикана», я был потрясен, встретившись в лифте нос к носу с импресарио-прогрессистом, но он поздоровался со мной так, будто мы расстались десять минут назад. Лицо его было серьезным.

— Катастрофа разразилась,— сказал он, задумчиво покачивая головой, создалось впечатление, будто мы секунду назад говорили об известном деле.— Можешь ты мне посоветовать, что нам теперь делать? Его пришлось положить в больницу.

Он вышел из лифта на втором этаже, и я (в мимолетном разговоре я сделал грустную мину, бормоча: «Ах, черт возьми, какая жалость!» — будто зная, о чем речь) обрадовался: случилось нечто, из-за чего мое отсутствие осталось незамеченным. На нашей верхотуре сидели Паскуаль и Великий Паблито и с грустными лицами слушали Нелли, секретаршу Хенаро-сына. Они едва поздоровались со мной, никто даже не пошутил по поводу моей женитьбы. Все смотрели на меня отрешенно.

— Педро Камачо увезли в сумасшедший дом,— пробормотал надтреснутым голосом Великий Паблито.— Какая печальная весть, дон Марио.

Все трое, особенно Нелли, следившая за событиями из дирекции, рассказали мне подробности. Это началось, когда я занимался своими добрачными хлопотами. Предвестниками конца были те катаклизмы, пожары, землетрясения, столкновения, железнодорожные и морские катастрофы, которые заполонили радиопостановки, уничтожая за несколько минут десятки героев. На этот раз сами актеры и технический персонал «Радио Сентраль» испугались, они уже не могли по-прежнему служить для писаки спасительным заслоном, не могли упредить поток присылаемых радиослушателями протестов и недоуменных вопросов, чтобы те не дошли до обоих Хенаро. Они и сами обратили уже внимание на газеты — на протяжении нескольких дней комментаторы радиопостановок издевались над катаклизмами Педро Камачо. Отец и сын Хенаро вызвали писаку и со всякими предосторожностями, чтобы не травмировать его и не вывести из равновесия, стали расспрашивать боливийца. Однако в разгар беседы у артиста произошел нервный криз, и он «сломался»: катастрофы, как выяснилось, были стратегическим приемом, дабы вновь с нуля начать прежние истории; память изменяла писаке, он уже не знал, какие события произошли, кто такие и откуда взялись его персонажи, не помнил, из какого эпизода данный герой. «Громко рыдая, вырывая на себе волосы,— уверяла Нелли,— боливиец признался, что в последние недели вся его жизнь, его работа, его ночи стали сплошным мучением. Отец и сын Хенаро показали Педро Камачо доктору Онорио Дельгадо, известному светилу Лимы, и тот немедленно определил: писака не в состоянии работать — его «опустошенный» мозг нуждается на некоторое время в отдыхе».

Мы еще слушали рассказ Нелли, когда зазвонил телефон. То был Хенаро-сын: он хотел срочно меня видеть. Я спустился в его кабинет, уверенный, что на этот раз последует хотя бы нравоучение. Но он встретил меня так же радушно, как и в лифте, считая, что я в курсе всех его проблем. Несколько минут назад он переговорил по телефону с Гаваной и проклинал все на свете, потому что радиокомпания СМQ, пользуясь его затруднениями, в четыре раза повысила цены на свои радиопроизведения.

— Такое невезение — это трагедия! Ведь у наших радиопрограмм была самая широкая аудитория! Рекламодатели боролись за время в таких передачах! — говорил импресарио, перебирая бумаги.— Какое несчастье опять оказаться в зависимости от акул из СМQ!

Я спросил его, как чувствует себя Педро Камачо, видел ли он артиста и когда тот сможет вернуться на работу.

— Нет никакой надежды,— проворчал Хенаро-сын сначала как бы с раздражением, но затем смягчив тон: — По мнению доктора Дельгадо, психика Педро Камачо находится в процессе распада. Распада! Ты понимаешь, что это такое? Это значит — душа его разрывается на части, у него гниют мозги или что-то в этом роде. Отец спросил у врача, сколько месяцев может длиться выздоровление, и тот ответил: «Скорее всего несколько лет». Представляешь себе!

Он понурил голову, а потом с уверенностью ясновидца вдруг начал предсказывать мне, чего надо ожидать: узнав, что сценарии вновь будут поступать от СМQ, рекламодатели прервут свои контракты или потребуют скидки на пятьдесят процентов. Но самое худшее — новые сценарии начнут поступать лишь через три-четыре недели, так как Куба Батисты превратилась в нечто непонятное, там царит террор диктаторского режима против партизанского движения, и компанию СМQ лихорадит, кое-кто из ее сотрудников уже сидит в тюрьме. В общем, хлопот не оберешься. Однако и думать нечего оставить слушателей на целый месяц без радиопостановок. «Радио Сентраль» потеряет свою аудиторию, ее переманит радиостанция «Кроника» и «Радио Колониаль», они уже нанесли Хенаро первые удары, обратившись к аргентинской продукции.

— Кстати, я вызвал тебя в связи с этим делом,— добавил Хенаро-сын, глядя на меня так, будто увидел меня впервые.— Ты должен нам помочь, ведь ты — полуинтеллектуал. Для тебя это будет легкая работа.

Речь шла о том, чтобы исследовать склады «Радио Сентраль», где хранились старые рукописи, поступившие еще до появления Педро Камачо. Их надо было просмотреть, выяснить, которые из них можно использовать в ожидании поступления новых от СМQ.

— Мы, конечно, заплатим тебе за это,— уточнил хозяин.— Мы здесь никого не эксплуатируем.

Я был бесконечно благодарен Хенаро-сыну и очень ему сочувствовал. В то время даже сто солей были бы для меня счастьем. Уже выходя из кабинета, я услышал его голос:

— Знаю, знаю — ты женился,— я обернулся и увидел, что импресарио радушно кивнул в мою сторону.— Так кто же жертва? Полагаю, дама? Прими мои поздравления. Как-нибудь выпьем, чтобы отпраздновать это событие.

Из своей комнатушки я позвонил тетушке Хулии. По ее словам, тетя Ольга немного отошла, но не перестает удивляться и все повторяет: «Ты с ума сошла!» Тетушка Хулия не очень огорчилась, узнав, что квартира не готова («Мы так долго спали врозь, что можно подождать еще пару недель, Варгитас!»), и сообщила: приняв хороший душ и сменив белье, она настроена очень оптимистически. Я предупредил, что не смогу обедать с ней вместе, так как буду бороться с кипой радиосценариев, и мы увидимся вечером. Подготовив передачу и еще две радиосводки, я отправился в подвалы «Радио Сентраль», в эту мрачную пещеру, затянутую паутиной. Войдя, я услышал, как в темноте шмыгают мыши. Всюду валялась бумага: в кипах, отдельными листками, разбросанная и связанная в пачки. От пыли и сырости я тут же расчихался. Работать здесь было невозможно, и я потащил ворох бумаг в каморку Педро Камачо, устроившись там за сооружением, которое служило ему письменным столом. От писаки не осталось и следа: ни сборника цитат и выражений, ни плана города Лимы, ни социо-психо-расовой картотеки.

Сценарии СМQ пришли в полную негодность, от сырости текст был едва различим, целые страницы обгрызены и загажены крысами и тараканами и перепутаны не хуже, чем в историях Педро Камачо. Выбирать оказалось не из чего, в лучшем случае можно было попытаться отобрать читабельные тексты. Я уже три часа чихал от аллергии, плавая в сиропных переживаниях героев фирмы СМQ и пытаясь сварганить хоть какую-то радиотеатральную головоломку, когда дверь отворилась и появился Хавьер.

— Это невероятно! При всех своих нынешних проблемах ты еще одержим манией Педро Камачо,— возмущался Хавьер.— Я только что от твоих стариков — от дедушки и бабушки. Вот поинтересуйся, что творится вокруг, и содрогнись!

Он бросил на стол, заваленный мелодрамами, два конверта. В одном было письмо, оставленное мне отцом накануне ночью. В нем говорилось:

«Марио! Даю сорок восемь часов, чтобы эта женщина покинула страну. Если она не подчинится, я с помощью влиятельных лиц приму все меры — и она жестоко поплатится за свою наглость. Что касается тебя, хочу, чтобы ты знал: я вооружен и не позволю тебе издеваться надо мной. Если ты не послушаешься — в буквальном смысле слова — и эта женщина не уедет в указанный срок, я убью тебя пятью пулями, как собаку — прямо на улице».

Он подписался полностью — имя и обе фамилии[1], поставил число и приписал: «Можешь просить защиты у полиции. А чтобы тебе окончательно все было ясно, я еще раз расписываюсь под своим намерением застрелить тебя, как собаку, где бы ты ни был». Действительно, отец вторично поставил свою подпись, и она выглядела еще решительнее, чем первая. Второй конверт для меня полчаса назад вручила Хавьеру бабушка. Конверт был из полиции, в нем лежала повестка из комиссариата района Мирафлорес. Мне надлежало явиться туда завтра к девяти часам утра.

— Письмо — это еще не самое худшее. А вот судя по тому, каким вчера я видел твоего отца, он вполне может осуществить свою угрозу,— успокоил меня Хавьер, влезая на подоконник.— Ну, что же будем делать, дружок?

— Прежде всего надо посоветоваться с адвокатом,— единственно, что пришло мне в голову.— Относительно брака и всего остального. Ты знаешь кого-нибудь, кто примет нас бесплатно или по крайней мере поверит в долг?

Мы отправились к молодому адвокату, родственнику Хавьера, с которым несколько раз развлекались на пляже Мирафлореса. Он был очень любезен, историю в Чинче воспринял с юмором и даже подшучивал надо мной. Адвокат разъяснил: брак не является недействительным, но его можно объявить недействительным, потому что в моем свидетельстве о рождении были подделаны даты. Однако для этого необходимо судебное разбирательство, если же такового не будет, то через два года брак автоматически вступает в силу и аннулировать его уже невозможно. Что касается тетушки Хулии, то ее в самом деле можно обвинить «в растлении малолетних», заявив об этом в полицию, можно даже на время заключить ее в тюрьму. Разумеется, в таком случае будет суд, но юрист выразил уверенность, что при данной ситуации, то есть, учитывая, что мне не двенадцать, а восемнадцать лет, обвинение не добьется наказания: любой суд меня оправдает.

— Во всяком случае, если твой папаша захочет, он может доставить Хулите несколько пренеприятнейших минут,— закончил Хавьер, когда мы возвращались на радиостанцию.— Правда ли, что у него есть связи в правительстве?

Я не знал, возможно, и нашелся бы среди друзей отца какой-нибудь генерал или он сам был кумом какого-нибудь министра. Вдруг я решил: не буду ждать следующего дня для выяснения, что нужно от меня полиции. Я попросил Хавьера помочь мне выловить что-нибудь подходящее в бумажном море радиодрам «Радио Сентраль» и разрешить сомнения относительно полиции сегодня же. Он согласился и даже пообещал, что, если меня посадят в тюрьму, он будет меня навещать и всегда передавать сигареты.

В шесть вечера я вручил Хенаро-сыну две кое-как слепленные радиодрамы и сказал, что на следующий день дам еще три, затем наскоро пробежал сводки, подготовленные к семи и к восьми часам, пообещал Паскуалю вернуться на радиостанцию «Панамерикана», и через полчаса мы с Хавьером уже были в полицейском комиссариате на набережной имени 28 Июля в Мирафлоресе. Мы прождали довольно долго, пока, наконец, нас принял комиссар — майор в форме, начальник из ПИП [2]. Этим утром здесь уже побывал мой отец и просил, чтобы с меня сняли официальные показания относительно происшедшего. Перед комиссаром лежал лист бумаги с написанными от руки вопросами, однако мои ответы записывал на пишущей машинке полицейский в штатском, все это отняло много времени, потому что из полицейского машинистки явно не получилось. Я признал, что женился (с горячностью подчеркнув, что сделал это «по собственному желанию и воле»), но отказался отвечать, в какой местности и в каком муниципалитете. Я также не назвал свидетелей. Вопросы были построены так, что казалось, их составлял незадачливый писарь: дата моего рождения и тут же (как будто это не вытекало из предыдущего вопроса!) — совершеннолетний я или нет; где и с кем проживаю; разумеется, был задан вопрос относительно возраста тетушки Хулии (ее комиссар величал «донья Хулия»), на последний вопрос я опять отказался отвечать, заявив, что говорить о возрасте дамы — дурной тон. Мой ответ возбудил детский интерес у обоих полицейских, и после того, как я подписал свое заявление, они отечески спросили («только из чистого любопытства»), на сколько же лет «дама» старше меня. Мы вышли из комиссариата, и я вдруг почувствовал себя совершенно подавленным — у меня было такое ощущение, будто я убийца или вор.

Хавьер считал, что я промахнулся: отказ ответить, где мы регистрировали брак, был вызовом и мог рассердить отца. Тем более, что отказ мой не имел никакого смысла, так как за несколько дней легко было установить, где находится искомый муниципалитет. Мне ужасно не хотелось возвращаться на радио вечером в таком настроении, и я отправился к дяде Лучо. Открыла мне тетя Ольга — она встретила ме-

[1] У латиноамериканцев принято указывать две фамилии — отца и матери.

[2] ПИП (Policia de Investigaciones del Perú) — следственная полиция Перу.

ня холодно, окинув убийственным взглядом, но не проронив ни слова, даже подставила щеку для поцелуя. Мы вошли в гостиную, где сидели тетушка Хулия и дядя Лучо. Достаточно было одного взгляда, чтобы понять: дело пахнет керосином. Я спросил, что происходит.

— Дела совсем плохи,— ответила тетушка Хулия, сплетая свои пальцы с моими, и я увидел, как тетушку Ольгу при этом передернуло.— Мой свекор хочет выставить меня из Перу как нежелательную персону.

Выяснилось, что дядя Хорхе, дядя Хуан и дядя Педро в этот вечер встречались с отцом и вернулись домой в ужасе от того, в каком состоянии его увидели. Холодная ярость, неподвижный взгляд отца и то, как он говорил, не оставляло сомнений в его решимости. Отец был категоричен: или тетушка Хулия покинет Перу в течение сорока восьми часов, или пусть пеняет на себя. Действительно, отец был большим другом, видимо соучеником, министра труда диктаторского правительства — некоего генерала по имени Вильякорта, он уже говорил с ним, и было решено, что если не по собственной воле, то в сопровождении наряда солдат тетушку Хулию препроводят до самолета. Что касается меня, то в случае непослушания я дорого поплачусь за это. Моим дядюшкам, как и прежде Хавьеру, отец продемонстрировал револьвер. Я дополнил картину, показав отцовское письмо и рассказав о полицейском допросе. Письмо сыграло положительную роль: оно побудило их стать на мою сторону. Дядя Лучо налил всем виски, и, пока мы пили, тетя Ольга вдруг расплакалась и возмутилась: как же так, с ее сестрой обращаются будто с преступницей, ей угрожают полицией, а ведь они принадлежат к одной из лучших семей Боливии!

— Выхода нет, мне придется уехать, Варгитас! — сказала тетушка Хулия. Я заметил, как она переглянулась с дядей и тетей, и понял, что они уже говорили об этом.— Не смотри на меня так, это не заговор. И я уезжаю не навсегда. Пока не пройдет приступ злобы у твоего отца. Чтобы избежать новых скандалов.

Действительно, они втроем говорили и спорили на эту тему и выработали план. Боливию они отвергали и предлагали тетушке Хулии выехать в Чили, в Вальпараисо, где проживала их бабушка. Хулия пробудет там столько, сколько понадобится, чтобы утихли страсти. Она вернется, как только я ее вызову. Я решительно воспротивился, заявив, что тетушка Хулия — моя жена, я женился на ней, чтобы быть с нею вместе, и уж если так, то мы уедем вдвоем. Мне напомнили, что я еще несовершеннолетний и не могу ни получить паспорта, ни выехать из страны без разрешения родителей. Я возразил, что пересеку границу нелегально. Меня спросили тогда, сколько у меня денег, чтобы выехать и жить за границей. (Денег у меня оставалось только на покупку сигарет, да и то на пару дней, женитьба и оплата квартиры обратили в дым аванс, полученный на радио, деньги от продажи костюмов и заклада в ломбарде.)

— Мы уже муж и жена, и этого у нас никто не отнимет,— говорила тетушка Хулия, ероша мне волосы, целуя меня, и глаза у нее были полны слез.— Только на несколько недель, ну в крайнем случае — месяцев. Я не хочу, чтобы из-за меня влепили тебе пулю.

За обедом свои доводы выкладывали дядя Лучо и тетя Ольга. Я должен вести себя разумно, я уже настоял на своем — женился, теперь мне следует сделать временную уступку, дабы избежать непоправимого. Я должен их понять — будучи сестрой и зятем тетушки Хулии, они находились в очень щекотливом положении перед моим отцом и остальными родственниками, не имея возможности высказаться ни за нее, ни против. Они помогут нам, это они и обсуждают в данный момент, но теперь настала моя очередь сделать что-то. Пока тетушка Хулия будет в Вальпараисо, мне следует подыскать другую работу, потому что, черт возми, на какие деньги мы будем жить, кто нас будет содержать? В конце концов отец успокоится и примирится со свершившимся.

В полночь — дядя и тетя скромно удалились спать, а мы с тетушкой Хулией занимались любовью, боязливо прислушиваясь к каждому шороху, даже не раздевшись,— я сдался. Другого выхода не было. На следующее утро мы решили попытаться сменить билет в Ла Пас на билет в Чили. Через полчаса, шагая по улицам Мирафлореса к дому стариков, к своей холостяцкой комнатке, я испытывал горечь и бессилие. Я проклинал себя за то, что у меня нет даже медяка на покупку револьвера.

Тетушка Хулия отбывала в Чили через два дня — самолет вылетал на рассвете. Авиакомпания не возражала против обмена билета, но пришлось заплатить разницу в цене, что удалось нам благодаря полученным в долг тысяче пятистам солей, которые дал нам не кто иной, как Паскуаль. (Он потряс меня, рассказав, что у него на сберегательной книжке лежат пять тысяч солей, ибо при жалованье, которое он получал, это было настоящим подвигом.) Чтобы дать тетушке Хулии немного денег, я отнес букинисту на улице Ла Пас последние книги, включая кодексы и учебники права. Вырученные деньги я обменял на пятьдесят долларов.

Тетя Ольга и дядя Лучо отправились с нами в аэропорт. Накануне я остался у них ночевать. Мы не спали и даже не занимались любовью. После ужина дядюшка и тетя удалились, а я смотрел, как тетушка Хулия аккуратно укладывает свой чемодан. Потом мы уселись в темной гостиной и здесь провели три или четыре часа, устроившись на одном кресле; тесно прижавшись друг к другу и переплетя руки, мы тихо разговаривали. Порою мы обнимались, прижимаясь щекою к щеке, целовались, но

большей частью курили и разговаривали. Говорили о том, как все устроится, когда мы снова будем вместе, что она будет помогать мне в работе, и в любом случае, раньше или позже, мы уедем в Париж и будем жить в мансарде, и я, наконец, стану писателем. Я рассказывал историю ее земляка — Педро Камачо, который находился теперь в доме для умалишенных, среди сумасшедших, становясь таким же, как они; мы договорились ежедневно писать друг другу длинные письма и подробно рассказывать обо всем, что делали, думали и чувствовали. Я обещал к ее возвращению уладить все дела и зарабатывать достаточно, чтобы нам не умереть с голоду. В пять утра прозвонил будильник, но была еще глухая ночь. Когда мы час спустя приехали в аэропорт Лиматамбо, только начинало светать. Тетушка Хулия надела голубое платье, которое мне так нравилось, и выглядела очаровательной. Она казалась совершенно спокойной, когда мы прощались, но я чувствовал, как она дрожит в моих объятиях, а когда с галереи аэропорта увидел ее поднимающейся по трапу в первых солнечных лучах, горло у меня перехватило, глаза наполнились слезами.

Ссылка тетушки Хулии в Чили продолжалась месяц и четырнадцать дней. Для меня эти шесть недель были решающими. Благодаря друзьям, знакомым, сокурсникам и преподавателям, к которым я обращался, доводя их до безумия и исступления мольбами помочь мне, я нашел семь вакансий (включая и работу на радио «Панамерикана»). Первая была в библиотеке Национального клуба, расположенного рядом с радиостанцией; мои обязанности заключались в том, что ежедневно между утренними радиосводками я проводил здесь два часа, регистрируя новые поступления книг и журналов и составляя каталог уже имевшихся изданий. Профессор истории в университете Сан-Маркос, у которого я всегда получал отличные оценки, взял меня помощником, и я ходил к нему домой в Мирафлорес с трех до пяти, делал подборку газетной хроники по определенной тематике для сборника по истории Перу — профессору были поручены главы о конкисте и борьбе за освобождение от гнета испанской короны. Но самой яркой строкой в моем новом послужном списке было заключение контракта с общественно-благотворительными организациями Перу. На кладбище Наставника-священнослужителя остались от колониальной эпохи несколько захоронений, записи о которых в регистрационных книгах найти не удалось. Моя работа состояла в расшифровке надписей на надгробиях и составлении списков покойных с датами их жизни. Этим я мог заниматься в любое время, и платили мне сдельно: один соль за покойника. Я трудился над этими списками по вечерам — между подготовкой шестичасовой вечерней сводки и передач для «Панамерикана». Обычно Хавьер, освобождавшийся к этому времени, мне помогал. Стояла зима, темнело рано, поэтому управляющий кладбищем, толстяк, утверждавший, что он лично восемь раз присутствовал в конгрессе при вступлении на пост президентов Перу, давал нам электрические фонарики и лестницу, чтобы мы могли прочесть надписи над высоко расположенными нишами с урнами. Порой мы развлекались, воображая, будто слышим чьи-то голоса, стоны, звон цепей, видим среди могил белеющие силуэты, и в конце концов сами не на шутку пугались. Я ходил на кладбище два-три раза в неделю и посвящал этому занятию все воскресные утра. Другие работы были более или менее (скорее менее, чем более) связаны с литературой. Я брал каждую неделю интервью у «какого-нибудь поэта, романиста или эссеиста для воскресного приложения к газете «Комерсио», эти интервью печатались в колонке под названием «Человек и его дело». Ежемесячно я давал статью в журнал «Перуанская культура» для раздела, который сам и придумал: «Люди, книги, идеи». И наконец, еще один друг, преподаватель, рекомендовал меня для подготовки вопросников по гражданскому образованию поступающих в Католический университет (несмотря на то, что сам я был студентом соперничающего университета Сан-Маркос); каждый понедельник я должен был вручать профессору развернутый текст по одному из вопросов вступительной программы (причем вопросы эти были из совершенно разных областей, начиная от национальных символов родины до полемики между испанистами и индеанистами, касаясь также местной флоры и фауны).

Благодаря этим занятиям (делавшим из меня в некотором роде конкурента Педро Камачо) я втрое повысил свои доходы, зарабатывая достаточно для того, чтобы прожить вдвоем. Повсюду я попросил авансы и смог выкупить из ломбарда свою пишущую машинку, столь необходимую для журналистской работы (хотя многие статьи я писал в служебное время на «Панамерикана»). Кузина Нанси все из тех же денег смогла кое-что купить, чтобы приукрасить нашу квартиру, которую хозяйка сдала мне через пятнадцать дней. Я испытал великое счастье в то утро, когда стал хозяином двух комнатушек и крохотной ванной. Я по-прежнему ночевал у стариков, так как решил обновить квартиру в день приезда тетушки Хулии, но почти каждый вечер ходил туда: писал статьи, составлял списки покойников. Я постоянно был чем-то занят, бегал то в одно место, то в другое, однако не испытывал ни усталости, ни разочарования, напротив, я был полон энтузиазма и, кажется, успевал читать не меньше, чем прежде (хотя чаще всего по дороге в бесчисленных автобусах и такси).

Верная слову, тетушка Хулия писала ежедневно, и бабушка, вручая мне ее письма, лукаво поглядывала и бормотала: «От кого же будет это письмецо? От кого?» Я тоже часто писал, завершая этим свой день, писал по ночам, падая от усталости, но в каждом письме давал полный отчет о всех хлопотах прошедшего дня. После отъ-

езда тетушки Хулии я постоянно встречался со своими многочисленными родственниками то в доме дяди Лучо и тети Ольги, то на улице и выяснял их отношение к происшедшему. Реакция оказалась самой разнообразной, а иногда и вовсе неожиданной. Наименее радостной она была у дяди Педро: не ответив на мое приветствие, он показал мне спину, предварительно смерив ледяным взглядом. Тетя Хесус уронила несколько слезинок и обняла меня, повторяя трагическим шепотом: «Бедное создание!» Другие дяди и тети старались показать, будто ничего не произошло, были ко мне внимательны, но о тетушке Хулии не упоминали и делали вид, словно ничего не знают о моей женитьбе.

Отца я не видел, но знал: после того, как было удовлетворено его требование о выезде тетушки Хулии из страны, он несколько смягчился. Мои родители жили у родственников по отцу, которых я никогда не навещал, но мама каждый день приходила к старикам, и здесь мы с ней встречались. Ко мне она относилась двояко: была нежна по-матерински, но каждый раз, когда так или иначе затрагивалась запретная тема, бледнела, у нее выступали слезы и она твердила: «Я никогда с этим не примирюсь». Я предложил ей посмотреть мою квартиру, но она так обиделась, будто я оскорбил ее; то, что я продал книги и одежду, для нее было поистине греческой трагедией. Я пытался успокоить ее, приговаривая: «Мамочка, не устраивай здесь радиотеатра». Мать не упоминала об отце, а я о нем не спрашивал, но от других родственников я узнал, что ярость его сменилась глубоким разочарованием в отношении моего будущего, и он часто повторял: «Он должен слушаться меня, пока ему не исполнится двадцать один год, а там пусть пропадает».

Несмотря на свои многочисленные заботы, за эти недели я написал новый рассказ. Он назывался «Благочестивая и падре Николас». Действие происходило в Гросио Прадо, само собой разумеется, и рассказ имел антиклерикальную направленность. Речь шла о ловком священнике, который, зная о популярности Благочестивой Мельчориты, решил воспользоваться ею в собственных интересах и с холодным расчетом и настойчивостью проныры-предпринимателя задумал многоотраслевое дельце, в которое входило изготовление и продажа иконок, четок, молитвенников и всевозможных реликвий, связанных с Благочестивой, а также взимание платы за посещение мест, где она проживала, организация денежных сборов и лотерей якобы на постройку часовни и на хлопоты, связанные с канонизацией Мельчориты в Риме. Я написал два разных эпилога к рассказу, как иногда бывает в газетных сообщениях. В одном из них жители Гросио Прадо разоблачали махинации падре Николаса и линчевали его, в другом — священник становился архиепископом Лимы. (Я решил, что окончательно выберу эпилог после чтения рассказа тетушке Хулии.) Рассказ этот я написал в библиотеке Национального клуба, где моя служба в качестве составителя каталога носила сугубо символический характер.

На радиосценариях, извлеченных мною из подвалов «Радио Сентраль» (сей труд принес мне лишних двести солей), мы продержались ровно месяц, пока не поступили либретто от компании CMQ. Однако, как и предполагал импресарио-прогрессист, ни те, ни другие радиодрамы не могли удержать гигантскую аудиторию, завоеванную некогда Педро Камачо. Число слушателей упало, и хозяева были вынуждены снизить цену на передачу рекламы, дабы совсем не потерять рекламодателей. Но для обоих Хенаро дело обернулось не так уж трагично: всегда изобретательные и энергичные, они нашли новую золотую жилу с помощью программы под названием «Отвечай на сумму шестьдесят четыре тысячи солей». Эту программу рекламировали с экрана кинотеатра «Париж». Кандидаты в эрудиты в самых различных областях знания (от автомобилей до Софокла и от футбола до инков) отвечали на вопросы, причем за каждый ответ назначалось определенное вознаграждение, деньги выплачивались, если отвечающий в сумме набирал цифру, указанную в программе. С помощью Хенаро-сына — мы вместе (хотя и несколько реже) по-прежнему пили кофе в «Бранса» на авениде Ла Кольмена — я следил за судьбой Педро Камачо. Почти месяц он провел в частной клинике доктора Дельгадо, однако в связи с тем, что пребывание здесь обходилось очень дорого, хозяева перевели его в дом для умалишенных имени Ларко Эрреры, содержащийся на средства общественной благотворительности. Здесь, говорят, его очень уважали. Однажды в воскресенье, после учета могил на кладбище Наставника-священнослужителя, я отправился на автобусе в больницу с намерением посетить Педро Камачо. В подарок я вез ему мешочек с листьями йербалуисы и мяты для приготовления отвара. Но в последний момент, уже входя вместе с другими посетителями в ворота лечебницы, я решил не наносить ему визита. Мысль о том, что я встречу писаку в этом обнесенном стенами зловонном углу (на первом курсе университета мы проходили здесь практику по психологии), увижу, что он превратился в одного из безумных в этой толпе сумасшедших, вызвала во мне великую горечь. Я вернулся в Мирафлорес.

В понедельник я сказал матери, что хотел бы встретиться с отцом. Она посоветовала мне остерегаться, не говорить ничего такого, что могло бы его разъярить, и дала телефон дома, где они остановились. Отец обещал принять меня на следующий день утром в одиннадцать часов в служебном кабинете, который он занимал до отъезда в Соединенные Штаты. В фирме «Импорт — экспорт» (я узнал здесь нескольких

прежних сотрудников отца) меня провели в дирекцию. Отец был один и сидел за старым письменным столом. На нем был кремовый костюм и зеленый с белыми крапинками галстук. Я заметил, что он похудел по сравнению с прошлым годом и был немного бледен.

— Добрый день, папа,— сказал я еще в дверях, тщетно пытаясь придать своему голосу твердость.

— Говори, что ты хотел мне сказать,— ответил он скорее равнодушно, чем язвительно, и указал на кресло.

Я присел на краешек и вздохнул, как штангист перед первой попыткой.

— Я пришел рассказать тебе, чем занимаюсь и что собираюсь делать,— пробормотал я.

Он молчал, ожидая продолжения. Тогда очень медленно, чтобы выглядеть спокойным, а на самом деле следя за его реакцией, я стал подробно рассказывать о всех своих службах, сколько зарабатывал на каждой, как распределял время, чтобы справиться со всеми обязанностями и, кроме того, заниматься и сдавать экзамены в университете. Я не лгал, однако выставлял все свои дела в самом выгодном свете: жизнь моя была очень разумно и серьезно организована, и я просто мечтал закончить учебу в университете. Я умолк, отец не произнес ни слова, очевидно ожидая, чем же я закончу. Проглотив слюну, я добавил:

— Как видишь, я могу зарабатывать на жизнь, могу себя прокормить и продолжать занятия.— Затем, чувствуя, что голос мой становится едва слышным, проговорил:— Я пришел просить у тебя разрешения вызвать сюда Хулию. Мы женаты, и она не может все время жить одна.

Отец заморгал, еще больше побледнел, и я на секунду подумал, что его охватит один из тех приступов ярости, которые так пугали меня в детстве. Однако он ограничился сухим ответом:

— Как тебе известно, этот брак недействителен. Ты еще не достиг совершеннолетия и не можешь вступить в брак без разрешения. Так что жениться ты мог, только подделав разрешение родителей или свидетельство о своем рождении. В обоих случаях такой брак легко аннулировать.

Он пояснил: подделка любого документа гражданского состояния является серьезным проступком, который карается по закону. Если кому и придется платить за битые тарелки, то этим человеком буду не я, пока еще несовершеннолетний, так как судьи сочтут меня совращенным; расплачиваться будет особа, уже достигшая совершеннолетия, которую по логике вещей будут считать соблазнительницей. После разъяснений в области юриспруденции, высказанных ледяным тоном, отец говорил еще долго, и мне показалось, что все-таки он немного волнуется. Я считал, будто он меня ненавидит, на самом же деле, по его словам, он всегда желал мне добра, а если иногда и бывал строг, то только с целью исправить мои недостатки и подготовить к самостоятельной жизни. Присущее мне бунтарство и желание настоять на своем погубят меня. Этот брак — петля на шее. Отец воспротивился ему, заботясь только о моем счастье, а не для того, чтобы причинить мне зло, как я считал. И потом, какой отец не любит своего сына? Кроме того, он понимал: я увлекся, и это не так уж плохо, поскольку означает, что я становлюсь мужчиной; было бы хуже, например, появись у меня склонности к педерастии. Однако брак в восемнадцать лет, когда я еще совсем молокосос, студент, брак со взрослой, разведенной женщиной — глупость, которую даже трудно себе представить и последствия которой я пойму гораздо позже, когда из-за женитьбы мне придется отказаться от карьеры, стать банкротом в жизни. А он не хочет такой судьбы для меня и мечтает только о самом лучшем, возвышенном. Короче, я должен стараться продолжать занятия, не бросать их, ибо в противном случае он всегда будет сожалеть об этом. Отец встал, я тоже. Последовало неловкое молчание, прерываемое только стуком пишущих машинок из соседней комнаты. Я пролепетал, что обещаю ему закончить университет, он кивнул. Прежде чем расстаться, после минутного колебания, мы обнялись.

Прямо из его кабинета я поспешил на Центральный почтамт и отправил телеграмму: «Амнистирована. Билет пришлю скоро. Целую». Весь этот вечер, где бы я ни находился — у историка, на верхотуре «Панамерикана», на кладбище, я ломал голову над тем, где достать денег. Вечером я составил список тех, у кого собирался просить в долг, и помечал сумму. Но на следующий день старикам принесли телеграмму: «Прибываю завтра рейсом ЛАН[1]. Целую». Как я потом узнал, тетушка Хулия купила билет на деньги, вырученные от продажи колец, серег, брошек, браслетов и почти всего гардероба. Так что, когда я встретил ее в аэропорту Лиматамбо вечером в четверг, она была почти нищей.

Я отвез ее прямо на квартирку, вымытую до блеска кузиной Нанси и к тому же украшенную алой розой, означавшей: «Добро пожаловать».

Тетушка Хулия разглядывала квартиру так, будто это была новая игрушка. Она очень веселилась, увидев мою кладбищенскую картотеку, приведенную в идеальный порядок, мои заметки для статей в «Перуанскую культуру», перечень писателей, которых я собирался интервьюировать для «Комерсио», распорядок моей работы и список

[1] ЛАН (Línea Aérea Nacional) — чилийская авиакомпания.

расходов, сделанных мною, который теоретически доказывал, что мы можем существовать. После того, сказал я, как мы насладимся любовью, я прочту ей рассказ под названием «Благочестивая и падре Николас» и она должна помочь мне выбрать финал.

— Ну и ну, Варгитас! — смеялась она, поспешно сбрасывая платье.— Ты становишься мужчиной. А теперь, в довершение всего, обещай мне отрастить усы, чтобы у тебя была не такая младенческая физиономия.

XX

Брак с тетушкой Хулией был действительно очень удачным и длился долго, намного дольше того срока, какой она сама и родственники предсказывали, которого желали и боялись: он продлился восемь лет.

За это время, благодаря моей настойчивости, ее помощи и энтузиазму и при определенном везении, сбылись и другие пророчества (мечты и надежды). Мы все-таки переехали жить в прославленные парижские мансарды, и я худо-бедно стал писателем и выпустил несколько книг. Я так и не закончил юридический факультет, но чтобы хоть как-то ублажить свое семейство и иметь возможность легче зарабатывать на жизнь, получил университетский диплом в столь же скучнейшей из академических наук, как и право,— романской филологии.

Когда мы разошлись с тетушкой Хулией, вся наша многочисленная родня горько оплакивала это событие, ибо все (начиная с моей матери и моего отца) ее обожали. И когда через год я вновь женился — в этот раз на собственной кузине (дочери тетушки Ольги и дяди Лучо — какая случайность!), семейный скандал был не столь громким, как в первый раз (главным образом — скандальные сплетни). Но зато теперь я столкнулся с настоящим заговором, чтобы сочетать нас церковным браком, причем в заговор этот был втянут сам архиепископ Лимы (разумеется, он был нашим родственником), который поспешил подписать — в виде исключения — разрешение на новый брак. К тому времени наше семейство уже избавилось от страхов и было готово мужественно встретить любое безумство с моей стороны (а это означало, что я заранее прощен).

Я прожил с тетушкой Хулией год в Испании и пять лет во Франции, потом жил с кузиной Патрисией в Европе — сначала в Лондоне, затем в Барселоне. В те дни я заключил соглашение с одним из журналов Лимы, куда посылал свои статьи, за что редакция оплачивала мне билеты, и каждый год я мог приезжать в Перу на несколько недель. Эти поездки, дававшие мне возможность встречаться с семьей и друзьями, были для меня очень важны. Я намеревался остаться в Европе на неопределенное время по разным причинам, но прежде всего потому, что здесь в качестве журналиста, переводчика, диктора или преподавателя я всегда мог найти работу, при которой у меня оставалось свободное время. Прибыв в первый раз в Мадрид, я сказал тетушке Хулии: «Я попытаюсь стать писателем, а потому соглашусь на любую работу, если она не отдалит меня от литературы». Хулита ответила: «Может, мне обрезать подол, надеть тюрбан и выйти на Гран виа[1] в поисках клиентов? И прямо с сегодняшнего дня?..» Конечно, мне чертовски повезло. Я преподавал испанский язык в школе Берлица в Париже, редактировал информационные материалы в агентстве Франс Пресс, переводил для ЮНЕСКО, дублировал фильмы на студиях Женевийе, готовил программы для Французского радио и телевидения,— хорошо оплачиваемая служба оставляла мне, по крайней мере, полдня на литературный труд. Но проблема заключалась в том, что все, написанное мною, касалось Перу. Каждый раз при этом у меня возникало чувство неуверенности, ибо я терял ощущение достоверности (я все еще был маньяком «реалистического» творчества). И в то же время мне казалась невероятной даже сама мысль о возвращении в Лиму.

При воспоминании о Лиме, где я работал в семи местах, что едва могло прокормить нас и дать возможность читать, где я писал урывками в те редкие свободные минуты, когда уже валился с ног от усталости,— при воспоминании обо всем этом у меня волосы вставали дыбом, и я клялся, что не вернусь на родину даже покойником. Кроме того, Перу всегда казалась мне страной печали.

Поэтому договоренность сначала с газетой «Экспресо», потом с журналом «Каретас» об обмене моих статей на два ежегодных авиабилета была для меня манной небесной. Месяц, проведенный нами в Перу (чаще всего зимой — в июле или августе), позволял мне вновь окунуться в привычную атмосферу, вернуться к пейзажам и людям, о которых я пытался писать в течение одиннадцати предыдущих месяцев. Мне была очень полезна (не знаю, как с точки зрения литературной деятельности, но психологически — бесспорно) инъекция энергии от встречи с Перу. Так приятно было вновь услышать речь перуанца, все эти словечки, восклицания, выражения, возвращавшие меня в среду, духовно мне близкую, но от которой я с каждым годом все больше отдалялся.

Поездки в Лиму, таким образом, были как бы отдыхом, тем не менее я буквально не знал ни минуты покоя и возвращался в Европу совершенно измотанным. Принимая ежедневные приглашения от обширного клана родственников и друзей на обеды и ужины, все свободное время я посвящал сбору материала. Так, однажды я отправился

[1] Главный проспект в Мадриде.

в зону Альто Мараньона[1], чтобы видеть, слышать, осязать мир, ставший фоном в романе, который я писал в то время. На следующий год в сопровождении своих отзывчивых друзей я занялся систематическим изучением ночных притонов — кабаре, баров, публичных домов, где протекала горькая жизнь героя другой моей книги. Сочетая в себе приятное с полезным, так как эти «исследования» отнюдь не являлись обязательными, а если и были таковыми, то в изрядной степени развлекали меня сами по себе, не говоря о том, что были нужны для литературной работы. Во время этих поездок мне довелось заниматься тем, что никогда меня не увлекало, пока я жил в Лиме, и чего потом, возвращаясь в Перу, не делал: я посещал народные праздники, смотрел фольклорные танцы, бродил по трущобам, где жили бедняки, обошел столичные районы, которые не знал или знал плохо,— Кальяо, Бахо-эль-Пуэнте, Барриос Альтос, играл на бегах, лазил по подвалам и склепам колониальных церквей и по дому, где (как предполагалось) жила девица Перричоли — возлюбленная одного из вице-королей.

Этот год я посвятил чисто литературным исследованиям. Я писал роман о времени диктатуры генерала Мануэля Аполинарио Одриа (1948—1956). На протяжении своего месячного отпуска в Лиме я дважды в неделю ходил по утрам в читальный зал Национальной библиотеки, где листал подшивки журналов и газет тех лет и даже испытывал что-то вроде мазохизма, просматривая тексты речей, которые секретари диктатора (юристы, судя по специфической риторике) писали для него. Выйдя из библиотеки, я спускался по авениде Абанкай, которая в полдень превращалась в огромный рынок бродячих торговцев. Тротуары заполняла густая толпа — многие мужчины и женщины были в пончо и широченных юбках, как принято в горных селениях; на шалях и газетах, расстеленных на земле, или в наспех выстроенных из ящиков, жестянок и парусины ларьках была разложена и продавалась всякая дешевка, какую только можно вообразить, от булавок и шпилек до платьев и костюмов, кроме того, разумеется, всевозможная еда, приготовленная тут же на углях. Это место Лимы изменилось больше других. На авениде Абанкай, сегодня запруженной толпой, среди которой немало пришельцев с гор, окутанной облаками дыма от жарева и острым ароматом специй, нередко можно услышать язык индейцев кечуа. Проспект совершенно не походил на ту широкую, строгую авениду конторских служащих и случайных нищих, по которой еще студентом-юнцом я бегал в ту же Национальную библиотеку. Сейчас она наглядно свидетельствовала о проблеме крестьянской миграции в города, за десятилетие вдвое увеличившей население Лимы: город оказался в кольце поселений, сгрудившихся на ближайших холмах, песчаных дюнах и пустырях, куда из провинции приходили искать убежище тысячи и тысячи людей, гонимых засухой, тяжким трудом, отсутствием всяких надежд, голодом.

Изучая новое лицо города, я спускался по авениде Абанкай, шел к Университетскому парку, к зданию, где прежде располагался университет Сан-Маркос (теперь факультеты переведены в окрестности Лимы, а в старом помещении, где я изучал право и филологию, располагаются музей и администрация). Движимый не только любознательностью или ностальгией, я изучал город в интересах своей писательской работы, потому что в романе, над которым я трудился, ряд эпизодов происходил именно в Университетском парке, в здании, где помещался университет Сан-Маркос, и в окружавших его букинистических лавках, бильярдных и крохотных кафе. В то утро я как турист стоял перед прелестной часовней Героев родины, наблюдая за прохожими: вот чистильщик сапог, продавцы мороженого, бутербродов, сладких вафель. Вдруг я почувствовал, что кто-то тронул меня за плечо. Это был — хоть и на двенадцать лет старше, но все такой же — Великий Паблито.

Мы крепко обнялись. Он действительно ничуть не изменился: коренастый и по-прежнему приветливый чоло[2], он, как и раньше, астматически дышал и шаркал при ходьбе, так что казалось, будто по жизни он катится на коньках. У Великого Паблито не появилось седины, и хотя он перешагнул, должно быть, за шестьдесят, волосы его были напомажены и гладко зачесаны по аргентинской моде сороковых годов. Однако выглядел он куда лучше, чем во времена, когда служил (теоретически) журналистом на «Радио Панамерикана». На нем — зеленый в клеточку костюм, переливающийся галстук (впервые в жизни я видел на нем галстук) и сверкающие туфли. Я так обрадовался ему, что предложил выпить кофе. Он согласился, и мы уселись за столик в ресторанчике «Палермо», с которым у меня связаны воспоминания об университетских годах. Я сказал, что не спрашиваю, как обошлась с ним жизнь, ибо по всему видно, что обошлась недурно. Он удовлетворенно улыбнулся (на пальце его сиял золотой перстень с инкским рисунком).

— Не могу пожаловаться,— признал Великий Паблито.— После той собачьей жизни на старости моя звезда взошла. Но позвольте мне прежде поставить вам пива: я так рад вас видеть.— Он позвал официанта, заказал ледяного «пльзена» и рассмеялся, что вызвало у него привычный приступ астмы.— Говорят, кто женится, тот погиб. Со мной же случилось наоборот.

Пока мы потягивали пиво, Великий Паблито, с передышками, как того требовали его больные бронхи, рассказал: после основания в Перу телевизионной станции хозяе-

[1] Истоки Амазонки в перуанских Андах, которая в начале своего течения носит название Мараньон.

[2] Метис, житель провинции, приехавший в Лиму.

ва Хенаро назначили его швейцаром, одев в ливрею с темно-красной фуражкой. Он стоял у подъезда здания на авениде Арекипа, специально выстроенного для студии «Пятый канал».

— От журналиста к швейцару — это может показаться падением,— пожал он плечами.— Так оно и было с точки зрения титулов. Но разве титулами кормятся? Мне повысили жалованье, а ведь это главное.

Обязанности швейцара были не слишком обременительны: он сообщал о порядке приема посетителей, разъяснял, что и где расположено в здании, следил за очередью, выстраивающейся, чтобы попасть в зрительный зал телекомпании. Все остальное время он проводил в спорах о футболе с полицейским, стоявшим на соседнем углу. Кроме того — и здесь Великий Паблито причмокнул, как от приятного воспоминания,— ему в обязанности вменили каждый полдень покупать пирожки с мясом и сыром, которые выпекали в лавочке «Бериссо», расположенной на Преналес, в одном квартале от телестудии «Пятый канал». Оба Хенаро были в восторге от пирожков; Великий Паблито покупал их и для актеров, режиссеров, дикторов, служащих и зарабатывал на этом неплохие чаевые. Именно в этой беготне между телестанцией и «Бериссо» Великий Паблито (ребятишки из-за формы окрестили его Пожарником) познакомился со своей будущей супругой. Она-то и создавала хрустящие кулинарные чудеса — кондитерша, она же повариха из «Бериссо».

— Ее сразила моя ливрея и генеральская фуражка, увидев меня, она немедленно сдалась,— смеялся, задыхался, пил пиво и снова задыхался, продолжая свой рассказ, Великий Паблито.— Такая смугляночка, что дай-то бог! На двадцать лет моложе вашего покорного слуги. И груди — пулей не пробьешь! Точь-в-точь как я вам описываю, дон Марио!

Великий Паблито однажды разговорился с кондитершей, стал отпускать ей комплименты, она посмеивалась, а потом они сошлись: полюбили друг друга, и начался кинематографический роман. Смуглянка была человеком решительным, предприимчивым, и голову ее переполняли разные планы. Это ей пришла мысль открыть ресторанчик. И когда Великий Паблито спросил: «На какие деньги?» — она ответила: «На те самые, что нам выплатят, когда ты уволишься». И хотя ему казалось безумством менять верную работу на нечто неопределенное, она все же настояла на своем. Выходного пособия едва хватило на приобретение запущенной хибарки в переулке Паруро, они залезли по уши в долги, чтобы купить столики и кухонную утварь; сам Великий Паблито окрасил стены и намалевал вывеску: «Павлин». В первый год они едва сводили концы с концами, хоть и работали как мулы. Поднимались с рассветом, ехали на рынок Ла Парада — купить продукты получше и подешевле; все делали сами: она готовила, он подавал, получал деньги, вместе прибирались, подсчитывали выручку. Спали на матрасах, после закрытия ресторанчика брошенных прямо на полу, среди столиков. На второй год клиентура стала расти — да так, что им пришлось нанять помощника на кухню и официанта. Дело кончилось тем, что случалось отказывать посетителям: помещение слишком мало. Тогда смуглянку осенило: надо арендовать соседний дом, который был втрое больше их помещения. Они так и сделали и не раскаиваются. Сейчас перестроили под ресторан и второй этаж, а сами живут напротив «Павлина». Поскольку взаимопонимание между ними было полное, они поженились.

Я поздравил его и спросил, научился ли он готовить.

— Знаете, что я подумал,— вдруг сказал Великий Паблито.— Пойдемте поищем Паскуаля и пообедаем в моем ресторане. Разрешите мне пригласить вас, дон Марио.

Я согласился, потому что никогда не умел отказываться от приглашений и к тому же мне было любопытно встретиться с Паскуалем. Великий Паблито рассказал, что тот стал редактором популярного журнала и тоже преуспевал. Они часто встречались: Паскуаль был завсегдатаем «Павлина».

Редакция журнала «Экстра» находилась довольно далеко — на улочке, идущей от авениды Арика, в районе Бренья. Мы отправились туда на автобусе, в мое время еще не ходившем там. Пришлось сделать несколько кругов: Великий Паблито не помнил адреса. Наконец, мы нашли редакцию на задворках кинотеатра «Фантазия». Уже со стороны было видно, что «Экстра» далека от процветания: над двустворчатыми воротами гаража приткнулась вывеска, едва державшаяся на одном гвозде, на ней было выведено название еженедельника. Войдя, мы обнаружили внутри два гаража, в стене между ними зияла дыра. Она не была ни заложена, ни отделана, будто каменщик бросил свою работу на середине. Дыру прикрывала картонная ширма, расписанная, как это обычно бывает в общественных туалетах, непристойными словами и рисунками. На стенах гаража, мимо которых мы проходили, среди пятен сырости и грязи виднелись фотографии, афиши и обложки «Экстры»: можно было узнать физиономии футболистов, певцов и, конечно, преступников и их жертв. На каждой обложке — броские «шапки»; я успел прочесть несколько вроде: «Он убил мать, чтоб жениться на дочери» или: «Полиция застигла врасплох маскарад: все были мужчины!» Помещение, судя по всему, служило и редакцией, и фотостудией, и архивом. Здесь громоздилось столько вещей, что трудно было протиснуться: столики с пишущими машинками, за которыми с бешеной скоростью стучали два молодых человека; какой-то мальчишка увязывал в кипы возвращенные номера журнала; в углу стоял платяной шкаф, заваленный негативами, отпечатанными фотоснимками, клише; за столиком, одну из ножек его заменяли три

кирпича, сидела девица в красной кофте и заносила счета в конторскую книгу. Казалось, и вещи, и люди здесь до предела стиснуты. Никто на нас не взглянул, ничего не спросил и даже не ответил на наше приветствие.

По другую сторону ширмы, у стен, также покрытых старыми обложками с сенсационными «шапками», стояли три письменных стола; над каждым выведенная чернилами надпись поясняла функции его владельца: главный редактор, ответственный секретарь, администратор. При нашем появлении двое, склонившиеся над гранками, подняли головы. Тот, который стоял, и был Паскуаль.

Мы крепко обнялись. Он действительно сильно изменился: растолстел, у него появились брюшко и второй подбородок, что-то в выражении лица делало его почти стариком. Он отпустил нелепые усики, отдаленно напоминавшие гитлеровские, но уже седеющие. Паскуаль с большой сердечностью приветствовал меня, и, когда он улыбнулся, я заметил, что у него почти нет зубов. После приветствий он познакомил меня с сотрудником — смуглым человеком в горчичного цвета рубашке, продолжавшим сидеть за своим столиком.

— Главный редактор журнала «Экстра»,— сказал Паскуаль.— Доктор Ребаглиати.

— Я чуть было не попал впросак — Великий Паблито говорил мне, что главный редактор ты,— сказал я, подавая руку доктору Ребаглиати.

— Мы, конечно, катимся вниз, но все же не до такой степени,— заметил последний.— Прошу, присаживайтесь.

— Я заведую редакцией,— пояснил Паскуаль.— Вот мой письменный стол.

Великий Паблито сообщил, что мы явились с намерением пригласить его в «Павлин», дабы вспомнить времена «Панамерикана». Паскуаль пришел в восторг от этой идеи, но мы должны были подождать его несколько минут: нужно было отвезти в типографию гранки — дело срочное, поскольку журнал уже подписывается в печать. Он убежал и оставил нас нос к носу с доктором Ребаглиати. Главный редактор, узнав, что я теперь живу в Европе, засыпал меня вопросами: правда ли, что француженки такая легкая добыча, как об этом толкуют? И верно ли, что в любви они столь искусны и пикантны? Он потребовал, чтобы я привел ему статистические и сравнительные данные относительно европейских женщин. Правда ли, что женщины каждой страны имеют свои особенности? Он, например (Великий Паблито, слушая доктора, закатывал глаза), узнавал у многих путешественников интереснейшие подробности. Правда ли, что итальянки обожают кларнет? А как парижанки? И точно ли скандинавки стараются «расшевелить» собственных папаш? Я, насколько позволяла мне эрудиция, отвечал на словесные извержения доктора Ребаглиати, делавшие атмосферу комнатушки удушливой и сластолюбивой, ежеминутно проклиная себя за то, что попал в ловушку с этим обедом, который к тому же обойдется, несомненно, в полторы тысячи солей. Великий Паблито, потрясенный и возбужденный, хохотал над социоэротическими разглагольствованиями главного редактора. Наконец, измученный любопытством последнего, я попросил разрешения воспользоваться его телефоном. Он саркастически улыбнулся.

— Вот уже неделя, как телефон отключен за неуплату,— сказал он с пугающей откровенностью.— Вы же сами видите — журнал идет на дно, и все мы, работающие здесь идиоты, идем ко дну вместе с ним.

С каким-то садистским удовольствием он рассказал мне, что журнал «Экстра» был создан во времена президента Одриа при его благосклонном покровительстве: диктатура публиковала в журнале объявления и тайком оплачивала редакции нападки на определенных лиц и защиту других. «Экстра» являлся одним из немногих разрешенных тогда к публикации журналов и расходился нарасхват. Но после ухода Одриа с президентского поста журнал не выдержал жестокой конкуренции и прогорел. Уже в безнадежном состоянии этот журнал попал в руки доктора Ребаглиати. Он его «взбодрил», изменил направление, превратил в издание, специализирующееся на сенсационных сообщениях. Некоторое время все шло как по маслу, несмотря на старые долги. Но в этом году, когда поднялись цены на бумагу, на полиграфию, когда враги развязали против журнала кампанию, а рекламодатели лишили его объявлений, наступила черная полоса. Мало того, журнал проиграл пару судебных процессов против каналий, обвинивших редакцию в клевете. И теперь испуганные владельцы раздарили все акции служащим журнала, чтоб не платить за битые горшки, как только «Экстра» пойдет с молотка. А это событие — не за горами, ибо в последние недели положение стало просто катастрофическим: денег для выплаты жалованья не было, сотрудники, предвидя окончательный крах, выносили пишущие машинки, продавали письменные столы, тащили все, что имело хоть какую-то ценность.

— Такое больше месяца не продлится, друг мой,— повторял доктор, вздыхая и будто испытывая при этом жестокое удовольствие.— Мы уже покойники, разве вы не чувствуете запах тлена?

Я собирался ответить, что действительно пахнет тленом, но неожиданно в разговор вмешалось какое-то существо, крохотный скелетик, проникший в комнату через узкую щель, даже не отодвигая при этом ширмы. Постриженный по-немецки, что выглядело смешно, он одет был как бродяга — синий комбинезон, вся в заплатах рубашка под серым, даже для него узким пуловером. Но самым выдающимся в его туалете была обувь — красноватые баскетбольные кеды, настолько старые, что одну из них он подвязал к ноге шнурком, как если бы у ботинка отвалилась или готова

отвалиться подошва. Увидев его, доктор Ребаглиати немедленно обрушился на это существо.

— Вы ошибаетесь, если думаете, что надо мной можно издеваться,— заявил он так грозно, что скелетик отпрянул назад.— Разве не вы еще вчера вечером должны были принести материал о прибытии Чудовища из Айякучо?

— Я принес материал, господин главный редактор. Я был здесь, я принес все соответствующие сведения через полчаса после того, как патруль высадил в префектуре некоего проникшего,— проговорил человечек.

Удивление мое было так велико, что я остолбенел. Прекрасная дикция, музыкальный голос, словечки вроде «соответствующие сведения» и «некий проникший» могли принадлежать только ему. Но можно ли было признать боливийского писаку в этом огородном пугале, которого доктор Ребаглиати готов был съесть заживо?

— Не лгите, по крайней мере имейте мужество отвечать за свои ошибки. Вы не приносили никакого материала, и Мелькочита из-за этого не смог написать свою хронику, поэтому информация выйдет неполной. А мне не нравятся куцые информации — это дурной тон в журналистике!

— Я приносил, господин главный редактор,— вежливо, но с волнением в голосе отвечал Педро Камачо.— Однако редакция была уже закрыта. Это было ровно в одиннадцать пятнадцать ночи. Я спросил, который час, у прохожего, господин главный редактор. И так как я знал, насколько важны эти сведения, я отправился на дом к Мелькочито. Я ждал его на улице до двух часов ночи, но он не явился ночевать домой. Моей вины нет, господин главный редактор. Полицейские, которые везли Чудовище, были задержаны в дороге оползнем и поэтому прибыли в одиннадцать вечера вместо девяти. Не обвиняйте меня в неисполнительности. Для меня журнал — главное, господин главный редактор, важнее собственного здоровья.

Постепенно, не без усилия, я увязывал все, что помнил о Педро Камачо, с тем, что ныне было передо мной. Те же глаза навыкате, но без следа фанатизма, одержимости. Они стали тусклыми, несчастными, бегающими, затравленными. А вот жесты и походка, манера двигаться во время разговора, эти нелепые взмахи рукой, как у ярмарочного зазывалы, остались прежними. Прежним был и несравненный, мелодичный, ласкающий голос.

— Дело в том, что вы, по своей прихоти избегая автобусов и такси, всегда и всюду опаздываете. Вот в чем суть,— истерически выговаривал доктор Ребаглиати.— Не надо жадничать, черт возьми, потратьте четыре медяка на автобусный билет, чтобы быть вовремя на месте происшествия.

Между нынешним и прежним Педро Камачо отличий было больше, нежели сходства. Главное, в чем проявлялось различие между прежним и нынешним Педро Камачо, было вызвано изменениями в прическе: после того, как Педро Камачо расстался со своей гривой до плеч и почти наголо остригся, лицо его стало более угловатым, менее значительным, оно утратило свою неповторимость, своеобразие. Кроме того, он стал намного худее и казался факиром, каким-то бесплотным духом. Но, пожалуй, в первый момент я не узнал его из-за костюма. Прежде он всегда ходил в черном — мрачном и заношенном до блеска — костюме и галстуке-бабочке, которые были неотъемлемой частью его облика. Теперь же, в комбинезоне грузчика, залатанной рубахе и подвязанных к ногам кедах, он выглядел карикатурой на карикатуру того, кем был двенадцать лет назад.

— Уверяю вас, все не так, как вам кажется, господин главный редактор,— защищался Педро Камачо с сознанием своей правоты.— Я вам уже доказывал, что гораздо быстрее могу прибыть куда угодно пешком, чем в этих омерзительно пахнущих драндулетах. Я хожу пешком не из жадности, а ради того, чтобы более точно исполнять порученное мне дело. И очень часто я бегаю, господин главный редактор.

В этом он тоже остался прежним: у него и теперь начисто отсутствовало чувство юмора. Он говорил без малейшего намека на хитрость, уловку и даже не волновался, говорил автоматически, безлико,— в те давние времена невозможно было даже предположить, что он когда-нибудь будет высказываться подобным образом.

— Да бросьте вы свои глупости и дурацкие привычки, я слишком стар, меня не обвести вокруг пальца.— Доктор Ребаглиати обернулся, призывая нас в свидетели: — Вы слыхали этакие идиотские заявления? Разве можно обежать все полицейские комиссариаты Лимы быстрее, чем объехать их на автобусе? И этот сеньор хочет, чтобы я проглотил такую чушь?..— Он вновь повернулся к боливийскому писаке, не сводившему глаз с главного редактора и даже мельком не взглянувшему на нас: — Зачем мне вам об этом напоминать, полагаю, вы сами должны помнить, каждый раз садясь перед тарелкой с супом, что мы оказываем вам великую милость, предоставляя работу. Ведь мы сами в отчаянном положении, нам впору уволить редактора, я уж не говорю о тех, от кого получаем информацию. Будьте хоть благодарны и выполняйте свои обязанности.

В эту минуту появился Паскуаль и тотчас же сообщил: «Все в порядке, номер сдан в печать», после чего извинился, что заставил нас ждать. Я подошел к Педро Камачо, собиравшемуся уходить.

— Как поживаете, Педро? — сказал я, протягивая ему руку.— Вы меня не помните?

Он оглядел меня с головы до ног, прищурив глаза, физиономия его от удивления вытянулась, будто он видел меня впервые. Наконец, подал руку холодным и церемонным жестом и, сделав свой характерный поклон, ответил:

— Очень рад. Педро Камачо, ваш друг.

— Не может быть,— произнес я в глубоком замешательстве.— Неужели я так постарел?

— Перестань притворяться беспамятным,— Паскуаль так хлопнул по спине Педро Камачо, что тот покачнулся.— Неужто не помнишь, как вы с ним попивали кофе в «Бранса»?

— Точнее, отвар йербалуисы с мятой,— засмеялся я, пытаясь уловить хоть какое-то движение на внимательном и в то же время равнодушном личике Педро Камачо. Он кивнул (при этом я увидел его почти лысый череп), состроив соответствующую улыбку, обнажившую его зубы.

— Прекрасное средство для желудка, помогает пищеварению, уничтожает пагубное воздействие жиров,— заявил Педро. И потом быстро, как бы делая нам одолжение и стремясь поскорее освободиться, добавил: — Очень возможно, не отрицаю, вполне возможно, что мы были знакомы.— И вновь повторил: — Очень рад.

Подошел Великий Паблито, по-отечески и весело обнял его за плечи. И, потряхивая его полуласково-полупрезрительно, обратился ко мне:

— Здесь Педрито не желает вспоминать времена, когда он был выдающейся личностью, особенно теперь, став лишней спицей в колеснице.— Паскуаль засмеялся, Великий Паблито тоже, я сделал вид, что смеюсь, а сам Педро Камачо выдавил подобие улыбки.— Он даже рассказывает нам сказки, будто не помнит ни меня, ни Паскуаля.— Великий Паблито погладил его, как собачонку, по оставшимся волосикам.— Мы как раз направляемся пообедать, чтобы вспомнить времена, когда ты был королем. Тебе повезло, Педрито, сегодня ты поешь горяченького. Я тебя приглашаю!

— Глубоко вам благодарен, коллеги,— немедля ответил Камачо, делая свой привычный полупоклон.— Но я не могу вас сопровождать. Меня ждет супруга. Она будет беспокоиться, если я не приду обедать.

— Она подавляет тебя, ты превратился в раба! Какой позор! — опять потряс его Великий Паблито.

— Вы женаты? — спросил я, пораженный, ибо не мог представить, что у Педро Камачо могут быть свой очаг, супруга, дети...— Примите мои поздравления, я думал, вы — закоренелый холостяк.

— Мы уже отпраздновали нашу серебряную свадьбу,— ответил он своим ровным и безликим голосом.— Великолепная супруга, сеньор. Самоотверженная, удивительно добрая. В силу жизненных обстоятельств мы жили порознь, но когда мне потребовалась помощь, она вернулась и поддержала меня. Повторяю вам — удивительная женщина. Она — актриса, иностранка.

Я заметил, что Великий Паблито, Паскуаль и доктор Ребаглиати обменялись насмешливыми взглядами, но Педро Камачо будто ничего не видел. После минутного молчания он добавил:

— Развлекайтесь, коллеги, я мысленно буду с вами.

— И смотрите не подведите меня еще раз — он будет последним,— предупредил его доктор Ребаглиати, когда писака уже исчезал за ширмой.

Еще не утихли шаги Педро Камачо — он, видимо, только приближался к выходу на улицу,— как Паскуаль, Великий Паблито и доктор Ребаглиати взорвались хохотом, они подмигивали друг другу, корчили рожи, тыча пальцами в ту сторону, куда вышел писака.

— Он не так глуп, как хочет казаться. А прикидывается, чтобы скрыть свои рога! — воскликнул с улыбкой доктор Ребаглиати.— Каждый раз, когда он говорит о своей супруге, мне ужасно хочется ему сказать: перестань называть артисткой ту, которую у нас попросту именуют стриптизеркой последней категории.

— Даже представить себе трудно, до чего она безобразна,— проговорил Паскуаль, изображая ребенка, увидевшего бяку.— Старая, толстенная, раскрашенная, с обесцвеченными патлами аргентинка. Она выкрикивает слова танго, полуголая, в «Мезанине», ночном притоне для нищих.

— Заткнитесь, не будьте такими неблагодарными! Вы ведь оба с ней переспали,— сказал доктор Ребаглиати.— Да и я попользовался!

— Певица, какая там певица! Обыкновенная проститутка! — воскликнул с горящими глазами Великий Паблито.— Слово даю. Я заглянул в «Мезанин» посмотреть на нее, после шоу она сама подошла ко мне и предложила за двадцатку оказать любую услугу... Нет, голубушка, думаю! Слишком ты стара. Ни за двадцатку, ни даже если сама мне приплатишь. Старуха, беззубая старуха, дон Марио!

— Они уже давно женаты,— говорил Паскуаль, застегивая рукава рубашки и надевая пиджак и галстук.— Поженились еще в Боливии, перед отъездом Педрито в Лиму. Кажется, она его бросила и пошла по рукам. И снова они сошлись, когда случилась вся эта история с домом для умалишенных. Поэтому он и твердит все время, какая она самоотверженная женщина, она пришла к нему, когда он был сумасшедшим.

— Он благодарен ей, как собака, ведь она его кормит,— поправил доктор Ребаглиати.— Ты думаешь, они могут прожить на то, что зарабатывает Камачо, принося уго-

ловную хронику из полицейских комиссариатов? Он кормится на заработок проститутки — не будь ее, он бы уже давно заболел туберкулезом.

— Хотя этому Педрито немного надо,— сказал Паскуаль и пояснил мне: — Они живут на улице Санто-Кристо, как низко он пал, правда? А вот главный редактор не хочет мне верить, что Камачо был известнейшей личностью, когда писал свои радиодрамы, и у него даже просили автографы.

Мы вышли за дверь. Из гаража уже исчезли девица с конторскими книгами, редакторы и мальчишка, увязывавший пакеты. Свет был погашен. Нагромождение хлама и беспорядок придавали помещению какой-то нереальный вид. Переступив порог, доктор Ребаглиати закрыл дверь и запер ее на ключ. Мы пошли по авениде Арика в поисках такси, шагая все четверо в ряд. Чтобы сказать хоть что-нибудь, я спросил, почему Педро Камачо занимался лишь сбором информации, почему его не сделали редактором.

— Потому что он не умеет писать,— предупредительно ответил доктор Ребаглиати.— Он — пошляк, кроме того, любит употреблять никому не понятные слова, в общем, полнейшее отрицание журналистики. Поэтому я и направил его по полицейским комиссариатам. Он мне совсем не нужен, но он развлекает меня, он — мой шут, да и платим мы ему меньше, чем уборщику.— Доктор гаденько рассмеялся и спросил: — Ну ладно, давайте внесем ясность — приглашен я на ваш обед или нет?

— Конечно, разумеется! Как это раньше мне не пришло в голову! — ответил Великий Паблито.— Вы и дон Марио — почетные гости.

— Этот тип одержим фантазиями,— произнес Паскуаль уже в такси, направлявшемся к Паруро.— Например, он не признает автобусов. Только пешком, и говорит, что так гораздо быстрее. Представляю себе, сколько километров в день он пробегает, я устаю от одной этой мысли! Ведь обойти лишь полицейские комиссариаты в центре города — это уже десятки километров! Вы видели его кеды?

— Просто он — поганая жадина,— сказал с неприязнью доктор Ребаглиати.

— Не думаю, что он жаден,— вступился за Камачо Великий Паблито.— К тому же он малость свихнулся, да и опять не повезло ему.

Обед был очень долгим, криольские блюда следовали одно за другим — разнообразные и острые, их сопровождало холодное пиво, и было на этом обеде всего понемногу: скабрезные историйки, воспоминания о прошлом, подробнейшие сплетни о знакомых, чуть-чуть политики. Мне еще раз пришлось отвечать на многочисленные вопросы относительно европейских женщин. Даже была парочка оплеух, когда подвыпивший доктор Ребаглиати пытался подкатиться к супруге Великого Паблито, еще довольно красивой сорокалетней женщине. Но я сам вызвал эту склоку, чтобы на протяжении всего нудного вечера никто из них и словечком не вспомнил о Педро Камачо.

Когда я вернулся в дом тети Ольги и дяди Лучо (мои родственники стали теперь моими тестем и тещей), у меня болела голова и было не по себе. Спускалась ночь.

Кузина Патрисия встретила меня с ледяным выражением лица. Она заявила, что всеми этими выдумками относительно материала для моих романов я еще мог морочить голову тетушке Хулии и вообще мог рассказывать ей любовные сказки про Карабаса-Барабаса, поскольку она не осмеливалась перечить мне, чтобы никто не подумал, будто она совершает преступление против культуры. Но ее — Патрисию — ни капли не волнует преступление против культуры, так что если я еще раз уйду в восемь утра под предлогом чтения в Национальной библиотеке речей генерала Мануэля Аполинарио Одриа, а вернусь в восемь вечера с покрасневшими глазами, распространяя запах перегара, и, конечно, с пятнами от губной помады на носовом платке, она расцарапает мне физиономию или разобьет о мою голову тарелку.

Кузина Патрисия — девица с сильным характером и вполне способна выполнить обещанное.

Несколько слов о романе Марио Варгаса Льосы

Новый роман Марио Варгаса Льосы «Тетушка Хулия и писака» вызвал живейший отклик литературной критики Латинской Америки. Однако на этот раз, по сообщениям латиноамериканской печати, отзывы рецензентов не были столь однозначны, как при появлении в свет прежних произведений талантливого перуанского писателя.

Признавая высокие художественные достоинства романа в целом, авторы критических статей не сходятся главным образом в оценке выведенных в нем персонажей, точнее — в установлении, если можно сказать, удельного веса каждого из них. Итак, кто же все-таки главный герой этого весьма своеобразно построенного произведения, в котором обе основные композиционные линии не столько взаимно дополняют одна другую, сколько в какой-то степени соперничают между собой? А отсюда — каково социальное, общественное значение романа Варгаса Льосы?

С весьма противоречивыми суждениями по поводу романа пишущему эти строки довелось столкнуться и на недавно проходившем в венесуэльской столице XIX Международном конгрессе нбероамериканской литературы (между прочим, среди представлен-

ных конгрессу докладов фигурировал доклад латиноамериканиста из Бельгии — «Тетушка Хулия и писака»: новый румб в творчестве Марио Варгаса Льосы»). В наших дискуссиях некоторые участники конгресса предпочитали на первый план выдвигать историю любви восемнадцатилетнего Марито к тридцатидвухлетней женщине, к тому же находящейся с ним в некоем родстве, а образ «писаки» Педро Камачо воспринимали лишь в юмористическом свете.

Возможно, что возникновению такого рода суждений содействовали выступления в прессе двух «мэтров» латиноамериканского литературоведения, насколько маститых, настолько и консервативных, мыслящих клишированными категориями западной пропаганды, но еще пользующихся былым академическим престижем. Так, колумбийский эссеист Херман Арсиниегас даже названием своей статьи «Варгас Льоса, сеньора и семья», опубликованной в газете «Тьемпо» (Богота), преднамеренно ограничил ее тему, явно решив приглушить социальное звучание романа, все свести к поверхностному, узкому, одностороннему и более чем спорному толкованию произведения. А перуанский литературовед Луис Альберто Санчес, выступая на страницах газеты «Пренса» (Лима) со статьей «Опять о том же», счел подходящим выразить огорчение, что, дескать, «Варгас продал фальшивый образ самого себя», и попутно заявить: «Мы должны признать, что нам показались чрезмерно преувеличенными радиотеатральные творения Педро Камачо, неудачным конец, поскольку автор не позволяет читателю каких-либо отступлений либо передышки, убивает всех и вся... оставляет вне опасности лишь возрастающую и живописную любовь Варгитаса и тетушки Хулии...»

Разумеется, сама по себе история любви Марито и Хулии, как бы мы к ней ни относились, имеет известное право на существование — даже не только литературное.

Кстати, свое новое произведение Марио Варгас Льоса без всяких экивоков посвятил «Хулии Уркиди Ильянес, которой так обязаны я и этот роман».

Автор романа уже подтверждал, что многое в этом произведении (как, впрочем, и в других произведениях Варгаса Льосы) носит автобиографический характер. Из реальной жизни вошли в роман донья Хулия — первая жена писателя, и донья Патрисия, которая до того, как появилась в последней главе произведения, побывала, к слову сказать, вместе со своим мужем, Марио Варгасом Льосой, у нас, в редакции «Иностранной литературы».

О жизненном пути, о становлении будущего писателя поведано в юношески непосредственном повествовании — нет, это отнюдь не воспоминания о далеком прошлом! — Марито Варгитаса, по студенческим документам именовавшегося Хорхе Марио Педро Варгас Льоса.

Включение подлинных имен и ситуаций, взятых из действительности, по мнению автора романа, еще не означает, что «Тетушка Хулия и писака» — автобиография. Более того, автобиографические элементы не призваны играть первостепенную роль. Нельзя не заметить, что и тетушка Хулия, жизнерадостная, энергичная и обаятельная женщина, ни разу не выступает в романе одна, самостоятельно,— и, собственно, мы знаем ее лишь со слов молодого Марио. Фоном служат и общество перуанской столицы 50-х годов, реалистически нарисованное писателем, и сцены провинциальных нравов.

В беседах с нами, еще до публикации романа, Марио Варгас Льоса подчеркивал, что стержневой линией романа была и остается история «писаки» Педро Камачо, проблема Педро Камачо. И в Педро Камачо писатель видит не судьбу некоего графомана («графографа», как назвал Сальвадор Элисондо своего героя, высказывание которого взято Варгасом Льосой в качестве эпиграфа к публикуемому роману), а я в л е н и е — серьезное, негативное, пагубное — в культурной панораме Запада.

Как же возник образ Педро Камачо?

Несколько лет назад, при первой нашей встрече, Марио Варгас Льоса говорил мне, что он, как правило, «не выдумывает» персонажей своих произведений. С прототипом «писаки», которому он дал имя Педро Камачо, романист познакомился в годы юности, когда сам работал на радио, много раз встречался с ним («ведь это был первый человек, называвшийся писателем, которого я увидел воочию»,— вспоминал Варгас Льоса). Можно представить, какое огромное впечатление производил на окружающих «король радиотеатра», малограмотный, но обладавший неуемной фантазией, невероятнейшей «р о б о т о с п о с о б н о с т ь ю»! Фабриковавший в течение дня по нескольку радиопьес или радиороманов «на потребу широкой публики», «писака» в конце концов запутывался в собственных творениях, перемешивал имена, характеристики действующих лиц, события, происходившие с ними,— в его больном воображении мертвые, убитые им же в предыдущей пьесе, неожиданно оказывались живыми и т. д. Вполне понятно, образ Педро Камачо — образ художественный, собирательный, в какой-то мере кажущийся гротескным и все же не очень далекий от подлинного (прототип, как мне передавали, здравствует, разбогател, владеет телевизионной станцией, но действует не в Перу).

«История Педро Камачо — чрезвычайно курьезна, однако ее могут принять как нечто ирреальное, чересчур абсурдное,— говорил Варгас Льоса,— и мне могли не поверить. А мне хотелось придать этой истории определенную правдоподобность, чтобы у читателя не создавалось ощущения чистого вымысла. Повествование должно быть построено на реальной почве, конкретной, объективной. Я подумал, что, пожалуй, корнями реальности могут послужить фрагменты, элементы моей личной биографии — для эффекта контраста. Роман, будучи жанром творческого переосмысления жизни,

порой воспринимают как фикцию, полет литературного воображения. Таким образом, я пришел к заключению, что роман получится, если перемежать историю «писаки», а также образцы его сочинений в форме включенных в структуру романа новелл, и эпизоды автобиографические. Если бы не было истории «писаки», то не было бы и романа. А сам по себе роман убедил меня в том, насколько трудно определить границы между фантастическим и фактическим».

В творческом мире Марио Варгаса Льосы «Тетушка Хулия и писака» — произведение бесспорно новаторское: выделяется своим стилем, сюжетосложением, наконец, социальной направленностью. В латиноамериканской прозе еще не встречалось такой глубины противопоставления двух полярных, антитетических точек зрения на литературное творчество (мечты начинающего писателя — действия «писаки»).

«Мне не нравится ходить по уже пройденному пути,— делился с нами автор романа.— Каждая книга для меня — всегда приключение, увлекающее как попытка предпринять что-то новое: не только рассказать новую историю, но и попробовать по-новому ее рассказать. Другому писателю наверняка легче — написав один роман, повторить затем в той или иной степени те же формулы, то же построение. Меня это интересует менее всего. Так и в «Тетушке Хулии и писаке»...»

Повествуя о бурной деятельности Педро Камачо, писатель создал блестящую сатиру, своим острием направленную против «фабрикантов» сублитературы, инфракультуры, «массовой культуры», наводняющей как радио- и телевизионные программы, так и книжные рынки и киноэкраны в латиноамериканских странах. В планах духовной экспансии сил, враждебных национальной, подлинной культуре этих стран, придается огромное значение средствам «массового оглупления», отравления сознания людей.

Мастерски, остроумно, от тонкой иронии переходя к язвительному сарказму, Варгас Льоса пародирует модные «сериалы» сенсационных и сомнительной литературной ценности радиодрам, теленовелл, изготовляемых по образцу и подобию «made in USA».

Почти два десятилетия назад известный перуанский историк и философ Аугусто Саласар Бонди, характеризуя культурную жизнь Перу пятидесятых годов — периода диктатуры генерала Одриа, когда происходит действие романа Варгаса Льосы,— с горечью писал в мексиканском журнале «Куадернос американос»: «Многое, конечно, можно сказать о прогрессе искусств и литературы в Перу, однако нельзя забывать, что речь идет о явлении весьма ограниченном — о том, что меньшинством создается для меньшинства, тогда как огромное сообщество лишено доступа к образованию. Широкие массы попали под влияние чужеземной пропаганды, поставленной на коммерческую ногу, становятся легкой жертвой субпродукции меркантильной культуры. Так происходит процесс все более обостряющейся деформации народного сознания, несущей нарастающее обезличивание страны... Это — следствие утраты экономической независимости. Нации, связанной по рукам и ногам, своей социальной и экономической системой отданной иностранным хозяевам, предлагают разлагающую культуру, расслабляющую, подчиненную чужим идеалам и интересам». По словам Саласара Бонди, «нетрудно найти объяснение, почему литература и искусство Перу не могли дать свои, неповторимые плоды». Марио Варгас Льоса, в свое время слушавший лекции профессора Аугусто Саласара Бонди в университете Сан-Маркос, показывает это в новом романе.

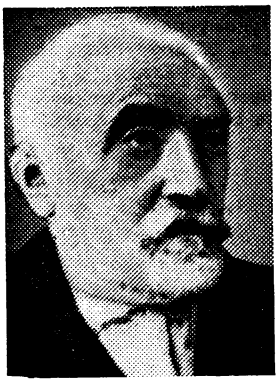
Не без чувства тревоги Марио Варгас Льоса в одном из недавних интервью в Каракасе сказал: «Я убежден в том, что радио и телевидение, как кино и другие современные средства общественной коммуникации, являются инструментами исключительной важности для развития культуры.

Однако на деле, к несчастью, во многих странах, в том числе и в моей стране, в силу коммерческих интересов, цензурных или политических, эти средства преобразились наихудшим образом, стали органами отчуждения, чуждого воздействия на души людей».

В романе «Тетушка Хулия и писака» все и всякие педро камачо, их вдохновители и идеологи увидели себя в беспощадном зеркале.

ЮРИЙ ДАШКЕВИЧ

■



МИГЕЛЬ де УНАМУНО

Стихи из книги «Поэтический дневник»

■

Перевод с испанского и вступление
СЕРГЕЯ ГОНЧАРЕНКО

Трудно представить себе литературную современность Испании без Мигеля де Унамуно. Сто пятнадцать лет минуло со дня его рождения, и более четырех десятилетий отделяют нас от ночи его смерти — а он по-прежнему продолжает волновать умы и души своих соотечественников.

Ученый, романист, философ и общественный деятель, он во всех ипостасях своего творчества проявлялся прежде всего как поэт — и не удивительно, что любая антология новой испанской поэзии открывается его именем. Внимание составителей привлекают и восемь прижизненно изданных его стихотворных сборников, и — с каждым годом все чаще — посмертное завещание Унамуно: его «Кансьонеро» [1], или «Поэтический дневник».

Книга эта была напечатана лишь в 1953 году — через семнадцать лет после смерти писателя — и не на родине, а в далекой Аргентине: слишком по-современному продолжала звучать взыскующая лирика Унамуно, чтобы можно было беспрепятственно ее публиковать в условиях франкистской диктатуры. Слишком ненавистен властям предержащим был этот «великий еретик и учитель ереси» (по аттестации епископа Канарских островов), выступавший «против церкви, святого сердца Иисусова, испанской армии, исповеди святой Девы» и бросивший перед смертью в лицо фалангистам пророческие слова: «Вам, возможно, удастся победить, но убедить вы не сможете никогда!»

«Поэтический дневник» создавался четырнадцать лет — с 1922 по 1936 год — год начала гражданской войны в Испании, год домашнего ареста и смерти Унамуно в Саламанке, захваченной франкистскими мятежниками. В эту книгу вошло около двух

[1] Книга песен *(исп.)*.

МИГЕЛЬ ДЕ УНАМУНО — MIGUEL DE UNAMUNO (1864—1936).
Выдающийся испанский поэт, романист, философ. На русском языке публиковались его романы «Туман» и «Авель Санчес», а также книга философской прозы «Назидательные новеллы». Подборка стихов из разных сборников М. де Унамуно печаталась в «ИЛ» (№ 2, 1974) с вступительной статьей И. Тертерян о поэтическом наследии писателя.
Предлагаемая подборка составлена из стихотворений, вошедших в посмертно опубликованную книгу Унамуно «Кансьонеро. Поэтический дневник» («Cancionero. Diario poético». Buenos Aires, 1953). Эти стихи войдут в книгу избранной лирики Унамуно, готовящейся к печати издательством «Молодая гвардия».

тысяч стихотворений, стремительным почерком записанных на узеньких полосках бумаги в разное время дня и ночи. Многие стихи существуют в нескольких редакциях: не отменяя прежнего варианта, Унамуно надписывал над одной строчкой другую. К «Поэтическому дневнику» он обращался, размышляя об истинном назначении писателя, о вечном единоборстве жизни и смерти, страсти и разума,— обращался и в минуту торжества, и в горький час душевного смятения. Особенно много записей вобрал в себя дневник в годы ссылки и изгнания поэта (1924—1931), когда Испанией правил диктатор Примо де Ривера. Именно в то время (задолго до Франко!) в «Поэтическом дневнике» появляется меткая и убийственная, как выстрел, характеристика фашизма (см. стихотворения «Фашизм», «Из родных далеких мест...»).

Во вступлении к этой публикации мы не останавливаемся на проблеме творческой эволюции этого большого и сложного художника. Заметим только, что почти всякая строфа из «Поэтического дневника» содержит в себе конденсат унамуновской философии чувства и его лирической мысли: «я осмысливал чувство, я прочувствовал смысл...»

Ну, а для переводчика поэзии Унамуно не может быть большего счастья, нежели сознание, что ему довелось — в меру своих сил — высветить хотя бы одну из граней «Дневника» — этой книги, о которой сам поэт когда-то писал:

Взяв эту книгу, ты берешь
меня. И если — дрожь по коже,
то знай, читатель: это тоже
тебя моя колотит дрожь!

■ ■ ■

Было слово сначала,
до начала начал.
И оно прозвучало,
все на свете зачав.
Значит, если созрело
слово вещее *будь*,
то от слова до дела
будет короток путь.
Реки руслом проходят
сквозь гранит и века.
Убежден: происходит
речь от слова *река*.

■ ■ ■

Юный слог мой, ты старомоден.
Мой язык, что с тобою сталось?
Ты состарившееся детство
или впавшая в детство старость?
Не вино ли ты в новой бочке,
то, которое скиснет вскоре?
Нет, язык мой — живая влага,
оросившая древний корень.
Стало будущее минувшим,
но не гаснет его горенье.
Море ливнем впадает в реки.
Продолжается сотворенье.
Ты, кем был я во время оно,
надели меня слогом сущим,
тем, которым с моим народом
буду я говорить в грядущем.

■ ■ ■

Запой, цыган! Смятенно
дрожи, дворец Альгамбры:
и вековые стены
не для цыганской самбры[1].
Какая кровля выше,
чем купол поднебесья?
И очагом, и крышей
цыгану служит песня.
Всегда в его светлице
светло от *канте хондо:*[2]
ведь окнам не годится
быть у́же горизонта.

Кристаллы, кристаллы

Кристаллы, кристаллы, соцветья
во мглу погруженной земли.
Когда расцвели вы, на свете
другие цветы не цвели.
Нацежен был мало-помалу
из мрака лучистый хрусталь,
чтоб стало под силу кристаллу
вместить невместимую даль.
Тускла на свету, но как факел
кристалла живая свеча
пылает во мраке... Во мраке —
начало любого луча.

---

[1] Песня и танец андалузийских цыган.
[2] Музыкально-песенный фольклор Андалузии.

■ ■ ■

Уповая на завтра,
о минувшем скорбя,
на надежды и память,
жизнь, мы тратим тебя,
забывая о том, что
невозможно посметь
погрести под забвеньем
незабвенную смерть.
Все, что было,— настанет,
а что будет — прошло.
Настоящее дышит
нам в лицо тяжело.
Но не сон ли мне снится,
будто я пробужден,
будто сны были жизнью,
будто жизнь — это сон?
Я осмысливал чувство,
я прочувствовал смысл,
и обуглила губы
мне горящая мысль.
Раз не жжет тебе очи
та же дума, слепя,
значит, собственной страстью
ты продумал себя.
Раз она не терзает
так, что только держись,
значит, собственной мыслью
ты прочувствовал жизнь.
Пусть алмаз, а не роза
прорастет из любви.
Все сухое холодным
второпях не зови.
Мокрый пар обжигает,
но бывает и так,
что под плотью холодной
пламенеет костяк.

■ ■ ■

О чистом искусстве? Не надо.
Оно невозможно, покуда
поэзия — не клоунада,
не фокусничество, а чудо.
Поэту по силам задача
почище, чем чистое чувство.
Не путай, чудя и чудача,
с чудачеством чудо искусства.

■ ■ ■

Манна, упавшая с неба,
слово насущное — хлеб
тем, кто без этого хлеба
высох душой и ослеп.

Плод, насыщающий душу
и оживляющий плоть,
выйди из чрева наружу,
слово, священный ломоть.
Став и творцом, и твореньем,
сделай же, слово, хоть раз
вещим своим озареньем
богоподобными нас.

■ ■ ■

— Отчего, сынок, ты плачешь
горько так и слезно?
— Я узнал, что буду взрослым
рано или поздно.
— Что ж! Тебе любое дело
станет по силенкам...
— Не хочу... Хочу остаться
навсегда ребенком.
— Да, но это невозможно!
Разве что... Помилуй!
Подрастай, сынок, скорее,
наливайся силой.
Станешь ты другим опорой
и главою дома...
— Кто же мне поможет, папа,
помогать другому?
— Сам ты справишься... Откуда
взялись мысли эти?
— Мне во сне они приснились
нынче на рассвете.
— Ну, а сон такой откуда?
Экий вздор, однако!
— Если б знал я это, папа,
я бы так не плакал...

■ ■ ■

Ой-ой-ой, какую тучу
я, вскарабкавшись на кручу,
под собой увидел вдруг!
Туча, гуще, чем чернила,
зачеркнула, заслонила
землю, воду, лес и луг.
И речные перекаты,
и последний всплеск заката —
все исчезло в жирной мгле...
Отчего же взор мой нежный
рвался к ней, быть может, грешной,
но такой святой земле?

■ ■ ■

Пусть в ней даже трель чужая
зазвучала, как своя,
все же песня попугая
хуже песни соловья.

Повторив руладу споро,
на певца он всем похож —
только душу от повтора
не бросает в жар и дрожь.
Не платя собою бездне,
не добиться, чтобы вдруг
стал и впрямь подобен песне
в певчем горле каждый звук.

Фашизм

Вы даже не свора.
Вы — сволота.
Фашизофрении бацилла.
За вашим «да здравствует!» —
пустота.
За пустотой —
могила.

■ ■ ■

Из родных далеких мест,
через все заставы,
на чужбину мне письмо
голубок доставил.
И спросил я у него,
злой тоской снедаем,
что же видел он, летя
над родимым краем.
Он ответил, поскучнев
сразу отчего-то:
— Что увидишь с высоты
птичьего полета?
В наших землях, мнится мне,
люди пляшут лихо.
Знать, на наших земляков
навалилось лихо.
— Как! — воскликнул я.— Постой,
голубь сизокрылый!
Верно, *плачут* земляки,
а не *пляшут*, милый!
— Ах, сказал он, просто страсть,
как боюсь я дроби.
И приходится к тому ж
думать об утробе.
Горе умным чересчур
и донельзя зрячим...
— Стало быть, из страха ты
спутал пляску с плачем?
— Все в Испании у нас
благостно и тихо,
от велика до мала
все там пляшут лихо.
— Черт возьми, ты просто глуп,
голубь, не иначе,
раз не ведаешь, как пляс
отличить от плача!
— Ах, незнание — залог
счастья сизокрылых.
Все, кто слишком много знал,
как один — в могилах.
— Ну и ну! Да ты не прост
на поверку, право...
— Я учился простоте
у змеи лукавой.
Прописала мне она
от беды лекарство:
три щепотки простоты
на ведро коварства.
А коварство с простотой —
есть ли что приятней?
— Отправляйся, голубь мой,
гы на голубятню.
Ах, любезный голубок,
как тебя надули!
От коварной простоты
близко до кастрюли.

■ ■ ■

Ах, Кеведо, Кеведо,
вековечная тень!
Из былого поведай
про сегодняшний день.
Хохот тяжкий, как молот,
смех на грани тоски.
Что интимней, чем голод,
завинтивший тиски?
Чистокровная завязь
чистоганной тщеты.
Поголовная зависть
и голодные рты.
Ты собой, будто призма,
преломил эту боль,
о король консептизма [1]
и сарказма король.
До чего же он жуток,
смех с рыданьем вослед!
Ничего горше шуток
у Испании нет.
Тошнотворно, но разве
не целительно, чтоб
беспощадно о язве
говорил микроскоп?!

■ ■ ■

Реет меж мглою и светом,
тенью от дыма скользя...
Увековечить ли? Где там!
Даже замедлить нельзя.

---

[1] Литературное направление «золотого века» испанской поэзии, начало которому положил Франсиско де Кеведо (1580—1645).

Время, меня с малолетства
ты разлучаешь со мной.
Может быть, ты — только средство
с вечностью сжиться самой?
Прошлого четкие грани,
где же вы в зеркале лет?
Нету пути к умиранью,
кроме рожденья на свет.
Тленной души трепетанье
с первой минуты гнетет,
но с приближением к тайне
все беспощаднее гнет.

■ ■ ■

Близится, нарастая,
эхо морского гула.
Снова волна крутая
солью в лицо дохнула.

Снова под скрип штурвала
и просмоленной снасти
сердце затрепетало
парусом старой страсти.

Моему первому внуку

Звезда — как свечка, а полумесяц —
как будто люлька.
На лунном свете луна замесит
твой сон, малютка.

Звезда — как свечка, а полумесяц —
как будто люлька.
Скажи, зачем ты с луною вместе
растешь, малютка?

Луна, взрослея, вновь станет люлькой
в ночь новолунья.
Но что же станет с моим малюткой,
луна-колдунья?

■ ■ ■

На горизонте — горы
древним кастильским швом,
соединил который
небо и краснозем.
Где еще место, где бы
столько вместить смогли
камни земные — неба,
а небеса — земли?

■ ■ ■

Отчизна, я мерил немало
своими шагами дорог.
Дороги твои протоптало
великое множество ног.
Безмолвную вел я беседу
с холмами и ширью полей,
шагая, отчизна, по следу
бездомных твоих сыновей.
Но песней лишь смог я нагорья
измерить твои — и поля.
Испания! Глубже, чем море,
любая тропинка твоя.

■

ГОНЧАРЕНКО СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ (род. в 1945 г.).

Советский поэт и переводчик, кандидат филологических наук. В его переводе опубликованы стихи Луиса де Гонгоры, Федерико Гарсиа Лорки, Рафаэля Альберти, Пабло Неруды и других испанских и латиноамериканских поэтов. Автор ряда работ по романской филологии и теории перевода, в том числе предисловия и комментариев к книге «Испанская поэзия в русских переводах» («Прогресс», 1978).

Критика

СКАЗАТЬ «ДОБРЫЙ ДЕНЬ» — ЗНАЧИТ СКАЗАТЬ СУЩУЮ ПРАВДУ

Несколько мнений о португальской литературе сегодня

Перевод с португальского, вступительное слово и составление Т. КОРОБКИНОЙ

В начале 1979 года лиссабонская газета «Диариу» обратилась к португальским писателям с просьбой ответить на вопросы об их творчестве и планах на будущее, о состоянии нынешней португальской литературы, о значении, которое имела для писателей революция 25 апреля 1974 года, о социальных и профессиональных требованиях деятелей литературы.

На призыв откликнулись многие известные и начинающие прозаики, поэты, драматурги, публицисты и литературные критики. Месяц за месяцем не сходила со страниц газеты рубрика «Писатели отвечают «Диариу». Вряд ли какой-либо другой орган португальской печати может похвастаться таким успехом. По основательности и широте собранный в ходе опроса материал не имеет равных в португальской прессе последних пяти лет. Ни одна другая литературная анкета (а они были популярны в Португалии в первые послереволюционные годы), ни одно интервью или статья не явили такого разнообразия писательских судеб и такого разнообразия мнений о состоянии и перспективах сегодняшней литературы.

Несхожесть творческих и человеческих судеб... У одних, как у Франку де Соузы, за спиной годы подполья и тюрем: португальские писатели вступали в коммунистическую партию, помогая ей словом и личным участием в антифашистском сопротивлении. Романисты и поэты, начинавшие путь в 40—50-е годы, создавали боевую литературу социального обличения и протеста, обращенную к классовому сознанию и чувствам самого широкого читателя. Литература эта получила в португальской критике название «неореализм».

Молодость других участников анкеты прошла в аудиториях Сорбонны, а по существу в политическом изгнании за пределами любимой и ненавистной салазаровской Португалии. Поколение Урбану Тавареша Родригеша — «неореалисты второго призыва»; и они прошли нелегкий путь идейных и художественных исканий, прояснивших облик сегодняшнего португальского романа.

В багаже у третьих — бунтарей и «блудных сынов» португальской литературы 60-х годов — безоглядное поклонение жрецам французского структурализма, яростное неприятие казенной, фашистской культуры и неистовое желание «сбросить с парохода Современности» всех, кто противится их призыву перетряхнуть ветхие одежды национальной поэзии.

Каким же видят эти люди со столь несхожими судьбами сегодняшний и завтрашний день своей литературы? Есть такие, кто категорически отрицает всякий ее прогресс в послеапрельский период. Но большинство сходится на том, что португальская литература переживает время плодотворных исканий, что заметны признаки обновления.

Многие и многие деятели португальской культуры ясно осознали свою ответственность перед революцией, перед народом, перед будущим, путь к которому был начат 25 апреля 1974 года. Участники анкеты единодушно признали, что невиданные возможности для свободного творчества им открыло свержение полувековой фашистской диктатуры и демократизация национальной жизни.

Какими путями пойдет в свое завтра новая португальская литература? Ответ на этот вопрос во многом зависит от политического климата в стране, от углубления процесса демократизации культуры и, наконец, от легализации права португальских писателей жить литературным трудом, не рискуя при этом умереть с голоду.

Публикуем с сокращением ответы некоторых участников анкеты.

Какое значение имела для вас как писателя революция 25 апреля?

УРБАНУ ТАВАРЕШ РОДРИГЕШ

День 25 апреля стал воплощенной мечтой, обернувшимся явью словом, действом на городской площади, временем, когда сказать «добрый день» значило сказать сущую правду. Гвоздики не увяли и не увянут в нас. До конца века португальская революция будет пристально изучаться и прославляться благодаря своим неповторимым и плодотворным особенностям, благодаря своему вкладу в прогресс человечества. Те, кто сегодня ее высмеивает и поносит,— просто фарисеи, иуды, моральные отбросы нашей земли.

Разве мог писатель остаться равнодушным к революции 25 апреля?! Лично мне она дала оптимистическую концовку романа «Распад», который я писал на протяжении двух лет, и новые рассказы. Она дала мне и нечто большее — братскую дружбу с рабочими, крестьянами Алентежу, с людьми, не умеющими унывать и всегда находящимися на передовой линии борьбы. Во всем, что я написал после 1974 года, живет дух Апреля. И не может быть, чтобы пережитый нами опыт оказался напрасным.

ЖОЗЕ САРАМАГУ

Обрести наконец возможность писать свободно. Обрести наконец возможность писать ясно. Обрести возможность целиком воплотить себя в каждом написанном слове. Обрести возможность начать хотя бы под вечер спокойно учиться на ошибках и достижениях в свете новой работы, новых требований, неведомых доселе форм борьбы. А также находить время для того, чтобы в молчаливом одиночестве пытаться осмыслить новое содержание португальского общества и новый смысл понятия «португалец». Нелегко далось это время писателям. Некоторые из них все еще колеблются, опасаясь встречи с новой реальностью, творчества с новой страницы. Не стоит осуждать их за это. Нужно сказать им: пишите именно потому, что творчество возможно лишь в условиях свободы. Тут нет места отговоркам, даже если прикрываешься плащом относительно элегантного скепсиса, миллиметрового нейтрализма или доморощенного космополитизма.

Чем стал для меня как писателя день 25 апреля? Если коротко — возможностью быть свободным писателем. Даже при наличии буржуазного социального, экономического и культурного аппарата, который продолжает мешать полному проявлению этой свободы.

ФРАНКУ ДЕ СОУЗА

Я расскажу историю трех моих первых книг. В январе 1959 года я был арестован ПИДЕ, а в 1960 году меня судили. Мой адвокат Луиш Франсишку Ребеллу[1] привел на заседание суда в качестве свидетелей защиты писателей и художников, а еще принес петицию о моем освобождении как полезного родине человека, под которой поставили свою подпись многие интеллигенты. Председателя суда звали Калдейра. Он попросил предоставить ему экземпляр моей книги «От корней взойдет ствол» и унес ее с собой. Без сомнений, он ее прочел и два дня спустя на последнем публичном заседании зачитал цитаты, а под конец заявил, что мои рассказы только подтвердили материал судебного решения или, лучше сказать, обвинения ПИДЕ, поскольку сам я не сделал никаких заявлений, которые могли свидетельствовать о моей виновности.

Я был приговорен к шести годам тюремного заключения и написал за это время роман «Зеркало и камень», а также начал другую книгу. Если кто-то решит, что мне было разрешено писать, я отвечу, что нет. Чтобы писать, я изобрел тайники в камере, где сидел, писал на тончайшей бумаге очень мелкими буквами, а потом закладывал исписанные листки между заклеенными страницами журналов, которые приносили мне на свидание родственники. И даже подкупал тюремщика.

Потом, когда я попал в госпиталь лиссабонской тюрьмы, куда меня переправили из-за болезни, тюремщик у меня сменился. Этого подкупать не пришлось. Он сам назвался демократом и предложил переправить рукопись моей семье. С риском для себя он дал мне возможность завершить роман. Я не знаю его имени. Мне не довелось с ним больше повстречаться, а жаль. Мне хотелось бы сказать ему «спасибо».

Для меня как писателя 25 апреля означает свободу выражения и возможность писать у себя дома, а не в камере Алжубе, лиссабонской тюрьмы или Кашиаса.

ЭРНЕШТУ МАНУЭЛ МЕЛУ-Э-КАШТРУ

Для меня 25 апреля открыло долгожданную возможность объединить в себе человека-гражданина и писателя-творца. И потому, когда 1 мая 1974-го я шел в колонне Португальской ассоциации писателей с транспарантом «Поэзию — на улицу», я хорошо понимал, что здесь, в Португалии, лозунг этот не имел того же левацкого смысла, что в Париже в мае 1968 года. Здесь он означал завоевание писателем права считать свое творчество общественно полезным и необходимым для всех.

Это означало также, что и в Португалии наконец можно быть не только механиком, инженером и сельскохозяйственным рабочим, но и писателем. К сожалению, эта возможность и по сей день не стала реальностью...

[1] Луиш Франсишку Ребеллу (род. в 1924) — известный драматург и театральный критик, президент Португальского общества авторов. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

СКАЗАТЬ «ДОБРЫЙ ДЕНЬ» — ЗНАЧИТ СКАЗАТЬ СУЩУЮ ПРАВДУ

После 25 апреля я продолжал свой поэтический поиск, сохраняя верность как прежним эстетическим принципам, так и твердому желанию отдать лучшее из созданного мною делу трудящихся и португальского народа, ясно понимая, что работа, которую я делал и делаю, рано или поздно послужит утверждению новой культуры, за которую мы боремся.

Что вы уже опубликовали и над чем работаете в настоящее время?

ПЕДРУ АЛВИМ

Все началось с одного из дней недели: моя первая книга называлась «Суббота». Это были стихи, я их издал в Порту в 1960 году на собственные средства. Слово «суббота» употреблено в значении «преддверие чего-то». Лишь четырнадцать лет спустя «преддверие чего-то» обрело реальность: стало 25 апреля 1974 года. В 1972 году сборником «Охотник за ничем» я окончательно порвал с индивидуалистической концепцией мира. В 1974 году вышла моя повесть «Космонавт», в которой человек — брат всех людей — восстает против колониальной войны. Эта книга была включена в программы ряда средних школ и дала мне возможность общения со школьниками. В беседах с детьми я осознал роль писателя в обществе — о чем я потом уже никогда не забывал. Это мое оружие, и это отчасти оправдывает мое существование как писателя. Не помню точно, когда вышла моя книга для детей «Башмак от всего сердца», иллюстрации к которой сделала Тереза Диаш Коэлью, дочь скульптора Жозе Диаша Коэлью, убитого агентами ПИДЕ на улице зимой 1961 года Лучшим из всего созданного мною по сей день я считаю повесть «Португальские астрономы». Это, если можно так сказать, художественное воплощение выбора, сделанного мною много лет тому назад. Это в целом начало (все равно что чиркнуть спичкой) моей зрелости как писателя, гражданина и художника.

УРБАНУ ТАВАРЕШ РОДРИГЕШ

Подводить итоги пристало не мне, а критике. Со своей стороны, могу сказать, что мои первые книги родились из потребности писать, из иллюзорного стремления одолеть жизнь или выйти за ее пределы. Когда в 1955 году я вернулся из Сорбонны, в карманах, точнее, в чемоданах я привез несколько рукописей книг («Опасная жизнь», «Лиловая ночь» и незавершенный роман «Прерванное изгнание»). Вновь включившись в пространство и время отсталости, в котором жила Португалия, я продолжал писать п р о т и в, но более организованно и целенаправленно. «Бастарды солнца» — это символический и многослойной роман, его содержание не ограничивается анализом положения женщины в архаичном деревенском обществе. Затем последовали «Финальные маски» (распад «сада морали Европы», покоящегося на навозной куче), «Захваченная земля» (попираемая фашизмом Португалия), «Суррогат счастья» [1] (представавший перед иностранцами рай по дешевке), «Исправительный дом» (страна-тюрьма, уродующая человеческую личность).

Разумеется, я не стремился к созданию только боевой литературы, литературы сопротивления. Меня волнует жизнь во всех ее проявлениях, и я никогда, надеюсь, не подменял живые человеческие существа схемой. Любовь, смерть, мечта, безумие — таковы основные темы моих романов и повестей. Разговор о любви был особенно нелегок для моего поколения, слишком опошленным достался он нам от прежних времен: эротика, скепсис, ирония, путаница любовных отношений — так мы шли...

Я писал словами, которые вложило в меня мое время, из них я создал (а может, и нет) свой язык. Я никогда не старался «заполнять» готовые структуры. Найденное далось мне в творческом акте, или организации материала в процессе повествования, возведения структур.

Постоянно влекомый желанием открывать новое, не повторять даже самого себя, я стремился к равновесию между новаторским духом и доступностью произведения. Впрочем, это стержневая проблема для всякого прогрессивного писателя — продвигаться вперед, но не настолько, чтобы перестать быть понятным читателю.

Во мне нет удовлетворения от написанного. Однако утешаю себя тем, что только посредственности и самовлюбленные гении со слюнявым умилением взирают на памятники своему таланту.

Хотелось бы верить, что и я внес свой вклад, как бы мал он ни был, в изменение образа мыслей в обществе, которое мы, португальские писатели, стремились разоблачать.

Мой новый роман называется «Я изопью от этих вод» (вод надежды, вод революции). Я также хочу переиздать два тома эссе, которые разошлись много лет тому назад. Работаю над исследованием, которое будет называться «Новый взгляд на неореализм», куда войдут статьи о наших писателях-реалистах Соэйру Перейре Гомеше [1], Алвеше Редоле [2], Мануэле да Фонсеке, Мануэле Тиагу, Фернанду Наморе [3] и Карлуше де Оливейре.

ЖОЗЕ САРАМАГУ

Десять опубликованных книг: романы, рассказы, поэзия, репортажи — это целое творчество... Но независимо от достоинств каждой я предпочитаю почти все из них рассматривать как формы зондирования, как точки глубинной разведки. Само собой, в момент опубликования я их так не рас-

[1] У. Т. Р о д р и г е ш. Суррогат счастья. М., «Художественная литература», 1977.

[1] С. П е р е й р а Г о м е ш. Лишенные детства. М., «Иностранная литература», 1952.

[2] А л в е ш Р е д о л. Фанга. М., «Иностранная литература», 1949; У лодки семи рулей. М., «Художественная литература», 1964.

[3] Ф е р н а н д у Н а м о р а. Рассказы врача. Л., «Художественная литература», 1968; Живущие в подполье. М., «Прогресс», 1975; Огонь в темной ночи. М., «Молодая гвардия», 1977.

ценивал. Только теперь, с позиции сегодняшнего дня, я позволяю себе этот взгляд издалека. Однако, как известно, у будущего свои резоны — настоящее их не ведает и предугадать не может.

Литературное творчество для меня — это дело серьезное, это ответственность. Анализ сделанного мною до сегодняшнего дня должен выявить в первую очередь эту ответственность и эту серьезность. Притом я отнюдь не считаю себя писателем педантичным и напыщенным. Быть может, несколько суховатым, что, наверное, идет от характера. Моя пьеса «Ночь» увидит свет в театре Камполиде и в издательстве «Каминью». В ней я как бы возвращаюсь к былой журналистской жизни, потому что именно в редакции одной газеты в ночь с 24 на 25 апреля 1974 года развивается действие моей пьесы. Это своего рода зеркало, в которое отнюдь не все заглянут с удовольствием.

Полным ходом идет у меня работа над романом об Алентежу — трех поколениях людей этой провинции... Обо всем остальном говорить пока рано. Однако есть один проект, который мне хотелось бы осуществить: роман о постройке монастыря в Мафре[1]. Это не просто монастырь, это египетская пирамида, воздвигнутая на смерти, крови и страданиях. Если я успею написать эту книгу — пусть она станет моим вкладом в создание подлинной истории португальского народа, которая практически еще не рассказана.

БАПТИШТА-БАШТУШ

Мои книги — результат постоянного поиска самовыражения, который состоит для меня в тщательном исследовании реальности и ее принятии за исходный пункт, при помощи нелегкой, суровой и великолепной материи — португальского языка. Мои книги автобиографичны и носят политический характер: в них я стремлюсь политически высветить субъективные и конкретные слои собственного сознания.

Я не умею писать с оглядкой на будущее, а хочу, чтобы факты, эпизоды, события, ситуации, истории — все, что я рассказываю, было бы датировано, стало отражением возвращенных и прошедших через отбор образов. Я прозаик медлительный, кропотливый, тяготеющий к глобальной точности и строгости. Отсюда тот факт, что каждое новое издание моих книг выходит почти в полностью переработанном виде.

Я никогда не планирую творческий процесс: пишу, повинуясь какому-то импульсу, рефлексу. А постоянных изменений в португальской действительности, спадов и подъемов общественно-политической жизни у нас более чем достаточно — так что ритм моей работы без конца нарушается. Коловращение нашей эпохи не находит во мне пассивного наблюдателя, нейтрального статиста. Я действовал с помощью средств, которые были в моем распоряжении. Я буду продолжать действовать, поскольку понимаю, что гражданственность — это мораль в действии, гуманизм против страха. Я также понимаю, что слова, когда ими движет воля и честь, помогают изменить положение вещей. Я связал себя обязательством: хочу помогать изменять положение вещей. Питаю скромную надежду, что мои книги нашли адресата: кто пишет, тот стремится к открытой приязни одних и жгучей ненависти других. Я согласен и на то и на другое... Мне сорок пять лет, я многое повидал и научился терпимости и умению ладить с людьми. Но быть учтивым — не то же самое, что быть царедворцем. Быть терпимым — не значит превратиться в сообщника. Ладить — не обязательно все прощать.

Вот почему все мои книги претендуют на отражение тончайших метаморфоз, еле заметных или очевидных изменений, мельчайших подробностей жизни общества, в котором я пишу, с которым я пишу, о котором я пишу. До сих пор мне как-то не встретился озорник-писака, который сказал бы, что искусство, литература — это небесные субстанции, отгороженные от земных проблем. Всякое искусство, всякая литература — это политика. Служить и прислуживать — это совершенно разные позиции, противоположные, антагонистические и несовместные.

В настоящее время я перерабатываю роман «Путешествие отца с сыном по улицам печали». Он представляет собой цепочку внешне не связанных эпизодов и претендует на два прочтения — непосредственное и подтекстное. Я хочу сказать: читателю предоставлена возможность размышлять и грезить. Думаю, это своего рода волшебная сказка на современный лад. Одновременно я передал для переиздания книгу эссе «Кино и реализм». Не так давно на Кубе вышел перевод моего романа «Старый пес среди цветов». В Гаване будет также издана книга «Слова других». «Старый пес среди цветов» переводится в Болгарии, Советском Союзе, Венгрии и Франции.

ФРАНКУ ДЕ СОУЗА

Я написал немного, хотя пишу уже около двадцати пяти лет. В этом не моя вина, а почему — я уже сказал. У меня опубликовано пять книг — рассказы, романы, повести. Критика причисляет меня к неореалистам. Это правильно, хотя как писатель я никогда не стремился быть таким, а не иным.

Я родился в Лиссабоне и лучше всего знаю обитателей именно этого города. 25 апреля 1974 года мне было столько же, сколько сгинувшей в тот день фашистской диктатуре, а значит, я с неизбежностью должен был прийти к той позиции критики и сопротивления, к которой меня с юности подталкивала моя социальная среда.

Тут хотелось бы внести некоторую ясность. Почти все персонажи моих рассказов и романов, как и я, выходцы из мелкой

[1] Памятник архитектуры первой половины XVIII века.

буржуазии, весьма нерешительной в своем политическом выборе. Находясь между пролетариатом, твердо знающим, кто его враг, и буржуазией, которой есть что терять и что́ любыми средствами отстаивать, мелкие буржуа стремятся слиться с последней, а та без малейших колебаний вышвыривает их в пролетарии. Все это ведет к драмам, приобретающим иногда трагическую силу. Я знаю этих людей, и мне доставляет удовольствие о них писать.

В моих планах — написать несколько повестей и два романа, которые наполовину уже готовы и являются итогом моей тюремной жизни. С 1959 по 1965 год я прошел через Алжубе, Кашиас, лиссабонскую тюрьму, застенки ПИДЕ в Порту и за эти более чем две тысячи дней познакомился со многими людьми — крестьянами, рабочими, мелкими служащими, чиновниками, врачами, адвокатами, архитекторами, инженерами. Всего около пятисот человек. Из этого опыта возник обширный проект — серия романов, которые охватят весь период португальского антифашистского сопротивления — с 1926 по 1974 год.

ЭРНЕШТУ МАНУЭЛ МЕЛУ-Э-КАШТРУ

Всякое подведение итогов предполагает количественный анализ и качественный синтез всего созданного. Количественный итог моей работы выглядит следующим образом. В 1952 году на собственные средства я издал книгу «Землетрясение», состоявшую из шести юношеских текстов, которые не были ни эссе, ни рассказами, ни стихами. За истекшие с той поры двадцать семь лет я опубликовал 21 сборник поэзии, 4 литературно-критические книги, 5 антологий поэзии и прозы, среди которых — «Антология новейшей португальской поэзии», «Антология конкретной поэзии в Португалии» и «Опыт свободы». В последнюю вошли статьи, опубликованные в газете «Диариу де Нотисиаш», где с мая по 25 ноября 1975 года я руководил литературным приложением (это был период наибольшей свободы слова в Португалии).

Помимо этих книг стоит упомянуть статьи о визуальном искусстве в журнале «Колокиу-Артеш» и выступления в газетах и журналах в 60-е годы. На моем счету пять выставок произведений визуального искусства и участие во многих международных коллективных экспозициях визуальной поэзии. Я начитал одну пластинку своих стихов и участвовал в разнообразных культурных мероприятиях до и после 25 апреля.

В свою очередь качественный синтез предполагает размышление и оценку. Что же уцелело из всех этих книг и выступлений теперь? Что не утратило ценности сегодня, в 1979 году? Или что из всего совершенного мною за эти почти тридцать лет имело общезначимую ценность?

Могу сказать, что во всей своей работе я исходил из практического стремления преобразовать мир, сделать его более живым и человечным, то есть более пригодным для жизни. Поэтому в 60-е годы я стремился разрушить мертвые языковые модели, преобладавшие в португальской культуре. Так моя поэзия стала экспериментальной и обрела языковой инструментарий, необходимый для развенчания и разрушения штампов, обряженных в самые различные одежды — сентиментализм, философичность, мистический идеализм и т. п.— и представлявших собой голые скелеты.

Одновременно я искал основу для воссоздания более жизнеспособного и более точного португальского языка. Это было акцией сопротивления ценностям, введенным и защищаемым фашизмом, и в то же время — обновлением выразительных способностей письменного и устного португальского языка, а значит, подготовкой будущего. Ведь художественное творчество всегда нацелено на будущее, и борьба поэтов в действительности ведется в будущем и за будущее. Именно так поэты включаются в реальность, в которой все вместе пребывают.

Скоро выйдет моя новая книга, в которую вошли стихи, написанные — день за днем — с 25 апреля 1974 года по 1978 год. Она представляет собою стилистическое очищение всего предыдущего опыта, но главным в ней я считаю теплоту непосредственного общения, так долго желаемого и теперь возможного. А также размышление в открытую и без увертюр об основных проблемах нового португальского общества, связанных с такими понятиями, как индивид, собственность, коммуникация, коллектив, поэма, текст, критика, революция и позиция поэта перед лицом всех этих проблем.

Что вы думаете о современной португальской литературе?

ПЕДРУ АЛВИМ

Я не буду касаться имен, книг, проектов... Ограничусь лишь тем, что изложу некоторые соображения, как каменщик, который кирпич за кирпичом возводит дом на белом листе бумаги...

Я считаю, что писатель (особенно после 25 апреля, оставившего в нас неизгладимый след) не должен пренебрегать величайшими событиями, которые внезапно вторгаются в нашу житейскую рутину. Эти величайшие, определяющие события, преобразуя реальную действительность, выдвигают перед писателем требование изменить конструкцию своего письма, своего сюжета, своего свидетельства. Не брать в расчет тот материал, который дало нам свержение полувековой диктатуры, упорствовать в выражении сугубо личной тоски — значит оставаться в рамках индивидуалистического мировоззрения и внутри пространства, которое суть производное трех измерений: ширины, длины и высоты.

Между тем есть четвертое измерение — время, и оно с неизбежностью разрушает прежние персонажи, их поведение, форму их отношений, почтительность к устаревшим нормам бытия, разрушает гнет, воспринимавшийся как относительно естественное состояние, недолгие периоды стабилизации.

Многие наши писатели пока не отдают себе отчета в существовании именно этого, четвертого измерения и пишут в классических величинах прежнего времени, а потому у них отсутствует порыв к будущему. Тут не до прыжка в грядущее, подстерегающее нас и готовое освистать в любую минуту. Писатели прикорнули на корточках, точно египетские писцы, их силуэты предельно четки, пергаменты шелестят, перья скрипят... Нечто заставляет их прерваться: одних — страх, других — отсутствие таланта, третьих — оппортунизм...

Не одно пренебрежение четвертым измерением подсекает крылья многим нашим писателям, опрокидывая их в тиши книжных полок. Писатели эти любой ценой стараются избегнуть экономических проблем общества, намеренно игнорируя то обстоятельство, что экономическая формула, берущая в расчет всю человеческую общность, гораздо больше способствует счастью народов, чем теории, разработанные в духе индивидуалистического мировоззрения. Они не способны к синтезу, и их анализ растворяется в вакууме, а слова их никогда не образуют тел притяжения... Это в самом деле абсолютный вакуум.

Я имел с ч а с т ь е (подчеркнуто мною.— П. А.) посетить три страны социализма: Венгрию, Чехословакию и ГДР. Свидетельствую: четвертое измерение существует в реальности... Новый земной шар рождается в горниле высшей математики — диалектики, и у португальских писателей есть в ней собственные числа, о которых не стоит забывать: 25 апреля 1974 года. Они, эти числа, и есть «преддверие чего-то». Глина «субботы», из которой мы вылепим наше общее воскресенье.

УРБАНУ ТАВАРЕШ РОДРИГЕШ

В отличие от многих я считаю, что значительные произведения послеапрельского периода уже появились. Назову только в области прозы такие произведения, как «Вкус мглы» Жозе Гомеша Феррейры, «Гвоздика» и «Бурые дома» Марии Велью да Кошты, «Предводители» Жорже де Сены, «Бдение» Нуну Брагансы, «Квазиобъект» и «Учебник живописи и каллиграфии» Жозе Сарамагу, «Финистерра» Карлуша де Оливейры, «До завтра, товарищи» Мануэла Тиагу[1], «Что сказал Молеру» Диниша Машаду, «Суррогат удовольствия» Казимиру де Брито, «Концерт клаксонов» Виржилиу Мартинью. А сколько еще имен мы не назвали...

Что касается действительно эффективной коммуникации, без которой ни один культурный проект не может быть претворен в жизнь, без которой книги будут дожидаться своего часа, а читатели — доступа к чтению, то дело тут в другом: нынешние цены на книгу делают ее совсем недоступной, а надежда на демократизацию, которую принесла на своих гвоздиках апрельская революция, омрачена возвратом к капиталистическим порядкам.

[1] М а н у э л Т и а г у. До завтра, товарищи. М., «Молодая гвардия», 1977.

К несчастью, в Португалии по-прежнему книги пишутся немногими для немногих. Тут мы подходим к другой удручающей стороне вопроса, а именно к тому, что молодые писатели, многие из которых неизвестны читателю (может, как раз те, у кого больше других есть что сказать), не в силах заставить осмотрительных и мудрых издателей рискнуть и сделать на них ставку. Теснейшая связь этой проблемы с отсутствием планирования культуры на правительственном уровне очевидна. А тем временем проект, в общем виде, уже существует — почитайте материалы и решения 1-й ассамблеи искусства и литературы ПКП.

ЖОЗЕ САРАМАГУ

Этот вопрос лучше было бы задать критикам. К сожалению, нынешняя критика — вероятно, компетентная, вероятно, серьезная, вероятно, просветительская — исчезла из поля зрения широкого читателя и укрылась в небольшом и абсолютно замкнутом пространстве. Судя по слабым отголоскам, проникающим через толстую стену цен на книги и усложненность языка, современная португальская литература — это нечто вроде класса на отшибе со столькими-то (немногими) успевающими учениками и беспорядочной массой отстающих. Насколько я понимаю, нет критики, которая взяла бы на себя смелость критиковать этот авангард и этот арьергард, нет внимательного анализа португальской культурной ситуации во всей специфичности, нет правил и исключений, которые эти правила должны порождать. Напротив, у нас снова культивируется истинно лузитанская любовь к копанию в архивах, очевидная в последних шедеврах европейского авангардизма, который не идет дальше вторичных и усталых форм идеализма, подновленного красками ложного материализма.

Ко всему сказанному хочу лишь добавить, что хорошие писатели не перевелись в Португалии. Может статься, некоторые из них не знают, почему, для чего и для кого они пишут. Положимся тут на время. Будем верить, что появятся читатели, которых нет сегодня, ибо сегодня утрачен интерес к чтению. Гораздо трагичнее то, что португальская литературная продукция почти вся — дело рук пожилых людей. Что же, нет молодых писателей? Сомневаюсь. Суть не в том, что писать некому, а в том, что негде печатать — ни в газете, ни в журнале, ни в издательстве.

ФРАНКУ ДЕ СОУЗА

Рассуждать о современной португальской литературе следует критикам. Мне хочется сказать о том, что я, писатель, ощущаю и осознаю в момент, когда мне как литератору выпало жить. На протяжении сорока восьми лет фашизма — а большинство португальских писателей пришли в литературу из этого времени — несмотря на все труд-

ности создавались хорошие книги. Между тем это была литература, «подрывавшая крепостные стены». Задача эта пришлась мне по душе, и, выполняя ее, я знал, что и как сказать при помощи языка, который был бы понятен, не упуская из виду равновесия между слишком ясным, что могло натравить на меня цензуру, и слишком герметичным, порывающим с коммуникацией.

И вот настало 25 апреля, рухнули стены, которые мы, португальские писатели, подрывали... Солдаты с гвоздиками в дулах винтовок, запрудивший улицы народ, первые празднования Первомая, происки контрреволюции, аграрная реформа, деколонизация целых народов, наконец, упорнейшая борьба между теми, кто многим владел и хотел продолжать владеть, и теми, кто не имел ничего и хотел иметь все, без чего человеческая жизнь лишена достоинства.

Нам довелось пережить ситуации и обстоятельства, о которых раньше было трудно помыслить. Мы превратились из подпольщиков в революционеров в ходе революции, которая пока — к счастью! — полна живого биения, и естественно, что писатель немного растерян, не зная, с чего же начать. Ведь, наверное, ни одна страна сегодня не может предложить писателям такой же источник тем для творчества, как тот, что мы имеем после апреля 1974 года. Источник настолько богатый, что не знаешь, на чем остановить свой выбор. Между тем испытываешь замешательство не только при выборе темы, но и формы, которая наилучшим образом отвечала бы задачам португальской революции. Похоже, это не только моя беда...

ЭРНЕШТУ МАНУЭЛ МЕЛУ-Э-КАШТРУ

Панорама португальской литературы после 25 апреля 1974 года не настолько прояснилась, чтобы иметь о ней точное представление. Это связано с тем, что с развитием политических событий гражданские позиции писателей менялись до такой степени, что в некоторых случаях пришли в противоречие с их собственными произведениями. Сегодня необходимо уметь отличать человека искусства, особенно тогда, когда речь идет об авторах, чье творчество до известной степени определилось в своих самых существенных чертах. Но, с другой стороны, я считаю, необходимо стремиться к слиянию человека-автора и его творчества как неотъемлемых составляющих нового португальского общества, находящегося в становлении, с тем чтобы обе части образовали активное и гармоничное целое. Кто не умеет, не может или не желает делать это различие, тот рискует впасть в литературно-критический обскурантизм.

Именно с этой точки зрения должна рассматриваться критикой новая литература, рожденная в условиях свободы после 25 апреля. Литература эта уже не ощутит непосредственно на себе ужасный гнет мрачных лет фашизма, наложивший глубокий отпечаток на нашу литературу последних пяти десятилетий, а будет существовать в атмосфере переходности, не всегда такой уж благоприятной. Происходит это потому, что наша культурная жизнь продолжает находиться под влиянием всякого рода западных упаднических мифов, которыми писатель, замкнувшийся в своем индивидуализме и отравленный абстрактным понятием свободы, по-прежнему обольщает многих людей, словно это наилучший способ защитить специфику «литературного дела». Но сколько раз эта позиция оборачивалась не чем иным, как убежищем, из-за неспособности или даже страха оказаться лицом к лицу с необходимостью коллективного самоопределения для трудящейся интеллигенции в новом обществе...

Непроясненность нашей литературной панорамы вытекает также из отсутствия четкой культурной политики. Это значит, что культурная ситуация в нашем обществе в 1979 году могла и должна была бы быть более ясной и более благоприятной. Сменявшие друг друга правительства не проявили должного внимания к этой проблеме, предпочитая акции с «демократическим фасадом» или освящение «status quo» культурных ценностей, общепризнанных много лет назад. Эти правительства не были столь же благосклонны к новым культурным ценностям и новым произведениям, которые должны были появиться.

Несмотря на это, можно назвать добрую дюжину художественных произведений высокого уровня и новаторских по духу, созданных и опубликованных недавно, в которых уже брезжат новые пути, касается ли это обращения с языком, техники письма, проблематики или социологического подхода в воссоздании характеров, абсолютно немыслимых до 25 апреля.

Интересно отметить, что именно в прозе сталкиваемся мы сегодня с наибольшей для португальской литературы новизной. Может, потому, что поэзия — жанр у нас привилегированный — нуждается в большем времени для вызревания или кристаллизации, чтобы уж затем занять новое место в свете дня и в перспективе будущего.

Тем не менее самые действенные формы поэзии, такие, как поэзия, положенная на популярную музыку, или визуальная поэзия настенной политической агитации, получили после апреля 1974 года невиданные у нас импульс и силу воздействия. То же можно сказать о театре, анализ которого выдвинул бы ряд новых проблем, но осветить их нет ни места, ни времени.

Каковы, на ваш взгляд, главные профессиональные требования португальских писателей?

УРБАНУ ТАВАРЕШ РОДРИГЕШ

Первое и главное требование — это демократизация культуры, которая, к сожалению, не осуществилась. Только в результате напряженной работы по ликвидации неграмотности и слияния, с самого детства, образования с миром труда было бы возможно привить вкус к чтению и добиться увеличения тиражей. А это сделало бы

книгу более дешевой и открыло бы к ней доступ трудящимся массам. Разумеется, этого не добьешься в один день, но печально, что тут, как и во многих других областях, мы повернули назад.

Без широкого и подлинного общения с читателями, опорой которого может служить только демократизация культуры, мы не сможем оставаться писателями. Мы не можем воплощать себя в акте коммуникации, пока знаем, что многие из тех, кого мы особенно хотели бы видеть среди своих читателей, лишены возможности покупать книги, переданные нами издателям.

В Португалии есть две организации — Португальская ассоциация писателей и Португальское общество авторов, которые вместе могут на деле защищать интересы писателей (и переводчиков) при поддержке со стороны государства, чтобы обеспечить условия труда для молодых писателей и поддержать своих членов в старости и во время болезни. Это требует соответствующего законодательства и заинтересованности со стороны власть имущих, которые, вместо того чтобы рассматривать писателей и художников как национальное богатство, обычно склонны видеть в них лишь угрозу существующему порядку, «подрыв власти».

Нужно многое сделать. И многое будет сделано. Но путь предстоит долгий. В настоящее время средства массовой информации изгоняют из своего лона неугодные голоса и день ото дня все больше ополчаются против культуры, против критики, против свободы... Все эти явления, однако, преходящи: социализм будет построен, свобода — наша и ваша — станет реальностью.

ЖОЗЕ САРАМАГУ

Только одно требование, из которого вытекают все прочие: иметь возможность быть писателем в Португалии. Абсурдно общество, в котором некто, чтобы быть врачом, преподавателем, металлургом или банкиром, должен одновременно иметь другую профессию. Не менее абсурдно и общество, которое так мало ценит писателей, что обрекает их на голодную смерть, если они осмелятся жить за счет творчества. Вся проблема покоится на этом очевидном положении вещей.

БАПТИШТА-БАШТУШ

Требовать писательского устава. Требовать свободы. Требовать учреждения профсоюза. Не отказываться сказать свое слово, если это необходимо. Наши лучшие люди не должны молчать. Образец высокого поведения они показали в период фашизма именно потому, что были непокорными, неукротимыми, неистовыми.

ФРАНКУ ДЕ СОУЗА

Долгие годы я пытаюсь создать себе такие условия, чтобы максимум времени уделять творчеству. Я сменил много профессий, и все для того, чтобы иметь больше свободного времени. Требование? Одно-единственное. 25 апреля принесло мне свободу выражения, но не менее важно право — которое может осуществиться лишь на уровне государства через принятие мер в защиту писателя — посвятить себя целиком литературному творчеству.

ЭРНЕШТУ МАНУЭЛ МЕЛУ-Э-КАШТРУ

Требования португальских писателей должны основываться на признании писателя полезным трудящимся. Поэтому главными должны быть требования социального и профессионального характера, наряду с такими, как социальное обеспечение, условия труда, медицинская помощь и т. п., на которые имеют право все трудящиеся, за исключением португальских писателей.

Специфические, профессиональные проблемы писателя связаны с вопросами авторского права и свободы труда, поступка и выражения. Но и их невозможно оторвать от вопроса свободы всех прочих граждан и их равного права на правдивость информации и культуры...

Хочется надеяться, что профессии писателя и переводчика будут должным образом узаконены, но уверен, что только самые глубокие социальные преобразования приведут к формированию у писателей новых представлений о классовом сознании и общественно-культурной ответственности, которых нам, на мой взгляд, очень не хватает.

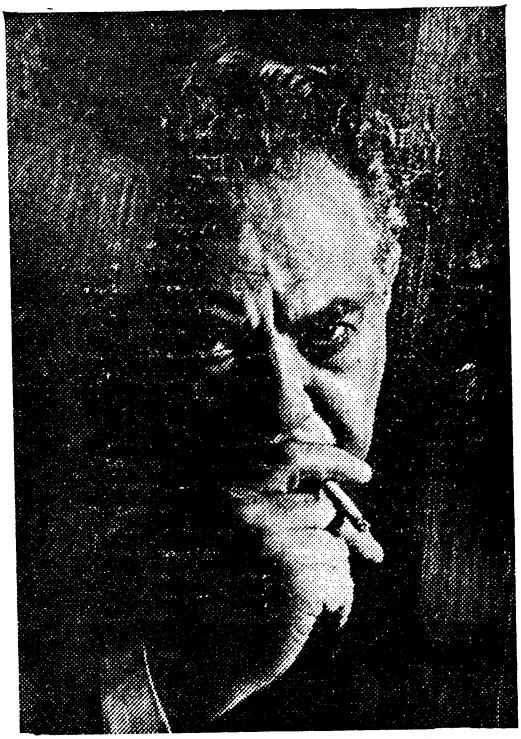
◆

Писатель и время

К восьмидесятилетию Антала Гидаша

Желаю доброго здоровья и долгих лет жизни нашему другу, великолепному поэту Анталу Гидашу, так много сделавшему, чтобы венгерская поэзия стала достоянием русского читателя... И еще я желаю ему написать книги воспоминаний — ведь он был участником и свидетелем революционных событий, в частности тех, о которых рассказывает в в этом номере «Иностранной литературы» другой большой венгерский писатель, наш современник, Дюла Ийеш; он делится воспоминаниями о годах, когда Антал Гидаш и его соратники по борьбе были юными.

Леонид Мартынов



ДЮЛА ИЙЕШ

ПРОЯВИТЕЛЬ ПАМЯТИ

Передо мной фотопластинки полувековой давности. Не пленки, а именно пластинки. В те времена они продавались по шесть штук в картонных коробках и вставлялись сзади в фотоаппарат в жестяных конвертах. После съемки их опускали в черные мисочки с проявителем и делали это, естественно, только дома и только при красном свете.

Но вот — до сих пор еще не раскрытые пластинки. Попали они сюда из дальних уголков моей памяти. А что, если я выкупаю их несколько раз в проявителе памяти? Быть может, и увижу что-нибудь, быть может, время еще не полностью разъело их. Я ищу, правда, не лица и не фигуры. Глядя в прошлое, мои глаза жаждут совсем другого. Но сначала о том, что очевидно.

1

Мост через пруд городского сада освещен солнечными лучами. С одного края моста, спиной к перилам, стоят юноши и девушка. Их человек пять-шесть. На другом конце моста, в просторном саду модного летнего ресторана, как раз сейчас воинский оркестр приступает к своему ежедневному концерту. Стало быть, ровно пять часов пополудни. Гуляющие по парку собираются возле знаменитого ресторана, который до войны арендовал Вампетич, а теперь Вайнгшрубер, но лишь немногие занимают столики рядом с гигантскими деревьями под открытым небом.

Молодежь, стоящая у перил, однако, не трогается с места, потому что периодически, в зависимости от направления ветра, до нее доносятся звуки музыки. Юноши с удовольствием слушают вальсы Штрауса, увертюры Верди и Пуччини. На самом же деле для них все это предлог, более того — алиби. Часы дарового концерта — одновременно и часы их встреч. Ведь если бы об этих встречах проведали и ребят бы повели на допрос,— они с полной уверенностью могли говорить о невинной цели своего прихода в парк. На самом же деле эта небольшая группа обменивалась инфор-

Фотопортрет Антала Гидаша работы венгерского художника Кароля Коффана

мацией, книгами, журналами. Многие книги и главным образом брошюры были напечатаны на желтоватой газетной бумаге еще в предыдущем, 1919 году. Журналы, хотя они и были на венгерском языке, все без исключения издавались за границей. В том числе и журнал «Ма» [1].

Стоять на мосту, к тому же прислонившись спиной к перилам, было очень удобно еще и потому, что, если бы встреча приняла нежелательный оборот, из кармана легко можно было выбросить сверток с прессой в воду. Рыба в пруду не водилась, а потому не было и рыболовов. Пруд искусственный, мелкий, не больше метра в глубину — солнце насквозь просвечивает воду, и видно, что дно из цемента. То тут, то там колышутся лодки с неуклюжими, с трудом поддающимися веслами. Их берут напрокат и катаются вокруг островка, на котором сооружен «памятник старины».

Самому старшему из юношей не более двадцати лет. Но их лица так молоды еще и потому, что на губах часто мелькает улыбка, проекты будущих морщин на лбу двигаются очень ритмично, в такт движениям рук, ног и шеи, когда они, то подскакивая друг к другу, от отскакивая, обмениваются репликами. Одним словом, даже движения их тел отрицали или утверждали что-нибудь. И происходило это вовсе не от избытка физических сил: я бы сказал, у них был особый темперамент души. В этом месте снимка и признал я Антала Гидаша. Он стоял в центре — стройный, высокий, с выпуклым лбом, над которым вьются, курчавятся черные волосы. А рядом с ним стройная, белокурая девушка — Юдит Санто. В группе есть еще один высокий, с открытым лбом, кудрявый — Пал Сеги.

Кого еще я узнаю? Эрне Нормаи, Йожефа Ярно и по-монгольски желтокожего Дюлу Бака. А рядом с ним такого белокурого, какими бывают только англичане, Ласло Вессели.

2

Мне разрешалось брать в свое владение велосипед — краска на нем облупилась, никель потрескался, материя на седле обшарпана, и все-таки конструкция его была великолепной. Стоило ему только захотеть, и он мчался сам по себе, словно в нем сидел притаившись какой-то добрый дух. Мы даже в гору поднимались с ним напрямик. Он был легкий, и с его помощью я устраивал все свои встречи. Этот велосипед можно было не оставлять у ворот; придерживая его рукой на плече, я бегом заносил его на третий этаж. С немыслимой быстротой носился на нем по городу, появляясь то там, то здесь — совсем как бог Меркурий, летал с крылышками на щиколотках.

«Мне разрешалось брать в свое владение» — за этим сложным определением собственности скрывается то, что велосипед принадлежал не мне, а моему старшему двоюродному брату, слесарю-монтажнику Лайошу Яни. Но он пользовался им только по воскресеньям, предварительно усердно смазав его и приведя в порядок. Потому-то и испытывают машины к человеку благодарную любовь.

На том групповом снимке на мосту городского сада велосипед стоял как обычно, возле одного из долговязых юношей, и вовсе не обязательно это был я.

Сие драгоценное средство передвижения — в ту пору им ведь очень непросто было разжиться — члены нашей компании то и дело занимали у меня и катались под развесистыми деревьями по окаймленным цветами дорожкам. Мы ведь уже считали неловким бегать как дети, другое дело — мчаться на машине! Наша жажда счастья была и скромной, и беспредельной.

Этому славному велосипеду, который так бескорыстно раздаривал себя всем, обязан я знакомству с Пештом. Благодаря ему и в утешение за то, что я попал в город, я достиг наконец своей давней мечты, наслаждения, которому завидовал прежде,— научился кататься на велосипеде. Не знаю, решился бы я уйти без него из уродливого доходного дома на еще более уродливую, жалкую улицу. Велосипед подсказал мне то же самое, что верный парусник Васко да Гаме: дальше, дальше за мыс Доброй Надежды, в Мадрас, в Индию! Кому же не полюбится то, что он открыл сам, да еще с приключениями, а тем более с опасностями. После двух недель тренировок я уже катался по Фердинандскому мосту, опьяненный победой, и даже в тесном подземном переходе на улице Байза при каждом удобном случае вскакивал в седло. Я до сих пор помню запах распиленных дров и гнилой картошки — он шел из подвалов всех лавок на улице Сонди, которые выходили прямо на тротуар. Я как-то особенно полюбил эту улицу: случалось, по нескольку раз подряд проносился по ней между ее двумя такими противоположными полюсами: на одном — звенящие и гремящие трамваи, столица с головокружительным движением (вторгнуться туда мешало мне обещание, данное матери); на другом конце — сплошная зелень городского сада, в тишине которого слышались даже вопли какаду и львиный рев, доносившиеся из соседнего зоологического парка.

Мне и в голову не могло прийти, что я не позволю кому-нибудь покататься на велосипеде, который мне самому доставлял столько радости.

В этой маленькой компании все было общим. Деньги тоже. Нельзя было себе представить, чтобы кто-нибудь из нас отказался отдать товарищу последние гроши на трамвайный билет. Но было нечто такое, что нас связывало теснее материальных вопросов. Все мы были одной веры. Что это была за вера? Во что с такой решимостью могли верить молодые люди, у которых были пока разве что самые смутные представления

[1] «Ма» («Сегодня») — журнал венгерских футуристов, редактировал его известный поэт Лайош Кашшак. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

о жизни? Начнем с объяснения основ, на которых выросла эта общая вера. Тогда она была единой, потому что ее питала одна и та же почва.

3

Казалось бы, теперь я должен писать о верности, не то чтобы о верности людям, а о том не зависящем от личной воли «психологическом явлении», выражаясь профессиональным языком, которое носится в воздухе. Ведь не только болезни — физические и душевные — заразительны. Не только манера речи может превратиться в эпидемию, но и манера поведения — к примеру, развязность, отвага, честь! Вот с этой стороны и нужно подойти к проблеме верности.

Не к верности в любви, не к сыновней верности или верности к родине.

А к верности идее.
В самом ее чистом виде.
Независимо от самой идеи.

Разве можно зажать в руке солнечный луч? Прижать к груди бестелесную радость? Я могу как угодно таращить глаза, чтобы схватить абстрактное явление, и все равно увижу конкретные лица и фигуры.

Любой из этого небольшого отряда был знаком мне не меньше, чем мое собственное отражение в зеркале. И именно поэтому, вглядываясь в даль времен, я должен присматриваться к ним как ученый-путешественник к какому-нибудь особому племени далекого архипелага. Он, этот ученый, принадлежит к породе первооткрывателей, изумление которых растет и становится бесконечным потому, что они привязаны к действительности, хотят во всем оставаться объективными до самого конца.

Как Гоген изображал изящность осанки туземцев Таити, головные уборы и татуировку ирокезов, точно так же следует изобразить как главную черту членов этой группы их доброю, я сказал бы заразительную, верность. Ребята, о которых я говорю, были туземцами особой эпохи. Вокруг них бесновалась контрреволюция. Вернее, она уже перебесилась и теперь пыталась уютно устроиться при конституционном образе правления и перестроить всю страну на свой лад.

Для молодежи ориентирами в обществе и истории являются отдельные личности.

Контрреволюция кинула не только Белу Куна и Бокани в некую национальную геенну. Она прокляла память Ади, прокляла Бабича, Морица, Бартока, Кодая, Чока, Ференци. Почти не было таких ценностей — если говорить даже об искусстве,— которых она смертельно не боялась.

Тот, кто во время революции не был отмечен тавром, мог отречься от нее с помощью одного слова, отречься от ее немногочисленной гвардии и снискать себе признание и славу.

Мои друзья в силу своей молодости не успели «скомпрометировать» себя участием в революции, выжечь на себе несмываемое тавро. И все-таки они не использовали своих возможностей, не стали добиваться легкой славы.

Портрет Антала Гидаша работы художника Гуго Геллерта.

Они были верны своим убеждениям и гордо отворачивались от новых дорог, которыми пытались соблазнить их. И это относилось не только к тем, для кого новый режим установил в университете и на государственных службах «процентную норму». Нам известен этнический состав буржуазии в начале века, а потому и их почти неизбежное сопротивление «перегибам» контрреволюции. Тех, кто остался за бортом, буржуазия не то что «подпускала» к своим газетам, журналам и театрам, но даже приглашала сотрудничать, особенно если могла воспользоваться их талантами. Большинство же наших юношей были обручены с искусством, а стало быть, в них был талант или по меньшей мере намек на талант.

Гидашу признание было предначертано. Об этом свидетельствовали его глаза, кольца волос, обрамлявшие лоб, вытянутая шея, уверенный голос, осанка, даже походка. От него нельзя было глаз оторвать! В этом разве что только Сеги мог сравниться с ним. Иногда они вдвоем шли на литературный вечер по коридору здания какого-нибудь профсоюза. И мы, шагавшие за ними, видели, как сверкают глаза попадавшихся им навстречу швей, как они оборачивались им вслед. То же самое можно сказать и о внутренней предназначенности — она существовала у Гидаша с самого начала. Нет ничего загадочней той силы, которая чуть ли не вопреки нашей воле ведет нашу судьбу. Я собственными глазами наблюдал эту силу в Гидаше, вернее сказать, ее следствия.

Я бывал у Гидашей дома. Квартира — комната с кухней — выходила во двор, в ней еще была сапожная мастерская отца. Помню, было тесно, но не помню нищеты, а уж тем более печали. Все здесь дышало

напряженностью, кипело, было полно воли к жизни. Отец с его частыми ударами молотком и частыми шутками, мать с ее проворными движениями рук — оба были само жизнелюбие. Жили и трудились они словно бы незаметно, но так — этот образ только что пришел мне в голову,— как трудятся хорошо запрятанные артиллерийские батареи.

Есть семьи, у которых одна забота — поднять своих детей на возможно большую высоту. А эта хорошо понимавшая друг друга чета словно невидимой катапультой штурмовала будущее. В тот самый миг, когда я хотел постучаться в дверь, в застекленную дверь кухни, как раз вышел оттуда молодой человек. Он был весь отутюжен, открахмаленные воротничок и манжеты так и торчали на нем. Под мышкой зажата огромная папка, вроде той, что носили с собой слушатели инженерных училищ. На этой улице он несомненно привлекал к себе взоры прохожих, потому что она была одной из самых захудалых в городе.

4

Квартира помещалась на улице Роз, в десяти минутах от нас, но по климату была будто совсем в другой части света. Какое же это было удовольствие, пусть даже в сотый раз, проехать на велосипеде по улице Роз, Подманицки и Аради! В мире джунглей не было бы для меня столько волнующих и опасных открытий. «Тайны большого города» — о, сколько я мечтал о них! Точно перед спуском в ад таращил я глаза на какие-нибудь ворота, впервые проезжая мимо них.

В средние века было мудрое правило — мастера одинаковых профессий жили на одной и той же улице. На Шляпочной улице жили одни шляпочники, на Мясницкой — одни мясники, на Кузнецком мосту — кузнецы стучали по железу, и если кому-нибудь вздумалось купить себе сапоги, бочку или, скажем, колечко, ему не надо было бегать туда-сюда по городу, эти улицы, словно удлиненные витрины, предлагали покупателям свою недельную продукцию. В Пеште такие «профессиональные улицы» сохранились еще в период между двумя мировыми войнами. Одна из них, к примеру та, что была позади проспекта Андраши, принадлежала торговцам кожей, а подальше владельцам магазинов подержанной мужской одежды. В наш век эта традиция практически поддерживалась только торговлей особого рода — ремеслом женщин, торгующих своим телом. Но город Пешт был слишком велик для того, чтобы занятых этой профессией собрать на одной-единственной улице. В центре города предприятия сладострастия располагали большим выбором, отличались лучшим обслуживанием и размещались в роскошных дворцах; они были готовы к приему даже английских престолонаследников. Эти улицы по большей части были разбросаны по всему городу, в таких районах, где жили ремесленники, мелкие торговцы, служащие. В этих улицах квартирная плата была одновременно невероятно высокой и вместе с тем вполцены. Высокой для «отверженных» этого общества и низкой для тех, которым не было дела до них, разве что они жили поблизости. Ведь и здесь не каждый дом был публичным домом.

В других домах жили рабочие. На второй или третий этаж одного из таких домов и взбежал я однажды весенним днем в послеполуденный час, неся на плече легкий как пушинка велосипед. С лестницы завернул прямо на галерею, эта внутренняя часть дома была приятной: внизу просторный и чистый двор, выложенный желтой керамической плиткой. Тут было прохладно даже тогда, когда на улице палило солнце.

В подобном окружении обычная чистота, кажется, еще больше сияет. В тесной квартирке царил порядок. Кроватей, кушеток было не очень много, спальные принадлежности были, очевидно, задвинуты под кровать или стояли тайком в углу, укрытые чем-нибудь. Меня не занимало, где тут рабочее место поэта. Я тогда принимал еще за истину господствующее суеверие, согласно которому настоящий поэт тот, вместо кого трудится МУЗА, предоставив ему разве что переписать набело ее священные подсказки, ну, а для этого предостаточно и ночи.

Из нас единственный, кто уже вошел в литературу, был Гидаш, иначе говоря, он был поэтом, его стихи можно было прочесть напечатанными, пускай даже в журнале, которому была суждена короткая жизнь. Но этот и по названию охватывавший широкие горизонты журнал «Новые пути» считал его своим Эндре Ади и даже выплачивал ему гонорар. И Гидаш стал легендарным. Правда, среди тех, кто смотрел ему вслед в помещениях профсоюзов, иные видели на его челе не только печать поэта. Да и старые члены профсоюзов удостаивали его особым пожатием руки вовсе не за литературные творения, а за героический поступок, за богатырский подвиг, который хотя по своему побуждению и был литературным, но по тому, куда он был направлен, его можно было расценивать и иначе.

5

Профсоюзы оставались еще нетронутыми. Это означало, что среди членов и руководителей профсоюзов недоставало лишь тех, кто погиб в 1919-м на фронте, эмигрировал, попал в румынский плен или кого прокуратура засадила в тюрьму. Новое центральное руководство не приступило еще к изгнанию неугодных. Более того, долгое время казалось еще, что профсоюзы будут сборным пунктом разбитого лагеря всего рабочего движения. Еще теплилась надежда, что под влиянием международных протестов будут проведены демократические выборы. А стало быть, есть смысл провозглашать идеи, держать в бодрствующем состоянии душу народа.

ДЮЛА ИЙЕШ
ПРОНВИТЕЛЬ ПАМЯТИ

Полицейские ходили по двое, со штыками наготове. На стенах повсюду красовались плакаты с кощунственными рисунками и угрозами.

В воздухе, словно нероновскими ночами, носились слухи о том, что людей тайно арестовывают и убивают. Прежние помещения профсоюзов стали для многих эдакими христианскими катакомбами.

Те молодые люди, что стояли прислонившись к перилам моста городского сада или сидели на них точно ласточки на проводах, собирались здесь большей частью для того, чтобы в сумерках вместе отправиться дальше. Уходили они в разное время, это зависело от того, куда держали путь. Дом строительных рабочих был по соседству, на проспекте Арены, а Союз портных подальше, на площади Алмаши. Союз ресторанных служащих на углу проспекта Андраши и улицы Верешмарти, деревообделочников — на улице Непсинхаз, частных служащих — на площади Эшкю. Хорошо было шагать так вместе и все-таки врозь по этому враждебному городу. А ведь тело не чувствовало себя в безопасности, просто дух ощущал над собой защиту небосвода, который еще так недавно сиял надеждой. Как писал Бабич, «о вечное небо над облаками».

Первое собрание, на котором я участвовал после рокового затемнения, состоялось в большом зале Союза ресторанных служащих. На литературный вечер или на политический митинг собрались здесь те, кто уцелел? Это было неясно. Проходил он под стражей стоявших перед зданием полицейских и гуляющих по коридорам сыщиков.

Слова председателя, открывшего собрание, были прерваны стуком дежурного полицейского офицера. Заранее объявленного докладчика он сразу же лишил слова.

И тогда, как потом установили мы с моим одноклассником и другом Имре Люстигом, возник спор между председателем и офицером полиции. Наконец, председатель собрания неохотно кивнул головой и поднялся на трибуну; сразу же стало ясно, что ему надлежит закрыть собрание.

Но толпа не желала расходиться. Как будто состояние «все вместе» являлось защитой против того, что угрожало каждому поодиночке, как будто этот зал был крепостью, защищавшей от внешнего мира. Поднялся шум, затем еще более взволнованная тишина. Говорят, так же сбиваются в кучу овцы, когда над ними неотвратимо горит крыша.

У трибуны снова начали спорить. И после милостивого кивка офицера полиции — вот ведь какая была достигнута победа! — на трибуну поднялся тучный распорядитель и сказал: «В заключение будет продекламировано стихотворение Эндре Ади».

И он передал слово стройному черноволосому юноше. Стихотворение начиналось так:

Жандармы — псы на нашу шею
В последний раз сейчас насели.

(«Несемся в революцию». Перев. Л. Мартынова)

Тот, кто не помнит это стихотворение, пусть возьмет в руки учебник и попытается представить себе добела раскаленный металл, с шипением окунувшийся в воду, затянутую льдистой пленкой.

А полицейский офицер, величественно кивнув головой, поначалу даже не прислушивался к тому, что происходит. Рифмы, ритм, поэтические образы еще долго защищали содержание своим сияющим, ослепительным панцирем.

Полицейский вскочил только тогда, когда уже большая часть слушателей была на ногах, зал содрогался от рукоплесканий. Звучали призывы, крики «ура!».

Но чтеца на трибуне уже не было. К нему протянулись руки, и словно по конвейеру люди передавали его друг другу до самых дверей. Нет, это были не сыщики, а его друзья. Он остался цел и невредим. Когда я впервые прикатил на велосипеде к пруду городского сада, мне его представили не то как Нормаи, не то как Веселлин. Только имя его я услышал впервые, а так приветствовал будто старого знакомого.

Это и был молодой Антал Гидаш.

Недолго приходил он потом к пруду — его увлекло дальше. Тридцать семь лет спустя шагали мы снова рядом от улицы Роз по улице Сонди к городскому саду.

6

1934 год был великим годом перелома. Тень и свет поменялись местами.

Когда в середине того же года я приехал в Москву, сияюще-голубым было не только летнее небо, но и грядущее представлялось полным надежд; наступила пора жатвы.

И все были охвачены необычайным подъемом. Годы борьбы и нужды прошли. Огромная держава вздохнула будто единой грудью. Даже в трамваях обсуждались всякие вопросы, и говорилось уже не только о восстановлении, но и о новых стройках, рассуждали о будущем духовной жизни.

Горький стал во главе литературы, среди сверкающих звезд которой были Бабель, Иванов, Зощенко, Пастернак, Фадеев, Пильняк.

Из-за границы хлынули инженеры, строители, ученые, причем не для того, чтобы получать, а для того, чтобы давать: не для того, чтобы уносить, а для того, чтобы приносить.

У всех была одна забота: быть вместе с народом. И это были не только принцип и цель, но всем хотелось ощущать себя нерасторжимым целым с людьми — в доме, в театральном зале, за чтением одной и той же книги.

В Европе и в Америке тоже были писатели, такие как Арагон, Лорка, Драйзер, стремившиеся говорить с массами. Когда я снова встретился с Гидашем в Москве, он был уже признанным мастером. Печатал стихи, одновременно помещал их под псевдонимом в Венгрии, в журнале «100%». Его читали вместе с Маяковским на заводах, на митингах. Он и сам выступал вместе

с популярными поэтами. Помня, какое впечатление производил он в Пеште, я не удивлялся его славе, пожинать которую помогало ему, наверное, и то, что где-нибудь в другом месте посчитали бы за слабость,— его иностранный акцент. Русского слушателя в ту пору это еще больше разжигало: заграница тоже с нами! Из этих отлично прочитанных стихов наибольшей популярностью пользовались те, которые говорили о восстаниях колониальных народов, об их революционности, говорили тем, кто ждал мировой революции. Иначе говоря, поэт хотел быть вместе с массами, разделяя их повседневные заботы и надежды. Это было время, когда и Арагон написал: «Ура — Урал!», когда, преодолев рамки сюрреализма, звал своего читателя в рощи poémes de circonstance [1], иначе говоря, в заводские, пролетарские предместья.

Даже обычно молчаливый Низан — там, в Москве — все вскакивал с места, стремясь подробнее рассказать, какой это вызовет крутой поворот во всем духовном мире Запада.

Гидаш с трудом переносил славу, особенно в ее внешнем проявлении. Порой ясно было видно, как ему неможется. Мы почти совсем не виделись, он уехал лечиться в санаторий, вместе с юной женой, на вид совсем еще студенткой. Мы обменялись с ним подарками. Я получил кашемировую шаль в обмен на совершенно новую суконную кепку, которую купил по дороге в Вену.

7

Небольшая статья Маргит Сечи «Возможности лирики» в «Кортарше» извлекает на поверхность суть огромного круга тем. Совершенная поэзия, поднимаясь к вершинам, приводит поэта к одиночеству. Так как же снова «сделать стихи всеобщей ценностью, сделать так, чтобы они пелись, чтобы отчужденный мир приблизился снова к человеку»? Чтобы поэзия стала такой же, какой она была во времена бродячих певцов, созидателей народной песни. И в наши дни «поэты не постеснялись спускаться в мир народной песни, которую еще поют», породив движение, охватившее всю страну, цель и достижения которого ведут вовсе не назад, а вперед, создавая в трясине вчерашней и сегодняшней халтуры оазисы подлинной поэзии. Поэтом, «близким людям», по праву можем назвать Шандора Петефи. А в других странах? Успех и популярность, увы, разминулись — слава пошла не по той улице, по которой шла поэтическая ценность, не по стопам Беранже, чей талант трудно недооценивать. А кто позднее пытался снова завоевать людей — на площадях, в уличном шуме? Как ни странно, футуристы. Наш Маринетти использовал свои уста поэта и на то, чтобы играть на дуде и чтобы шипеть, как паровой двигатель, и визжать, словно летящая граната.

Путь этот был явно неверный. Важно ис-

[1] Поэзии обстоятельств *(франц.)*.

АНТАЛ ГИДАШ

Из новых стихов

ПОДУМАЙ...

Средь радужной весны
не хватит ли кричать,
что небеса
опять черны?

Меня
история кружила,
крушила, да не сокрушила
и жизнь
крутила,
молотила,
в грязи валяла,
била кулаком,
вытягивала
жилы.

Но из морей бездонных
я обновленный всплыл.
Я одиноким
не был
даже
в глубине.

Родной народ все годы
со мною был. Точнее —
все кристально-чистые народы.
Они давали силу мне.

Своей любви я тоже не растратил,
сверкая и лучась,
она горела так светло,
как небеса в рассветный час.

Поэтому твердить грешно,
что голубое небо
и весной
черным-черно.

ГРУСТЬ

Иногда меня чуть-чуть
грусть берет:
утекает жизнь моя
каждый год.
Скоро восемьдесят лет —
говорят.
С удивлением гляжу
я назад.
Только начал, а прошло
столько лет.
Лишь сейчас
я полюбил
белый свет.
Все трепещет: ветка, луч,
облака и снег...
Люди сквозь меня идут,
оставляя след.

■

Нет, не смерти я боюсь —
просто жизнь люблю.

Из новых стихов

АВТОПОРТРЕТ

I

Ну хватит!
Довольно
терзаний,
писаний,
признаний,
еды и питья —
то бишь
бытия!

II

Не жалуйся!
Доволен будь!
Пересмотри
свой долгий путь.
Откуда вышел ты,
пришел куда,
великую любовь
неся
через года...
Подобных судеб
много ли найдешь?
Не только сердцем —
все рассудком
подытожь.

Тебя с окраин
вынесла волна,
с тобою жизнь творила чудеса:
швыряла в пропасть,
мчала в небеса.

Всего изведал ты сполна.
Теперь не сетуй
и доволен будь!

Ты — океан
изменчивый
и вечно неизменный.

Перевод с венгерского
НАТЭЛЛЫ ГОРСКОЙ

следовать, как встречается стих с живым языком, иначе говоря — с его передачей вслух. Актеры исследуют это все время. Но произносимость стиха, его новый союз с языком улицы, языком масс безусловно должны быть осуществлены в самом стихе, на чистом листе бумаги. А тот инстинкт и та воля, которые некогда приспособлялись к массам, к залам, к реакции рабочих на заводских вечерах, к их духовной акустике... Впрочем, приспособились ли они? Арагон в дни Сопротивления воплотил вдохновение своих соратников в форму средневекового стиха.

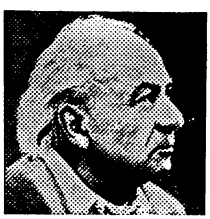
Что же скажет на это нынешнее поколение? Тупик? Позиции сданы? Жертв было безусловно много, даже групповых трагедий.

За те тридцать четыре года, которые Гидаш провел вне среды своего родного языка, его ждали два испытания. Первое — вера, та вера, о которой я попытался рассказать, вспоминая о посетителях моста в городском саду. Эту веру он принес домой в целости и сохранности. Второе испытание. Консерватория, в которой он так вдохновенно и успешно учился постановке голоса, формировала голос для высоких зал, для соборных площадей, а теперь ученик вернулся к комнатной акустике. Поэзия живой речи на одиноких устах. Все поэты конца века говорят в одиночестве, но стараются преодолеть непонимание. А как быть тому, который и с массами говорит в одиночестве? Пример незаурядный, из него должно извлечь урок.

Как же обстоит дело с развитием насыщенной социальными токами литературы, которая, коснувшись некогда авангарда, потом, покинув его, взялась разрешить столько вопросов? Ее молодых представителей беспокоит, что старики с честью решают эти задачи, что ветераны веры создают актуальные, современные произведения, доказывая тем самым, как много дало им то, что они — активные социалисты.

Гидашу 80 лет. Бумага все еще у него на столе. Сила все еще безупречна и в сердце, и в голове. И рядом с ним та же девушка-студентка с ее несокрушимой верой, которая до сих пор помогает пережить все испытания, спутница в предназначенной ему судьбе.

Перевод с венгерского АГНЕССЫ КУН



ДЮЛА ИЙЕШ — ILLYES GYULA (род. в 1902 г.).

Венгерский поэт, прозаик, драматург. Дважды лауреат премии имени Кошута. Произведения Д. Ийеша переведены на многие языки мира. На русском вышли сборник «Рукопожатия», «Избранное», книга «Шандор Петефи», повесть «Обед в замке» («ИЛ» № 9, 1971), роман-эссе «В ладье Харона, или Симптомы старости» («ИЛ» № 5, 6, 1977) и др (О нем см. в «ИЛ» статьи Н. Федоренко — № 6, 1977, и В. Лакшина — № 4, 1978).

Статья «Проявитель памяти» написана Дюлой Ийешем на основе его работы, опубликованной в венгерском журнале «Кортарш» («Elöhivo», Kortars № 12, 1974).

◆

Интервью

АТ-ТАХИР ВАТТАР: «ЖИЗНЬ СТАВИТ НОВЫЕ ЗАДАЧИ...»

Беседу ведет Роберт Ланда

Все великие города мира возводились на семи холмах. Город Алжир, раскинувшийся вдоль извилистого гористого побережья более чем на двадцать километров, по количеству холмов, уступов и крутых подъемов, кажется, превосходит другие города — и великие, и малые. Он устремлен от моря к вершинам вздымающихся в дымке гор. И когда едешь из нижней, приморской его части в верхние кварталы, преодолевая головокружительные виражи по краю высоких обрывов прямо в черте города, дух захватывает от ощущения суровой вздыбленности алжирской земли, молниеносной смены впечатлений и открывающейся панорамы одной из красивейших средиземноморских столиц.

После долгих поисков наконец находим нужный дом. Хозяин — невысокий, плотный, едва ли не с запорожскими усами на чуть скуластом смуглом лице — встречает у входа. Крепко пожимая руку, представляется: «Ат-Тахир Ваттар». Широко улыбаясь, спрашивает: «Быстро нашли?» А выслушав наши путевые впечатления, усмехается: «В жизни всегда надо быть готовым и к резкому подъему, и к неожиданному спуску».

Ат-Тахир Ваттар — в расцвете творческих сил. Многие считают его самым значительным из литераторов в Алжире, пишущих по-арабски. За последние годы он вырос как художник, перешел от сравнительно небольших новелл к широким полотнам алжирской жизни. На родине Ваттара и за рубежом растет интерес к настойчивым поискам писателя в области художественной формы и к содержанию его произведений. Центральная газета «Аль-Муджахид» приветствовала в номере от 20—21 апреля 1979 года публикацию на русском языке второго романа Ваттара «И содрогнется земля...» [1]. Ранее на русский язык переводились некоторые новеллы писателя [2]. О творчестве Ваттара у нас неоднократно писали, подчеркивая его заслуги в художественном отображении переломных для алжирской истории событий национально-освободительной войны [3], его влияние на литературную молодежь своей страны, на молодых новеллистов Туниса.

Критики в Алжире и за его пределами единодушно отмечают своеобразие таланта писателя. Но пока что развернутой оценки удостоен в основном Ваттар-новеллист. Его романы еще не оценены по достоинству. Тем интереснее было лично встретиться с Ваттаром, узнать мнение писателя и о своих произведениях, и об алжирской литературе в целом.

Завязывается непринужденная беседа. Как и большинство алжирцев, Ат-Тахир Ваттар — очень контактный человек, легко находящий тему для общего разговора. Он знакомит нас с женой, берет на руки двухлетнюю дочь Салиму, предлагает угощение, шутит, смеется и как бы между делом говорит о литературе Алжира и других стран (он хорошо знает, в частности, арабскую, французскую и русскую литературы), о культурных процессах в его стране, о революционных преобразованиях и их воздействии на духовный мир алжирца, на психологию и образ жизни гражданина свободной и независимой Алжирской Народной Демократической Республики.

На стене гостиной — фотопортрет Ваттара в кожаной куртке. Лицо на портрете — серьезное и печальное. От этого он кажется старше, чем сейчас, хотя снимок сделан, как говорит жена писателя, много лет назад. Ваттар и похож и не похож на свой портрет. Фотография не в силах передать трудноуловимое обаяние его мягкой улыбки, сдержанных манер, неторопливых движений, негромкого смеха.

У него буквально искрящиеся весельем глубокие черные глаза с лукавым прищуром, и вообще он похож на человека, привычного к труду и борьбе, много знающего и способного многому научить других. Об этом свидетельствует и жизненный путь писателя — учителя по профессии, бойца-партизана во время революционной войны за независимость 1954—1962 годов, общественного деятеля в мирные годы строительства новой жизни. Сейчас он работает в центральном аппарате правящей в АНДР партии Фронт национального освобождения (ФНО). Сама биография Ваттара, непосредственного очевидца и одного из творцов революционных преобразований и национального осво-

[1] См. «ИЛ» № 4, 1979.

[2] См. рассказ «Нава» в сборнике «Современные литературы Африки». М., «Наука», 1966.

[3] См., например, «Современные литературы Африки». М., «Наука», 1973.

бождения Алжира за последнюю четверть века, дала богатый материал для его произведений. Активное участие в переживаемых родиной событиях, проникновение в думы и чаяния своего народа являются для писателя естественными и необходимыми условиями его литературной деятельности.

— Я,— рассказывает он,— национальный контролер партии ФНО. Не менее трех раз в году мне приходится ездить по стране и проверять работу низовых организаций партии на местах. Сейчас эта работа становится еще более ответственной в связи с задачами, поставленными перед партией решениями ее четвертого съезда. В то же время она помогает мне постоянно быть в курсе событий, узнавать обо всем интересном в повседневной жизни народа, отбирать наиболее яркое и типичное.

Ваттар ныне — автор пяти романов, трех сборников рассказов и двух пьес. Он дебютировал рассказами — сборник «Дым моего сердца» в 1962 году. Затем вышли книги «Жалящие удары» в 1971-м, «Жертвы возвращаются на этой неделе» в 1974-м. Значительным для его литературной судьбы явился 1974 год, когда он опубликовал, помимо сборника рассказов и своей первой пьесы «Беглец», сразу три романа — «Туз», «И содрогнется земля...», «Рыбак и дворец». Последний роман печатался в наиболее распространенной арабоязычной газете Алжира «Аш-Шааб».

Публиковать свои произведения в газетах писатель считает крайне необходимым. Таким путем решается сразу несколько задач: с новым произведением намного быстрее знакомится массовый читатель, намного быстрее писатель знакомится с реакцией читателя (в Алжире публикация читательских писем в редакции газет по самым разным вопросам — давняя традиция). И кроме того, арабоязычные издания, расширяющие свою аудиторию, оказываются в выигрыше, знакомя публику с новинками национальной литературы. В 1978—1979 годах, например, издающаяся в Оране газета «Аль-Джумхурийя» публиковала на своих страницах из номера в номер новое произведение Ваттара «Туз, Джамила, любовь и смерть в эпоху Эль-Харраша», которое вскоре выйдет отдельной книгой в национальном издательстве СНЭД.

Для современной алжирской литературы по-прежнему остроактуальной остается проблема языка, на котором писатель создает свои произведения (Ваттар говорит и по-арабски, и по-французски, но пишет только на арабском языке). Арабизация образования, являющаяся важнейшей частью проводимой в стране культурной революции, за последние девять-десять лет существенно укрепила позиции арабского литературного языка: значительно увеличилось число читающих по-арабски, среди молодежи, особенно студенческой, уже не принято говорить по-французски, как это было лет шесть-семь тому назад. На улице ныне слышится арабская речь, причем говорят не только на диалекте, как раньше, но и на литературном языке, на котором раньше в Алжире не говорили[1].

— Вы тоже обратили внимание на это? — с улыбкой спрашивает Ваттар.— Да, арабизация далеко шагнула вперед. Все замечают, что теперь молодежь гордится знанием именно арабского языка.

Но все же проблема остается: ведь большинство грамотных людей старшего и среднего поколения кончало еще французскую школу. Среди читающей публики, особенно интеллигенции старшего поколения, сильна привычка к чтению прежде всего французской или франкоязычной алжирской литературы. Недаром в магазинах и книжных ларьках можно видеть произведения Ваттара и другого видного арабоязычного писателя Алжира, Абд аль-Хамида Бен Хаддуки, изданные алжирским издательством СНЭД в переводе на французский язык. Это обстоятельство наглядно иллюстрирует специфику языковой ситуации в Алжире. Вместе с тем речь вовсе не идет об отказе от французского языка, который алжирцы продолжают использовать, в том числе — как язык литературы.

— Я считаю,— говорит Ваттар,— алжирская современная литература на арабском языке играет все более прогрессивную роль.

Объясняет он это прежде всего тем, что многих крупных писателей, принесших в свое время славу франкоязычной литературе Алжира, таких, как Мулуд Фераун или Малек Хаддад, уже нет в живых, а оставшиеся постепенно сдали свои позиции.

— Большинство литературной молодежи пишет в основном по-арабски.

Из новых имен алжирской франкоязычной литературы Ваттар ставит на первое место Рашида Буджедру[2]. Но большие надежды он возлагает прежде всего на молодое поколение арабоязычных писателей Алжира, выдвинувшихся за последние годы, таких, как Бакташ Марзак, Смаил Гумукат, Ладраа Шриф, Амар Бельахсен. По его мнению, за ними и за Буджедрой — будущее алжирской литературы.

— На подъеме,— рассказывает он,— находится сейчас и алжирский театр. Национальные труппы работают в пяти городах страны: Алжире, Оране, Константине, Аннабе, Сиди-Бель-Аббесе. Они пополняются за счет выпускников работающего уже 14 лет Национального института драматического искусства и хореографии в Бордж аль-Киффане (недалеко от столицы). Кроме того, за последнее десятилетие возникло немало любительских трупп («Театр моря в Оране, «Театр молодежи» в городе Алжир).

По словам Ваттара, известный поэт, прозаик и драматург Катеб Ясин, пьесы которого идут как на сценах Орана, Тлемсена и других городов страны, так и в Париже, Брюсселе, Берлине, решил всецело посвятить себя национальному театру.

[1] Арабский литературный язык, единый для прессы, радио, литературы, телевидения и официальных выступлений во всех арабских странах, от Йемена до Марокко, сильно отличается от народного языка (диалектов) каждой страны.

[2] О его творчестве см. статью С. Прожогиной в «ИЛ» № 1, 1977.

— Он,— говорит Ваттар,— совсем перестал писать прозу и стихи, всецело отдавшись драматургии. Пишет он много, но чувствуется подражание стилю Брехта. Став директором театра в Сиди-Бель-Аббесе, Катеб Ясин переживает сейчас пору бурного увлечения театром.

Это обстоятельство — весьма значительный факт в культурной жизни Алжира. Театр в стране еще в колониальную эпоху сумел стать, благодаря творчеству таких блестящих драматургов и актеров, как Махиддин Баштарзи и Рашид Ксентини, одним из очагов возрождения национальной культуры и сопротивления ассимиляции. Уже более полувека алжирские актеры говорят на сцене на арабском разговорном языке, близком к народным диалектам Алжира. Но проблема языка театра по-прежнему серьезно стоит в Алжире, как, впрочем, и в других арабских странах.

Разговор заходит об известном советскому читателю романе Ваттара «И содрогнется земля...» и о романе «Туз». Писатель считает первый роман более удавшимся с точки зрения художественной отточенности чисто литературных приемов, разработанности внутренних монологов и анализа психологии героя. Этот роман, остро ставящий актуальные вопросы современной жизни страны и посвященный автором «тем, кто, не жалея сил, проводит в Алжире аграрную революцию», писатель расценивает как шаг вперед в своем творческом развитии, совершенствовании профессиональных навыков. Он полагает, что в романе «И содрогнется земля...» ему больше, чем в предыдущих произведениях, удалось добиться единства формы и содержания, остросоциального замысла и его художественного воплощения. Роман, опубликованный пять лет назад в Алжире и других арабских странах, не утратил своей актуальности и сегодня. Отвечая на вопрос, был ли реальный прототип у главного «антигероя» романа шейха Абу Арваха, Ваттар называет имя давно умершего деятеля движения улемов—реформаторов.

— Вы удивлены? — улыбается он.— Но разве этот человек, которого уже нет на свете, не бел бы себя подобно Абу Арваху в нынешней обстановке? Разве он не мог бы чувствовать, думать и говорить то же самое, если бы, как и Абу Арвах, столкнулся с перспективой утраты своих земель, своих богатств и положения в обществе? Конечно, не только этот шейх послужил прообразом для моего «антигероя». Образ Абу Арваха — во многом собирательный. В нем безусловно есть черточки и некоторых ныне здравствующих в Алжире людей.

Сказанное выше весьма свойственно творческой манере Ваттара. Он обычно берет в качестве прототипа того или иного образа хорошо известного ему человека, а затем «оснащает» этот образ различными чертами характера (и подробностями личной судьбы), отсутствовавшими у данного конкретного человека, но не противоречащими внутренней логике развития его духовного мира.

— Вы, очевидно, догадываетесь,— говорит Ваттар,— что герой романа «Туз» (роман посвящен драматическим событиям партизанской войны 1954—1962 годов в Алжире.— Р. Л.) — это один из известных деятелей освободительного движения в нашей стране. Конечно, в романе вовсе нет точного описания его жизни и его характера, да и погиб он не совсем так, но во многом его образ, как и вообще образы революционных борцов в романе, списан с натуры.

Ваттар считает, что «Туз» удался ему больше не с точки зрения литературной техники, а в плане разработки сюжета и реалистического отображения событий революционной войны 1954—1962 годов. Для него, ветерана этой войны, суровая правда о ней чрезвычайно важна. Поэтому, оценивая творчество того или иного алжирского литератора, затрагивающего тему войны, Ваттар непременно принимает во внимание личное участие писателя в событиях, еще сравнительно недавно занимавших главное место в жизни любого алжирца. «Но ведь он не участвовал в революции!»—с возмущением говорит Ваттар об одном таком литераторе, претендующем на роль революционного «мемуариста». И этим сказано многое.

Писатель недавно сдал в издательство роман, являющийся продолжением «Туза». Но действие его происходит уже не в годы борьбы за освобождение, а в десятилетие после провозглашения независимости Алжира — 1962—1972 годы. В центре повествования — герой, также во многом напоминающий и личной судьбой, и чертами характера реально существовавшего человека, имевшего большие заслуги перед антиколониальным движением 30—40-х годов.

— Но это, конечно, лишь прообраз,— поясняет Ваттар.— Обстоятельства сейчас иные. Жизнь ставит новые, во многом более сложные задачи. Однако каждое поколение алжирцев должно знать, кому подражать. Я считаю, что такие герои действуют, должны действовать и в наши дни.

Сейчас писатель работает над новым романом, в основе которого — судьба бывшего директора театра, бросающего свое дело и стремящегося найти себя, изменить свою судьбу, что ему в конечном счете удается, но чрезмерно дорогой ценой. Судя по словам Ваттара, роман будет написан в той же, если не в еще более усложненной манере, что «И содрогнется земля...». На предположение о реальном прототипе героя писатель отвечает:

— Да, это и тот, и другой, и даже более известный человек, чем вы думаете. Это они все вместе, это их драма, их метания и искания, очень типичные для нашего времени и наших проблем.

Мы прощаемся с гостеприимным хозяином и начинаем снова преодолевать то «резкие подъемы», то «неожиданные спуски», вспоминая шутливые предостережения и широкую добрую улыбку Ат-Тахира Ваттара, талантливого писателя, обаятельного человека и большого патриота своей прекрасной страны.

Заметки на полях

ПОРА РАЗМЫШЛЕНИЙ И НАДЕЖД

Испанская литература в зеркале критики

Когда в марте 1979 года мадридская газета «Эль паис» опубликовала результаты ежегодно проводимого Национальным институтом книги анализа читательского спроса, то оказалось, что на первом месте в списке бестселлеров 1978 года стоит роман «И на третий год он воскрес». Автор его, Фернандо Вискаино Касас, обладает весьма бойким пером и безошибочным чутьем на конъюнктуру книжного рынка. Недаром среди десяти наиболее популярных в прошлом году книг три написаны им. Вискаино Касас не скрывает своих убеждений. В одном интервью он с гордостью заявил, что «широкая продажа его романов — это народный референдум против демократии».

Свой новый роман, за год переиздававшийся более двадцати раз, автор относит к жанру так называемой исторической фантастики, очень распространенному сейчас в Испании. Сюжет таких книг чаще всего строится на предположении типа «что было бы, если бы в 1939 году победили республиканцы», трактовка же последующего исторического развития страны бывает различной. Вискаино Касас несколько изменил этот трафарет. Очередной его опус, имевший столь шумный успех, повествует о том, как в 1978 году воскресает... Франко. Но произведений, столь откровенно отражающих тоску по фашистскому «порядку», тоску, которая не перестает звучать в выступлениях ультраправых сил страны, немного.

Комментируя список испанских бестсёллеров 1978 года, газета «Эль паис» пишет:

> «Трагический антагонизм того времени, когда развитие испанской мысли было насильственно задержано, еще и сегодня определяет лицо нашей культуры».

Действительно, тот факт, что книга, подобная роману «И на третий год он воскрес», лидирует в этом списке, свидетельствует о сложностях процессов демократизации, о наличии в стране сил, которым хотелось бы вернуться к прошлому. Но апология франкизма, которую преподносит своему читателю Вискаино Касас, к счастью, печальное исключение в современной художественной литературе Испании. Лишь один факт из культурной жизни страны в 1978 году может быть сопоставлен в этом смысле с романом «И на третий год он воскрес» — спектакль мадридского «Театро Арлекин» «Ничтожество» по пьесе мало известного ранее драматурга Элоя Эрреры, шедший с аншлагом в течение полугода. Герой пьесы — убежденный фалангист, взгляды которого ничто не может поколебать. Скандальный успех пьесы в значительной степени объясняется тем, что впервые со сцены не только защищают идеалы франкизма, но и в резкой, подчас грубой форме критикуют тех, кто от него отошел, встал в ряды оппозиции. Причем речь идет о конкретных общественных деятелях, имена которых публика встречает бурными взрывами негодования. Конечно, эта пьеса рассчитана на вполне определенного — крайне правого — зрителя, именно того, кто вместе с любителями дешевого чтива увлекался романом Вискаино Касаса «И на третий год он воскрес». По свидетельству известного прогрессивного критика Хосе Монлеона, зрительный зал «Театро Арлекин» напоминал парад старой гвардии франкизма, полагающей, что историю можно повернуть вспять.

Тема недавнего прошлого, его влияния на сегодняшнюю жизнь страны превалирует в испанской литературе. Авторы уже упоминавшегося комментария к списку наиболее популярных книг года в статье «Бестселлеры — пульс культуры народа» пишут:

> «То, что все книги, за единственным исключением, написаны испанцами (в прошлом году аналогичный список наполовину состоял из переводов.— *Н. М.*) и сюжеты их прямо или косвенно связаны с политикой, свидетельствует, что интерес к литературе обусловлен сегодня,

в первую очередь, происходящими в стране переменами. Этот список свидетельствует также, что длительный период авторитарной власти продолжает оказывать огромное влияние на литературу».

О пристальном внимании к литературе, связанной с общественно-политической ситуацией, говорили и участники дискуссии «Настоящее и будущее испанской культуры», проведенной журналом «Ресенья де литература, арте и эспектакулос». Редакция обратилась к издателям, сотрудникам крупных газет и еженедельников, критикам с просьбой определить новые тенденции в культурной жизни страны, их связь с общими процессами демократизации. Наиболее характерным фактом участники дискуссии единодушно считают резкую политизацию печатного слова.

«Сегодня политика бесцеремонно вторгается в культуру, используя ее для пропаганды партийных программ».

Так ответил на анкету писатель Мануэль Андухар. Процесс этот вызывает серьезную озабоченность, прозвучавшую и в выступлениях на страницах «Ресенья де литература, арте и эспектакулос». Деятели испанской культуры считают, что он таит в себе известную опасность для подлинной литературы. Искреннее и страстное увлечение политикой, активное участие в предвыборной кампании, в демократических преобразованиях стали, как это ни парадоксально, своего рода «подводным камнем» для творчества многих писателей. Книги их из произведений искусства, имеющих непреходящее эстетическое значение, нередко становятся недолговечным аргументом в межпартийной борьбе.

Другая опасность — это подмена глубокого анализа дешевой сенсационностью, спекуляцией на интересе читателей к политическим переменам. Именно к таким романам относится «И на третий год он воскрес».

Но не только в этом причина популярности подобных произведений. Они представляют собой одну из тенденций современной массовой культуры, которая, способствуя сохранению наиболее консервативных вкусов испанского читателя, закреплению определенных стереотипов восприятия литературы, тормозит подлинно демократические процессы. (Подробно эти явления рассмотрены в статье И. Тертерян «История начинается — история продолжается», «Вопросы литературы» № 6, 1978 г.) Авторы таких книг уверены, что найдут своего читателя. Основанием для подобной уверенности была официальная культурная политика франкизма. Критик Хосе Мария Бернальдес, указывая, что именно для массовой литературы были созданы наиболее благоприятные условия, пишет на страницах «Эль паис»:

«Наше общество, в отличие от любой другой цивилизованной страны, не понимало, как велика общественная роль интеллигенции. Непонимание это всячески поддерживалось администрацией, главная культурная задача которой была — сделать невозможным существование культуры».

Современная массовая литература Испании, по мнению критика, по-прежнему отличается крайне правой ориентацией. Ее создатели скептически относятся к демократическим переменам в стране, поддерживают наиболее реакционные и националистические настроения в испанской культуре.

Сетуя на популярность подобного чтива у широкого читателя, газета «Эль паис» не без горькой иронии замечает:

«...В Испании существуют многочисленные группы населения, никогда не посещающие книжных магазинов и поэтому не имеющие никакого отношения к такому прискорбному феномену» (по данным министерства культуры Испании, книги покупают лишь 42% населения страны.— *Н. М.*).

Недавнее прошлое находит свое отражение не только в опусах Вискаино Касаса и ему подобных. К периоду франкизма настойчиво возвращаются в своих книгах и серьезные писатели. Они стремятся демифологизировать это прошлое в сознании массового читателя. Так, Национальную премию по литературе за 1978 год получила известная советскому читателю Кармен Мартин Гайте за роман «Задняя комната». Книга в значительной степени автобиографична и рассказывает о судьбе поколения, детство которого совпало с национально-революционной войной, о судьбе творческой интеллигенции в период франкизма. В чем-то перекликаются с ней вызвавшие большой интерес читателей и критики мемуары известного прогрессивного издателя и поэта Карлоса Барраля «Годы, не нуждающиеся в оправдании». Барраль рассказывает о борьбе с франкистской цензурой; о том, на какие ухищрения приходилось идти, чтобы издать некоторые книги; о том, чего стоило добиться разрешения на публикацию лучших книг современных западноевропейских писателей, с каким трудом левая интеллигенция, преодолевая сопротивление официальных властей, создавала шаг за шагом условия для развития прогрессивных тенденций в национальной литературе.

В 1978 году выпустил новую книгу Хуан Гойтисоло. Это сборник «Свобода, свобода, свобода», куда вошли публицистические статьи, написанные им после 1975 года. Книга открывается очень эмоциональной речью, с которой писатель выступил перед американскими испанистами через несколько дней после смерти Франко. Одна из ведущих тем остальных статей — испанская интеллигенция и франкизм.

В списке наиболее популярных книг года «Кроты» Хесуса Торбадо и Мануэля Леги-

нече — документальная запись рассказов испанцев, длительное время скрывавшихся от франкистских властей в лесах, подвалах домов, подземельях, на чердаках. В этом же списке и новый роман Хуана Марсе «Девушка в золотых штанишках», отмеченный в минувшем году премией «Планета». Заметим попутно, что в 1977 году список бестселлеров возглавлял роман Марсе «Если тебе скажут, что я погиб», который долгое время запрещала испанская цензура. Новое произведение писателя рассказывает о человеке с бурным франкистским прошлым, который на склоне лет пишет мемуары, стараясь оправдаться — прежде всего в собственных глазах — за пролитую кровь, махинации и зло, которыми отмечен его жизненный путь.

Проблемы, поднятые этими писателями, безусловно близки испанцам, волнуют их. Однако основная тема их книг — все же недавнее прошлое, а не сегодняшний день страны. А испанский читатель за годы франкизма привык к тому, что художественная литература самым непосредственным образом связана с политическими и общественными процессами. Еще в 1963 году Хуан Гойтисоло так характеризовал творческие задачи писателей своего поколения:

«Испанские читатели не располагают правдивой информацией о тех проблемах, с которыми сталкивается страна. Писатели стремятся восполнить этот пробел, создавая по возможности самую правдивую и справедливую картину окружающей действительности».

Для писателей, чье детство совпало с национально-революционной войной, собственно творческие задачи были неотделимы от понятия гражданственности. В последние годы, после смерти Франко, художественная литература оказалась в несколько иных условиях, чем раньше. Разница эта прежде всего в том, что у литературы отпала необходимость заменять собой средства массовой информации. И когда темп перемен в общественной жизни Испании стал напоминать неправдоподобно быстро сменяющие друг друга кинокадры, а перед литературой встала задача художественного осмысления этих процессов, многие писатели растерялись. В последние годы в испанской прессе раздаются тревожные голоса по поводу отсутствия книг, которые помогли бы людям разобраться в тех сложных процессах, что происходят в стране.

В 1978 году эта тревога была лейтмотивом большинства выступлений ведущих критиков. Одной из самых горьких является, пожалуй, статья писателя и публициста Хосе Антонио Габриэля-и-Галана, опубликованная газетой «Информасьонес». Показательно уже ее название — «Пора разочарований». Автор сравнивает современную испанскую интеллигенцию с обломками кораблекрушения, ждать от которых просто нечего:

«Очевидно, что сорок лет диктатуры сменились более разумным и демократическим периодом. Но очевидно также и то, что испанский интеллигент в этой ситуации растерялся, ему нечего сказать... Неужели свобода способна вызвать у нас лишь летаргический сон?»

Констатируя с горечью, что «испанские писатели не умеют обращаться с полученной свободой», Габриэль-и-Галан одну из причин этого видит в проблеме автоцензуры. Впервые о ней заговорили крупнейшие драматурги Антонио Буэро Вальехо и Альфонсо Састре в 1960 году в полемике на страницах журналов «Инсула» и «Пример акто». И хотя с тех пор прошло почти два десятилетия, испанские писатели постоянно возвращаются к этому вопросу как одному из наиболее трудных и болезненных. Автоцензура сводится к неосознанной — в редких случаях сознательной — координации писателем своих творческих и идеологических установок с навязанными ему извне запретами. По этому поводу еще в 1961 году, отвечая на вопросы анкеты «Леттр франсез», Хосе Мариа Кабальеро Бональд, сегодня известный писатель, президент испанского ПЕН-клуба, сказал:

«Конечно, инквизиторская обстановка в Испании ставит препятствия к осуществлению задач писателя. Но есть еще более страшная опасность — автоцензура, которая порой заявляет о себе еще до того, как сказала свое слово цензура официальная. Автоцензура проявляется в неосознанной тенденции не писать того, что может быть запрещено»[1].

Прошло много лет. Обстановка в стране изменилась. Но все эти годы автоцензура была реальностью для многих испанских писателей, во всяком случае для тех, кто жил на родине. И тот, кто в свое время пошел на внутренний компромисс, сегодня вынужден расплачиваться «неумением пользоваться полученной свободой».

Кроме того, поляризация общественных сил в период франкизма была гораздо более четкой, считает Габриэль-и-Галан, и найти свое место в общественно-политической обстановке было гораздо проще, чем теперь. Уже одно неприятие франкизма определяло общественное и творческое лицо писателя. Молчание многих писателей теперь Габриэль-и-Галан склонен объяснять инерцией мышления, неспособностью перестроиться на кардинально иной подход к общественным явлениям. Эта же мысль звучит в статье известного публициста Эдуардо Аро Теглена. Анализируя на страницах газеты «Информасьонес» состояние испанского театра периода постфранкизма, он пишет о драматургах:

«Они не привыкли размышлять. В течение долгих лет их сознание формировалось единственным стремлением быть в оппозиции к определенному общественному устройству и образу жизни, которые мешали им ставить пьесы. И сегодня,

[1] Цит. по «ИЛ» № 12, 1962.

хотя времена изменились, они все еще сохраняют привычку быть прежде всего против, что не позволяет им занять конструктивную позицию».

В статье Аро Теглена речь идет о драматургах, но думается, что мысль эта приложима и к писателям, работающим в других жанрах. Однако помимо беспокойства и упреков в адрес писателей в испанской прессе в минувшем году звучало и понимание того, что «большое видится на расстоянье», что литературе необходимо время, чтобы осознать и правильно оценить происходящее в стране. Так, Л. Лопес Санчо в дискуссии о будущем испанской культуры, о которой уже шла речь выше, сказал:

«Думаю, что необходим переходный период, когда будет создана основа демократии в политике и экономике. Лишь тогда и культура сумеет правильно оценить происходящее».

Этой же мысли целиком посвящена статья «Время размышлений» в газете «Информасьонес». Ее автор — известный и авторитетный в среде левой интеллигенции критик Хосе Мария Кастельет[1] — разделяет всеобщее мнение, что испанская литература переживает сейчас глубокий кризис, объясняющийся социальными причинами. Он отнюдь не является сторонником механического проведения параллелей между процессами, происходящими в обществе, и развитием литературы. Но огромные изменения во внутренней жизни Испании последних лет породили некоторую растерянность в умонастроении людей, что и отразилось в литературе. Именно это послужило поводом для разочарования и многочисленных упреков в адрес писателей со стороны тех, кто полагал, что демократизация общества немедленно повлечет за собой и изменения в литературе.

[1] Журнал «Иностранная литература» печатал статью Хосе М. Кастельета «Поэзия Хосе Агустина Гойтисоло» (№ 11, 1975).

«Мне кажется,— пишет Хосе М. Кастельет,— что нужно потратить несколько лет только на размышления. Именно лет, а не месяцев. За это время испанское общество осознает себя свободным, а писатель обретет творческую свободу в полном смысле слова».

Большую роль Кастельет отводит критике. Именно она должна помочь переосмыслить испанскую культуру последних десятилетий, трезво оценить, какой урон был нанесен литературе за долгие годы франкизма. В предисловии к коллективному сборнику «Испанская культура при франкизме» он сомневается в том, что левая культура последних сорока лет — при всем значении, которое она тогда имела,— может служить отправной точкой для сегодняшней культуры Испании, создающейся в совершенно иных условиях. Сейчас настало время разобраться, в чем же своеобразие испанской культуры последних десятилетий. Только после этого, по мнению Хосе М. Кастельета,

«...можно будет реально предлагать какие-то средства для возрождения культуры, способной подняться до уровня своего времени и своего общества, к требованиям которого она не должна оставаться равнодушной».

В заключение — об анкете, опубликованной «Эль паис» в последний день 1978 года и посвященной его литературным итогам. Общий тон ответов был достаточно сдержанным и далеким от оптимизма. Однако у многих прозвучала надежда, что уходящий год был переломным. Сегодня уже можно сказать, что одним из подтверждений этого стал вышедший весной 1979 года роман крупнейшего писателя страны Мигеля Делибеса «За кого проголосует сеньор Кайо», самым непосредственным образом связанный с сегодняшним днем страны, со всеобщими выборами. Это дает основание надеяться, что большая литература Испании начала преодолевать трудный период молчания и растерянности.

Н. МАТЯШ

◆

Публицистика

Н. ФЕДОРЕНКО

АНГОЛА: ФОРУМ ПИСАТЕЛЕЙ

1

Современный мировой литературный процесс ознаменовался важным событием. В Луанде, столице Народной Республики Анголы, была открыта еще одна страница в истории писательского движения стран Азии и Африки. В конце июня—начале июля этого года на раскрепощенной земле Черной Африки собрались вместе литераторы двух великих континентов, чтобы вновь подтвердить свою веру в те человеческие добродетели и нравственные идеалы, которые неизменно вдохновляли и вдохновляют всех подлинных создателей великой литературы, в высокие идеалы гуманизма, добра и красоты, прогресса и социальной справедливости. Они собрались в Анголе для того, чтобы еще раз выразить свою солидарность, продемонстрировать нерасторжимое единство со всеми народами планеты, разделяющими веру в эти идеалы и стремящимися воплотить их в конкретные поступки, в практические свои действия...

В ряду конференций в рамках движения писателей стран Азии и Африки, которое в 1978 году отметило двадцатилетие, очередная VI явилась одной из наиболее представительных и важных для судеб самого движения, открывающего широкие перспективы дальнейшего его развития. В ней принимали участие писатели пятидесяти афро-азиатских стран и представители различных международных организаций. Среди ее участников — видные мастера слова, литераторы: Фаиз Ахмад Фаиз (Пакистан), Алекс Ла Гума (Южная Африка), Хариваншрай Баччан, Субхас Мукерджи, Бхишам Сахни (Индия), Етаро Конака, Иосиэ Хотта (Япония), Име Икиде (Нигерия), Муин Бсису, Абу Сальма (Палестина), Азиз Несин, Азиз Чалышлар (Турция), Тху Бон, Нгуен Нгок (Вьетнам), Антонио Жасинто, Антонио Кардозо, Луандино Виейра, Мануэл Руй, Мария Эужениа Нето, Боавентура Кардозо

ФЕДОРЕНКО НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ (род. в 1912 г.).

Советский писатель, филолог-востоковед, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук СССР, почетный академик Флорентийской академии искусств, почетный член Института китаеведения в Токио. Автор книг: «Очерки современной китайской литературы» (1953), «Китайские записи» (1955), «Китайская литература. Очерки по китайской литературе» (1956), «Шицзин» и его место в китайской литературе» (1958), «Земля и легенды Китая» (1961), «Краски времени. Черты японского искусства» (1972), «Дипломатические записи» (1972), «Японские записи» (1974), «Проблемы исследования китайской литературы» (1974), «Меткость слова (Афористика как жанр словесного искусства)» (1975), «Кавабата Ясунари» (1978), «Диалог в Каракасе» (1979) и многих других работ, посвященных истории культуры Китая и Японии, общетеоретическим вопросам литературы и искусства.

(Ангола), Баба Джигида (Сьерра-Леоне), Аския Маскавей (Либерия), Гуанасена Витана (Шри Ланка), Луис Бернардо Онвана, Руй Ногар (Мозамбик), Д. Цэдэв (Монголия), Оматени Калуэнья, Эрман Манголо (Намибия), Мамаду Траоре Диоп (Сенегал), Вачар Ветиятиранг (Таиланд), Кларисс Рацифандрихамана (Малагасийская Республика), Кабир Чоудари (Бангладеш), Ассефа Гебре Мариам (Эфиопия), Айян Айян (Афганистан), Камиль Яшен, Анатолий Софронов, Олжас Сулейменов (СССР) и многие другие.

Международное движение литераторов, организуемое Ассоциацией писателей стран Азии и Африки,— крупнейшее из современных литературных творческих объединений. Едва ли в мире литературы есть другая организация, которая может стать вровень с движением афро-азиатских писателей. В течение двух минувших десятилетий оно непрестанно ширилось и привлекало в свое русло художников слова Азии и Африки, отнюдь не отгораживаясь, однако, от сотрудничества и связей с писателями других стран и континентов.

Обращая мысли собравшихся к первой встрече 7 октября 1958 года в зале Театра имени Алишера Навои в Ташкенте, известный палестинский поэт Абу Сальма напомнил с трибуны ангольского форума: участники встречи поклялись тогда, что их перья будут служить только защите идей родины, народа и свободы. Поклялись, что они будут продолжать сражаться до тех пор, пока существует колониализм, угнетение, невежество, бедность.

«Мы вновь собрались,— сказал Абу Сальма,— верные духу Ташкентской конференции, с нами вновь — произнесенные с трибуны того форума слова Назыма Хикмета: «Товарищи! Творцы новой литературы несут в своих руках сердца народов. Мы принесли с собой на Ташкентскую конференцию сердца наших народов: они способны на две вещи — любовь и ненависть. На Ташкентской конференции наши сердца объединились в безграничной ненависти и безграничной любви: ненависти — к рабству, войне, колониализму, нищете; любви — к свободе, прогрессу, к счастью и справедливой жизни на земле».

Вспоминаются и весомые и точные слова, которыми в своей яркой речи определил роль художников слова двух континентов Николай Тихонов. призывая их воспеть возвышенные качества человека, свободу и надежду на лучшее будущее для всех народов земли

Ташкентская клятва писателей не забыта, она свята и ныне. Литераторы стран Азии и Африки ни на один день не прекращали усилий для достижения поставленных целей, не прекращали борьбы и творчества на благо своих народов.

Новые статьи устава Ассоциации, одобренные конференцией в Луанде, открывают дополнительные возможности для вступления в ряды Ассоциации не только отдельных литераторов, но и творческих организаций других регионов и континентов, разделяющих ее принципы и идейно-эстетические позиции. Это означает, что перед нынешним движением афро-азиатских писателей возникает реальная перспектива обрести масштабность общемирового писательского объединения. Процесс этот в сущности начался в Ташкенте двадцать лет назад. Примечательно, что именно афро-азиатским литераторам принадлежит инициатива практического объединения своих сил на наиболее прогрессивных, передовых основах и принципах. Ничего подобного, как это ни странно, не наблюдается на других континентах: в США, к примеру, до сих пор не создано даже национального союза писателей...

Внимания в этой связи заслуживает высказывание Генерального секретаря Ассоциации Алекса Ла Гумы, отметившего в своем выступлении на конференции, что Ассоциацией сделаны новые шаги к расширению контактов и солидарности между прогрессивными писателями. Теперь в ряды Ассоциации могут вступить многие друзья — деятели мировой культуры, которые поддерживают движение афро-азиатских писателей. «Кто знает,— добавил он,— быть может, придет день, и Ассоциация станет краеугольным камнем широкого движения, объединяющего литераторов всех континентов и стран, которые полны решимости способствовать справедливому делу человеческого прогресса и мира».

С чувством гордости можно сказать, что добрые семена, брошенные в почву два десятилетия назад, дали щедрые всходы. Лучшее свидетельство этому — рост влияния Ассоциации и книги, созданные писателями Азии и Африки, несущие людям идеи гуманизма и свободы, воспитывающие читателей в духе верности принципам демократии и прогресса

Успешное развитие движения афро-азиатских писателей, как известно, зиждется на идейном и творческом их взаимном понимании, на основах гуманизма, на единой их воле к борьбе за международную безопасность и добрососедство, на общей их платформе противостояния насилию реакции, агрессии. Верные своему долгу активного участия в общечеловеческих судьбах и актуальнейших проблемах сегодняшней жизни, прогрессивные литераторы стран Африки и Азии неизменно выступают с решительным осуждением империалистических и колониалистских провокаций

Н. ФЕДОРЕНКО
АНГОЛА: ФОРУМ ПИСАТЕЛЕЙ

в отношении освободившихся и борющихся стран, избравших демократический путь, с поддержкой социалистических перспектив развития на Востоке и Западе. Творческие и идеологические свои позиции они занимают прочно и, как показала ангольская встреча, сдавать их никому не намерены.

Выступления участников конференции позволяют предположить, что уже в обозримом будущем в Ассоциацию смогут вступить в качестве ассоциированных членов союзы писателей социалистических стран Европы: ранее их представители принимали активное участие в различных мероприятиях Ассоциации как наблюдатели или почетные гости.

Нет нужды доказывать, что литературы стран Азии и Африки — органическая часть мирового литературного процесса, его неотъемлемая составная. Они неотрывны от литератур других народов земного шара. И всякие насильственные попытки изолировать эти литературы от искусства остального мира, как это стремились делать колонизаторы, националисты, приверженцы европоцентризма, приводят к пагубным результатам. Разве недобрая слава «культурной революции» в Китае не является одной из убедительных тому иллюстраций?

Писателей из Азии и Африки объединяет вера в действенность слова художника — силы, способной вдохновить миллионы на самоотверженную борьбу и на преобразующий труд. Своим общим долгом они считают всемерное содействие тому, чтобы развивающееся это писательское сотрудничество приобрело в недрах Ассоциации еще более конструктивный, творческий характер. Как свидетельствует наш опыт, эти представления об общности целей и идеалов не ограничиваются рамками лишь двух континентов В своей борьбе афро-азиатские литераторы пользуются поддержкой и пониманием со стороны прогрессивных писателей, деятелей культуры Европы, Латинской Америки и Северной Америки. Задачи, стоящие перед широкими массами тружеников земли — прежде всего задачу сохранения мира на земле,— они почитают и первейшей своей обязанностью.

■

В высшей степени символично, что местом ассамблеи афро-азиатских писателей стала именно Луанда, которая буквально вчера еще находилась во власти угнетателей. Португальский колониализм, мечом и огнем установивший свое господство над Анголой, отторг эту землю и порабощенный народ от остального мира, отрезал их от духовной жизни других африканских народов, всего человечества. Отрешил и держал в изоляции в течение долгих столетий...

Неузнаваемо изменилась в последние годы картина на африканском континенте, как и во всем мире. Как сказал поэт: «Земля моя, ты мне принадлежишь, и вырву я тебя из рук чужих!»... Луанда, над которой, как и над всей Африкой, висела черная ночь колониализма, в мужественной борьбе за национальное раскрепощение сбросила оковы и цепи рабства, став ныне олицетворением суверенности, свободы и независимого существования народного государства Анголы. Так обретается африканцами подлинная вера, вера в человека, в социальную справедливость. Укрепляется извечная их надежда на лучшую жизнь и развитие, на возрождение страны на социалистическом пути.

Конференция рассмотрела наиболее важные вопросы дальнейшей деятельности Ассоциации и творческие проблемы, связанные с национально-освободительным движением, борьбой за сохранение мира и безопасности, за разрядку международной напряженности и взаимное понимание между народами.

Примечательно, что в качестве почетных гостей участие в конференции принимали известные литераторы: Жозе Онорио Родригес (Бразилия), Йордан Милев (Болгария), Олдржих Рафай (Чехословакия), Эдуардо Лабарка (Чили), Рауль Феррейра, Армандо Кристобаль (Куба), Хосе Агустин Гойтисоло (Испания), Рассел Хамильтон (США), Дюла Чак (Венгрия), Дж. Джудичи (Италия), Збигнев Столярек, Богдан Дроздовский (Польша), Мануэл Феррейра, Марио Падуа Моутиньо (Португалия), Макс Вальтер Шульц, Макс Кюн (ГДР), Клаус И. Андерсон (Финляндия), Фернандо Рамос (Уругвай), Мицукадзе Сибо (Япония) и другие.

Уже с самого первого часа работы на международном писательском форуме установилась атмосфера глубокого взаимопонимания и ответственности участников, в чьих выступлениях, проникнутых благородными идеями гуманизма, добрососедства, солидарности и братства, новую жизнь и дальнейшее развитие получили дух и традиции Ташкента, колыбели афро-азиатского движения писателей.

Центральная тема конференции — «Писатели Азии и Африки, национально-освободительное движение и борьба против империализма, колониализма, расизма и апартеида, за национальное возрождение». Передавая привет от писателей Анголы в своем слове при открытии конференции ангольский представитель Антонио Дос Сантос Ндалу — член Политбюро МПЛА — Партии труда, выразил чувства всего народа своей страны: «Мы горячо желаем, чтобы эта конференция принесла народам мира веру в торжество идей свободы и счастья для всех людей на земле». В качестве почетного председателя конференции был единодушно избран ныне покойный выдающийся африканский поэт и государственный деятель Агостиньо Нето, президент Народной Республики Анго-

лы, принимавший непосредственное участие в подготовке и проведении писательского форума.

Многие международные организации прислали в Луанду своих представителей — известных литераторов и прогрессивных общественных деятелей: Паскуаля Лювуало (Всемирный Совет Мира), Фасине Бангуру (Организация солидарности народов Азии и Африки), Григория Шумейко (Советский комитет солидарности с народами Азии и Африки), Кнута Хоберта Тичсена (Международная Ассоциация детской литературы), Дональда Бёрнесса (Ассоциация африканской литературы в США), Геца Рихтера (Комитет солидарности ГДР).

■

Не обошлось, однако, без некоторых помех. Определенные силы, пытаясь сорвать или, по крайней мере, осложнить проведение конференции в Луанде, объявили, что в Западном Берлине состоится фестиваль африканского искусства.

Крайне наивно было бы предполагать, будто это мероприятие, как пытались изобразить в западной прессе, «случайно совпало» с VI конференцией в Луанде. Нет, конечно, никакой здесь случайности. Акция эта (разве она единственная или очень оригинальная?) была предпринята с тайной целью послужить подрывным маневром, помешать африканским литераторам принять участие в форуме в Луанде. Таков был истинный замысел «радетелей» африканской культуры из Западного Берлина. Каков же конечный результат? Хотя некоторые африканские писатели и оказались в Западном Берлине, отсутствие их на VI конференции, разумеется, не могло изменить ни ее хода, ни результатов. Существенно, однако, другое. Провокационная затея в Западном Берлине, помимо прочего, менее всего вяжется с весьма определенными обязательствами о культурном сотрудничестве, взятыми на себя Западом и Востоком на европейском совещании в Хельсинки. Разве не возникает вопрос о том, как можно непрестанно надрывать «голос» и перенапрягать «волны», радея о соблюдении принципов и договоренностей по Заключительному акту в Хельсинки, занимаясь одновременно самоочевидной практикой постоянных диверсий?

Устроители, однако, не ожидали, что затея их превратится в «бурный фестиваль», как это не без горечи признавала западная печать.

«Мы здесь для диалога между культурами, но на равной ноге: Европа должна прекратить свою роль всадника, а Африка — роль лошади»,— заявил известный нигерийский писатель Чинуа Ачебе, обращаясь на открытии фестиваля к бургомистру Западного Берлина. Недвусмысленная эта преамбула Чинуа Ачебе, отмечала европейская пресса, явилась «первой ласточкой» и «наиболее мягким сигналом» к тем словесным перепалкам, которые то и дело возникали в первые две недели. Любопытно, что нигерийский писатель счел нужным заметить сразу же, что по ассоциации ему вспомнилась недоброй славы берлинская конференция 1885 года, на которой под контролем Бисмарка производился дележ Черного континента.

Позиция Чинуа Ачебе в данном случае отнюдь не противоречит его взглядам, которые он не раз выражал. Именно ему принадлежит высказывание о том, что «...о существовании культуры африканцы услышали не от европейцев; в их обществе шла своя духовная жизнь: у них была философия, поэзия и прежде всего чувство собственного достоинства. Как раз оно-то и было отнято у африканцев в период колониального господства. Сейчас необходимо его возродить, ибо утрата собственного достоинства, самоуважения — это худшее, что может произойти с народом... Для меня истинная революционность заключается в том, чтобы помочь моему обществу вновь обрести веру в себя и избавиться от комплексов, приобретенных за долгие годы унижения и порабощения. В первую очередь это вопрос просвещения в лучшем смысле слова...»

В свою очередь африканский поэт Табан ло Лийонг напомнил участникам «оживленной дискуссии» эпизод, когда Гитлер отказался пожать руку американскому бегуну Джесси Оуэнсу, победившему на стометровой дистанции во время берлинских Олимпийских игр в 1936 году, потому что рекордсмен был негром...

Сверх всего, во время закрытия «бурного фестиваля» африканскими писателями был брошен «последний камень»: в письме на имя президента ФРГ бюро Союза писателей Черного континента осуждало поддержку Бонном колонизаторского режима Претории, особенно в Намибии, бывшей германской колонии, и его сотрудничество с Южной Африкой в области атомной энергии.

■

Берлинский фестиваль напомнил нам всем, что живем мы в условиях незатихающей идеологической борьбы, которая повсеместно в мире, на многих уровнях, в разнообразных формах ведется по ключевым проблемам, определяющим природу нашей эпохи. Западные средства массовой информации, однако, пытаются скрыть факт своего воинственного участия в идеологической борьбе, выдавая себя за этаких «поборников свобод и справедливости», за неких «безобидных правдоискателей». Несмотря на широко рекламируемый тезис о том, что их орга-

---

Н. ФЕДОРЕНКО
АНГОЛА: ФОРУМ ПИСАТЕЛЕЙ

ны массовой информации «печатают новости, которые заслуживают быть напечатанными», на самом деле они умышленно утаивают правду, искажают факты, всеми способами дезинформируя общественность. Причина в том, что теперь уже невозможно открыто защищать систему дискриминации, бесправия, расизма. Отсюда обращение к обману, инсинуациям и лжи в качестве орудия идеологической борьбы. Разве не является злобным измышлением жупел под названием «экспорт революции», которым западная пропаганда цинично стремится прикрыть действительный экспорт контрреволюции? Чего к примеру, стоит заявление бывшего госсекретаря США Киссинджера в недавнем интервью: «Самая большая проблема в Южной Африке — это отношения между белыми и черными, а также усиление попыток внешних сил, особенно Советского Союза и Кубы, использовать этот процесс в своих собственных геополитических целях».

Не кажется ли по меньшей мере странным, что Киссинджеру вдруг отказало зрение и он не замечает ни колонизаторского расистского режима, ни апартеида, ни чудовищного попрания всех человеческих прав и свобод в Южной Африке, а его воображение оказалось во власти «коммунистических происков» и «советской угрозы»...

Между тем Киссинджеру должно быть хорошо известно не «нечто» мифологическое или гипотетическое, а вполне реальное «нечто», сформулированное еще в 1837 году президентом Линкольном и недавно процитированное известным международным комментатором Рестоном на страницах «Нью-Йорк таймс»: «Откуда же нам ждать опасность? Я отвечаю на это: если такая опасность когда-нибудь будет грозить нам, то она возникнет в нашей собственной среде, она не может прийти из-за границы. Если нашим уделом станет гибель, это значит, что мы сами будем своим могильщиком и палачом»[1].

Уместно здесь напомнить, что в связи с оказанием помощи социалистических стран Анголе западная пресса развернула необузданную кампанию против СССР и Кубы. Примечательна достойная отповедь злобным этим нападкам. «Всему миру известно,— писала «Правда» 1 февраля 1976 года.— что Советский Союз не ищет в Анголе ни экономической, ни военной, ни иной выгоды. Ни один советский человек не сражается с оружием в руках на ангольской земле. Обвиняя нашу страну и Кубу в «экспансии», Г Киссинджер заявляет, что она, дескать, происходит там, где ни СССР, ни Куба «не имеют никаких исторических интересов» Насчет экспансии — это неправда Если же говорить об исторических интересах, то они заключаются не в том аспекте, который имеет в виду государственный секретарь США, а в полной и последовательной поддержке Советским Союзом борьбы народов за свободу и независимость».

И поддержку ангольскому народу в его праведном сражении с португальским колониализмом Советский Союз неизменно оказывал на всех этапах. Общеизвестна бескомпромиссная позиция СССР в ООН и Совете Безопасности в вопросе защиты интересов ангольских патриотических сил, боровшихся против режима португальских колонизаторов. В специальном Заявлении правительства Советского Союза о положении в Анголе от 27 мая 1961 года подчеркивалось: «Советское правительство считает, что долг всех государств и народов—заставить Португалию положить конец разбойничьей колониальной войне в Анголе и выполнить требования Декларации ООН о предоставлении независимости колониальным странам и народам».

■

Со времени первой встречи писателей Азии и Африки в Ташкенте все более широкие круги интеллигенции и все более последовательно и настойчиво выражали стремление объединить свои усилия в благородном деле воссоздания и развития самобытных культур народов этих двух континентов. Литературное творчество становилось неотъемлемой частью борьбы народов Азии и Африки против колониального угнетения и чужеземного господства: подлинных высот в обретении и утверждении своей самобытности культуры Африки и Азии могут достичь только в условиях независимости и свободы. Борьба против всякого рода фальсификаций, против попыток обескровить, выхолостить культурное наследие народов Азии и Африки, свести на нет своеобразие их духовных ценностей настоятельно требует от интеллигенции принятия единых позиций.

Национально-освободительная борьба, которую ныне ведут народы Азии, Африки и Латинской Америки, дает огромной силы импульс широчайшему движению за новый взгляд на перспективы и возможности культур народов этих районов мира, на утверждение идеалов гуманизма и прогресса.

Писатели Азии и Африки исходят из того, что их первейшей целью является обеспечение мира и безопасности на планете как непременная предпосылка существования и развития культуры. Идеи мира и безопасности вовлекают творческую интеллигенцию в борьбу против милитаризма, против гонки вооружений, за разрядку международной напряженности, за право каждого народа на свободную жизнь на земле своей страны, на создание собственной государственности.

Именно этот нерасчленимый комплекс причин и следствий подвел прогрессив-

[1] Цит. по «Правде», 22. XII 1978.

ных афро-азиатских литераторов к решению основать Ассоциацию писателей Азии и Африки. На основе принципа добровольности она объединяет писателей, стоящих на позициях борьбы против империализма, колониализма, неоколониализма, сионизма и расизма — в любой его разновидности и форме.

Ассоциация писателей Азии и Африки — организация литераторов, которые своими произведениями и своей деятельностью стремятся содействовать развитию национальных культур и литератур, укреплять солидарность писателей и всех прогрессивных сил, способствовать своим творчеством успеху всех движений за освобождение народов.

Хусейн Мурувве из Ливана называет движение афро-азиатских писателей одним из реальных воплощений идей национально-освободительной борьбы: «Мы видим плоды нашего единства в расширении взаимообмена наших культур». Ананд Муллу из Маврикия задачу развития и углубления обмена между культурами африканских народов, обращенными к массам, считает первостепенной. «Возникает новая цивилизация, корни которой уходят в народ»,— утверждает он.

Способствовать созданию литературных произведений, воплощающих объективную действительность нашей эпохи и занимающих непримиримую позицию по отношению к любым формам расовой или национальной дискриминации и социального неравенства, империалистической агрессии или проникновения империализма,— таково главное устремление прогрессивных творческих деятелей Азии и Африки.

Одной из своих задач они провозгласили и оказание помощи всем движениям или организациям, ставящим целью осуществление общественных преобразований, направленных на возвышение достоинства человека, подъем политического, экономического, социального и культурного уровня народов в соответствии с духом Ассоциации.

Усилия Ассоциации направлены на деколонизацию в сфере культуры — прежде всего на восстановление исторической истины, возрождение нравственных ценностей, против ложных империалистических концепций, исходящих из отрицания традиций культур Азии и Африки.

Развитие литератур, оказание содействия обмену литератур, взаимным переводам — в самых широких масштабах. Оказание поддержки и помощи литературным организациям и отдельным писателям Азии и Африки — при сотрудничестве с писателями других континентов, разделяющими принципы и осуществляющими цели Ассоциации.

■

Ангольская ассамблея писателей Азии и Африки—событие чрезвычайного культурного и политического значения. Глубокого смысла исполнен тот факт, что последовательное развитие идей и духа Ташкента привело афро-азиатских литераторов к встрече в столице революционной Анголы в столь важный момент ее современной истории, когда фактически прифронтовое это государство продолжало активное сражение против последних отчаянных попыток фашиствующих расистов Южной Африки и поддерживающей их международной реакции сохранить цитадель колониального рабства в Южной Африке, Намибии и Зимбабве, спасти античеловечную систему.

В дни работы конференции ряд населенных пунктов у границ Анголы с Намибией все еще оставался под оккупацией южно-африканских войск и их приспешников. Каждый день ангольская территория подвергалась бомбардировкам и обстрелу вооруженных сил расистов Южной Африки.

Именно во время работы конференции Постоянное представительство Анголы при ООН по поручению своего правительства направило официальное послание председателю Совета Безопасности, в котором привлекало внимание к непрекращающимся агрессивным акциям южно-африканской военщины.

Поистине извилист и многотруден путь сражающихся африканских народов, уверенно идущих в гору, к вершинам долгожданной свободы и человеческой справедливости. С высоты достигнутых рубежей перед ними открываются новые горизонты борьбы и созидания. Время не останавливается, оно являет все новые примеры жизнеспособности африканских народов, борющихся за свое настоящее. Их будущее — в этом нет сомнений — принадлежит тем, кто осознал свою историческую миссию и неостановимо стремится к достижению высоких целей национального раскрепощения и социальной справедливости.

С трибуны конференции звучали слова гневного осуждения тех сил, которые делают ставку на отрицание человеческих ценностей и идеалов и которые лихорадочно пытаются продлить преступное свое господство, существование рабства, империализма, колониализма, расизма, сионизма, апартеида, для которых давно уже пробил час «примерить смерть на себя». Сама гуманистическая природа писательского призвания повелительно требует от литераторов мужественно участвовать в этой бескомпромиссной борьбе, поддерживать своим творчеством дело народов, сражающихся за свою независимость, защищать общечеловеческие ценности, отстаивать идеи прогресса, мира, социальной справедливости и национального освобождения. В этом причина того, что участни-

---

Н. ФЕДОРЕНКО
АНГОЛА: ФОРУМ ПИСАТЕЛЕЙ

ки конференции, верные социальным идеалам трудового народа, заявили о своей солидарности и твердой поддержке народов Южной Африки, Намибии и Зимбабве в их неустанной борьбе за освобождение, о том, что разделяют их уверенность и надежды на то, что день этого освобождения близится, что он недалек. Наступит этот час — светлый час для всего прогрессивного человечества. Именно об этом говорил в своем обращении к конференции Агостиньо Нето, подчеркнувший важность художественного творчества, провидческую роль революционной поэзии и поэтов, чьи песни предвещают наступленне света нового дня...

Заметки эти готовились к печати, когда пришла скорбная весть о безвременной кончине Агостиньо Нето, выдающегося поэта современности, беззаветного борца за свободу и счастье своего народа, президента Народной Республики Анголы.

Вспоминаются слова известного колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса из ранее написанного репортажа об Анголе: «Подлинное богатство новой Анголы — ее руководители, люди на редкость образованные, обладающие очень высокой политической сознательностью и прекрасными нравственными качествами. Характер этих людей сформировался за пятнадцать лет войны за независимость, их закалили трудности тюремного заключения и ссылки»...

2

Ангола — земля революции и поэзии. Революционная эпоха борющейся Африки, помимо всего, ознаменовалась рождением истинных вдохновителей революционной борьбы и творческого созидания.

Борьба за будущее — есть ли миссия почетнее для художника, человека, гражданина? Уже с первых шагов в поэтическом творчестве Агостиньо Нето посвятил свой талант идеям раскрепощения родной земли и народа, создания обновленной Анголы. В одном из своих выступлений он так размышляет о призвании ангольских литераторов: «Я и мои товарищи приняли решение с помощью поэзии познакомить мир с жизнью нашего народа, в наикратчайшие сроки добиться взаимопонимания и поддержки всех боевых сил антиколониализма». Сама действительность поставила эту проблему на повестку дня. В ней — отражение чаяний и общественных настроений нашего века, времени беспрецедентных темпов революционного развития.

Что же это — категория исторического времени или немыслимая правда? Лекарство не должно быть хуже болезни. Когда речь идет о судьбе народа, когда стала очевидной классовая изношенность и бессилие колониализма, позиция поэта не может быть иной. Она исторически и жизненно в полной мере оправданна, вытекает из самой патриотической сущности художника.

Поэтическое слово Нето обращено к его современнику, страдающему, порабощенному африканцу, каждому из его угнетенных собратьев: «Это слово да свяжет нас нерасторжимо во имя единственной цели» [1].

В поэтических своих строках Нето повествует о судьбах «раздавленных, копошащихся в горестном прахе, на дне бытия».

Душа моя страха не знает.
В ней только любовь
к тем, кто рядом со мной,
кто покрыт
ранамн, но не позором;
к тем, у кого
вырвали ногти
на руках и ногах,
но не смогли
вырвать слово признанья.

(«Ночи в тюрьме»)

В стихотворении «Приветствие» поэт произносит заветное: «проникает в меня горе твое» и «соединяет нас в поисках новых путей». Перед глазами поэта — усталые невольники, живущие в колониальной кабале. Португальский колониализм превратил их очаги в «убогие жерди, вбитые в красную почву, крытые ржавой жестью», одел их в «лохмотья, сплошные дыры», обрек их на «двенадцать часов ежедневного рабства» и прозябание «полумертвого тела на рваной циновке».

Кровь на ладонях
и на плечах.

Где ты,
родной очаг?

(«Законтрактованные»)

Долог был путь этих рабов, тяжек подневольный их труд, но несгибаема их воля. Они поют «песню обид и невзгод, шатающую небосвод». Кто они, спрашивает поэт, «люди, что явились в мир, но не нашли себя»?

Люди,
что прожили единственную жизнь
случайно, робко, повинуясь воле
чужой, как собственной. Ищу в себе
я сходство с ними — в темноту души
своей спускаюсь, падаю на дно.

(«Тени»)

Гневно осуждает поэт невыносимые условия, в которых безрадостно жить человеку, окруженному «скопищем гадин, где смрад и зола», где беспомощных давят и топчут калеку, где «вершится бесстыдная оргия зла» («Пауза»). Из этого рождается вывод о том, что такая жизнь «годится только для слабых душой, для усталых».

И о том,
что время идти
только вперед...

[1] Здесь и далее цит. по «Иностранной литературе» № 2, 1978 г., переводы М. Курганцева.

Самоочевидно, что в своей поэзии Агостиньо Нето воспевает людей мужества, бесстрашия, великой веры в революционный путь: «Мы сами выбрали свой удел — дорогу мужества и добра, дорогу правды, тропу мужчин».

Так поэт открывает нравственный свой идеал, веря в человека, в неограниченные потенции своих соратников, в революционный их дух, в бесстрашие.

Пути самоотверженной борьбы неотвратимо привели ангольских патриотов к сознанию высокой ответственности за будущее своей родины, за утверждение гуманности и добра на своей земле, которую все еще унижают колонизаторы, заморские палачи и инквизиторы: «Созидать, созидать любовь — там, где скверна и страх; жизнь — там, где ветер качает тела казненных; свободу — там, где гремят привычные цепи» («Созидание»).

Это было движение от смерти к жизни. Именно сейчас, когда сбылась священная надежда и наступил новый день на истерзанной ангольской земле, многострадальный народ поднимается во весь могучий рост, чтобы возродить свое государство, умножить национальное достояние и человеческие ценности. Духом возрождения и созидания проникнуты строки стихотворения Нето «Мы воскресаем для жизни»: мы из Африки — «дышим, терзаясь бессильем, поливая плантации потом, кровавя ручки мотыг». Мы, подчеркивает поэт, чей воздух пропитан голодом, смертью, отчаянием и принуждением. «Мы — истерзанные вконец, воскресаем для жизни отныне и навсегда...»

Я никогда еще так не задыхался
при мысли о темном бесстыдстве колониальных веков, говорит поэт:

В них — и заячья трусость,
и черепашье движенье
бессмысленной жизни,
и череда катафалков.
Но наконец оборвется
бессовестная кутерьма,
непристойный сон,
кончится он
под музыку новорожденного ритма,
обуглится
в треске и пламени
юных костров, изгоняющих ночь.

(«Пламя и ритмы»)

Так поэт-воин вместе со своим народом «поднимается к ясному дню из бездны отчаяния и отрицанья». И пальцы его, налитые кровью, «колотят по коже тамтама», удары которого напоминают удары сердца:

Я в этом ритме
живу, содрогаясь, взываю:
вперед,
и только вперед!

(Перевод М. Курганцева)

Поэзия Нето — это утверждение простой истины: жить среди людей и быть счастливым — значит прежде всего понимать свой долг и уметь его выполнить. Уметь чувствовать рядом с собой человека высокого долга, читать его душу, видеть в глазах его духовный мир — радость, беду, несчастье.

Агостиньо Нето — поэт высокой убежденности, глубокого содержания. Широта взгляда, острота зрения — отличительные черты его искусства. Творческий его опыт — это не просто свидетельство того, что происходило в жизни и борьбе ангольского народа.

Поэт как выразитель высшего бытия слова и мысли, когда он верен подлинной правде, осознанному историзму,— это историк и ясновидец, помогающий своему народу провидеть, освещающий путь его движения, цель борьбы. Так было в прошлом, в давно минувшие века, то же происходит в нашу неповторимую эпоху национально-освободительных революций и созидания нового общественного уклада жизни на земле.

Народная Республика Ангола, говорит Нето, принадлежит к тем африканским странам, которые делают выбор в пользу социализма: «Этот выбор определяет наше особое отношение к социалистическим государствам, которые являются нашими естественными союзниками... Основная сила содружества социалистических государств — это могучий Советский Союз. Именно русские рабочие и крестьяне, руководимые партией Ленина, впервые в мировой истории совершили победоносную социалистическую революцию. Можно с уверенностью сказать, что Советский Союз — это основной оплот человечества в борьбе за мир, демократию и социальный прогресс» [1].

О родном крае, Анголе, сложил Нето самые прочувствованные, сокровенные стихи. Отечество — сиянье звезд «над ширью земной, над рычаньем джунглей, над свежестью ливней», авеню и переулки Луанды, где «вспышки взглядов, музыка голосов»...

Прогрессивность литературы, новаторская ее роль в том и состоит, чтобы не просто фиксировать существующую реальность, а опережать ее развитие, узреть перспективу движения жизни, верно определить горизонты, выразить идеалы нового дня...

И вот теперь с трибуны Ангольской конференции писателей Азии и Африки мы услышали живую речь Агостиньо Нето: «Задачи, стоящие перед Анголой, как и перед другими районами мира, заключаются в необходимости преобразовать характер общества: то есть перейти от умирающего капитализма к развивающемуся социализму, от колониализма — к независимости, от расизма — к равенству, от бюрократической формы прав-

[1] См.: А. М. Хазанов, А. В. Притворов. Ангола. М., «Мысль», 1979, стр. 8.

Н. ФЕДОРЕНКО

АНГОЛА: ФОРУМ ПИСАТЕЛЕЙ

ления — к власти народа. Без социализма нет настоящей независимости».

Не менее существенной была его мысль о том, что каждая национальная общность имеет свою историю и ее надо рассматривать в контексте сохранения суверенных прав и национальной целостности, в контексте прогресса культуры и ценностей, которые ему служат. Культурное наследие — огни истории, освещающие не только путь пройденный, но и грядущий.

Величие мыслителя, отметил Агостиньо Нето, всегда будет состоять в том, чтобы его слово обрело значимость не только на уровне своей страны, но и на международном уровне. Многие выступления участников конференции подкрепили справедливость этого суждения...

Осталась в памяти и личная наша встреча с Агостиньо Нето, который принял советских литераторов. Встреча носила сердечный характер, позволила обменяться мыслями о литературной жизни и художественном творчестве, о великой его миссии — сближать культуры, помогать общению и сотрудничеству наций на неспокойной нашей планете, оказывать нравственное воздействие на человека, его духовный мир, образ мышления и жизни. Проблема глубокого взаимного понимания людей, разрушения барьеров невежества и предрассудков приобретает первостепенное значение. И здесь литература призвана сыграть роль наиболее действенного средства, ибо судьбы ее обусловлены судьбами общечеловеческими, судьбами мира на земле.

Мы знаем, что современная прогрессивная литература стран Азии и Африки несет людям правду, нередко горькую, глубоко выстраданную правду, высказанную страстно и убедительно. Она помогает читателям лучше понять себя и свое время, проникнуться верой в свое высокое предназначение...

Голос крупнейшего поэта Африки Агостиньо Нето звучит по-особому сильно, решительно, бескомпромиссно. Как и обладающая поразительной силой его поэзия, сурово осуждающая ненавистное колониальное рабство и социальное неравенство. Иноземные поработители, говорит Агостиньо Нето, использовали самые изощренные формы угнетения человека, унижали, уродовали ангольцев и физически, и духовно, ибо колонизаторы нуждались в «лишенных света слепых невеждах», которым ведома «одна только школа — воля хозяев».

Сохраняя и приумножая свое неповторимое национальное своеобразие и преодолевая националистические миражи, прогрессивная африканская литература, замечает он, выходит на широкие просторы мировой, революционной, социалистической культуры, которая включает все творения человеческого гения, начиная с энергии атома и кончая лирическими строфами, она никогда не поставит себя на службу целям разрушения, не может быть обращена против прогресса и гуманизма...

Естественно, в нашем разговоре возникла тема перевода на русский язык и популяризации африканской литературы на многочисленных национальных языках в Советском Союзе, где произведения африканских прозаиков и поэтов издаются все возрастающими тиражами. Хорошо известна советскому читателю и поэзия Агостиньо Нето. Встреча с нашим давним автором позволила мне вручить Нето самые последние публикации его стихотворений на страницах журнала «Иностранная литература», который постоянно знакомит своих читателей с поэтическим творчеством выдающегося этого художника слова.

Сегодня по-особому думаешь о долге сделать все возможное, чтобы способствовать более глубокому знакомству советских читателей с творчеством великого сына Африки, борца за ее светлое будущее, нашего незабвенного друга Агостиньо Нето.

3

Весьма символично, что работа конференции в Луанде совпала по времени со знаменательным событием — подписанием в Вене соглашения об ограничении стратегического наступательного вооружения между СССР и США. Событие это, как отмечается в Декларации писательского форума, является безусловно важнейшим шагом к избавлению человечества от ядерной катастрофы. Путь к ответственнейшему этому соглашению был проложен миролюбивыми людьми всей нашей планеты, которые особенно высоко ценят решающий вклад Советского Союза в процесс международной разрядки. В конечном итоге только мир и предотвращение смертоносной ядерной катастрофы — гарантия существования всего доброго и прекрасного на земле, развития культуры, искусства, литературы.

Претворение в жизнь подписанных в Вене документов, несомненно, открывает новые возможности для прекращения наращивания арсеналов ракетно-ядерного оружия, обеспечения их действенного количественного и качественного ограничения. Разумеется, решение этой задачи ознаменовало бы новый этап сдерживания гонки стратегических наступательных вооружений и проложило бы путь к существенному сокращению производства, а затем и ликвидации термоядерного оружия.

Гуманистический смысл соглашения в Вене очевиден каждому — какую бы часть света он ни представлял. Внимание в этой связи было привлечено к тому факту, что еще в 1977 году Генеральная Ассамблея ООН по инициативе СССР единодушно приняла Декларацию об углублении и упрочении разряд-

ки международной напряженности, содержащую, в частности, принципиальное положение о том, что необходимо обеспечить свободное осуществление права на самоопределение народов, находящихся под колониальным гнетом и чужеземным господством. Это положение само по себе предусматривает универсальный характер разрядки.

Сохранение международного мира, сдерживание гонки термоядерного вооружения при колоссальном научно-техническом потенциале современной эпохи — вопрос жизни и смерти человечества и его культуры, а потому повелительный нравственный императив для каждого гражданина земли. В этом свете особенно высоки ответственность, моральный долг литератора — всемерно способствовать своим творчеством достижению благородных целей: упрочению всеобщего мира, разрядке международной напряженности, обузданию гонки стратегического вооружения, борьбе за национальное освобождение народов против пропаганды идей о неизбежности будущих войн.

Выражая чувства удовлетворения и радости в связи с победами, одержанными в борьбе за свободу на азиатском и африканском континентах — победами народов Вьетнама, Кампучии, Лаоса, Анголы, Мозамбика, Эфиопии, Афганистана, участники конференции осуждали китайскую агрессию против героического народа Вьетнама и гегемонистские притязания пекинских правителей, угрожающих миру и безопасности народов.

■

В глубоких, содержательных выступлениях участники конференции с самых разных сторон рассмотрели особенности общественной и литературной жизни в афро-азиатских странах.

О самоотверженной, трудной, упорной борьбе за национальную независимость, территориальную целостность, за новую жизнь, за мир, которую на протяжении трех минувших десятилетий ведет вьетнамский народ, говорил выдающийся писатель Вьетнама Нгуен Нгок. «Ни дня мирной передышки не дал нам враг,— сказал он.— Против нашей страны была развязана новая агрессивная война: война, которую вела банда Пол Пота, прислужника китайских реакционеров. Эта война на юго-западной границе нашей страны длилась три года. А совсем недавно, в феврале 1979 года, китайские экспансионисты вновь начали агрессию у наших северных границ...»

Он говорил о тревожном положении в пограничном районе, где продолжается концентрация китайских войск. Именно об этом писала газета «Нян зан» от 12 июля с. г.: «Все эти действия китайской стороны показывают, что она пытается спровоцировать напряженность, угрожать миру и безопасности в пограничных районах, грубо нарушать суверенитет и границы Вьетнама, совершая новые преступления против нашего народа».

С яркой речью выступил палестинский делегат Абу Сальма. Главная ее тема — неустанная борьба арабских народов против сговора сил империализма и сионизма. На афро-азиатских писателях лежит особая ответственность, подчеркнул он: империализм становится все более агрессивным, посягает на свободу и независимость народов, борющихся за свою суверенность и национальную самостоятельность. «Блестящие строки произведений, представляемые на суд читателей, созданы писателями и поэтами словно кровью своей... Мы не хотим, чтобы свободное перо писателей, в том числе и афро-азиатских, было направлено в другую сторону, а не на защиту народов и свобод».

У палестинских художников слова, добавил Абу Сальма, «арабские корни... И когда вместе с арабским народом Палестины они ведут битву за жизнь, свободу, права и добро, они ведут эту битву вместе со всеми народами мира, выступающими против империализма, сионизма, угнетения, бедности»...

Мы протягиваем руку дружбы и поддержки народу Палестины, который так долго и решительно сражается, чтобы возвратить себе утраченную родину и создать собственное суверенное государство,— так гласят строки Декларации конференции.— Мы осуждаем сговор в Кемп-Дэвиде между сионистами, империалистами и их пособниками, которые пытаются навеки лишить палестинский народ его естественного права на собственную землю и закрепить израильское владычество над незаконно захваченными арабскими территориями. Мы осуждаем непрекращающиеся нападения на южный Ливан и выражаем поддержку национально-патриотическому движению Ливана в его стремлении обуздать агрессора.

Камиль Яшен, советский делегат, сказал: сердцем и делом мы вместе с народами арабских стран, противостоящими израильской агрессии, с героическим, многострадальным народом Палестины. Мы выполняем свой долг солидарности с многострадальным народом Кампучии, испытавшим ужасы геноцида, и революционным Афганистаном, приветствуем народную революцию в Иране. Мы приветствуем революционные освободившиеся народы Анголы, Эфиопии, Мозамбика, Гвинеи-Бисау, Островов Зеленого Мыса. Борьба против сил империализма, однако, не окончена. Еще продолжает существовать угроза для революционных завоеваний и независимости молодых государств. Советские люди,

---

Н. ФЕДОРЕНКО
АНГОЛА: ФОРУМ ПИСАТЕЛЕЙ

дорого заплатившие за свободу и независимость в борьбе с фашизмом, глубоко понимают боль и страдания других народов. И потому мы неизменно — рядом с теми, кто отстаивает высшие человеческие идеалы. Советский Союз был рядом с героическим вьетнамским народом, когда он боролся с французскими колонизаторами, а затем с американским империализмом, когда отражал атаки пекинских агрессоров. Наши братские узы с вьетнамским народом были и остаются нерасторжимыми.

Внимание участников привлекло содержательное выступление Баба Джигиды — поэтессы из Сьерра-Леоне. «Участники конференции афро-азиатских писателей хотят, чтобы мир был свободен от всех форм империализма, расизма, колониализма, неоколониализма и апартеида»,— сказала она. Лишь тот писатель может завоевать истинное уважение, кто действительно отдает свой талант делу освобождения народов, делу мира и прогресса.

С трибуны говорилось о том, как в социальных драмах, в классовых схватках современности рождается и мужает новый тип художника, отдающего свой талант бескорыстному служению народу. Взыскательность художника, страстность революционера, творческий порыв и гражданская совесть — его характерные черты. Писатель не может быть нейтрален, непричастен, аполитичен. Нет таких тревог и боли народа, которые не волновали бы художника. «Внеполитичность» писателя, о которой любили рассуждать буржуазные идеологи, в сущности, представляет собой либо попытку бегства от действительности, либо молчаливое согласие с силами реакции — даже если художник номинально провозглашает себя их противником.

Диссонансом прозвучало лишь выступление одного из американских «специалистов по африканским делам», который призвал к всепрощению и всеобщему примирению в среде «пишущей братии», к прекращению споров между литераторами, которые не находят взаимного понимания по проблемам революции и контрреволюции, колониализма, расизма, апартеида, занимают противоположные позиции по принципиальным вопросам развития современной Африки. Речь эта была воспринята как проявление «абстрактного гуманизма», как риторическая тирада, лишенная какого бы то ни было конструктивного содержания.

Литература не может быть нейтральной к этой мысли, по-разному выраженной, с особой настойчивостью обращались выступавшие. Произведения, правдиво отражающие реальность, не могут не звать к социальной справедливости, они всегда утверждают высокие идеалы гуманизма. Именно из таких произведений складывается сокровищница духовной жизни человечества, залог его прогресса, непобедимое идеологическое оружие народов, борющихся за свободу и счастье. Именно в сознательном служении народу полнее всего осуществляется творческая свобода художника. И в самом деле, разве не показательно, что такие, например, стихотворения Агостиньо Нето, как «Мы вернемся» и «Созидание», стали боевыми песнями освободительных отрядов Анголы, а гневные антирасистские стихотворения южноафриканских поэтов распространяются в Южной Африке вместе с подпольными листовками?

В этом свете понятно, почему Ассоциация придает столь серьезное значение формированию мировоззрения писателей, идеологическому воспитанию молодых литераторов в лучших традициях мировой демократической культуры, совершенствованию форм и методов творческого развития литературной смены.

Масштаб стоящих перед Ассоциацией задач громаден — и не только потому, что предстоит упорная, самоотверженная борьба против сил империализма и реакции, но и потому, что освободившимся народам Азии и Африки в краткие сроки надо преодолеть и ликвидировать все зло, которое колониальные государства насаждали в течение многих столетий.

■

Хорошо известно, что истинный успех художника слова ждет лишь на путях постижения современности и подлинной жизни. Писатель, справедливо говорил Агостиньо Нето, не может выполнить свою миссию, если он оторван от действительности со всеми ее реальными противоречиями, со всем ее драматизмом: «Народ и народная жизнь будут всегда стоять за каждой мыслью писателя, за каждым словом и фразой, которые он напишет, потому что они связаны так же неразрывно, как свет и тень, крона и корни».

О связи творчества писателя с жизнью, об особой его ответственности перед ней говорил в своем выступлении литературовед из Бангладеш Кабир Чоудари, указавший, в частности, что во все времена реакция стремилась противостоять неистребимому стремлению к свободе народов, а ныне реакционные силы действуют все более изощренными и коварными методами.

Сам по себе факт созыва этой конференции в Анголе, которая совсем недавно сбросила колониальное иго и ныне стоит на переднем крае борьбы с расистскими режимами на юге Африки, заявил писатель из Намибии Калуэнья, придал ей боевой, антиимпериалистический характер. Солидарность, которую выразили участники этой авторитетной международной писательской встречи с борьбой угнетенных народов Намибии, Зимбабве и Южной Африки,— это не просто слова. Для тех, кто сегодня с оружием

в руках сражается за свободу и независимость, против расизма и апартеида, поддержка прогрессивной интеллигенции является вдохновляющим стимулом.

Закономерно, что выступавшие призывали активизировать участие Ассоциации писателей Азии и Африки в борьбе за утверждение своих идеалов, высказывали пожелания придать ее деятельности больший динамизм, «сделать Ассоциацию подлинным глашатаем быстро преобразовывающегося мира, в котором вся общественно-культурная проблематика приобретает актуальный характер» — так выразил в своей речи эту мысль Агостиньо Нето.

Большое внимание на конференции было уделено специфическим проблемам Азии и Африки — ликвидации отсталости и нищеты масс; проблемам ослабления зависимости культуры от империализма и его порождения — колониализма, несущего с собой насилие, порнографию, наркоманию, алкоголизм. Речь шла о необходимости поломать барьеры между писателем и его аудиторией; о преодолении тенденций национальной исключительности, некритического прославления прошлого; о гибкой тактике использования языка бывших колонизаторов в интересах национального возрождения, о правильном разрешении сложных языковых и диалектальных проблем. Вопросы эти были затронуты в выступлении представителя Мозамбика Онваны, призвавшего внимательно проанализировать трудности, стоящие на пути африканских писателей в силу специфических условий, экономической отсталости, последствий колониализма, неграмотности.

Трудности, отметил Кабир Чоудари из Бангладеш, не исчезают автоматически после обретения независимости.

Справедливо заметил в своей опубликованной в «Новом мире» статье Ануар Алимжанов: «Для поэтов и прозаиков, создающих современную афро-азиатскую литературу, особенно для писателей, в чьих странах не было традиций письменной литературы, растаял миф о том, что все проблемы внутреннего порядка разрешатся сразу, вслед за тем, как будет провозглашена свобода и поднят национальный флаг».

Задача писателя — пробудить в сердцах людей гнев и возмущение против эксплуататоров и сил реакции. Мы должны, заявил Алекс Ла Гума, уподобить себя хирургам в операционной, чтобы помочь тем, кто страдает от колониализма.

Литераторы, заявил Рауль Феррейра из Кубы, продолжают играть огромную роль в революции. Уважение к традициям нашей литературы и культуры не отделяет нас от всего человечества. Напротив, вся наша деятельность проникнута духом солидарности и интернационализма. Борьба за мир и международную разрядку — наша основная задача сегодня и завтра. Проблема мира и прогресса, подчеркнул Мамаду Траоре Диоп из Сенегала, касается не только политиков, она имеет непосредственное отношение и к писателям. Он приводил примеры того, как военные и гражданские диктатуры тормозят развитие мысли. В некоторых странах Африки положение писателей трагично. Африканские страны нередко оказываются под властью фашистских правителей. В таких странах больше тюрем, чем библиотек.

Национальное самосознание — одна из серьезнейших проблем, заявил представитель Индии Бхишам Сахни, указавший на многоязычный и «поликультурный» характер своей страны. Для всех регионов общее — это традиции культуры. Нет барьеров, которые не может преодолеть искусство, для него нет региональных, национальных рамок.

Актуальным оказался и вопрос о сложном комплексе, связанном с воздействием культуры буржуазного Запада, особенно «массовой культуры» США в афро-азиатских странах. Хелдер Прэнса из Гвинеи-Бисау заявил, в частности: наш опыт не может быть предметом торговли на международном рынке литературы. Мы должны определять стратегию нашей борьбы против проникновения буржуазной культуры. Выступление его привлекло внимание участников конференции.

Уместно в этой связи привести слова Франца Фанона из широкоизвестной книги «Проклятьем заклейменные»: «...постигший западную цивилизацию, слившийся с ней, а значит, претерпевший глубокие внутренние перемены, африканский интеллигент обнаруживает, что культурная модель, которую, стремясь к самобытности, он хочет принять для себя, почти не предлагает ему явлений, способных выдержать сравнение с блестящими образцами цивилизации поработителей... Встретившись лицом к лицу с настоящим своей страны, трезво и объективно оценивая ее жизнь, интеллигент пугается при виде забитости и дикости... и не раз отступит на эмоциональные позиции и станет развивать психологию, где будут преобладать чувственность, повышенная чувствительность, обостренная впечатлительность».

В ходе дискуссии отдельными делегатами были высказаны и взгляды, в той или иной степени отражающие влияние буржуазной или мелкобуржуазной идеологии: в каких-то речах белые — без всякой дифференциации — противопоставлялись черным, кто-то явно преувеличивал значение языковых проблем в ущерб проблемам социально-политическим, кто-то затушевывал противоречия между империалистическими и развивающимися государствами. Однако не

Н. ФЕДОРЕНКО
АНГОЛА: ФОРУМ ПИСАТЕЛЕЙ

частные эти моменты определяли главное содержание выступлений участников пленарных сессий и заседаний комиссий конференции. Глубокая заинтересованность в разрешении коренных проблем современности, говорится в Декларации VI конференции, разделяется многими людьми, теми, кому дороги мир, свобода и социальная справедливость — писателями, и не только писателями.

Свои особые проблемы, разумеется, остаются у писателей Азии и Африки. Крах колониализма, завоевание независимости, перестройка социальных систем повлекли за собой возникновение новых отношений, вызвали к жизни и поставили множество новых задач: необходимость заново открыть и по-новому утвердить самобытность родной культуры, положить конец отчуждению писателя от собственного народа и его прошлого, найти новое сочетание средств выражения, присущих национальной традиции и современному опыту, разрушить барьеры, которые были воздвигнуты колониализмом между писателем и его современниками в других странах. Возникали при этом и такие специфические тенденции, как, скажем, заигрывание с негритянской «элитой» в Соединенных Штатах, стремление «интегрировать» черную интеллигенцию в буржуазный «истеблишмент», погасить таким образом социально-обличительный пафос негритянского движения

Противоположную крайность, если продолжить американские примеры, представляют тенденции приверженцев некой особой «черной эстетики» с их тезисами типа «только черное прекрасно». Разумеется, каждая из такого рода проблем сложна и неоднозначна, и каждому писателю необходимо находить собственный путь ее решения, чтобы выполнить долг гражданина, осознающего насущные задачи народа, долг художника, остро фиксирующего потребности искусства. Сопрягать личное с общенациональным, а общенациональное с общечеловеческими и общеэстетическими задачами современной литературы. Не поддаваться соблазну некритического взгляда на ценности прошлого, шовинистической убежденности в национальной исключительности. Язык и средства выражения, которыми пользуется писатель, должны отвечать интеллектуальным и духовным требованиям народа — рабочих и крестьян, но при этом речь идет отнюдь не о понижении художественных, эстетических критериев, а о стремлении повышать уровень эстетического восприятия читателей, о необходимости изучать народный язык, оплодотворяя искусство его жизненной силой Забота писателя — вернуть дар речи миллионам людей, которых угнетатели отучали говорить, вернуть самоуважение массам, которых столетиями унижали и подавляли.

4

Трагично наследие португальского колониализма, стремившегося увековечить в Анголе жестокий, парализующий всякое материальное и духовное развитие расистский режим. Карательный режим, огнем и мечом осуществлявший бесчеловечную политику геноцида. Печальна судьба многих африканских народностей, населявших Анголу с незапамятных времен и оказавшихся в условиях колониального рабства обреченными на гибель.

Удивительны приметы Анголы: атлантическое побережье протяженностью более полутора тысяч километров, джунгли и пустыня...

Неподалеку от города Мосамедишо, который мы посетили в дни ангольской конференции, простирается, словно продолжение африканской саванны, настоящая пустыня, безбрежные просторы желтой земли, покрытой трещинами от все испепеляющего солнца. Ни единого дерева или кустарника — ничего, хотя бы отдаленно напоминающего о жизни и человеческом существовании. Лишь изредка попадается редчайшее в мире растение вроде лишайников — пучки вельвичии с длинными, до нескольких метров, листьями, которые безжизненно распластаны на раскаленном песке. Они обуглены по краям так, будто здесь только что пылало пламя, языки которого прикоснулись к кактусообразным листьям вельвичии. Над неохватимой взором пустыней извечно зависает густое золотистое марево, готовое, кажется, в любой момент превратиться в песчаный дождь...

Свернув в сторону и проехав еще какое-то время, мы попали в лесные заросли, которые вели в глубины джунглей. Внезапно перед нами возникло несколько первобытных хижин африканских аборигенов, образующих своеобразный поселок. Жилища напоминают допотопные сакли, сложенные из потемневших от старости бревен, срубленных здесь же в буйно растущем вокруг лесу. Строения — одни круглые с шатровым покрытием, другие квадратные. Стены из грубых кольев, вбитых в землю. Никакого фундамента. Ни горизонтальных свай, ни деревянного настила. Пол земляной. И для людей, и для животных, и птицы. Одна входная дверь. Без окон и просветов. По соседству с этим селением, которое считается уже цивилизованным, обитают племена бушменов. Встречу с ними и стремились устроить нам ангольские литераторы. Всего пятьдесят километров (расстояние до современного города Мосамедишо) нас отделяли от каменного века. Известно, что ангольская земля была заселена людьми в далекий доисторический период. Южная часть Африки, согласно антропологическим изысканиям, была колыбелью древнейшего человека. Характерно, что у древних жителей этого края наблюдались определенные черты сходства с бушме-

нами, название которым дано голландцами в конце XVII века. Это — «люди кустов, зарослей». Во всяком случае, районы обитания, образ жизни, этнографические признаки свидетельствуют не только о сходстве, но и о далеком их родстве. Исторические сведения говорят о том, что в свое время бушмены вместе с готтентотами составляли основное население всей южной оконечности Африки. Однако на территории Капской колонии и Трансвааля бушмены были уничтожены голландскими, английскими, германскими и другими колонистами, которые устраивали на них чудовищные охоты.

Сопровождавшие нас ангольцы рассказали, что общая численность бушменов все время катастрофически сокращалась и составляет теперь не более семи тысяч. Около пяти тысяч бушменов живут в Южной Анголе, занимаясь собиранием в лесной чаще дикорастущих корнеплодов, ягод, насекомых, а также охотой с помощью лука и стрел. Бушмены все еще сохраняют этническую свою обособленность, самобытный образ существования, древние традиции.

Поражает, однако, удивительное явление: относительно высокий уровень развития искусства, художественного мастерства у жителей этих мест, которые обитали тут с незапамятных времен, и весьма низкая ступень экономического развития. Речь идет, в частности, об уцелевших до наших дней в Южной Анголе наскальных рисунках — сценах охоты, о бытовых особенностях, ритуальных обрядах. Удивляют и теперь произведения африканского искусства с фантастической резьбой по дереву, необыкновенная сила выразительности африканских масок.

...Нас подвели к небольшой группе бушменов, местным проводникам удалось вызвать их из лесных зарослей: для них эти заросли — царство жизни. Перед нами стояли фигуры низкорослых, крайне худощавых женщин и мужчин, с темно-коричневым цветом кожи, черными вьющимися волосами. Они были почти голые: на их бедрах висели лишь жалкие лохмотья, к которым бушмены стали прибегать совсем недавно — дань времени и «условностям цивилизации», заметил сопровождавший нас ангольский литератор. Поражали ноги бушменов: не зная никакой обуви, их ступни стали разлапистыми и черными, они настолько огрубели, что казались окостеневшими.

Нет, обитатели лесной чащобы отнюдь не выписывали перед иноземцами витиеватые танцевальные фигуры, не демонстрировали экзотических плясок, как это часто описывается в сочинениях иных землепроходцев и путешественников...

Бушмены мирно и очень старательно отбивали ритм руками и напевали неведомую мелодию низкими своими голосами. Таков традиционный обычай приветствовать пришельцев, незнакомых людей... Но и в простейшем этом пении бушменов улавливался стиль, вобравший в себя с веками мелодичность народных напевов, клокочущий ритм африканских тамтамов. В нем неповторимость национального своеобразия и богатство ритмов, усложненная музыкальная и поэтическая форма. Об этом невольно я подумал уже позднее, глядя из окна отеля «Тропико» на ночную панораму дивного города Луанды, живописно раскинувшегося на морском побережье, и слушая доносившиеся ритмичные волны африканских песен, в которых сплавлены в единое целое давние художественные традиции и современность.

Ошеломленные зрелищем, мы стояли какое-то время словно застывшие, впервые в жизни столкнувшись с лесными обитателями, людьми, продолжающими образ жизни каменного века. Все в них было необычно, странно, поразительно... Между тем бушмены, кажется, менее всего выказывали удивление нашим присутствием, изредка поглядывали на нас безразлично усталыми, потухшими глазами. Их, видимо, ничто в нас не интересовало, ничто не привлекало внимания. Они оставались где-то за гранью нашего времени и «безумного, безумного мира».

— Спойте, пожалуйста, какую-нибудь песню на диалекте вашего племени,— попросил я бушменов через африканского переводчика.

— Песню на нашем языке?! — последовал недоуменный вопрос.

— Да, хотелось бы услышать звучание слов в песне,— пытался я разъяснить смысл своей просьбы.

— Как это? Разве можно петь с помощью слов? Словами можно только говорить, а не петь...— уверенно заявил бушмен и тут же затянул «песню без слов», которую дружными голосами подхватили его соплеменники... Мгновения, которые остаются на всю жизнь.

И странно, в моем сознании внезапно промелькнула мысль о том, каковы же у необыкновенных наших собеседников представления, к примеру, о правде и лжи, добре и зле, красоте и уродстве, радости и печали, приязни и ненависти, материальном и духовном... Философские взгляды? Но разве сама сущность человека не таит в себе способности к размышлениям? Разве быть человеком не значит философствовать? Во всяком случае, бушменам, думается, очень хорошо знакома окружающая их природа, явления и закономерности, то есть источник натурфилософии.

Стало уже темнеть, над ангольскими джунглями опускалась тропическая ночь. Неподалеку запылали костры, вокруг которых расположились на земле абори

Н. ФЕДОРЕНКО
АНГОЛА: ФОРУМ ПИСАТЕЛЕЙ

гены. Никогда, кажется, не уходил я с таким тяжелым сердцем.

Пробираясь сквозь лесные заросли и цепкие лианы, я все еще видел перед собой почти неправдоподобных бушменов. И долго еще мне чудилось, будто слышу, как поют в ночных джунглях, повторяя ритмическими кругами неизбывную мелодию, лесные люди, которые словно напомнили о сохранившейся верности извечным своим обычаям... Поистине, древние традиции таят в себе и условность, и глубокую правду.

Что же это — ловил я себя на преследовавшей меня мысли — врожденная воспитанность? Человеческая благодарность? За то, что с ними обошлись без насилия и унижений, которые они привыкли терпеть от белых колонизаторов? На протяжении моей жизни я не однажды был потрясен, узнавая о том, что мы, люди, можем проделывать друг с другом. Когда человек лишен чувства благодарности, которое в самой его природе, кто же он, если не холодный, бездушный эгоист... Щемяще, тоскливо стало на душе: как мало знает о себе человек, о себе и людях.

И мне подумалось невольно: как далеки они от страсти обладать вещами, от жажды накопительства, психологии стяжателей... Неужто бушмены понимают, что подлинное богатство человека не в вещах, не в имуществе, но в разуме, в ценностях духовных? Не в таком ли духовном участии нуждается человек и сегодня? И не помогает ли нам порой открывать в себе нечто существенное образ жизни человека, живущего рядом с нами и отдаленного от нас веками?..

5

За последние двадцать лет, прошедших со времени возникновения движения афро-азиатских писателей, его ветераны — литераторы старшего поколения — в меру своих возможностей делали все, что могли, для решения возникавших проблем. Литературы Азии и Африки менее всего можно назвать тусклыми подражаниями западной литературе. Писатели Азии и Африки не являются сегодня чужими ни друг для друга, ни для остального мира. В этом процессе движение афро-азиатских писателей всегда пользовалось поддержкой и активно сотрудничало с писателями социалистического мира.

За истекшие годы в движение влилось новое писательское поколение, которому предстоит нести дальше его знамя и идеалы. Вся сокровищница африканских и азиатских литератур становится сегодня их достоянием. Нет сомнения, что вклад их еще более обогатит эту сокровищницу, ибо принадлежащий им завтрашний день будет богаче сегодняшнего.

Не вызывает сомнений тот факт, что проведение VI конференции в африканском регионе, на пылающем континенте будет способствовать развитию молодых африканских литератур и усилению их идейно-политической направленности. В этом смысле в качестве положительного момента уже можно отметить не только высокий идейный уровень дискуссий, но глубину художественного осмысления проблем современности, поднимавшихся в выступлениях большинства делегатов из африканских стран.

■

И теперь, когда я вернулся к родным московским берегам, а позади пролегло неохватное пространство, мне все еще видится живописнейший город Луанда, столица обновленной Анголы. Все еще заполняют мой слух необычные созвучья африканской речи, ритмичные удары тамтама.

Хочется снова обратить свое слово привета к литераторам Анголы, по выражению поэта, этой заново рожденной страны, возникшей вместе с восходом африканского солнца и устраняющей со своего чела остатки тьмы, разбивающей свои оковы. Добрые чувства шлем мы писателям стран Азии и Африки, достойно несущим дух Ташкентской конференции, призывая литераторов всей земли идти вместе со своими народами, жить на своей родине свободными и независимыми, трудясь во имя того, чтобы в мире не осталось никаких следов колониализма, империализма, сионизма и апартеида, чтобы всюду восторжествовали гуманизм, свобода, демократия, мир и прогресс.

Луанда — Москва,
июль 1979 г.

◆

ДЕТЯМ БУДУЩЕГО

Из книги, изданной в дни Международной писательской встречи 1979 года

ТВОРЦАМ БУДУЩЕГО

Послание участников встречи

Дорогие друзья!

Можем ли мы назвать дорогими друзьями вас, людей, нам неведомых, с которыми мы никогда не встретимся?

Да! Мы имеем право обратиться к вам так, потому что верим в вас — в тех, кто осуществит самые дерзновенные мечты сегодняшнего дня. Эта вера собрала нас всех на Международную встречу писателей в Софии в 1979 году — на встречу, девиз которой «Мир — надежда планеты» приобретает символическое и традиционное звучание.

Какой же это был для нас год — хороший или плохой?

1979 год провозглашен ООН Международным годом ребенка. Это было хорошее и полезное решение. Ребенок — олицетворение душевной чистоты, символ продолжения рода человеческого, самая мысль о ребенке вызывает в сердце каждого честного человека благородные стремления и порывы.

Естественно, что в Международный год ребенка наши мысли обращены к вам — творцам будущего, совести будущего. На ваши плечи ляжет ответственность за судьбу мира в вашем двадцать первом веке, так же как на наших плечах лежит сегодня тяжелая историческая ответственность за наш XX век.

Наш век был славным веком обновления и освобождения, веком эпохальных научных открытий. Это был век, когда человеку удалось преодолеть земное притяжение и полететь в космос.

Но в то же время наш клонящийся к исходу век был эпохой самых страшных, гибельных мировых войн, веком, когда было создано оружие, способное полностью уничтожить человеческую цивилизацию. Тень смерти может пасть на прошлое, настоящее и будущее культуры.

Вот почему сегодня, передавая вам в нескольких простых человеческих словах священную эстафету всего, что мы получили в наследство от предшествующих поколений, вместе с нашей выстраданной правдой, мы прежде всего заклинаем вас: исключите войну как теоретическое и практическое средство решения спорных вопросов вашего времени. Сделайте так, чтобы война для вас, писателей и художников будущего, была бы только исторической темой.

Для нас, как и для всех поколений, которые будут жить после нас, вопрос мира или войны — это вопрос существования или гибели человечества.

Сам факт, что мы обращаемся к вам со словами «дорогие друзья», и наша вера в то, что чувства и мысли, столь характерные для нашего времени, достигнут вас, показывают, что все мы в большей или меньшей степени исповедуем исторический оптимизм.

Из всех ужасов и бедствий, которые человечеству принесли войны, пожалуй, самым страшным является разделение людей, барьеры между ними, физическое и моральное разрушение всего, чего коснулась война. Мы живем в мире, раздробленном на противостоящие друг другу лагери, и против этого мы боремся. Конечно же, бывают войны справедливые и освободительные. Но причины, которые порождают любую войну, всегда бесчеловечны и низменны. Война ведет к разрушению гармонии лично-

сти, народов и мира, она уничтожает культуру и достижения искусства, накопленные человечеством.

Поэтому мы призываем вас: не противопоставляйте друг другу подлинные человеческие ценности, не делите цивилизацию и культуру народов на белую, желтую и черную, на какие бы то ни было антагонистические культуры. Посвятите свое творчество и все свои силы восстановлению и торжеству гармонии и всестороннему развитию человеческой личности и общества! Будьте строителями единого, более справедливого мира, в котором будут править законы равенства.

Дорогие друзья!

Послания, обращенные к людям, так или иначе достигали своего адресата. Пусть даже в бутылке, брошенной в волны моряком, потерпевшим кораблекрушение, или на крыльях почтового голубя, или высеченные на скале и написанные кровью... Сегодня мы обращаемся к потомкам. Мы вручаем свое послание детям и приложенные к нему личные обращения писателей к участникам Международной детской ассамблеи «Знамя мира», которая состоится в Софии — столице Болгарии в августе Международного года ребенка. Высокая и благородная цель Международной детской ассамблеи «Знамя мира» несомненно будет способствовать пробуждению творческого начала в детских душах. Пусть она поможет детям из всех уголков нашей планеты встретиться и научит их общаться между собой на великом, едином, общечеловеческом языке красоты и искусства.

Дорогие друзья! Творцы будущего! Люди будущего! Мы верим в вас!

Это — открытое послание. Каждый писатель любой страны, который принимает и поддерживает его идеи и его дух, может присоединиться к нему, подписать его и распространять.

Болгария — организатор писательской встречи — берет на себя обязательство издать и распространить это послание теперь, а также переиздать его в 2000 и 2050 годах. Мы предлагаем, чтобы ООН призвала страны, которые являются членами этой организации, сделать то же самое.

София, июнь 1979

АЛЬДО ДЕ ЯКО, Италия

Дорогие друзья!

Не столь важно, конечно, знаете ли вы, кто я такой и что у меня за плечами, когда я был храбр и когда сплоховал в наш двадцатый век, для меня означавший фашизм, войну, преследования и тюрьмы, Сопротивление, трудную борьбу за то, чтобы моя страна — Италия — шла по пути прогресса. Я искренне убежден, что боролся за правое дело, и одновременно понимаю, что борец из меня получился средний. Но какое это имеет значение для вас? Пусть это капля в море, но волна донесет вам наше «послание в бутылке», призыв к прогрессу, свободе и миру.

Я мысленно обращаюсь к одному из вас, к своему родившемуся в этом году третьему внуку; я вижу его в пору вашей зрелости, сильным и щедрым, настоящим бойцом. Бойцом за что? Останется ли ему за что сражаться — ему и вам? Я уверен: останется. Именно на вашу долю выпадет последний бой великой битвы, которую вели многие поколения людей до нас и ведем мы с вами, чтобы поставить на службу человеку, людям всех цветов кожи: белым, черным, красным, желтым — бурный промышленный прогресс, начавшийся в сердце Европы больше века тому назад и ставший для европейцев и источником силы, и причиной бедствий. Совладать с тем, что человек сам породил, с индустриализацией,— это все равно что приручить необъезженного коня: очень трудно. Конь норовист, все крушит вокруг, покуда его не обуздают; но когда обуздают, какая это будет силища в руках человека! Видимо, окончательно натянете узду коню именно вы, вам победоносно на нем гарцевать!

Пусть же начнется тогда новая эра! Вы решите задачи, не решенные нами, проблемы жизни на земле, проблемы ее плодородия, ее пригодности для человеческого существования. И пусть никогда не будет меж вами распрей, чтоб не возникло нужды мериться силой, прибегать к смертоносным орудиям!

Мы, поколения, на совести которых Хиросима и Нагасаки, желаем вам этого от всего сердца.

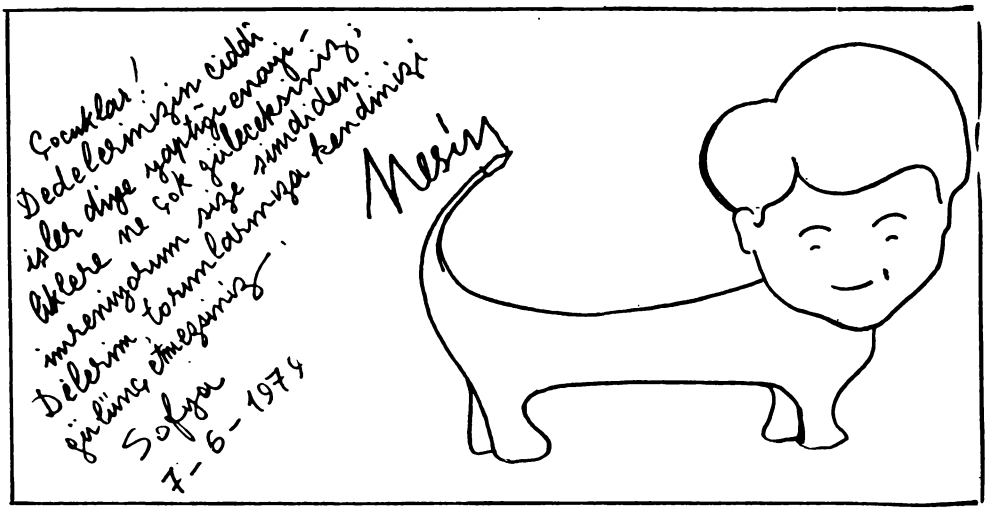
ИОАН ГРИГОРЕСКУ, Румыния

Внимание, детство проходит!

На детство моего поколения пришлась ужасная война — самая кровопролитная из 14 000 войн, которые познала Земля за всю историю человечества. Пусть не вспыхнет 14 001-я война потому что после нее уже не будет ни детства, ни детей. Говорят, в мирное время дети хоронят родителей, а на войне родители хоронят детей. Не позволим тем, кто брящает оружием, превратить нашу планету в огромное кладбище!

Пусть восторжествует жизнь!

Будьте бдительны! И мы были детьми, а сейчас мы — родители, и мы хотим, чтоб дети были и у вас! Будьте счастливы!



АЗИЗ НЕСИН, Турция

Дети!

Сколько вам еще предстоит смеяться над чудачествами, которые творили ваши деды под видом серьезных вещей! Завидую!

Желаю вам не оказаться смешными в глазах внуков.

ИОАХИМ НОВОТНЫЙ, ГДР

Диалог с паузами для размышления

Ребенок. Папа, что такое планета?

Отец. Небесное тело, которое не излучает ни света, ни тепла. Земля, например.

Ребенок. Мы не светим?

Отец. Нет.

Ребенок. И с этим ничего не поделаешь?

Отец. Это непоправимо.

Ребенок. Папа, а Земля может погибнуть?

Отец. К сожалению, да.

Ребенок. И это непоправимо?

Отец. Все в руках самих людей.

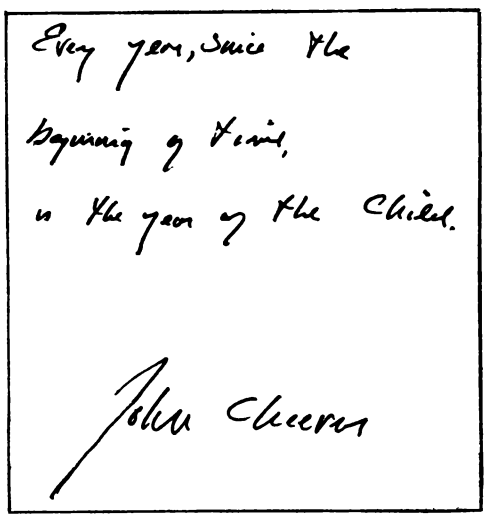
Ребенок. Папа, а что могли бы сделать люди, чтобы Земля не погибла?

Отец. Во-первых — бороться за мир. Всеми силами.

Ребенок. Они будут это делать!

Отец. Ну, если ты говоришь...

Ребенок. И тогда, папа, тогда и мы будем светить!



ДЖОН ЧИВЕР, США

От начала всех времен каждый год — это Год ребенка.

ЛУИДЖИ МАЛЕРБА, Италия

Хотел бы сказать детям: сначала научитесь читать и писать с радостью. В книгах ищите знания и мудрость, которые, когда вы сами будете писать, проявятся в ваших воззрениях и воображении. Хотел бы добавить: учитесь читать прежде всего книгу жизни, потому что в ней истинное знание и истинная мудрость; научитесь читать книгу природы, потому что и сам человек — ее частица.

ЛЮБОМИР ЛЕВЧЕВ, Болгария

Дорогие друзья.

Дети будущего.

Когда я был маленьким, я видел, как мой народ разбивает двери тюрем...

Я бы хотел, чтобы вы, будущие, не знали, что такое тюрьма, и искали бы это слово в словаре архаизмов.

На стенах тюремных камер я пытался найти знак, оставленный мне в прошлом. Я пытался прочесть послания близких и дорогих мне людей. И сегодня я слышу их голоса:

«Если выигрываю — выигрывает весь народ. Если теряю — теряю только себя самого».

«Кто в грозной битве пал за свободу, не умирает!»

«Когда умру, похороните меня с гитарой!»

«Запомните нас веселыми!»

Сейчас, когда я должен на стене будущего оставить знак для вас, я чувствую, что трепещу, как пламя. Да! Может быть, это и есть символ нашей жизни...

Сейчас я обращаюсь к вам, будущим:

Думайте о нас, как об огне. Но не об огне опустошения, а об огне чистоты, огне, который согревает пространство и озаряет время!

ЙОЗЕФ РЫБАК, Чехословакия

Хорошая литература обладает силой, и когда ее творцы осознают это, их общий долг и долг каждого — стоять в первых рядах на защите мира. Пусть дети и молодежь всей Земли никогда больше не познают ужасов войны. Многие из нас пережили две мировые войны. Давайте объединим наши усилия в борьбе против третьей. Во имя жизни, человека, во имя детей!

РАДУ БОУРЯНУ, Румыния

Нужны ли нам новые буквы для чтения,
Другая планета, чтобы ходить?
Бережно, словно грудного младенца,
Голубя мира нужно хранить.

◆

ПЬЕР-ЖАКЕЗ ЭЛИАС

КОНЬ МОЕЙ ГОРДОСТИ

Воспоминания бретонца из Бигуденского края

Фрагменты книги

Перевод с французского Н. НИКОЛАЕВОЙ

Правда земли и людей

Книга эта пришла к нам с западного побережья Европы, из той части Бретани, что омывается Одьернским заливом. Это край рыбаков и крестьян, скудный край, где жизнь полна испытаний,— Бигуденский край, подвластный мощным ветрам, дующим с Атлантики. Бедняки этих мест издавна славятся своим гордым нравом. Об их чувстве собственного достоинства, о гордости простых людей Пьер-Жакез Элиас напоминает нам устами своего горячо любимого деда Алена Ле Гоффа: «Пусть я слишком беден, чтобы держать скот, но для коня моей гордости я ничего не пожалею».

Книга вызвала во Франции настоящую сенсацию, притом самого доброго свойства. Между тем это не роман. «Конь моей гордости» имеет подзаголовок «Воспоминания бретонца из Бигуденского края». Однако в этих документальных записях и воспоминаниях бигуденца материала хватило бы на десяток, а то и на сотню романов. Автор — бесспорно одаренный рассказчик: точный в деталях, яркий, душевный, проницательный. Его книга продолжает прекрасную народную традицию края, известного своими сказителями.

Бретань, ее скалы и песчаные ланды, открытые всем ветрам, дома с высокими трубами, примостившиеся среди зарослей вереска и колючего утесника, ее национальные костюмы (еще и сейчас можно встретить женщин в высоких кружевных чепцах — творениях искусных рук), Бретань с ее сидром и гречневыми блинами притягивает иностранцев прежде всего своей экзотикой, из-за которой так долго не замечали царящую здесь экономическую отсталость.

Книга Пьера-Жакеза Элиаса, я думаю, потому и привлекла всеобщее внимание, что автор копнул гораздо глубже поверхностного фольклорного слоя (бархатные вышитые костюмы, кружевные чепцы, блины, сидр и загадочные легенды) — он поведал нам правду об этой земле и живущих здесь людях. Интересно, что книга, небывалый успех которой превратил скромного провинциального преподавателя в модную «звезду» (не беспокойтесь, «звезда» не утратила ни своей скромности, ни истинного достоинства), полная живописных деталей, достоверная и волнующая, воссоздает не столь уж давнюю бретонскую действительность (автор родился в 1914 г.), что очень важно для наших сегодняшних раздумий о Бретани и о Франции в целом.

Пьер-Жакез Элиас появился на свет в деревне, расположенной на побережье между двумя мысами — Пеннмарк и Ра. У его родителей не было своей земли. В семье говорили по-бретонски, как и во всей деревне. В местной начальной школе обучение велось на французском, официальном языке страны, но совершенно чужом для детей. И их наказывали, если, забывшись, они хоть слово произносили по-бретонски. Однако

© Librairie Plon, 1975.

ПЬЕР-ЖАКЕЗ ЭЛИАС — PIERRE-JAKEZ HELIAS (род. в 1914 г.).
Французский филолог, педагог. Окончил Реннский университет. Подробнее о нем — во вступительной статье Пьера Гамарра.
В этом номере публикуются фрагменты его книги «Конь моей гордости» («Le cheval d'orgueil. Memoires d'un Breton du pays bigouden». Paris, Librairie Plon, 1975).

автору этой книги удалось получить государственную стипендию и благодаря неимоверным усилиям близких продолжить учебу. Он поступает в Кемперский лицей, а позднее заканчивает факультет классической и современной филологии в Реннском университете. Маленький бретонец ценой неустанного труда и упорства — не только своего, но и всей семьи — получает высшее образование. Последние годы он преподает в Эколь Нормаль (выпускающей учителей начальных классов) департамента Финистер, самого западного департамента Франции, и одновременно ведет курс бретонского языка в университете Западной Бретани. Последнее особенно важно — Пьер-Жакез Элиас не отказался от своего родного языка! Как никогда не забывал он родной край (и не пожелал его покинуть), так не забыл он и язык, на котором выучился произносить первые слова, объясняться, рассказывать, мечтать...

Хотя Пьер-Жакез Элиас не был до сих пор профессиональным писателем, наряду со своей преподавательской деятельностью он занимался и литературной работой. После Сопротивления и Освобождения он сотрудничал в еженедельнике «Ван нуво» («Новый ветер») и готовил радиопередачи на бретонском языке. Без конца разъезжая по своему краю, он собирал и записывал бретонские сказки, легенды, изречения, пословицы и поговорки — это неисчерпаемое сокровище, в котором отразилось прошлое и жизнь народа во всем многообразии его бытия: в труде, обрядах, праздниках и т. д. Пьер-Жакез Элиас обработал и издал множество сказок, кроме того, он известен как автор коротких пьес и скетчей, созданных на основе народной жизни, они легко находили путь к людям, перед которыми их разыгрывали местные театральные труппы. Вот каким культурным, историческим, художественным багажом обладает Пьер-Жакез Элиас, и все это богатство мы находим в его книге.

И вот что еще важно!

Он сообщает нам, что происходит из бедняцкой семьи, которая издавна слывет «красной». Хоть семья эта была не менее религиозной, чем другие, в деревне живет память о том, как во времена знаменитого крестьянского восстания Красных колпаков двое из ее членов были повешены по приказу герцога де Шона Этим исконным стремлением к независимости, к свободе продиктовано и название книги, об этом же говорит и дед рассказчика: «Если ты беден, сын мой, умей дорожить своим достоинством». Этим подлинным чувством человеческого достоинства, в котором нет ничего от ложной гордости, проникнуто все повествование.

Благодаря книге Элиаса перед нами, французами, со всей очевидностью встала проблема экономически отсталой провинции, которая тянется к лучшей жизни. Призывает ли автор к сепаратизму? Нет, конечно. Но это не только проблема Бретани, расположенной в отдалении от Парижа, куда с большим опозданием доходят все перемены. То же самое относится и к Лангедоку (к югу и западу от Роны), и к Корсике... Решать эту проблему необходимо с помощью разумных мер, в духе справедливости и уважения к человеческому достоинству. Прекрасная книга Пьера-Жакеза Элиаса помогает и будет помогать нам в этом. Здесь кроется еще одна — пожалуй, самая существенная — причина ее успеха.

В более общем плане книга ставит вопрос о старом и новом. И автор подходит к нему со всей трезвостью. Его книга запечатлела расцвет и постепенную гибель бретонской и бигуденской культуры, основу которой составляют язык и традиционный уклад. Мы видим, как исчезают приметы старины, как рождается новое мироощущение. Бретонский язык вытесняется французским. Великолепные, расшитые золотом и серебром костюмы превращаются в музейную редкость. Бретонцы не спят больше в национальных кроватях, украшенных медными гвоздями. Туристы и курортники буквально наводняют летом эту все еще отсталую Бретань, где столько нерешенных проблем. Стоит ли оплакивать патриархальный, исконно бретонский образ жизни? Будем смотреть на вещи открыто и честно, как смотрит на них автор. Не возврата к прошлому желает Пьер-Жакез Элиас. Как ни дороги ему воспоминания детства, он замечает: «Мир наш, стремящийся в открытое море, населен людьми, которые предпочитали бы не сниматься с якоря». И, развивая свою морскую метафору, продолжает: «Однако хочешь не хочешь, а невозможно без конца держаться у берега»...

Многое вмещает в себя эта превосходная и богатая материалом книга — и прежде всего описание старейшей крестьянской культуры, наводящее на глубокие раздумья. Ведь речь идет не об египтянах эпохи фараонов или древних хеттах, а о бретонцах, живших каких-нибудь пятьдесят — сто лет назад. Впечатление странного временного отрыва вызвано своеобразием крестьянского и ремесленнического быта и мироощущения, а также экономической отсталостью этого района на фоне Франции двадцатого века.

Кроме того, как отмечает сам автор, крестьян никогда не жаловала история, и в «ее анналах им отведено очень скромное место». Книга Элиаса воздает им должное.

На страницах, чтение которых не только приятно, но и поучительно, автор с любовью вспоминает обо всем, что связано у него с детством и юностью, как ни скудна была тогда его жизнь. Но не берет ли в его книге верх сожаление по ушедшему? Нет и еще раз нет

Как ни велика любовь, она не застилает ему глаза. Главное, чему учит нас эта книга,— не отрываться от родной почвы, от своих корней и, устремляясь вперед, на-

встречу новому, не страшиться ничего, как говорят бретонцы, кроме постыдного,— ar vez по-бретонски.

Общечеловеческая ценность этой книги несомненна, ибо она подсказана народной правдой. Точно так же общечеловечны и Чехов, подлинно русский писатель, и истинный испанец Сервантес. Реки человечности, питаясь из чистых и животворных источников, сливаются воедино.

Итак, в добрый путь по Бретани!

ПЬЕР ГАМАРРА

КАК ОТЕЦ И МАТЬ

Жизнь людей бедных зачастую походит как раз на те самые романы и пьесы, которые буржуазные критики для собственного успокоения именуют плохими мелодрамами. Моей матери выпала доля встать во главе семьи, когда ей было одиннадцать лет. Бабушка умерла тридцати восьми лет — ее прихватило во время стирки, за которую она взялась, не успев оправиться после родов. Восемь сирот осталось, и моя мать — самая старшая. Тетушка Лизетта — ей едва три месяца минуло — еще в люльке качалась. Три недели промаялась бабушка в жару, а перед смертью призвала к себе мою мать. На нее, обливаясь слезами, и оставляла она дом. И как ни велико было горе, девочка старалась запомнить все наказы. Когда бабушка испустила последний вздох, дед мой Ален Ле Гофф упал без памяти. Он терял сознание еще дважды — при положении в гроб и когда гроб опускали в могилу. Я не преувеличу, если скажу, что он терял единственную женщину своей жизни. В последующие годы, хотя и хозяйство у него было не бог весть какое, и дом полон ребятни, ему прочили в жены одну из соседок, которая слыла завидной партией. Дед отказался под предлогом, что недостоин такой чести. Не захотел снова жениться. Правда, дети и их семьи до конца дней его чтили и любили. Да и как можно было не уважать такого человека? Уж не знаю, из какого теста он был сделан, но по честности и прямодушию я не видел ему равных. Мне уже двадцатый год шел, и я учился в университете, когда он умер. Но ни один философ не открыл мне больше, чем он. И если теперь мне кто-нибудь сильно понравится, я сразу Алена Ле Гоффа вспоминаю, и все становится на свои места. Так что не говорите мне о героях, прошу вас.

С той поры все на мою мать и легло. И браться за хозяйство пришлось тут же, не откладывая. Покойница еще на смертном одре лежала, а малютка, вместо забывшегося в горе отца, должна была принимать людей и запастись всем, что требовалось для поминального обеда. В день похорон ей по обычаю предстояло накормить многочисленную родню, съехавшуюся со всех концов округи. Теперь уж ей будет не до того, чтобы ходить в монастырскую школу, где ее считали способной ученицей. Первые недели соседки навещали крошку Лизетту, чахлое дитя, чья душа колыхалась между жизнью и смертью. Иной раз какая-нибудь из кормящих матерей расстегивала кофту и давала грудь сироте. И малышка в конце концов выбрала этот свет. А вскоре и соседки перестали заглядывать. Что вы хотите! Чуть ли не все они сами денно и нощно надрывались, чтобы не умереть с голоду. Да и сколько других несчастных вокруг нуждалось в сострадании...

Нищета была уделом многих бигуденцев в начале века. А это такое же злосчастие, как и всякое другое, и справиться с ним не каждому под силу. Малейшего удара судьбы было достаточно, чтобы добить тех, кто уже «попался в лапы к дьяволу» — так по-французски о бедности говорят. Шторм, увечье, недуг, падеж скота, пожар на гумне, неурожай, жестокосердный хозяин, а то и просто повседневные неурядицы — и вот вы уже бредете по дорогам с протянутой рукой, останавливаясь у чужих порогов, бормоча сквозь зубы молитву и сгорая от стыда и унижения. Сколько мужчин предпочитали в таких случаях распрощаться с жизнью, а уж пригодная для этого веревка только и ждала в сарае. Женщины — те топились, ведь у каждой на дворе был колодец или в поле запруда для стирки. Так и жили тогда в вечном страхе перед нищетой, которую ничего не стоило встретить за любым поворотом — тощую, ощетинившуюся суку с желтыми клыками — Вселенскую Суку. Она подкрадывалась тихо и незаметно, когда ничто не предвещало ее прихода,— вот в чем была беда.

Берегитесь Вселенской Суки,
Что набросится на вас, не залаяв.

Когда Вселенская Сука выбирала свою жертву (кто знает, не подчинялась ли она сама могущественному хозяину), она преследовала ее как тень. Человек распознавал ее не сразу, но вокруг все видели, что несчастный отмечен страшной печатью. И когда впадал он в нищету, зверь прыгал ему на спину, и с беднягой было покончено.

Один человек — его до сих пор помнят,— как ни старался, не мог злую судьбу обмануть. Понял, что настигнет она его вот-вот, и решился покинуть родные края, надеясь, что в Бресте или Нанте удастся ему отвадить беду. Собрал он узелок и с надеждой в сердце зашагал к Кемперскому вокзалу. Но там его уже Вселенская Сука подстерегала. Повернул горемыка назад да и

ПЬЕР-ЖАКЕЗ ЭЛИАС
КОНЬ МОЕЙ ГОРДОСТИ

возвратился домой, чтобы покориться своей участи. И никто мне не мог сказать, что же с ним сталось.

Дед мой Ален Ле Гофф всю жизнь Вселенской Суки боялся, однако сумел как-то от нее уберечься. Сколько раз, рассказывал он, работая в поле, не осмеливался он даже минуту передохнуть — чуял, что Вселенская Сука только и ждет своего часа. И еще он говаривал: «Если слышите, будто кто-то на помощь зовет, а окрест никого, то знайте, это ваше собственное несчастье вас ищет или, может, Вселенская Сука кому-нибудь из ваших близких на спину прыгнула. Если случалось такое со мной, я лопату покрепче сжимал да землю изо всех сил копал, ну, словно убить кого хотел». А ведь дед мой был нрава тихого и кроткого. Но такие иной раз самые упрямые. И Вселенская Сука, эта сволочь проклятая, должно быть, знала об этом.

Ален Ле Гофф всю жизнь лез из кожи вон, чтобы прокормить свое семейство. И надо сказать, никто из его детей голода так и не узнал. Ну а сам он старался на стороне что придется перехватить, никого при этом не беспокоя. Когда бы ни возвратился он домой, всегда уверял, что сыт. А уж если десятифунтовая коврига хлеба подходила к концу, у него и вовсе аппетит пропадал. Дети же никогда его не расспрашивали.

Мать моя летом с зарею вставала, а зимой — и того раньше. Первым делом она старательно водружала чепец — ее этому в шесть лет обучили,— затем кормила свинью, доила корову, готовила малолеткам завтрак, будила их, собирала в школу, выгоняла за полмили пастись корову, по дороге назад вязала, а дома принималась за хозяйство — стирала, стряпала, потом, не выпуская из рук крючка, шла обратно в поле и работала, пока хватало сил, приводила на веревке корову, а на спине тащила мешок с травой или тяжелую корзину в руке, встречала из школы ребятишек, которых держала в строгости, присматривала, как они делают уроки, штопала тряпье, взрываясь порой то гневным окриком, то громким смехом, опять давала корм свинье, снова доила корову, варила кашу или картошку, мыла посуду, укладывала детвору спать, наводила в доме порядок и садилась шить или вязать при свете керосиновой лампы и, не дождавшись отца, никогда спать не ложилась.

И вот так с одиннадцати до двадцати лет без передышки. По субботам она усердно протирала мебель, начищая до блеска каждый медный гвоздик. Раз в три месяца отправлялась с доверенностью в Плонеур и получала отцовскую пенсию. Километров восемнадцать туда и обратно, но она и это время зря не теряла. По дороге вязала крючком кружева, которые потом сбывала за пару серебряных монет, и, если удавалось свести концы с концами, покупала себе носовые платки и передники. Иной раз по праздникам она выкраивала часок и, приколов к чепцу над ухом большой красный бант, так называемый помпадур — символ девичьей гордости, прогуливалась с подругами по деревенской площади...

Пьер-Жакез Элиас

Когда появился мой отец, к матери уже не раз сватались. Приданого у нее, как вы сами понимаете, никакого не было, надежд — тоже никаких. Но за этим гнались только те, кто побогаче — и городские, и деревенские. А бедную девушку ценили за скромность да за трудолюбие. Ну а тут уж Мари-Жанна Ле Гофф ни с кем не могла сравниться в приходе, где все друг про друга знали. Тут уж никого не проведешь. Впрочем, она в своем выборе была свободна. Отец ее частенько говаривал, что раз она в доме хозяйка, то и сама себе хозяйка.

Свадьбу сыграли в 1913 году. Бедняцкая то была свадьба.

Всего только 120 гостей пригласили. Каждому из них эта двухдневная пирушка с танцами обошлась по пять франков. На третий день трактирщик, как водится, пригласил к себе на остатки угощения. В первый же вечер парни из нашей деревни, Пульдрезика, затеяли драку с парнями из Плозевета, которых пригласил на танцы отец. Пульдрезикским девушкам показалось, что те танцуют лучше местных, и, видно, предпочтение свое они проявили слишком заметно. Тут и пошло: перебранка, тумаки и такие оскорбления, которые иначе как кровью и не смоешь. Как только они друг друга не обзывали: и дубинами, и телками, и недоумками, и дерьмачами и напоследок — желтозадыми кобелями. В конце концов пульдрезикские, а их было побольше, закидали камнями плозеветских и заставили убраться восвояси. И

не успокоились, пока на полмили от деревни не отогнали...

А отец той порой терзался сомнениями. Он был и сам не прочь ввязаться в рукопашную, но как можно молодую жену покинуть? Да и за кого драться? Если за земляков вступиться, новую родню оскорбишь, если пульдрезикских выручать, среди своих иудой прослывешь. И он избрал роль Понтия Пилата. Засунув большие пальцы за проймы жилета, он считал тумаки. А все же отличная свадьба была... Так говорят мои родители...

УЧЕНИЧЕСТВО

Путешествовать я начал давно. Поначалу — на руках у матери, которая, едва оправившись от родов, пошла со мной на службу в церковь, надеясь, что господь бог отпустит ей грехи, как и другим. Передвигаясь таким способом, я вместе с ней побывал в гостях у всех, с кем она дружила в нашем приходе...

Когда выдавались свободные часы у деда, он сажал меня на плечи — что может быть лучше! — и нес в Пон-Гвенну, где у нас был маленький участок земли, или в Мео, где поле было попросторнее. От Алена Ле Гоффа исходит родной запах земли, пыли и пота. Дед шагает неторопливо, нигде не останавливаясь, и время от времени спрашивает, что мне сверху видно. Я рассказываю. Иногда он пускается бегом, и тогда я подскакиваю и радостно смеюсь. Или закрываю ему глаза, и он кружит на месте, стуча сабо по земле, как конь копытами. Кто-нибудь из встречных спрашивает его: «Что это вы несете, Ален Ле Гофф?» — «Мешок, а вот с чем, и сам не знаю». — «Я не мешок, а дедушкин внучек». — «Надо же, — удивляется прохожий. — Первый раз вижу, чтобы мешок разговаривал». И пожимает мне руку. От робости я не могу выговорить положенное «Здравствуйте, дядюшка», но со временем научусь. «Дедушка, почему ты ему сказал, что я мешок?» — «Потому что он поступил невежливо. Ему следовало тебя самого спросить». Я совершенно согласен с дедом. И, смахнув каплю, готовую сорваться с носа, строго поглядываю по сторонам. «Не обижайся на него, — говорит дед. — Он сказал так не подумавши, а человек он хороший». Что ж, пусть будет хороший...

Моим воспитанием дед занялся, как только я начал делать первые шаги. Впрочем, кому же еще возиться с малыми детьми, как не дедам. По возрасту их освобождают от тяжелых работ и от управления домом — об этом заботятся отец с матерью. Их же дело — давать советы, если их, конечно, спрашивают. Я знаю, есть старики, которые норовят всеми руководить, но это не настоящие деды. Все время у них уходит на то, чтобы в каждой мелочи настоять на своем, и заниматься внуками им просто некогда. Настоящий дед отходит от всех дел — это и сближает его с детьми, которые пока еще ни за что не в ответе. Старость и младенчество хорошо понимают друг друга. И родители позволяют им несколько лет не разлучаться, пока отец не сочтет, что пришло время ему самому заняться воспитанием сына. Тут-то и кончается беспечная пора детства...

Ноябрь — месяц сказок. Поскольку темнеет рано, дед приводит корову с пастбища, когда еще нет и шести. Еще час уходит на хлопоты по дому, где светло от огня в камине и керосиновой лампы. После того как мы управляемся с нехитрым ужином, наступает пора сумерничать. Мать до отказа прикручивает фитиль. Керосин слишком дорог.

Пламя в очаге силится перебороть сгущающуюся темень. Поблескивают медные гвозди на шкафах и кровати, напоминая светлячков на ночных дорогах. Слышно, как стучат сабо отца. Мой молчаливый отец возится со своими инструментами, которыми он обтесывает колья и чинит порвавшиеся поводья, отбирает ивовые прутья, годные для плетения корзин. Мать уже устроилась на низком стульчике возле огня, на коленях у нее ворох тряпья для штопки. А я жду деда, который еще не вернулся из хлева. Вот и он наконец!

Старик усаживается на скамью перед камином и, довольно посмеиваясь, с хрустом потирает руки. Затем достает массивную вересковую трубку с медным кольцом — ежегодный повод для гордости. Из Парижа, где живут двое его сыновей, каждый год в конце декабря ему приходит новая трубка. Когда он вскрывает посылку, у него дрожат руки, и не было случая, чтобы он с восхищением не произнес: «Ну, такой трубки в наших краях ни у кого нет!»

Дед долго смотрит на свою старую трубку, которую перед этим извлек из кармана вместе с обрывком бечевки, точильным камнем и всевозможными шайбами и гайками, подобранными на проселочных дорогах. Она вся почернела, его трубка, неизменно обгорающая с одного бока — присматривая за пасущейся коровой, старик усаживается на облюбованном им склоне, и юго-западный ветер относит дым всегда в одну сторону. Убирая ее подальше в шкаф, где уже скопилось немало трубок, каждая из них — год жизни, он всякий раз мучается угрызениями совести. Он из тех людей, что привязчивы. И, ничуть не кривя душой, он говорит: «Все же она мне больше нравилась». Для новой трубки в этом нет ничего обидного. Пройдет год, и ее ждут те же почести. Таков обычай. Домочадцы произносят «аминь», и я — первый.

Итак, дед набивает трубку табаком не спеша и с важным видом, соответствующим производимой им операции. Головешка выпадает из очага. Он подхватывает ее загрубевшими руками, подносит к трубке, затягивается, и — пых, пых, пых — светлый дым обволакивает его доброе лицо. Старик прочищает горло и сплевывает в золу. Одним прыжком я взбираюсь к нему на скамейку. Теперь он принадлежит мне.

ПЬЕР-ЖАКЕЗ ЭЛИАС
КОНЬ МОЕЙ ГОРДОСТИ

Я забываю, что проиграл в шары этому мошеннику Гуайа Длинному целых восемнадцать гвоздей и семь пуговиц (четыре роговых и три из цветного стекла — подумайте, какая неудача!), я не боюсь больше ни строгих глаз учителя, ни линейки, которой мне достанется завтра по пальцам, потому что я не проспрягал до конца глагол «перепечатывать» — поистине наказание господне! Все к черту! Дедушка начинает свой рассказ. Дедушка седлает дымчатого коня, а мне дает голубого жеребенка, и мы отправляемся на поиски диковинной страны, где все мне уже знакомо. Но! Поехали!..

Однажды дед сказал мне:

— Пора тебе за тачку браться. Сначала научишься толкать ее вперед, а уж потом везти за собой, что куда труднее, мой мальчик.

Я преисполняюсь гордости. Сколько раз, с тех пор как я родился на свет, ездил я на этой тачке в поле и обратно, если, конечно, не было другого груза. Не торопясь вез меня дед и рассказывал всякие истории. Мать шла куда быстрее, на бедняжке столько забот лежало, что ей не до прогулок было. Но нрава она была веселого и забавы ради иногда пускалась бегом — тачка подпрыгивала на камнях и ухабах, и мы оба хохотали. А отец, даже если нагружал тачку травой или капустой, сажал меня сверху и наказывал держаться за веревку. У меня дух захватывало на этой верхотуре, но груда зелени подо мной была так податлива, а отец так силен, что упасть я не боялся.

И вот пришел день, когда не к лицу мне стало на тачке разъезжать. Увидел однажды какой-то встречный, как прохлаждаюсь я в своей карете об одном колесе, и сказал:

— Ну и ну! Этому цыпленку уже пять скоро, а он все еще ходить не умеет!

Ола! Ни разу больше не сел я в тачку, слово бигуденца!

Не было у меня теперь другого желания, как самому взяться за тачку, а то еще и посадить туда малыша, как возил своего братишку Луи Ле Коз. Правда, тачка Луи однажды перевернулась, младший братец угодил в канаву, за что старшего так отделали метлой, что он горько переживал свое унижение всю ночь и половину следующего дня. Но если обращать внимание на подобные пустяки, так и мужчиной никогда не станешь.

Наконец-то взрослые решили, что и мое время пришло. По правде говоря, я уже и до этого потихоньку тренировался во дворе за домом. Усердно плевал на ладони, чтобы не скользили отполированные от долгой службы оглобли. Но тачка все же рассчитана на взрослых. Руки у меня были еще коротковаты, и тачка гораздо тяжелее, чем я думал, а это проклятое окованное железом колесо ну словно в землю вросло. Стоило мне только стронуть тачку с места, как невидимая сила начинала тянуть меня то вправо, то влево, и самое большее, что мне удавалось, это передвинуть ее на несколько метров вперед. После чего она так прочно застревала между стеной дома и стогом соломы, что я никак не мог ее оттуда вызволить. Увидел это как-то возвращавшийся с поля дед и сказал:

— Смотри-ка! Ну и тачка! Сама едет!

Теперь дедушка сам вез для меня тачку, пока не начиналась ровная дорога, пролегавшая меж двух высоких склонов. Вокруг — никого. Тем лучше, некому будет подсмеиваться, если чертова тачка увлечет меня в колючие заросли и крапиву. Горло у меня пересохло, и нечем даже смочить ладони. Ну и пусть! Я хватаюсь за ручки.

— На себя тяни,— говорит дед,— будто руки в карманы хочешь сунуть. Да не на тачку смотри, а на дорогу под колесом. Нагнись чуток и пятками в землю упирайся. Ну, давай!

Сколько еще добрых советов услышал я от него, прежде чем — о чудо! — тачка, вдосталь поупрямившись, не начала, наконец, меня слушаться. На обратном пути я, верно, с превосходством поглядываю на встречающихся нам моих ровесников, потому что дед мой бормочет:

— Ишь ты, маленький гордец!

Для бигуденца это одновременно и укор, и похвала. Дед мой доволен. А я иду следом и удивляюсь, до чего ловко везет он за собой тачку, даже не оглядываясь.

С той поры всякий раз, как мне удается завладеть тачкой, я выбираю дорогу потрудней. Задыхаясь, лезу я с ней по крутым тропам, а при спуске тачка перетягивает меня вниз, и, чтобы затормозить, я опускаюсь на землю и еду задом, пачкая при этом штаны. Другие мальчики учатся, как и я. Мы хвастаемся своими успехами, подзадориваем друг друга: а кто сможет провезти тачку по узкой дощечке или перейти ручей по каменистому броду?! Тяжелее всего катить тачку за собой. Но деды успокаивают нас: «Потерпите до следующего года!»

Нет! Ни за что! Не хотим мы ждать! И вот, спотыкаясь и падая, волочим ее за спиной, а тут чертова ручка вырывается и рассекает губу!

Тем временем мы растем. Самые ловкие уже бегают с тачкой босиком по проселочной дороге. И тогда взрослые их строго отчитывают:

— Зачем тебе тачка, малыш? Ты хоть сопли в нее отгрузи! Все польза будет!

Мы обижаемся. И дважды этого упрека слышать не хотим. Мы принимаемся нагружать наши тачки. Сначала камнями, потом садимся в нее по очереди. И, забравшись в кузов, изо всех сил раскачиваем его, чтобы товарищу было потруднее ехать. Это игра, но это и испытание, из которого каждый хочет выйти с честью. Мы сражаемся с тачкой до тех пор, пока нам не удается привезти траву с луга или капусту, да так, чтобы по пути не вывалять их в дорожной грязи. Коровы гравий не любят. И вот тачка завоевана, можно браться за двухколесную тележку, а потом и за конную одноколку. И сколько еще предстоит

освоить, сколько похвал заслужить! Ведь вся округа смотрит на нас. И о нашей взрослости судят по тому, как выдерживаем мы одно испытание за другим, и тачка среди них — не из самых легких...

ТЯЖКАЯ ЖИЗНЬ

Однажды зимой часа в три пополудни, когда день уже клонился к вечеру, мать разожгла в очаге большой огонь, чтобы просушить белье, не сохшее на влажном ветру. Я сижу на каминной скамеечке и греюсь. Лезвием старого ножа я отскабливаю грязь с нижних краев брюк, которые испачкал, гоняясь утром за дроздами (по правде говоря, у меня были дела и поважнее, чем дразнить дроздов, но из-за этих хитрецов всегда, знаете ли, угодишь в непролазную грязь, которую намесили копытами коровы,— без сухих веток из нее не выбраться, а они не всегда оказываются под рукой). Ну да хватит обо мне. «Тише!» — говорит вдруг мать своему не слишком молчаливому сыну. Несмотря на потрескиванье огня, она уловила какой-то шум, доносящийся с улицы. Куда же она? Бросается к двери и тут же возвращается — раскрасневшаяся и озабоченная. «Что там, мама?» — «Сиди на месте! Ни к чему людей смущать!» Она роется в ящике большого шкафа, достает что-то и, зажав в руке, после секундного колебания прячет под фартук и выходит на порог. Я взбираюсь на подоконник и выглядываю из-за занавесок.

Я вижу медленно приближающегося человека, высокого и ужасно худого, нелепо одетого в матросские брюки и суконную шинель — наверное, еще до того, как сам он появился на свет, она была синей, но от долгой службы выцвела и посерела. На ногах у него совсем новые сабо с медными скрепками, а на голове — бигуденская шляпа без лент, которая ему явно велика. Лица его почему-то не видно, и кажется, будто это шагает огородное пугало. Следом за ним еще тише, словно им боязно или стыдно, бредут женщина и три девочки — самой старшей, должно быть, лет семь. Младшая еще в детском чепчике, а те, что побольше, как и мать,— в длинных, до пят, залатанных платьях из грубой ткани и в темных низких чепцах. Старших дочек мать держит за руки, меньшая испуганно цепляется за ее передник. Опрятные, хоть и в лохмотьях, но видно, что на них свалилось несчастье. Они замирают посреди дороги и молча смотрят на дверь нашего дома. Вот отец подходит к порогу, и я вижу, как он снимает шляпу. Я знаю, что шляпы снимают лишь в церкви или перед покойниками. На улице шляпы снимают только нищие.

Волосы у него цвета пыли. И сам он весь такой серый, что в эти зимние сумерки я никак не могу разглядеть его лица. Я прижимаюсь носом к стеклу, чтобы ничего не пропустить. И вижу протянутую материнскую руку, сжатую в кулак. Навстречу ей тянется открытая мужская ладонь. Женщина с дочерьми кланяются и крестятся. Отец надевает шляпу и бредет дальше, а в нескольких шагах позади плетется его семья. Бесшумно возвращается в дом мать. Увидев меня у окна, она кидается ко мне и, как следует тряхнув, вопрошает, не стыдно ли мне. Я убегаю за дом, чтобы выплакаться. Господи, ну что я сделал плохого?

Вечером, собравшись на ужин за котелком каши, мои родители говорят о нищих, по отношению к которым я, похоже, вел себя не лучшим образом. Я узнаю, что люди эти из другой округи, с юга. Отец и мать — поденщики. Месяц назад у них в доме случился пожар — сгорело все, в том числе и шкаф, где хранились кое-какие сбережения. Корова тоже сгорела вместе с хлевом. Еще хорошо, что все пятеро детей остались живы. Мальчики — одному девять, а второму десять лет — за кормежку нанялись пастухами. Остальному семейству пришлось идти побираться по дорогам Бигуденского края в надежде на милосердие добрых душ, которые помогут им продержаться, покуда у них снова не появится свой кров. Как это тяжело — ходить по миру, прося даже и во имя отца и сына и святого духа,— если до этого всегда жил трудами рук своих. И как же мог я таращить глаза, когда мать им что-то давала. Ведь если впадаешь в нищету, тяжелее всего вынести, когда на тебя смотрят. Не следовало мне забираться на подоконник, и не должен был я казать своего носа, пусть и расплющенного о стекло. Отец мой считает, что я еще легко отделался, по его мнению, я заслуживаю хорошей порки. Ален Ле Гофф вздыхает: «Ну откуда было ему знать. Ведь он впервые видит нищих»...

Подрастая, я начинаю замечать, как бедно одеты вокруг меня люди. Да и в бакалейной лавке не бог весть какой выбор. «Пойди спроси у дядюшки Даниэля, есть ли у него сахар!» — говорит мне мать. Я иду. У бакалейщика, дядюшки Даниэля, сахара нет, у дядюшки Гийома Де Корра нет даже кожи для сабо, впрочем, как и гвоздей...

Запасы муки у нас в доме держат в столе с раздвижным верхом. На нем мать вымешивает тесто для самого сытного — черного — хлеба. Готовое тесто дед укладывает в белый мешок из грубой холстины и несет к булочнику. Когда он возвращается с еще теплой ковригой — в доме праздник. Но бывает, что в хлеб приходится подмешивать всякие отходы, которые больше годятся на корм скоту...

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь!» У многих бедняков молитва эта идет из самого сердца, потому что в хлебе своем они никогда не уверены. До сих пор есть дома, полные ребятни, где ссорятся из-за каждой хлебной корки. Как сейчас вижу восьми,- десятилетних девчушек, которые нянчат младенцев, доводящихся им дядюшками или тетушками. По семь, девять двенадцать и больше детей в семье, и каж

ПЬЕР-ЖАКЕЗ ЭЛИАС
КОНЬ МОЕЙ ГОРДОСТИ

дый голоден как волк. Хлеб — главная и чуть ли не единственная их еда. Правда, после войны 1914 года семьи стали поменьше. Отцов долго не было дома. На их долю вышли такие невзгоды, о которых они раньше и не слыхивали. А когда они вернулись, у порога их Вселенская Сука поджидала. Пришлось сразу же за работу браться и, как прежде, хлеб растить. Ведь тот, кто хлеб растит, хорошо ему цену знает. Сколько пота надо пролить да сколько труда приложить. Потому и относятся к нему с набожным чувством. Перед выпечкой на нижней стороне ковриги всегда крест выводят, и немало стариков крестится, прежде чем ее разрезать. И едят они его, словно священнодействуют: вдыхают его запах, медленно жуют и сосредоточенно смакуют. Крошки, просыпавшиеся на стол, все до единой бережно собирают в ладонь. Хлеб — это часть их собственного тела. В остальной пище они неприхотливы. Сабо́тье [1] заверяет всех, кто согласен его слушать, что ему не под силу проглотить только три вещи в мире: сажу, куриный помет и булыжник. А хлеб — это же рай земной!

И дети познают это с малолетства. Когда их посылают к булочнику за десятифунтовой ковригой, они сами следят за весами. Десять фунтов — это десять фунтов и ни унцией меньше. Булочник взвешивает хлеб и большим ножом отрезает еще довесок, который осторожно кладет поверх ковриги, и тотчас отводит руки, дабы показать, что он не только отпускает вам чистый вес, но еще и с походом.

Говорят, был один булочник — не в наших краях, разумеется,— который при взвешивании руку с хлеба не убирал и с весов его снимал раньше времени. Так и шло до той поры, пока один покупатель не схватил его за руку и не пригрозил ее отрезать: «Это мой кусок — ведь ты его тоже взвесил!» Булочники не любят, когда им на эту историю намекают (хотя и дело-то не у нас было), как мельники не терпят, когда им говорят, что видели вора в их рубашке, который поутру уносил с мельницы чужую муку.

Пристраивает ребенок ковригу на голову, а довесок берет в руку. И вот идет он домой. А путь, бывает, неблизкий. В животе у него урчит. И начинает он отгрызать от довеска один крошечный кусочек за другим. И вдруг с удивлением обнаруживает, что рука у него пуста. Теперь и домой боязно возвращаться. Положит он хлеб на стол, спросит мать: «А довеска не было?» Промолчит он в ответ. И скажет тогда мать: «А братья твои? А сестры? И не стыдно тебе?» Тут можно и пару оплеух заработать.

Самое худшее, когда хлеб точно десять фунтов весит. И такое случается. Ужасное это тогда искушение! Шагает он с теплой ковригой на голове и всю дорогу борется сам с собой. Наконец, поднимает руку к трещинке и выковыривает совсем маленький кусочек мякиша. А потом уж рука сама тянется кверху. В результате в хлебе получается ямка. И расплачиваться за нее придется щеками, ушами и ягодицами. Бесполезно сваливать на мышь. Родители и слушать его не станут, особенно отец, который и сам, бывает, не прочь сходить за хлебом — хороший предлог пройтись по деревне. Задумается иной раз и тоже съест по дороге довесок. И лучше к нему тогда не придираться...

ЩЕДРЫЕ ЧАСЫ

Еда в нашей деревенской жизни — дело из наиважнейших. И не только потому, что крестьяне веками терпели лишения, а то и голод, если выпадали неурожайные годы, память о которых по сей день жива. И не потому, что удел наших людей — извлекать из земли пропитание для себя и для других. От того, сыт человек или голоден, зависит его здоровье, еда определяет связи и взаимоотношения между различными социальными группами...

Выпить, а тем более поесть у кого-нибудь в доме — лучшее подтверждение родства или дружеского расположения. Если человек говорит: «Я так долго у них на пороге простоял, а меня даже в дом не пригласили»,— это значит, ему нанесли оскорбление. Если же он говорит: «Я у них и на пороге-то не задержался, потому что входить не хотел»,— значит, он сознательно решил оскорбить хозяев. Но если человек с важностью произносит: «Я отведал хлеба в этом доме»,— значит, он и слова дурного о нем не скажет.

Даже самый обычный деревенский визит подчиняется столь строгому этикету, что по сравнению с ним буржуазные правила хорошего тона покажутся ужимками ученых обезьян. Особенно много церемоний соблюдается в том случае, если кому-нибудь понадобилось пойти на соседнюю ферму, чтобы одолжить лошадь, купить бочку сидра, сообщить новость или заплатить за аренду земли. И уж, конечно, в те дни и часы, когда люди, как известно, отдыхают. В воскресенье, например.

Вас не приглашали и не ждут. Прежде всего вы останавливаетесь у изгороди и даете время собаке громким лаем возвестить ваш приход. Сигнал подан. Вы открываете калитку, входите во двор, медленно двигаетесь мимо окон, чтобы вас могли разглядеть и узнать. Медленно, чтобы хозяйка успела прибрать в своем жилище. Если ее нет дома или ей требуется не меньше десяти минут, чтобы навести порядок, выходит сам хозяин и уводит вас смотреть ригу, коровник, сад, пока, наконец, хозяйка не позовет вас в дом.

Если дома никого нет, а дверь заперта, вам остается только выйти за ограду, не позволив себе даже оглядеться по сторонам. Дверь, этот деревянный лик дома, редко бывает запертой. Двери в деревне открыты у всех с утра до вечера. Затворить их, когда в доме кто-нибудь есть, значит, оскорбить прохожих. Чтобы они не захлопывались от сквозняка, их подпирают боль-

[1] Мастер, изготовляющий сабо *(Прим. перев.)*.

шим камнем. В нашем доме даже нет засова. Просто над дверью на веревке висит деревянный брусок, и, перед тем как лечь спать, мой отец втыкает его в дыру, проделанную в стене,— вот мы и заперты на ночь.

Итак, вы останавливаетесь перед открытой дверью. Кашлянув пару раз, чтобы заявить о себе, громко спрашиваете, есть ли кто в доме. Женский голос приглашает вас войти. Пока только голос. Вы делаете несколько шагов по глинобитному коридору и снова задерживаетесь перед кухней-столовой, дверь которой тоже всегда открыта. Облокотившись о буфет, вам улыбается хозяйка: «Ба, да это Корантен!» Хозяин пока сидит на своем месте во главе стола. «Входите же»,— говорит она. Вы медленно входите. «Вот и я»,— говорите вы. И завязываете разговор о погоде, о земле. Хозяин предлагает вам присесть — не бойтесь, скамья крепкая, не развалится! Вы дважды решительно отказываетесь, а на третий раз соглашаетесь. Продолжать отказываться было бы уже оскорбительно, тем более что хозяйка на ваших глазах обмахнула скамью чистой тряпкой. Беседа идет о последних деревенских событиях: сначала о похоронах, потом о свадьбах и под конец о крестинах. Хозяйка между тем достает стаканы и тщательно протирает их свежим полотенцем, на котором еще не разошлись складки от утюга.

Вы делаете вид, будто ничего не замечаете, до тех пор, пока на столе каким-то чудом не вырастают бутылки. Тогда вы громко выражаете свое возмущение, вы приподымаетесь, словно собираясь уйти, заявляете, что никого не хотите беспокоить, да и вообще пьете, только когда вас мучит жажда. Всем известно, какой вы трезвенник, заверяют вас, но если промочить горло, то и разговор пойдет веселее. И вот хлопают пробки. После долгих уговоров вы соглашаетесь чокнуться. Возобновляется разговор, прерываемый вашими отказами, а на столе тем временем появляются все новые яства, и воздух наполняется ароматом кофе. Добрых полчаса проходит, прежде чем вы решаетесь робко намекнуть о цели своего прихода, хозяева же догадались о ней, как только увидели вас возле дома. Но вот ваша просьба удовлетворена, провожает вас сам хозяин — после того, как вы преподнесли хозяйке пучок порея, которого вполне достойны ее дом и угощенье. Вы в восторге, хозяева тоже. Вы одарили их тем, на что они и рассчитывали — то есть своим временем и кое-какими новостями, которых они еще не слышали. И приняли они вас со всем уважением, как человека, состоящего с ними в родстве уже потому, что вы с ними из одного прихода...

НОВЫЙ ЗАВЕТ

Я принят в лицей со стипендией. Событие это вызвало бы в моей семье беспредельное ликование, если бы не затаенная тревога. Ну как можно послать этого ребенка в «учебное заведение»? И как не посылать, если у него способности и он может продолжать учебу? Бедные люди не знают, как быть. Мой учитель, месье Гурмелон, заверяет, что раз я сдал экзамены одним из лучших, мне назначат полную стипендию, и это так. Но ведь нужно меня одевать, оплачивать мой проезд в автобусе или местном товарном поезде, когда меня будут отпускать на каникулы, да и вообще нельзя же мне жить без гроша в кармане среди более обеспеченных товарищей. Мои родители полагают, что в лицее учатся главным образом дети миллионеров. Ведь беднее нас в деревне никого нет. Говорят, если как следует в мэрии попросить, там могут дать ссуду. Но отец ни за что не соглашается туда идти. Никаких долгов и никаких подачек.

Ален Ле Гофф без конца пересчитывает свою пенсию. Он готов даже отказаться от табака, но тут решительно восстает моя мать. Она разрабатывает суровый режим экономии, от которого, как водится, она одна и будет страдать. Но радость полюбоваться на сына в фуражке с «академическими пальмами» стоит всех жертв. И кто знает, а вдруг он выучится на бакалавра? Так утешает она себя иллюзиями. А мне и самому ужасно хочется покрасоваться в этой фуражке...

Впрочем, сдав экзамен по сельскому хозяйству, я заработал вторую департаментскую премию и вклад в сберегательную кассу на тридцать франков. Дедушка не сомневается, что я получил бы и первую премию (еще бы!), если б мы были побогаче и у нас была ферма. Но что поделаешь! На устный экзамен я поехал в сельскохозяйственную школу в Бреулуен-Фуэнан, где мне предложили определить по зубам возраст быка, которого силились удержать двое служащих. У быка вовсе не было настроения демонстрировать свой возраст. И я, наверное, немного ошибся. Что тут удивительного! У нас же нет своего быка. Так или иначе, эта дальняя поездка, в итоге вполне успешная, преисполнила гордости сопровождавшую меня мать. Судите сами! Наряженная в свой лучший чепец, она обедала в школьной столовой вместе со всеми этими господами и дамами — учителями и учительницами. Там было даже несколько инспекторов. И один из них, самый главный с виду, сказал ей, что она может гордиться своим сыном. С этого дня я и начал отдавать матери свой долг.

Будь что будет, решено, что мы вместе с однокашником, таким же безденежным, как и я, но тоже подающим надежды, поедем учиться в Кемперский лицей. Месье Гурмелон то и дело поглаживает бороду от удовольствия.

Но когда из лицея «Тур д'Овернь» приходит бесконечно длинный список вещей, которые мне надлежит взять с собой, настроение в семье портится на несколько дней. Как можно требовать от ребенка, чтобы у него было столько рубашек и но-

---

ПЬЕР-ЖАКЕЗ ЭЛИАС
КОНЬ МОЕЙ ГОРДОСТИ

совых платков, к тому же помеченных назначенным ему номером 291, не считая формы цвета морской волны с непременным жилетом, да вдобавок еще и чемодан для всего этого добра. Разве так уж необходимо столько одежды, чтобы содержать себя прилично? А что это за штука — туалетная перчатка? Или зубная паста? В доме царит уныние. Потом мать утирает слезы — чего бы это ни стоило, она раздобудет для меня всю эту одежду, белье, да еще в таком количестве, что голова кругом идет. Она отправляется пешком в Плозевет посоветоваться с Катрин Ле Моаль, у которой сын уже учится в лицее. Все ночи напролет она шьет и штопает при свете керосиновой лампы. Самое главное — форма. Уж очень дорого. Она покупает пакетик краски, и мой коричневый костюм, мой единственный костюм, превращается в черный, потому что цвету морской волны не одолеть коричневый. Зато портной шьет мне жилет требуемого цвета. Мало-помалу Мари-Жанна Ле Гофф ухитряется собрать почти все, кроме пелерины, фуражки и чемодана. Она соскребла все деньги, что у нее еще оставались, и, воспользовавшись оказией, повезла меня в Кемпер за этими тремя крупными покупками, к счастью последними, потому что башмаки мне купили за год до этого и, как водится, на вырост. Наконец пелерина и фуражка у нас в руках, но купить даже самый маленький чемоданчик уже не на что. «Ничего не поделаешь,— говорит мать,— уложим твои вещи в сундучок дяди Жана Ле Гоффа. Все туда не уместится, но не беда. Белье положим в мешок, который остался от одного из твоих дядьев-моряков, уж и не помню какого»...

И вот я живу двойной жизнью, и мне кажется, так будет всегда. Три четверти года я — лицеист, студент, классный наставник, репетитор, учитель, и кем еще только не приходится подрабатывать по ночам, чтобы в трудные минуты не бросить лицей и закончить дипломное сочинение, посвященное Витрувию, и разбор «Описания Эллады» Павсания. Великовозрастное дитя, я засыпаю над «Сравнительной грамматикой индоевропейских языков». Невелико дело. Великовозрастное дитя ждет своего часа. Последнюю четверть года я провожу в деревне, я говорю на родном языке, я сбрасываю оболочку интеллектуала и погружаюсь во все деревенское, словно одеваюсь в чистую рубашку; я выгоняю на луг нашу единственную корову, собираю зеленый горошек и фасоль, молочу пшеницу, ячмень и рожь, копаю картошку, таскаю мешки с травой и капустой и даже дроблю камни и укладываю несколько метров дороги, пока вдруг моя мать не заявляет, что зазорно мне теперь этим заниматься. Как, Мари-Жанна Ле Гофф, говорят ей добрые люди, у вас такой образованный сын, одних дипломов сколько заполучил, а вы его в поле да на завод посылаете? Но не она меня посылает и не отец. Это я сам упрямо цепляюсь за свои корни. Так как чувствую, что невольно отрываюсь от родной среды.

Пусть сам я пока не ощущаю здесь себя чужаком, но люди уже не видят во мне своего, как и в других моих товарищах, которые выучились на офицеров, врачей, учителей, инженеров. Кое-кто из моих однокашников по-прежнему живет у себя на ферме, другие стали рабочими или ремесленниками, кто-то подался в Париж, а большая часть, думаю, плавает по морям матросами или мичманами. Летом они приезжают на побывку. Все мы собираемся на деревенской площади и, засунув руки в карманы, слоняемся вокруг столба с именем Анри Вигуру, установленного перед принадлежащими ему огромными стогами соломы. Так мы и убиваем время. А люди полунасмешливо-полусердито говорят, что мы «стережем столб». По воскресеньям, первое время пешком, потом на велосипедах или автобусе, отправляемся на танцы в Плозевет, Плогостель или Плонеур, а то и еще дальше. Но на танцах мы жмемся в сторонке — местные девушки, которые уже не видят в нас возможных женихов, отвечают вежливым отказом на наши приглашения, отсылая нас к лицеисткам и студенткам (ищите себе теперь городскую!). Дружбе это пока не мешает, но никуда не денешься от того, что в деревенской среде, такой щепетильной по части рангов, началось расслоение. Никто тут не виноват — все перестраивается вокруг, и этого требует наше время. Как-то незаметно мы все дальше отходим друг от друга. Между тем никто не смог бы упрекнуть нас в отступничестве. Просто и в наших краях начинают меняться и люди и дела, по мере того как жизнь становится полегче и новое постепенно проникает в эту еще недавно столь замкнутую ячейку...

Я не буду рассказывать о последней войне и оккупации, ведь я начал говорить о переменах, которые они приостановили,— так бывает, когда фильм вдруг прерывают на каком-то кадре, а затем пускают вновь...

После окончания войны прошло несколько лет, прежде чем те изменения, которые подспудно происходили в крестьянской психологии, стали очевидны,— сказалось воздействие внешнего мира, вступившего в эпоху ускоренного и мучительного роста, эпоху внешнего изобилия и безудержного потребления, порождающую напрасные иллюзии.

Всем известно, как разрушительна любая война и как, независимо от ее результата, потрясает она даже самый устойчивый социальный уклад. Но после этой войны ход истории приобрел такую стремительность, что деревенскому обществу стало не под силу и дальше отгораживаться от вторжения новых нравов и технических изобретений. Одновременно были сметены и те укрепления, за которыми это общество терпеливо вырабатывало свой образ жизни. Только тут и заметили, что политика ассимиляции и стирания местных традиций, которую вели по отношению к исконно бретонской культуре все правительства, сменявшие друг друга со времен Революции, принесла наконец свои плоды. При этом

обнажилось множество трудных для разрешения проблем — некоторые из них возникли в наши дни, другие существовали с незапамятных времен, но до сих пор не проявлялись столь остро в силу успокоительно-медлительного деревенского житья...

Главное, что крестьяне вынесли после четырех лет оккупации,— это осознание своей первостепенной роли в жизни нации... Они освободились от присущего им комплекса неполноценности. И вот, поверив в себя, они спешат реализовать свои преимущества, так как извечное недоверие подсказывает им, что буржуа, эти деятели из правительства и чиновники всех мастей, постараются отвоевать свои привилегии. Одновременно люди, вся жизнь которых связана с землей, не могут не понимать, какую опасность несет им рост промышленности, и не только потому, что их роль будет неизбежно сводиться на нет, но и потому, что им придется менять привычный способ труда, а значит и образ жизни, что совсем не легко в исторически сложившихся условиях их существования.

До второй мировой войны даже семьи не бедного достатка заботились лишь о том, чтобы прокормить себя,— отныне им придется думать о повышении урожайности, о денежных накоплениях, учитывать затраченный труд. Все это повлечет за собой последствия, не предусмотренные экономистами: гордость за хорошо выполненную работу, отлично возделанные поля, продуманное распределение культур в зависимости от времени года, характера почв и климата — все это отступит перед единственной заботой о доходе, то есть прежде всего о количестве. Хозяйственные строения и земля из естественной окружающей среды (к переменам в которой потомственный крестьянин, уж поверьте мне, чувствителен более, чем кто-либо другой) превратятся в производственную территорию, приносящую тем больше разочарований, чем ненадежнее ее доходность. Прибавьте сюда постепенное вымирание деревень, притягательную силу города, куда устремляются поверившие в иллюзию комфорта и высоких заработков,— ведь пока не было иммигрантов, рабочую силу для промышленности черпали среди крестьян.

И там, где когда-то во время пахоты или жатвы на поля выходили целыми семьями, помогая друг другу, теперь можно увидеть лишь несколько тракторов, и на каждом из них — человек, в одиночку прокладывающий борозду в окружении чаек.

Напрасно думают, что машина может заменить человека и даже лошадь. Правда, лошадей осталось не так уж много — нет настоящих конюхов, которые умели бы за ними ходить, а конюхов нет потому, что они ушли в город и сделались штукатурами, облицовщиками или встали на конвейер — там им платят за час труда, а не за год или за солнечный день, а платят им за час потому, что человек все больше отрывается от сотворившей его природы. Если теперь кто-нибудь забредет на удаленную ферму, это расценивается как неслыханная удача, но этот путник может оказаться вовсе не тем человеком, ради которого захочется нарушить привычное молчание. Люди не ходят больше друг к другу в гости, не общаются между собой. Я знал одного человека, который в конце концов заговорил со своим трактором, как он когда-то говорил с лошадью. Но трактор не заржет вам в ответ и не принесет жеребеночка.

И сколько молодых мужчин, арендующих богатые земли, останутся без потомства — им не на ком жениться, ведь женщины первыми стали уходить в города. Целая культура незаметно распадается в атмосфере всеобщего равнодушия. С помощью лопаты и мотыги уже не заработаешь себе на жизнь.

Мои родители в последний раз почистили свинарник, продали корову, вернули хозяевам два участка земли и луг, и мать устроилась на консервный завод Анатоля Гишауа. Даже работая в сезон по ночам, она устает меньше, чем когда трудилась на земле и держала скотину. Да и получает она гораздо больше, имея при этом передышку в зимний период. Правда, она уже стареет. Ведь она не разгибала спины с 1900 года. Когда ей пришлось встать во главе большого семейства, ее сверстницы только готовились к первому причастию.

Одновременно или чуть позже поля покинули и другие женщины ее возраста и положения. Однако не все расстаются с землей. Среди крестьян старшего поколения есть и такие, кто вознамерился ценою любых жертв отстоять свою извечную независимость и в соответствии с ней сложившиеся навыки жизни — кому-нибудь другому это оказалось бы не под силу, они же идут на это совершенно спокойно. Один из стариков, живущий, как я знаю, крайне бедно, хотя лет тридцать назад, а то и меньше его ферма считалась богатой, сказал мне приблизительно следующее: «Ничего не поделаешь! Человек не может иметь все. Что до меня, то я пощусь не только по пятницам, но зато я у себя дома. У моего сына, что живет в Париже, есть и машина, и телевизор. Был я у него в этом году. Хорошо живет. Но ведь кроме него в этой башне живет еще сто человек, а сам дом легко уместился бы в моем дворе. Будь я помоложе, другое дело. А в мои годы лучше не трогаться с места. Пускай во дворе у меня пусто, зато над головой — небо, а вокруг — поля. Разве это не богатство — одному мне столько земли. А ради этого можно и в бедности пожить».

Со временем перед хозяевами ферм и арендаторами будут вставать все новые проблемы. И вот государственные мужи и экономисты-плановики всех мастей начнут собираться за «круглым столом» вместе с профсоюзами, чтобы попытаться решить задачу, где большая часть неизвестных не выражается в цифрах. Ведь то, что очень верно называют болезнью крестьянства,— неизбежное следствие негодной политики,

---

ПЬЕР-ЖАКЕЗ ЭЛИАС
КОНЬ МОЕЙ ГОРДОСТИ

проводимой по отношению к людям земли, и болезнь эта носит физический и моральный характер. Я никогда не устану повторять: культура, которая давно уже обречена на гибель, вот-вот исчезнет, и нечего удивляться конвульсиям, сопровождающим ее закат.

Собственно, деревенских людей никогда толком и не знали. Ни один из правительственных деятелей не пытался понять, из какого теста они сделаны. Правда, с первого взгляда в них и не разберешься. К тому же их всегда почитали за простаков, и если вдруг и проявляли к ним интерес, то не сомневались, что знают их нужды куда лучше их самих.

Любой пустомеля, любой жалкий писака смотрел на них сверху вниз. Сами же они если и смотрели вверх, то чтобы убедиться, не собирается ли дождь. На лестнице общественных сословий им отвели место на самой нижней ступени — там, куда удобнее всего плевать. Их подлинное имя было — народ. Плебс — по-латыни, плу — по-бретонски. Вот почему их и называли «плуками» — деревенщиной. А между тем именно они вели свой род от земельной аристократии и от мелких землевладельцев, глубоко укоренившихся в нашем краю и определивших его лицо. Они это знали. Как знали и то, что угольщик — хозяин в своей хижине. Король не часто доводился им родственником, а министр — и вовсе никогда.

Для деревенской культуры не существовало государственных границ, но не кто иной, как крестьяне оказывались в первых рядах, когда наступала пора защищать отечество (хотя бигуденцам больше бы подошло, если бы это слово происходило не от отца, а от матери). Подлинной же их родиной была земля, то есть изначальное творение. Они чувствовали себя дома везде, где была земля, нуждавшаяся в их руках, даже если попадали в плен. От земли идет их истинный характер, от земли их мудрость, открывающаяся нам в их поговорках и устных преданиях. Их костюмы и танцы, их музыкальные инструменты, сама музыка и песни отражают их общее духовное богатство.

Настоящий фольклор не имеет ничего общего с модой. Это нечто ей совершенно противоположное. Одному поколению создать его не под силу. Фольклор развивается по своим собственным законам. Но всегда отражает не подвластную времени человеческую сущность. Правда, в наши дни человечество не боится испытывать судьбу. И, хладнокровно разрушая естественную окружающую среду, люди во что бы то ни стало стараются походить друг на друга, то есть превращаются в рабов общих для всех жизненных норм, которые навязывает им новая культура...

Я знаю, что горожан нередко раздражает медлительность крестьян, попавших в город. Быть может, им следовало бы подосадовать на собственную спешку. Ведь к рождеству мы придем одновременно.

По городу крестьянин передвигается привычным шагом, то есть в ритме своей повседневной жизни, жизни полей. По ухабистым дорогам, по пашне и лугам ходить труднее, чем по уличным тротуарам. Да и обувь нужна другая — не лаковые лодочки или каблучки шпильки. Если только крестьянин не приехал в город на ярмарку или рынок, он прогуливается по нему, словно турист. По дороге он то и дело останавливается и, как и подобает любознательному туристу, все разглядывает. Созерцая зрелище городской жизни, он отдыхает и в то же время наблюдает. И будьте уверены, видит он совсем не то, что видите вы. Потому что взгляд у него другой — свежий. Всегда свежий.

Эта крестьянская медлительность, это изумительное умение бережно расходовать усилия собственного тела идут не от неуклюжести и неловкости, а продиктованы ритмом повседневного труда. И это ритм самого времени, мера которого — день, а не час. Крестьянин редко смотрит на часы. Поднимается он с солнцем и вместе с ним заканчивает работу. Но главное — в другом. Главное, что земля-то не спешит. Ей на все нужно время. Если ей доверили семена, нужно дождаться, когда они прорастут, вытянутся стебли, завяжутся плоды. С урожаем нужно потерпеть до августа. Возможно, ученые изобретут когда-нибудь способ, как собирать по десять урожаев в год. А женщины будут рожать через шесть недель. Что ж, подождем! Ждать — вот ключевое слово.

Несправедливо упрекать крестьян в том, что их отсталость проистекает из упрямства, ограниченности или неспособности приспособиться к новому. Ведь они имеют дело с самой жизнью. Земля — такая же живая и ранимая, как чрево женщины. Скот, растения — они тоже живые. Не такая уж великая хитрость — сделать из металла автомобиль, недаром это делают все быстрее и быстрее. Металл легко подчиняется тому, кто сильнее его. Но попробуйте за неделю превратить поросенка в свинью! Сначала его нужно откормить и забить, а уж потом электромеханический конвейер разделает его на тридцать шесть разных продуктов. Когда же появится завод по производству свиней? И когда найдут заменитель для хлеба? И из чего он будет состоять?

Большую часть технических новшеств горожане изобрели в расчете на собственные нужды. Совсем недавно инженеры вспомнили и о нуждах крестьян. И пока их успехи не назовешь блестящими. Конечно, они делают, что могут. Но как видно, легче прорыть туннель под Ла-Маншем, чем перестроить земледелие. И, должно быть, легче соорудить радом в Плюмер-Боду, чем освоить пустоши Аррейских высот.

Но сегодня — вы заметили? — молодые крестьяне уже шагают не так, как их отцы. Они носят другую обувь, да и ходят по ровным мощеным дорогам. И держатся они иначе, чем старики. Потому что работают по-другому. Шагают они быстрее потому, что тракторы нарушили издавна сложившийся ритм жизни. И время теперь для них — это деньги. Они носят на руке часы

и умеют быть точными. А отцы их вечно то запаздывали, то управлялись раньше срока.

Глядя, как ступают по земле эти вооруженные техникой молодые люди, понимаешь, что одно из самых древних ремесел в мире старается не отстать от скорости ракеты. Но поспеет ли за ней земля? Высоколобые инженеры и агрономы рассуждают об укрупнении хозяйств, не принимая в расчет человеческий фактор, а ведь это чревато неприятностями. Они проектируют срыть холмы, не опасаясь, как видно, нарушить равновесие окружающей среды, установившееся в течение веков благодаря бережному отношению к земле и тяжелому труду с помощью самых примитивных средств. И в то же время самые ученые из этих начинающих волшебников пока не в состоянии повлиять на режим дождей или ветров...

Последнее испытание, которое предстоит вынести человеку с заступом,— это разрушение его сада. Ведь крестьяне — истинные садовники земли, единственные творцы ее географии. Их терпеливому и кропотливому труду обязаны мы большей частью ландшафтов, которые радуют наш взор. Конечно, создавая их, они руководствовались не эстетическими соображениями, хотя умели ценить красоту не меньше какого-нибудь Жан-Жака Руссо. Не владея ничем, кроме своих рук, нескольких простейших орудий и домашнего скота, они вынуждены были приспосабливаться к рельефу, обходить поросшие кустарником или голые вершины, распахивать склоны, следуя всем их изгибам, осваивать речные долины. Короче, они подчинялись земле и небу. И они приноравливались к той первозданной природе, которая была им дарована, по опыту зная, что каждое насилие неминуемо влечет за собой катастрофу. Благодаря этой сознательной мудрости, ландшафты и сохранили изначальный порядок и гармонию. Широкие полосы пашен, потеснившие леса, причудливыми пятнами вписались в величественное разнообразие равнин и холмов. Города и деревни сами выбирали, где им расположиться на скрещении рек и сухопутных дорог.

Уходят садовники со своими мотыгами, корзинами, серпами, кроткими лошадьми, уходят к древним звездам, падающим с неба, по которому пройдут дороги будущего. Гигантские машины, словно в пирожное, вгрызаются в склоны гор, в то время как зарастают неторопливые окольные тропинки. Целые округи вымирают, а в других местах вырастают огромные заводы, возводятся мачты электропередач, и воздух отравляется желтым дымом. Реки перегораживаются плотинами, и за ними возникают озера, над которыми чуткое ухо услышит скоро отзвук легенды и колокольный звон затопленных деревень.

На лицо земли накладывается все больше косметики. И чем большую власть обретает человек, тем больше он производит искусственного. Нужно ли жалеть об этом? Нет. Остается лишь надеяться, что из всего этого возникнет когда-нибудь новая красота. Почему бы и нет? Но давайте все же поклонимся старому крестьянину, садовнику мира.

◆

Из нашей почты

В ответ на пожелание, высказанное редакцией, получать от читателей не только суммарные оценки прочитанного, но и развернутые отзывы на публикуемые журналом произведения, почта принесла нам целый ряд содержательных читательских рецензий. С одной из них — на роман Кэндзабуро Оэ «Объяли меня воды до души моей...» мы уже знакомили читателей (1979, № 3). На этот раз мы публикуем два письма, посвященных произведениям литератур Болгарии и Чехословакии. Весьма отрадным представляется нам тот факт, что творчество писателей братских социалистических стран привлекает все большее внимание читателей «Иностранной литературы».

Еще два из публикуемых ниже писем представляют собою развернутые отклики на материалы встречи за «круглым столом», напечатанные в рубрике «Трибуна переводчика» (1979, № 4). Читатель Я. Ящук из Киева не только поддерживает начатую здесь тему разговора, но высказывает и свои соображения о трудностях художественного перевода. С. Пустовойт делится своей «находкой» — неизвестным в отечественных публикациях письмом И. С. Тургенева, касающимся переводов его произведений.

Редакция благодарит читателей, приславших нам свои отклики, и ждет новых ваших писем.

БАРБАРИГО НАДЕЖДА ПЕТРОВНА,
Москва.

Каждый или растит детей, или имеет к этому отношение. В обществе почти нет людей, стоящих в стороне от воспитания детей. Но как их воспитывать и кому?..

Прекрасное, высокогуманное дело сделала редакция, опубликовав в 1979 г.— Международном году ребенка — повесть Яромиры Коларовой «О чем не сказала Гедвика» (№ 2). Прочла эту повесть, неоднократно рассказала ее членам своей семьи, своим сотрудникам, дала книжку журнала, чтобы прочли. После прочтения хочется сказать каждому одну фразу: «Прочти эту повесть».

Воспитательный эффект этого небольшого произведения просто огромный. Его в какой-то степени можно сравнить с взрывом: благодатная тишина, высокоразвитое общество, ухоженные дети и вдруг!.. Столь нетипичная и вместе с тем такая типичная судьба маленького человека, отвергнутого матерью, своей семьей.

Яромира Коларова — опытный художник, ее богатство — верность правде жизни, вооруженность гуманистическим идеалом. Эти достоинства ярко проявляются в данной повести, в отборе материала, в выборе главной героини Гедвика — почти обыкновенный ребенок, вместе с тем нетипичный. Нетипичной делают ее физические особенности — она альбинос, кроме того, близорука. Вот описание Гедвики, сделанное сотрудницей отдела социального обеспечения:

«Поехали мы дневным поездом, места заняли хорошие. Гедвика устроилась поудобнее, расправила платьице на коленках, она такая худенькая, просто сердце сжимается... чисто паучок, одни ножки торчат.

Я ее спросила, рада ли она, что домой едет, а она своими глазищами на меня уставилась и молчит... ответа из нее сразу не выжмешь...

Когда я поближе ее узнала, то поняла, что не такая уж она тупая, как кажется, просто сперва выжидает, что вы от нее хотите услышать, понимаете ли, у нее просто никакого собственного мнения нет».

Эта женщина относится к Гедвике с симпатией, и у читателя нет оснований не верить ее характеристике. Однако писательница проводит свою маленькую героиню через испытания, сталкивая ее с разными людьми. И у читателя в результате складывается собственное мнение о Гедвике: в этих разнообразных столкновениях с семьей, с представителями общества (школа, родители школьных товарищей, работники больницы и т. д.) проходит испытание не только девочка Гедвика. Ее судьба, перипетии недолгой жизни — это противоборство сил добра, человечности с мещанским образом жизни. В повести противостоят друг другу две силы: мир гуманизма, порою довольно сурового (детство в детском доме), и обывательский мир.

Сила таланта Яромиры Коларовой такова, что она всеми ситуациями, в которые попадает девочка, показывает: подлинной выразительницей наилучших человеческих черт выступает Гедвика. Ее отношение к

матери, отцу, бабушке, друзьям по детскому дому, школе пронизано чувством светлого оптимизма, любви, добра, заботы и самопожертвования. На наших глазах худенькая, в общем-то невзрачная девочка вырастает в настоящего человека, с гуманным отношением к миру, то есть в человека, которого нельзя не полюбить и не ответить ей взаимностью. Это дитя жаждет любви и участия. Вот мы и подошли к главному, как представляется, выводу книги: обеспечить счастливое детство каждому нашему ребенку — наш долг. Сурово напоминает об этом Я. Коларова. Причем она подчеркивает, что подлинная забота о ребенке — это даже не ковры в детской комнате, не дорогие игрушки, рождественские подарки. Это — в первую очередь материнская и отеческая забота, исходящая не только от непосредственных родителей, но и от каждого взрослого члена общества: убереги дитя, обращается писательница к своим читателям, убереги его духовный мир; помоги создать этот мир, пойми дитя и не обидь!

Этот призыв не прямолинеен, он не декларируется. Просто писательница проводит Гедвику через встречи с разными людьми — простодушными, себе на уме, черствыми «удавами», духовно нищими и прямо-таки воинствующими обывателями. Гедвика размышляет в рождественскую ночь: «Наверное, он их любит, свою дочь — врача, и Марека, и больше всех маленькую Катержинку. Настоящие удавы, наверное, тоже любят своих детей, и тигры любят своих тигрят, но только своих, чужих они съедают».

После детского дома Гедвике очень нелегко завести друзей. И маленькие, как и взрослые, герои тоже показаны в столкновении, в своих реакциях на Гедвику: «Они у меня тоже на пробу. Все». И почти все этой пробы не выдерживают. Лишь Блошка проявляет понимание Гедвики, принимает участие в ее судьбе.

Историей Гедвики Я. Коларова показала сложный психологический срез общества, в котором встречаются разнообразные «удавы», любящие своих детей и поедающие чужих. Своей повестью Коларова обращается ко всем людям: еще не место благодушию и самоуспокоенности, будьте бдительны, рядом есть «удавы». А не заполз ли «удав» и в твою душу, читатель?..

Пробу проходят не только герои Коларовой, но и все читатели: где твое место, с кем ты, как относишься к воинствующему обывателю? Ты покорна или непокорна? На наших глазах совершается превращение Гедвики Покорны в непокоренную обывательским миром юную гражданку социалистического общества.

Спасибо журналу и Я. Коларовой за прекрасное произведение.

С. С. ШИЛИНА,
Москва.

Я по профессии инженер-лесовод, человек, уже по роду своих занятий много думающий о жизни природы, сложном взаимодействии законов естественных и социальных. Мне кажется, что и современное искусство (в советской литературе пример тому «Русский лес» Л. Леонова, романы Распутина, Астафьева) достигает наибольшего эффекта, когда обдумывает этот комплекс вопросов. Я даже уверена, что без него немыслимо понять сегодня общее состояние мира.

Все эти соображения показалось необходимым мне изложить для объяснения того, почему, принявшись за чтение романа В. Шикулы «Мастера», я уже не смогла отложить его в сторону. Неторопливый ритм повествования, как мне кажется, «моделирует» естественное движение жизни с ее вопросами и проблемами. Перед читателем проходит не только история семьи Гульданов, но и история действительности на переломе войны и мира, история наших мыслей о сущности жизни.

Хотя в романе нет философской терминологии, он глубоко философичен, содержателен от начала до конца. Я думаю, что это произведение с большой пользой и искренним интересом прочитают многие и многие читатели вашего журнала, люди самых различных профессий и культурного уровня. Во многом успех романа у читателя будет обеспечен отличным, как мне кажется, переводом Н. Шульгиной.

Я понимаю, как непросто переводчику было передать колорит речи словацких крестьян, ее юмор, точность, меткость; переводчика подкарауливали опасности экзотичности или усредненной литературной речи. Но Н. Шульгиной удалось справиться с трудностями, избежать обеих опасностей и предложить читателю добротную, сочную, реалистическую прозу.

Спасибо за публикацию этого романа, приближающего к нам жизнь братского народа, духовно обогащающего читателя.

ЯЩУК ЯРОСЛАВ,
г. Киев.

Уважаемая редакция!

Уже в течение нескольких лет я являюсь постоянным читателем вашего журнала и читаю его с большим удовольствием. Для меня было очень приятным появление в журнале рубрики «Трибуна переводчика», из материалов которой широкие круги читателей узнают о трудной, но благородной работе переводчиков. Прочитав помещенный под этой рубрикой в № 4 журнала отчет о состоявшейся в редакции встрече переводчиков, я решил написать вам письмо, которое, откровенно говоря, мне очень трудно начать.

Недавно я окончил университет (специальность — испанский и английский языки и литература) и в течение некоторого времени занимался устным переводом. Я не собираюсь ставить знак равенства между этим переводом и переводом литературным, ни предъявлять претензии к работе переводчиков, как говорится, «со своей колокольни». Но так как с некоторыми проблемами перевода, затронутыми в хо-

де встречи, мне приходилось сталкиваться, я хотел бы поделиться своим мнением о них с вами.

Участники встречи высказали противоположные мнения о целесообразности привлечения в помощь переводчикам авторов, владеющих иностранными языками. Большинство участников встречи сообщили, что, как правило, такие авторы бывают недовольны качеством перевода. Мне кажется, что это недовольство объясняется следующими причинами: дело в том, что любой человек, владеющий иностранным языком, выражая свои мысли на этом языке, употребляет только те слова, обороты речи и т. п., смысл которых ему полностью ясен, проверен на практике и не вызывает никаких сомнений. Говорящий подсознательно избегает употребления тех языковых единиц, значение которых ему не ясно до конца. Эта повышенная избирательность к средствам выражения на иностранном языке объясняется на первых этапах его усвоения боязнью совершить ошибку, быть непонятым, а в дальнейшем — стремлением избежать двусмысленностей при выражении своих мыслей. Таким образом у каждого владеющего иностранным языком накапливается набор стереотипных фраз, выражений, даже слов-паразитов. Складывается индивидуальный словарь иностранного языка, в активную часть которого входят все те слова и выражения, которые усвоены полностью, со всеми оттенками их значения, а в пассивную часть — усвоенные не полностью. Разница между активным запасом слов родного и иностранного языка очень большая. Особенно она велика, наверное, у писателей. Это — закономерное явление. Вот почему при анализе перевода своего произведения на иностранный язык автор производит его не объективно, то есть опираясь на реально существующее богатство этого языка, а субъективно, на основе своего индивидуального словаря данного языка. В авторе пробуждается его творческая индивидуальность, как бы говоряшая ему: «Я так бы не сказал», и он начинает править перевод, ставя под сомнение предложенные переводчиком варианты, которые не входят в активную часть его индивидуального словаря иностранного языка или не соответствуют его речевым стереотипам. Только когда автор начинает творить на иностранном языке, то есть уделяет ему столько внимания, как и языку родному, у него появляется больше возможностей обогатить свою лексику. При этом наблюдается более высокая требовательность к себе при выборе средств выражения на иностранном языке, чем даже на родном. Это приводит в большинстве случаев к хорошим результатам. Например, творчество таких английских писателей, как Джозеф Конрад, который считается одним из лучших стилистов английской литературы, или Джордж Микеш.

Я думаю, что в спорах между переводчиками и авторами, владеюшими иностранными языками, в большинстве случаев правы переводчики, так как они постоянно имеют дело сразу с двумя языками, в то время как авторы в своей деятельности максимум внимания уделяют одному языку, на котором пишут. Кроме того, переводчик в подобной ситуации чаще переводит на родной язык, а проверяющий его автор — на иностранный. Нельзя не согласиться с теми переводчиками, которые говорят, что перевод на родной язык дается им легче, чем перевод на иностранный. Ведь именно в переводах на иностранный язык мы чаще встречаемся с буквализмом, слепым калькированием, в то время как при переводе на родной язык кальки встречаются куда реже; они «режут слух» переводчика.

Во время встречи было высказано многими ее участниками правильное, на мой взгляд, мнение о том, что переводчикам необходимо чаще бывать в странах, где жил и работал автор, произведения которого они переводят. Действительно, переводчику нужно как можно ближе подойти к условиям, в которых творил автор, «влезть в его шкуру», чтобы легче было передать авторскую индивидуальность. Однако о другой стороне было сказано очень мало. Только в выступлении Т. Кудрявцевой был затронут отчасти этот вопрос. Она справедливо заметила, что нельзя переводить как «Здравствуйте! Послушайте!» «хипповые» выражения «Hey! Hi!» героини английского романа, а надо искать смысловые эквиваленты в языке нашей молодежи. Мне кажется, что человеку, переводившему, скажем, «Аэропорт» Артура Хейли, было бы значительно легче работать, если бы он ознакомился не только с американской действительностью, но и с условиями работы аэропортов в нашей стране. (Я беру Хейли только в качестве удобного примера, не сомневаясь в достоинствах сушествующего перевода.) Попробую доказать необходимость такого ознакомления.

Года два тому назад моим соседом по номеру в гостинице в течение нескольких дней был один очень интересный человек, капитан дальнего плавания в отставке, страстно влюбленный в море и корабли, особенно парусные, и, несмотря на солидный возраст, увлекающийся судомоделированием. Свободное время мы коротали за чтением. И вскоре выяснилось, что мы читали одно и то же произведение. Я читал повесть Бенито Переса Гальдоса «Трафальгар» в оригинале, а он — в переводе. Я не помню фамилии переводчика, да это и не столь важно. Однажды мой сосед заявил мне, что хотя Гальдос писал увлекательно, в морских делах он не очень-то разбирался. В качестве примера он прочел мне эпизод, в котором описывались действия команды судна во время шторма, и прибавил, что ему не совсем понятны маневры, производимые командой. Отыскав в оригинале соответствующий абзац и вооружившись словарем, я перевел его моему капитану, перебирая все варианты морских терминов. Наконец он заулыбался, до-

вольный, и сказал (не ручаюсь за правильность термина) что-то вроде: «Ну правильно! Они взяли паруса на гитовы». А после этого спросил меня: «Так почему же не перевели так?»

Как видите, по вине переводчика автор получил упрек от читателя. А ведь, как убедился я, анализируя перевод, у переводчика были наилучшие намерения. Подбирая русские эквиваленты нескольких испанских морских терминов, этимология которых довольно прозрачна в испанском, он сознательно выбрал те, которые были понятны широкому кругу читателей. А в результате весь эпизод стал неясным для читателя-моряка. Мне кажется, пример довольно убедительный.

Прошу прощения, если утомил вас своим длинным письмом. Просто я сталкивался с проблемами, подобными вашим, и пытался объяснить себе их причины. Захотелось поделиться своими мыслями. Может быть, в них есть какая-то доля истины.

ПУСТОВОЙТ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ,
студент МГУ.

Очень хорошо, что журнал «Иностранная литература» недавно ввел новую рубрику — «Трибуна переводчика». В № 4 за 1979 год была опубликована весьма плодотворная беседа видных советских и зарубежных мастеров художественного перевода о специфике этой трудной и ответственной профессии.

Этот содержательный разговор навел меня на мысль обратить внимание редакции журнала, а возможно, и его читателей, на одно неизвестное у нас письмо И. С. Тургенева, касающееся проблем перевода. Оно было опубликовано в Новой Зеландии в октябрьском номере журнала SEER (vol. 111, № 133) за 1975 г. на французском языке. Это письмо ранее на русский язык не переводилось, в Полное собрание сочинений И. С. Тургенева не вошло и поэтому может, как мне кажется, представлять интерес.

«Сударь!

Вот оттиски. Вы увидите, что ошибки достаточно серьезные. Я стер в одном месте «она опустила глаза», поскольку эти слова находятся несколькими строками ниже; я заменил «несчастный» на «обездоленный», чтобы избежать повтора. Я сожалею, что Вы стерли слова «перевод с русского В. Деложа».

По этому поводу я Вас прошу оказать мне любезность сообщить, передали ли Вы оттиски тому, кто мне его переводил. Этот человек сейчас в Париже и останется здесь в течение 4—5 дней. Вы знаете, что он еще ничего не получил за перевод «Где тонко, там и рвется». Я надеюсь также, что Вы распорядитесь напечатать 5 экземпляров «Дневника лишнего человека» отдельно.

Примите, сударь, выражение моего искреннего уважения к Вам.

И. Тургенев.

P. S. Я прошу прощения за еще одно небольшое замечание. Мое имя пишется с ударением на первом «е». Что же касается двойного «f», то я считаю, что это излишество, допущенное неизвестно почему в написании русских фамилий, которые должны были бы писаться с «v».

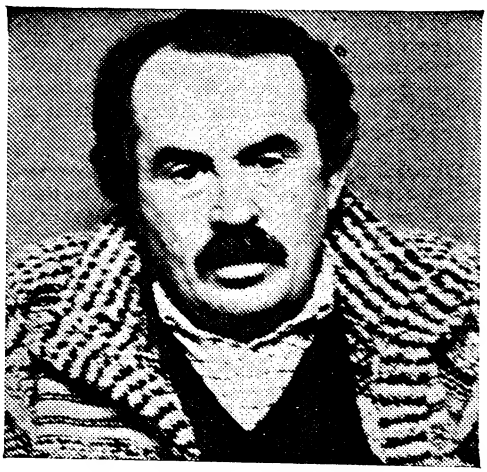
Письмо Тургенева, как видим, имеет непосредственное отношение к проблемам перевода. Речь в письме идет о переводах пьесы Тургенева «Где тонко, там и рвется» и рассказа «Дневник лишнего человека», сделанных В. Деложем. Письмо Тургенева, как считает опубликовавший его Н. Г. Жекулин, было написано осенью 1861 года. Тема и специальный характер письма дают основание утверждать, что Тургенев писал его Виктору Этьену Гийому де Мару — главному редактору журнала «La Revue des Deux Mondes» — одного из самых престижных литературных журналов того времени.

Следует подчеркнуть, что, зная французский язык в совершенстве, Тургенев ревностно относился к переводам своих произведений и вникал, как видим, в самый детальный анализ переведенного текста. Среди переводчиков произведений Тургенева на французский язык можно назвать Шарля де Сен-Жюльена, Делаво, П. Мериме, В. Деложа и, наконец, самого Тургенева, переводившего совместно с Луи Виардо. В своей статье Н. Г. Жекулин приводит любопытные примеры, иллюстрирующие столь пристальное внимание писателя к переводам своих произведений. Так, если Делож переводит в «Дневнике лишнего человека» «старая кумушка» («une vieille commère»), то сам Тургенев в переводе, сделанном совместно с Л. Виардо, дает «старая курица» («une vieille volaile»), что, естественно, меняет стилистическую окраску всей фразы.

Любопытно также упоминание Тургенева в письме о переводчике. Решение издателя вычеркнуть имя переводчика связано с бытовавшим в то время правилом вообще не указывать переводчиков. Но при таком положении русского писателя естественно беспокоит забота об оплате большого и ответственного труда французского коллеги-литератора.

Пусть этот маленький штрих — об отношении к переводам своих сочинений великого русского писателя будет учтен в полезной дискуссии по вопросам перевода, начатой журналом «Иностранная литература».

◆



Тонино Гуэрра

ИТАЛИЯ

Поэт, романист, автор сценариев, по которым сняты знаменитые картины знаменитых режиссеров... Когда уже знаешь Тонино Гуэрру, кажется, что представлял себе его именно таким — открытым, чуть медлительным, располагающим к себе собеседником, к которому можно обращаться сразу с главными вопросами, не предваряя их светскими фразами о погоде, о самочувствии и так далее.

— Журнал знакомил читателей с вашими стихотворениями из книги «Волы». Книга вышла в 1972 году. Что сделано вами с тех пор?

— Я люблю ссылаться на плохую память и все же могу с уверенностью сказать, что не сделал ничего плохого. В «Волах» представлены три моих сборника — «Каракули», «Ружейный выстрел» и «Лунный календарь», а также несколько стихотворений, выделенных в заключительный цикл «Последние стихи». Что было потом? В прошлом году я опубликовал «Пыльную бурю» — книгу, которую задумал в Советском Союзе, когда несколько лет назад путешествовал по среднеазиатским республикам.

«Пыльная буря» — необычная книга. Ее можно сравнить с мозаикой, витражом, инкрустацией, красочным ковром, искусной вышивкой. Стихи чередуются с прозой, причем они, как всегда, написаны на диалекте романьоло (Гуэрра называет его родным языком) и сопровождаются переводом на общелитературный итальянский. Стихи повествовательны, поэтому сочетание их с прозаическими миниатюрами, фрагментами, новеллами, то ли воссоздающими народные предания, то ли стилизованными под вековые легенды, не производят впечатления случайного, неорганичного. Фантазия Гуэрры с легкостью переносит читателя из Сантарканджело в Самарканд, из Самарканда в Армению, оттуда снова в Италию — на Капри, в Сицилию, в Рим, из Италии в Японию и потом опять в нашу страну, которую автор назвал в первых строках своего посвящения: «Спасибо друзьям за их советы, спасибо России с ее светящимся снегом и Узбекистану, где в сентябре хлопок убеляет руки сборщиц, спасибо моим детям — Костанце и Андреа, которым посвящаю эти истории, спасибо моей земле, куда я часто возвращаюсь, чтобы тайно взять что-то из ее достояния».

Когда Гуэрра говорит о своей земле, он подразумевает Романью, область в северной Италии, а может быть, имеет в виду лишь местечко Сантарканджело, где он родился, где прошли его детство и юность и откуда он в пятидесятых годах, после того как Аглауко Казадио и Элио Петри поставили по его первому сценарию фильм «Гектар неба», переехал в Рим. Когда-то Сантарканджело славился своими красочными ярмарками, и еще он знаменит тем, что здесь родился римский папа Климент XIV, который в 1773 году уничтожил орден иезуитов.

Гуэрра очень поэтичен, его артистизм проявляется одинаково ярко в стихах, в прозе, в жесте, каким он сопровождает шутку. Гуэрра — «единственный итальянский писатель, который дает услышать шум падающих листьев»,— так писал поэт Роберто Роверси, представляя читателям «Пыльную бурю».

— Связан ли и этот ваш приезд в Советский Союз с творческими планами?

— В последнее время перед поездкой у меня было плохое настроение, и одна из причин этого — избыток рабочих замыслов, когда не знаешь, какому отдать предпочтение. Среди других идей — идея написать книгу о России. Мои записные книжки, отдельные листочки с записями, которые я, возвращаясь домой из вашей страны, вынимал из карманов, представились мне, когда я недавно их перебирал, ворохом страниц, который Велимир Хлебников носил с собой в наволочке. Я прочел все свои записи и понял, чего, каких впечатлений мне не хватает для книги.

Приехав в Москву, я сразу заболел гриппом и долго пролежал в постели. Я не считаю, что болезнь помешала работе над

книгой,— скорее наоборот. У меня в комнате висит большая карта Советского Союза, и каждого из друзей, навещавших меня, я спрашивал, какие края нравятся ему больше всего и почему. Я решил сделать книгу путешествий по карте — путешествий моих, моих друзей, моей фантазии. После выздоровления я много езжу по Москве, открываю для себя все новые и новые уголки, которых раньше не знал. Несколько дней назад мы были с женой в Донском монастыре. Я облокотился на одно из надгробий, а потом оказалось, что это памятник на могиле Римского-Корсакова... Кстати, меня очень тронула там табличка с надписью «Не беспокоить траву» — так перевели мне призыв не ходить по газонам; это звучит очень поэтично и напомнило мне, как Франциск Ассизский разговаривал с водой.

Тонино Гуэрра жалуется, что у него почти не остается времени для литературы, ибо основная «продукция» его пишущей машинки — киносценарии. Одна из последних работ Гуэрры для кино — сценарий (совместно с писателем Раффаэле Ла Капрна) фильма «Христос остановился в Эболи», поставленного режиссером Франческо Рози по мотивам одноименного произведения Карло Леви (фильм удостоен первой премии на XI Московском кинофестивале). В ближайшем будущем Гуэрра собирается работать над сценариями для Рози, Феллини и других — причем не только итальянских — режиссеров.

Разговор возвращается к поэзии. Свое последнее стихотворение Гуэрра назвал «Камыши».

— В детстве я любил камыши, собирал их и сушил на солнце, потом складывал на чердаке и зимой, когда было холодно, погружал в них озябшие руки, чтобы согреваться — дом был холодный.

В поэзии Гуэрры (и в прозе тоже — скажем, в последнем его романе «Сто птиц») мне нравится некоторая недосказанность, подразумеваемое многоточие, благодаря которому повествовательность никогда не переходит в описательность, противопоказанную настоящей поэзии. Его простота естественна, порой даже аскетична, хотя, как видим, в этом живом человеке нет ничего от аскета.

Как-то, говоря об одном итальянском поэте, Гуэрра сказал, что стихи этого поэта хороши тем, что в них есть география. Так вот, в поэзии самого Гуэрры тоже есть география — страны, города, деревни, горы, люди, цветы, деревья, небо,— и в этом также достоинство его стихов. Гуэрра пишет на родном диалекте, но его поэтический мир не помещается в административных рамках Романьи.

— В Италии странное отношение к диалектальным поэтам. Меня, например, тридцать лет стыдили за то, что я пишу на диалекте. Это все равно что обвинять художника, что он пишет красками. Очевидно, для многих определение «диалектальный» равносильно «провинциальному». Сегодня немало поэтов пишут на диалектах — возможно полагая, что так писать легче. Но они заблуждаются.

Первые стихи на романьоло я сочинил в немецком концлагере под Кёльном. В лагере было несколько человек из Романьи — крестьяне, рабочие, один врач. Мне хотелось что-то сделать для своих земляков, как-то поддержать их. В рождественскую ночь сорок четвертого года я рассказал им, как моя мама готовила лапшу. Рассказ произвел огромное впечатление: не только у моих слушателей, но и у меня было такое ощущение, что мы празднуем рождество дома, в семейном кругу, что мы сидим за традиционным рождественским ужином. Когда я начал складывать стихи, их не на чем и нечем было записать, и, чтобы они легче запоминались, я пользовался рифмой, хотя вообще-то предпочитаю ассонансы или белый стих. Первый сборник вышел у меня в 1946 году.

Пьер Паоло Пазолини выпустил в 1952 году (совместно с Марио Дель'Арко) объемистую антологию итальянской диалектальной поэзии, в которой Тонино Гуэрра был достаточно хорошо представлен. В предисловии к антологии Пазолини, говоря об «отчаянном лиризме» и «отчаянном реализме» Гуэрры, отмечал его «вкус к документу, ангажированность». Эти особенности по-прежнему свойственны Гуэрре и его поэзии, для которой характерна искренность, лиричность, удивительная теплота и простота. Книги должны составлять компанию, считает Тонино Гуэрра, помогать человеку преодолеть одиночество и потому должны быть прежде всего просты. А для сложных сюжетов есть, по его мнению, кино.

Гуэрра не любит деклараций ни в поэзии, ни в жизни. Как-то его спросили, беря интервью, о воспитательной роли поэзии. Вопрос был задан таким тоном, который, казалось, обусловливает самый банальный ответ — безликий, дидактический, не окрашенный эмоционально, что-нибудь вроде фразы: «Поэзия играет огромную воспитательную роль» — или, скажем, «Воспитательное значение поэзии трудно переоценить». Но Тонино Гуэрра ответил иначе — просто, без назидательности: «Если поэт пишет хорошие стихи, его поэзия всегда полезна людям».

На низком столике, вокруг которого расположились гость редакции и хозяева, лежит последняя книга Тонино Гуэрры «Пыльная буря». Об этой книге Роберто Роверси сказал, что она «написана от руки на широких осенних листьях, которые мы читаем один за другим, держа раскрытыми на ладони. Ибо эти слова — живые и, будучи однажды произнесены, должны лететь». И на прощание, желая нашему итальянскому гостю новых стихов, новой прозы, мы желаем его будущим книгам такого же счастливого «полета».

Евг. СОЛОНОВИЧ

Фото А. Рикельмана

◆

Среди книг

Издано в СССР

«ОН СБЕРЕГ ЛУЧЕЗАРНЫЙ ЛИК ФРАНЦИИ»

Луи Арагон. Анри Матисс. В 2-х томах. Перевод с французского Л. Зониной. Москва, «Прогресс», 1978.

Старинный парижский особняк на улице де Варен, что расположен напротив кипучего «Отеля Матиньон». В «Матиньоне» — давняя резиденция премьер-министров Франции. А в тихом особняке напротив в течение долгих лет живет и творит «премьер» современной французской литературы Луи Арагон.

Мне нередко доводилось бывать в гостях у писателя, встречаться с ним и в Париже, и в Москве. В последний раз посчастливилось посетить его в связи с тем, что в московском издательстве «Прогресс» вышел на русском языке двухтомник Арагона об Анри Матиссе, и я при первой же возможности с удовольствием вручил книги автору.

— Недурно... Хорошо... Даже очень хорошо изданы,— перелистывал Арагон изящные томики.— И футляр со вкусом оформлен. В стиле Матисса. Спасибо. От всего сердца благодарю. Ведь вы знаете, что значит для меня Матисс...

И полились воспоминания, яркие, лаконичные характеристики и описания — словно смелые и, на первый взгляд, хаотичные мазки, из которых складывается на полотне прекрасное произведение большого художника.

Меня всегда волновали биографии великих мастеров культуры, воссозданные их выдающимися собратьями. Можно вспомнить, например, жизнеописания Бетховена, Микеланджело и Толстого, оставленные Роменом Ролланом. Или портреты Льва Толстого и других знаменитых русских литераторов, выполненные щедрым пером Максима Горького. Это — портреты, сотворенные, как говорится, «в один присест», одним духом.

Книга Арагона о Матиссе иного рода. Начать с того, что она создавалась, по словам самого автора, на протяжении почти трех десятилетий. Поэт с молодых лет восхищался творчеством художника, но первую заметку о нем опубликовал лишь в 1941 году, уже после личного знакомства со своим кумиром, а последние его эссе о Матиссе относятся к концу 60-х годов. Долголетние, углубленные размышления поэта о живописце, обогащенные личным общением с ним, позволили необыкновенно ярко осветить творчество Матисса. С каждым очерком произведение Арагона обогащалось новыми гранями, в которых отразилась и творческая эволюция самого автора.

Да, труд Арагона о Матиссе носит не только биографический, но в какой-то мере и автобиографический характер. Правда, чисто биографические или автобиографические моменты служат лишь фоном, чтобы лучше, рельефней оттенить творческие искания и индивидуальности обоих мастеров. Арагон упоминает о том, что Анри Матисс родился 31 декабря 1869 года в Ле-Като (следовательно, в нынешнем декабре ему исполнилось бы 110 лет), и тут же переносится в 1940 год, чтобы, как с юмором говорится в книге, «персонаж, именуемый автором, мог в 1967, 1968, 1969 годах держаться по отношению к художнику с той фамильярностью, которая допустима только между людьми одного, или почти одного, возраста». (Сам Арагон родился в 1897 году.) Ибо, добавляет поэт, «говоря по правде — могу ли я в этом признаться, можем ли мы в этом признаться? — немногие внушали мне, да и другим тоже, чувство такой недосягаемости, такой непреодолимой дистанции».

Поэт подробно рассказывает о встречах и беседах с художником в Ницце, в годы гитлеровской оккупации Франции. (Сколько раз, в бытность собственным корреспондентом «Правды» в Париже, я посещал местечко Симиез, под Ниццей, размышляя о прекрасной дружбе двух великих французских художников, нередко встречавшихся здесь, под самым носом у фашистских ищеек!) Кстати сказать, тема оккупации и Сопротив-

ления захватчикам пронизывает всю книгу. Арагон вспоминает о выпуске первых подпольных номеров газеты «Леттр франсез», о надеждах, порождаемых во Франции известиями о наступлении Советской Армии.

И вот на фоне жизни Франции и мира того времени звучат размышления о творчестве художника, о его призвании и ответственности перед обществом. Арагон подчеркивает прежде всего глубоко национальный характер творчества Анри Матисса: «Пусть другие заносят на наш счет ошибки прошлого, пороки, поражения, ничто и никто не отнимет у нас того чувства величия, которое дает французская живопись. И быть может, ничто в этой живописи не пробуждает его в нас с такой силой, как творения, ставшие ее итогом и вершиной, я говорю о творениях Анри Матисса». Эти строки были написаны в конце трагического 1941 года, когда чувство патриотизма объединяло всех французских борцов Сопротивления — от коммунистов до голлистов — и любое упоминание о национальном величии звучало дерзким вызовом оккупантам. Возвращаясь в первые послевоенные годы к своим оценкам творчества художника, данным в период оккупации, Арагон писал, что «в драматическую минуту нашей общей истории» ему «попросту казалось, что пробил час осознать в Матиссе нашу национальную действительность, что пора полюбить его не за необычность, как во времена, когда мне было двадцать лет, но за то, что он — часть Франции, за то, что он — Франция».

«Мы в долгу у Матисса за то, что в самые тяжкие для нации дни — вчера, когда мы были унижены, сегодня, когда у нас еще столько руин,— он сберег и продолжает беречь лучезарный лик Франции»,— писал поэт в 1946 году.

Стоит ли напоминать, что творчество самого поэта-коммуниста Луи Арагона также проникнуто горячим чувством безграничной любви к родине. Неутомимый труженик Луи Арагон, посвятивший всю свою жизнь высокому творчеству, с восхищением отзывается о преданности Матисса подлинному искусству: «На протяжении почти пятидесяти шести лет этот художник трудился не покладая рук. Он работает как дышит... Вся его жизнь — отрицание роскоши, если понимать под роскошью бесполезное, если понимать под роскошью лень, если понимать под роскошью ту роскошь, которая задевает как оскорбление рабочего человека».

Арагон рассказывает, как в начале 1941 года у Матисса была выявлена смертельно опасная опухоль и живописец сказал хирургу, настроенному не очень оптимистично: «Дайте мне три-четыре года, чтобы завершить мой труд». «В этих словах весь Матисс»,— замечает Арагон. Поэт отмечает и чрезвычайно высокую, бескомпромиссную требовательность живописца к самому себе. «У художника только один серьезный враг — его собственные плохие картины»,— говорил Анри Матисс.

Творчество Матисса, как и самого Арагона, глубоко индивидуально. «Значительность художника измеряется количеством новых знаков, которые он введет в пластический язык»,— делится с Арагоном Анри Матисс своими размышлениями, поясняя эту мысль на примере таких крупных мастеров, как Клод Лоррен или Никола Пуссен: «У этих художников был собственный язык (следует понимать: знаки). С тех пор он стал языком выученным, и мне нужно найти свои знаки, соответствующие характеру моего воображения».

Еще одно высказывание Арагона о стиле художника: «То, что Матисс хочет выразить,— это он сам. Его стиль — способ, придуманный им, чтобы выразить себя. А потом человек уйдет. Останется стиль. Великий стиль, господствующий стиль эпохи». И разве собственный, присущий только ему неповторимый почерк истинного творца не характерен для самого Арагона, как и для Матисса!

Интересен и такой эпизод. В 1946 году Матисс после просмотра советского фильма «Молодость нашей страны» нарисовал Илью Эренбурга цветущим юношей, хотя писателю было уже под шестьдесят. Просмотр фильма, вспоминает Арагон, произвел на художника «такое сильное впечатление, что он не мог з а б ы т ь молодых атлетов... и, глядя на Эренбурга, у в и д е л их в писателе...» И глубоко прав один из авторов этого фильма, Сергей Юткевич, когда пишет о наглядном подтверждении «любви и интереса прославленного мастера к Советскому Союзу, чьим верным другом он был все годы».

Не случайно Луи Арагон дает такой обобщающий образ великого художника: «...подобно тому как средневековье запечатлело свою красоту и свою улыбку в камнях Реймса, оставило это бесценное наследство грядущему, Матисс во веки веков пребудет торжествующей улыбкой наших дней, эпохи, когда человек, отринув мрак ночи, идет с этой улыбкой на устах к сияющим и мирным дням своей необратимой победы».

Луи Арагон назвал свое произведение «романом». Роман? А почему бы и нет? Ведь назвал же наш Гоголь «поэмой» свои «Мертвые души»! Как отмечено в издательском предисловии, «слово «роман» здесь следует скорее рассматривать в его обиходном русском значении: у Арагона с Матиссом был жизненный, богатый перипетиями «роман», начавшийся с влюбленности поэта в живописца задолго до личного знакомства, обретший человеческую и творческую взаимность в трудную пору оккупации... продолжавшийся затем до самой смерти художника (в 1954 г.— *В. С.)* и вылившийся в тесное сотрудничество». В этом же предисловии справедливо говорится, что это роман в широком смысле слова, который вбирает в себя иные жанры — поэму и философское эссе, лирическое излияние и эстетический анализ, раздумья о человеческом уделе и подлинный жизненный документ. «Поэтому книга Арагона облегчит читателю подход не только к

специфическим особенностям живописи XX века, но и к нарождающимся сегодня литературным формам».

Хотелось бы особо отметить мастерство Л. Зониной, которая сумела донести до русского читателя редкое богатство и сложность языка Арагона.

Книга щедро иллюстрирована репродукциями с произведений Матисса, многие из которых хранятся в Ленинградском Государственном Эрмитаже и в Московском Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

— Я немного завидую вам, советским людям,— говорил мне во время нашей последней встречи Арагон.— Ведь ваша страна обладает едва ли не самым богатым в мире наследием Матисса. Это — огромное, бесценное сокровище. Берегите его...

Прощаясь, хозяин подарил мне один из экземпляров своего произведения с такой надписью: «С благодарностью за перевоплощение этой книги, которая для меня не просто книга, а образ человека, кого я долго любил, нашего великого Анри Матисса, вместе с которым я провел первые два года войны 1939 г.,— этот автограф, написанный на пороге 81-го года моей жизни. Арагон».

Этот автограф всегда будет напоминать мне о двух гигантах, которые в самые тяжкие годы помогли сберечь лучезарный лик своей родины.

В. СЕДЫХ

ПОХОРОНЫ ЭПОХИ

Йозеф Рот. Марш Радецкого. Предисловие Д. Затонского. Москва, «Художественная литература», 1978. Перевод с немецкого Натали Ман.

По торжественным дням в больших и малых городах обветшалой Австро-Венгерской империи играли гарнизонные духовые оркестры. Чаще всего на этих официальных концертах звучал марш Радецкого. Сочиненный Штраусом-старшим мажорный марш напоминал о былом величии империи, о победах в Италии и на Балканах, одержанных под командованием фельдмаршала Радецкого, о подавлении им же революции 1848 года, о железной дисциплине, которую насаждал ревностный служитель австрийского престола в казармах и на фабриках. Слушая марш Радецкого, каждый верноподданный ощущал себя слугой Габсбургов. Но не было у императора Франца-Иосифа более верных и преданных паладинов, чем бароны фон Тротта, три поколения которых в романе Йозефа Рота «Марш Радецкого» сопутствуют во всех передрягах старейшему монарху Европы.

Хронику семейства фон Тротта начинает Й. Рот с анекдота в старинном понимании этого слова. Пехотный лейтенант, сын отставного инвалида и еще никакой не «фон», спас жизнь государю. Событие, достойное баллады, оды, оперы или любого другого торжественного жанра, романист изложил сухо, по-деловому, насытив правдоподобными деталями. В битве при Сольферино в 1859 году на севере Италии, куда молодой Франц-Иосиф отправился усмирять вольнолюбивых итальянцев, в него чуть не угодила неприятельская пуля. Тротта с неподобающей фамильярностью свалил помазанника на землю, и в это самое мгновение выстрел, направленный в сердце императора, ранил его спасителя. Из кровопролитной битвы при Сольферино Тротта вышел победителем своей судьбы: ему пожаловали дворянство, орден и прочие регалии.

Эпизод при Сольферино — завязка всех последующих событий романа, которые охватывают свыше шести десятилетий вплоть до кончины престарелого Франца-Иосифа и одновременной гибели последнего отпрыска фон Тротта.

На склоне лет Франц-Иосиф путал деда с внуком, для него все Тротта стали едины, но в гаснущем сознании державного старца имя Тротта вызывало воспоминание о Сольферино. Он не оставлял их своими монаршими милостями, равно как и Тротта видели свое призвание в самоотверженной службе императору на казарменном плацу или в конторе окружного комиссара.

В романе Й. Рота немало иронии. Глава огромного государства и скромные провинциальные дворяне во многом тождественны друг другу. У них совпадают имена, в старости Тротта становились похожими на императорские портреты, у них одинаковые привычки и манеры. Поначалу кажется, что сюжет будет развиваться в сатирическом русле, однако Й. Рот постепенно поднимает заурядные беды и семейные катастрофы до подлинной исторической трагедии.

Случалось, что роман Й. Рота «Марш Радецкого» упрекали в апологии Габсбургов. Вышедший в свет в 1932 году роман определенно проникнут ностальгией по прошлому, которое представлялось автору все же менее агрессивным, чем недавняя мировая бойня и наступающий фашизм. Идеализация прошлого проявлялась у Й. Рота не в анализе характеров и обстоятельств, а в отдельных сентенциях, которые он высказывал в порядке комментария к судьбам семейства фон Тротта. Так, наперекор логике повествования автор вдруг заявляет: «В те времена, до европейской войны, когда происходили события, подобные тем, о которых рассказывалось на этих страницах, еще не было безразлично, жив или умер человек». Но ведь Франц-Иосиф повоевал немало, в одной только битве при Сольферино потери насчитывали, как свидетельствуют историки, около сорока тысяч человек. А вспомним расстрел демонстрации бастующих рабочих, о чем с такой болью в сердце пишет Рот!

Подлинный гуманизм автора «Марша Радецкого» проявляется в том, что на примере судеб трех поколений Тротта он показывает, как агония государства, угнетавшего десятки народов, приводит к распаду личности тех, кто состоит на императорской службе.

В построении сюжета Й. Рот использует оригинальную систему «констант»: целый

ряд будничных событий и ситуаций периодически повторяется на протяжении многих лет. Все сыновья Тротта в одних и тех же выражениях на одинаковой бумаге пишут письма своим родителям; по утвержденному сценарию происходит церемония воскресных обедов; прослушав военные марши, окружной комиссар Тротта всякий раз покровительственно беседует с маэстро, причем похвалы и светские вопросы из года в год совпадают слово в слово. Существование семейства Тротта по сути состоит из такого рода ритуалов. Намеренные повторы в повествовании создают художественный эффект, сообщая прозе особый, замедленный ритм. Но особенно впечатляют малейшие отступления от заведенных правил, когда какое-либо предусмотренное событие происходит с опозданием или вдруг произнесена лишняя реплика. Это воспринимается как опасная поломка в отработанном семейном механизме, как предвестие краха военно-бюрократических устоев.

Привычка жить по ранжиру притупляет восприятие, гасит непосредственность чувств, придает бытию автоматизм. Жизнь фон Тротта оборачивается спектаклем, в котором они играют самих себя, играют старательно и самозабвенно, подтягивая свое заурядное «я» до нормативного уровня, продиктованного вездесущим, тысячи раз тиражированным императором. Герой Сольферино был озабочен тем, как бы вчерашнему земплепащу не осрамить пожалованное дворянское достоинство. Его сын, ставший окружным комиссаром, умел держать себя сообразно должности и званию, укрепляя авторитет фон Тротта строгими, сдержанными манерами. Но на судьбе его сына Карла Йозефа груз наследственных традиций сказался уже роковым образом. О нем нельзя сказать, добр он или жесток, у него нет характера, его существование бесцельно, он интуитивно осознает, что он последыш в клане фон Тротта. То, что он «никакой», удивительным образом роднит его с героем романа Ф. Кафки «Процесс» — Йозефом К. Современники и земляки, оба героя живут в предчувствии конца эпохи.

«Все главные герои Рота одиноки»,— заметила автор монографии о «Марше Радецкого» Эрика Вагнер. Карл Йозеф тщится выбраться из этой скорлупы. Но любовь и дружба близких ему людей приводит их к трагическому исходу. В их гибели никакой его вины нет, но все же, не встреться им на пути молодой Тротта, они остались бы живы.

Накануне мировой войны он служит в маленьком городишке на границе с Россией. По многим приметам нетрудно узнать в нем Броды, город, где прошло детство писателя. «О Броды! Мумии твоих раздавленных страстей дышали на меня непреоборимым ядом»,— писал И. Бабель в «Конармии». У Рота те же «мумии страстей», которыми одержимы мелкие маклеры и спекулянты, ростовщики, шулеры и скучающие офицеры, едва не погубили Карла Йозефа.

В момент убийства австрийского наследника Тротта решается на отчаянный поступок: он порывает с армией. Его потянуло к земле, он хочет, как и его безвестные предки, крестьянствовать. Помешала война.

Много споров вызывает финал романа. Карл Йозеф фон Тротта, побежавший за водой для изнуренного жаждой взвода, изрешечен пулями. Вряд ли правы те критики, которые посчитали его смерть нарочито бессмысленной. Нет, автор, несомненно, хотел показать своего героя в момент его высшего свершения, когда он решился пожертвовать собой ради людей.

В последние мгновения в голове Карла Йозефа вдруг зазвучал памятный с детства марш Радецкого. Но это уже был реквием по человеку и его эпохе.

Прошло сорок лет после смерти самого Йозефа Рота. Он прожил недолгую, полную мытарств жизнь, успев написать, однако, четырнадцать романов. Лучшим из них, бесспорно, стал «Марш Радецкого», документально и психологически запечатлевший канун великих революционных перемен в жизни всех народов, населявших Австро-Венгрию.

В. ПРОНИН

Издано за рубежом

КРЕДО КРИТИКА

Атанас Свиленов. Съвременници. София, Български писател, 1978.
Атанас Свиленов. Современники. 1978.

В одном месте своей книги болгарский критик Атанас Свиленов остроумно замечает, что «серую» литературу чаще всего преследует «серая» критика. «Смешно и жалко наблюдать,— пишет он,— как критическая посредственность громит художественную посредственность». Серый поток в прозе и поэзии осуждают все, о нем пишут, но понятия «серая критика» я еще не встречал, тем не менее такая критика действительно существует. Многим даже кажется, что критика и должна быть такой, какой с нее спрос — ее дело оценки выставлять да мысли высказывать, ну а как они сказаны — не ее забота.

Атанаса Свиленова чрезвычайно беспокоит это «как». Он настаивает на высоком уровне художественности критики. Критика, по его мнению,— такое же искусство слова, как и стихи и проза. «Серая критика» не имеет прав на критику — она «борется со скукой, а сама скучна до смерти».

Эти категорические высказывания подтверждены практикой работы самого А. Свиленова. Он не только один из самых известных в Болгарии критиков, но и человек, чтимый за то, что читать его не скучно. Всякую свою статью и рецензию он отрабатывает как маленькую новеллу. Даже если это «проходная» статья и газетное выступление. Из этих статей и летучих форм отклика и первого впечатления и составлена книга «Современники».

Понятие «современники» А. Свиленов относит не только к разбираемым им прозаикам и поэтам, но и критикам. У него в одном ряду современников стоят Богомил Райнов (автор романов) и Тончо Жечев (автор литературоведческих книг), Георгий Цанев и Любомир Левчев, Здравко Петров и Георгий Джагаров. Критика и литература исполняют одну функцию, они стоят на страже совести и наводят «мост ко всякой душе».

Такое понимание критики мне близко. Но оно требует и напряжения от критика, соблюдения своего рода кодекса чести, который обязателен как при капитальных исследованиях, так и в оперативной работе. У Атанаса Свиленова этот кодекс есть. Он его безоговорочно формулирует: «единство эстетического и гражданского поведения», «никакого флирта с публикой», «артистическая бескомпромиссность». В книге часто мелькают слова «артистизм», «блеск», «артистическая яркость». Они не есть панацея от всех бед, но артистическая бескомпромиссность — это прежде всего бескомпромиссность стиля, которая ведет нас выше — к самостоятельности мнения, являющегося главным достоинством критика.

И этот дар дан А. Свиленову. Примечателен в этом смысле его критический триптих о Любомире Левчеве. Триптих создавался шестнадцать лет. За это время менялся Л. Левчев, менялось и отношение к нему. В первых откликах на его стихи чаще звучали голоса осуждения, чем поддержки. Голос Атанаса Свиленова был одним из первых голосов поддержки. И — довольно решительным. Под начальной главой триптиха стоит дата: 1961 год. Тогда нужно было иметь не только вкус, но и смелость, чтобы объявить о масштабе таланта Левчева и его праве на «крупный план». Сейчас это стало трюизмом в критических статьях о нем.

Триптих составлен из газетных статей, из тех самых мгновенных откликов, которые так быстро забываются в критике. В лучшем случае они живут один день — и пишутся в расчете на это самообслуживание одного дня, на его пользу и выгоду. Атанас Свиленов пишет, кажется, для одного дня, а его суждения остаются, хотя, занимаясь «оперативной» критикой, он сам сознает ее смертность, ее недолгую жизнь. Он даже пишет о «жертвенной обреченности мига», на которую осуждена такая критика, но не сетует об ее участи — история состоит из мгновений, пишет он, и если ты что-то сделал в эту минуту, чем-то помог читателю, то и это награда и плата. Именно в такие минуты и совершается «магия общения» — то, ради чего живет критик.

Магия общения — это то, что дает книга самого Атанаса Свиленова. Читая ее, вступаешь в общение с Болгарией, с ее современной литературой и с автором, который достойно представляет ее культуру.

ИГОРЬ ЗОЛОТУССКИЙ

НОВОЕ О БРУНО ЯСЕНСКОМ

Janina Dziarnowska. Słowo o Brunonie Jasienskim. Warszawa. «Książka i Wiedza», 1978.
Янина Дзярновская. Слово о Бруно Ясенском. 1978.

Одной из самых интересных и важных книг, вышедших в Польше в последние годы, можно считать большую повесть Янины Дзярновской «Слово о Бруно Ясенском». Благодаря счастливому стечению обстоятельств появление этой книги совпало с юбилеем ее автора — Янина Дзярновская, известная писательница и переводчица многих выдающихся произведений советской литературы, свое семидесятилетие (пришедшееся на осень 1978 года) отметила книгой, которую критика единодушно признала главным трудом ее жизни.

«Слово о Бруно Ясенском» — биографическая повесть, описывающая жизненный путь известного поэта, драматурга и автора революционных романов, создателя поэмы «Слово о Якубе Шеле», принадлежащей к числу значительнейших произведений нашей революционной поэзии,— из этой поэмы Дзярновская заимствовала название для своей книги. На ее страницах в широком историческом аспекте представлен образ Бруно Ясенского и его идейно-художественная позиция. Автор определяет «Слово о Бруно Ясенском» как «vie romancée», однако произведение это — нечто гораздо более серьезное, нежели беллетризованная биография или просто биографическая повесть: это психологическое исследование, вскрывающее самые потаенные чувства, мысли и переживания выдающегося представителя писательского революционного авангарда, исследование, в котором автор тонко и умело использует прием беллетризации. Дзярновская применяет этот прием не столько для оживления повествования, сколько ради чисто художественного проникновения в психику героя (ее искусство портрета особенно проявилось в исчерпывающе документированной и одновременно высокохудожественной сцене, посвященной выступлению Ясенского на I съезде советских писателей).

Такой способ дополнения или, скорее, углубления по сути своей документально-биографического произведения в данном случае вполне себя оправдал. Он позволил автору сделать образ Ясенского чрезвычайно ярким и убедительным, показать его внутреннюю страстность и внутреннее одиноче-

ство. Одиноким чувствовал себя Ясенский в стенах родного дома (после смерти любимой сестры), ибо, став поэтом, обманул ожидания родителей, мечтавших видеть сына преуспевающим обывателем, и в краковской художественно-академической среде, и — позже — в архимещанской семье его жены; наконец, не менее остро ощущал он свое одиночество в кругах отечественных революционеров, сдержанно принимавших проявление симпатии с его стороны,— нельзя забывать, что они действовали в особо трудных условиях подполья и, естественно, недоверчиво относились к людям, пришедшим из чуждой — если судить по классовому признаку — среды.

Очень деликатно и тщательно воссоздавая сплетение причин и обстоятельств, влияющих на мироощущение Ясенского на протяжении всей его жизни, автор тем самым предлагает читателю ключ к пониманию страстной идейной убежденности автора «Заговора равнодушных».

Самой интересной мне кажется та часть книги Дзярновской, в которой описаны парижский и советский периоды жизни Ясенского. «На парижской мостовой» — если повторить классическую формулировку Мицкевича — написаны поэма «Слово о Якубе Шеле» и один из лучших романов Ясенского «Я жгу Париж». Героем поэмы писатель избрал в высшей степени любопытную, хотя сильно искаженную и дискредитированную буржуазной историографией личность вождя крестьянского восстания 1846 года; он описал вековые страдания крестьянства под игом барщины и показал, какое зло в последующие годы, уже после ее отмены, причиняла польскому народу власть феодалов. Для этой поэмы Ясенский нашел такую художественную форму, в которой слились воедино авангардистские эксперименты, сводившиеся к поиску новых средств поэтического выражения и разрыву с традиционной, классической поэтикой, и разносторонние попытки бережного использования той свежей и самопроизвольной стихийности, которой насыщено народное творчество, поэтический фольклор, народная поэзия малопольских земель (южная Польша). Поэма «Слово о Якубе Шеле» — яркое свидетельство поиска новых творческих путей создателями революционной поэзии, одно направление которой (связанное прежде всего с именем Броневского) хранило верность традициям, тогда как сторонники другого (представленного, в частности, Ясенским и Вандурским) искали обновления средств поэтического выражения также и в формальной области.

Роман «Я жгу Париж» был смелой попыткой осуждения как мещанской цивилизации, так и мещанского искусства — он тоже родился в результате авангардистских формальных поисков, которыми в то время увлекались различные нонконформистски настроенные писатели и художники, активно выступавшие против буржуазии и ее культуры. Роман этот, печатавшийся на польском и одновременно на французском языке в газете «Юманите», органе Французской компартии, немедленно вызвал нападки со стороны и французских, и польских властей (отказавшихся от своего «преступного» соотечественника) — в результате автор был выдворен из Франции.

Именно тогда Бруно Ясенский принимает решение переехать в Советский Союз (еще будучи гимназистом, он провел в России несколько лет во время первой мировой войны и в момент революции). Этот период жизни редактора журнала «Литература мировой революции», автора романа «Человек меняет кожу» и одного из организаторов антифашистского движения прогрессивных писателей мира советскому читателю хорошо известен.

Дзярновская описывает эти годы с глубоким знанием дела, подробно и всесторонне, сдержанно и тактично — в особенности это относится к процессам постижения Ясенским тонкостей русского языка и вживания в советскую общественную и культурную действительность. Такая же добросовестность и сдержанность отличает наиболее драматическую заключительную часть книги, охватывающую последние месяцы жизни Ясенского.

Книга Дзярновской, достойно представляющая социалистическую литературу Польши, получила в нашей стране очень высокую оценку. По случаю 35-й годовщины образования Польской Народной Республики ряд деятелей культуры был удостоен юбилейных наград, учрежденных Советом министров. В числе лауреатов оказалась и Янина Дзярновская; в специальном комментарии подчеркивалось, что писательница награждается за все творчество в целом, и в первую очередь за книгу о Бруно Ясенском.

Хотелось бы надеяться, что «Слово о Бруно Ясенском» вызовет интерес читателей в братских социалистических странах, и прежде всего в Советском Союзе — стране, с которой автор «Слова о Якубе Шеле» в последние годы жизни был связан сердечными узами и всей творческой деятельностью.

ВАЦЛАВ САДКОВСКИЙ

г. Варшава

«ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА», ИЛИ НАЧАЛО ПУТИ

Gloria Guardia. El último juego. Costa Rica, EDUCA, 1976.
Глория Гуардиа. Последняя игра. 1976.

Панамский роман находится еще в процессе становления, хотя есть писатели, которые подарили нам уже удачные образцы этого жанра. Например, неоднократно переиздававшиеся романы Рохельо Синана «Полнолуние» и Тристана Соларте «Утопленник» (основанный на фольклорном материале). Но поиски

своего лица, стремление обрести собственный, неповторимый голос зачастую приводят к тому, что наши прозаики, имея превратное представление о новаторстве, озабочены не столько тем, чтобы сказать хорошо, сколько тем, чтобы сказать по-новому. И тогда возникает противоречие между, казалось бы, неделимой парой: содержанием и формой. И если панамский роман отличает характерная только для нашей страны тематика, в частности проблема канала, то в отношении формы дела обстоят хуже. Так что в целом справедливое утверждение, что всякая новая тематика раскрывается посредством нового языка и стиля, для Панамы оказывается не совсем пригодным. В чем же суть проблемы?

Ставшая хрестоматийной фраза Луиса Альберто Санчеса поможет нам понять настоящее положение вещей. «Латинская Америка — это роман без романистов»,— заявил перуанский критик. Латиноамериканские страны, где роман достиг расцвета, доказали, что это высказывание не так уж справедливо. Однако оно остается в силе для тех стран континента, где роман по разным причинам, в том числе из-за ограничений, вводимых издательствами, или из-за скудости полиграфической базы, является, по существу, мертвым жанром. Напрашивается вывод: Панама — это страна без романистов, хотя действительность нашей страны, где народ ведет неустанную борьбу за право распоряжаться своей судьбой, полна героических страниц, достойных художественного воплощения. Было бы неверно полагать, что наши прозаики этого не понимают; напротив, наш роман как раз имеет пристрастие к историческим сюжетам. Однако писатели зачастую или ограничиваются фотографированием окружающего мира, воспроизводя действительность «в старомодном стиле», или чрезмерно увлекаются новаторством, не заботясь о том, доходят ли их книги до читателей. Лишь те произведения получают право на внимание читателей не только своей страны, но и всего континента, которые осмысляют события истории Панамы или целиком основываются на художественном вымысле и написаны при этом живым, выразительным и современным языком. Именно латиноамериканским писателям, которые сумели возвысить до литературного языка прежде считавшийся «испорченным» и «деформированным» испанский язык, не поддаваясь комплексу «малоразвитых народов», мы обязаны теперь возрождением латиноамериканского романа.

Особого разговора заслуживает роман панамской писательницы Глории Гуардиа «Последняя игра». Разрабатывая такую тему, как подписание нового соглашения об использовании Панамского канала, автор романа вводит в действие вымышленных персонажей, группу партизан «Отряд Уррака», чтобы представить читателю проблему во всей ее сложности. Как известно, с 1903 года действовало соглашение о Панамском канале, лишавшее панамский народ самостоятельности. «Отряд Уррака» выражает в романе интересы панамского народа, не доверяющего высшим должностным лицам, участвующим в подписании этого соглашения. Тревога партизан не напрасна: они опасаются, что и на этот раз власти будут заботиться прежде всего о своих личных интересах, а не о благе страны и всего народа, который со дня обретения политической независимости страдает от экономического гнета США. Сюжет романа прост: захват партизанами дома Гарридо — чиновника, ответственного за переговоры,— чтобы добиться подписания соглашения о канале на условиях, наиболее выгодных для Панамы. Событие это воссоздается благодаря воспоминаниям Гарридо таким образом, что возникает впечатление сиюминутности происходящего, однако речь идет о прошлом, и образ возлюбленной Гарридо, Марианны, появляющийся в его воспоминаниях, тоже встает из прошлого — она погибла во время вылазки партизан, погибла случайно, так как целью их нападения было не насилие, а скорее принуждение. Переплетение прошлого с настоящим и документальности с вымыслом и составляет главную ценность произведения.

При описании вполне конкретных событий автору удалось достичь такой степени обобщения, что показанная ситуация воспринимается как правдоподобная не только для Панамы, где она действительно имела место, но и для любой другой страны континента. Автору удалось отразить реальность, характерную для всей Латинской Америки. И хотя «Последняя игра» не лишена разного рода недостатков, что мешает поставить этот роман в один ряд с лучшими произведениями латиноамериканской прозы наших дней, очевидно новаторство автора в области стиля: живой разговорный язык, построение повествования в форме монолога, умелое сочетание разных планов.

Но самое главное — нужно отдать должное политической смелости автора, который затронул столь острый для нас вопрос. Нетрудно понять, что роман, адресованный непосредственно панамскому правительству, содержал недвусмысленное предупреждение, подчеркнутое и в названии: предстоит последняя игра, последний бой, данный панамской олигархии, так как панамский народ не допустит нового предательства. Таким образом, Глория Гуардиа нарушила давний запрет — впервые в истории панамской литературы она подвергла критике политическую деятельность современного ей правительства. Перед нами пример, когда автору художественного произведения удалось предвосхитить реальное политическое событие: я имею в виду недавнее соглашение между Панамой и США о постепенном возвращении Панаме полного контроля над зоной канала. Книга Глории Гуардиа в какой-то степени опровергает приведенную в начале фразу («Панама — это роман без романистов») и вместе с тем открывает новые возможности перед литературой нашей страны.

ПЕДРО КОРРЕА ВАСКЕС

Из месяца в месяц

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

В этом году в Лондоне проходил фестиваль искусств, организованный Ассоциацией артистов национальных меньшинств, которая объединяет выходцев из африканских, азиатских и европейских стран.
На снимке: актеры—члены Ассоциации.

(Газета «Морнинг стар»)

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ И ОДНА

«Еще в 1950 году в мэрии города пообещали нам квартиру, правда, я не очень-то верила в это, понимала, что нас надуют. Мы снимали комнату. Время шло, Джим работал в ночную смену, днем, чтобы детишки не мешали ему спать, я уводила их из дому. Бывало, дождь льет как из ведра, ветер, грязь; побродишь-побродишь с ними — и домой. А Джим начинает злиться... Однажды, это было в воскресенье, мне совсем стало не по себе. Жутко было подумать, что ничего не могу дать своим детям, даже крыши над головой. Не заметила, как оказалась у реки. Нет, уж лучше положить конец всему этому. Что я могу сделать для своей семьи? Ничего. Я стояла на мосту. Ничего не могу. Безденежье, долги, нищета... Я попыталась поднять детей на перила, сразу двоих, чтобы одним усилием положить конец всему, но не смогла. Руки не поднялись. Я поняла: надо пытаться найти выход, его ведь можно найти...»

Приведенная нами цитата взята из недавно вышедшей книги «Покорные дочери; женщины — сами о себе», в которую вошли четырнадцать рассказов англичанок разных социальных и возрастных групп. «Книга — порой печальное, временами — горькое, часто увлекательное свидетельство»,— отмечает рецензент «Пингвин ньюс».

Этот же рецензент предлагает вниманию читателя еще одну книгу, но совершенно иного рода — «Суперженщина в действии» Ширли Конран.

«Кто из нас не задавался вопросом, что такое суперженщина? — глубокомысленно спрашивает Конран.— Ответ прост: это не та, что жертвует всем, а та, что старается брать как можно больше. Помните,— советует госпожа Конран,— вы сами себе единственная путеводная звезда в вашей жизни».

«Суперженщина в действии» — путеводитель, который предлагает косметические, кулинарные, психологические, юридические и прочие рецепты для достижения статуса «супер». Но помогут ли подобные рецепты тем, кто, подобно героиням книги «Покорные дочери», денно и нощно борется за хлеб насущный?!

ВЕНГРИЯ

НЕИЗВЕСТНЫЙ РОМАН ЛАЙОША НАДЯ

Творчество Лайоша Надя (1883—1954), выдающегося представителя венгерской

реалистической прозы, известно советским читателям по вышедшим на русском языке книгам «Новеллы» (Гослитиздат, 1963), «Избранное» («Художественная литература», 1976), а также по рассказам, вошедшим в сборник «Венгерская новелла» («Художественная литература», 1965).

В 1929 году, вступив в ряды коммунистической партии, Лайош Надь начал писать большой роман, который должен был представить широкую картину общественной жизни Венгрии в период, последовавший за первой мировой войной. Однако до сих пор был известен лишь отрывок из романа, приведенный литературоведом Палом Кардошем в монографии о Лайоше Наде. И вот сейчас обнаружена вся рукопись. Об этой находке рассказал на страницах газеты «Непсабадшаг» критик Янош Силадьи.

В своей автобиографии отмечает Силадьи, Лайош Надь упоминал о зарождении этого произведения. Он писал в свое время, что еще в 1920 году получил заказ на создание «революционного романа» от венского издательства «Агис» и тотчас приступил к его написанию, но потом понял, что роман такого характера не может быть опубликован, и отложил рукопись. В ту пору, подчеркивает Силадьи, Лайош Надь был одним из активных участников революционного движения, а его произведения гневно и беспощадно изобличали правящие классы.

ГДР

ИНТЕРВЬЮ С АРМИНОМ МЮЛЛЕРОМ

В еженедельнике «Зонн таг» помещено интервью с известным писателем, поэтом и драматургом Арминым Мюллером (см. «ИЛ» № 5, 1972; № 12, 1974; № 7, 1975). Отвечая на вопросы корреспондента, писатель прежде всего объяснил, что его долгое «молчание» в качестве прозаика не было творческой паузой. «Действительно, много лет я не выступал в жанре прозы. Но я работал для телевидения, для театра. Понадобился толчок, который вернул меня к прозе. Я заболел и во время болезни обнаружил, что у меня много времени для размышлений о жизни, что я могу не торопиться и не отвлекаться. Этот процесс в какой-то степени отражен в повести «Мои разные жизни».

Герой повести, от лица которого ведется повествование, известный фотограф-художник, тяжело заболевает. Он вынужден уехать из столицы в маленький городок, на свою родину. Впервые за много лет он может спокойно думать о своих «разных жизнях», по-новому осмыслить все, что он пережил, понять, что он делал неправильно и что растерял. Встречи с людьми, которых он знал в юности, помогают ему обрести свое «я»...

Скоро выйдет и мой «маленький» роман «Дерево Магдалены», где я рассказываю историю жизни женщины, рассказываю о ее счастье и горе. Мне кажется, что в судьбе моей героини я сумел дать и общую картину действительности, которая ее окружает, дать панораму нашей современной жизни.

Сейчас я начал работать

Журнал «Бильденде кунст» поместил большую статью о детской и юношеской литературе ГДР.
На снимках: иллюстрация Вернера Клемке к книге «Мартин и солнце в шкафу» и иллюстрация Ганса Тиха к книге Райнера Кирша «О маленьком разбойнике, сюртуке и козле».

(Журнал «Бильденде кунст»)

над новой повестью. Я назвал ее «Голубь из бумаги, или Смерть молодой актрисы Сабины С». Это — рассказ о молодых людях, пытающихся найти себя в реальной жизни, от которой иногда слишком многого ждут. Когда я закончу эту работу, я вернусь к теме, давно занимавшей меня, — взаимоотношениям немцев и поляков. Работа предстоит большая и трудная. Я хочу написать роман, у меня уже есть название его: «Бегство». Я использую в романе личные переживания и размышления, много исторических материалов. С этой работой мне не хочется спешить, многое надо прочесть, много узнать, и пока я вижу только начало романа, но не вижу его конца...»

Недавно греческой писательнице и педагогу Элли Алексиу исполнилось 85 лет. Общество греческих писателей, самая крупная и авторитетная писательская организация Греции, избрало Элли Алексиу своим почетным председателем.

(Газета «Ризоспастис»)

ГРЕЦИЯ

ЖИЗНЬ В ТРЕХ КНИГАХ

Восьмидесятидвухлетняя греческая писательница Мария Иорданиду, начавшая литературную деятельность в возрасте 70 лет, в интервью газете «То Вима» сказала:

«Прежде я никогда не намеревалась писать, да и времени у меня не было, ведь я была простой труженицей, вырастила двоих детей. Но когда я перестала работать и материальные заботы взяли на себя мои взрослые дети, мне, как и всем старым людям, захотелось вернуться в прошлое, вспомнить свои детство и юность».

Воспоминания о детстве Марии Иорданиду легли в основу ее книги «Локсандра», вышедшей в 1961 году и ставшей «бестселлером». Сейчас на греческом телевидении снимается многосерийный фильм по этой книге.

После «Локсандры» Мария Иорданиду написала книгу «Каникулы на Кавказе» о жизни в Батуми, куда приехала по приглашению родственников на один месяц, а пробыла целых восемь лет, став свидетельницей Великой Октябрьской социалистической революции. Книга «Каникулы на Кавказе» вызвала не меньший, чем «Локсандра», интерес, недавно ее читали по радио.

Третья книга «Подобно сумасшедшим птицам» повествует о жизни Марии Иорданиду в Александрии, куда в 1920 году переехала ее семья. Иорданиду работала секретарем в английской конторе по экспорту хлопка.

Сейчас Иорданиду работает над своей четвертой книгой — тоже автобиографического характера.

ДАНИЯ

ГАМЛЕТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА РОДИНУ

Стены кронборгского замка в Хельсингёре (Эльсиноре) уже неоднократно служили естественной декорацией для различных сценических интерпретаций трагедии Шекспира «Гамлет, принц Датский». Кронборг видел таких известных исполнителей роли Гамлета, как Джон Гилгуд, Лоуренс Оливье, Майкл Редгрейв и др. На этот раз образ принца Датского воплотил Дерек Джейкоби, актер крупнейшего драматического театра Лондона «Олд Вик». В преддверии очередного театрального сезона «Олд Вик», по праву называемый «домом Шекспира», осуществил новую постановку «Гамлета». Гастролям театра в Хельсингёре предшествовали пробные спектакли в Лондоне, имевшие большой успех у зрителей.

По мнению критиков, Гамлет в трактовке Дерека Джейкоби поразительно отвечает духу современности. Гамлет Джейкоби проницателен, полон энергии, на протяжении действия он обнаруживает скорей силу, чем слабость. Многие критики считают, что Дерек Джейкоби, игре которого присуща великолепная пластика,— лучший Гамлет последнего десятилетия. Высокую оценку получило также актерское мастерство Джейн Уаймарк, выступившей в роли Офелии.

По отзывам прессы, режиссер-постановщик «Гамлета» Тоби Робертсон пре-

На снимке: Джейн Уаймарк в роли Офелии в спектакле «Гамлет».

(Газета «Политикен»)

дложил зрителям остросовременное сценическое прочтение трагедии Шекспира, «умное и вдохновенное». Примечательно, что в ходе работы над спектаклем Тоби Робертсон обратился и к хронике датского летописца Саксона Грамматика (1150—1220), где сага о принце Датском впервые получила литературную фиксацию.

ИНДОНЕЗИЯ

«НОЯБРЬ 1828 ГОДА» ТЕГУХА КАРЬИ

Издательство газеты «Синар харапан» выпустило отдельной книжкой сценарий кинофильма известного индонезийского писателя, кинорежиссера и театрального деятеля Тегуха Карьи «Ноябрь 1828 года». Посвященный одному из драматических эпизодов антиколониального восстания 1825—1839 гг. под руководством Дипонегоро, этот фильм на национальном кинофестивале 1979 года получил сразу шесть первых премий. Сам руководитель восстания в фильме не фигурирует. В центре внимания сценариста (он же режиссер) — психологический конфликт между капитаном голландской армии де Борстом и лейтенантом ван Акеном. Оба они родились на Яве от матерей-индонезиек. Но если эгоистичный де Борст руководствуется лишь соображениями карьеры и игнорирует свое кровное родство с восставшим народом, то ван Акен признает за последним право на национальную независимость и действует в интересах повстанцев. Оба офицера, как и большинство других центральных персонажей, погибают.

Как отмечают рецензенты, талантливо разработанные побочные линии сюжета, а также блестяще решенные многочисленные батальные и другие массовые сцены уводят фильм от камерной психологической драмы, превращая его в широкую народную эпопею.

Публикуя сценарий, издательство в предисловии заявляет о намерении ввести тем самым в обиход «новый литературный жанр, рассчитанный на подготовленного широкого читателя».

ИРАК

СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ САДИ ЮСУФА

В Багдаде вышло полное собрание сочинений одного из ведущих современных иракских поэтов Саади Юсуфа.

В собрание вошли стихотворения и поэмы, написанные в период с 1952-го по 1972 год.

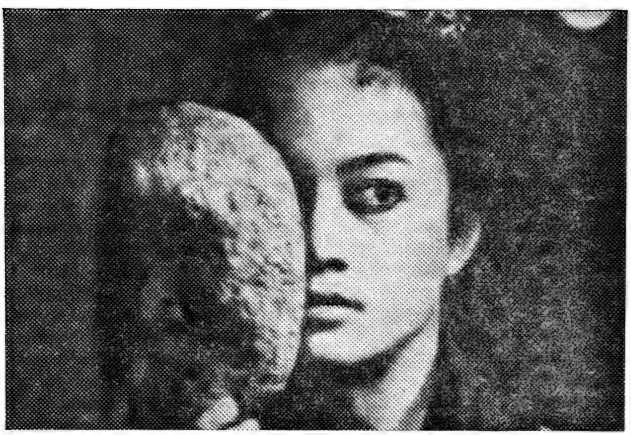
ИТАЛИЯ

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Марчелло Арджилли — известный детский писатель, автор двух десятков книг для детей и подростков, множества детских телепьес и передач — в продолжение долгих лет редактировал детскую коммунистическую газету. С творчеством этого итальянского писателя мы познакомились лет двадцать назад, когда вышел русский перевод его повести «Пионеры Валлескуры». На иностранные языки переведены и многие

На снимке: актриса Нунгки в роли танцовщицы — связной повстанцев.

(Газета «Синар харапан»)



другие произведения Арджилли — «Привет, Андреа», «Каникулы с отцом», книга для маленьких читателей — «Приключения Гвоздика» и другие.

Недавно в издательстве «Эдитори риунити» вышла новая его книга — роман «Под одним небом». Главная мысль романа состоит в том, что взрослые и дети «живут под одним небом» и должны как можно лучше знать друг друга. Взаимное понимание и доверие помогут избежать и тем и другим многих невзгод и серьезных испытаний, которым подвергает их жизнь.

В романе «изнутри» раскрываются проблемы, стоящие ныне перед итальянской молодежью. Арджилли показывает социальные причины моральной неудовлетворенности молодежи, приводящей подчас к «бунту». Автор ведет читателя в римский квартал Примавалле, где подростки промышляют мелким воровством, показывает проблемы подрастающего поколения в Риме, Милане, на Сицилии.

Книга издана в серии «Молодежная библиотека». Роман снабжен в качестве послесловия статьей профессора Туллио Де Мауро, носящей социологический характер, в которой анализируются некоторые проблемы, стоящие перед итальянской молодежью, а также подробным библиографическим указателем, где рекомендуемые книги разделены по тематике — что читать по вопросам, затронутым в романе Арджилли: о детской преступности, об употреблении наркотиков, о римских рабочих окраинах, об отношениях между родителями и детьми, о внутриполитическом положении в Италии, в частности о терроризме, о книгах и фильмах для подростков в Италии и так далее. Такого рода «аппарат», приданный к художественному произведению, делает книгу Арджилли особенно действенной в борьбе за воспитание молодого поколения в духе прогресса и демократии. На фоне итальянской юношеской литературы, как правило далекой от жизни, преимущественно условно приключенческой, «Под одним небом» — заметное и отрадное явление.

КАНАДА

ИНТЕРЕСНАЯ ВЫСТАВКА

Большой популярностью пользуются в стране работы индейского художника Норвала Мориссо. Недавно состоялась выставка его работ, созданных за 20 лет. Экспозиция представила станковую живопись, рисунок и графику. Творчество художника характерно яркой, живой и смелой обработкой индейских и канадских мифов, легенд и народных поверий. Усвоение и последующее развитие народных традиций способствовало росту популярности Мориссо, подчинив его влиянию целое поколение современных художников-индейцев.

На снимке: картина Норвала Мориссо «Одержимость». *(Газета «Кенэдиен трибюн»)*

КНР

ПОСМЕРТНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ЛАО ШЭ

Китайский литературный журнал «Жэньминь вэньсюэ» начал публикацию из номера в номер посмертного литературного произведения Лао Шэ—повести «Под алым знаменем» (1979, № 3—5). Лао Шэ (1889—1966), крупнейший китайский писатель, погиб во время хунвэйбиновских погромов 24 августа 1966 г. Повесть, над которой писатель тогда работал, осталась недописанной. Она носит автобиографический характер и принадлежит к числу лучших произведений писателя, проникнута мягким юмором и насыщена реалиями жизни императорского Пекина в годы его заката. Отец писателя служил в столице Цинской империи в составе «восьмизнаменных войск», в тех частях, которые выступали под алым знаменем, что и объясняет название повести.

Редакция журнала считает, что сохранившийся текст из 21 главы представляет собою начало задуманного писателем обширного повествования. Вероятно, Лао Шэ собирался в серии автобиографических повестей описать всю свою жизнь. Гибель писателя во время маоистской «культурной революции» прервала его труд. «Погублено произведение особой ценности, что не может не вызывать гнев,— запоздало пишет редакция журнала «Жэньминь вэньсюэ».— Здесь дана панорама полуфеодального, полуколониального общества в нашей стране, обрисованы персонажи, которых мы видим как живых».

КУБА

ТЕАТРУ КУБИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ — 20 ЛЕТ

Вышел в свет специальный номер журнала «Конхунто» — орган Каса де лас Американас,— посвященный двадцатилетию кубинского революционного театра. В редакционной статье, которой открывается этот номер, в частности, говорится: «Кубинский театр до 1959 года был одним из наиболее отсталых. Только после революции театральные деятели в нашей стране получили достойное признание... Стали реальностью

экономическая стабильность и большие перспективы для творческого совершенствования».

В декабре 1978 года прошел I Национальный фестиваль Нового театра. Основная цель этого театра — служение делу революции, поиск новых форм общения со зрителем.

Журнал «Конхунто» публикует подробные материалы о ходе и итогах фестиваля Нового театра. За девять дней было дано 46 представлений в сельскохозяйственных кооперативах, на фабриках, в школах, высших учебных заведениях.

Анджей Вайда снимает фильм по сценарию Анджея Киевского «Дирижер». На главную роль Вайда пригласил знаменитого английского актера Джона Гилгуда.
На снимке: на переднем плане Анджей Вайда, на втором — Джон Гилгуд.

(Журнал «Фильм»)

ПОЛЬША

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ

Состоялось вручение государственных премий в области литературы. В год тридцатипятилетия народной Польши премии были присуждены писателям, представляющим, как отмечает журнал «Нове ксёнжки», все жанровое и стилевое многообразие польской литературы.

Премии первой степени за творчество в целом получили:

Ежи Брошкевич. Его роман «Долго и счастливо» был опубликован в журнале «Иностранная литература» в № 6—8 за 1972 год;

Леопольд Бучковский — автор таких известных книг, как «Черный поток», «Ухабы», «Дорическая галерея»;

Янина Дзярновская — писательница и переводчица советской литературы, последняя книга которой «Слово о Бруно Ясенском» вызвала единодушное признание польской критики;

Леон Гомолицкий — прозаик, поэт, эссеист, автор литературно-критических очерков об Адаме Мицкевиче и об А. С. Пушкине;

Юлиуш Виктор Гомулицкий — историк литературы, автор уникального труда «Избранные письма» Циприана Норвида;

Александр Кравчук — историк, прозаик, автор приобретших большую популярность книг о знаменитых исторических личностях;

Владислав Махеек — прозаик, поэт, публицист, автор многих книг о партизанской борьбе;

Игорь Неверли — автор широко известных советскому читателю книг «Под фригийской звездой», «Парень из Сальских степей», составитель и комментатор «Избранных писем» Януша Корчака, другом и соратником которого он был. (Его воспоминания о Корчаке «Живая связь» опубликованы в «ИЛ» (1978, № 3);

Теодор Парницкий — автор исторических романов;

Рышард Война — публицист, автор книги «Разговор с отцом», получившей широкую известность;

Хенрик Ворцелл — прозаик, эссеист, автор известной книги «Проклятые столики».

Лауреатами премии второй степени стали:

Чеслав Хрущевский — прозаик и драматург, автор научно-фантастических романов;

Ежи Гжымковский — прозаик и публицист, автор военных повестей, среди которых наиболее известны «Темная река» и автобиографическая повесть «Когда я был металлургом»;

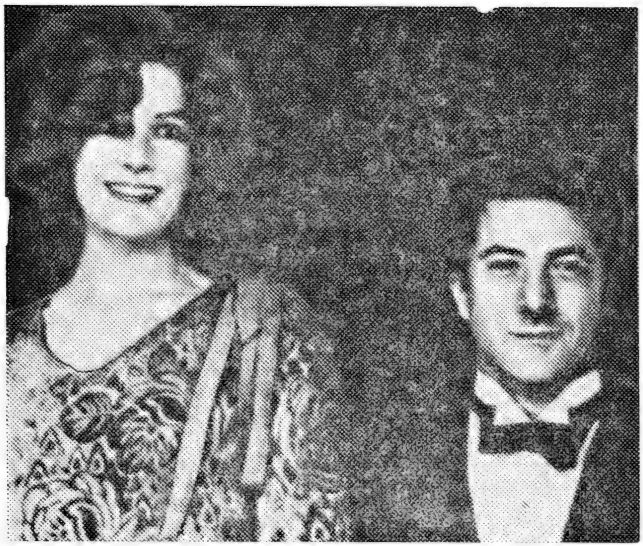
Веслав Мысливский — автор книг, посвященных деревне, среди которых наиболее известны «Обнаженный сад» и «Дворец»;

Владыслав Лех Терлецкий — прозаик, сценарист, автор исторических и историко-бытовых романов, пользующихся широкой популярностью. Среди них — «Заговор», «Двуголовая птица», «Из царского села», «Отдохни после бега».

США

«АГАТА»

На экраны американских кинотеатров вышел новый фильм режиссера Майкла Аптеда «Агата», поставленный по роману писательницы Катлин Тайнэн. В центре сюжета фильма — таинственное «исчезновение» в декабре 1926 года тогда еще молодой Агаты Кристи и ее романтическая встреча с американским журналистом,



На снимке: Ванесса Редгрейв и Дастин Хофман в фильме «Агата».

(Журнал «Тайм»)

которому она представилась под чужим именем. Ведущие кинокритики страны отмечают мастерское воссоздание в фильме загадочной и слегка ироничной атмосферы романов самой А. Кристи, что заставляет зрителей думать, будто этот предполагаемый эпизод из жизни писательницы рассказан ею самою.

Блестящим актерским дуэтом явились исполнители главных ролей: англичанка Ванесса Редгрейв и американец Дастин Хофман.

ФРАНЦИЯ

ЖИВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ИСТОРИИ

«Антология революционной песни с 1789 г. до Народного фронта» вышла в издательстве «Йер э ожурдюи». Составителем антологии Робером Бреси собрано двести песен, публиковавшихся в годы их появления в брошюрах или в периодической печати и никогда более не издававшихся. «Значение этой антологии трудно переоценить,— пишет Пьер Гамарра в журнале «Эроп». — Революционные песни, насыщенные протестом, скрытой, а иногда и прямолинейной критикой, несут в себе живое свидетельство истории. Их темы, композиция, стиль представляют огромный интерес. В свое время они обладали поразительной силой воздействия на массовую аудиторию, силой, которую нам трудно сейчас себе представить. Гонимая власть имущими, эта «социальная песня» была предана забвению. Робер Бреси поставил своей целью вернуть ей жизнь, снова сделать всеобщим достоянием. Ему это безусловно удалось».

Критик «Нувель литтерер» Жан-Пьер Риу отмечает, что эта книга оказалась сейчас более актуальной, чем предполагал даже сам ее составитель Робер Бреси.

ЮНЕСКО

ПЕРВЫЙ ЛАУРЕАТ

Международная женская лига «За мир и свободу» (Женева) и Ассоциация в защиту мира им. Джейн Аддамс (Нью-Йорк) учредили в ознаменование Международного года ребенка литературную премию имени Джейн Аддамс за лучшую книгу для детей; ранее эта премия вручалась только американским писателям.

Первым лауреатом этой премии за 1979 год стал советский переводчик и составитель сборника рассказов писателей Южной Африки «Пароль: «Свобода!», выпущенного издательством «Детская литература» в 1977 году, Валентин Коткин.

Председатель жюри по премиям им. Джейн Аддамс американская детская писательница и переводчица, известная общественная деятельница Мириам Мортон, вручая В. Коткину диплом лауреата, сказала, что награда не случайно носит имя Джейн Аддамс — первого президента Международной женской лиги «За мир и свободу», первой американской женщины, удостоенной Нобелевской премии мира и всю свою жизнь боровшейся за счастье детей.

Перед отборочным жюри, сказала Мириам Мортон, стояла трудная и почетная задача отобрать из огромного потока литературы такую книгу, которая способна пробудить у молодого читателя сознание дружбы, сотрудничества и мира между народами различных национальностей, рас и вероисповеданий, должна способствовать воспитанию в детях чувства сострадания, социальной справедливости, уважения прав человека, понимания общности интересов всех людей мира и в то же время должна отличаться высокими литературными достоинствами, учить ненавидеть войну, жестокость и несправедливость. Всеми этими качествами, отметила Мириам Мортон, в полной мере обладает сборник «Пароль: «Свобода!».

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

за 1979 год
№ 1—12

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ

Ацдайк Джон — Давай поженимся (Романическая история. Перевод с английского Т Кудрявцевой. Вступление Григория Бакланова), № 7, 8.

Бебей Франсис — Три юных чистильщика (Повесть. Перевод с французского А. Карлова), № 5.

Бернари Карло — Горькая любовь (Повесть. Перевод с итальянского Л. Вершинина), № 4.

Бузура Аугустин — Шумы и блики (Рассказ. Перевод с румынского С. Косенко), № 8.

Вальзер Мартин — По ту сторону любви (Роман. Перевод с немецкого В. Стеженского. Послесловие И. Млечиной), № 6.

Варгас Льоса Марио — Тетушка Хулия и писака (Роман. Перевод с испанского Л. Новиковой. Послесловие Юрия Дашкевича), № 11, 12.

Ваттар ат-Тахир — И содрогнется земля... (Роман. Перевод с арабского В. Шагаля. Послесловие Р. Г. Ланды), № 4.

Вейга Жозе Ж. — Тени бородатых королей (Повесть. Перевод с португальского Лилианы Бреверн), № 9.

Вогэн Алед — Белый голубь (Рассказ. Перевод с английского А. Мельникова), № 5.

Воман Габриэла — Рассказы (Перевод с немецкого Н. Литвинец и А. Исаевой. Вступление Н. Литвинец), № 5.

Гал Жамьянгийн — Голубой архар (Рассказ. Перевод с монгольского Л. Скородумовой), № 11.

Гарма Доржийн — Ононская переправа (Рассказ. Перевод с монгольского Б. Намжилова), № 11.

Де Лера Анхель Мария — Продается человек (Роман. Перевод с испанского Вероники Спасской), № 10, 11.

Дери Тибор — Милый бо-пэр!.. (Повесть. Перевод с венгерского Е. Малыхиной. Вступление Имре Добози), № 7.

Джонс Глин — Человек с четырьмя ношами. Иордан (Рассказы. Перевод с английского А. Мельникова), № 5.

Джонсон Памела Хэнсфорд — Особый дар (Роман. Перевод с английского С. Митиной), № 1, 2.

Каррьер Жан — Ястреб из Маё (Роман. Перевод с французского Тамары Ивановой), № 2, 3.

Коларова Яромира — О чем не сказала Гедвика (Повесть. Перевод с чешского С. Пархомовской), № 2.

Кош Эрих — Рассказы (Перевод с сербскохорватского Т. Вирты), № 2.

Леанте Сесар — Дом в осаде (Рассказ. Перевод с испанского Г. В.), № 1.

Нягу Фэнуш — Колодцы (Рассказ. Перевод с румынского Л. Долгошевой), № 8.

Някшу Юлиан — Директор (Рассказ. Перевод с румынского С. Косенко), № 8.

Попеску Думитру Раду — Золотой ларь (Рассказ. Перевод с румынского Татьяны Ивановой), № 8.

Портер Кэтрин Энн — Бледный конь, бледный всадник (Новелла. Перевод с английского Н. Волжиной), № 1.

Причард К. С. — Сеяла Хэн лебеду... (Повесть. Перевод с английского И. Багрова), № 12.

Пурэв Санжийн — Забытая пора весны. Синие горы счастья (Рассказы. Перевод с монгольского Х. Мэргэна), № 11.

Райнов Богомил — Черные лебеди (Повесть. Перевод с болгарского М. Тарасовой), № 9.

РАССКАЗЫ ВАЛЛИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (Вступление Глина Джонса), № 5.

РАССКАЗЫ МОНГОЛЬСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, № 11.

РАССКАЗЫ РУМЫНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (Вступление Улича Лауренциу), № 8.

Ребряну Василе — «Ягуар» (Рассказ. Перевод с румынского Л. Долгошевой), № 8.

Рибейро Хулио Рамон — Рассказы (Перевод с испанского Юрия Павлова), № 3.

Ставинский Ежи Стефан — Записки молодого варшавянина (Роман. Перевод с польского Зинаиды Шаталовой), № 6.

Станев Эмилиян — Тихик и Назарий (Повесть. Перевод с болгарского М. Михелевич. Послесловие А. Зверева), № 12.

Тител Сорин—Однажды весенним днем... (Рассказ. Перевод с румынского Л. Долгошевой), № 8.

Травиэсо Хулио — Чтобы убить волка... (Роман. Перевод с испанского Г. Вержховской и А. Чигарова), № 1.

Фаулз Джон — Башня из черного дерева (Повесть. Перевод с английского К. Чугунова. Послесловие Е. Гениевой), № 3.

Цэмбэл Дамбын — Последний выстрел (Рассказ. Перевод с монгольского Джангара Пюрвеева), № 11.

Чильман Кристер — Милейший принц (Роман. Перевод со шведского Л. Горлиной. Послесловие Евг. Долматовского), № 9, 10.

Шикула Винцент—Мастера (Роман. Перевод со словацкого Нины Шульгиной. Послесловие Винцента Шабика), № 4, 5.

Шульц Макс Вальтер — Солдат и женщина (Повесть. Перевод с немецкого С. Фридлянд. Вступление автора), № 10.

Эванс Джордж Эварт — Пожитки (Рассказ. Перевод с английского А. Мельникова), № 5.

Эквенси Киприан — Переживи мир (Роман. Перевод с английского В. Перехватова. Послесловие Виктора Бейлиса), № 7, 8.

Эрдэнэ Сэнгийн — О чем шепчет ветер Родины (Рассказ. Перевод с монгольского Б. Намжилова), № 11.

СТИХИ

Алейсандре Висенте — Стихи разных лет (Перевод с испанского Бориса Дубина и Сергея Гончаренко), № 5.

Арагон — Стихи из трех книг. 1960—1974 (Перевод с французского Мориса Ваксмахера. Вступление Т. Балашовой), № 1.

Баран Юзеф — Гнедой и др. стихи (Перевод с польского Н. Астафьевой), № 7.

Борушевский Мирослав — Квартира и др. стихи (Перевод с польского Н. Астафьевой), № 7.

Боушек Карел—По старым дорогам и др. стихи (Перевод с чешского Виктора Бокова), № 9.

Боцян Марианна—Прими горячую алость тела... и др. стихи (Перевод с польского Н. Астафьевой), № 7.

Ван Мин — Стихи (К 75-летию со дня рождения. Переводы с китайского Г. Ярославцева, С. Торопцева, А. Голембы, В. Швыряева. Предисловие В. Сорокина), № 4.

Вапцаров Никола—Стихи (Перевод с болгарского Евг Винокурова), № 11.

Виера Луис Феликс — Начало (Перевод с испанского Гр. Кикодзе), № 1.

Гостковский Станислав — Урок польского (Перевод с польского Н. Астафьевой), № 7.

Гуэрра Тонино—Стихи (Перевод с итальянского (романьоло) Романа Сефа, Беллы Ахмадулиной, Евгения Солоновича. Вступление Андрея Тарковского), № 7.

Дель Росарио Агустин — Панама и др. стихи (Перевод с испанского В. Темкина), № 11.

Диего Элисео Альберто — Игнасио, мой сосед — участник подпольной борьбы... (Перевод с испанского О. Островского), № 1.

Ивашкевич Ярослав — Горсть ивовых листьев (Стихи. Перевод с польского Натальи Астафьевой), № 4.

ИЗ МОЛОДОЙ ПОЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ (Вступление Н. Астафьевой), № 7.

ИЗ НОРВЕЖСКОЙ ПОЭЗИИ (Вступление Ларисы Васильевой), № 2.

ИЗ ПОЭЗИИ ЧЕХОСЛОВАКИИ, № 9.

Карем Морис — Стихи (Перевод с французского и вступление М. Кудинова), № 6.

Корреа Васкес Педро — Вечно одно и то же и др. стихи (Перевод с испанского О. Волгиной и О. Островского), № 11.

Корнхаузер Юлиан — Гойя: кого покидает разум, тому являются чудовища и др. стихи (Перевод с польского Н. Астафьевой), № 7.

Марти Бренес Карлос — Лагерь в горах (Перевод с испанского Гр. Кикодзе), № 1.

Мигалик Войтех — Мне цыганочка гадала и др. стихи (Перевод со словацкого Юнны Мориц), № 9.

МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ КУБЫ, № 1.

МОЛОДЫЕ ПОЭТЫ ПАНАМЫ, № 11.

Наварро Освальдо — От берега до берега (Перевод с испанского Гр. Кикодзе), № 1.

Наг Мартин — Ищи! Всегда ищи... и др. стихи (Перевод с норвежского Петра Вегина), № 2.

Нето Агостиньо — Стихи (Перевод с португальского Мих. Курганцева), № 6.

Озга-Михальский Юзеф — Стихи из четырех книг (1968—1977) (Переводы с польского З. Левицкого и В. Британишского), № 3.

Перальта Берталисия — Гимн радости и др. стихи (Перевод с испанского О. Островского), № 11.

Притц Карл Фредерик — Одна, которая выжила, и др. стихи (Перевод с норвежского Ларисы Васильевой), № 2.

Радноти Миклош — Стихи. К 70-летию со дня рождения и 35-летию со дня гибели (Перевод с венгерского Давида Самойлова. Вступление Е. Малыхиной), № 11.

Риверо Рауль — Живая история (Перевод с испанского О. Островского), № 1.

Риос Солейда — Ночь в горах Сьерра-Маэстра (Перевод с испанского О. Островского), № 1.

Рицос Яннис — Колокольня (Поэма. Перевод с греческого Юнны Мориц), № 5.

Родригес Рейна Мария — Когда я на посту (Перевод с испанского О. Островского), № 1.

Скала Иван — Память и др. стихи (Перевод с чешского Евгения Винокурова), № 9.

Уилбер Ричард — Стихи (Перевод с английского Андрея Сергеева. Вступление А. Зверева), № 10.

Фельдек Любомир — Открытые ветрам холмы над Нижней (Перевод со словацкого О. Малевича), № 9.

Шайнер Донат — Только о тебе (Вольный перевод с чешского Вл. Солоухина), № 12.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Бенай Франк — Сегодня вечером ты в комнате один... и др. стихи (Перевод с французского Натальи Стрижевской), № 8.

Варгафтиг Бернар — Что станет со словами... и др. стихи (Перевод с французского Алексея Парина), № 8.

ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ 70-Х ГОДОВ (НОВЫЕ ИМЕНА), № 8.

Ренье Морис — Но если... и др. стихи. (Перевод с французского Натальи Стрижевской), № 8.

Рубо Жак — Сюиты для виолончели соло и др. стихи (Перевод с французского Алексея Парина), № 8.

Тильман Пьер — Перечень будней и др. стихи (Перевод с французского Натальи Стрижевской), № 8.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Унамуно Мигель де — Стихи из книги «Поэтический дневник» (Перевод с испанского и вступление Сергея Гончаренко), № 12.

КРИТИКА

Анджапаридзе Георгий — Утраты и обретение истоков (Дэвид Стори и некоторые явления в английском романе о рабочем классе), № 4.

Балашова Т. — Пространство слова (Новые имена во французской поэзии), № 8.

Бранка Витторе — Суждение об итальянском Ренессансе от Петрарки до Полициано (Перевод с итальянского Евгения Солоновича) № 7.

ДИАЛОГ ОБ ЭПОХЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ, № 7.

Дэвидов Майк — Филип Рот—несбывшиеся надежды (Перевод с английского И. Гуровой), № 11.

Зорина И. — Момент сближения (О второй советско-американской встрече писателей в Нью-Йорке), № 2.

Ильинская С. — Яннис Рицос — неустанное становление (К семидесятилетию поэта). № 5.

Книпович Е. — Историческая сознательность художника (Заметки о творчестве Германа Канта), № 10.

Книпович Е. — «Малая» и «большая» родина Юрия Брезана, № 4.

КРИЗИСНЫЕ СЕМИДЕСЯТЫЕ? (Беседа в редакции «Основные тенденции в современной литературе Англии и США»), № 10.

Ландор М. — Открытый эпилог 30-х годов (О романе Томаса Вулфа «Домой возврата нет»), № 9.

Матяш Н. — Новые явления в испанской драматургии 70-х годов, № 3.

Мотылева Т. — Женщина и социализм (Размышления о нескольких новых книгах), № 7.

НАШ СОВРЕМЕННИК. Обсуждаем произведения, опубликованные в «Иностранной литературе» (**Юрий Богданов. Юрий Суровцев. Светлана Шерлаимова. Ирина Ракша. Владимир Гусев. Виктор Хорев. Лев Озеров**), № 1.

Николаевская А. — Требования жанра и корректива времени (Заметки об антиутопии в английской литературе 60—70-х годов), № 6.

Окай Атуквей — «День грядет...» (Заметки о современной поэзии Ганы. Перевод статьи и стихов с английского И. Гуровой), № 3.

Плавиус Гейнц — Слово Анны Зегерс (Перевод с немецкого М. Федорова), № 2.

ПОМНИТЬ О ПРОШЛОМ, СОЗИДАТЬ БУДУЩЕЕ («Круглый стол» польских писателей в редакции журнала). № 7.

Ржевская Н. — Возвращение к человеку (Новые явления во французской прозе 70-х годов), № 6.

Россиянов О. — «Писать о том, что больно...» (К 100-летию со дня рождения Жигмонда Морица). № 6.

СКАЗАТЬ «ДОБРЫЙ ДЕНЬ» — ЗНАЧИТ СКАЗАТЬ СУЩУЮ ПРАВДУ. Несколько мнений о португальской литературе сегодня (Перевод с португальского, вступительное слово и составление Т. Коробкиной), № 12.

СОПОСТАВЛЯЯ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, № 7, 10.

Фридштейн Ю. — Поиски и разочарования (Об английских пьесах последних лет), № 8.

Хлодовский Р. — Об итальянском историке литературы Витторе Бранке, его суждениях о Петрарке, Боккаччо, Полициано и о возможностях диалога между католиком и марксистом, № 7.

Шерлаимова С. — Понять современника (Чехословацкий роман сегодня), № 5.

Шнейдер М. — Памяти друга (К 80-летию со дня рождения Лао Шэ), № 2.

ЗАМЕТКИ ПИСАТЕЛЯ

Бриер Жан — «Если крик ранит птицу...» (Панорама гаитянской литературы. Перевод с французского Александра Карлова, послесловие Мориса Ваксмахера), № 11.

Корреа Васкес Педро — Дом, с которого все начинается (Заметки о молодой панамской поэзии. Перевод с испанского Н. Булгаковой), № 11.

Суардиас Луис — Размышления о новой кубинской поэзии (Перевод с испанского Н. Булгаковой), № 1.

Федоренко Николай—Ващаров: поэтическая ступень в грядущее (К семидесятилетию со дня рождения), № 9.

Цэдэв Дожоогийн — Время — человек — литература (О монгольской прозе наших дней. Перевод с монгольского Е. Демидова), № 3.

ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

Ийеш Дюла — Проявитель памяти (К восьмидесятилетию Антала Гидаша. Перевод с венгерского Агнессы Кун. Переводы стихов Натэллы Горской), № 12.

Маковеску Джордже — Колдовство земли (Перевод с румынского и вступление Михаила Фридмана), № 8.

Притам Амрита — Преодоление (Перевод с панджаби и вступление И. Серебрякова), № 10.

ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА

ТВОРЧЕСТВО ТРУДНОЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ, НЕОБХОДИМОЕ, № 4.

ИНТЕРВЬЮ

Алан Маршалл: «Жить жизнью счастливого человека» (Беседа, которая не была запланирована. Беседу записала и перевела Лия Завьялова), № 8.

Ат-Тахир Ваттар: «Жизнь ставит новые задачи...» (Беседу ведет Роберт Ланда), № 12.

Висенте Алейсандре: «Быть причастным всему сущему» (Перевод с испанского и составление Т. Коробкиной), № 5.

Мицос Александропулос: «Сквозь призму литературы — движение русской истории», № 3.

Уильям Джей Смит: «Я — за бережное отношение к оригиналу...» (Интервью подготовил Алексей Парин), № 5.

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Ясный В.— Мадридские беседы, № 9.

КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Заметки на полях

Амбарцумов Е.— Встреча не состоялась, № 9.

Бурмистенко Алексей — Может ли свобода быть безответственной?, № 2.

Волжанин В.— Еще раз о «древности на службе современности», № 3.

Гениева Е.— Нетипичные и типичные английские романы (По страницам британской прессы), № 8.

Голден Л.— Негритюд, африканите... и жизнь, № 1.

Гусев Ю.— Художественное творчество и мировоззрение, № 4.

Зверев А.— США. Итоги года — «моральное поражение»? (По страницам литературных журналов), № 5.

Матяш Н.— Латиноамериканский театр ищет себя, № 5.

Матяш Н. — Пора размышлений и надежд (Испанская литература в зеркале критики), № 12.

Ротенберг Т.— Вниз по «лестнице совершенства», № 11.

Т. Р.— «Последовательность Паркинсона», № 10.

Тогоева И.— За право говорить с народом (По страницам африканских журналов), № 6.

ПУБЛИЦИСТИКА

«АЛЕП» ПРОДОЛЖАЕТ БОРЬБУ (Сокращенный перевод с испанского Н. М.), № 5.

АМЕРИКАНСКИЕ РАКУРСЫ, № 8.

Базен Эрве — Во что я верю (Фрагменты книги. Перевод с французского и вступление Льва Токарева), № 4.

Болдуин Джеймс — 1964. Без личных выпадов (Перевод с английского и послесловие В. Воронина), № 8.

«БОРЬБА, КАК ГОВОРЯТ, ЭПИЧНА...» Последние дни Николы Вапцарова (Вступление и перевод с болгарского Н. Глен), № 11.

Брейтуэйт Э. Р.— Почетный белый (Отрывки из путевого дневника. Перевод с английского Мих. Загота. Послесловие К. Чугунова), № 5.

Галанов Борис — «Берлинале», 77—78: репортаж из Цоо-паласта, № 2.

Гамарра Пьер — Писатель, София, культура, мир (Перевод Л. Лихачевой), № 4.

Гарсиа Маркес Габриэль — Название не пришло мне в голову (Перевод с испанского В. Гутермана) Из интервью польской «Культуре» (Перевод с польского Э. Венгеровой), № 3.

ГОД 1919. СЛОВО ПИСАТЕЛЕЙ СОВЕТСКОЙ ВЕНГРИИ (Вступление и перевод с венгерского О. Россиянова), № 11.

ГОЛОСА КАНАДЫ. Два комментария к проблемам, вполне современным. **Маргарет Лоренс. Фарли Моуэт** (Перевод с английского В. Луговой), № 3.

Делюсин Л.— «Театр теней» и реалии маоизма (По страницам одного свидетельства), № 2.

ДЕТИ ДВУХ МИРОВ, № 6.

ДЕТЯМ БУДУЩЕГО (Из книги, изданной в дни Международной писательской встречи 1979 года), № 12.

Замошкин Юрий—Личность и общественное мнение в США (Опыт анализа ценностных ориентаций американцев на фоне идейно-политической ситуации 70-х годов), № 8.

ИЗ НАСЛЕДИЯ, № 6.

Караганов А.— Кризис политического кино?, № 2.

КОГДА ПИСАТЕЛЬ — ЖУРНАЛИСТ..., № 3.

Кожицкий Владимеж — После нас — хоть потоп... (Перевод с польского Э. Венгеровой), № 6.

КОНТАКТЫ КУЛЬТУР, № 9.

Кортасар Хулио — Ответственность писателя (Перевод с испанского Н. Матяш), № 4

Кэссиди Шейла — Чили: долг памяти (Монтаж по книге «Дерзание верить Автобиография». Перевод с английского И. Гуровой), № 1.

Линар Робер — Итак, я работаю на заводе... (Фрагменты книги. Перевод с французского О. Моисеенко. Послесловие Вл. Иорданского), № 8, 9.

Михайлова Л.— Алый парус в океане литературы (Страницы болгарской гриниады), № 9.

Нгуен Туан — Монолог о войне и мире, обращенный к Льву Толстому (Перевод с вьетнамского М. Ткачева), № 3.

Познер Владимир — Америка на бегу (Перевод с французского И. Кузнецовой), № 8.

ПРОБЛЕМЫ ИДЕОЛОГИИ, № 7.

ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ, ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНИ, № 2, 4.

ПРОТИВ ВЕТРА И ТЕЧЕНИЯ (Отрывки из книги. Перевод с испанского М Канторович), № 6, 7.

Ржига Богумил — Целина на экране истории (Перевод с чешского С. Пархомовской), № 3.

СОФИЯ — 79: МИР — НАДЕЖДА ПЛАНЕТЫ (Из материалов Второй международной писательской встречи), № 10, 11.

Тобинский Гарри — Комната 24... (Очерк из журнала «Курсбух», ФРГ. Перевод с немецкого М. Сергеева), № 6.

Травка Петр — Наркоманы (Перевод с польского Э. Венгеровой), № 6.

ТРАДИЦИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ, № 3.

ТРЕВОГИ ЗАПАДА, № 6

Федоренко Н. — Ангола: форум писателей, № 12.

Федоренко Николай — Эстетика икэбаны, № 3.

Хо Ши Мин—Памфлеты и стихи. Из наследия (Переводы К. Северовой и А. Ревича. Вступление, редакция переводов и примечания М. Ткачева), № 6.

Шахназаров Георгий — Этот прекрасный новый мир в этом пресловутом 1984 году, № 7.

Я ВСТАЮ В ШЕСТЬ УТРА... (Перевод с немецкого Н. Царевой), № 6.

Элиас Пьер-Жакез — Конь моей гордости (Воспоминания бретонца из Бигуденского края. Фрагменты книги. Вступление Пьера Гамарра. Перевод с французского Н. Николаевой), № 12.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Цюй Цюбо — Вперед, в Красную столицу! (Из книги «Путевые заметки о новой России», 1922 г. Перевод с китайского и вступление М. Шнейдера), № 10.

У НАШИХ ДРУЗЕЙ

Новикова М.— По страницам журнала «Всесвит», № 2.

АНТИРУБРИКА

Аллен Вуди — Воспоминание о двадцатых (Перевод с английского Юрия Зараховича), № 4.

БЫЛЬ В ГЛАЗА (Публикация и перевод с польского А. Эппеля), № 4.

ВЕЧНО НОВЫЙ МАРК ТВЕН (Публикация и перевод с английского В. Лимановской), № 3.

Даниэльсон Таге — Медитации в будке суфлера (Перевод со шведского Катарины Мурадян), № 2.

ЗАОЧНЫЙ КРУГЛЫЙ АНТИСТОЛ ЮМОРИСТОВ, № 2.

Зибек Вольфрам — О боже, боже... (Перевод с немецкого И. Болотникова), № 7.

Кауфман Бел — Искусство рассказчика, вызывающее смех, слезы, раздумье. Читалка (Перевод с английского Ф. Лурье), № 1.

Красиньский Януш — Дырка в занавесе (Перевод с польского Зинаиды Шаталовой), № 11.

Лангер Пекка — Прошение по поводу принцессы Маргареты (Перевод со шведского Катарины Мурадян), № 2.

Лэк Г. Л.— Упрямый робот (Перевод с английского Э Башиловой), № 7.

Малгонкар Манохар — Медведь на тарелочке Комбинатор (Перевод с английского Андрея Лещинского), № 9.

Найпол Видиа — Записки ночного портье (Перевод с английского Людмилы Биндеман), № 10.

Нарайан Р. К.— О юморе (Перевод с английского Елены Калинниковой), № 7.

НЕМЕЦКАЯ САТИРИЧЕСКАЯ ЭПИГРАММА (Перевод с немецкого Вальдемара Вебера), № 11.

О'Коннор Фрэнк — Как я ревновал маму (Перевод с английского Михаила Загота), № 6.

Паперный Зиновий—Долгожданная книжка (Маленькая рецензия), № 11.

Рихтер Ганс Вернер — Сражение у Кошачьего ручья (Рассказ. Перевод с немецкого Е. Маркович), № 4.

Саки—Рассказчик (Перевод с английского Юрия Захарова), № 6.

Салливен Фрэнк — Признание (Рассказ. Перевод с английского Виктории Костылевой), № 4.

Сильвестру Валентин — Юморески (Перевод с румынского Яна Ириньша). Миниатюры (Перевод с румынского Л. Долгошевой), № 8.

Таби Ласло — Об одном критике (Перевод с венгерского Елены Тумаркиной), № 2.

Тёрёк Шандор — Общество охраны людей (Перевод с венгерского Светланы Солодовник), № 7.

Тэрбер Джеймс — Собака, которая кусала людей (Перевод с английского Алексея Смирнова), № 2.

У НАС В ГОСТЯХ ПОЛЬСКИЙ КАРИКАТУРИСТ АНДЖЕЙ КРАУЗЕ (Вступление Януша Гловацкого), № 1.

ШВЕДСКИЙ ЮМОР, № 2.

Шисловский Влодзимеж — Стихи (Перевод с польского Катарины Мурадян), № 7.

Шоу Джордж Бернард—16 этюдов о себе (Перевод с английского Юрия Зараховича). Эпилог к «Пигмалиону» (Перевод с английского Назиры Ибрагимовой. Послесловие А. Аникста). Цитаты и афоризмы (Перевод с английского И. Наумова), № 5.

Юлленстен Ларс — Ars Amandi (Перевод со шведского Катарины Мурадян), № 2.

НАШИ ГОСТИ

Булгакова Н.— Онелио Хорхе Кардосо (Куба), № 9.

Ващенко А.— Наварр Скотт Момадэй (США), № 1

Долгошева Л.— Думитру Раду Попеску (Румыния), № 4.

Дорри Дж. — Мухаммед Садик Рухи (Афганистан), № 2.

Ильинская С.— Василис Василикос (Греция), № 10.

Николаевская А.— Джилиан Кларк. Мейк Стивенс. Джераллт Джонс (Великобритания), № 2.

Перехватов В.— Ассефа Тебре Мариам. Асфау Тефферра (Эфиопия), № 4.

Перехватов В.—Хулио Травиэсо (Куба), № 11.

Смирнов Г.— Альдо Де Яко. Элио Филиппо Аккрокка. (Италия), № 10.

Солонович Евг. — Тонино Гуэрра (Италия), № 12.

Фадеев С.— Сильвестр Эрдег (Венгрия), № 7.

Фиш Радий — Фахри Эрдинч, № 5.

Циколь И.— Костас Валетас (Греция), № 3.
Шумская Е.— Клаус Штиллер, Петер Шнайдер, Фридрих Кристиан Делиус (Западный Берлин), № 1.

СРЕДИ КНИГ

Издано в СССР

Анашенков Борис — Есть такой класс! (Луи Ури. Пролетарии), № 3.
Андраша Михаил — Когда говорит смех (Сигбьерн Хельмебак. Андерсенам — ура!), № 4.
Бенедетти Карло — Носит имя «Сопротивление» (Сопротивление живет. Антифашистские повести), № 5.
Бланкофф Жан — Бельгийские классики на русском языке (Эмиль Верхарн. Стихотворения. Зори. Морис Метерлинк. Пьесы), № 2.
Борщаговский А. и Жданов Л.— Возвращение в край морошки (Беседа о творчестве Сары Лидман), № 11.
Бочаров А.— Грустная улыбка Делибеса (Мигель Делибес. Пять часов с Марио. Красный листок. Войны отцов наших), № 10.
Бочаров А.— Катастрофа по имени Успех (Теннесси Уильямс. Римская весна миссис Стоун), № 4.
Бэлза Святослав — Горизонты поэзии Доната Шайнера (Донат Шайнер. Горизонты. Избранная лирика), № 11.
Вишневская И.— Оглянись во гневе (Джон Осборн. Пьесы), № 9.
Воображение и реальность (Интервью Бернара Клавеля по поводу книги «Пора волков»), № 10.
Говорит Джанни Родари (Интервью Джанни Родари по поводу книги «Грамматика фантазии»), № 6.
Гусев Вл.— Европа! Камо грядеши? (Зарубежная повесть 1973—76), № 5.
Зайцев В.— Реализм фантазии (Рассказы о необычайном. Сборник дотанских новелл), № 3.
Зверев А.— Слова, брошенные во тьму (Ричард Райт. Черный. Долгий сон), № 2.
Ильина Г.— Петрия рассказывает... (Драгослав Михайлович. Венок Петрии), № 8.
Комиссаржевский В.— Человек, умеющий говорить «нет!» (Антонио Буэро Вальехо. Пьесы), № 8.
Коркин В.— Выразить невыразимое (Агния Барто. Переводы с детского), № 10.
Лишкин С.— Росинка на лепестке лотоса (Видьяпати. Песни любви. Из индийской средневековой лирики), № 1.
Маркова В.— Созвездие поэтов (Вильгельм Левик. Избранные переводы в двух томах), № 1.
Озеров Лев — Смысл и слово (Писатели Франции о литературе), № 9.
Пронин В.— Похороны эпохи (Йозеф Рот. Марш Радецкого), № 12.
Салганик М.— Зеркало Хосе (Франциско Сионель Хосе. Избранное. Притворщики), № 2.
Седых В. — «Он сберег лучезарный лик Франции» (Луи Арагон. Анри Матисс), № 12.
Хорев В.— «Не сторониться мира...» (Станислав Лем. Насморк), № 3.

Издано за рубежом

Анастасьев Н.— Другой берег (Роберт Пенн Уоррен. Пристанище), № 1.
Анастасьев Н.— Забытый человек (Джоан Дидион. Молитвенник), № 5.
Архипов Ю.— Моцарт Вольфганга Хильдесхаймера (Вольфганг Хильдесхаймер. Моцарт), № 3.
Архипов Ю.— Поэзия и правда Элиаса Канетти (Элиас Канетти. Спасенный язык. История юности), № 8.
Балашова Т.— Радуга над Марселем (Андре Ремакль. Радуга), № 11.
Белов С.— Ланселот из штата Луизиана (Уокер Перси. Ланселот), № 1.
Валицкий В.— Пекин и научная фантастика (Тун Энчьжэн. Лучи смерти на атолле), № 10.
Гуральник У.— С верой в возможности искусства (Ниота Тун. Война и литература. Антон Хирше. Советская литература и научно-техническая революция), № 11.
Гусев Ю.— Трудный путь к зрелости (Обзор произведений молодых венгерских писателей), № 2.
Диего Элисео — Методом сотрудничества (30 советских поэтов), № 4.
Ермонский А.— Еще одна история любви (Ежи Стефан Ставинский. Записки молодого варшавянина о днях рождения), № 6.
Затонский Д.— Почему Зигмунт Рогалла сжег свой музей? (Зигфрид Ленц. Краеведческий музей), № 10.
Злобин Г.— Свет совестливости (Джон Гарднер. Октябрьский свет), № 1.
Золотусский И.— Кредо критика (Атанас Свиленов. Современники), № 12.
Иллеш Ласло — О проблемах современной литературы (Деже Тот. Живая традиция — живая литература), № 3.
Каверин В.— Поэзия прозы (Славчо Чернишев. Человек за бортом), № 5.
Корреа Васкес Педро — «Последняя игра», или Начало пути (Глория Гуардиа. Последняя игра), № 12.
Левидова И.— Картина для рамы (Маргарет Дрэббл. Ледяной век), № 3.
Литвинец Н.— Монолог рабочего Пауля (Пауль Гратцик. Пауль-на-электрокаре), № 10.
Малевич О.—Дар (Маша Галямова. Стихи), № 9.
Малевич Олег — Максимальная точность или вольное подражание? (Любомир Фельдек. С одного языка на другой), № 4.
Николеску Татьяна — Первый роман Марина Сореску (Марин Сореску. Три передних зуба), № 8.
Попов И.— Давняя традиция (Гунасена Витана. Исповедь молодого писателя), № 3.
«Почему я море так люблю?..» (Интервью Жана-Франсуа Бриера по поводу книги «Глиняные и золотые картинки»), № 6.
Разговоров Никита — «По следам бесследного» (Патрик Модиано. Улица Темных Лавчонок), № 5
Раттауз Г.— Два поэта (Ганс Цибулка. Древо жизни. Манфред Штройбель. Опись. Лирический дневник), № 10.

Ростовцева И.— По страницам «Обзора» («Обзор». Болгарский литературно-художественный журнал), № 9.

Садковский Вацлав — Новое о Бруно Ясенском (Янина Дзярновская. Слово о Бруно Ясенском), № 12.

Садковский Вацлав — Странствия Ярослава Ивашкевича (Ярослав Ивашкевич. Путешествие по Польше. Петербург. Путешествие по Италии), № 2.

Современность истории (Интервью Робера Мерля по поводу книги «Судьба Франции»), № 2.

Турбин В.—А. С. Пушкин: диалог с миром (Эркки Пеуранен. Лирика А. С. Пушкина 1830-х годов), № 11.

Черкасский Л.— Новая поэма Ай Цина (Ай Цин. На гребне волны), № 10.

Шимон Золтан — Еще одна книга из серии «Открытие Венгрии» (Дюла Чак. Вздох солончаков), № 11.

Шмидт-Денглер Венделин — Преодолеть отчаяние (Томас Бернгард. Дыхание), № 8.

Эльброн Макс — Как я стал переводчиком (Полина Анненкова. Воспоминания. Княгиня Трубецкая), № 4.

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ, № 3, 5, 12.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ, № 1—12.

АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА, № 1—11.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017, Москва Ж-17, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 3/X 1979 г. А03404. Подписано в печать 20/XI 1979 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9 бум. л.= 18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 32,43.

Тираж 686 000 экз. (1-й завод: 1 — 400 000 экз.) Зак. 3322.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Африканский слон.
Автолитография датского писателя и художника ХАНСА ШЕРФИГА

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394